ПОЭТЫ
1790-1810 г.г.

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА



ПОЭТЫ 1790-1810-х ГОДОВ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ПОЭТЫ 1790-1810-х ГОДОВ

Вступительная статья и составление
Ю. М. Лотмана

Подготовка текста М. Г. Альтшуллера.

Вступительные заметки,
биографические справки и примечания
М. Г. Альтшуллера и Ю. М. Лотмана

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1971

Р 1
П 67

Сборник «Поэты 1790—1810-х годов» знакомит читателей с одним из самых сложных и интересных периодов в истории развития отечественной поэзии. В сборнике представлены объединения (Общество друзей словесных наук, Дружеское литературное общество, «Беседа любителей русского слова» и др.), в которых сосредоточивалась в основном литературная жизнь Москвы и Петербурга. Сюда вошли поэты, чье творчество, составлявшее литературный «фон» эпохи, вызывало когда-то ожесточенные споры, бурную полемику (С. С. Бобров, А. Ф. Воейков, Андр. И. Тургенев, Д. И. Хвостов, П. И. Шаликов, А. С. Шишков, С. А. Ширинский-Шихматов, В. Л. Пушкин и др.). В силу целого ряда исторических причин они были забыты последующими поколениями, и сейчас, спустя более чем полтора столетия, вниманию читателя предлагаются произведения, извлеченные из старых собраний сочинений, журнальных комплектов и, в значительной части, рукописных фондов.

Знакомство с поэзией не только в ее вершинных проявлениях, но и в массовом развитии позволяет восстановить историческую реальность и аромат русской культуры конца XVIII — начала XIX века.

7-4-1
322—71

ПОЭЗИЯ 1790—1810-х ГОДОВ

Русская литература конца XVIII — начала XIX века — явление переходной эпохи. Не случайно при характеристике этого периода в трудах литературоведов чаще всего встречаются выражения «разрушался», «распадался», «складывался», «еще не сформировался», а соответствующие историко-литературные термины образуются с приставкой «пред» или «пре». «Распадался» классицизм, «разрушалась» просветительская вера в неизменность и доброту природы человека, «складывался» романтизм, «еще не сформировалась» дворянская революционность. «Предромантизм» (или «преромантизм»), «предреализм», а иногда еще «неоклассицизм» («постклассицизм») — такими терминами пользуются чаще всего для определения сущности литературной эволюции этого времени.

Такой взгляд не лишен оснований. Оценивая эпоху по ее итогам, мы выделяем в ней наиболее существенное — то, что стало ведущей тенденцией (или тенденциями) в последующие периоды. Однако при этом не следует забывать сложности исторических закономерностей: далеко не всегда реальностью в истории становится то, что было единственно возможным, — история закономерна, но не фатальна. Это приводит к тому, что в каждую эпоху имеются нереализованные возможности, тенденции, которые могли бы развиться, хотя этого и не произошло. Кроме того, не все исторические посевы прорастают с одинаковой скоростью — черты эпохи, которые представляются незначительными, если смотреть на нее с дистанции в два или три десятка лет, могут показаться историку определяющими через несколько столетий.

Все это приводит к тому, что взгляд на ту или иную переходную эпоху с точки зрения ее непосредственных исторических итогов может не только существенно расходиться с представлением современников, но значительно обеднять ее значение с точки зрения более широких исторических перспектив.

Сказанное в полной мере относится к интересующей нас эпохе. Если знакомиться с периодом конца XVIII — начала XIX века, и в особенности с первым десятилетием нового столетия, по историям литературы, то создастся впечатление времени глухого и тусклого: Державин уже пережил золотой век своего творчества, Радищев и Карамзин уже выбыли из литературы, век Пушкина еще не наступил, да и Жуковский, Батюшков и Крылов еще не определили размера своего дарования и места в русской поэзии. Сочетание «уже не» и «еще не» становится основным признаком эпохи. Однако если погрузиться в чтение мемуаров, писем, журналов, перебрать сборники забытых поэтов и просто вспомнить, кто же вырастал в русской культуре за эти годы, то впечатление сложится прямо противоположное: перед нами эпоха яркая, полная своеобразного обаяния и глубокого культурного смысла. Начало XIX века оставило неизгладимый след в русской культуре, во многом определив пути ее дальнейшего развития. Значение этого времени еще и в другом. Юношество определяет последующие пути развития характера зрелого человека — вот в чем значимость этого возраста для человеческой жизни как исторического целого. Однако поэзия его — в том, что он еще содержит возможности, которым не суждено реализоваться; пути, по которым человек не пойдет, еще ему открыты, роковые ошибки — не совершены. В характере меньше определенности, но больше выбора. Он труднее втискивается в классификационные рамки, но зато внутренне богаче. Он — переход от детства к зрелости, сочетание «уже не» и «еще не».

Начало XIX века было юностью русской культуры между эпохой Петра и 1917 годом.

Именно поэтому на материале поэзии конца XVIII — начала XIX века — времени, исторический и культурный аромат которого заключен в богатстве, неопределенности, незавершенности, — становится очевидной несостоятельность отождествления понятий «история литературы» и «история великих писателей». Не очень четкое понятие литературного «фона», так называемых «второстепенных» и «третьестепенных» поэтов, приобретает здесь особенное значение. Так возникает проблема «массовой поэзии» — литературного «фона» эпохи, служащего и контрастом, и резервом для «большой литературы». Именно на примере этой эпохи с особенной ясностью видно, что культура — не собрание шедевров, а живой организм, в единой системе которого живут и противоборствуют разные по самостоятельному значению и ценности силы. Создавая картинную галерею, мы можем отобрать наиболее ценные полотна, а все остальное убрать. Но живая культура — организм, а не картинная галерея. В галерее

греческих героев нет места Тирситу, но поэма Гомера без него невозможна. Культура — не клумба, а лес. Для того чтобы помнить это, полезно иногда читать забытых поэтов. Отрывая шедевры от их реального исторического контекста, мы убиваем их. Забывая литературный «фон» начала XIX века, мы убиваем Пушкина.

Таков смысл обращения к поэтам, творчество которых предлагается читателям настоящего сборника.

* * *

Основными идеями, определявшими духовные искания литературы начала XIX века, были проблема личности и народность. Сами вопросы не были новыми — новым было их истолкование в эпоху между революциями XVIII века и наполеоновскими войнами, дыхание которых уже ощущалось в воздухе.

XVIII век не видел антагонизма между свободной, естественной личностью и народом. Гармонически развитый человек представлял в своем лице и индивида, и народ, и человечество. Движение к народу — это возвращение к естественности, доброте и красоте, которые скрыты в каждом человеке, это путешествие к природным основам своей собственной личности. С этой точки зрения преодоление разрыва между идеологически активной личностью и народом не могло казаться ни трудным, ни трагическим.

В новых условиях личность и народ стали восприниматься не как две стадии развития одной и той же сущности (безразлично, трактуется ли этот процесс как «просвещение» или «искажение»), а как два различных и противопоставленных начала. Трагическое напряжение между ними, попытки сближения, обличение — до ненависти, смирение — до религиозного преклонения станут основным содержанием духовной жизни России на многие десятилетия.

Проблема личности сохранила и в начале XIX столетия ряд основных признаков, присущих ей в системе Просвещения: свободолюбие, жажду гармонического развития, отождествление красоты и социальной нормы, героизм, чаще всего окрашивавшийся в тона античности. Новым было соединение пламенной жажды свободы, доходящей до патриотического экстаза, до мечтаний героического тираноубийства, с идеей моральной ответственности. Мысль о необходимости связать тактику с этикой, о перерождении героя, идущего к свободе морально запрещенными путями, и о трагической неизбежности этих путей, высказанная впервые Шиллером, обеспечила его юношеским драмам бурный успех у русской молодежи 1800-х годов.

Соединение свободолюбия и морального пафоса определило новое соотношение политической и интимной лирики. Элегия, любовная лирика, поэтический мир человеческой души, с одной стороны, и гражданственный пафос — с другой, перестали восприниматься как антагонисты. Внутренняя ценность человека, измеряемая богатством его душевного мира, определяет и жажду свободы. Элегическая и патриотическая поэзия у Андрея Тургенева, Милонова или Ф. Иванова взаимно дополняют друг друга, а не противостоят.

Не менее острым в поэзии начала XIX века был вопрос о сущности народа, его прав и значения и морального долга свободолюбивой личности по отношению к угнетенной и страдающей массе. В соединении с требованием создания культуры, зиждущейся на национальной основе, это определяло контуры проблемы народности в спорах того времени.

Конец XVIII — начало XIX века — время переоценки ценностей. В первую очередь переоценке подверглись общественно-философские идеалы предшествующего столетия. Бури французской революции, уроки террора и термидорианской реакции, упорство реакции и взрывы народного гнева в России — все это порождало идеи и представления, с точки зрения которых теории философов прошедшего века стали казаться наивно оптимистическими и головными, прямолинейно рационалистическими. Слова «философия» и «теория», недавно вызывавшие представления о высших культурных ценностях, зазвучали иронически. Книжной мудрости стали противопоставлять мудрость жизненную, просвещению — народность. Крылов, вольнодумец и вольтерьянец в XVIII веке, создал на рубеже столетий комедию «Трумф» («Подщипа»), в которой подверг беспощадному осмеянию *все* ценности дворянской культуры, все ее теоретические представления о высоком и прекрасном в искусстве и героическом в жизни, а заодно и самые основы того героико-теоретического мышления, без которого Просвещение XVIII века было бы невозможно. Если просветители XVIII века пользовались скепсисом как оружием против верований, завещанных «варварским» прошлым, то теперь он был повернут против них самих. Однако скептицизм как общественно-философское оружие слишком связан с психологией культурной элиты. Он не мог стать голосом жизни, путем к народности, и Крылов обращается к здравому смыслу каждодневного опыта, народному толку, вековой мудрости народных пословиц и лукавству простонародной речи. На место героизированного и идеализированного, возведенного до философской модели народа Радищева ставится реальный крестьянин. Его точку зрения, выраженную во фразеологизмах, непереводимых оборотах народной речи, — практический здравый

смысл, незыблемость религиозно-нравственных представлений, добродушное лукавство и жизненный консерватизм — Крылов выбирает в качестве *своей* точки зрения.

Однако смелость Крылова, поставившего на место идеала реальность, не нашла широкого круга последователей в современной ему поэзии (сам масштаб новаторства Крылова стал ясен значительно позже). Современникам, даже самым доброжелательным, скорее бросалась в глаза цена, которую Крылов заплатил за нее: став на народную точку зрения, Крылов сознательно сузил диапазон своего художественного мира. Он видел то, что было видно народу: 1812 год мог стать темой его басен, но кинжал Занда или Лувеля, политические споры «между лафитом и клико» — то, что вдохновляло Пушкина, питало духовное горение декабристов, — нет. Кюхельбекер, признавая в Крылове учителя, указывал на ограниченность его тематики, а Вяземский в споре с Пушкиным отказывал Крылову в народности не только как карамзинист, ценитель изящества, но и как свободолюбец, для которого идеал народа был неотделим от мысли о политической активности.

Большинство литературных деятелей начала XIX века в борьбе с «теоретичностью» идеалов XVIII столетия противопоставляло им тоже теории, столь же «книжные» и «головные» в глазах последующих поколений, но казавшиеся в ту пору воплощением самой жизни.

После того как Андрей Тургенев в 1801 году на заседании Дружеского литературного общества обвинил современную ему литературу в отсутствии народности, требование это стало повторяться разными критиками и с разных позиций. Дискуссия о народности литературы, в которой приняли участие Шишков, Державин, С. Глинка, Андрей Тургенев, Мерзляков, Гнедич, Галенковский, которая определила появление столь различных произведений, как «Словенские вечера» Нарежного, «Песни, петые на состязании» Радищева, баллады Жуковского и «народные песни» Мерзлякова, определенным образом отразилась и в массовой литературе.

Слияние личности и народа мыслилось в начале XIX века большинством теоретиков как культурная, а не социальная проблема. Решение ее видели в создании народной культуры, а не в коренной перестройке всего общественного уклада. Поскольку в демократических кругах еще со времен Радищева дворянская культура воспринималась как искусственная и ложная, возникало требование выработки форм лирики, которые были бы традиционными и национальными, с одной стороны, и способными выразить индивидуальное чувство — с другой. Именно такое место заняла в общей системе лирики тех лет «русская песня». «Народные» концерты Сандуновой, волно-

вавшие московскую молодежь 1800-х годов, песни Мерзлякова и его поэтической школы — в первую очередь Грамматина — выполняли в общей системе культуры иную функцию, чем «песни» в поэтике XVIII века. Они повысились в культурном ранге, функционально приблизившись к элегии.

Стремление к синтезу народности и героизма определило рост интереса к античности. Этот путь привлекал Гнедича, Мерзлякова, Востокова.

Требование народности получило в те годы самую широкую интерпретацию. К нему обращались и те, кто стремился найти новые, более глубокие и жизненные формы идеологии, избавив передовую теорию от кабинетного догматизма, обернувшегося трагическими эксцессами буржуазной революции. Но к нему же обращались и противники всякой мысли, прикрывавшие словами о приверженности традиции и национальным началам болезненную страсть к доносительству, политическую реакционность и классовый эгоизм.

* * *

Историю литературы можно излагать как историю идей и историю людей. Получаемые при этом картины могут существенно отличаться. Начало XIX века не может выдержать сравнения с последней третью XVIII или 1820—1830-ми годами по глубине выработанных им теоретических концепций. Основное культурное творчество этой эпохи проявилось в создании *человеческого типа*. Культурный человек России начала XIX века — одно из самых замечательных и интересных явлений русской истории. Дети екатерининских вельмож, ссыльных масонов, присмиревших вольтерьянцев XVIII века, старшие братья Онегина, Чацкого и тех, кто морозным утром 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь, они начинали учиться мыслить по «Общественному договору», под звуки барабанов, отбивавших дробь на павловских вахт-парадах, отказывались от гвардейского мундира, чтобы заполнить собой аудитории Московского или Геттингенского университетов, проклинали тиранов, читая «Разбойников» Шиллера или «Негров в неволе» Коцебу, начинали дружеские пирушки за чашей пунша с пения шиллеровского «Гимна к радости»: «Обнимитесь, миллионы. . .» и умирали на полях Аустерлица, Фридлянда, под Смоленском, при Бородине, в партизанских «партиях», при Бауцене и Лейпциге.

Молодежь этой эпохи отдавала свои жизни с неслыханной простотой и щедростью. Большинство из них умерло рано, не реализовав своих творческих возможностей. Из истории они как бы выпали, их

заслонили блестящие деятели последующего времени. Но стоит сопоставить фаворита Екатерины II Григория Орлова и его племянника декабриста Михаила Орлова, масона И. П. Тургенева и его третьего сына декабриста Н. И. Тургенева, чтобы почувствовать, что здесь одно звено пропущено. Звено это — люди 1800—1810-х годов.

Культура начала XIX века с наибольшей силой реализовала себя не в вершинных созданиях человеческого ума, а в резком подъеме среднего уровня духовной жизни.

Современная теория культуры определяет ее уровень объемом информации, входящей в активную память коллектива, степенью организованности его внутренней структуры. Эту последнюю можно представить как систему нравственных запретов, социально-психологическим регулятором которых является *стыд*. Можно сказать, что область культуры — это сфера тех моральных запретов, нарушать которые стыдно. Каждая эпоха создает в этом отношении свою систему стыда — один из лучших показателей типа культуры.

Для десятков и сотен русских дворян в начале XIX века стало казаться стыдным то, что еще их отцам представлялось естественным и нормальным. К этому времени народный организм переработал государственные сдвиги эпохи Петра I в органические факты внутренней культурной жизни. Именно это чувство чести, сознание человеческого достоинства, «страх порока и стыда», о котором упомянул Пушкин над прахом Ленского, «стыд», который «держит в узде», по мнению Чацкого, были психологическим выражением того культурного типа, который, пройдя через огонь Отечественной войны 1812 года, дал России явление декабризма.

Сознание значительности *среднего* уровня дворянской культуры преддекабристской эпохи заставит нас отнестись со вниманием к памятникам, в которых он запечатлелся. Стихотворения, читавшиеся и переписывавшиеся в альбомы, элегии, над которыми плакали старшие сестры Татьяны и словами из которых Ленский выразил свои предсмертные терзанья, сохраняют для нас значение молчаливых свидетельств. По ним мы можем реконструировать психологический тип породившей их общественной среды.

Однако дворянство не было единственной культурной средой в начале XIX века: складывалась профессиональная интеллигенция, в основном разночинного происхождения. Не сформировалось еще ни единства социальных условий, ни единства общественной психологии. Деятели театра, на сцене соприкасавшиеся с вершинами дворянской культуры, а в быту — с ее крепостнической основой, происхождением часто связанные с крепостной интеллигенцией, богемный быт которых обладал особой притягательной силой для театралов из столич-

ного света, и семинаристы, изучавшие на лекциях риторику и богословие, а в дружеском кругу — Гельвеция и Канта, охотно меняющие рясу на университетскую кафедру, для которых семинарские манеры на всю жизнь оставались в дворянском обществе печатью отверженности, конечно, представляли совершенно различные культурно-психологические типы. Не менее различались между собой профессор-разночинец (появление дворян на кафедре Дерптского университета — сначала это был Г. Глинка, затем А. Кайсаров — стало сенсацией; о первом Карамзин специально поместил в «Вестнике Европы» сообщение) и художник — воспитанник Академии. Наконец, в этом кругу мог появиться и Иван Варакин — поэт-крепостной, тщетно домогавшийся у барина выкупа, или композитор Кашин, выкупившийся наконец на свободу. Но весь этот пестрый недворянский мир не только существовал, *он знал, что существует,* и стремился осмыслить свое бытие. Лишенный политических прав и элементарных гарантий, он рвался к культуре, воспринимая ее средние нормы и общепринятые представления. Сначала речь шла о приобщении к уже существующей культуре. Но в ходе усвоения происходила трансформация литературных вкусов. Переживая скрытый период своего развития, демократическая интеллигенция уже в начале XIX века оказывала воздействие на ход культурного движения.

* * *

Эпоха 1790—1810-х годов не имела единого господствующего поэтического стиля. И стремление поэзии Жуковского или Батюшкова к стилистической унификации, и сложный синтетизм Пушкина вырастали на фоне и по контрасту с неорганизованностью мира русской поэзии этой переходной эпохи. Однако было бы большим заблуждением полагать, что в результате возникал индивидуальный произвол в выборе художественных средств, что поэт начала века не был связан определенными творческими правилами.

Поэзия конца XVIII — начала XIX века регулировалась сложной системой правил, норм, обычаев и приличий. Законы поэзии, торжественно прокламированные Лагарпом и Баттё, не были отменены. Они сохраняли авторитетность не только для Карамзина, но даже для Жуковского, даже для лицейского Пушкина, писавшего:

Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.

(«Городок»)

Однако соблюдение их не считалось обязательным. Действовала сложная смесь различных правил, образцов, поэтических предрассудков. Один круг тем, метров и ритмических фигур, поэтических интонаций и композиционных решений был закреплен за балладой, другой — за элегией или дружеским посланием. Современники безошибочно различали и индивидуальные черты стиля Державина или Карамзина, а позже — Батюшкова, Гнедича или Жуковского. Характерно письмо Вяземского Пушкину. Ощущение закономерности индивидуального стиля выражено здесь очень резко: «Ради бога, облегчи меня: вот уже второй день что меня пучит и пучит стих:

Быть может, некогда восплачешь обо мне,

который ты же мне натвердил. Откуда он? чей он? Перерыл я всего Батюшкова, Озерова, тебя и нигде не нахожу, а тут есть что-то Озеровское, Батюшковское».[1] Цитата имела источником гнедичевский перевод из «Танкреда» Вольтера, однако дело здесь в ином: «что-то озеровское» или «что-то батюшковское» представляло для Вяземского вполне ощутимое и реальное понятие.

Именно потому, что система поэзии была сложной и неунифицированной, допуская и «оссиановскую» элегию, и торжественное послание, и дружеские, фамильярные, «народные» или сатирические стихи (причем каждый тип имел свои нормы, обычаи, предрассудки, порой нигде не сформулированные, но обязательные), представление о поэтическом мастерстве часто связывалось не с *изобретением* нового, а с полным и свободным *овладением* уже существующей системой. В этом смысле характерен лицейский период творчества Пушкина, бесспорно представляющий одно из центральных явлений поэтической жизни интересующей нас эпохи: пафос пушкинской поэзии этих лет — овладение всем богатством поэтических возможностей, которые накопила русская поэзия (а в определенном отношении — и французская) к концу 1810-х годов. Пушкин сознательно развивает в себе способность переключаться из одной поэтической системы в другую, соблюдая поэтический ритуал каждой из них. В этом смысле лицейская поэзия Пушкина представляет собой доведенную до совершенства картину поэзии этой эпохи в целом. Имело место, однако, и существенное различие: Пушкин, овладевая нормами поэзии своей эпохи, уже в лицее усложнял их. Отраженная в

---

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 14, 1941, с. 23. — Анализ этого высказывания см. в кн.: В. В. Виноградов, Стиль Пушкина, М., 1941, с. 482.

зеркале его творчества первых лет, русская поэзия выглядит более сложной и богатой, массовая же поэзия, овладевая нормами высокой литературы, упрощала и огрубляла их. Но, может быть, именно поэтому она представляет собой благодарный материал для историка, стремящегося реконструировать поэтический фон того времени.

Господствующей литературной системой эпохи был карамзинизм. Он смог занять такое положение в силу своей теоретической и практической широты, граничившей с эклектизмом. В него вмещались и таинственные баллады, и вполне традиционные басни, и апологи, Жуковский и Дмитриев, а на литературном Олимпе его уживались Шиллер и Буало. Именно поэты среднего дарования: Дмитриев, В. Л. Пушкин, Воейков, в какой-то мере Милонов — определяли лицо карамзинизма как поэтического направления. Не случайно так велико было значение средних, мелких и порой мельчайших поэтов для Пушкина, который, овладевая стилем эпохи, а затем его преодолевая, держал в памяти, любил повторять и цитировал в письмах и стихотворениях многие десятки ныне забытых поэтических строк. Далеко не все эти цитаты опознаны нами — многие живут в нашем сознании как пушкинские. Вяземский вспоминал: «Пушкин имел всегда на очереди какой-нибудь стих, который любил он твердить».[1] Осознание той или иной цитаты как пушкинской, то есть как «не-цитаты», утрата связи ее с основным текстом разрушает функцию ее в пушкинском произведении. Только после того, как исследователи показали, что элегия Ленского — своеобразный монтаж из общих формул элегической поэзии начала века, обнажилась ирония пушкинского текста, который, если не учитывать цитатного характера составляющих его стихов, звучал вполне лирически и именно так был воспринят Чайковским.

На большую роль цитат в ткани поэзии Пушкина указывалось неоднократно, особенно В. В. Виноградовым и Б. В. Томашевским. Роль эту можно сопоставить со стилистической функцией слов-сигналов, о которых писали В. Гофман, Г. А. Гуковский, Г. О. Винокур, В. М. Жирмунский, Л. Я. Гинзбург: поэтическое сознание эпохи реализуется как некоторая сложная структурная целостность. Для того чтобы активизировать ту или иную ее часть, нет необходимости в приведении обширных текстов: в сознании аудитории живут свернутые тексты-программы: цитаты, доминантные лексемы, типические интонации, метры и ритмы. Каждый из этих элементов реконструирует в сознании читателя всю систему, иногда охватывающую лишь определенный участок, слой, жанр поэтического мира, порой

---

[1] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 8, СПб., 1883, с. 116.

совсем точечный — микрокосм того или иного поэта, — иногда вызывающую в памяти наиболее общие черты поэзии эпохи. Этот живой динамический мир составляет фон «большой» поэзии. Но фон этот не пассивный, раз навсегда данный и стоящий как бы вне текстов Пушкина, Жуковского или Рылеева. Этот фон активен, он коррелирует с поэзией «первого ряда», постоянно работает. Стихи Жуковского и Кюхельбекера должны вызывать различные воспоминания и ассоциации. Пушкинская же поэзия постоянно втягивает в себя все многообразные поэтические стили и индивидуальности.

Гениальное произведение существует как нечто отдельное и легко вычленяется из различных контекстов. В массовой литературе границы между произведениями условны, а такие понятия, как «элегия 1810-х годов» или «поэзия дружеского кружка», получают все признаки *единого текста*.

* * *

В литературоведении распространено убеждение, что в развернувшейся в 1800—1810-е годы борьбе столкнулись отживающий классицизм и молодой романтизм, причем первый был представлен «Беседой» и близкими к ней литераторами, второй же заявил себя в произведениях карамзинистов, арзамасцев. Как указал еще Н. И. Мордовченко, такое истолкование навязано полемическими статьями Вяземского.[1] Однако еще Пушкин оспаривал это стремление отождествлять карамзинистов с романтиками, а их противников — с классицистами. «Признайся, — писал он Вяземскому, — все это одно упрямство».[2]

Факты литературной жизни сопротивляются такому осмыслению. В борьбе с «Беседой» арзамасцы опирались на авторитет разума и охотно ссылались на имена Буало и Лагарпа, переводы же из Лагарпа Шишкова явно имели оборонительный характер — они должны были отвести от «Беседы» упрек в невежестве, доказать, что ее программа не противоречит утвердившимся в мировой культуре идеям. Само обращение к такого рода аргументам было отступлением и противоречило курсу Шишкова на национально-религиозную традицию. Характерно, что «Арзамас» игнорировал этот тактический прием: он упрекал Шишкова не в приверженности к классицизму, а в невежестве, плохом вкусе, вражде к просвещению. «Седого деда» полемически сопоставляли не с Буало, а с законоучителями раскола,

---

[1] См.: Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX в., М.—Л., 1959, с. 193.

[2] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, 1937, с. 57.

которые, в духе рационалистической традиции XVIII века (например, Ломоносова), истолковывались как поборники невежества. Шишков, в представлении арзамасцев, — защитник не «Поэтического искусства», а «Стоглава».

Вот мнение мое! Я в нем не ошибаюсь
И на Горация и Депрео ссылаюсь:
Они против врагов мне твердый будут щит;
Рассудок следовать примерам их велит.
Талант нам Феб дает, а вкус дает ученье.
Что просвещает ум? питает душу? — чтенье.
В чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт,
В Синопсисе того, в Степенной книге нет...

(В. Л. Пушкин, «К В. А. Жуковскому»)

А Пушкин-лицеист в письме к В. Л. Пушкину выражал желание,

Чтобы Шихматовым назло
Воскреснул новый Буало —
Расколов, глупости свидетель.

Сам Шишков в нападениях на своих литературных противников апеллировал к законам не разума, а веры, уличал их не в невежестве, а в отсутствии патриотизма и набожности.

Основой общественной и литературной концепции карамзинистов была вера в прогресс: нравственное улучшение человека, политическое улучшение государства, успехи разума и прогресс литературы составляли для них разные грани единого понятия цивилизации. Отношение к ней было безусловно положительным. Литература мыслилась как существенная составная часть этого поступательного развития, и успехи ее не отделялись от общих успехов просвещения. Эта же идея прогресса составляла основу подхода к языку. Батюшков писал: «Язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданской образованностью и людскостию». [1]

Литературе предназначалась роль вдохновителя прогресса. Карамзин отстаивал пользу от чтения романов: «Романы, самые посредственные, даже без всякого таланта писанные, способствуют

---

[1] К. Батюшков, Опыты в стихах и прозе, ч. 1, СПб., 1817, с. 4.

некоторым образом просвещению ⟨...⟩ Слезы, проливаемые читателями, текут всегда от любви к добру и питают ее. Нет, нет! дурные люди и романов не читают».[1] Жуковский считал, что поэзия возвышает душу читателей, Батюшков говорил о ее влиянии на язык и — таким образом — на общий ход цивилизации: «В словесности все роды приносят пользу языку и образованности. Одно невежественное упрямство любит и старается ограничить наслаждение ума».[2] Во всех случаях добро связывается с движением — изменением к лучшему, с просвещением, просветлением, нравственным прогрессом.

Отождествляемое с невежеством зло чаще всего представляется как стояние на месте или попятное движение. Понимая политическую подоплеку обвинений в нелюбви к старине и опасность упреков в неуважении к вере и народным обычаям (в обстановке патриотического подъема военных лет доносы эти были далеки от безобидности), карамзинисты не могли отказаться от основного для них положения — представления об истории как поступательном движении от тьмы к свету. Для того чтобы отвести от себя опасные упреки, они противопоставляли веру суеверию, отождествляя первую с разумом и прогрессом, а вторую — с невежеством и косностью.

Но благочестию ученость не вредит.
За бога, веру, честь мне сердце говорит.
Родителей моих я помню наставленья:
Сын церкви должен быть и другом просвещенья!
Спасительный закон ниспослан нам с небес,
Чтоб быть подпорою средь счастия и слез.
Он благо и любовь. Прочь, клевета и злоба!
Безбожник и ханжа равно порочны оба.

(В. Л. Пушкин, «К Д. В. Дашкову»)

Жуковский в статье «О сатире и сатирах Кантемира» прибегнул к авторитету сатирика XVIII века для обличения тех, «которые своею привязанностию к старинным предрассудкам противились распространению наук, введенных в пределы России Петром Великим. Сатирик, имея в предмете осмеять безрассудных хулителей просвещения, вместо того, чтоб доказывать нам логически пользу его, притворно берет сторону глупцов и невежд, объявивших ему войну».[3] Далее Жуковский, несмотря на то что он уже процитировал пол-

---

[1] Карамзин, Сочинения, СПб., 1848, с. 548—550.
[2] К. Батюшков, Опыты в стихах и прозе, ч. 1, с. 13.
[3] В. А. Жуковский, Полн. собр. соч., т. 9, СПб., 1902, с. 99.

ностью первую сатиру Кантемира, снова повторяет то ее место, где высмеивается «ханжа Критон».

Такое представление о задачах литературы делало разумность, ясность, логичность критериями художественного достоинства. Плохое произведение — всегда произведение неудобопонятное, странное, не пользующееся успехом у читателей, непонятное им. Если хорошие стихи «питают здравый ум и вместе учат нас», то плохие

С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать...

(«К другу стихотворцу»)

Показательно, что, с точки зрения более поздних норм романтизма, «непонятность» и «странность» скорей осмыслялись бы как достоинство, а неуспех у читателя стал романтическим штампом положительной оценки.

Таинственность, иррациональность, трагическая противоречивость не умещались в поэтическом мире карамзинизма. Не случайно баллады Жуковского, как и исторический труд Карамзина, совсем не совпадали с основным направлением группы, размещаясь на ее периферии как допустимое (в силу принципиального эклектизма, о котором уже говорилось), но все же отклонение. Достаточно сравнить характеристики, которые дает Батюшков Дмитриеву, Карамзину, Муравьеву, Воейкову, В. Л. Пушкину, с одной стороны, и Жуковскому-балладнику — с другой, чтобы почувствовать эту разницу. «Остроумные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества», «стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей», «некоторые послания Воейкова, Пушкина и других новейших стихотворцев, писанные слогом чистым и всегда благородным», — во всех этих оценках похвала определена тем, что текст приближается к некоторой норме — идеалу ясности, чистоты и стройности. Оценка Жуковского строится иначе: «Баллады Жуковского, сияющие воображением, часто своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным...».[1] Высокая оценка соединена здесь с некоторым извинением «аномальности» этого вида поэзии.

Правда, представление о том, что́ в противоречивой системе карамзинизма составляло его основу, идейно-структурный центр, а что́ было допустимыми, но факультативными признаками, колебалось в разные годы и не было одинаковым у Батюшкова, Жуковского, Вя-

---

[1] К. Батюшков, Опыты в стихах и прозе, ч. 1, с. 9.

земского, Воейкова или Блудова. Более того, система теоретических воззрений Жуковского была ближе к средней карамзинистской норме, чем структура его художественных текстов. Для Вяземского как теоретика романтизма была характерна попытка выразить карамзинизм в позднейших романтических терминах. При этом происходил характерный сдвиг: стремление к необычности, индивидуальной выразительности, ненормированности, присутствовавшее как один из признаков еще в системе Державина и допущенное на карамзинистскую периферию (то в виде фантастики или «галиматьи» Жуковского, то как гусарщина Дениса Давыдова или полуцензурность «Опасного соседа») именно на правах некоторой аномалии,[1] превращалось в сознании Вяземского в центр, основу системы. Однако вызывавшая раздражение Пушкина застарелая его приверженность к Дмитриеву (как и многое другое) выдавала в позиции Вяземского карамзинистский субстрат, противоречащий его романтическим декларациям.

Массовая поэзия карамзинизма строже следовала теоретическим нормам этого направления, и поэтому она представляет особенный интерес именно для реконструкции его программы. Лицейский Пушкин, овладевая различными стилями и усваивая их общие, типовые черты, гениально схватил признаки карамзинизма как системы. Не случайно в его стихотворениях этих лет последовательно проведен взгляд арзамасцев на произведения их литературных противников как на *бессмыслицу* (ниже курсив везде мой. — *Ю. Л.*):

Страшися участи *бессмысленных* певцов,
Нас убивающих громадою стихов!

(*«К другу стихотворцу»*)

---

[1] Двойственность отношения к фантастике в литературной борьбе 1800—1810-х годов отразилась, например, в том, что в полемике вокруг баллад Жуковского и Катенина защитник Жуковского Гнедич в статье, одобренной Дмитриевым, Батюшковым и В. Л. Пушкиным, осудил фантастику цитатой из комедии Шаховского, а его оппонент Грибоедов возражал: «Признаюсь в моем невежестве: я не знал до сих пор, что чудесное в поэзии требует извинения» (А. С. Грибоедов, Сочинения, М., 1956, с. 390). Ссылка на якобы «классические» вкусы Гнедича здесь мало что объяснит. Напомним свидетельство Жихарева: «В «Гамлете» особенно нравилась Гнедичу сцена привидения». «Он начал декламировать сцену Гамлета с привидением, представляя попеременно то одного, то другого 〈...〉 Кажется, сцена появления привидения — одна из фаворитных сцен Гнедича» (С. П. Жихарев, Записки современника, М.—Л., 1955, с. 190, 422). А сам Жуковский в споре с Андреем Тургеневым доказывал, что при переводе Макбета» на русский язык «чародеек» лучше выпустить.

Измученный напевом
Бессмысленных стихов,
Ты спишь под страшным ревом
Актеров и смычков?

(«Послание к Галичу»)

В ужасной темноте пещерной глубины
Вражды и Зависти угрюмые сыны,
Возвышенных творцов Зоилы записные
Сидят — *Бессмыслицы* дружины боевые.
Далёко диких лир несется резкий вой,
Варяжские стихи визжит Варягов строй.

(«К Жуковскому»)

Не дерзал в стихах *бессмысленных* [1]
Херувимов жарить пушками...

(«Бова»)

Но Тредьяковского оставь
В столь часто рушимом покое.
Увы! Довольно без него
Найдем *бессмысленных* поэтов...

(«К Батюшкову»)

Мы выбрали примеры только из лицейской лирики Пушкина. Их можно было бы значительно умножить цитатами из других поэтов. Итак, с одной стороны, «бессмыслица», с другой — «здравый смысл». Не случайно Жихарев называл арзамасцев: «Грозные защитники здравого рассудка». [2]

Эта же антитеза могла реализовываться как противопоставление «слов» и «мыслей». Спор между шишковистами и карамзинистами, с этой позиции, понимался как столкновение защитников пустых *слов* и современных *идей:*

Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.
Славянские слова таланта не дают...

Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье.

(В. Л. Пушкин, «К В. А. Жуковскому»)

[1] Показательно, что к «бессмысленным поэтам» отнесены не только «беседчики», но и предромантик Клопшток (ср. ниже, с. 21).
[2] «Арзамас и арзамасские протоколы», Л., 1933, с. 215.

Не тот к стране родной усердие питает,
Кто хвалит все свое, чужое презирает,
Кто слезы льет о том, что мы не в бородах,
И, бедный мыслями, печется о словах!

(В. Л. Пушкин, «К Д. В. Дашкову»)

Отрицательный пример отождествлялся также с «диким вкусом», отсутствием изящества и благородства стиля. Все это соединялось в представлении о том, что хорошая поэзия — это поэзия понятная:

Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого!
Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого.

(А. С. Пушкин, «Бова»)

Следствием этого было представление о том, что поэтический текст не устанавливает новые, еще неизвестные читателю правила, а реализует уже известные нормы. Совершенство поэтического мастерства — в легкости, а не в затрудненности для читателя. Это, в частности, отделяло карамзинизм и от классицизма: представление о поэзии как трудной науке, овладение нормами которой требует значительных усилий, третировалось как «педантство». Идеалом поэта был не ученый-труженик, знаток-филолог, а беспечный ленивец, иногда светский человек, иногда беглец, покинувший стеснительный свет ради тесного кружка друзей и мирной праздности.

Связь со скептической философией конца XVIII века, сомнение в незыблемости истин, борьба с иерархическим построением культуры, в частности с теорией жанров, отделяли карамзинистов от классицизма. Но как бы мы ни повернули антитезу «классицизм — романтизм», она не покрывает реальной ситуации, сложившейся в русской литературе интересующей нас эпохи. Это тонко почувствовал Кюхельбекер. Касаясь литературных споров 1824 года, он писал: «Явная война романтиков и классиков, равно образовавшихся в школе Карамзина». И далее: «Германо-россы и русские французы прекращают свои междуусобицы, чтобы соединиться им противу славян, равно имеющих своих классиков и романтиков: Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым; Катенин, Г⟨рибоедов⟩, Шаховской и Кюхельбекер ко вторым». [1]

---

[1] «Литературные портфели», Пб., 1923, с. 71—72, 74—75.

* * *

Идеал легкой для восприятия, правильной, незатруднительной поэзии, построенной не на нарушении литературных норм, а на виртуозном владении ими, не мог создать эффектного, поражающего, яркого стиля. Соединение несоединимого — например ритмических интонаций одного жанра и тематики другого — воспринималось как свидетельство плохого вкуса. Пуризм становился нормой литературного вкуса, а внимание критика сосредоточивалось на мелких и мельчайших оттенках. Более точное выражение воспринималось как глубокая мысль; незначительное отклонение, подводящее к грани нормы, — как литературная смелость.

Так, например, характерно одобрение следующего стиха из послания В. Л. Пушкина арзамасцам:

Нет, бурных дней моих на пасмурном закате...

«Вот еще стих, достойный арзамасца: он говорит и воображению и сердцу».[1] Стих построен на мельчайших семантических сдвигах: «дни» в значении «жизнь», а «вечер», «закат» — «старость» представляли собой штампованные и семантически стершиеся перифразы. Присоединение к этому ряду эпитета «пасмурный» активизировало эти значения, заставляя воспринимать компоненты фразеологизма в их реальном лексическом значении. Вносимый в формально-языковое выражение элемент зримой картинности воспринимался как смелость.

Другая особенность стиха — в соединении элегической лексики и синтаксической инверсии, которая была признаком «возвышенной» поэзии. Поскольку оба жанровых вида воспринимались как «благородные» и поэтичные, соединение это не рождало диссонанса, было допустимым, но явственно ощущалось при микростилистическом подходе к поэзии.

Однако у поэтической системы этого типа была еще одна особенность: она не могла существовать и развиваться вне поэтических альтернатив. Если кто-то ценится за выполнение правил, то сама сущность такого подхода подразумевает наличие рядом кого-то, кто этих правил не выполняет. В этом смысле «Беседа» была абсолютно необходима карамзинистам для определения собственной позиции. Это обусловило значение полемики и пародии в литературной жизни «Арзамаса» и одну специфическую трудность: культурный масштаб

---

[1] «Арзамас и арзамасские протоколы», с. 172.

литературных противников «Арзамаса», порой весьма незначительный, оказывался для арзамасцев мерилом ценности их собственной поэзии. Это беспокоило карамзинистов, и жалобы на «ничтожность» занятий, посвященных высмеиванию «беседчиков», вскоре стали всеобщими. К счастью, структура карамзинизма как литературного течения была сложнее его собственной программы, и это обеспечило ему гораздо большую культурную значимость.

Как мы уже отмечали, литературная программа карамзинизма полнее всего реализовалась в его массовой продукции,[1] а давление критики на поэтов неизменно проявлялось в виде стремления к сглаживанию резких черт своеобразия каждого из них. Не случайно Пушкин считал, что влияние записных теоретиков ортодоксального карамзинизма приводит к торжеству посредственности. Он писал Жуковскому: «Зачем слушаешься ты маркиза Блудова? Пора бы тебе удостовериться в односторонности его вкуса».[2]

Но карамзинизм — это не только литературные суждения Блудова и Дашкова или басни Дмитриева, послания В. Л. Пушкина и Воейкова, не только элегии Жуковского и не только то, что полностью соответствовало господствовавшим в «Арзамасе» вкусам. Система нуждалась в контрастах и сама их создавала. Идеалу «здравого смысла» противостояла не только «бессмыслица» беседчиков, но и странность поэтических вымыслов Жуковского — «поэтическая бессмыслица», с одной стороны, и «галиматья», дружеская фамильярная поэзия, сатиры Воейкова, гусарщина Дениса Давыдова — с другой (в кругу этих же представлений осмыслялись послания Долгорукова, «исполненные», по словам Батюшкова, «живости»). Одни из этих произведений были выше суда строгого рассудка, другие — ниже, но и те и другие создавали представление о произведениях, находящихся за пределами теоретической доктрины и образующих мир «поэтической бессмыслицы», к которой неприменимы литературные программы и нормы. «Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения», — писал позже Пушкин.[3] Характеристика «бессмыслицы» первого типа — почти дословное повторение арзамасских упреков шишковистам («и, бедный мыслями, печется о словах»).

---

[1] В этом смысле показательно, что именно Дмитриев, даже в большей мере, чем Карамзин, стал классиком карамзинистов. Столь же показательно стремление Пушкина возвысить авторитет Карамзина-поэта за счет Дмитриева.

[2] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, 1937, с. 167.

[3] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1949, с. 53—54.

В эпоху романтизма и в последующие годы Пушкин неоднократно обращал внимание на разрыв, существующий между «умом» и «поэзией»: «Байрон не мог изъяснить некоторые свои стихи».[1] О грузинской песне он писал: «В ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство»,[2] а говоря о трудности перевода Мильтона, указал на необходимость передачи языка «темного, запутанного, выразительного, своенравного и смелого даже до бессмыслия».[3]

Поэзия «нижнего этажа», поэзия, выключенная из поэзии, всегда занимала в творчестве карамзинистов значительное место. В бумагах Андрея Тургенева рядом с набросками элегий находим наброски поэмы, построенной по всем законам позже культивировавшейся в «Арзамасе» «галиматьи», хотя и одновременно не без влияния травестийной поэзии XVIII века:

Блаженны времена седые,
Когда в пустынях вождь блуждал,
Когда источники златые
Из камня тростию качал,
Когда с небес барашки, каша
Валились в горло предкам нашим,
Кормили gratis их живот,
Когда квадрант остановляли
И сих безумцев уверяли,
Что солнцу «тпру!» сказал их вождь.

О Генрихи! О Людовики!
Петр Третий, Павел, Цесарь, Карл!
Вам снежны летом обелиски
Рабов сонм подлый воздвигал.
Вы много каши наварили
И так ее пересолили,
Что опились мы кислых щей...

Если в этих стихах встречаются и насмешки над Библией, и смелые антидеспотические выпады (поэма, видимо, писалась при жизни Павла I), то рядом с ними находим строки с демонстративной установкой на бессмыслицу. Бонапарт характеризуется так:

---

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1949, с. 53.
[2] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 8, кн. 1, 1938, с. 457—458.
[3] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, 1949, с. 144.

Бессмертну шапку не ломая,
Шандал с поставцем съединив,
Из капли океан глотает
Под тению берез и ив,
Смущенью зайцев веселится,
Жужжанью шершней не дивится
И средь изббранных зыбей
Министров кормит колбасами
И, залепив их рот блинами,
Смеется естеству людей. [1]

В макаронических стихах Долгорукова, в буриме В. Л. Пушкина, в «галиматье» Жуковского проявлялась та же тенденция. Вспомним, в какой восторг привела Вяземского и Пушкина переделка одной из исполнительниц «Черной шали»:

Однажды я сóзвал нежданных гостей.

Вяземский писал Пушкину: «Это сочетание двух слов — самое нельзя прелести!» Пушкин согласился: «Я созвал *нежданных* гостей, прелесть — не лучше ли еще *незванных*». [2]

«Галиматья» имела своих классиков. С этим же связана специфическая слава Хвостова: создаваемые им всерьез произведения воспринимались читателями как классика бессмыслицы. Но при этом за ними признавалась своеобразная яркость, незаурядность. Это были произведения, возвышающиеся, в силу своей нелепости, над уровнем посредственности. Пушкин писал: «Что за прелесть его (Хвостова. — *Ю. Л.*) послание! Достойно лучших его времен. А то он сделался посредственным, как Василий Львович, Иванчин-Писарев и проч.».[3]

Вопрос этот был более серьезен, чем может показаться: механизм «бессмыслиц» представлял собой стилистические и семантические сочетания, запрещенные здравым смыслом и поэтическими нормами. Когда определились контуры романтизма, именно периферия карамзинизма стала восприниматься как наиболее ценное в его наследии. Даже в «бессмыслицах» обнаружилось нечто имеющее серьезную ценность. В частности, в них накапливался опыт неожиданных семантических сцеплений, основа метафоризма стиля. Вспомним, что

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, архив бр. Тургеневых. В дальнейшем ссылки на это архивохранилище будут даваться сокращенно: ПД.

[2] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, 1937, с. 201, 210.

[3] Там же, с. 137.

для Воейкова метафоризм «Руслана и Людмилы» представлял собой бессмыслицу:

«Трепеща, *хладною рукой*
Он вопрошает мрак немой.

«Вопрошать немой мрак» смело до непонятности, и, если допустить сие выражение, то можно будет написать: «говорящий мрак», «болтающий мрак», «болтун мрак», «спорящий мрак», «мрак, делающий неблагопристойные вопросы и не краснея на них отвечающий: жалкий, пагубный мрак!»

С ужасным, *пламенным челом.*

То есть с красным, вишневым лбом». [1]

Метафора, семантический и стилистический сдвиг, которые сыграли столь значительную роль в формировании поэтики романтизма, завоевывали себе место в периферийных жанрах карамзинистов. В рецензии на перевод С. Висковатовым трагедии Кребильона «Родамист и Зенобия» Жуковский писал, что поэтическая выразительность достигается «не одними словами, но вместе и расположением слов». [2] Искусство, построенное на эффекте соположения несополагаемых единиц, было органически чуждо карамзинизму с его культом меры, поэтического приличия, *соответствия*. Поэзия *несоответствия* карамзинизму была чужда. Но культ «соразмерностей прекрасных» (Баратынский) нуждался в дисгармоническом фоне. И фон этот создавался не только «дикой» поэзией литературных противников. Литература, стремящаяся к строгой нормализации, нуждается в отверженной, неофициальной словесности и сама ее создает. Если литературные враги давали карамзинистам образцы «варварского слога», «дурного вкуса», «бедных мыслей», то «галиматью», игру с фантазией, непечатную фривольность и не предназначенное для печати вольномыслие карамзинисты создавали сами. Все это находилось вне литературы и одновременно было для нее необходимо. Так, вопреки всему, создавалось то соположение несополагаемых текстов, которое позволит романтикам, изменив акценты, присвоить карамзинизм себе.

В. Л. Пушкин и А. Ф. Воейков принадлежали к старейшим поэтам в той литературной группе, которая к середине 1810-х годов сплотилась вокруг «Арзамаса». Несмотря на то что каждый из них, как человек и литературный деятель, обладал достаточно яркой инди-

---

[1] «Сын отечества», 1820, № 37.
[2] В. А. Жуковский, Полн. собр. соч., т. 9, с. 125.

видуальностью (а именно своеобразие личности, как показал Г. А. Гуковский, являлось для современников ключом, при помощи которого интерпретировались тексты), творчество этих, весьма различных, литераторов строится по некоторой общей схеме. И именно это обстоятельство позволяет увидеть в такой схеме некоторую типическую для карамзинистов систему организации творчества.

Поэзия В. Л. Пушкина и Воейкова отчетливо членится на две части. Одна — предназначенная для печати — отличалась тяготением к нормативности, ориентацией на стиль и вкусы, господствовавшие во французской поэзии в предреволюционную эпоху. Оба они культивировали «высокое» дидактическое послание, нормы которого в русской поэзии строились в явной зависимости от поэтики XVIII века (в частности, от ломоносовского послания И. И. Шувалову «О пользе стекла»). Если в такое послание вносились социально-обличительные, сатирические или литературно-полемические мотивы, им придавался благородный и обобщенный характер. Известная неопределенность места послания в жанровой системе классицизма делала его идеальной *нейтральной* формой. Н. Остолопов в своем труде, обобщившем среднюю норму литературных вкусов и представлений начала XIX века, писал: «Известно, что каждый род поэзии имеет особенное свойство, как то: ода — смелость, басня — простоту, сатира — колкость, элегия — унылость и пр. Но в эпистоле, которая бывает и поучительною, и страстною, и печальною, и шутливою, и даже язвительною, все роды смешиваются вместе, почему и принимает она тон, сообразный с заключающимся в ней содержанием».[1] При этом, как указывал тот же автор, «сей род поэзии требует для разнообразия пиитических вымыслов, высоких изображений и, вообще, чистого и правильного рассказа».[2] Сочетание этих черт сделало поэтическое послание любимым жанром карамзинистов — это был жанр, привлекавший именно своей неокрашенностью, отсутствием какого-либо жанрового значения, кроме общей семантики поэтического благородства. Воейков присовокупил к посланию описательную поэму — переводил «Сады» Делиля, сочинял описательные поэмы сам и старался увлечь на этот путь Жуковского. Описательные поэмы не случайно возникали в сознании карамзинистов всякий раз, как только речь заходила о необходимости освоить эпические жанры. Не только Воейков, но и В. Л. Пушкин считал автора «Садов» высоким авторитетом и в ответ на упрек

---

[1] Н. Остолопов, Словарь древней и новой поэзии, ч. 1, СПб., 1821, с. 401.

[2] Там же, с. 404.

шишковистов, что он учился «благонравию и знаниям в парижских переулках», восклицал:

Не улицы одни, не площади и домы,
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там знакомы.

(«К Д. В. Дашкову»)

Описательная поэма, как и послание, принадлежала в системе классицизма к допустимым, но не ведущим жанрам и позволяла сравнительно широко варьировать стилистические средства. Поэтому предромантизм воспринял ее вне каких-либо ассоциаций с представлениями о жанровой ценности предшествующей эпохи. Употребление оды, эпопеи, с одной стороны, баллады — с другой, уже само по себе было значимо, определяло позицию поэта. Обращение к описательной поэме, элегии, посланию, басне в антитезе: «классицизм — борьба с классицизмом» не означало ничего. Именно это привлекало к ним карамзинистов старшего поколения. Их стремлениям соответствовала установка на нейтральные жанры, нейтральные поэтические средства, нейтральную стилистику. С этим же, видимо, был связан вызывавший впоследствии недоумение Пушкина культ второстепенных французских поэтов переходной эпохи, чье творчество в равной мере могло связываться и с классицизмом, и с отходом от него: Мармонтеля, Флориана, Делиля, Колардо и других, вплоть до мадам Жанлис, чьи повести усиленно переводились Карамзиным в «Вестнике Европы». [1]

Поэзия, возникавшая на основе тяготения к нейтрально-благородному стилю, умеренности, владения литературными нормами эпохи, должна была воплотить пафос культурности, идею непрерывности успехов человеческого ума, в равной мере противостоявшую и шишковистским призывам вернуться к истокам национальной культуры, и якобинско-руссоистическим лозунгам возвращения к основам

---

[1] Ориентация карамзинизма на среднюю, «массовую» литературу отчетливо проявилась в перечне пропагандируемых имен западноевропейских писателей. Пушкин в 1830-х годах с изумлением отмечал: «Вольтер и великаны не имеют ни одного последователя в России; но бездарные пигмеи и грибы, выросшие у корня дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, M-me Жанлис — овладевают русской словесностью» (Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1949, с. 495—496). Чтимый В. Л. Пушкиным и Воейковым Делиль — непререкаемый авторитет для русских писателей 1800-х годов — был для него «парнасский муравей». Ориентация Пушкина на французскую классику, от Буало до Лафонтена и Вольтера, имела характер бунта против вкусов карамзинизма.

природы человека. В обоих случаях идее *возвращения* противопоставлялся пафос *дальнейшего движения* по намеченному пути, идее полного разрыва со вчерашним днем (ради феодальной утопии возврата к позавчерашнему или радикально-буржуазной утопии построения завтрашнего дня на основе «природы человека») — непрерывность культурного развития.

Однако по таким нормам строилось не все творчество этих поэтов, а лишь его «верхний этаж». Он существовал не сам по себе (в этом случае текст был бы слишком серьезным, лишенным той доли интимности, которая обязательно присутствовала в поэзии карамзинистов), а *в отношении* к той части творческого наследия поэта, которая не предназначалась для печати. Эта вторая часть выполняла своеобразную функцию. С одной стороны, она не входила в официальный свод текстов данного поэта, ее не упоминали критики в печатных отзывах (введение в текст «Онегина» Буянова было сознательным нарушением этого неписаного, но твердо соблюдавшегося поэтического ритуала). Однако, с другой стороны, именно она не только пользовалась широкой известностью, но и была в глазах современников выражением подлинной индивидуальности поэта. Этому способствовало то, что «верхний пласт» сознательно абстрагировался от индивидуальных приемов построения текста — они входили в него против намерений автора, как внесистемные элементы. «Нижний» же пласт должен был производить на читателя впечатление непосредственности (это достигалось отказом от требований, обязательных в официальной литературе). Для следующих читательских поколений, когда эти поэты были преданы забвению и утратилась двухступенчатая иерархия их текстов, возникла задача заново реконструировать поэтику начала XIX века уже как историческое явление. Произошло забавное перераспределение ценностей: систему стали строить на основании наиболее известных произведений — таких, как «Опасный сосед» или «Дом сумасшедших», тем более что они легче укладывались в литературные нормы последующих эпох. С точки зрения такой «системы» наиболее системное для самих поэтов и их современников вычеркивалось как «случайное» и непоказательное. Поэтому послания Воейкова или В. Л. Пушкина, весьма значительные для современников, в историях литературы почти не упоминаются.

«Фамильярные» жанры совсем не были столь свободны от правил — чисто негативный принцип отказа от каких-либо норм вообще не может быть конструктивной основой текста. У них имелась своя поэтика, обладавшая отчетливыми, хотя нигде не сформулированными, признаками. Прежде всего, поэтика их строилась не на нейтральной основе, а обладала ясными признаками *сниженности.* Достигалось

это в первую очередь средствами лексики. Другая особенность состояла в соединении разнородных и несоединимых в пределах «высокой» стилистики структурных элементов. Наиболее часто употребляемым приемом было привнесение серьезной литературной полемики и споров, занимавших писателей на вершинах словесности, в сниженную сюжетную ситуацию.

С широкой задницей, с угрями на челе,
Вся провонявшая и чесноком, и водкой,
Сидела сводня тут с известною красоткой...
...Две гостьи дюжие смеялись, рассуждали
И «Стерна нового» как диво величали.
Прямой талант везде защитников найдет!

(В. Л. Пушкин, «Опасный сосед»)

Третьей особенностью произведений этого типа было изменение авторской точки зрения.[1] В «высокой» сатире авторская точка зрения представала как норма, с позиции которой производится суд над предметом изображения. Она приравнивалась истине и в пределах мира данного текста специфики не имела. В сниженной сатире автор воплощался в персонаже, непосредственно включенном в сюжетное действие и разделяющем всю его неблаговидность. У Воейкова повествователь сам попадает в сумасшедший дом, причем отождествление литературного автора и реального создателя текста проводится с такой прямолинейностью (называется фамилия!), какая в «высокой» сатире исключалась:

И указ тотчас прочтен:

Тот Воейков, что бранился,
С Гречем в подлый бой вступал,
Что с Булгариным возился
И себя тем замарал, —
Должен быть как сумасбродный
Сам посажен в Желтый Дом.
Голову обрить сегодни
И тереть почаще льдом!

Так же характеризуется и повествователь в «Опасном соседе»:

---

[1] О понятии «точки зрения» текста см.: В. Н. Волошинов, Марксизм и философия языка, Л., 1929; Б. А. Успенский, Поэтика композиции, М., 1970; Ю. Лотман, Художественная структура «Евгения Онегина». — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 184, Тарту, 1966.

Проклятая! Стыжусь, как падок, слаб ваш друг!
Свет в черепке погас, и близок был сундук...

Двойная отнесенность этих текстов — к известной в дружеском кругу и уже подвергшейся своеобразной мифологизации личности автора и к его «высокой» поэзии — определяла интимность тона и исключала возможность превращения сниженного тона в вульгарный, как это неизбежно получалось в XVIII веке.

Однако хотя «Опасный сосед» и «Дом сумасшедших» в отношении к «высокой» литературе представляли явления одного порядка, различия между ними были весьма значительны. «Опасный сосед» по нормам той эпохи был произведением решительно нецензурным: употребление слов, неудобных для печати, прозрачные эвфемизмы [1] и, главное, безусловная запретность темы, героев и сюжета делали это произведение прочно исключенным из мира печатных текстов русского Парнаса. С точки зрения официальной литературы, это был «не-текст». И именно поэтому В. Л. Пушкин мог дерзко придавать своей поэме привычные черты литературных жанров: если бой в публичном доме напоминал классические образцы травестийной поэмы XVIII века, то концовка была выдержана в духе горацианского послания. Отдельные стихи удачно имитировали оду:

И всюду раздался псов алчных лай и вой.

Стих выделялся не только торжественной лексикой, концентрированностью звуковых повторов (пс*ов* — *во*й, *ал*чных — *ла*й), особенно заметной на общем фоне низкой звуковой организованности текста, но и единственным во всей поэме спондеем, употребление которого поэтика XVIII века твердо закрепила за торжественными жанрами. Демонстративность этих и многих других литературных отсылок связана была с тем, что давали они заведомо ложные адреса: пикантность поэмы состояла в том, что, несмотря на сходство со многими каноническими жанрами, она стояла вне этого мира и допущена в него не могла быть.

Иным было жанрово-конструктивное построение «Дома сумасшедших». Положенный в его основу принцип, заимствованный у традиции сатирических куплетов (в частности, на нем строились «ноэли»), рассчитан был на устное бытование: текст распадается на отдельные, вполне самостоятельные куски, свободно присоединяе-

---

[1] То, что начальные буквы этих слов обозначены наименованиями из старославянского алфавита, — полемический выпад против «Беседы».

мые друг к другу, и живет лишь в устном исполнении. Непрерывное присоединение новых злободневных куплетов, исключение старых, потерявших интерес, возникновение редакций и вариантов в принципе исключает законченность с точки зрения письменной литературы. Кроме того, неотделимый от ситуации исполнения, от аудитории, определяющей выбор того или иного варианта, текст никогда не может быть адекватно передан в письменном виде. Само понятие «окончательного текста» к нему неприменимо. Воейков, подчиняя эту внелитературную форму задачам создания литературно-полемического текста, вполне сознательно расширял художественный мир современной ему поэзии. [1] Традиция эта прочно укоренилась в сатирической куплетистике. Потребовалась смелость Пушкина, чтобы на основе принципа «бесконечного текста» построить эпическое произведение «Евгений Онегин» — роман, принципиально не имеющий конца.

Соотношение «верхнего» и «нижнего» этажей поэзии проявилось в том, что творчество поэта мыслилось совсем не в виде суммы печатных текстов — оно было неотделимо от салона, быта, аудитории. Вхождение литературы в быт было характерной чертой культуры начала XIX века, в равной мере присущей всем литературным группировкам и течениям: карамзинист В. Л. Пушкин и ярый враг Карамзина П. И. Голенищев-Кутузов в равной мере славились в допожарной Москве как мастера акростихов, шарад и буриме, сливавшие поэзию с салонной игрой; протоколы «Арзамаса», писанные гекзаметрами Жуковским, и «Зеленая тетрадь» Милонова и Политковских были стихами, неотделимыми от атмосферы породивших их кружков, причем неотделимыми совсем в ином смысле, чем это говорится применительно к последующим эпохам. Как философия для кружка Станкевича представляла не один из видов занятий, а обнимала все, составляя основу жизненного поведения, так поэзия начала XIX века пронизывала *все*, размывая завещанную XVIII столетием четкость границ между жизнью и литературой, стихами и прозой. Именно в этой атмосфере бытового поэтизирования, которое можно сопоставить с бытовым музицированием в Германии и Вене XVIII века, родилась лицейская слитность стиха и жизни, определившая столь многое в творчестве Пушкина.

Обязательной оборотной стороной развития бытовой импрови-

---

[1] В исключительных обстоятельствах 1812 года, видимо, стихийно, «Певец во стане русских воинов», задуманный Жуковским как гимн, в духе «Славы» Мерзлякова (традиция восходила к Шиллеру), обрел черты подвижного, текучего, откликающегося новыми строфами на новые события стихотворения. Превращение текстов этого типа в печатные всегда будет в определенной мере условным.

зации был дилетантизм: поэзия начала XIX века неотделима от слабых, наивных дилетантских стихов. Без них не существует и стиховая культура Пушкина и Жуковского, как вершины не существуют без подножий. Дилетантские стихи, слитые с бытом, были характерны для поэтического облика В. Л. Пушкина. У этих стихов была своя поэтика — поэтика плохих стихов, соблюдение которой было столь же обязательно, как и высоких норм для серьезной лирики. Она сохраняла наивность поэтической техники середины XVIII века, подразумевала неожиданные и неоправданные отклонения от темы, продиктованные необходимостью преодолеть трудности, связанные с техникой рифмы. Рифма диктует ход повествования, давая ему порой неожиданные повороты. Техника стиха в этом случае приближается к сочинению на заданные рифмы (см. «Рассуждение о жизни, смерти и любви» В. Л. Пушкина), и поэт, с явной натугой подбирающий рифму, проявляет мастерство изобретательства в соединении ничем по смыслу не связанных слов. Культивируется вольный ямб, но строго запрещается нарушение силлабо-тоники. Показательно, что послание В. Л. Пушкина к П. Н. Приклонскому, первый стих которого обессмертил Пушкин, включив в свое послание к Вяземскому, не вызывало ни у кого протеста — над ним посмеивались как над «нормальным» плохим стихотворением. Послание же его с дороги в «Арзамас» вызвало в этом обществе целую бурю, было осуждено на специальном заседании и повлекло разжалование В. Л. Пушкина из арзамасских старост. В чем причина бурной реакции? Стихотворение было «плохим не по правилам», оно нарушало литературную просодию, употребляя говорной стих, ассоциировавшийся с ярмаркой, и площадной стиль. Неприятие его «Арзамасом» не менее показательно для литературной позиции этого общества, чем его декларации.

Неумелость, известная наивность проникала и в «высокую» поэзию В. Л. Пушкина, уже в качестве внесистемного элемента, придавая стихам связь с личностью поэта, некоторый налет bonhomie, простодушной важности. Иным был тон, окрашивающий поэзию Воейкова. Взятые отдельно, тексты его произведений звучат иначе, чем в общем контексте его творчества, биографии и характера. Но творчество его никогда не было собрано и до настоящего времени полностью не выявлено — Воейков часто пользовался литературными масками, публикуя стихотворения то под именами уже умерших поэтов (так он воспользовался именем А. Мещевского), то вымышляя никогда не бывших. В цензурном ведомстве хранятся его мистификации о якобы уже умерших поэтах Сталинском и других. Биография Воейкова изобилует темными пятнами: какое-то неясное, но ощути-

мое отношение имел он к антипавловскому заговору; неожиданное его появление в Москве и пламенные речи на заседаниях Дружеского литературного общества[1] плохо согласуются со всем, что мы знаем о его дальнейшей деятельности. Не изучена роль Воейкова в войне 1812 года (есть сведения, что он был партизаном), а в дальнейшей биографии драматическое вторжение в судьбу семьи Протасовых и Жуковского заслонило все остальные его поступки. Воейкова мы знаем в основном по мемуарам, оставленным его литературными противниками. Воейков был многолик, и сама игра масками ему, видимо, доставляла удовольствие. Будучи «чистым художником» интриги, он не потому находился в постоянной ожесточенной борьбе, что имел врагов, а напротив, заводил себе врагов, чтобы оправдать жажду конфликтов, питавшуюся огромным честолюбием, неудачной карьерой и завистью.

«Бытовая поэзия» Воейкова уходит корнями в эпиграмму, она питается тем, что в ту эпоху называли «личностями», понятна лишь в связи с событиями, в тексте не упоминающимися, но — подразумевается — прекрасно известными аудитории. Личный намек — основа его поэтики. И современники помнили об этом, когда Воейков являлся им в высоком послании, вещающим от имени истины. И сам Воейков понимал, что разрыв между той личной репутацией, которую он сам себе создает, и его печатным творчеством придает его стихам дополнительные пикантные смыслы. Так, в разгар семейных драм, в которые был посвящен весь круг петербургских литераторов, он печатает трогательные послания к жене, изображая в них себя по литературным канонам добродетельного супруга.

И В. Л. Пушкин, и Воейков выразили характерную черту поэзии начала XIX века: стихи — это еще не все творчество, а лишь его часть. Распадаясь на предназначенную и не предназначенную для печати части, они дополняются поведением поэта, личностью его, литературным бытом, составляя в совокупности с ними единый *текст*.

* * *

Отношение карамзинизма к зарождающейся романтической поэтике составляет один из кардинальных вопросов литературной жизни тех лет.

Русский романтизм многим обязан Карамзину (хотя, конечно, питался и многочисленными иными источниками). Проза периода

---

[1] См.: Ю. Лотман, Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 63, Тарту, 1958, с. 30.

«Аглаи», баллады вроде «Раисы» и «Графа Гвариноса» во многом определили поэтику будущего романтизма. Однако карамзинизм 1800—1810-х годов далеко не абсолютно совпадал с творчеством писателя, чье имя дало название этому направлению, да и сам Карамзин успел к этому времени проделать значительную эволюцию, далеко уйдя от собственного творчества середины 1790-х годов. Новаторство карамзинистов подразумевало *продолжение*, а не *отбрасывание* предшествующей культурной традиции. Эта умеренность не могла вызвать сочувствия молодых романтиков. Не случайно ранние произведения русского романтизма, будь то «Элегия» Андрея Тургенева или «Громвал» Каменева, создавались в недрах литературных группировок, остро критиковавших Карамзина и его школу.

«Элегия» Тургенева принадлежит к наиболее значительным явлениям русской лирики начала XIX века. Она определила весь набор мотивов русской романтической элегии от «Сельского кладбища» Жуковского (конечно, сказалась и общность источника — элегии Грея) до предсмертной элегии Ленского: осенний пейзаж, сельское кладбище, звон вечернего колокола, размышления о ранней смерти и мимолетности земного счастья. Специфичным для Андрея Тургенева было то, что к этому комплексу мотивов он присоединил рассуждение о зле, царящем в общественном мире, и о невозможности найти счастье в самом себе, удалившись от борьбы.

Сами по себе мысли и картины элегии не были уже чем-либо неслыханно новаторским для поэзии тех лет (элегия Грея была широко известна, знал русский читатель и французские элегии эпохи Жильбера, Мильвуа и Парни) — новым было то, что русская поэзия обретала поэтические средства для их выражения.

Андрей Тургенев в «Элегии» выступил как непосредственный предшественник Жуковского в существенном поэтическом открытии — сознании того, что текст стихотворения может значить нечто большее, чем простая сумма значений всех составляющих его слов. При кажущейся простоте стихотворение построено с большим искусством. Особенно важна сложная система звуковых повторов и чрезвычайно интересный интонационный рисунок. Последний достигается неожиданным и разнообразным расположением рифм. Шестистопный ямб, которым написано стихотворение, имел в русской поэзии XVIII века прочную традицию, безусловно, настраивавшую читателя на ожидание парных рифм, что, в свою очередь, требовало определенного синтаксиса и обусловливало сентенциозно-резонерскую интонацию. Стихотворение становилось рассуждением. Тургенев же хотел создать текст-медитацию и сознательно нарушил читательское ожидание: элегия открывается четырехстишием, построенным по

необычной для начала большого стихотворного повествования схеме: AbbA. Однако далее стихи располагаются по еще более редкому в ту эпоху рисунку: ccDeDe, причем мужские и женские рифмы через строфу меняются местами. Эти построения лишь условно можно назвать строфами: графическое членение текста с ними не считается — он разбит на неравные части, причем пробелы порой проходят посреди «строфы». Скорее это строфоподобное нарушение ожидаемой инерции стиха. То, что важно именно чувство нарушения, ясно из следующего: как только инерция шестистишной строфы устанавливается, Тургенев спешит ее нарушить вариантом: aaBaBa, а в середине элегии вообще дает несколько кусков, написанных традиционной парной рифмой. Соответственно возникает гораздо более, чем в традиционном александрийском стихе, вариативная схема синтаксиса и интонаций. Рассуждение сменяется мечтанием, а сложная система сверхлогических сближений и противопоставлений слов создает богатство смыслов, не передаваемых прозаическим пересказом стиха.

Биография Андрея Тургенева, казалось, специально построена была так, чтобы превратиться в романтический миф: гений-юноша, много обещавший и ничего не свершивший, похищенный в расцвете сил внезапной смертью. Однако посмертной канонизации не произошло — русский романтизм еще не был готов к тому, чтобы создавать свои мифы. Сказалась и та поразительная способность забывать, которая была оборотной стороной быстрого исторического движения: события следуют одно за другим с такой скоростью, новые поколения так быстро сменяют друг друга, стремясь не продолжать, а переделывать, что вчерашний день проваливается в небытие. Друзья — а Андрей Тургенев прожил всю свою короткую жизнь в обстановке пламенной дружбы — не выполнили даже простого дружеского долга: намерение собрать и издать произведения покойного поэта так и не было осуществлено, и о нем вскоре забыли. Кюхельбекеру уже пришлось «открывать» Андрея Тургенева и изумляться его таланту.

Забыт был и другой поэт, чья жизнь, казалось, создана была для канонизированного стереотипа поэта-романтика. Александр Мещевский, пансионский знакомец Жуковского, сосланный в солдаты на Урал за неизвестную вину и без какой-либо надежды на прощение,[1] обладавший незаурядным поэтическим талантом, сведенный чахоткой в раннюю могилу, легко мог превратиться после смерти в литератур-

---

[1] Причина этого была достаточно прозаической: самовольная попытка во время войны 1812 года снять мундир была истолкована как трусость и дезертирство. Мещевский, видимо, вызвал личный гнев императора, и все попытки ходатайствовать за него оставались безуспешными. Однако арзамасцам причина ссылки была неизвестна.

ный миф. Но арзамасцы, как их горько упрекал в том Жуковский, предпочитали шуточные ужины с ритуальным съедением жирного гуся; взявшиеся за издание стихов Мещевского Жуковский и Вяземский остыли после смерти поэта, и подготовленный сборник так и остался в бумагах Жуковского.

А между тем Мещевский был поэтом даровитым и интересным. Он представляет собой как бы двойника Жуковского, жестко доводя до предела, до последовательной и безусловной системы то, что у самого Жуковского было усложнено и обогащено непоследовательностями, противоречиями и отступлениями. Мещевский — это Жуковский, выпрямленный по законам канонического Жуковского. В этом смысле он, в определенных отношениях, «удобнее» для историков литературы. Мещевский прежде всего — балладник.[1] Характерно также стремление его ориентироваться на *переводную* балладу, и именно на немецкую. Основные показатели фактуры стиха и стиля также поразительно сходны.

Н. Остолопов очень точно резюмировал нормы русской баллады, сложившиеся под влиянием Жуковского, подчеркнув зависимость ее от немецкого, а не романского понимания этого жанра: «У немцев баллада состоит в повествовании о каком-либо любовном или несчастном приключении и отличается от романса наиболее тем, что всегда основана бывает на *чудесном*; разделяется также на строфы. Хотя Буттверк, их новейший эстетик, и говорит, что содержание таких сочинений должно быть непременно взято из отечественных происшествий, но сие не всегда соблюдается. Сии баллады могут быть писаны стихами всякого размера. Г. Жуковский показал нам удачно написанные образцы русских баллад».[2]

Основываясь на таком определении, следовало бы «Раису» и «Алину» Карамзина, равно как и всю бытовую балладу вообще, отнести к романсам. Национально-героическая тематика объявлялась факультативным признаком баллады. В качестве обязательного признака остается *чудесное повествование*. Баллада воспринимается как повествовательное стихотворение, сюжет которого развивается по за-

---

[1] Мещевский не был эпигоном: незаурядность его таланта — бесспорна. Он, видимо, ясно осознавал насущную потребность для литературы романтизма перейти от баллады к поэме и предпринял в этом направлении не лишенные интереса шаги — превратил в поэмы «Наталью, боярскую дочь» и «Марьину рощу» (см.: А. Н. Соколов, Очерки по истории русской поэмы XVIII — начала XIX в., М., 1952, с. 257). Крайне неблагоприятные условия творчества обусловили неудачу этих попыток.

[2] Н. Остолопов, Словарь древней и новой поэзии, ч. 1, с. 62—63.

конам сверхъестественного, события развязываются в результате вмешательства таинственных, иррациональных сил. Карамзинизм, впитавший в себя культуру европейского скептицизма XVIII столетия, мог принять такой текст только в качестве шутки, игры ума и фантазии. Поэтому, допуская романтическую балладу, он отводил ей место периферийного жанра, литературной игры. Мы уже говорили о том, как осторожен был карамзинизм в признании фантастики. Фантастика связана была с сюжетностью и уже этим противостояла основным структурообразующим принципам карамзинизма, одновременно она создавала мир аномальный и неожиданный.

В дальнейшем в сознании читателей последующих поколений и историков литературы произошло перераспределение понятий: баллада начала восприниматься как высокий и определяющий всю систему жанр, типично карамзинистские жанры переместились на периферию. Трудно судить о том, что представляло собой творчество Мещевского в целом — значительная часть его произведений до нас, видимо, не дошла. Однако мы можем вполне представить себе, каким Мещевский *хотел* предстать перед читателем в том решающем для него сборнике, который готовился им, умирающим от чахотки и солдатчины. Надежда сделать свое имя известным была для него единственным шансом на свободу: два подготовленных им сборника, побывавшие в руках Жуковского и Вяземского, сохранились. Сборники Мещевского — это сборники баллад; один из них полностью переведен с немецкого.

Однако Мещевский не был простой поэтической тенью Жуковского. В его поэзии есть примечательная особенность: легко владея интонациями, введенными в поэзию Жуковским, он часто предпочитает стиль темный, синтаксис запутанный, возрождая поэтику «трудных» лириков XVIII века и перекликаясь с архаистами из лагеря «Беседы».

«Беседа любителей русского слова» давно уже перестала быть тем историко-литературным пугалом, каким она выглядела в трудах ученых прошлого столетия. В ней уже не видят анекдотическое собрание безграмотных и неодаренных литераторов. Программе «Беседы» посвящен ряд капитальных работ, среди которых особенно выделяются труды Ю. Н. Тынянова. И все же сделать некоторые уточнения к существующим историко-литературным концепциям по этому вопросу необходимо.

Идейные истоки «Беседы» были сложны и противоречивы. Интерес к старине, архаическому языку и жанрам, проблеме народности вырастал на основе различных, порой противоположных идейных систем. Однако ни одна из них не ассоциировалась в сознании со-

временников с классицизмом. Более того, если для романтизма классицизм и культура XVIII века представали как старина, которой надо противопоставить новое искусство, то для тех идейных движений, на основе которых выросла «Беседа», XVIII век был веком ложного, с их точки зрения, новаторства, которому следовало противопоставить некоторую исконную традицию.

Защищать традицию можно было с трех позиций. Во-первых, это могла быть реакционно-феодальная оппозиция просветительству. Просвещение XVIII века в основу своей системы положило противопоставление природы и общества. Истинное мыслилось как естественное, антропологически свойственное отдельному человеку. Зло же — синонимом его считалась ложь — имеет общественное происхождение. Одной из реализаций этой основной антитезы была оппозиция «теория — история». Теория, основанная на природе человека, естественнонаучном изучении его существа как отдельной личности, постигает истинные потребности людей, история — лишь печальная иллюстрация длинной цепи заблуждений и злодейств. Прецедент ничего не доказывает, он — скорее предостережение, чем аргумент.

В борьбе с Просвещением защитники феодального порядка ссылались на традицию: именно ею оправдывались сословные привилегии и церковные обряды. Обычаи, сложившийся жизненный уклад, порядок, не объяснимый с точки зрения разума, но утвержденный традицией, поэтизация средневековья в разных концах Европы выдвигались в качестве средства против теорий Просвещения. На этой основе вырастала и немецкая школа права, и казенная народность, культивировавшаяся при дворе Екатерины II (ср. написанные по высочайшему заказу И. Богдановичем «народные» пословицы), и павловский культ рыцарского средневековья. Когда Державин, прославляя Екатерину, писал в «Фелице»:

Храня обычаи, обряды,
Не донкишотствуешь собой... —

он имел в виду все ту же антитезу: «донкишотству» теоретика-просветителя противопоставлялись «обычаи, обряды».[1]

Однако интерес к прошлому мог рождаться и в недрах Просве-

---

[1] Отождествление «донкихотства» с политическим доктринерством, теоретичностью кабинетной революционности входило в словоупотребление той эпохи. Так употреблял этот термин Карамзин. Пушкин в первом наброске статьи о Радищеве характеризовал его как «политического Дон-Кихота, заблудившегося, конечно, но действующего с энергией удивительной и с рыцарской совестливостью» (Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, 1949, с. 353).

щения: прошлое и настоящее можно было рассматривать не как два звена непрерывной цепи, а в качестве крайних, противоположных полюсов. В этом случае прошлое можно было отождествить с «природой», а в настоящем увидеть ее искажение. Кроме того, поскольку просветитель склонен был видеть в трудовой, народной жизни идеал нормального существования, а в народной поэзии — непосредственный голос Природы, интерес к фольклору и древнейшим периодам истории возникал и в кругах Просвещения. Правда, в фольклоре при этом подчеркивалась не художественная ритуалистика, а импровизация, история же неизменно приобретала черты опрокинутой в прошлое утопии. Интерес к античной и древненациональной героике, противопоставление гомеровского мира — именно как демократического — современному свойственны были и Радищеву, и Гнедичу, и Мерзлякову, и Востокову.

Если к этому добавить, что отрицательное отношение к «легкой» салонной поэзии приобретало в этих кругах характер апологии эпических жанров, античных и «народных» размеров и славянизированного языка, то связь поэтики Просвещения и «архаистов» начала XIX столетия, чьи взгляды, таким образом, питались из противоположных источников, становится очевидной. Не случайно в рядах «Беседы» мы находим Крылова и Гнедича.

Однако был и третий источник, который необходимо учитывать, говоря о генезисе интересующего нас литературного явления, — это масонская традиция, идущая от Новикова, А. М. Кутузова, Хераскова, Ключарева, непосредственно повлиявшая на поэтов «Беседующего гражданина» и «Покоящегося трудолюбца», а через Прокоповича-Антонского — на молодое поколение поэтов, связанных в начале века с Университетским пансионом.

Поэтика этого круга была тесно связана с предромантическим эпосом: Клопштоком, Юнгом, Геснером или писателями, популяризировавшимися предромантиками (Мильтон, Беньян). Отношение к легкому стихотворству здесь было резко отрицательным. Поэзии предписывалась нравственно-воспитательная роль, культивировался аллегоризм. Стремление насытить художественный текст философской проблематикой определило то, что Кутузов в прозаических переводах Юнга, Мендельсона (возможно, ему же принадлежат переводы из Геснера в «Утреннем свете»), Херасков и Ключарев в поэзии [1] смело

[1] Ключарев как поэт оценивался в некоторых кругах очень высоко. Карамзин писал Лафатеру: «В господине Ключареве мы имеем теперь поэта-философа, но он пишет немного» («Переписка Карамзина с Лафатером, сообщена доктором Ф. Вальдманом, приготовлена к печати Я. Гротом», СПб., 1893, с. 20).

вводили неологизмы, создавая на основе старославянской лексики самобытную философскую и психологическую терминологию. Поэзия насыщалась архаизмами. Искусству отводилась активная роль в нравственном воспитании человека. Вся всемирная история мыслилась как грандиозная эпопея падения и возрождения человечества, причем путь к общему возрождению лежит через нравственное воскресение отдельного человека. Культуре XVIII века в целом была присуща идея изоморфизма человека и человечества: все свойства человечества заложены в отдельном человеке и всемирная история лишь повторяет судьбу индивида. От этого — многочисленные робинзонады, опыты моделирования свойств человечества на материале судьбы изолированной личности. Поэтому роман XVIII века получил совершенно иной смысл, чем аналогичные жанры последующего столетия. Повествование всегда двупланово: в просветительской литературе двуплановость эта проявляется в том, что бытовой сюжет, рассказывая о конкретных событиях из жизни героя, одновременно повествует о наиболее общих закономерностях человеческой природы. Так построены «Робинзон», «Эмиль», «Новая Элоиза», «Отрывок путешествия в... И*** Т***», «Житие Федора Васильевича Ушакова». Масонское повествование также двупланово, однако смысл этой двуплановости иной: сюжетное повествование — мифологическое или сказочное, чаще всего строящееся как описание *пути*, странствия, — приобретает характер аллегорического рассказа о нравственных исканиях. Одни и те же эпизоды на одном уровне трактуются как элементы сюжетного повествования, а на другом — в качестве деталей утонченного психологического анализа.

Результаты этого двупланового построения были противоположны. В просветительской литературе свойства отдельной личности были заданы — это была склонность к добру и собственной пользе, разумность, красота и тому подобное. Человеческая личность бралась как конечная, нераздробимая единица социума. Исследованию подвергался не человек, а коллизии его общественного бытия.

Если в просветительской литературе сюжетное повествование об отдельной личности или небольшой группе становилось моделью всемирно-исторических событий (рассказ о бунте группы студентов — модель рождения революции в «Житии Федора Васильевича Ушакова» Радищева), то в произведениях масонов повествуется о всемирных событиях (например, крещение Руси во «Владимире Возрожденном» Хераскова), но подлинное значение текста — история воскресения или гибели Человека. Человек перестает рассматриваться как простое целое: душа его — арена борьбы, столкновения противо-

борствующих враждебных сил. Она-то и есть загадочный объект изучения.

Масонская поэзия была пропитана мотивами катастрофизма, кратковременности и греховности жизни. Юнговские мотивы «ночной» души, поставленной лицом к лицу со смертью, с трагической непонятностью человеческого бытия, находили широкий отклик в русских масонских изданиях.

Хотя в философском смысле масонские идеи были основным оппонентом Просвещения (реакционно-правительственный лагерь, как это часто бывало в России, проявил полную теоретическую импотентность и никаких достойных внимания идей не выдвинул), политически они были не реакционными, а либеральными: отвергалась не только революция, но и деспотизм. И деспотизму, и революционному насилию противопоставлялась постепенная эволюция, совершаемая путем просвещения, умственного и нравственного прогресса, деятельной филантропии и самоусовершенствования. В разные моменты напряженной общественно-политической жизни конца XVIII — начала XIX века соотношение масонской и демократической мысли складывалось по-разному: от крайней враждебности до союза в борьбе с деспотизмом и феодальным насилием.

По-разному складывалось отношение названных лагерей к духовному наследию допетровской Руси, причем вопрос этот не отделялся в XVIII — начале XIX века от воззрений на живую православную церковную традицию и стихию старославянского языка, несущую для человека тех лет целый мир культурных и нравственных ассоциаций.

Официальная культура по традиции, шедшей еще от Петра, имела отчетливо секуляризованный характер. От церкви требовалась лояльность и отсутствие собственной позиции во всем, выходящем за пределы узко-обрядовые. Зато здесь она признавалась безусловным авторитетом. Поэтому привнесение элементов православной церковности в политику и общественную идеологию, которое начали практиковать определенные круги в начале александровского царствования, имело характер оппозиции правительству справа и весьма настороженно воспринималось императором.

Литература Просвещения относилась к церковной традиции отрицательно и если могла принять идею бога-разума, то обрядность, в том числе и православную, отрицала. Одновременно европеизированный стиль жизни ослаблял бытовые связи с православной обрядностью (столичный дворянин мог годами не бывать у причастия, даже не по вольнодумству, а просто по лени и нежеланию выполнять утратившие смысл обряды, соблюдение постов в большом петербургском свете уже к началу XIX века считалось неприличным ханже-

ством, не истинной, а показной набожностью), а утвердившийся на вершинах общества обычай проводить начальное образование по-французски — даже Евангелие детям читали во французских переводах — ослабил знание старославянского языка. Уже Сумароков, когда пожелал спародировать стиль Тредиаковского, не смог составить грамотной старославянской фразы. После Ломоносова старославянский язык в сознании образованного дворянина секуляризировался, превратившись в определенный — поэтический — стиль светской речи, причем воспринимался не как язык, а как специфическая лексика русского языка.

Иным было положение в образованных недворянских кругах. Связь с церковной культурой здесь была органической. Ее поддерживали и воспоминания детства (образованный разночинец из крестьян, купцов или мещан — явление в интересующую нас эпоху сравнительно редкое: основная масса рекрутировалась из поповичей), и характер обучения: начального — по церковнославянским книгам,[1] дальнейшего — в семинарии. Показателен анализ старославянского языка Радищева — писателя, стремившегося проникнуть в дух допетровской, в частности церковной, культуры и сделавшего архаизацию языка программой. Анализ убеждает, что знание языка церковных книг не было для Радищева органичным — очень многое из того, что он считал архаизмами, было, по сути дела, неологизмами, невозможными в реальных памятниках.[2] Нормы старославянского синтаксиса в его сознании, видимо, сливались с латинскими в некий единый архаический строй речи.

Но тем более примечателен интерес Радищева к языку и содержанию церковных книг. При этом, если Ломоносов, свободно владевший церковной традицией, игнорировал содержание церковных книг, видя в них лишь источник лексического обогащения языка, то Радищева привлекали сами тексты. Не случайно два из его центральных произведений писаны в форме житий, а в главе «Клин» из всех произведений русского фольклора он избрал духовный стих об Алексее, человеке божием. Радищеву были необходимы образы, проникнутые идеей самопожертвования, героизма, готовности к гибели. Просветитель и гельвецианец, он внутри своей системы находил идеалы общества, построенного на интересах всех и каждого, разумно понятом

---

[1] По церковным книгам учились читать в конце XVIII века и провинциальные дворяне.

[2] Ошибки, свидетельствующие о неорганическом, поверхностном усвоении старославянского языка, допускал и Шишков. Карамзин, в годы работы над «Историей» овладевший им безукоризненно, в молодости спутал «кущу» и «рощу».

счастье отдельного человека. А идеал самопожертвования ему, как позже Некрасову, приходилось искать в мире образов и идей, выработанных церковной культурой.

Все больший отклик эта сторона идейно-литературной программы русского Просвещения находила по мере того, как мысли идеологов получали распространение, проникая в ту разночинно-семинарскую среду, для которой образы эти и языковая стихия были родными, органичными. Так получилась та амальгама европейских идей XVIII века, руссоизма, культа Природы, в конце века уже окрашенного влиянием штюрмерства и молодого Шиллера, гельвецианской этики и древнерусской литературной традиции, церковнославянской языковой стихии и идеала готовности к героической гибели, мученической смерти, почерпнутого из житийной литературы, которая была присуща русскому массовому демократическому сознанию конца XVIII века. Типичным человеком этой среды был П. А. Словцов. Словцов (фамилия его — семинарского происхождения, родовая фамилия — Слопцев, от диалектного названия детали охотничьего вооружения; Слопцевы происходили из крещеных охотников-вогулов) принадлежал к наследственному сибирскому духовенству. Автор его рукописной биографии свидетельствует: «Род «Слопцевых» — так писались дед и отец ученого мужа — один из самых старинных между духовенством Ирбитского края и славился издавна как бы наследственною даровитостию своих членов».[1] Товарищ Сперанского по семинарии, Словцов рано сделался вольнодумцем, поклонником философии Руссо. Прежде чем ему удалось снять рясу, он прошел длинный и мучительный путь инквизиторских преследований. Принадлежащая его перу ода «Древность» — один из наиболее интересных образцов русской вольнодумной поэзии 1790-х годов.

Само слово «древность» употреблено в этом тексте так, что соединяет значение времени (узко — прошедшего времени, но шире — всякого) в семантическом употреблении, свойственном масонским текстам конца века, и истории. Отношение к последней отражает всю сложность решения этой проблемы для просветителя.

В системе культуры всегда выделяется группа текстов высшей авторитетности. На протяжении длительного периода европейской культуры признаком такой авторитетности считалась древность памятника, традиционность его содержания. На этом строилось средневековое чувство текста, которое в XVIII веке продолжало жить в церковной культуре. В антитезе «старое — новое» первое всегда

---

[1] И. Вологдин, Кое-что для биографии Петра Андреевича Словцова. — ПД, архив журнала «Русская старина».

безусловно оценивалось выше. В рационалистической системе положение изменилось — «новое» стало синонимом хорошего. Масонство в этом смысле восстановило средневековую традицию. Убеждение в синонимичности понятий «древность» и «истина» было столь глубоко, что породило многочисленные псевдоархаические документы. Отношение Просвещения к этой проблеме было специфическим. Понятие древнего (исконного) отделялось от исторического прошлого. Второе оценивалось безусловно отрицательно. Ему противопоставлялось «новое», которое, однако, мыслилось лишь как *восстановление* исконного порядка вещей, то есть «древности». Весь этот круг проблем и привлекает автора стихотворения. Он прежде всего отвергает отождествление старины и истины:

Стоит, чтоб оракулом явиться,
Лишь на персях древности родиться.
Разве гений истины слетал
На сосцы вселенной тот лишь термин,
В коем разум, первенец Минервин,
В сирой колыбели почивал?

Из этого делался крайне смелый в своем неприкрытом вольнодумстве вывод: можно ли полагать, что Библия сохраняет авторитетность, когда все меняется (следует характерная ссылка на изменения в космосе, выполненная на уровне астрономии конца XVIII века).

Должно ль, чтоб отцы столпотворенья,
Скрывши темя в сумраке небес
И вися над бездной заблужденья,
На истлевшей вазе древних грез,
Уцелели до всеобща труса...

«Старое» отрицается не только потому, что оно — оправдание для отвергаемых разумом заблуждений. Ведь его же привлекают как обоснование мнимых прав дворянства!

Кто ж присвоит право первородства?
Ты, остаток древния резьбы,
Сын наследственного благородства,
Тщетно режешь старые гербы,
Тщетно в славе предков ищешь тени...

Историческому как отрицательному противопоставляется «древность». Толкование ее несет явные следы поэтики масонов, в особенности —

С. Боброва. Катастрофические картины, соединение мистики с естествознанием, нагнетание антиэстетических образов гниения, гибели, разрушения связывались в 1790-е годы именно с поэтикой Боброва (например, в полемическом предисловии Карамзина к «Аонидам»).

Однако этот налет сочетается в стихотворении с чисто просветительским отождествлением исконно древнего с новым, а позитивного прогресса — с восстановлением исконных норм человеческого общежития. Характерен заключающий стихотворение образ радуги, объединяющий «бывшее — будущее» (не-сущее) в противопоставлении настоящему (сущему). Древность и будущее — царство разума и гения; исторически сложившееся — область предрассудков, религиозных и политических:

Мирна радуга для них явилась,
Половиной в древность наклонилась,
А другой — в потомстве оперлась.

Стихотворение отражает настроения русской прогрессивной интеллигенции конца XVIII века в один из наиболее мрачных исторических периодов. И именно поэтому следует подчеркнуть такую особенность: резко выраженное сочувствие Польше, разорванной европейскими монархами, и в первую очередь Екатериной II. Печатная литература сохранила нам лишь панегирики на взятие Варшавы (осмеянные Дмитриевым в «Чужом толке»), — только литература рукописных сборников могла выразить подлинные чувства, которые испытывала по этому поводу лучшая часть русского общества, — чувства горечи и стыда. Герцен в XIX веке своими выступлениями в защиту Польши, по словам Ленина, «спас честь русской демократии».[1] Строфа в стихотворении Словцова говорит о том же.

Иначе строилось отношение к древнерусской культуре в масонской поэзии. Хотя церковная обрядность и отвергалась масонами и отношения с православной церковью у них были более чем натянутыми (церковники были главными гонителями масонства и доносчиками на него), связи с древнерусской культурой, церковной письменностью в их среде были глубоки и постоянно поддерживались. Интерес этот питался прежде всего убеждением, что истина скрыта в древних текстах. Она дается не путем изобретения нового, а умелым чтением старого. Поиски сокровенной мудрости для масонов складываются из разыскания забытых и утерянных текстов (чем древнее, тем истиннее) и поисков «ключей» к обнаружению скрытого в них

---

[1] «Памяти Герцена». — В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 21, с. 260.

содержания. Сама непонятность документа в этом случае делается привлекательной — она залог наличия в нем тайного смысла.

Идеи кружка Новикова — Кутузова широко проникли в сознание молодежи 1790-х годов, особенно группировавшейся вокруг Московского университета. Они определили лицо таких журналов, как «Покоящийся трудолюбец», «Беседующий гражданин», журналов, которые можно назвать зеркалом массовой, еще не успевшей профессионализироваться литературы той эпохи. Целое поколение русской интеллигенции конца XVIII века: писателей, переводчиков, журналистов, педагогов, преподавателей Невской семинарии и морских офицеров Балтийского флота — выросло в атмосфере идей кружка Новикова — Кутузова.

Однако обстановка конца XVIII века вызвала идейную перегруппировку: с одной стороны, правительственный лагерь и тяготевшие к нему литературные силы, с другой — все группировки, искавшие путей социального, политического, морального возрождения общества. Внутри каждого из лагерей границы размывались и теряли четкость по мере усиления правительственной реакции. В реальной действительности происходили сдвиги и потрясения. В связи с этим менялась функция и общественная оценка существующих идей. Просветительство, бывшее в течение второй половины XVIII века наиболее прогрессивным историческим направлением, обернулось новыми сторонами: стал очевиден утопизм прямолинейно-оптимистического взгляда просветителей на природу человека, раскрылись отрицательные стороны исторического прогресса, резко обострились моральные аспекты политических проблем. Революция в Париже и реакция в России о многом заставили подумать русского человека на рубеже двух веков. В этих условиях деятели Просвещения стремятся найти ответы на новые, выдвинутые историей, вопросы. На протяжении 1790—1800-х годов это выразилось в стремлении пополнить свои воззрения тезисами, идущими из других идеологических систем. Развивается тенденция к своеобразному эклектизму — переходному этапу на пути выработки нового монизма. Частным случаем такого эклектизма было взаимопроникновение просветительских и масонских идей. Типичным героем этой переходной эпохи, отразившим сложное переплетение идей, был Семен Бобров.

Хотя, с одной стороны, поэзия Боброва ярко выражала этот эклектизм (можно добавить к этому отчетливое стремление поэта отвернуться от современной ему поэзии, обратиться к более ранней традиции — Ломоносову и Тредиаковскому), с другой стороны она представала как внутренне единая система. Из разнообразных материалов, само соединение которых оказалось возможным только в силу

особого стечения исторических обстоятельств, Бобров построил внутренне органическую систему, представляющую яркое явление в истории русской поэзии.

В основе поэзии Боброва лежит отрицание того направления, которое выразилось в создании «легкой поэзии». С Боброва начинается русская «поэзия мысли». Понятие «поэзия мысли» определяется не глубиной философских идей (очевидно, что не глубина мысли, не значимость философской концепции позволяет определить Боброва, Баратынского или Шевырева как «поэтов мысли», в отличие от Державина, Пушкина или Лермонтова [1]), а особой авторской установкой на философскую значимость художественного текста. Границы между этими типами текстов снимаются: философия таит в себе поэзию, и поэзия обязана быть философией.

Мысль у Боброва — это неожиданное сближение понятий. Глубокая мысль в поэзии — это мысль поражающая, неожиданная. А неожиданность создается нетривиальными, странными сочетаниями слов и образов. От этого принципиальная *странность* поэзии Боброва. Не удивительно, что, с позиций карамзинистов, это был «дикий» поэт: вся поэтика карамзинизма строилась на выполнении некоторых норм (например, норм «вкуса»), стиль Боброва — принципиальное нарушение норм и правил. Неожиданность семантических сближений фигурировала в качестве риторического приема еще в системе Ломоносова. Это знаменитое «сопряжение далековатых идей». Вообще новаторство Боброва не отрывает его поэзию от культуры XVIII века, а наоборот, парадоксально ее с нею связывает: это нарушение системы, которое ощутительно, художественно значимо лишь до тех пор, пока художественно активна, жива в культурном сознании и представляет ценность сама эта система. Новаторство такого типа всегда комбинаторное: оно строится как новые, до сих пор запретные сочетания в пределах данной системы элементов.

Однако то, что в системе Ломоносова допускалось лишь в одной сфере — метафоризма — и касалось собственно семантической (в лингвистическом значении) области текста, у Боброва возводится во

---

[1] Понимание этого термина как некоего комплимента, характеризующего философскую значимость мыслей поэта, проскальзывает в работах, определяющих как «поэтов мысли» и Пушкина, и Кольцова, и Некрасова. Наше определение «поэзии мысли» приближается к тому, которое дал в ряде работ Е. А. Маймин (см., например, статьи: Державинские традиции и философская поэзия 20—30-х годов XIX столетия. — В сб.: «XVIII век», сб. 8, Л., 1969, с. 127—143; Философская лирика поэтов-любомудров. — В кн.: «История русской поэзии», т. 1, Л., 1969, с. 435—441).

всеобщий принцип. Помимо принципиальной установки на неожиданную, смелую метафору, Бобров вступает на путь сближений, примеров которым мы уже не найдем у Ломоносова: сопрягаются не «далековатые» в семантическом отношении слова, а несоединимые культурные концепции. Так, идея постепенного культурного прогресса истолковывается как одухотворение, победа мысли и духа над материей. Прогресс для народа то же, что самовоспитание для человека. Отсюда и апология Петра I, и трактовка его дела в «Столетней песни. . .».[1]

Он сам себя перееродил,
Чтоб прередить сынов России.

Отсюда общекультурная метафорическая антитеза «свет — тьма» приобретает специфически масонский характер, в соответствии с чем переосмысляется значение деятельности Петра:

Держа светильник, простирает
Луч в мраках царства своего;
Он область нощи озаряет,
И не объемлет тьма его.

Однако вера в прогресс соединяется у Боброва с эсхатологическими представлениями, казалось бы отвергающими ее. Всеобщая гибель миров неоднократно становилась предметом его поэтического изображения:

Взревут горящи океаны,
Кровавы реки потекут,
Плеснут на твердь валы багряны,
Столпы вселенной потрясут.

Не менее характерно другое сближение. Бобров выступает как прямой продолжатель Ломоносова в стремлении создать научную поэзию. Физический мир, его законы и терминология занимают в его стихах наибольшее, после Ломоносова, место в русской поэзии XVIII—XIX веков. Однако физика у Боброва соединяется с мистикой, научное — с таинственным. Космос, в который выводит поэта научная мысль, — это не размеренный и уравновешенный по законам

[1] Идея торжества динамического духа над косной материей, вообще свойственная Фальконе (ср. его «Пигмалиона»), положена в основу знаменитого памятника Петру I.

ньютоновской механики космос Ломоносова, а дисгармоничный, разрушающийся и возникающий, взвихренный мировой поток. Бобров боготворит Ломоносова, но в нем чувствуется приближение эпохи Кювье и Лобачевского.

Идея неизбежности катастроф пронизывала не только космогоническую поэзию Боброва — на ней строится и его политическая лирика. Не случайно Бобров так упорно возвращался к теме убийства Павла I.

Бобров соединяет, однако, не только различные смысловые системы, но и элементы несоединимых стилистических пластов. Сближение одушевленного (и одухотворенного) с неодушевленным, отвлеченно-абстрактного с картинно-вещественным делает его во многом учеником Державина.

Мы сузили бы значение Боброва, отведя ему место только в ряду предшественников «Беседы»: развиваясь параллельно исканиям Державина и Радищева (известно сочувственное внимание последнего к поэзии Боброва), его творчество, через Дмитриева-Мамонова, Кюхельбекера, вело к Шевыреву, в определенной мере — Баратынскому, «поэтам мысли» 1830—1840-х годов.

Как мы видели, истоки поэзии «Беседы» были многообразны и не сводились к какой-либо единой формуле. И все же для современников «Беседа» не была формальным объединением поэтов и критиков, собиравшихся «по разрядам» в державинском доме на Фонтанке. Объединяющим было программное требование создания национальной культуры. Требование это не было изобретением Шишкова и не составляло его монополии: с разных позиций к этой же проблеме обращались и деятели Просвещения, и карамзинисты, и, в дальнейшем, романтики. Однако именно Шишков в своих наступательных, агрессивных, часто переходящих в политический донос писаниях придал ей характер первостепенного общественного вопроса.

Сложность позиции Шишкова была в том, что и сам он, и его противники доказывали, что он архаист, защитник старины, который стремится вернуть Русь к прошлому. На самом деле он был новатором-утопистом, который старины не знал, как не знал он ни церковных книг, ни старославянского языка. Его архаизированные неологизмы, конечно, не имели ничего общего с реальной историей русского языка. Реакционность же позиции Шишкова сообщала его писаниям определенный привкус, не только политический, но и моральный: всячески акцентируя свою оппозиционность (это придавало ему общественную значимость, на которую он не мог бы рассчитывать в качестве покорного царедворца, и, в известной мере, удовлетворяло безмерное честолюбие адмирала-литератора), он, однако, неизменно

становился в полемике в неуязвимую позу официального патриотизма и первым в русской словесности стер грань между критикой и доносом.

Специфика позиции вождя школы заслонила для современников многие интересные опыты и поиски его далеких от доносительства учеников. Наиболее талантливым из них, бесспорно, был Шихматов-Ширинский.

* * *

Одним из наиболее значительных итогов поэзии начала XIX века было создание декабристской лирики — не только как суммы поэтических текстов, написанных членами тайных обществ или людьми, вовлеченными в их орбиту, но и как некоего единого идейно-художественного целого. Декабристская поэзия возникла не на пустом месте. Если не говорить о более глубоких исторических корнях и отвлечься от того, что всякое серьезное историческое движение получает материалы и от многих боковых, порой самых неожиданных источников, непосредственной предшественницей декабристской поэзии была русская гражданская лирика конца XVIII — начала XIX века. Направление это имело своих классиков, таких, как Гнедич, Востоков, Мерзляков. Одной из ярких его фигур был Милонов, который принадлежал к заметным поэтам своей эпохи. Даже злоязычный Воейков в своем «Парнасском адрес-календаре» назвал Милонова «действительным поэтом» (кроме него, в этом чине числились лишь столь ценимые современниками поэты, как Нелединский-Мелецкий, Батюшков, Д. Давыдов и Горчаков; Дмитриев и Крылов находились в чине «действительного поэта первого класса»). Несомненно влияние его на Рылеева, молодого Пушкина. Милонов был ярким и разносторонним поэтом. Современниками он воспринимался прежде всего как гражданский поэт. Гражданская поэзия 1800—1810-х годов представляла своеобразное явление с определенными чертами структурной целостности. Ближе всего его можно поставить в соответствие с архитектурным и общекультурным стилем «ампир». Оба они возникают на основе системы идей и представлений Просвещения. Однако пройдя через эпоху революции конца XVIII века, идеи эти претерпели существенную эволюцию. Если гельвецианская этика счастья, преломленная сквозь призму легкой поэзии, создавала мир условной античности, погруженный в эгоизм счастья и любви, в изящное наслаждение чувственностью, то для очень широкого круга идеологов — от Шиллера до якобинцев — непременным условием «высокого» мира был героизм, который мыслился лишь как самоотвержение, отказ от счастья, готовность к гибели. Этика счастья сменяется идеалом

героического аскетизма. «Естественный человек» продолжает переноситься в античность. Но это не ленивый мудрец, счастливый эпикуреец, а воин, гибнущий в безнадежном бою, гражданин, не признающий деспотизма в век, когда все перед ним склонились. Поэтизация ранней гибели, боевого подвига, самоотречения сделала этот стиль удобным для выражения бонапартистской идеологии. Однако в русской культуре он имел отчетливо гражданский характер. Замена идеала «чувствительности» требованием «героизма» (а именно под этим лозунгом шла критика карамзинизма, начиная с известного выступления Андрея Тургенева в Дружеском литературном обществе) получала недвусмысленно политическую окраску.

Первые же образцы гражданской поэзии начала века: «К Отечеству» Андрея Тургенева, «Слава» и переводы из Тиртея Мерзлякова, «Перуанец к гишпанцу» Гнедича, стихотворения Востокова, Попугаева, Пнина создали определенную литературную традицию. Милонов и Беницкий явились наиболее значительными продолжателями этого направления.

Гражданская поэзия под пером Милонова, Ф. Иванова хотя и связана генетически с нормами, выработанными «старшим» поколением поэтов «ампира», однако и существенно отличается от них: Востокова, Мерзлякова, Гнедича интересовала проблема «подлинной античности». В связи с этим — попытки перенесения на русскую почву античных метров, изучение гомеровского языка и системы образности, проникновение в античный быт. Это приводит к той «обыденной» и учено-археологической трактовке античности, которая характерна для этих поэтов. Античность Милонова или Ф. Иванова значительно более условна, традиционна, зато — более героична. Из метров устанавливается александрийский стих, из жанров — высокая сатира, послание, героида, о специфике которых мы уже говорили. Если поэты первой группы культивировали филологический, ученый перевод, демонстративно давая над текстом метрическую схему (Востоков, Мерзляков) или снабжая его комментариями (Гнедич, Мартынов), то во второй группе вырабатывается традиция псевдоперевода, в которой античный автор, чье имя ставится в заглавии стихотворения, — лишь знак определенной культурной традиции и цензурная условность. Таково фиктивное указание на перевод из Персия в подзаголовке сатиры «К Рубеллию», в дальнейшем перешедшее в рылеевское «К временщику». Возможность «применений» ценится здесь выше исторической точности.

Доведенная до логического конца поэзия гражданственной героики исключала любовную лирику. Однако дистрибутивное отношение между этими двумя видами поэзии сложилось лишь в литературе

декабризма (ср. начало пушкинской оды «Вольность», поэтические декларации Рылеева и В. Ф. Раевского, содержащие принципиальное осуждение любовной лирики). В поэзии Милонова любовная и политическая лирика еще совмещаются в едином контексте творчества. Однако не всякая любовная поэзия оказывалась совместимой с гражданской. В декабристской критике именно элегия воспринималась как главный антипод высоких жанров. Милонов, как в дальнейшем Ленский, предсмертная элегия которого сделана с явной проекцией на милоновские тексты, совмещал в себе гражданского поэта и элегика. Элегия воспринималась как высокая и благородная именно в антитезе поэзии эротической и гедонистической, поскольку могла быть совмещена с этикой самоотвержения, отказа от счастья-удовольствия. От этой позиции шли два пути: к поэзии декабристов — путь предельного сужения поэтической нормы, гражданского, этического и поэтического максимализма, отвергающего все иные художественные пути как «неправильные», — и путь Пушкина с его принципиальной установкой на поэтический синтез, на создание такой художественной нормы, которая в принципе исключала бы возможность «неправильных» культур, стилей или жанров, вовлекая в свою орбиту все новые и новые типы построения текстов.

Такой синтез стал чертой именно пушкинского творчества. На предшествующем этапе ему соответствовало, как мы уже говорили, с одной стороны, резкое разграничение на произведения, которые в системе культуры воспринимаются как «тексты», обладая высокими ценностными показателями, и на те, которые таковыми не являются («не-тексты»), а с другой — представление о том, что в пределах этого, вне литературы лежащего творчества могут создаваться произведения, имеющие политический, групповой или личный интерес. Как памятник групповой внелитературной поэзии особенно интересна «Зеленая книга» Милонова и Политковских. Она представляет собой интереснейший документ той бытовой, слитой с поведением и стилем жизни поэзии, о которой мы уже говорили.

Разрушение поэтики «трех штилей» в России началось рано, так рано, что само существование этой поэтики производит впечатление скорее идеала теоретиков литературы, чем факта художественной жизни. На основании этого историки литературы порой видят в пушкинском синтетизме непосредственное продолжение принципов, восходящих к Державину. С этим трудно согласиться. Дело не в простом разрушении жанровой иерархии — это был первичный и наиболее элементарный процесс. Одновременно происходил глубокий сдвиг в самых понятиях границ литературы, художественного текста и вообще текста. В этом процессе второстепенные, лежащие вне различ-

ных «кадастров» типы текстов сыграли глубоко революционизирующую роль. Не случайно Пушкин проявлял к ним такое внимание.

В этой связи следует остановиться на историко-литературной роли так называемой «плохой» поэзии.

Примечателен постоянный интерес многих крупных писателей к так называемой «плохой» литературе. Известно, что Толстой и Пушкин любили «плохие» романы и много их читали. Стендаль однажды заметил: «В Альторфе, кажется, высеченная из камня статуя Телля, в какой-то короткой юбке, *тронула меня как раз тем, что была плохая»*[1] (курсив мой. — *Ю. Л.*).

В чем же притягательность «плохого» искусства для больших художников? Иногда причину этого видят в том, что в нем непосредственнее, в силу самой наивности, выражена жизнь. Это не совсем точно. Конечно, действительность полнее отражается в Толстом, а не в Поль де Коке. Интерес к плохому произведению связан с тем, что оно *воспринимается* не как произведение искусства, не как отражение жизни, а как одно из ее проявлений. И тем не менее оно не сливается с фактами предметного мира, вызывая именно эстетическое переживание. Способность эстетически переживать нехудожественный текст всегда является свидетельством приближения глубоких сдвигов в системе искусства.[2] За развитием внелитературной литературы в 1800—1810-х годах последовало мощное вовлечение ее в литературу и перестройка всей системы словесного искусства. В этом процессе тексты типа «Зеленой книги» Милонова сыграли знаменательную роль.

* * *

В недрах «гражданской лирики» 1800—1810-х годов зарождалась декабристская поэзия. Процесс этот был сложным и противоречивым, как и сам генезис декабристского движения. Если эволюция декабристской поэзии не представляется нам до конца ясной, то тем более туманным оказывается вопрос вычленения преддекабристской и раннедекабристской стадий. Прежде всего следует учитывать, что, если в эпоху зрелого декабризма его поэтическая система представляла собой структурное целое, то на более ранних этапах это в принципе было невозможно. Декабристская поэзия возникла из сложного соотнесения, взаимовлияния многих литературных систем более раннего этапа. С одной стороны, происходило взаимооплодотворение

---

[1] Стендаль, Собр. соч., т. 6, Л., 1933, с. 293.

[2] Ср. аналогичные утверждения в ряде работ В. Шкловского 1920-х годов, посвященных проблеме очерка и мемуаров.

гражданской поэзии и карамзинизма, с другой — аналогичный процесс протекал на рубеже, отделяющем ее от шишковистов. В массовой литературе 1810-х годов интересным представителем первой тенденции был П. А. Габбе, второй — М. А. Дмитриев-Мамонов.

Если говорить о соотношении раннедекабристского движения и дворянского либерализма 1810-х годов, то рубеж здесь часто будет пролегать не в области идеалов и программных установок, а в сфере тактики. Однако это происходит не потому, что между тактикой и общественными идеалами нет связи, а как раз напротив, поскольку именно тактика — наиболее чувствительный барометр для измерения тех внутренних, спонтанных изменений в области общественных идеалов, которые еще не получили определения в терминах программы и не стали фактом самосознания данной общественной группы.

В поэзии проблемы тактики сказываются двумя способами. С одной стороны, она определяет этический аспект системы. Не случайно драматургия Шиллера, в которой теория революционной борьбы анализировалась прежде всего с этической точки зрения, стала для европейской литературы первой трибуной для обсуждения проблем тактики. С другой — речь должна пойти об изучении общественного функционирования текста. Тексты, предназначенные для печати, альбомной записи, публичной декламации, агитации среди непосвященных или тайного чтения в кругу единомышленников, конечно, будут строиться различным образом (хотя в принципе не исключена возможность различного тактического использования одного и того же текста). Однако характер использования текста органически связан с типом организации коллектива, в котором этот текст функционирует. Так устанавливается система тех общественных связей, которые актуализируются в связи с литературным преломлением проблемы тактики.

Салон с его критерием «дамского вкуса», альбом, в сфере печати — альманах, игровое отношение к тексту — таковы были основные показатели бытования поэзии у карамзинистов. Просвещение XVIII века в принципе отвергало тактику. Адресуясь к идеальному человеку и полагая, что собственный эгоизм должен привлекать людей к истине, оно не стремилось приноравливаться к читательским вкусам и уровню сознания. Единственная тактика состоит в вещании полной и абсолютной истины, то есть в отсутствии тактики. Однако в условиях политической реакции и полицейских преследований следовать по этому пути было невозможно. После процесса Радищева, в обстановке правительственного террора, особенно в среде свободомыслящих разночинцев, остро чувствовавших разрыв между своим уровнем культуры и политической беззащитностью перед лицом

дворянской государственности, возникло то разделение текстов, создаваемых для «своего» кружка и для употребления за его пределами, о котором писал Словцов:

Народу подлому довлеет быть рабом,
Ты, гордый мыслью, будь тиран предрассуждений...

...Носи личину в свете,
А филосóфом будь, запершись в кабинете.

Возникают тесные кружки единомышленников, тщательно скрывающих свою внутреннюю жизнь от непосвященных. Если такой кружок издает журнал, то напрасно искать на его страницах программные декларации. Публикация становится лишь знаком, свидетельством существования. Но самое значительное не предназначается для печати. Если не учитывать этого, то останется непонятной роль в глухое время реакции 1790-х годов такого издания, как «Муза». Многие поэты, известные нам лишь «внешней» стороной творчества, рисуются, видимо, совершенно в ином свете, чем современникам. Так, нам сейчас трудно понять, почему Батюшков, создавая план истории русской литературы, поставил Е. Колычева в один ряд с Радищевым и Пниным. Однако у него, видимо, были для этого достаточные основания.

В начале века, в условиях бóльшей литературной свободы, писательские союзы легализировались. Необходимость конспирировать, скрывая самый факт дружеских встреч, отпала. А те политические идеалы, которые по самой своей сути требовали бы конспирации, еще не выработались. В этих условиях возникло два типа писательских объединений. Одни из них назывались «вольными» (этим подчеркивался неофициальный, партикулярный их характер); их организация регулировалась, как правило, уставами и утвержденными процедурами, в своей структуре они копировали официальные «ученые» общества и, как правило, были связаны с университетами или министерством просвещения. Их причисляли к «ученому сословию», членство в них отмечали на титулах книг и в официальных бумагах. Другие именовались «дружескими» и имели значительно менее оформленный характер. Цементом в них было личное дружество, а заседания носили более интимный характер.

Культ дружбы, которому эти кружки уделяли много внимания, стал для них определенным организационным принципом. От членов кружка еще не требуется политического единомыслия — их сплачивает дружба (для декабристской организации будет характерно единство дружеских и политических связей, а в 1830—1840-е годы

типичной будет ситуация разрыва долголетних дружеских связей по идейно-политическим соображениям). Дружба — это уже не только успевший опошлиться литературный мотив, это — определенный тип организации, такой, при котором игнорируются служебные различия, богатство — все связи, господствующие в социальном мире.

«Вольные» общества, если принимали прогрессивную окраску, вбирали в себя, как правило, деятелей, стремившихся споспешествовать благим намерениям правительства по распространению просвещения или же возлагавших заботу о прогрессе культуры на общественную инициативу. «Дружеское» общество объединяло либо тех, кто был вообще глубоко равнодушен к политике, предпочитая литературные забавы «иль пунша пламень голубой», либо политических конспираторов, лелеявших в полуразвалившемся доме Воейкова у Девичьего монастыря в притихшей Москве 1800 — начала 1801 года планы убийства тирана Павла. В годы Отечественной войны дружеское общество окрасилось в тона бивуачного братства, а в послевоенные дни приобрело характер «офицерской артели» — дружеского союза молодых холостяков-офицеров, ведущих скромное общее хозяйство и поглощенных совместными усилиями по самообразованию и выработкой планов грядущего преобразования России.

Не случайно, что пока тактика «Союза благоденствия» подсказывала мысль о просачивании в легальные общества с целью подчинения их общим идеалам тайной организации, пока в основу клалась мысль о давлении на правительство, а не о бунте против него, именно «вольные» общества привлекали внимание декабристов. Однако конспиративные объединения вырастали на основе традиции, идущей от «дружеских» обществ (другим, хорошо изученным, источником была масонская конспирация). Соответственно эволюционировала тема дружбы и жанр дружеского послания в литературе. Конечный этап этой эволюции — послание Пушкина В. Л. Давыдову из Кишинева в Каменку. Здесь интимность превратилась в тайнопись, а язык дружеских намеков — в язык политической конспирации.

Послание П. Габбе к брату — типичный образец «военного» дружеского послания: атмосфера дружбы в нем истолковывается как специфическая черта боевого братства. Обилие намеков на те случаи и обстоятельства, конкретные эпизоды, которые читателю заведомо неизвестны (автору приходится вводить прозаические примечания), создает поэтическую атмосферу замкнутости, особого мира, доступного лишь посвященным. Это мир боевого братства, веселья, опасности и смелости. Достаточно вспомнить, что стихотворение писалось в эпоху аракчеевщины, под непосредственным впечатлением варшав-

ских порядков, установленных цесаревичем Константином, вспомнить, что в основе бунта, душой которого был Габбе, лежало сопротивление проникнутых поэзией боевой вольности офицеров духу казармы, фрунта и доноса, чтобы понять, что смысл этого стихотворения политически далеко не нейтрален.

Не менее знаменательна элегия «Бейрон в темнице». Взятый в отрыве от конкретной ситуации, текст может восприниматься как романтическая элегия, посвященная теме гонимого поэта, в духе «Умирающего Тасса» Батюшкова. Однако для современников элегия проецировалась на судьбу самого поэта, заключенного в крепость, приговоренного к смертной казни, которая была потом заменена разжалованием в солдаты. А способ распространения — тайное размножение на гектографе — придавал традиционному тексту совершенно новую, уже политическую, функцию. Однако то, что «декабризм» стихотворения заключался не в его тексте, а во внетекстовых связях, позволило его, уже окруженного конспиративным ореолом, провести через цензуру и опубликовать в «Московском телеграфе» (видимо, при посредничестве П. А. Вяземского). Весь этот эпизод хорошо вскрывает механизм перехода текстов из преддекабристской сферы в декабристскую.

Поразительная и загадочная судьба графа М. А. Дмитриева-Мамонова долгое время не привлекала исследователей. Поэзия его также не была предметом рассмотрения. Однако в истории формирования политической лирики начала XIX века его стихи занимают особое место. Перед тем как стать политическим конспиратором, Мамонов прошел школу масонства, и это отразилось на стиле его ранних стихотворений, которые и публиковались в масонском журнале — «Друге юношества» Максима Невзорова. Однако уже в этих стихах было нечто, решительно противоположное идеям масонов: это романтический культ гениальности, поэтизация великого духа, преобразующего мир. Но еще более интересен дальнейший путь Мамонова как поэта и публициста. Основанная им декабристская организация «Орден русских рыцарей», в отличие от «Союза благоденствия», имела строго конспиративный, заговорщический характер. Все движение члена общества внутри организации мыслилось как постепенное восхождение, причем лишь на последней ступени цели и задачи «Ордена» делались ему известными в полной мере. Соответственно на всем пути его сопровождали литературные тексты: при вступлении читалось «Краткое наставление Русскому Рыцарю», [1] содержащее лишь

[1] Текст см.: «Вестник Ленинградского университета», 1949, № 7, с. 113.

общие призывы, выраженные риторической прозой, затем из степени в степень ему внушались программные положения, зашифрованные в эмблематике и аллегориях, заимствованных из масонского ритуала. И лишь на высшей ступени программа излагалась открыто. Публикуемое в настоящем сборнике стихотворение в прозе представляет собой такое изложение общеполитических целей «Ордена».

* * *

Одной из характерных черт литературы начала XIX века была ее пестрота и неустойчивость: литературные группировки возникали и распадались, некоторые литераторы примыкали к нескольким кружкам одновременно, другие не входили ни в какие. Литературная критика еще не играла в жизни художественной словесности той роли, которая ей стала свойственна двумя десятилетиями позже. В этих условиях потребность объединить, синтезировать многоликую картину литературной жизни удовлетворялась самой поэзией. Если в 1830-е годы поэзия мыслилась как объект истолкования, в качестве же истолкователя выступала критика, переводившая поэтические тексты на язык идей, то в начале века положение было иное: труд оценки и истолкования также доставался поэту. В этом отчетливо сказывалась традиция классицизма, выработавшего особый тип метапоэзии, поэзии о поэзии, образцом которой явилось «Поэтическое искусство» Буало. Именно в эту эпоху выработался жанр историко-критического обзора в стихах, уснащенного именами, отточенными формулировками оценок и характеристик. Однако между поэтами эпохи классицизма и интересующего нас периода, создающими поэзию о поэзии, была существенная разница: первые опирались на единую и разработанную теорию и поэтому могли создать стройную и мотивированную классификацию. Более того: именно теоретические положения, высказанные в форме стихов, составляли основную прелесть этих произведений. Вторые имели перед собой разноречивые теории, а вошедшие в критический обиход критерии «хорошего вкуса», «мнения прекрасных читательниц», «изящества» в принципе предполагали, что та или иная критическая оценка покоится на непосредственном чувстве тонкого ценителя и не проверяется «педантским» теоретизированием. Это придало поэтическим «кадастрам» этой эпохи особый вид.

Единство поэзии в текстах такого типа достигалось не созданием объединяющей концепции, а построением единой ценностной иерархии. Акцент переносился не на мотивировку оценки, а на порядок расположения имен. Последовательность, место, которое отводилось

тому или иному поэту в общем перечне, становилось мерилом его ценности. Активными были и другие средства: приравнивание к тем или иным именам из истории мировой поэзии, поскольку иерархическая ценность Виргилия, Расина или Лафонтена считалась установленной. Значимыми становились умолчания (Карамзин в стихотворении «Поэзия» демонстративно умолчал обо всех русских поэтах, выразив с предельной ясностью свое юношески-бунтарское к ним отношение) или перемещение того или иного литератора выше или ниже обычно отводимого ему ранга. Не меньшую роль играли пространность оценки и ее тон.

Стремление построить поэтическую иерархию невольно приводило на память табель о рангах и адрес-календари. То ироническая, то серьезная ориентировка на эти тексты сквозит и в поэтических обзорах, и в статьях критиков, и в сатирах. Этот же принцип наличествует и в композиции поэтических антологий тех лет. Поэты располагаются по рангам; количеству строк в поэтическом обзоре в этом случае соответствует количество включенных в сборник текстов. В настоящий сборник включено несколько поэтических «кадастров» этого типа (самый пространный — «Послание к Привете» А. Палицына). Будучи дополнены перечнями имен, упоминаемых в критических статьях, оглавлениями антологий и списками стихотворений, переписывавшихся в альбомы, они дали бы картину оценки литературы читателем-современником и поэтами той эпохи, картину весьма отличную от привычных данных истории литературы.

Можно было бы напомнить, что когда Жуковскому в трудных условиях Тарутинского лагеря надо было, находясь в гуще еще незавершенных событий, обобщить разнородные патриотические усилия деятелей 1812 года, он соединил жанр героического гимна («Песнь к Радости» Шиллера, «Слава» Мерзлякова) с традицией поэтического перечня: порядок упоминания имен, количество «отпущенных» тому или иному лицу строк, тон упоминаний и самые умолчания позволили Жуковскому в очень щекотливых условиях выразить точку зрения штаба Кутузова и кружка молодых поэтов, группировавшихся вокруг походной типографии.

Поэтические перечни почти всегда полемичны. Иерархия оценок, степень подробности, трудно уловимые для нас нюансы формулировок остро воспринимались современниками, поскольку утверждали тот или иной групповой взгляд на литературу. В этом смысле следует выделить публикуемые в настоящем сборнике пародийные послания Галенковского и сатиру неизвестного автора «Галлоруссия». Они интересны тем, что дают «третью» по отношению к полемике карамзинистов и шишковистов точку зрения. Галенковский, печатавшийся

в «Северном вестнике» и близкий в эти годы к Мартынову, выразил позицию «гражданской» поэтической школы, для которой обе полемизирующие точки зрения были неприемлемы. Сатира «Галлоруссия» интересна тем, что дает читательскую — далекую от профессиональности и цеховых оценок — точку зрения на литературу в момент сразу после окончания войны 1812 года, когда ощущение необходимости новых литературных дорог стало всеобщим.

* * *

Вершин не существует без подножий — Жуковского и Пушкина нельзя понять (и, главное, почувствовать) без окружавшего их литературного «фона». Дать читателю такой «фон» и призваны тома Большой серии «Библиотеки поэта», аналогичные публикуемому. Однако при этом необходимо подчеркнуть одну особенность — литературный «фон» противостоит «вершинам» еще по одному признаку. В общей иерархии систем, составляющих понятие культуры, они располагаются не в одном ряду. Литературный «фон» по своей природе не может быть чистой литературой. Он гораздо теснее связан с читательским восприятием, бытом, пестрым потоком окружающей жизни, гораздо труднее вычленяется в чисто словесный ряд. Свести его без заметного остатка к цепи «произведений» (что характерно для исторического восприятия «высокой» литературы) почти никогда не удается.

Достаточно рассмотреть авторов, включенных в предлагаемый сборник, чтобы убедиться, что идеологические и историко-литературные классификации лишь отчасти объясняют реальное расположение сил в глубине литературной жизни конца XVIII — начала XIX века. Немалую роль сыграют дружеские связи, определяемые порой довольно случайными причинами, симпатии, вызванные общностью социальных эмоций, типом воспитания, службой. Понятия «поэты, связанные с Московским университетским пансионом» или «поэты Санкт-Петербургской духовной семинарии», будут вполне ощутимой реальностью. Чем дальше от литературных «вершин», тем труднее построить покоящуюся на единых логических основаниях всеобъемлющую классификацию. Трудность эта — не результат ошибок исследователей, она отражает специфику изучаемого явления. Это еще одна сторона, делающая массовую литературу интересным объектом для исследователя.

Когда мы противопоставляем поэтов «Беседы» арзамасцам, мы имеем дело с классификацией, основанной на общности литературной позиции и организационной принадлежности. Выделяя же поэтов

Дружеского литературного общества, мы базируемся только на признаке участия в общей организации, дополняя его другим фактором — дружескими связями. В группе «тобольских» поэтов — Сумарокова, Смирнова, Бахтина — объединяющим будет принадлежность к одному, в достаточной мере расплывчатому провинциальному культурному «гнезду». Порой объединяющим фактором будет выступать журнал («Иртыш, превращающийся в Иппокрену», «Муза» и др.). Когда мы рассматриваем поэтов, группировавшихся в 1810-е годы вокруг Мерзлякова (Буринский, Грамматин, Ф. Иванов), то общность их будет определяться только дружескими связями, единством социальных симпатий и судеб. Все это будут профессионалы-интеллигенты, бедняки, часто разночинцы, втянутые в культурный ареал московского университета. Объединение же поэтов «преддекабристской группы» будет покоиться лишь на определении общности *места* в историко-литературном процессе. Наконец, многие поэты будут включены в несколько классификационных клеток (Милонов, Воейков), а рядом будут заметны фигуры, стоящие вне каких-либо объединений: Анастасевич, Варакин. Закономерности их развития целиком определены их принадлежностью к недворянской культуре переходного времени и индивидуальными особенностями их судьбы.

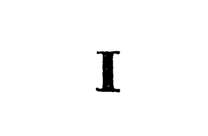
На массовой литературе особенно ярко видно, что история искусства — это история людей, его создающих. И в связи с этим необходимо отметить еще одну сторону вопроса. Кюхельбекер писал:

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию.

(«Участь русских поэтов»)

На массовой литературе это видно особенно ярко: ссылки, политические преследования, объявление сумасшедшим, разжалования в солдаты, преждевременная смерть от чахотки, запоя, нищеты — таковы «биографические обстоятельства» десятков русских поэтов, публикуемых в настоящем сборнике. Еще более частая форма удушения таланта — лишение его минимальных условий для развития. Многие второстепенные и третьестепенные поэты — это поэты, которым не дали сказать в полный голос свое поэтическое слово. И в изучении забытых биографий судьбы русской культуры раскрываются порой в не менее захватывающей и драматической форме, чем в высших творческих достижениях гениев.

Ю. Лотман


I

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СЛОВЕСНЫХ НАУК

Общество друзей словесных наук, объединение молодых петербургских литераторов, возникло около 1784 года под организационным и идейным влиянием московского масонского кружка Н. И. Новикова, И. Г. Шварца и А. М. Кутузова, испытав сложное воздействие моралистических учений, пропаганды просвещения, политического либерализма и утопических надежд на всеобщее преображение человечества. Вступление в Общество молодых литераторов-разночинцев и младших офицеров флота окрасило его заседания в своеобразные тона. В обстановке общественного подъема 1788—1789 годов члены Общества были, видимо, настроены решительно, что, может быть, не случайно, совпало с вступлением в него А. Н. Радищева. Наиболее активными членами были М. И. Антоновский, С. С. Бобров, С. А. Тучков, К. А. Лубьянович, С. С. Пестов, А. М. Вындомский. Тесно связанное с деятельностью Радищева, Общество оказалось вплетенным и в биографию Пушкина: С. А. Тучков был «братом» Пушкина по кишиневской ложе «Овидий» и, вероятно, одним из источников сведений поэта об авторе «Путешествия», А. М. Вындомский — отцом П. А. Осиповой-Вульф. Бумаги его, ныне утраченные, хранились в Тригорском и могли быть в поле зрения Пушкина. Первое точное упоминание Общества встречается в переписке его организатора М. И. Антоновского и Г. Р. Державина (1786). В 1789 году Общество издавало журнал «Беседующий гражданин», в последней (декабрьской, вышедшей, видимо, весной 1790 года) книжке которого опубликована статья Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». Видимо, в связи с арестом Радищева Общество прекратило существование, хотя известия о репрессиях против его членов документально не подтверждаются.

После распада Общества большинство членов поспешило покинуть Петербург. Общелитературную известность приобрели два его члена: С. С. Бобров и С. А. Тучков.

С. С. БОБРОВ

Семен Сергеевич Бобров родился около 1763 года в Ярославле, в семье священника. Поступив в девятилетнем возрасте в духовную семинарию, он в 1780 году переходит в гимназию при Московском университете, а в 1782 году становится студентом.

Бобров был членом Дружеского ученого общества и Общества университетских питомцев. Он участвует в издательской деятельности Н. И. Новикова, активно сотрудничает в масонском журнале «Покоящийся трудолюбец».

Окончив в 1785 году университет, Бобров переехал в Петербург и в 1787 году «был определен в канцелярию сената к герольдмейстерским делам».[1] Здесь он сначала сотрудничает в журнале «Зеркало света», а затем примыкает к Обществу друзей словесных наук, во главе которого стоял давний знакомец Боброва по университету М. И. Антоновский. Членами Общества были также знакомые Боброву по Москве П. П. Икосов и С. А. Тучков. В 1789 году общество издавало журнал «Беседующий гражданин». Бобров становится одним из самых деятельных его сотрудников и принимает участие в полемике своего журнала с «Почтой духов» И. А. Крылова, напечатав в «Беседующем гражданине» переведенную с английского статью «Пустые бредни о духах».

В марте 1792 года Бобров переходит на службу в Черноморское адмиралтейское управление к адмиралу Н. С. Мордвинову и надолго покидает Петербург. Можно полагать, что этот отъезд связан со зловещими событиями начала 1790-х годов: арестом Радищева, закры-

---

[1] Послужной список коллежского асессора Семена Боброва. — Центральный государственный исторический архив (Ленинград) (в дальнейшем — сокращенно: ЦГИАЛ).

тием Общества друзей словесных наук, громким процессом Н. И. Новикова.

На юге России Бобров провел около десяти лет. Он служил в Николаеве и совершал частые служебные поездки по всему южному краю, побывал в Крыму, посещал Херсон, Керчь, Николаев и Одессу. Поездка с Мордвиновым в Крым послужила толчком к созданию одного из самых значительных произведений Боброва — поэмы «Таврида». В эти годы Бобров почти не печатался, хотя работал очень интенсивно: позднее им было опубликовано множество стихотворений, написанных в этот период. Возможно, молчание Боброва было вынужденным. Во всяком случае, на него счел нужным обратить внимание читателей рецензент собрания сочинений Боброва, его давний почитатель И. И. Мартынов: «Ежемесячное издание, известное под названием «Беседующий гражданин», украшается несколькими его стихотворениями, которые имеют на себе печать истинного гения... К сожалению любителей поэзии, сей стихотворец долго после того молчал». [1]

Около 1800 года Бобров, вероятно вместе с Мордвиновым, возвращается в Петербург, где становится переводчиком адмиралтейств-коллегии, а затем переводчиком в «Комиссии составления законов» (1804).

Последние годы жизни Боброва отмечены участием в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств. Он помещает свои произведения в журналах активных членов общества: И. И. Мартынова («Северный вестник», «Лицей»), А. П. Беницкого и А. Е. Измайлова («Талия» и «Цветник»). 19 октября 1807 года Бобров единогласно был принят в члены Общества.

В 1807—1809 годах выходит из печати одно из последних произведений Боброва — мистико-аллегорическая философская поэма «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец», которая окончательно упрочила за Бобровым среди противников поэта славу малопонятного тяжелодума.

Нет спора, что Бибрис богов языком пел,
Из смертных бо никто его не разумел, —

откликнулся эпиграммой вместо некролога на смерть Боброва Вяземский.

Здоровье Боброва после возвращения в Петербург было, видимо, сильно подорвано. Он много пил, о чем свидетельствуют, в частности,

---

[1] «Северный вестник», СПб., 1804, № 4, с. 32.

эпиграммы его многочисленных литературных противников, которые прозвали его Бибрисом (от лат. bibere — пить):

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

(К. Н. Батюшков)

Умер Бобров от чахотки в большой бедности в 1810 году. Университетский товарищ Боброва П. П. Икосов сообщил в некрологе некоторые подробности его кончины: «Болезнь его сначала имела медленное нашествие; сильный кашель только его обременял... потом такая осиплость в горле появилась, что сострадательно было на него смотреть, если он хотел что с чувством выразить. В таком положении г. Бобров был месяца четыре или более, а недели две перед кончиною слег в постель и открылось у него гортанью кровотечение... на 22 марта около трех часов ночи после спокойного сна пустилась вдруг кровь как бы из всех сосудов разом, и тут смерть восторжествовала, сразив больного на руках супруги». [1]

Последняя его книга «Древний российский плаватель» была издана в 1812 году посмертно «в уважение усердной службы и честного поведения сего чиновника и бедности оставшегося по нем семейства». [2]

Основные издания сочинений С. С. Боброва:

Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе. Поэма в стихах, Николаев, 1798.

Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, браноносных и мирных гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов Семена Боброва, чч. 1—4, СПб., 1804 (ч. 4 — «Херсонида»).

Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец. Поэма в стихах, чч. 1—2, СПб., 1807—1809.

---

[1] «Друг юношества», 1810, № 5, с. 125.

[2] «Записки гидрографического департамента», ч. 8, СПб., 1850, с. 446.

1. ЦАРСТВО ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ

Еще вкруг солнцев не вращались
В превыспренних странах миры,
Еще в хаосе сокрывались
Сии висящие шары,
Как ты, *любовь*, закон прияла
И их *начатки* оживляла.
Как дух разлившись в их ростках,
Могущество твоей державы
От древности свои уставы
Хранит доселе в сих мирах.

Из бездны вышедши ужасной,
Собор небесных сих светил
Был *смесью* вновь бы несогласной,
Когда бы ты лишилась сил;
Ты, зыбля стрелы воспаленны,
В пределы мещешь отдаленны.
Огонь столь много их кует,
Что ты творенье всё пронзаешь,
Когда всемощно пролетаешь
Великий свет и малый свет.

Миры горящи соблюдают
Закон твой в горней высоте;
Вертясь вкруг солнцев, побуждают
Чудиться стройной красоте.
Не ты ль их водишь хороводом?
Не ты ль их правишь мирным ходом?
Коль в седьмитростную свирель
Спокойный тамо *Пан* играет,
То не тебя ль изображает,
С согласьем выражая трель?

Не ты ль в природе сопрягаешь
И мужеский и женский пол?
Не ты ли, тайный, созидаешь
В вещах двуродных свой престол?
Где вьются виноградны лозы,
Где две друг к дружке жмутся розы,
Где птички вьют гнездо весной,

Где отрок матерь обнимает, —
Не твой ли пламень обитает
В красе их связи таковой?

Любовь! — ты царствуешь повсюду
И строишь дивны красоты;
Ты дышишь в бытиях — внутрь-уду;
Ты *симпатической* четы
Внезапно руки сплетаешь;
Ты в их усмешках обитаешь;
Ты блещешь в взорах чад своих;
Ты в них глубоко воздыхаешь;
Ты в нежных звуках вылетаешь
Из дышащих свирелей их.

Коль сладко зреть тебя душою
Сияющих душ в тишине!
Совокупленные тобою,
Едину точку зрят оне;
Их каждый в жизни шаг измерен,
Как звездный путь, — тих, строен, верен.
Единогласный их собор
Невинность падшу восставляет;
О ней их сердце воздыхает,
О ней слезится нежный взор.

Но *древний змий*, покрытый мраком,
Когда из бездны той ползет,
Где он, лежа с угрюмым зраком,
В груди клуб зол ужасных вьет,
И в чреве Тартар возгнещает,
Да в жупелах его рыгает, —
Тогда идет он с злобой в мир;
Он рвет друзей, супругов узы;
Он рушит всех вещей союзы,
Он свет отъемлет, тьмит эфир.

Туманы, бури, громы, волны —
Тифоны суть, что в мир он шлет;
Мы также туч и громов полны;
И сих Тифонов он мятет.



Он в нас и в видиму природу
Пускает грозну непогоду.
Издревле на лице небес
Зев адский ненавистью дышит;
Он, вихрь пустив, весь мир колышет
И в нас творит стихий превес.

Кто ж? — кто опять тогда устроит
Мятущесь в бурях *естество*?
Кто вновь *мир малый* успокоит?
Конечно — мирно божество.
Любовь! — везде ты управляешь;
Когда усмешку изъявляешь,
Ты мрачны тучи отженешь,
Ты воспаришь над облаками
Иль в поле купно с пастухами
Воспляшешь, в хоровод пойдешь.

Но что в тебе велико, дивно?
Таинственная цепь твоя
Влечется в силе непрерывно,
Как к морю некая струя,
От мошек — малых тел пернатых —
До горних сил — шестокрылатых —
Поникну ль в дол, — там зрю твой мир;
Воззрю ли на среду вселенной, —
Мир малый? — в нем твой огнь священный;
Взойду ль на твердь, — там твой эфир.

О дщерь, — от влаги первобытной
Рожденна прежде всех планет,
Дающа жизнь природе скрытной,
Когда в пути своем течет,
И строюща в груди возжженной
Рубиновый престол бесценный!
Когда ты в полной чистоте,
Тогда, любовь, вовек пребуди
Живым бальзамом нежной груди!
Твой трон меж ангел и — в чете.

⟨*1785*⟩

2. ПРОГУЛКА В СУМЕРКИ,
ИЛИ ВЕЧЕРНЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ ЗОРАМУ

Уже в проснувшемся другом земном полшаре
Светило пламенно ночных тьму гонит туч,
А мы из-за лесов едва в сгущенном паре
Зрим умирающий его вечерний луч.

Какая густота подъемлется седая
К горящим небесам с простывших сих полей!
Смотри! почти везде простерлась мгла густая,
И атмосфера вся очревата ей!

С востока ночь бежит к нам с красными очами;
Воззри сквозь тень на блеск красот ее, Зорам!
Хоть кроет нас она тенистыми крылами,
Но яркие огни, как искры, блещут там.

Не искры то — миры вращаются спокойно,
Которы столько же велики, как Земля.
Когда из недр они хаоса вышли стройно,
С тех пор еще текут чрез пламенны поля.

Но нам судьбы гласят, что некогда потонет
Дрожащая Земля в пылающих волнах
И бренна тварь, огнем жегомая, восстонет
Да из коры своей изыдет, сверзя прах.

Увы! — тогда луна, которой луч заемный
По тусклом своде в ночь безоблачну скользит,
Зря судорожну смерть и вздох соседки чермной,
Сама начнет багреть и дым густой явит.

Ах! скроет, скроет тьма прекрасное светило
В те самые часы, когда б с небес оно
Еще в мир страждущий сиянье ниспустило!
Ужель и всем мирам погибнуть суждено? . .

Постой, Зорам! — ты ль мнишь, что мир так исчезает?
Не мни! — то действует *всевечная любовь*,
Что грубый с мира тлен сим образом спадает;
Подобно *фениксу* наш мир возникнет вновь.

Но знай, что есть един незримый круг верховный,
Который выше всех явлений сих ночных,
В который существа должны лететь духовны
Сквозь облачны пары на крылиях живых!

⟨1785⟩

3. ОДА К БЛАНДУЗСКОМУ КЛЮЧУ

Из Горац⟨ия⟩ с лат⟨инского⟩

О ты, Бландузский ключ кипящий,
В блистаньи спорящий с стеклом,
Целебные струи точащий,
Достойный смешан быть с вином!
Заутра пестрыми цветами
Хочу кристалл твой увенчать,
Заутра в жертву пред струями
Хочу козла тебе заклать.

Красуясь первыми рогами
И в силе жар имея свой,
Вотще спешит он за козáми
И с спорником вступает в бой;
Он должен кровь свою червлену
С тобой заутра растворить,
И должен влагу он студену
Червленой влагой обагрить.

Хоть Песией звезды горящей
Суровый час и нестерпим,
Но ты от силы сей палящей
Под хладной тенью невредим;
Волы под игом утружденны,
Стада бродящи на полях
Тобой бывают прохлажденны,
В твоих находят жизнь струях.

Ты будешь славен, ключ счастливый,
Достоин вечныя хвалы,
Как воспою тенисты ивы,

Обросши тощу грудь скалы,
Отколь твои струи прозрачны,
Склонясь серебряной дугой,
С отвагой скачут в долы злачны
И говорят между собой.

⟨*1787*⟩

4. ПЕРВЫЙ ЧАС ГОДА

К другу И⟨косову⟩

Час бил; отверзся гроб пространный,
Где спящих ряд веков лежит;
Туда протекший год воззванный
На дряхлых крылиях летит;
Его туманы провождают
И путь слезами омывают;
Коса во длани не блестит,
Но, смертных кровью пресыщенна
И от костей их притупленна,
Меж кипарисами висит.

Сын вечности неизъясненной,
Исторгнувшись из бездны вдруг,
Крылами юности снабденный,
Слетает в тусклый смертных круг;
Фемиды дщери воскресают
И пред лицом его играют;
Весна усопшие красы
Рассыпать перед ним стремится
И вместо вихрей вывесть тщится
Спокойны в *январе* часы.

Она с улыбкою выходит
Из храмины своей пустой,
Дрожащих зефиров выводит
На хладный воздух за собой;
Но, взор одеждой закрывая
И паки в храмину вступая,
Стенет, что скинуть не могла
Толь рано с древ одежд пушистых

И погрузить в слезах сребристых
Зимы железного чела.

Грядет сын вечности священной
Исполн влияния планет,
И жребий мира сокровенный
Во мрачной урне он несет;
Пред ним ирой с щитом робеет,
И червь у ног его немеет;
Кривому острию косы
Душа правдива лишь смеется,
Не ропщет, что перестрижется
Нить жизни в скорые часы.

Иной рыдает иль трепещет,
Что изощренно лезвее
Уже над головою блещет,
Готово поразить ее;
Другой, стоя́ вдали, вздыхает
И робки взоры простирает
На нового небес посла,
Железную стрелу держаща,
О роковой свой брус точаща,
Дабы пронзить его могла.

Колики смертны почитают
Сей новый год себе бичем
И сколь не многи обретают
Вождя к спокойной смерти в нем!
Но если я твой одр суровый
Слезой омою в год сей новый
И ты — в свой темный гроб сойдешь,
Возможно ль, ах! — при смерти люты
Иметь тебе тогда минуты?
Любезный друг! — ты лишь уснешь.

Когда же *парки* уважают
Тобой боготворимых муз
И ножниц острие смягчают,
Да не прервется наш союз, —
Тогда скажу я, восхищенный:

«О *Феб, Латоною* рожденный!
Еще дай новых нам годов,
Да мы продлим дни в дружбе нежной,
Доколе век наш безмятежный
Не осребрит на нас власов!»

⟨1789⟩

5. СУДЬБА ДРЕВНЕГО МИРА, ИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП [1]

Я зрю мечту, — трепещет лира;
Я зрю из гроба естества
Исшедшу тень усопша мира,
Низверженну от божества.

Она, во вретище облекшись,
Главу свою обвивши мхом
И лактем на сосуд облегшись,
Сидит на тростнике сухом.

О древних царствах вспоминая,
Пускает стон и слезный ток
И предвещает, воздыхая,
Грядущу роду грозный рок.

Она рекла: «Куда сокрылся
Гигантов богомерзкий сонм,
Который дерзостно стремился
Вступить сквозь тучи в божий дом?

Куда их горы те пропали,
Которы ставя на горах,
Они град божий осаждали?
Они распались, стали прах.

Почто из молнии зловредной,
Как вихрь бурлив, удар летит
В средину колыбели бедной,
Где лишь рожденный мир лежит?

[1] Сия была напечатана в 786 году; теперь поправлена.

Ужели звезды потрясаяй
Лиет млеко одной рукой,
Другою, тучи подавляя,
Перуном плод пронзает свой?

Увы! — о племена строптивы!
Забыв, кто мещет в бурях град
И с грозным громом дождь шумливый,
Блуждали в мыслях вы стократ!

Блуждали, — и в сию минуту
Отверз он в гневе небеса
И, возбудив стихию люту,
Скрыл в бездне горы, дол, леса.

Тогда *вторая смесь* сразилась,
Вторый хаос вещей воззван;
Вселенна в море погрузилась;
Везде был токмо *Океан*.

Супруг *Фетиды* среброногой,
Нахмурив свой лазорный взор,
Подъял вод царство дланью строгой
Превыше *Араратских* гор.

Тогда тьмы рыб в древах висели,
Где черный вран кричал в гнезде,
И страшно буры львы ревели,
Носясь в незнаемой воде.

Супруги бледны безнадежно
Объемлются на ложе вод;
С волнами борются — но тщетно...
А тамо — на холме — их плод...

Вотще млечно́й он влаги просит;
Свирепая волна бежит —
Врывается в гортань — уносит —
Иль о хребет, — рванув, дробит.

Четыредесять дней скрывались
Целленины лучи в дождях;

Двукратно сребряны смыкались
Ее рога во облаках.

Одна *невинность* удержала
В свое спасенье сильну длань,
Что бурны сонмы вод вливала
В горящу злостию гортань.

Хотя десницею багряной
Отец богов перун метал
И, блеск и треск по тверди рдяной
Простерши, небо распалял;

Хоть мира ось была нагбенна,
Хотя из туч слетала смерть, —
Невинность будет ли смятенна,
Когда с землей мятется твердь?

Ковчег ее, в зыбях носяся,
Единый мир от волн спасал;
А над другим, в волнах смеяся,
Пени́сту бездну рассекал.

Не грозен молний луч отвесных,
Ни вал, ни стромких скал краи, —
Сам вечный кормчий сфер небесных
Был кормчим зыблемой ладьи.

Меж тем как твари потреблялись,
Явился в чистоте эфир,
Лучи сквозь дождь в дугу соткались,
Ирида вышла, — с нею *мир*.

О *Пирра!* пой хвалу седящу
На скате мирной сей дуги!
Лобзай всесильну длань, держащу
Упругие бразды стихий!

Но о *Ириды* дщерь блаженна!
Страшуся о твоих сынах!
Их плоть умрет, огнем сожженна,
Как прежде плоть моя в волнах.

Когда смятется в горнем мире
Пламенно-струйный Океан,
Смятутся сферы во эфире,
Со всех огнем пылая стран.

Пирой, Флегон, маша крылами
И мчась меж страждущих планет,
Дохнут в них пылкими устами,
Зажгут всю твердь, — зажгут весь свет.

Там горы, яко воск, растают
От хищного лица огня,
Там мрачны бездны возрыдают,
Там жупел будет ржать стеня.

Не будет *Цинфий* неизменный
Хвалиться юностью своей,
Ни *Пан* цевницей седьмичленной,
Ни *Флора* блеском вешних дней.

Крылатые *Фемиды* дщери
Взлетят к отцу в урочный час,
Небесные отверзнут двери, —
Отверзнут их в последний раз.

Лишь глас трубы громо-рожденной
С полнощи грянет в дальний юг:
Язык умолкнет изумленный,
Умолкнет слава мира вдруг.

Героев лавр, царей корона
И их певцов пальмо́вый цвет,
Черты *Омира* и *Марона* —
Всё их бессмертное умрет.

Как влас в пещи треща вспыхает,
Как серный прах в огне сверкнет
И, в дыме вспыхнув, — исчезает,
Так вечность их блеснет — и нет...

Едино *Слово* непреложно
Прострет торжественный свой взор

И возвестит из туч неложно
Последний миру приговор.

Меж тем как в пламени истлеет
Земнорожденный человек,
Неборожденный окрылеет,
Паря на тонких крыльях ввек.

Падут миры с осей великих,
Шары с своих стряхнутся мест;
Но он между развалин диких
Попрет дымящись пепел звезд.

О мир, в потомстве обновленный!
Внемли отеческую тень,
Сказующу свой рок свершенный
И твой грядущий слезный день!»

Изрекши, — скрылася тень мира;
За нею вздохи вслед шумят;
Из рук падет дрожаща лира, —
Я в ужасе глашу: *«Бог свят!»*

⟨1789⟩

6. ХИТРОСТИ САТУРНА, или СМЕРТЬ В РАЗНЫХ ЛИЧИНАХ

Сурова матерь тьмы, царица нощи темной,
Седяща искони во храмине подземной
На троне, из сухих составленном костей,
Свод звучный топчуща обители теней
И вместо скипетра железом искривленным
Секуща вкруг себя туман паров гнилой,
Которым твой престол весь зрится окруженным
И сквозь который зрак синеет бледный твой!

Се! — от твоей стопы река снотворна льется
И устьем четверным в мятежный мир влечется,
Да в четырех странах вселенныя пройдет!
Навислые брега, где кипарис растет,

Бросают черну тень в нее с хребтов нагбенных,
Не зе́фиры в нее, но из расселин темных,
Где начинался ад, подземный дует дух
И воет в глубине, смущая смертных слух.

О мрачна смерть! — ты здесь, конечно, пребываешь;
Ты здесь ни солнечных красот не созерцаешь;
Ни шлет сюда луна серебряный свой свет,
Когда торжественно исходит меж планет;
Скажи — всегда ль ты к нам летишь средь тучи темной,
Как, быстро вырвавшись из храмины подземной,
Распростираешь в твердь селитряны крыле
И, косу прековав в перун еще в земле,
Удары гибельны с ужасным ревом мещешь
И светом роковым над дольним миром блещешь?
Всегда ли ты ревешь в чугунную гортань
И там, где возгорит на ратном поле брань,
Рыгаешь в голубом дыму свинец свистящий
И рыцарско дробишь чело сквозь шлем блестящий?
Всегда ли ты спешишь кинжал очам явить,
На коем черна кровь кипящая курится?
Нет, не всегда в твоей руке металл тот зрится,
Которым ты стрижешь столь явно смертных нить.

Богиня! — пагубен твой смертным вид кровавый,
Но пагубней еще им образ твой лукавый,
Когда, переменив на нежны ласки гнев
И тонко полотно *батавское* надев,
Лежишь в пуховике, опрысканном духами,
И манишь щеголя волшебными руками;
Или *сиреною* исшедши из зыбей
Для уловления со златом кораблей,
Ты испускаешь глас, что в звуке сколь прекрасен,
Столь внемлющим его смертелен и опасен;
Иль, умащенные когда власы имев,
Одежду, сшитую на нову стать, надев,
Взяв в руку трость и пук цветов приткнувши к груди,
Спешишь, где с *нимфами* распутны пляшут люди,
Где в купле красота, где уст и взоров студ,
Где *Вакха* рдяного *эроты* в хор влекут;
Здесь, смерть! — здесь ужас твой меж миртов хитро скрылся;

Увы! — любовный вздох во смертный претворился. —
Во слезы пук цветов, — в кравую косу трость, —
На кости сохнет плоть, — иссунулася кость! —
Цветы и порошки зловонной стали гнилью,
Одежда вретищем, а нежно тело пылью.

⟨*1789*⟩

7. БАЛЛАДА
МОГИЛА ОВИДИЯ, СЛАВНОГО ЛЮБИМЦА МУЗ

Овидий! ты несправедливо желаешь включить *бича своего* в лик небожителей; заточение твое научает нас, достоин ли он всесожжений за свою великую неправоту? Без существенной вины отщетив тебя от отечества, он еще старался прикрыть свою месть, и небо допустило ему соделать тебя несчастным за ту единую слабость, что ты безмерно ублажал его. Надлежит быть весьма жестокосерду, чтоб у отечества отъять самый редкий ум, какой токмо бывал когдалибо в *Риме*, и проч.

Лингенд в элегии об Овидии

Там, где *Дунай* изнеможенный
Свершает путь бурливый свой
И, страшной тяжестью согбенный
Сребристой урны волновой,
Вступает в черну бездну важно,
Сквозь бездну мчится вновь отважно.

Морские уступают волны,
И шумны устия пути,
Быв новым рвеньем силы полны,
Чтоб ток природный пронести,
Простерши полосы там неки,
Бегут к *Стамбулу,* будто реки.

Остановлюсь ли тамо ныне
Близ *Темесварских* страшных стен,
Где в окровавленной долине
Австриец лег, *Луной* сражен,

Где мыл он кровью в ужас света
Победные стопы *Ахмета!* [1]

Ужели томна тень *Назона*
Ту *музу* совратит с гробов,
Что с воплем горестного стона
Спустя осьмнадесять веков
Оплакать рок его дерзает,
Там, где он в персти исчезает? [2]

Нет, — тень любезна, тень несчастна!
Не возмущу твоих костей;
Моя *Камена* тихогласна;
Пусть по тоске и мраке дней
Они с покоем сладким, чистым
Почиют под холмом дернистым!

Ужасны были *Томски* стены
Сии *Назоновым* очам!
Всё тихо; взоры заблужденны
Среди пустынь окрестных там
Искали долго и прилежно
Того, кто пел *любовь* толь нежно.

Передо мной то вяз нагбенный,
То осокорь, то ильм густой
Вздымалися уединенны
И осеняли брег речной.
Тогда впадал я неприметно
В различны мысли опрометно.

«Всесильный! — так тогда я мыслил, —
Какой в сем мире оборот?
Кто древле в вображеньи числил,
Чтоб спел когда *ума* здесь плод?
Здесь жили *геты,* здесь те *даки,*
Что члись за страшные призра́ки.

---

[1] При конце семнадцатого века австрийцы в том месте были турками разбиты. Сие происходило 1669 года.
[2] Весьма достоверно, что *Овидий* погребен в сей стороне; ибо *Темесвар* есть тот самый древний *Томитанский* город, о коем он так часто упоминает в элегиях своих.

Рим гордый с *Грецией* не мыслил
В дни славы, мудрости, побед,
Чтоб те долины, кои числил
Жилищем варварства и бед,
Своих злодеев заточеньем,
Отозвались *парнасским* пеньем.

Не мыслил, чтобы мужи грозны
Ума хоть искру крыли здесь;
Чтоб пели здесь *Эоны* поздны;
Чтоб чуждые потомки днесь
Назона в арфе прославляли
И слезны дни благословляли.

О горда древность! — ты ль забыла,
Какие чувства и права
Сама ты в дни *Орфея* чтила?
Поныне камни иль древа
В твоих бы жителях мы зрели,
Когда б их *музы* не согрели.

Ты ль в шумной пышности забыла,
Что в *Ромуловы* времена
Людей железных воздоила,
Что дики в чувствах племена
И грубых хищников станицы
От поздной взяли свет *денницы*.

Япетов сын [1] во мрачность века
Не из скудели ли сырой
Сложил чудесно человека?
Ифест не из руды ль земной?
Девкалион влагал жизнь в камень,
Орфей в дубравы духа пламень.

Не славьтеся, *Афины с Римом*,
Что вам одним лучи даны,
Другие ж в мраке непрозримом!
И здесь, — и здесь возрождены
Свои *Орфеи, Амфионы*,
Энеи, Нумы, Сципионы.

---

[1] Прометей.

Все те *сарматы, геты, даки,*
Что члись за каменны главы,
Сквозь тьму времен, сквозь нощи мраки
Такой же блеск дают, как вы;
Такие ж ныне здесь *Афины;*
Такие ж восстают *Квирины.*

Почто вы хвалитесь в гордыне,
Коль ваши чада суть рабы,
Коль ваши странны внуки ныне
Лишь данники *срацин* — рабов судьбы?
Цари вселенной напыщенны
Во узах — ныне искаженны.

Как? — разве тем вы возгремели
И отличились много крат,
Что *гениев* губить умели?
Пророк *афинский,* — ты, *Сократ*!
Ты, *Туллий*! — ты, *Назон*! — проснитесь,
За рвенье *музы* поручитесь!»

Так я беседовал, унылый;
Тогда был вечер; и, спустясь,
Роса легла на холм могилы;
Роса слезилася ложась;
Над холмом облако дебело
Во злате пурпурном висело.

Вдруг глыбы потряслись могильны
И ров зевнул со тьмой своей;
Крутится сгибами столп пыльный;
Внутри я слышу стук костей;
Кто в виде дыма там? — немею,
Я трепещу, — дышать не смею...

Тень восстает, — всё вкруг спокойно,
И кажда кость во мне дрожит;
Еще туманяся бесплодно,
Слеза в глазах ее висит,
Что в *дол изгнания* катилась,
В печальных *дактилях* струилась.

Из уст еще шумит вздох милый,
Что воздымал дотоле грудь;
Я слышу тот же глас унылый,
Что в песнях и поныне чуть;
Но слезы — лишь туман кручинный;
А вздох и глас — лишь шум пустынный.

Тут тень гласит, как звук вод некий
Иль шум тополовых листов:
«Чей *глас,* — чей глас, что в поздны веки
Стремится с *бугских* берегов, [1]
Чтобы вздохнуть над сею перстью
И ублажить плачевной честью?»

Певец

Я, дух несчастный, дух любезный!
Я здесь, унылый твой сосед,
Пришел излить потоки слезны.
Ужли твой взор пренебрежет
Толико дань сию священну,
Чтоб персть твою почтить бесценну?

Назон

«Я несчастлив!» — ты мыслишь тщетно,
Где тот, что столько крови пил,
Пред кем мой взор лишь неприметно
Без умышленья преступил?
Увы! почто мой взор стремился?
О, если б он тогда ж закрылся!

Так; век ваш мудро обличает,
Что мстителя *Назон* сего
В число полубогов включает,
Кумиром милым чтя его,
И им же изгнан сам навеки;
Так, — правильны веков упреки!

Что ж сам обрел потом он боле,
Прогнав меня до сих брегов?
Чистейшу ль совесть на престоле?

---

[1] Сии стихи сочинены во время бытности в *Николаеве.*

Благословенье ли веков?
В венце он так же заточился,
Как я в чужих песках укрылся.

Иулий, страшный бич вселенной,
Лишь пал; он, как преемник, вздул
Опять перун тот усыпленный,
Что дух ревнивый окунул
В струи бича племен кровавы,
Чтоб обновить иной род славы.

Крутится кровь мужей реками;
Вдали *патриции* дрожат;
Дух Рима дрогнет меж стенами;
По стогнам головы лежат;
А чрез сии стези кровавы
Достиг он трона страшной славы.

Тогда вселенная искала,
Чтоб он был вечно погребен,
И грозный час тот проклинала,
Когда на свет он был рожден;
Но лишь схватил он скиптр железный,
Иное возопил мир слезный.

И правда, — он переродился;
Тогда счастливый мир хотел,
Чтоб *Август* вечно утвердился,
Чтоб *Август* смерти не имел;
Из тигра агнец был в то время;
А сим — сдержал блестяще бремя.

Таков был *Цезарь*; что ж *Октавий*,
Который поглотил весь свет?
Его ест тот же червь и мравий,
Что и на мне теперь ползет;
Его лишь точит в *мавзолее*,
Меня под дерном, — что лютее?

Там спорник *Зевса* цепенеет;
Его перун между костей
Покрытый плесенью немеет
И не блеснет опять с зарей.

Не плачь, певец Эонов поздных!
Прешла времен сих буря грозных.

Престол *Октавия* ужасный
Ничто — повапленный лишь гроб,
Где вызывает *галл* опасный
Из странных *Брута* — род утроб.
Но смертный в силе блещет тщетно:
Ночь всех равняет неприметно.

Не плачь, певец *Эонов* поздных!
Среди небесных я долин
Не зрю ни властных взоров грозных,
Ни от любимцев ложных вин,
Ниже зависимости студной
От их улыбки обоюдной.

Не плачь! пусть воин соплеменный,
Пусть *росс Назонов* топчет прах,
Срацинской кровью омовенный!
Но дух мой — юн на небесах...
Так призрак томный рек, — и скрылся,
Лишь лист тополовый забился.

Прости, дух милый, дух блаженный!
Росс чтит твой прах, твои стихи;
Твои все слезы награжденны;
Ты будешь выше всех стихий.

Судьба! — ужли песок в пустыне
Меня засыплет так же ныне?

Между 1792 и 1800

8. К НОВОСТОЛЕТИЮ XIX

Страшна отрасль дней небесных,
Вестник таинств неизвестных,
Вечности крылатый сын,
Рок носяй миров висящих,

Радуйся! — Будь исполин
Меж веков быстропарящих!
Обнови нам ныне ты
Век *сивиллин* золотый!

Около 1800

9. СТОЛЕТНЯЯ ПЕСНЬ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ОСЬМОГОНАДЕСЯТЬ ВЕКА РОССИИ

Глубока ночь! — а там — над бездной
Урания, душа сих сфер,
Среди машины многозвездной
Дает векам прямой размер;
Бегут веков колеса с шумом.

Я слышу — стон там проницает;
Пробил, пробил полночный час!
Бой стонет, — мраки расторгает,
Уже в последний стонет раз;
Не смерть ли мира — вздох времен?

Преходит век — и всё с веками;
Единый род племен падет
И пресмыкается с червями,
Как из червей другой встает;
И всё приемлет новый образ.

Пробил — завеса ниспадает;
Я вижу длинный зал сквозь тень;
Вдали — там свет лампад мелькает;
Висит под ними бледный день,
Подобно как в туманну осень.

Там ряд веков лежит особый;
На них планет влиянья нет;
Стоят в помосте тусклы гробы;
Не восстает там утра свет;
В зарнице слава лишь мелькает.

Случа́и — следствия судьбины —
Летят, летят — и гибнут вдруг,
Как легки солнечны пылины,
Крутящись в воздухе вокруг,
Блестят, блестят — и нет их боле.

Там мир глубокий обитает;
Лишь некий старец при гробах
В своем челе сто лет являет,
И тусклый сумрак во очах.
Таков согбенный веком *Янус*.

«Не ты ль, латинов обладатель? —
Я в трепете ему вещал. —
Не ты ль, небес истолкователь,
Пути судьбины открывал
И мир чрез то народам строил?

Что за тобой, что пред тобою
Не ты ль в единой точке зришь?
Не ты ль владений над судьбою
И их рожденьем вкупе бдишь?
О старец! ты всего свидетель.

Повеждь, кто в севере толь славно
Начало века и конец
Величит и свершает равно?
Пой! пой столетия венец!
Он памятен, бесценен россам».

«Сын персти! — вдруг *тень* зашумела. —
Се там столетья страшна дверь.
Подобно грому заревела
На медных вереях теперь!
Ты слышишь звуки их ужасны.

Отверзлась дверь, — всё ново в мире;
Се виден происшествий строй!
Но музу призовем мы к лире
И скажем: «Песни, дщерь, воспой!
Векам о сем воскликни веке!»

Довольно надо мной летело
От миробытия веков;
Но ни едино не имело
Столетье толь благих духов,
Как исполинский век сей славы.

Пред ним шли звезды, как пророки;
Я то на небесах прочел;
Огнистый шар сквозь мрак глубокий
Из дальних долов тверди шел;
За ним хвост влекся против солнца.

Кто? — Кто не содрогался в страхе?
Кто не вопил: «Увы! падет
Вселенная теперь во прахе.
Сторичный пламень всё пожжет,
Пожжет висящи в тверди земли.

Взревут горящи океаны,
Кровавы реки потекут;
Плеснут на твердь валы багряны,
Столпы вселенной потрясут».
Так все в комете зло сретали.

Но твердь иное предвещала;
Тогда Россия в мрачный век
В своей полнощи исчезала.
«Да будет *Петр*!» — бог свыше рек;
И бысть в России Солнце света.

Бысть *Петр*, — и юный век в зарнице
Из бездны вечности летит;
Звучит ось пылка в колеснице,
И гордый век *Петром* гремит;
Вселенна зрит — недоумеет.

Великий *Петр* изобразует
Творца и гения в себе;
Россию зиждя, торжествует.
О росс! — с его времен в тебе
Порфироносны дышат духи.

Так в области светил возжженных
Сокрыт был искони *Уран,* —
Хоть тьмы очей вооруженных
Пронзали бездны горних стран;
Но не нашли еще *Урана.*

Родился *Гершель,* — вдруг блистает
Мир новый посреди миров;
Он в царстве Солнца учреждает
Знакомство будущих веков
С *Ураном,* как с пришельцем неким.

Но можно ль с мерою желаний
Великого возвеличать?
Пусть не было б *Петру* ваяний,
Пусть летописи умолчат!
Пусть памятники все исчезнут!

Россия — есть его ваянье,
Есть памятник, трудов цена;
Она — его бессмертно зданье,
Полупланета есть она,
Где был он божеством ея.

Слыхали ли, чтобы в *Элладе*
И в *Риме* Зевс иль Цесарь мог
Скрыть скипетр к благу и отраде?
Но *Петр,* как некий новый бог,
Престол полмира оставляет.

Он покрывает тьмой священной
Величества сиянье с тем,
Чтоб, зрак раба прияв смиренный,
Познать науку быть царем
И из зверей людей соделать.

Держа светильник, простирает
Луч в мраках царства своего;
Он область нощи озаряет,
И не объемлет тьма его;
Бежит она пред ним, — и гибнет.

На место скипетра приемлет
Секиру, циркуль и компа́с;
Со рвеньем действует, не дремлет.
Иному год, — ему же час
Быть в деле мастером потребен.

Летит в *батавские* селенья,
Летит в гремящий *Албион*,
Летит в *паннонские* владенья,
Летит в *Бурбонов* славный дом,
И семена наук сбирает.

Борясь с гордыней, с злостью черной,
Борясь с упорством диких сил,
Борясь с толпою суеверной,
Он всех чудовищ низложил,
Он всё, как молния, проникнул.

Сквозь кровы мрака углубленны,
Сквозь все стихии мятежей,
Сквозь сети злобы ухищренны
Восстал герой в красе своей,
Как воскресающее Солнце.

Рожден средь общей мрака сени,
Без руководства чуждых сил,
Чрез свой богоподобный *гений*
Он сам себя переродил,
Чтоб преродить сынов России.

Всё, всё покрылось новым видом —
В полях полки и флот в волнах
За нашим новым *Озиридом*
Летят на пламенных крылах.
И всё из ничего, — мне мнится.

Не он ли в прахе драгоценность
Умел познать, умел обресть?
Умел животворить он бренность
И в ней открыть дух, славу, честь?
Таков мудрец был в Прометее.

Он созидал полки героев,
Из черной выводя толпы,
Что пред лицем рожденных воев
Как огненные шли столпы
На *Карла* — ужаса вселенной.

Он с ними крепко сокрушает
Наставников в войне своих
И тем Европу изумляет;
Кто был *Лефорт* средь воев сих?
Кто *Меншиков* и *Шереметев*?

Где *августейша героиня*,
Из низкой сени что исшед,
Как пленница и как богиня
К победоносцу предстает
И дух его сама пленяет?

Везде сей дух богоподобный
Велики чудеса творит,
Проникнуть сгибы душ способный,
В простой великость нимфе зрит
И зрит подругу в ней достойну.

Уже пастушка, как богиня,
Из хижины на трон парит;
Уже не нимфа — героиня
Перун и скипетр с ним делит
Среди стихий горящих браней.

Так *Петр* творит — и оживляет,
Так внешним казнь дает врагам
И внутренних врагов карает,
Дает престолы он царям,
Черты войны и мира пишет.

Повсюду быв присущ и славен,
Всего себя на всё делил;
Он, мнится, был многосоставен,
Как исполин безмерных сил
Или как Прометей великий.

На троне он законодатель,
В полях он Марс, Нептун в волнах,
Первосвященник, обладатель,
Повсюду истинный монарх, —
Везде велик, везде чудесен.

Еще б дышал он в царской сени;
Устав судьбою изречен...
Ах! — для чего великий гений
В пределах жизни заключен?
Чего б еще не сделал? — Небо!..

Так луч Перуна, рассекая
Густой туман среди небес
И воздух всюду очищая,
Еще б очистил, — но исчез;
Лишь остаются слезы в долах.

Но хоть монарх скончался вмале,
Он долгих лет исполнил чин;
Хотя уже не в силах дале
Тещи свой путь сей исполин,
Но он свершил всё то, что должно.

Что надлежит достичь в три века,
Он в тридцать лет тем ускорил;
Нет в древнем веке человека,
Чтобы *Петру* подобен был;
Пусть книги бытия разгнутся!

Натура чрез столетья многи
Должна безмолвно отдыхать
И выдержать долг тяжкий, строгий,
Чтобы подобного воззвать.
Великий требует величья.

Почто вздыхать? — Его супруга,
Блюдя в груди супружний дух,
Блюла завет царя и друга
И отражала свет в полкруг,
Подобно как луна луч солнца.

По толь великой перемене,
Как с поворотом солнца вдруг,
Где благодатный свет был в плене,
Преемствовал весенний дух,
И Север отдохнул весною.

Рожденна с ангельской душою,
Отцу подобная умом,
А матери своей красою,
Петров поддерживает дом,
Грядет на трон — и с ней дни майски.

Она, с небес покой воззвавши
По приснопамятном отце,
Над полпланетой дольней вставши,
Сияла в радужном венце
И осеняла всю державу.

Во дни ее не вопияла
Невинно пролиянна кровь,
Но токмо тишина дышала,
Суд, милость, правда и любовь,
А музы пели меценатов.

Се наконец небес судьбина
Великую в женах зовет! —
Божественна *Екатерина*
Чертеж *Петра* и скиптр берет,
Да образует дух полнощи!

Дает небесные законы
И множит мир с числом градов;
Приемлет и дарит короны,
Дух муз возносит средь громов,
Как небоокая *Афина.*

Птенцов из рук судьбы суровой,
Прияв на лоно, бережет,
Меж тем средь шумных царств вес новый
Чрез силу мудрости берет;
Европа тщетно воспящает.

От света трона истекают
Мудрец, вождь сил или герой,
В поля и бездны отражают
В шумящем блеске луч второй —
И в сем недоумеют царства.

Вотще сармат и галл кичливый
Крутились вихрями в полях.
Кавказ, Эвксин и Тибр бурливый,
И с Вислою Архипелаг
Промчат ее трофеи в вечность.

Но где Афина? — Нет Афины! —
Ах! — Средь бессмертья смертна сень
Покрыла взор *Екатерины*!
Прешел ли росской славы день?
Нет! — внук ее зарей восходит.

Так век меж россов знаменитый
Летал средь славы, красоты;
Так и конец его маститый
И век Петрополя златый
В громах прославлен *Александром*».

Сие рек старец — обратился;
Что зрю? — Я зрю в нем юный лик!
Куда же старец мой сокрылся?
Иль, возродяся, вновь возник?
Но старец продолжает слово:

«Не удивляйся мне, сын мира,
Что зришь меня о ликах двух!
Я *Янус*, основатель мира;
Я ими зрю два мира вдруг,
Два века и два года вместе.

Вдруг зрю, как солнце, удаляясь,
Наводит бури надо мной
И как оно же, возвращаясь,
Сквозь бунт стихий несет покой,
Чтоб растопить хлад зимний в вёсну.

Едва ль когда мой храм цветущий
Затворен был в минувший век!
Не чаю, чтоб и век грядущий
Без молнии в тиши протек.
Чу! — Первый час столетья *звукнул*!

Природа! — сколь ты изнурялась,
С *Петром* минувший век зачав,
И сколько после утомлялась,
Толь многих гениев создав
Из матерней своей утробы!

Но если отдыхаешь ныне,
Теперь, — иль в несколько веков
Очреватей в вторичном чине!
Еще роди других *Петров*,
Екатерин и *Александров*!

Се небо новый век дарует!
Начни его с духов таких!
Младой монарх их знаменует;
А слава россов, счастье их
Теперь о том к тебе взывают.

Внемли, сын века изумленный!
Встречай сей новолетний час!
Летит он роком окрыленный;
Да будет он священ меж вас!
Да счастье россам с крыл ниспустит!

Россия! — Славь с благоговеньем
Сей век! — Он всех веков светлей;
Поздравь себя с превозвышеньем
Счастливыя судьбы твоей!
Се гениев твоих столетье!»

Около 1801

10. ЗАПРОС НОВОМУ ВЕКУ

Всесильного крылатый вестник,
Столетья ветхого наследник!
Все слышали гром страшных врат,
Как ты влетал чрез них шумливо
В сию вселенну горделиво, —
Все — небо, дол земной и ад.
Повеждь, какие нам блестят
Надежды на челе сих врат?

Ужасны выли непогоды
Средь царств и *мира* и *природы*,
Ужасны, видим сами то,
Но что знаменовали? что?

Тогда как бурная вселенна,
Крамольной бранью возмущенна,
Ложилась в мирну сень уже,
Природа встала в мятеже.
Там бездны, преступя пределы,
Глотали целые уделы;
А здесь источников скупых
Глубоки долы обнажились;
Меж тем как рыб стада теснились
На ветвиях кустов густых,
Открылись памятники скрыты,
Труды седых веков забыты.
Там странны гласы в облаках
В полнощи ухо поражали;
Здесь горы в каменных дождях
На землю с тверди ниспадали.

Ужель в природе оборот?
Или *великий новый год*?
Ужели божества природы
Забыли долг обычный свой?
Чудитеся, земные роды!
Брань в небе! — тамо *Марс* земной
Бросает грады каменисты;
Перун, что был непостижим,
Теперь довольно изъясним.

Не стрелы ль грома те кремнисты,
Что тайно древний *Зевс* метал,
Чем правильно народ считал?
Вулкан из *Этны* выступает,
Оставя труд подземный свой,
Озера, реки иссушает,
Где, утомленные тоской,
Вздыхают горько *нимфы* бедны,
А нереиды на брегах
Тоскуют по отчизне, бледны,
Не в силах быв дышать в полях.

В природе бунт, — мир в мире дышит;
Над Западом дуга цветет;
И на брегах *Секваны* пишет
Таинственный король расчет
Иль зиждет, может быть, мир новый;
То скажет *век*, — мы внять готовы;
Но в Севере краса чудес,
Мудрец в *монархе* добрый, юный,
Строптивы удержав перуны,
Блюдет полувселенной вес.

Но о судеб посол небесный,
Надолго ль радостна дуга
Хранит над миром цвет прелестный
И пестрая ее нога
Стоит над мирными холмами?
Ах! сколь далёко б дух наш шел,
Хотя *природа* временами
И забывает свой предел?

1802 или 1803

11. ПРЕДЧУВСТВЕННЫЙ ОТЗЫВ ВЕКА

Сын мой! сын праха! сын юдоли!
Ты видишь, видишь, что и в самом
Смятении вещей теперь,
В порыве самом естества,
Ум человеческий не дремлет,
Мятется, реет, мчится вдаль,

Одолевает век — меня —
И ищет новых царств себе
По ту страну времен парящих,
Где ждет его венец бессмертный.

Нетерпеливый, бодрый *ум*,
Ум самовластный, ум державный,
Перестает отныне строить
В отвагу мысленные замки;
Собрав сил меры седьмеричны,
Стремится чрез предел обычный.
Се начинает человек
В небесной высоте дышать!
Он с зноем мразы проницает,
Он в тверди климаты пронзает,
К колесам солнечным дерзает.
Под ним *Земля* — как муравейник. [1]

Ревнуя *умственному взору*,
Что видит он миры незримы,
Взор бренный странствует отважно
По отдаленным высотам,
Существенны миры находит
В эфирных чуждых областях. [2]

Там он встречает над главой
Вселенны новы величайши;
А здесь — вселенные малейши
В безвестном мраке под стопой. [3]

Тут он летает в мелком мире;
А здесь — в пучину не вступая,
Пронзает страшну даль пучины;
Без стоп в юдоли вод нисходит
И близит блещущи потери. [4]

Там слабо *око*, ополчаясь,
Сражается со глубиною
И пользою венчает подвиг;

---

[1] Здесь предметом *воздушный шар.*
[2] *Гершелевы* телескопы.
[3] Микроскоп.
[4] Изобретение *пелагоскопа.*

А здесь *стопа* отважна ходит
По бурной зыби, как по суше,
Без крыл, без лодии, без *чуда.* [1]

Там *дух* в уединеньи реет,
А здесь пред светом крылатеет.
Ужасны подвиги его!
Се ветха область издыхает!
Растут из праха царства новы;
Падет личина *Магомета*;
И что ж? — в *Пророке Аравийском*
Пред светом обнажился — льстец;
Теперь ступя с бурливым блеском
На лжесвященну персть его,
Иной стоит — и сталью машет.

Меж тем как тамо силой чуждой
Возобновляется *Мемфис*
И манит в тьму своих развалин
Рыть некий драгоценный тлен,
Сокровище умов ветшало,
Иль извлекаются насильно
Из седьмеричной ветхой ночи
Ужасны духи древних *римлян,*
Здесь венценосный *гений россов*
Благий дух предков вызывает
И скипетром златым счастливит
Очарованну полпланету.

Вот, сын мой, сколь велико рвенье
Недремлющего ныне духа,
Сего бессмертна чада света
И небожителя во бреньи!
Ты хочешь знать, к чему еще
Сей полуангел, дух во прахе,
В ристалище своем блестящем
При мне поступит ныне дале
Или какие впредь надежды
В прозримой дальности блеснут?

---

[1] Пробочная фуфайка.

Ты зришь, что он стремится вечно
От совершенства к совершенству,
От одного довóда реет
К другим бессмертия довóдам,
Как светозарная черта
Неусыпляемой зарницы
В торжественных явленьях нощи
Летит, туда же протяженна,
Отколе низлетает быстро;
Ты зришь, что *мыслящее существо*
Бежит со мною совокупно,
Бежит далече — неусыпно,
Меня он выпередить тщится;
И правда — времени смеется,
Хоть *плоть* ему и уступает.

Вот что вещает небо мне!
Тогда как миролюбный плуг
В браздах по тридцати веснах
Отсвечивать при солнце будет,
Блудящий пламенный мир некий,
Как странник тверди огневласый,
Сойдет в сию долину неба
И сблизится тогда с землей. [1]
Что, сын мой? — Ты бледнеешь — тщетно;
Не лучше ль ободряться чувством
И той гадательною мыслью,
Что сей небесный посетитель
Провозвестит земле средь молний
Премудрости и славы полдни?
Или какой *Кумеин* век
Восставит на холмах вселенной?
Не будет ли едино стадо
Под пастырем единым в мире?
Иль будет снова в *Византии*
Из-под *срацинских* рук *Рим* новый
Или на западе *Рим* древний?
Не новые ли *Сципионы*
И *вседержители* ужасны

---

[1] Давно пишут, что в 1835 году комета будет подходить близко к шару земному.

По средиземным глубинам
Помчатся с громом в кораблях?
Иль паки грозны *Ганнибалы*
Из глубины гробов возникнут
И ступят на утесы *Альпов?*
Или с *Платонами Афины*,
С *Периклами,* с *ареопагом*
Прейдут в Сармацию на диво?

Гордяся крыльями моими,
Мудрец не может ли достигнуть
До врат последних естества?
Иль оного исходищ первых.
И наконец — дерзнет в пучину?
Оттоль с отвагой пронесясь
Среди огнистой колесницы,
Коснется, может быть, — *престола,*
Где предстоит, поникши долу
И персты робкие сложа,
Всех мать, *природа многогруда*,
Вдали безмолвная *судьба*,
Пространство, долгота, движенье,
Иль *вес*, иль *мера* и *число,*
Порядок, сила, красота́
И наконец — *духо́в различных жребий*;
Тогда, — так, — и тогда постигнет
Непостижимого! — но ах!
Предместник мой — минувший век —
Его свидетель покушений;
Мудрец едва не приближался
К пределам тайным естества;
И вдруг, увы! — как человек,
Нашел себя в ужасной бездне
И в ту ж минуту меж великих
Двух бесконечностей безмерных.

Дух должен быть *героем* сильным,
Когда потребна *человеку*
Всемерная возможность сил
Быть совершенным *человеком*,
Чтоб *человека* же познать,
Познать *себя, всего себя.*

Ах! что ж потребно *мудрецу*?
Ему быть должно? — быть *божеством*,
Дабы уведать *божество*
Или в *зачатьи — естество*? . .
И самый *ангел воплощенный*,
Невтон — бледнеет изумленный,
Остановляяся меж сих
Двух бесконечностей ужасных,
И ощущает *омрак* в духе,
Непостижимый, неиследный.
Перед его же страшным троном
Природа робко мимо идет,
Не разделяет вечных прав
С иным совместником каким;
Он всю оставил мрачну тайну
Единому себе, — себе. . .
А может быть. . . но ты трепещешь!
Не содрогайся, сын мой, ныне!
Но лучше сим великим чувством,
Великой мыслью сей дыши!
Дух человеческий бессмертен;
Он сроден *вечно* простираться
По тайной *лествице* до края,
Хоть край — бежит от взоров *вечно.*
Ты жди, как я, — иль мой наместник,
Иной громопернатый вестник,
Поставим на вратах времен
Надежды светоносный факел!
Тогда питай сие предчувство,
Что колесо природы скрыто
Великий обращает *год,*
Что в плоти серафим иной,
Иль *Петр*, или *Екатерина*,
Другой *Невтон*, и *Локк* другой,
Или другой здесь *Ломоносов*
Торжественной стопою внидут
В врата *Кумеиных* времен;
А может быть — переселится
Восток и *юг* чудесно в *север;*
Не отрицай сих чувств — и жди,
Как путник на брегу морском!

1802 или 1803

12. ДАНЬ БЛАГОТВОРЕНИЮ

Его Высокопревосходительству господину адмиралу и разных орденов кавалеру Николаю Семеновичу Мордвинову, милостивому государю и благотворителю с благодарнейшим сердцем приносит

Семен Бобров. Марта 4 дня 1802 года

Вотще тюльпан в долине спит,
Коль на чело его склоненно
Скатился с тверди маргарит,
Подъяв чело одушевленно;

Как в злачном храме, он в долине
Приносит тонкий фимиам
Багряной утренней богине.

Благотворитель! — я тобой
К блаженству ныне примирился
С жестокосердою судьбой,
Твоей душой одушевился.

Денница мне — твоя душа;
Она своей росой целебной,
В очах ток слезный осуша,
Врачует мой недуг душевный

И духи жизненные вспять
Моей Камене обращает,
Да пламя Фебово опять
По томным жилам в ней взыграет.

О сердце! — биться не престань
В горящих чувствах бестревожно,
Доколе парка непреложна
С тебя известну взыщет дань.

4 марта 1802

13. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ СТОЛЕТИЯ ОТ ОСНОВАНИЯ ГРАДА СВ. ПЕТРА[1] МАИЯ 16 ДНЯ 1803

Кто там, подобная деннице
В венце горящем над главой,
В величественной багрянице
Блистает в славе над *Невой*?
Столетня юность с красотою,
С улыбкой важность в ней цветет;
В деснице дань она несет
Богоподобному Герою.
Не призрак ли я зрю теперь?
Нет — зрю *Петрополя* я дщерь.

«Сто лет, потомки восхищенны! —
Так дщерь престольна вопиет, —
Сто лет уже, как град священный
Возник из тьмы ничтожной в свет.
И кто? какой сей дух небесный,
Дух приснопамятный в веках,
Одушевя недвижный прах,
Воздвигнул стены толь чудесны?
Немврод? — *Орфей*? — иль *Озирид*?
Нет — *Петр*, полночный наш Алкид.

О полубог полувселенной,
Живый востока в высоте!
Сойди! Сойди с горы священной!
Се возрожденный в лепоте
Взывает росс в гремящем лике!
Се дышит он хвалой к тебе
И славу воздает судьбе,
Как первозданный, в шумном клике!
О тень! божественная тень!
Да будет свят навек сей день!

В сей день, толико мне желанный,
Праправнук августейший твой,

---

[1] Известно, что С.-Петербург заложен в начале прошлого века, т. е. 703 года, на таком месте, где по низкой и топкой почве казалось бы невозможным построение столь прекрасного города, каков он ныне.

Небесным сердцем одаренный,
Екатерины внук драгой,
Предыдя в блеске славы ратной
Потомственным твоим полкам,
Велит торжествовать громам.
Вдруг гром в полках гремит трикратный;
Вдруг миллионом повторен:
«О *Петр*! — живи! — ты нам священ».

Живя ты в вечности, — в том мире,
Живешь еще и в сих веках;
Ты жив в громах, — жив в тихой лире,
Ты жив в державе, — жив в душах,
Ты в чувствах вечен и негиблем,
Так памятник твой свеж и юн;
Храм *грома*, — там горит перун;
Храм *правды*, — он вовек незыблем;
Храм мирных *муз*, — тебя он чтит.
Великий! — всё тебя твердит...

Дивятся царства изумленны,
Что столь огромный сей колосс,
На зыбкой персти утвержденный,
Через столетие возрос.
Вселенной чудо, храм Дианы
Для блеска и твердыни сил
Три века с златом поглотил;
А здесь не храм — но град державный,
Престол полмира, через век
На степень доблести востек.

Гордящась чистыми струями,
Препоясующа сей град
Нева, чуждаясь меж стенами,
Мне мнится, хочет течь назад;
Чело зелено воздымая
Из-под волнистых кровов вод
И разверзая влажный свод,
Недоумеет, взор вращает.
Вдруг глас раздался волновой,
И гул помчался над водой:

«Как? Стены предо мною ныне!
Ужель в стенах бегут струи?
Мне кажется, в иной долине
Пустынны я вела краи.
Доселе сóсна, ель тенисты
Гляделися в моих водах;
Досель теснились в жидкий прах
Граниты стропотны, лесисты,
Где волчий взор в дубраве рдел,
Как огнь в зелену ночь горел.

А ныне там, где скромно крались
Рыбачьи челны близ брегов,
С бесценным бременем помчались
Отважны сонмища судов.
Ермий, сей купли вождь, со славой
Развешивая легкий флаг,
Меж полюсами на зыбях
Летит с гордыней величавой,
Летит то с севера на юг,
То с запада в восточный круг.

Досель страшились робки боты
Предать себя речным водам,
А ныне ополченны флоты
С отвагой скачут по морям;
Кипящу бездну рассекают,
Хребет царя морей нагнув,
И, звучны своды вод давнув,
Пучину славой наполняют.
Но кто виновник их побед? —
Сей *ботик*, [1] — их почтенный дед...

Доселе, дебри где дремали,
Там убран сад, цветет *лицей*;
Где мертвенны утесы спали,
Там, из могилы встав своей,
Скудели в зданиях багреют;
Где ил тонул под серым мхом,

---

[1] Сей ботик был выставлен на стопушечном в тот день корабле в воспоминание того, что он первый подал великому государю великую мысль о флоте за сто лет назад.

Там прянул водомет сребром;
Там куполы в огне краснеют;
Там стогны в мрачну даль идут
Или стражни́цы твердь секут.

Бессмертный! кто тебе подобен!
Зевесов иль *Филиппов* сын
С тобой равняться б был удобен
Иль *Цезарь*, римский исполин!
Их памятник — бесчеловечность;
А ты — урок дал естеству,
Как ты подобен божеству;
Ты про́йдешь целу славы вечность,
Подобно как *Нева* меж рек», —
Рек *невский* гений и потек.

Так, россы! — зрите ль, что вершины
Надменных гор перед *Петром*
Поникнувши легли в долины
И пали в страхе ниц челом,
А тамо, где долина крылась,
Возникнул холм, напружа дол,
И холм в блестящу твердь взошел?
Так точно *гордость* низложилась,
А дар души из тьмы воззван,
Ценен, — возвышен, — осиян.

Се там хранилища закона
В священном ужасе стоят!
Се там *Паллады, Аполлона*
И *муз* святилища блестят,
Где усмирял он древню дикость
И злобу стер, где змий шипел,
Где самый рок он одолел,
Открыл души своей великость
И всё, едва не всё возмог,
Как полпланеты полубог.

Се *храмина*,[1] чертог законов,
Отколе боголепный глас

---

[1] Известный всем домик Петра Великого.

Решил судьбину миллионов;
Отколе не единый раз
Пылал перун, сопутник славы,
Карал вражду внутри и вне;
Отколь престолам, — царствам, — мне, —
Векам — твердилися уставы!
Се славы колыбель! о росс!
Чудись, как в славе ты возрос!

О Первый Петр! во всем ты первый,
Хоть кратко факел твой светил;
Но твой праправнук, внук *Минервы*,
В себе его возобновил;
А ты, — ты в климатах безвестных;
Се гроб! — тут спит твой прах;
Тут торжествую — во слезах.
Ужасна тень! — зри с гор небесных!
Се дань на гроб сердца кладут!
И благодарны слезы льют!

Но, о премудрый основатель!
Одних ли сих творец ты стен?
Одних ли сих чудес ты здатель?
Народ тобою сотворен;
Народ — трофей в трофеях главный!
А ты — России всей творец.
О росс! благословляй венец
Петровых стен столетья славный!» —
Так *дщерь Петрополя* рекла
И жертву с страхом воздала.

Май 1803

14. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБИТЕЛЮ ОТЕЧЕСТВА[1]

Лето паляще летит;
Молния в туче немеет;
Осень на буре висит;
Риза туманна сизеет.

---

[1] Сии стихи сочинены вместо опыта *римских* дактилей на *российском* слове; случай же их был при начале осени.

Брови навислы ея
Иней на долы кидают;
Голые рощи, слезя,
Вздохи шумящи выводят.

Злачны веночки падут;
Травка ложится и сохнет;
Кролики в норы бегут;
Спящая мошка не дохнет.

Мила весна! ты повей;
Всё при тебе поновится;
Будет опять всё живей,
В зелени одушевится.

Пусть и твое, прозябая,
Счастье еще оживет
Или, туман презирая,
Вёсну свою призовет,

Чтобы морозы унять,
Страшные робкой надежде,
Чтобы муравку поднять
В новой зеленой одежде!

⟨*1804*⟩

15. ПОЛНОЩЬ

Открылось царство тьмы над дремлющей
вселенной;
Туман, что в море спал, луною осребренной
Подъемлется над сей ужасной глубиной
Иль пресмыкается над рощею густой,
Где тени прячутся и дремлют меж листами;
Как разливается он всюду над полями?

О мрачна нощь! отколь начало ты влечешь?
От коего отца иль матери течешь?
Не ты ль седая дщерь тьмы оной первобытной,
Котора некогда взошла над бездной скрытной
Лелеять нежныя природы колыбель? —

Так, — черновласая Хаоса древня дщерь,
Ты успши дня труды покоишь и теперь;
Ты дремлющий полкруг под тению качаешь;
Увы! — ты также взор умершего смыкаешь.

О нощь! — лишь погрузишь в пучину мрака твердь,
Трепещет грудь моя; в тебе мечтаю смерть;
Там зрю узлы червей, где кудри завивались;
Там зрю в ланитах желчь, где розы усмехались.
Одр спящего и гроб бездушный — всё одно;
Сон зрится смертию — смерть сном, и всё равно.

Се полнощь! — тихо всё; луна с среды нисходит
И к западным водам Плиад с собой уводит.
Здесь силюся возвесть я полусонный взор
На крыты бледным мхом хребты дремотных гор.
Луна сребрит пары, что из могил восстали
И человеческ вид в лучах образовали;
Его ли слышу глас? — Иль шепчет ветр из рощи?
Нет, — здесь язык шумит, — язык невнятный нощи.

Двенадцать бьет, — вся тварь вокруг меня молчит;
Грех спит ли? — *Мудрость* бдит! И — можно ль? — *зависть* бдит!
Но *труд, — невинность,* — всё почиет под тенями;
Лишь кличут совы там с огнистыми очами.

Воздушно озеро сседаяся бежит;
Сверкает молния, и твердь вдали гремит.
Селитряный огонь восток весь озаряет
И сумрачных холмов вершины убеляет.

Кто тамо посреде восточных туч грядет?
Не страшный ль судия с собою рок несет?
Предыдет огнь ему, а следом кровы мрачны;
Лице его блестит, как образ солнцезрачный;
Вся риза в молниях волнуется на нем
И препоясана зодиаком кругом;
Он быстро в мир грядет, и сам стопой сафирной
Пронзает в выспренних странах помост эфирный.
Се в час полунощи грядет
Жених, одеян в страшный свет!

Блажен тот раб, его же сряцет
Готового в небесный брак;
Несчастен же, кого обрящет
Поверженна в унылый мрак!
Блюди, душе моя смущенна,
Да сном не будет отягченна
И вечной смерти осужденна;
Но, воспрянув от сна, гласи:
«О трисвятый! — воззри! — спаси!»

Еще ль душа, в мечтах несвязных погруженна,
Еще ли в узах спит стозвенных задушенна?
Восстань! — возжги елей и созерцай чертог,
Где ждет тебя жених — твой судия, твой бог!
О ты, надеяйся на будущи годины,
Забывый строгое условие судьбины,
Сын неги, — ищущий бессмертья в днях своих!
Вострепещи, когда познает сей жених,
Что масло во твоем скудельнике скудеет
И огнь живый небес внутри тебя мертвеет!
Ты буйствен, ты не мудр, — проснись! ступай со мной!
Открою, где чертог премудрость зиждет свой;
На мшистых сих гробах, где мир небесный веет!
Ступай! — учись! — гроза прешла, — луна багреет...

⟨1804⟩

16. ПРОТИВ САХАРА

Любезно лакомство *Венеры*,
Камыш Канарских островов,
Желчь негров, неги сласть без меры,
Враг пчел, друг неких птиц и псов!

Не ты ль стихию вскипяченну
С приправой *хинского* листа
Для вкуса строишь услажденну
И манишь лакомы уста?

Не ты ли водку умягчаешь
Рассыпчивым своим песком,
Позыв в желудке умножаешь
На многи брашна за столом?

Не ты ль зимою подслащаешь
Передвоенный виноград,
А летним знойным днем влагаешь
Свою приятность в лимонад?

Ты в вафлях клетчатых блистаешь,
Смеешься в каше, в пирогах
И в пудине, как снег, сияешь.
Ей! — ты душа в таких вещах.

Но если нервы в нас слабеют
И власть свою скорбут берет,
Иль зубы от тебя чернеют,
Противный дух из уст идет;

За сладостью твоей небесной
Зловонье адско вслед летит;
Что я скажу? — О нéктар лестный!
В тебе сокрытый яд лежит.

То мало; — коль за подлу цену
Невольник черный быв продан,
Отводится к позорну плену
От *африканских* милых стран;

Когда, лишась супруги верной
Иль в чадах — нежных, милых чад,
Идет окован в грусти черной
И в сердце чувствует весь ад;

Идет под тяжкими бичами
Над тростником свой век кончать,
Труд мочит кровью и слезами,
Чтоб вкус Европы щекотать;

И наконец — он умирает,
Чтоб сластолюбью услужить,
Затем — что без того не знает
Оно мудрейших мер открыть;

Что я тогда скажу, смущенный?
Не сахар — сладкий яд мы пьем,

В слезах и поте распущенный;
Не не́ктар — кровь несчастну льем.

Не лучше ль не́ктар надлежало
Искать нам в *свекле*[1] иль в пчелах?
Пчела в защиту носит жало,
А беззащитный *негр* — в цепях.

Китай с аравскими странами
Не дорожился бы травой
Или пряжеными бобами;[2]
То вымысл роскоши пустой.

Как стыдно золотому веку
Железным варварством блистать
И к вечному наук упреку
Причудливый вкус щекотать!

⟨1804⟩

17. ПЕСНЬ НЕСЧАСТНОГО
НА НОВЫЙ ГОД К БЛАГОДЕТЕЛЮ

Without shelter from the blasts
in vain we hope the tender plant.

Akenside[3]

Звукнул времени суровый
Металлический язык;
Звукнул — отозвался новый,
И помчал далече зык.

Снова солнцы покатились
По палящим небесам;
Снова шумны обратились
Времени колеса там.

---

[1] Известно, что ныне делают сахар из свеклы, и преимущественно в Московской губернии, как недавно писали в ведомостях.

[2] Конечно, меньше бы нужды было в *чае*, так как в России одобряются вместо его лучшие растения; то же самое сказать можно и о *кофе*, ибо ныне уже нашли полезнейшую замену его.

[3] Лишенные защиты от урагана, напрасно мы возлагаем надежды на слабый цветок. — *Акенсайд* (англ.). — *Ред.*

Будьте вновь благословенны,
Земнородны племена!
Будьте паки восхищенны,
Как и в прежни времена!

Пейте в полной чаше радость!
Пейте здравия струи!
Ощущайте жизни сладость!
Украшайте дни свои!

Мне судьбина отреклася
Бурю жизни отвратить;
Знать, она еще клялася
Горьку желчь свою разлить.

Рок, о рок, — почто толь рано
Ты мне желчь подносишь в дар?
Неужель на свежу рану
Свежий мне даешь удар?

Где для горькой раны срящу
Врачество в грядущий год?
Где, — в каких сердцах обрящу
Против грозных туч отвод?

Муж сострадущий, муж кроткий!
Если лиры моея
Внял ты некогда глас робкий,
Ах! — к тебе спешу вновь я.

Обратися, муж великий!
Се ударил новый час!
Пусть часы живешь толики,
Сколько благ лиешь на нас!

Пусть трех персты парк суровых
Жизни нить твоей прядут
Из шелков драгих и новых
И ей крепость придадут!

А когда еще тобою
Тяжкий рок мой не забыт,

Ах! — не поздно мне с судьбою
Мир тобою заключить

Коль не поздо, в новом годе
Не пролью я новых слез;
После бурь в другой погоде
Осушу их средь очес.

1795, ⟨1804⟩

18. ГЛАС ВОЗРОЖДЕННОЙ ОЛЬГИ К СЫНУ СВЯТОСЛАВЛЮ

Едва лишь полночь под звезда́ми
В глубокой томной тишине,
Махнув снотворными крылами,
Прешла — и в утренней стране
Белеть свет начал сквозь завесы,
Я зрю — два жителя *славянски*
С смущенным неким видом там
Из хижин тихо выступают.
Единый млад и воин был;
Другой от многих лет согбен
И представляет гражданина.

«Не слышишь ли, — младой вещает, —
Протяжный тамо томный стон?
Не знаешь ли, что значит он?
Он простирается оттоле,
Где вдруг спираются на тверди
Кровавоогненны столпы
И где Полярная звезда
Дрожит сквозь неку слезну влагу».

Старец

Я слышу, юноша, шум ветров
И вижу там огни живые;
Но взор и слух мой слаб. О рок!
Мне мнится: дух бесплотный ходит
Там над порогами *Днепра*;
Он тихо прорицает жребий. . .

Толики знамения мрака
Не носят рок простых людей,
Но час вздыхающих князей,
Час судорожный полбогов.
Да, — смерть касается престола...

Юноша

Как? — неужель!..

Старец

Владыки нет...
Да, — нет его, — мне шепчет дух.
Едва минувший век пал в бездну
И лег с другими в ряд веками,
То *князь* — туда ж за ним вослед.
Едва лишь возгремел над нами
В горящей юности сей век, —
Век, скрыпнув медным колесом,
Погнался в мрак *грядущей дали*,
А пламенны миры по тверди
В гармоньи новой двиглись плавно;
Князь, — томный князь взглянул на них, —
Вздохнул, — вздохнул в последний раз.

Юноша

О рок всемощный! — пред тобою
И вечные громады гор,
И одночасные пылинки
С одной внезапностию гибнут.
Уж нет того, пред кем колеблясь
Судьба *племен* висела в страхе;
Кто, новые уроки *Марса*
Внимая, шел сквозь огнь и бездны;
Кому ни шумный *Буг,* ни бурный *Истр,*
Ни пропасти — жилища теней,
Ни омрачны *Фракийски* горы,
Ни даже *Тибр,* ни *Эридан*
В стремлении не воспящали;
Кто, будучи среди бессмертья,
Вдруг смертной сенью был покрыт;
Разрушив легионы *греков*,
Погиб — от кова *печенегов.*

Он, как огнистый *метеор*,
В полудни своего владенья
Познал внезапу ранний вечер.

Старец

Я вижу, нечто там — вдали — мелькает,
И слышу глас — как ветра шум,
Что сквозь глухую дебрь взывает.
Не слышишь ли? — Или не видишь!

Отходящая душа Святослава

Где я? — Что сделалось со мною? —
Но омрак мой минул! — он тяжек.
Куда лечу? — А там — кого я вижу? —
Там — одаль — в сфере светлых теней, —
Не тень ли матери? — Да удалюся!
Духов согласных поищу!
Зрю, как главою покивает
И глумным оком зрит она!
Прости, брегов *днепровских* дщерь!
Я отхожу; прости навеки!

Тень Ольги,
(вещающая внуку)

Владимир! — Ольги внук, Владимир,
Тебе реку: внемли! — В час гневный
Мой сын, несчастный твой отец,
Оставил ввек сей дол плачевный,
Приял и дел и дней конец.
Лишь *росс* со мной навек простился,
И зреть меня он в нем не смел,
Как и того теперь лишился.
Я зрела, как он в твердь летел...

Да, зрела я, как *печенеги*
Изобретали страшный ков;
Он воздохнул; *днепровски* бреги
Промчали вздох сквозь тьму лесов,
Чертеж небесный и священный,
Чтобы народ весь возродить,
Оставлен на случáй пременный.
Чертеж сей должен ты открыть.

Чертеж теперь *славянам* лестен,
В нем целый дух мой помещен,
А дух душе твоей известен.
Разгни его! — и росс блажен.
Ты узришь в нем, что дар сладчайший,
Что небо земноро́дным шлет,
Есть царь любезный, царь кротчайший,
Который свой народ брежет.

Народ к нему любовь имеет;
Народу доверяет тот;
Сей в верности к царю твердеет
И из любви дает живот;
Сей царь далече вздохи внемлет;
Он пагубы гнездо сечет.
Змеится ль крамола? — не дремлет;
Вражда ли близ? — далече вред.

Как прах, вражду он рассыпает;
Он вне Отечества оплот,
Внутри судья, — и созидает
Благим и мудрым свой народ;
Как *промысл* миром управляет
По мере сродных миру прав,
Так царством он повелевает,
Как царственный велит устав.

Любимец неба! — ты не боле
Воззришь на блещущий свой сан,
Как на залог, что к лучшей доле
Тебе в народе свыше дан.
Тебя порфира украшает;
Чело твое венец златый
С величеством приосеняет;
Жезл силы в длани носишь ты;

Но в сем убранстве, в сей одежде
Ты будешь столько лишь блистать,
Сколь служит то к прямой надежде,
Чтоб в царстве счастье соблюдать.
Питомец мой багрянородный!

Ты должен мудрость насаждать
Среди пелен в умы народны,
Чтоб с сердцем души воспитать.

В бичах вселенной дерзких, злостных,
О коих гром один твердит,
Век каждый щедр и плодовит;
Но чтоб найти в порфироносных
Того, кто бы умел хранить
Владенье в тишине блаженной,
То надлежит переходить
Всю древню летопись вселенной
И происшествий мира нить.
Ни стен гранитная твердыня,
Ни ополчений страшный вид,
Ни лесть, ни ложная святыня
Страшилища не защитит;
Судьба проникнет сквозь граниты;
Личина спадша обнажит.
Кто он? Волк, кровью лишь омытый,
Любовь, одна любовь — твой щит.
Ты князь — пусть все отверзутся укрепы!
Пусть ржавые врата скрыпят!
Пусть с костью свыкшиесь заклепы,
С сухих спадая ног, звучат!
Пусть ангела земной ад внемлет,
Где свет едва бывал знаком!
Пусть свежий луч его объемлет
Изгибы темны в аде том!
Тогда полки смертей погибнут
По вымышленным там гробам;
Висящи косы все поникнут;
Дух жизни паки взвеет там.
Се вид! — отец сынов сретает,
Сестра внимает братний глас,
Супруга мужа прижимает, —
Слезится радость их из глаз.

От сих родятся верны внуки,
Друзья престолам и сердцам:
Пожарский, Минин, Долгорукий,
Румянцев и *Суворов* сам.

Но лавры рано ль, поздно ль злачны,
Сколь слава к жатве ни зовет,
Вменятся в кипарисы злачны
В той длани, что их в поле жнет.

Так ты твори! и будь спаситель,
Отец и друг своих племен!
Отец твой не был просветитель,
Он витязь, — к рыцарству рожден.
Я водрузила божье знамя
В холмах *Аланских* с чертежом;
В *Иулиане* гибло пламя...
Ты возроди. — Прости затем!

Юноша

Так, — слышу я, — ужасный боже!
Какие словеса с небес! —
Се мудрость вечности самой! —
Се глас — глас *Ольги* возрожденной!

Старец

Нет теней сих, — всё тихо;
Пойдем! — мы лучшей ждем судьбины.

Между 1801 и 1804

19. НОЧЬ

Звучит на башне медь — час нощи,
Во мраке стонет томный глас.
Все спят — прядут лишь парки тощи,
Ах, гроба ночь покрыла нас.
Всё тихо вкруг, лишь меж собою
Толпящись тени, мнится мне,
Как тихи ветры над водою,
В туманной шепчут тишине.

Сон мертвый с дикими мечтами
Во тьме над кровами парит,

Шумит пушистыми крылами,
И с крыл зернистый мак летит.
Верьхи *Петрополя* златые
Как бы колеблются средь снов,
Там стонут птицы роковые,
Сидя на высоте крестов.

Так меж собой на тверди бьются
Столпы багровою стеной,
То разбегутся, то сопрутся
И сыплют молний треск глухой.
Звезда *Полярна* над столпами
Задумчиво сквозь пар глядит;
Не движась с прочими полками,
На оси золотой дрожит.

Встают из моря тучи хладны,
Сквозь тусклу тверди высоту,
Как вранов мчася сонмы гладны,
Сугубят грозну темноту.
Чреваты влагой капли нощи
С воздушных падают зыбей,
Как искры, на холмы, на рощи,
Чтоб перлами блистать зарей.

Кровавая луна, вступая
На высоту полден своих
И скромный зрак свой закрывая
Завесой облаков густых,
Слезится втайне и тускнеет,
Печальный мещет в бездны взгляд,
Смотреться в тихий *Бельт* не смеет,
За ней влечется лик *Плиад*.

Огни блудящи рассекают
Тьму в разных полосах кривых
И след червленый оставляют
Лишь только на единый миг.
О муза! толь виденья новы
Не значат рок простых людей,
Но рок полубогов суровый.

Не такова ли ночь висела
Над *Палатинскою* горой,
Когда над *Юлием* шипела
Сокрыта молния под тьмой,
Когда под *вешним зодиаком*
Вкушал сей вождь последний сон?
Он зрел зарю — вдруг вечным мраком
Покрылся в *Капитольи* он.

Се полночь! — петел восклицает,
Подобно роковой трубе.
Полк бледный тéней убегает,
Покорствуя своей судьбе.
Кто ждет в сии часы беспечны,
Чтоб превратился милый сон
В сон гроба и дремоты вечны
И чтоб не видел утра он?

Смотри, какой призрáк крылатый
Толь быстро ниц, как мысль, летит
Или как с тверди луч зубчатый,
Крутяся в крутояр, шумит?
На крылиях его звенящих
В подобии кимвальных струн
Лежит устав судеб грозящих
И с ним засвеченный перун.

То ангел смерти — ангел грозный;
Он медлит — отвращает зрак,
Но тайны рока непреложны;
Цель метких молний кроет мрак;
Он паки взор свой отвращает
И совершает страшный долг...
Смотри, над кем перун сверкает?
Чей проницает мраки вздох?

Варяг, проснись! — теперь час лютый;
Ты спишь, а там... протяжный звон;
Не внемлешь ли в сии минуты
Ты колокола смертный стон?
Как здесь он воздух раздирает!
И ты не ведаешь сего!

Еще, еще он ударяет;
Проснешься ли? — Ах! нет его...

Его, кому в недавны леты
Вручило небо жребий твой,
И долю дольней полпланеты,
И миллионов жизнь, покой, —
Его уж нет; и смерть, толкаясь
То в терем, то в шалаш простой,
Хватает жертву, улыбаясь,
Железною своей рукой.

Таков, вселенна, век твой новый,
Несущий тайностей фиал!
Лишь век седой, умреть готовый,
В последни прошумел, упал
И лег с другими в ряд веками —
Он вдруг фиалом возгремел
И, скрыпнув медными осями,
В тьму будущего полетел.

Миры горящи покатились
В гармоньи новой по зыбям;
Тут их влиянья ощутились;
Тут горы, высясь к облакам,
И одночасные пылины,
Носимые в лучах дневных,
С одной внезапностью судьбины,
Дрогну́вши, исчезают вмиг.

Се власть веков неодолимых,
Что кроют радугу иль гром!
Одне падут из тварей зримых,
Другие восстают потом.
Тогда и он с последним стоном,
В *Авзоньи,* в *Альпах* возгремев
И зиждя гром над *Альбионом*,
Уснул, — уснул и грома гнев.

Так шар *в украйне* с тьмою нощи
Топленой меди сыпля свет,

Выходит из-за дальней рощи
И, мнится, холм и дол сожжет;
Но дальних гор он не касаясь,
Летит, шумит, кипит в зыбях,
В дожде огнистом рассыпаясь,
Вдруг с треском гибнет в облаках.

Ах! нет его, — он познавает
В полудни ранний запад свой;
Звезду *Полярну* забывает
И закрывает взор земной.
«Прости! — он рек из гроба, мнится. —
Прости, земля! — Приспел конец!
Я зрю, трон вышний тамо рдится!..
Зовет, зовет меня творец...»

Между 1801 и 1804

20. ВЫКЛАДКА ЖИЗНИ БЕСТАЛАННОГО *ВОРБАБА*[1]

При бреге *Котросли* глубокой,
Там — близко, где, как бы устав,
Она, в стезе своей широкой
Услуги многи показав,
В тени стражниц златовершинных,
В средине стен высоких, длинных,
Для расцветающих искусств,
Для вкуса, разума и чувств
Ложится в лоно *Волги* славной
На дне песчаном отдыхать
Иль купно с ней стопою равной
Стремится дале утекать, —
Там — *Ворбаб* в мрачности родился,
Там он увидел первый день;
Без славы цвел — играл, резвился;
Его дни крыла тиха тень;
Там сном его летела младость;
Там он невинну пил лишь радость.
Лишь *волжский* берег девять раз

[1] Это некоторый мой знакомец, пересказавший мне краткую свою историю.

Мелькнул во злаке мимо глаз,
Судьба велела удаляться;
Как горько с родиной расстаться!
Мой друг! — позволь мне повторить!
Позволь сквозь слезы пошутить!
Прости, прости, священна *Нера*! [1]
Мала твоей воды мне мера.
Чуть начал ум мой расцветать,
Я стал иной воды жаждáть;
Я с божеством стихов столкнулся,
С *Эвтерпой* миленькой смигнулся;
Чтоб сделать *ливером* умов,
Она меня из рук кормила,
Водой *Смородины* [2] поила,
Давала тук чужих голов.

Лишь мыслей утро рассветало,
Другое пламя запылало
И страсти начали бродить;
За счастьем к *Бельту* ну катить!
Но там — мог счастья тыл схватить,
Спешил к брегам *Эвксинским* черным;
Не там ли счастье, мнил, живет;
Слетал туда — и тамо нет;
Весь прок нашел в Пегасе верном.
Он был послушен мне — я сел;
Хоть не всегда — я с ним летел,
И что на ум взошло — я пел;
С зарею часто восставая,
За туалетом муз сидел,
А в тихий вечер, унывая,
Я на луну зевал, смотрел;
Когда варганными крылами
Кузнечик марш бил меж цветами,
Я славу ночи пел стихами.

Но всё то — чувств неверный шквал,
Пружина лишь души незрелой,
Сей самобытности неспелой;

---

[1] Ростовское озеро.
[2] Москва-река.

А к зрелости — весь век мой мал;
Он мал — и поскакал поспешно,
Ах! — так ползет в гроб жизнь моя,
Как в *Волгу Котросли* струя.
Что ж в жизни прочно? Что успешно?
Почту ли юны дни зарей?
Там чувства то ж, что сумрак дней;
Почту ли полднем средни лета?
Там рдеет страсть — луч гаснет света;
Почту ли вечером век поздный,
Там всё потерпит жребий грозный;
Там чувство, — страсть, — ум — всё падет.
Знать, вся лишь жизнь — еще рассвет,
А полдня истинного нет.
О небо! — там уже доспею;
Там — в важной вечности — созрею...

Между 1801 и 1804

21. ХЕРСОНИДА,
ИЛИ КАРТИНА ЛУЧШЕГО ЛЕТНЕГО ДНЯ В ХЕРСОНИСЕ ТАВРИЧЕСКОМ

Лирико-эпическое песнотворение, вновь исправленное и умноженное, с последованием некоторых небольших трудов переводных, подражательных и сочиненных в стихах и прозе, относящихся по содержанию к херсонисским и к другим окрестным предметам

⟨ГРОЗА НАД ТАВРИЧЕСКИМИ ГОРАМИ⟩

Содержание

Гроза над Таврическими горами. — Разные перемены во время ее. — Молния и треск громовый. — Надежда караибов, или таврических евреев при сем. — Мольба к небесному громовержцу. — Многократное повторение громовых ударов с толиким же возблистанием. — Воспоминание Рихмана, смертельно пораженного громом. — Беседование при сем Ломоносова. — Дождь и буря. — Повал хлеба на пашне. — Плач земледельца в сем случае. — Перемены на море. — Отшествие грозы. — Последственное движение остальных туч между горами. — Радуга. — Оживление и возобновленный труд растений. — Радость животных. — Прогулка и купанье татарской княжны Цульмы. — Печальное ее ожидание любезного Селима, молодого татарского мурзы. — Наступающая красота вечера. — Она мало значит без сердечной подруги.

Гремит, — отколе важный глас?
Из коей дальней тверди рев
В глухих отзывах здесь вторится
И подтверждает неба гнев?
Отколе весть толь грозна мчится?

Возлюбленна моя *Камена*!
Трепещет ли твоя здесь арфа?
Ах! — ты робеешь в грозный час
Поведать торжество небес!
Почто робеть? — Пусть нова нощь,
Нависнув тамо — над горами,
Надутым тяготея чревом,
Покров свой черный развивает
И тусклым ликом помавает!
Ужасна нощь, — но лучший час
Для возвышённых чувств и мыслей!

Зри! — как там дикий пар сизеет
И стелется между горами!
Зри! — там еще ужасна мгла
Над той синеющей дубравой
Растет, — густеет, — выспрь идет!
Се тот зловредный прах клубится,
Который зноем извлечен
Из сокровеннейших одров,
Где тайны руды спят во мраке,
Где воздух тайный, смертоносный,
Облегши темны минералы,
В покое роковом висит
И ждет путей, чтоб вспыхнуть с треском!
Се ключ, отколе прах исходит!
Он к темю сих хребтов влечется,
Сокрытый пламень заключая,
Сседается, — тучнеет, — вьется
И, лик светила закрывая,
Сиянье помрачает дня!

В сей грозной, безобразной туче
И самый мрак чермнеет, рдеет,
Сокрыв в себе источник бедствий.

Сия ужасная громада,
Эфирным спором раздраженна,
В бурливых вихрях брань вжигает.
Летят противны ветры в тверди,
Спирают тучи меж собою;
Но долу всё еще спокойно;
Безмолвье мрачно, роковое
В юдоли царствует плачевной;
Лишь в тощих, шумных камышах
Мне чудится в сей страшный час
Органный некий тихий звук;
Зефиры грозных бурь, трепéща
И зыбля сетчатые крылья,
Лишь только шепчут меж собой
И, крылышком касаясь струн,
Чинят в сей арфе некий звон;
Лишь только слышен дикий стон,
Из сердца исходящий гор,
Предтеча верный сильной бури.
Он долу с ропотом катяся,
Без ветру горны рощи ломит,
Без ветру листвия щепечут
На ветвях тополов высоких.
Зри там! — вдали, — в долине илем
Вблизи *Салгирского* потока
Не престает пред гласом неба
Со страхом неким преклоняться!
Сей стон пронзает черный понт,
Мутит с песками темну бездну.
Стада делфинов выпрядают
Из-под чернеющих зыбей;
В волнах, как в шатких колыбелях,
Играют, прыгают, ныряют;
Ключи воды соленой бьются
Из водометных их ноздрей;
Вокруг колеблемых судов
Они резвяся, предвещают
Пришествие грозы ужасной.

Вдруг с страшным шумом пыль воздвигшись
То клубом, то крутым столбом,

То легкой некой серой тучей,
И степь и стогны поглощает;
Летят разметанные скирды,
Крутясь на крыльях *урагана.*
Несчастный путник цепенеет
И, в пыльном вихре задыхаясь,
В лощину перву повергаясь,
Глаза руками зажимает,
Насильны слезы отирает
И ждет, как небо прояснится.

В утробе мельниц возвыше́нных,
Стоящих гордо над пустыней,
Гремит механика сильнее
И плод *Цереры* превращает
Мгновенно в мелку снежну пыль;
Там жернов, средь колес ревущий,
Вертится быстро, мещет искры;
Отвислы их крыле широки
От напряженья бурных вихрей
Быстрейшей силою крутят
Горизонтальный оборот.

Воздушны жители слетают
Стремглав в глубокие юдоли;
Их быстрому полету крыльев
Попутны ветры помогают;
Едва бурелюбивый вран
Тогда дерзает воспарять
Среди сумра́ков неизвестных.
Стада, остановляясь с страхом,
На гневны мещут небеса
Слезами очи окропленны.
Бледнеющие пастухи
Под блещущьми кругами молний
Бегут, накинувши на плеча
Убого рубище свое,
В ближайшу кущу опрометом;
Но ежели ее находят
Наполненную пастухами,

То под навислостью скалы
Покрова ищут для себя.
И я, — я также уклонюсь
Под сей камнистый, грозный свес
И буду ожидать чудес...

Се! — там в окрестностях селенья
Шум раздается вещих птиц,
То *гогот* гуся, то *крик* врана!
Се! — петел громко возглашает!
Конечно, сей печальный вестник,
К пределам обратясь грозы,
Провозвещает неба гнев
И слезный час страданья твари!
Се! — петел повторяет весть!
Конечно — между сил небесных
Совет ужасный заключен,
Чтоб бури с громом покатить
Под рдяным троном *Иеговы*!
Всё, — всё теперь недоумеет,
Дрожит, — трепещет — и немеет;
Но вдруг внезапный быстрый блеск
Сверкнул — и дальний юг рассек.
Чем гуще мрак, тем блеск ярчее.
Не таково ли светоносно
Горящих царство херувимов?
Не се ли тот объемный миг,
Что мещет в дольний мир с эфира
Всевидящее страшно око!
Но ах! — в одно ли место мещет?
Нет — там и здесь, — спреди и с тылу
Иль вдруг меня вокруг объемлет;
Куда ж теперь бежишь, несчастный?
Куда укроешься от ока,
Что, в быстрых молниях блистая,
Тебя преследует повсюду?
Чу! там гремит! гремит протяжно!
Какие бурные колеса
Ревут по сводам раскаленным?
Не тьма ли молотов колотит
В горнилах тверди углубленных?
Или теперь природа страждет?

Или грядет судья вселенной
С своим лицем молниезрачным?

О *караибы*! — вы кого
При храминах отверстых ждете?
Того ль, что в молниях багряных
И в громе от страны восточной
На ваш камнистый снидет холм [1]
И в вашем шумном синагоге
Откроет вам в себе *Мессию*,
Который возвратит *Салим*
И Соломоново блаженство?
Сего! — так это царь от мира;
А сей есть судия небес,
Который ваше заблужденье
Единой молнии чертой
Довлеет в миг един рассечь!

«Ужасен глас твой, судия!
Глагол твой дольний мир колеблет.
Тебе предыдет сонм огня;
Зодиак чресла вкруг объемлет,
А мрак и буря за тобой;
Ты в ужас облечен такой,
На ветреных крылах несешься;
Какой же приговор, — о боже,
Ты робким тварям изречешь,
Сим червям немощным и слабым?
Ужели ты — небесный отче,
Который потрясаешь сферы,
Колеблешь словом твердь без меры,
Которого единый взор
Средь самой чистоты души
Провидит черноту сокрыту,
И что? — в святом зрит существе
Духов шестокрылатых тьму, —
Ужель перуны устремишь
В пылинки малы, оживленны

---

[1] *Джуфут Кале*, так называемая жидовская крепость, построенная на одной высокой горе в *Таврии* близ *Бахчи-сарая*, где живут евреи, во многом отличные от польских.

Твоей любовью бесконечной,
На коих ты среди перунов
Осклабленным лицем взираешь?
Нет, паче громовым ударом
Ты рассекаешь гордый дуб,
Чем нежный и смиренный мирт.
Ах! горделивый человек!
Ты, что одеян в власть пустую,
Совсем не знающий того,
О чем ты более уверен,
Ты, что перед лицем небес,
Подобно как *уранг-утанг,* [1]
Тщетою токмо раздраженный,
Мечты пустые представляешь,
Что ангелов приводят в слезы, —
Страшись пылающей десницы!
Сей глас, ревущий в черной туче,
Гремит для строптотных сердец
И в них вселяет бледный трепет;
Тебе же, о душа невинна,
Язы́ком кротким серафима
Мир, тихий мир средь бури шепчет;
Душа! не содрогайся в буре!
Содрогнется ли тот, кто чист?
Подвигнется ли тот, кто прав?
Хотя б ревуща пала твердь
В развалины вселенной дымны, —
Сей дух неустрашим пребудет.
О! — пощади тогда меня,
Неизреченный судия!
Се! здесь колена преклоня
И с томным содроганьем сердца
Лобзаю ризы твоея
Воскрая огнеобразны!
Я трепещу звучать на арфе;
Но ты позволь хотя с дрожаньем
Взыграть на арфе страшну песнь».
Еще черта мелькает сиза!
Едва мелькнет — зияет туча
И вдруг сжимается опять,

---

[1] Род большой обезьяны, совсем похожей на человека.

Сжимается — зияет паки
И протягается, объемлясь
Огнепалящим всюду морем.
Уже от ската *Чатыр-дага*
И от других стремнистых гор
К соседним скатам стук отдавшись,
И многократно отражаясь,
Несчетны делает углы
В своих быстротекущих звуках.
Чу! гул троякий, пятеричный!
Он подлинный перуна глас
Твердит в твердынях долго, долго.
Когда совокупит в едино
Все звуки меди в дольнем мире,
То все они, совокупленны
Против него, — лишь суть жужжанье.

Еще блестит! еще гремит!
Вторый — и третий раз блестит!
Вторый — и третий раз гремит!
Свет кровы мрака раздирает;
Гром долу робкий мир сдавляет...
Вдруг твердь трещит — и с тверди вдруг
В тьме стрел иль в тьме сребристых дуг
Слетел стремглав смертельный блеск;
В тьме выстрелов сей резкий треск
Рассыпался над головой!
Вот гул меж гор завыл двойной!
Промчался в долах с стоном вой!

Безбожный! изувер! куда?
Под каковые темны своды
Теперь укрыться татьски чаешь?
Ты скрыт, но мрачна мысль твоя
Видна и в ночь пред оком неба.
Давно ль ты утверждал безумно,
Что бог быть должен бог любви
Для буйственных твоих желаний
И быть лишь токмо милосердым;
Или — располагать себя
По воле суетной твоей,
Чтоб ты в злосердьи был свободен?

Как? — должен он забыть премудрость!
Он должен пременить любовь,
Всевечную любовь к порядку!
И свой святый закон предать
Презренью твоему, кощунству,
Глумленьям диким вольнодумства!
Он должен скипетр преломить!
Весы правдивы сокрушить!
Он должен погасить перуны!
Иль — уступить тебе их, червь!
А для чего? — Чтоб между тем
Ты мог бесстрашно лобызать
Продерзкие свои желанья
И необузданные страсти!
Чтоб, бывши ты безумным богом,
Махал перунами по воле,
Блистал — свет солнечный мрачил,
И в мире злейши зла творил?
Постой, несчастный своенравец!
Се освещает молний луч!
Зри суетный чертеж ты свой!
И коль твоя душа бесстудна,
То научись бледнеть заране!
Се судия! — Вострепещи!

Где новый *Кромвель*? — Где *Спиноза*?
Где новый *Бель*? — О, как ты бледен!
В тебе трясется кажда кость!
Ты ту минуту чтешь счастливой,
В котору огненна стрела
Шипящей некоей змией
Перелетела мимо взора!
Смотри еще! К чему бледнеешь
От бледной молнии ниспадшей?
Или внутри тебя иный
Шипит перун — разяща *совесть*?
Се покатилась над челом
Горяща колесница мщенья!..
Глаголы грозны *бога сил*
Сверкают на ее колесах;
Чу! звукнула средь туч!.. но ах!
Но ах! — всегда ль удар ее

Прицелен на чело злодея?
Колико крат неосторожна
Невинность гибла от нее?
Несчастный Рихман! пусть моя
Слеза на мшистый гроб твой канет!
Давно *Урания* рыдает
И ропщет втай на громовержца,
Что сей ее питомец нежный
В ее очах был поражен.

Та ж самая эфирна сила,
Которой в царство он вникал
С живой отвагой мудреца,
Похитила его к себе.
Природа, мнится, клав его
В младенческую колыбель,
Еще в то время усумнилась
О слезном бытии его;
Лишь усумнилась — парка хитра
Сокрылася в железном пруте.[1]
Но *Ломоносов,* друг его,
Не так несчастлив был тогда,
Как тот, в чьем опыте ужасном
Судьба свое скрывала жало
И токмо шага ожидала;
Он самый жребий превозмог;
Прешедши философский мир,
Достиг святилища природы.
Немногие пределы крылись
В безмерной области наук
От взоров пламенных его.
Ах! как он в сердце восхищался
При испытании эфира,
Когда шипящие лучи,
Одеянны в цветы различны,
Скакали с треском из металла?
«Скор быстрый шаг бегущих ветров, —
Так он в то время рассуждал, —
Еще быстрее ветр эфирный!

---

[1] Известно, что г. Рихман, профессор Санкт-Петербургской академии, убит громом при испытании электрической силы.

Он, быв от точки отражен
И быстро преносясь по тверди,
Летит мгновенно в точку зренья;
Вторый — и третий раз блестит!
Вторый — и третий раз гремит!
Но звук эфирный, ветром данный,
Подобно как бы луч звенящий,
Слои воздушны потрясая
И дале круг свой расширяя,
Слабейшим шагом в слух течет.
Смотри! — сверкнул эфирный луч!
Вторый — и третий раз блестит!
Вторый — и третий раз гремит!
Смотри! — как сребрян вихрь крутится
Змиеобразною чертой!
С какой чудесной быстротой
Из сжатой в жидку часть стремится!
Здесь он в стремлении шумит,
Шипит, — трещит — и твердь разит;
А глас далек, — приходит поздо,
Уже гроза на крыльях ветра
Сюда сокрытый пламень мчит,
Который скоро покорит
Себе дрожащий здешний воздух;
Перун чертится полосами
По растяженным черным сводам;
Се! сто небесных тяжких млатов
Готовы свой удвоить стук!»

Так мыслил северный мудрец;
Вдруг грянул гром, — а ты,
О неиследная судьбина!
А ты, достойный плача *Рихман*,
Печальной опыта стал жертвой!
Потрясся тут, вострепетал
Сердоболящий *Ломоносов*,[1]
Как зрел бездушного тебя.
Философ долго был в безмолвьи;
Потом он тако возопил:

---

[1] См. письмо Ломоносова к г. Ш⟨увалову⟩ о исследовании громовой силы и участи профессора Рихмана.

«Гром грянул, нет на свете друга!
Как пал почтенный мой герой,
Герой премудрости, природы?
Ужели он повержен тако?
Немилосердая судьба!
Какая мстительная зависть
Тебя сей час вооружила
Толь смертоносным острием,
Чтоб юный опыт погубить
В зародыше еще лишь нежном?
Иль ты сочла ужасным долгом
Давить *Алкида* в колыбели?
Да, в мудром зришь всегда *Алкида*;
Но возмужалы мудрецы
Как на тебя, Мегера, смотрят?
С усмешкой, — с безмятежным духом;
Страшился ли тебя *Франклин*,
Иль *Мушенброк*, иль *Эйлер* славный,
Как тайный океан эфира,
Разлитый в глубине природы,
С отважной грудью измеряли?
Нет, — дух их столь же страшен был,
Как самый их предмет — эфир.
Они открыли вход безвестный
В незримый океан эфирный
И верный дали нам компа́с,
Чтоб истинных стезей держаться
И править тонкой силой сей.
Вотще безумец вопиет
Противу мудрых покушений;
Вотще слепец сей нарицает
Продерзким и безбожным делом
Багряну Зевсову десницу
Удерживать среди ударов.
Но ах! когда надежда наша
Еще постраждет в пеленах,
То горе! — юна дщерь небес,
Урания любезна! — горе!..
Но я уже позабываюсь,
Что воздыхаю при тебе,
Моя божественная муза!
Предвижу, что рассеешь скоро

Отчаяние наше мрачно
И в пламенеющие духи
Влиешь бальзам надежды верной.
Доколе дышат мудрых сонмы,
Ты будешь в зрелость приводить
Расцветши опыты сии
И будешь разверзать ядро,
Сокрытое в густой коре...
Но *Рихмана* на свете нет!
Здесь прах его лежит бездушен;
Здесь драгоценные остатки,
Где некогда был дух эфирный!
В нем поражен мой друг, мой спутник
И жрец священныя натуры.
Кто паки воззовет дух жизни
В его обитель пораженну?
Кто мне сопутствовать дерзнет
По страшной глубине познаний?
Кто мне подаст благую руку
Тогда, как буду погрязать
Еще не в вымеренной бездне
Или скользить по длинной цепи,
Которая ведет от червя
До пламенного серафима?
Его на свете больше нет!
О! — пусть сия горяча капля,
Последня жертва нежной дружбы,
Его останки оросит
И некогда на мрачном гробе
Взрастит печальны гиацинты! [1]
Тогда, — тогда плачевны музы
На камне сядут над могилой,
Пожмут друг другу нежны персты,
Заплакав, скажут: „Ах! — как жаль!“»

Так северный мудрец вещал,
Мудрец с сострадущей душой;

---

[1] Баснословы говорят, что гиацинт являет на листах своих буквы, начертанные горестию Аполлона. Ибо сей бог нечаянно убил юношу Гиацинта, из крови коего вырос цветочек под сим именем, со изображением в составе жилочек горестного восклицания чрез греческое междуметие, которое значит: *увы! увы!*

Вздохнул — и опыт продолжал;
Высокий дух не ужаснулся
Прещения судьбы сокрытой.

Ужель такой же рок постигнет
И здесь кого в сей мрачный час?
Небесны силы! — удержите
Сию гремящую десницу!

Вдруг дождь шумящий с сильным градом,
Стуча по звучным скатам гор,
Потопом целым ниспадает
Из недр разверстых облаков.
Крутятся вихри дождевые
Средь бурь, бушующих на небе.
Взвиваются от твердых скатов
Седые брызги легким дымом.
Уже от влаги все потускли
Вершины меловых хребтов,
А в селах низки кровли хижин
И пыльны стогны, покровенны
Шумящими везде ручьями.
Но пламенник неукротимый
Среди дождей еще не гаснет
И, новы силы напрягая,
Мелькает ярко над пустыней.
Бледнеют чресла облаков
От ярого лица огней;
Бледнеют бедра гор камнистых,
Покрытые до половины
Спустившимися облаками,
И пламенеет дождь косый,
Лиющийся в холмы пустынны.
Сии небесные мечи
То рассекают мрак змией,
То рассыпаются звездами,
То вьются гибкой полосой,
То в образе вождей [1] огнистых
Иль пламенного водопада
В пустыню ниспадают вдруг.

---

[1] То же, что попросту вожжи.

Но гром, кругом перебегая,
Подобно раскаленным ядрам,
И всюду в силах разделясь,
Зарницей рдяной освещает
Вершины горды *Чатырдага*
Или огнями опаляет
Чело космато *Агермыша*.

Се! там высокая раина,
А здесь твердокоренный дуб,
Там бук развесистый, печальный,
А здесь приморска тёмна со́сна,
Перуном боевым Зевеса
Отторжены от твердых скал,
Расщепленны иль обнаженны,
Как голы остовы, стоят!
Лишь ясени одни врачебны,
Артыш пахучий, краснотелый,
Сребристый топол, тис зубчатый —
Одни безвредно зеленеют.
Под ними ландыши, подлески
Слезятся, — но цветут спокойно;
Лишь ветр головки наклонил.
Стада, быв встречены грозою,
В оцепенении простерты
Лежат, как некий сонм бездушный;
Сребристорунны кротки агнцы
В своем невинном, мнится, взоре
Еще живеют, размышляют.
Верблюд двухолмный, изумленный
Стоит, колена преклонив;
А грозный вол и страшный буй-вол
Лишь морщит дикое чело.

Кто здесь не может содрогнуться
Под звуком молний смертоносных?
Где? — где моя *Сашена* нежна?
Сашена! как ужасно видеть
Во гневе горни небеса
И цело естество в страданьи!
Когда б ты здесь со мною быв,
Внимала рев трубы небесной,

При звуке коей и *Камена*
Принуждена, дрожа, молчать, —
Могла ль ты здесь сидеть бы долго?
Твой лик смеркался бы, как небо,
А взор дождям сим подражал;
Зря слезы агнцев возмущенных,
Зря бледных пастухов, бегущих
Под сгибами перунов быстрых,
И зря паденье нив и древ,
Ах! как бы ты тогда смутилась,
Заплакала... и скрыла слезы!
Но я тогда б тебе сказал:
«*Сашена*! — ах! — и ты здесь плачешь!
Ты плачешь, как ключи кипят,
Слезишься, как жемчу́г катится;
Поди, *Сашена*, в тот шалаш!
Стихии буйные, бунтуя,
Еще в смятеньи раздирают
И твердь, и дольний мир, и тартар;
Укрой себя от гнева неба!
Поди, *Сашена*, в тот шалаш!
Укройся от бегущих бурь!»
Но что оратай ощущает,
Живущий на брегах *Салгира*,
Тогда, как видит он во страхе,
Что тученосна буря губит
Труд, стоивший толиких вздохов?
Ах! то его лишь сердце скажет.
Шумит над нивой грозна буря:
Ложится нива перед бурей;
Вершинки нежны златокласны
Пшеницы бледной упадают,
Он зрит — и зрак свой отвращает.
С небес шумливый дождь стремится;
Из глаз его ток слез катится;
Из гор со свистом вихорь дует;
Из груди тяжкий вздох исходит.
«Чем, правосудный наш создатель,
В слезах взывает он тогда, —
Чем ты толико раздражен,
Что днесь последнюю отъемлешь
Подпору нашу бытия?

Се! — жертва, падша под рукой
Твоей несносной бури ныне!
Восстанет ли она? — когда ж?
Нет, — корень в жертве преломлен;
Нет, — не восстанет никогда.
Тебе угодна, видно, боже,
Сия несчастна жертва нивы.
О, неиспытанны судьбы!
Воистину толика буря
Не что, как лишь твоя десница,
Хотяща явно наказать
Меж нами скрытого злодея!
Где сей преступник, что грехами
Небесно мщенье разбудил
И нас подвергнул той же доле,
Какой единый он достоин?
Где он? — Пусть мщение небесно
Низвергнется в преступно сердце!
О сердцеведец! — что я рек!
Мне сердце восклицать велит,
Что ты велик в улике зол,
Велик и в лике благостыни.
Не знаем ли, небесный отче,
Что ты насущный хлеб даешь,
Что ты те до́лги нам прощаешь,
Какие должны мы прощать другим?
Кто, — боже, кто из земнородных
Не препинается о камень?
Где злак без плевелов бывает?
Святейший часто упадает.
Сотрудники! — не воздыхайте!
Преклоньте вы со мной колена!
Пролейте слезную мольбу
К тому, который в бурном вихре
Грядет сей час над нашей нивой!
Он милостив; он наградит
Потерю, недостатка матерь». —
Так сельский старец вопиет
И слезы градом испускает.
Повсюду буря перемены
Творит в сию минуту новы.

Пусть обращу я токмо взор
На треволнение *Эвксина*!
Валы стремятся друг за другом,
Напружа выи горделивы.
Девятый вал хребтом горы,
Напыщившись, валит из бездны
И прочи зевом поглощает;
Нахлынув на песчаный брег,
Взбегает — пенится — ревет
И, на далеко расстоянье
Расстлавшись полотном седым,
Разится о подошву гор;
Тут, взвивши новый дождь дугами,
Назад седой тыл обращает,
Пески и камни похищает,
Но вдруг встречает вал другой;
Здесь страшну должно зреть картину:
Они, сцепяся с равной силой,
Спираются — ревут — клокочут
И виды чужды представляют,
Где, мнится, естество грозит,
В возможны ужасы одето,
Там ре́звится оно — играет;
Я зрю, что с их обеих стран
Прозрачные выходят своды,
Или рассыпчивы навесы,
Или лазорные снопы,
Растут — и вдруг опять падут.
Уже *кораблик* [1] не дерзает
Из бездны выникнуть в верх вод,
Чтобы, природное свое
Препончато подняв ветрило,
Прогулку произвесть по зыби;
Ему тончайший ветр сподручен;
Теперь он носится, склубясь,
Внутри пучины волей бури;
Он ждет, доколь прейдет час гнева
И возвратит ему минуты,

---

[1] Есть морское небольшое животное, называемое Nautilus, или *корабле-образец*, который при хорошей погоде выплывает на поверхность воды, вытягивает из своей спины некоторый род природного паруса и по ветру как бы едет на воде.

Природным силам соразмерны
И опытам его приятны.
Но там, на лоне волн носясь,
Корабль, как легкая кора,
Стократно черпает и пьет
Закраинами горьку бездну;
Там отроки, цепляясь крепко,
Бегут то вниз, то вверх по вервям,
Главой касаясь волн гребням.
От ужасов таких ревущих,
Мне мнится, смерть сама б проснулась;
Но отроки сии отважны
Иль спят спокойно, иль играют,
Надеждой усыпленны в бурях.

Свирепая гроза проходит;
Далече слышен рев ее;
Рассеянные облака,
Быв легче, бродят, как стада,
Нестройно по лицу небес.
Но некие последню влагу
Туманом долу ниспускают.
Одно из них сюда влечется,
Чревато тягостною влагой;
Уже столь низко тяготея,
Готово скоро ниц упасть;
Оно лишь пояс гор объемлет,
Но их главы не досязает.
Я здесь, — в сем облаке сижу,
И мнится, в влаге утопаю.
Вся нижня часть хребтов покрыта
С их рощами туманной влагой.
Сей голый каменный отрог
От мокрой густоты темнеет;
Но белая глава его
В венце сияет светозарном;
Лишь жадный взор сквозь дробный дождь
С венца рассыпчивый луч ловит.
Мне мнится, зрю вокруг себя
Дождливу иль туманну осень;
Но сквозь сию ползущу осень
Зрю над собой восшедше лето.

Полночный ветр, от сна восставши,
Для очищенья мрачной тверди
Остаток гонит низкой тучи,
Из урны пасмурной ее
Последни капли истощает,
Которы в ней еще скрывались.
Уже к хребту она валится;
Хребет остановляет урну;
Она, упора не терпя,
Тогда, как час уже приспел
Низвергнуть долу влажно бремя,
Рекою дождь свой источает.
Какая здесь игра природы!
Тогда, как в сей стране скалы
Господствует и дождь и мрак,
По ту страну блистает солнце
И зной кипящий парит воздух;
Одна стена лишь отделяет
От темной нощи ясный день,
От осени горяще лето.

Но зрелище уже свершилось.
Лишь редки капли краплют с кровли
Пустынной хижины на землю.
Пространна твердь, чистейшим сводом
Над тихим полем воздымаясь,
Эмаль лазорну представляет.
Омытый Феб, спустяся с полден,
Лучи косые мещет в мир
С своих пылающих колес.
Се! — радости прекрасный пояс,
Семью цветами испещренный,
В завет погибели минувшей
Препоясует те равнины,
Которые еще по буре
Во влаге моются кристальной.
Там узорóчная *Ирида*
На стебли прозябений нижет
Алмазны зерна в тишине,
Здесь, — остроумный *Ломоносов*,
Списатель таинств естества!
Сии растопленные тучи,

Влечась против лица светила.
Тебе в дождях явили призму
И в поясе желто-зеленом
Те показали нити света,
Которых седмеричны роды
Ты столько тщился развязать.

Теперь природа оживленна
После страданья отдыхает
И осклабляется в покое.
Колико ни был страшен ветр,
Но он развеял мглу густую;
А сила тонкого эфира,
Столь часто рассекая твердь,
Сожгла тлетворные пары,
Что расстилались над горами,
Над блатным тростником зловонным
И над *сивашскими* водами.
Теперь стал воздух чище, — легче,
И возвратилась тишина;
Лишь только легкий ветерок
Не перестал в кустах шептать;
А злак среди долин живее;
Лишь капли в нем блестят слезой
И моют нежны стебельки.
В фиалках, васильках душистых,
В иссопе и подлесках нежных
Синеет лучше цвет небесный;
Алее в розах и гвоздиках
Заря румяна торжествует;
Желтей в подсолнечниках гибких
Играет солнца луч златый;
Ясней в лилеях поражает
Млечны́х бели́зна облачков.
На них блистает пестра ткань,
Из сочных жилочек сплетенна.
Какой различных красок ливень
Блистает посреди полей!
Неподражаема работа
Таинственных духо́в природы!
Те юны гении прелестны,

Что прежде в темной поднебесной
Густые мраки развивали,
Теперь, туманы соклубляя,
То в глубины безвестны носят,
То в сих удолиях зеленых.
Из тонких жилочек прядут
Цветочкам свежие листы.

Почто сижу? — Пойду отсель
И буду черпать чистый воздух!
Как всё по грозной буре живо!
Вокруг меня под самым слухом
Жужжат толпящиеся мошки;
В своем пронзительном согласьи
Несметны гласы издают;
В глазах рисуются стада
То быстрых ласточек, то горлиц,
То жаворонков свиристящих;
В дубах торжественно открылась
Симфония певиц небесных.
С каким весельем на омытых
Дождями легких белых крыльях
В час летний лебеди летают!
Как резво каменки прелестны
И розовы дрозды порхают
Между сгущенных шелковиц!
Их междорамия блестящи
Сребром и златом отливают
Среди играющих лучей;
Мычание тельцов и юниц
С блеяньем агнцев съединилось;
С какою радостью безмерной
Бегут они щипать толпами
Траву в долине усыренной!

Какое врачество! — Прохлада
В сии спокойные часы
В струях студеных погружаться,
В струях, где крепки мышцы *римски*,
Что строили трофеи горды
На преклоненной вые мира,

Училися порабощать
Себе пространные пучины!
И правда, — существа в них черплют
Иное чувство, жизнь и силу.

Кто там под сено-листным сводом
Раин высоких, тутов, ильмов,
Подобная *Сусанне* скромной,
Спешит к живому водоему?
То *Цульма*, благородна дщерь,
Краса и честь княжен *тавридских,*
Стройна, как мирт, — легка, как серна,
Спешит искать в струях прохлады.
Покров сереброцветный веет
Над *Цульминым* сокрытым оком
И тысячу красот таит.
Но ветерок летит, дерзает,
Отмахивает сей покров;
Вдруг тайны красоты, блеснув,
Как скромны призраки, украдкой
Друг за́ другом выходят въявь.
Отважный зе́фир! если ты
Свевал покров какой девицы,
Видал ли где-нибудь ресницы
Длиннее, как у милой *Цульмы*?
Видал ли ты с лилеей розу
Такую, как в ланитах *Цульмы*?
Видал ли ты в садах *Авроры*
Толь светлую жемчужну росу,
Какая с *Цульминых* ушей
Волшебной силою висит?
Видал ли взор — иль грудь толь белу,
Толь нежну, милу, как у *Цульмы*?
Вот здесь она! — смотри! — идет!
Прекрасный лик младых подруг
Вокруг ее теснится дружно.
Купальня, полная воды,
Кипит, — блестит, — шумит, — зовет
Сих нимф стыдливых в влажны недра.
Тут — робко *Цульма* озираясь,
Последню ризу низлагает;

Какой красот вид обнажился!
Какой мир прелестей открылся!

Подруги разделяют с ней
Девичьи резвости невинны.
В струи сребристы погружая
Стыдливые красы свои,
Руками влагу рассекают,
Играют, — плещутся, — смеются.
Здесь *Цульма*, освежась в водах,
Выходит и спешит облечься.
Купальня хладна защищает
От силы солнечного зноя,
Однак — еще не прохлаждает
Во груди *Цульмы* знойной страсти.
Тоскливость тайная снедает
Давно томящусь грудь ее.
Она, задумчива, безмолвна,
Взирает часто в край полдневный.
Подруги примечают вздох;
Подруги тщатся напрерыв
Ее грусть песнью облегчить,
Но тщетно — *Цульма* не внимает.

«Нет, милые мои подруги!
Вы пойте лучше песнь такую,
Где б был предметом путь *Селима*!
Ах! — где? — где дышит он поныне?
Ушлец драгой! — Как без него
С минуты горестной разлуки
Уныло сердце растерзалось!
Увы! не оковала ль крепко
Надина в *Азии* какая
Навек? — Быть может; трепещу!..
Что я сказала? — Нет, — ах! — нет!
Мурза любезный, постоянный
Столь тверд, как *Магометов* щит;
Селим не изменит ввек *Цульме*».
Здесь *Цульма* быстрый взгляд кидает
И как бы ждет кого с страны.
«Но нет его, — она вскричала. —
Нет милого еще *Селима*!

Ах! — не увидите ль его?
Скажите, милые подруги!
Коль вы увидите, — скажите!
Пророк великий! — возврати
Селима в здравии ко мне
И в свежей юности цветущей!
Молю тебя, — ах! — что мне делать?
Подруги! — пойте лучше песнь
На горестный отъезд *Селима*
Или — *надежду* воспевайте!
Я буду вам вторить; запойте!
Предмет сей сроден сердцу...»

Лик подруг

Прекрасна, мила дщерь небесна,
Богиня кроткая сердец,
Светильница души прелестна, —
Надежда! — где? — где твой венец?

Цульма
(одна)

Ты настояще услаждаешь
Грядущим благом в наших днях;
В цветах плоды ты созерцаешь;
Ты усмехнешься — и в полях
Цветуща зелень оживает;
И там — *Селим* ко мне предстанет...

Лик подруг

Прекрасна, мила дщерь небесна,
Богиня кроткая сердец,
Светильница души прелестна, —
Надежда! — где? — где твой венец?

Цульма
(одна)

Ты за слезу любви пролиту
Готовишь тысячу утех;
Живишь красавицу забыту
И кажешь издали успех;
Коль сердце днем мое мертвеет

Волшебных ради грез твоих,
Оно еще ласкаться смеет
Средь тишины часов ночных.

Лик подруг

Прекрасна, — мила дщерь небесна,
Богиня

и проч.

Цульма
(одна)

Ты избираешь сон мне здравой,
И я — с улыбкой величавой,
Довольна утром, пробужусь
И в радости вострепенусь,
Что хоть во сне его узрела;
А что в душе бы я имела,
Когда б — теперь — в саду — он был?

Лик девиц

Прекрасна, — мила дщерь небесна,
Богиня кроткая сердец,
Светильница души прелестна, —
Надежда! — здесь, — здесь твой венец.

Так нежная *мурзы* невеста
Всяк день под тенью вертограда,
Или в убежищах пещерных,
Иль при купальнях в тишине
Часы печальны услаждала
И возвращалась в дом с надеждой,
С надеждой зреть возврат *мурзы*!

Но там — какие смуглы чела
Мелькают на брегах реки?
Конечно, — зной еще и долг закона
К водам прохладным призывают
Стопы *сарматски* по грозе.
Пускай *сарматы* утомленны
Струи *салгирски* рассекают
Своими тусклыми руками!

Меня явления вечерни
Зовут во храм красот сумрачных.

Явленья вечера прекрасны,
Когда со мной *Сашена* ходит,
Когда она с зарею спорит.
Да, утром поле, пенье птиц,
В полудни тень пещер и сосн
И хладный родников кристалл,
А в вечер тихий брег морской
И пурпурный закат над зыбью,
Конечно, — всякому приятны;
Но мне — *Сашена* завсегда.
Без голубых очей ее,
Без вишневых устен ее
Ни чистая лазурь небес,
Ни луг, ни пенье птиц поутру,
Без русых вьющихся кудрей
И без каштановых бровей
Ни тень, ни цветники в полудни,
Без розовых ее ланит,
И без ее блистанья взоров
Ни поздний пурпур в море зыбкий,
Ниже вечерняя звезда
Очаровать меня не могут, —
Лишь ты, *Сашена*! — ты мне всё.

⟨1798⟩, ⟨1804⟩

22. ПЕСНЯ

С французского

In vino veritas etc.[1]

В вине вся истина живее,
Пословица твердит давно,
Чтоб чарка нам была милее,
Бог истину вложил в вино;
Сему закону покоряюсь;
И я за питуха сочтен;

[1] Истина в вине и т. д. (лат.) — *Ред.*

Все мнят, что я вином пленяюсь;
Но нет — я *истиной* пленен.

Все мнят, что сроду я охоты
К наукам скучным не имел
И, чтоб пожить мне без заботы,
Я ставлю прихотям предел;
Всяк думает и в уши трубит,
Увидевши меня в хмелю:
Он в рюмке лишь забаву любит;
Нет, братцы! — *истину* люблю.

Всяк думает, что пламень страстный
Подчас мое сердечко жжет
И что молодки только красной
Для счастья мне недостает;
Так, подпиваю и с молодкой;
И все шумят, что я хочу
Искать утехи с сей красоткой;
Эх, братцы! — *истины* ищу.

⟨*1805*⟩

23. ЦАХАРИАС В ЧУЖОЙ МОГИЛЕ[1]

Какая ночь!
Толь грозно никогда не падала с небес;
Толь грозно не было еще вкруг гроба здесь.
О мать земля! здесь прах почиет тех,
В прохладе недр твоих,

[1] Сказывают, что известный немецкий писатель Цахариас, или Захарий, возвращаясь некогда домой в глубокую ночь через кладбище, упал нечаянно в вырытую могилу. Не рассудив выбраться из сего ночлега, остается он в нем. Но пробудясь при звуке колокола и почувствовав то ужас, то уныние, выходит тотчас оттуда, спешит домой, садится за перо и в первом жару изображает сии чувствования стихами: Welch eine Nacht! (Какая ночь! (нем.). — *Ред.*), умея же играть на фортепиане, кладет их на музыку, достойную своего предмета. Вот почему дано оглавление сей песни. Переводчик тщился по возможности сохранить не только смысл и силу выражений, но и самую меру подлинных стихов, дабы можно было пользоваться готовою музыкою.

Которых мир столь много пренебрег,
Лишь небо высит цену их.
Но что за громкий тамо звон?
Сквозь воздух стонет он.
Я слышу меди стон,
Я слышу, к смерти будит он!
Восстань, душа!
Почто тебя объемлет *трепет* вновь?
Ах, сей ли гроб твой взор мятет,
Где ляжет токмо плоть и кровь?
Ты, что во мне и жизнь и свет!
Куда отсель,
Как я уже престану быть?
Престану быть! — ужель?
Ум содрогается — *уже не быть!*
Желанье злейшее могил!
Желанье без надежд! Кто влил,
Кто мог тебя внутрь сердца влить?
Уже не быть!
Ах! как болезнует *отчаянная* грудь!
Всемощна грусть! сильнее смерти грусть!
Я, робкой скорбью сокрушенный,
Лежал у гроба распростерт,
Твоим мерцаньем устрашенный,
О бесконечна смерть!
Я зрел, отчаян в бездне мрачной,
Хаоса пред собой престол
И слышал шум стремнины алчной;
Уже и в зев ничтожства шел...
Но вдруг небесный *глас* к покою
Нисшел от высоты
И рек: «Не в гневе создан мною,
Не в вечну жертву гроба ты;
Нет — не страшись! Твой дух живый взнесется,
И то, что тлен рассыплет в персть,
Из персти паки воззовется
Во славу, в вечну честь!»

(1809)

С. А. ТУЧКОВ

Сергей Алексеевич Тучков (1767—1839) принадлежал к старинному дворянскому роду. Отец его — А. В. Тучков — был инженер-генералом и сподвижником Румянцева и Суворова.

Литературные интересы пробудились у Тучкова еще в детстве, в двенадцатилетнем возрасте. В Киеве подчиненные отца познакомили мальчика со стихами Ломоносова и масонскими песнями и пробудили в нем охоту к творчеству.

В соответствии с семейными традициями, Тучков поступил в артиллерийскую службу, в семнадцатилетнем возрасте сдав экзамен на первый офицерский чин.

Находясь недолгое время в Москве, молодой Тучков сблизился с кругом Новикова, был принят в члены «Вольного российского собрания, пекущегося о распространении словесных наук» и читал там свои сочинения. В 1785 году Тучков напечатал в журнале Общества, «Покоящийся трудолюбец», несколько стихотворений. Переехав в Петербург, он продолжал свои литературные труды, усердно посещал Общество друзей словесных наук, активно сотрудничал в журнале Общества — «Беседующий гражданин».

Литературные занятия Тучкова были прерваны Шведской войной 1789—1790 годов, в которой он участвовал в качестве командира роты, а затем батальона морской артиллерии. Вернувшись в Петербург, Тучков узнал о запрещении Общества друзей словесных наук в связи с выходом книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Как пишет Тучков, «по разным видам и обстоятельствам большая часть членов лишены были своих должностей, и велено было выехать им из Петербурга». Екатерина II пощадила, однако, молодого офицера. Намекая на службу его в галерном флоте, она сказала: «На что трогать сего молодого человека, он и так на галерах». [1]

---

[1] С. А. Тучков, Записки (1766—1808), СПб., 1908, с. 43.

Уже при Павле I Тучков стал полковником и вскоре генералом. В последующие годы он участвовал в течение почти полувека во всех войнах, которые вела Россия: в Польше, в Турции, в Отечественной войне 1812 года, на Кавказе, в Молдавии, Бессарабии. Он основал близ Измаила целый город, который 4 сентября 1812 года был назван Тучковом.

В своих записках Тучков очень резко отзывается об императоре Александре I, который, видимо, в свою очередь недолюбливал строптивого генерала. В 1812 году Тучков числился по армии без должности и состоял под следствием.

Все эти годы он не оставлял литературных занятий.

Еще в ранней юности Тучков стал масоном. Масонские мотивы отчетливо звучат в его ранних произведениях, а в 20-е годы он был казначеем кишиневской ложи «Овидий», членом которой был и А. С. Пушкин.

Деятельность Тучкова в Молдавии совпадает по времени с пребыванием в этих краях Пушкина, который в декабре 1821 года посетил Тучкова в Измаиле и, очарованный любезностью старого генерала, провел у него целый день. Существует предположение, что именно Тучков сообщил Пушкину многие сведения о Радищеве, которого, несомненно, знал лично.[1]

В 1830 году он был назначен градоначальником в Измаил, в 1835 году по болезни вышел в отставку и переехал в Москву, где жил до конца своих дней.

Основные издания сочинений С. А. Тучкова:

Собрание сочинений и переводов в стихах, М., 1797.
Собрание сочинений и переводов, СПб., 1816—1817, чч. 1—4.
Записки (1766—1808), СПб., 1908.

24. ОДА АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ

Престаньте, струны звучны,
Огромну песнь гласить,
Стихи геройски скучны,
Хочу их пременить!

---

[1] См., Ю. М. Лотман, Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822). — Сб. «Пушкин и его время», Л., 1962, с. 62—66.

Приятны росска трона
Великие дела;
Но слава Купидона
Не меньше мне мила.

Хочу я петь Венеры
Подвластный ток времен
И как своей без меры
Любезной я пленен.

Престаньте, ветры строги,
Меж гор крутых реветь,
Престаньте вы, пороги,
С утесов вниз шуметь.

Зефиры лишь играйте
С травой наедине,
И птички подражайте
В веселых песнях мне.

Ликуйте, долы злачны,
Пригорки и леса,
Источники прозрачны,
Зелены древеса.

Струи, играйте ныне
Вы с песнию моей,
В честь радостной судьбине
Пой нежно, соловей.

Алее распускайся,
Цвет милый, розан мой!
И тем уподобляйся
Румянцу дорогой.

Листочки белоснежны,
Лилея, распускай,
Красы Лиции нежны
Ты тем изображай.

⟨1785⟩

25—26. *СОНЕТЫ*

1
ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ

Быть предану властям и оным лишь служить,
Зависеть от других и воли не иметь,
В местах тех обитать, где б не хотелось быть,
За несколько утех премного скук терпеть;
Что в сердце чувствуешь, того не сметь сказать,
Любимцам следовать, при том их не любить,
Надеждой богатеть, а в существе нищать,
То, чем гнушаешься, из силы всей хвалить;
С вельможей льстивну речь искусно продолжать,
Смеяться верности, пронырливость ласкать,
Есть поздно завсегда, день в ночь преобразить,
С кем встретишься, лобзать, а друга не иметь,
Казать веселый вид, спокойствия ж не зреть.
Вот кратко, при дворе как должно гибко жить.

⟨1789⟩

2
ПОБЕДИТЕЛИ БОГАТСТВА

Играйте, потоки, на мягких лугах,
Птички, взносите вы голос приятно,
Пойте, пасту́шки, на красных брегах!
Прямо счастливей вы нас многократно! —
Вас не смущают градские мечты,
Вас не прельщают ни честь, ни богатство,
Вас украшают весною цветы,
Вас убегают и лесть, и коварство.
Злато не может вспалить вашу кровь,
Вами владеет прямая любовь,
Вами хранятся все пра́ва природны,
Вам неизвестно притворными быть,
В свете за деньги всё можно купить,
Вы ж злыя власти богатства свободны.

⟨1789⟩

27. ОДА
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Страстями смертный развращенный,
К себе любовью ослепленный
И жаждущий богатств, чинов,
О, как себя ты забываешь!
Еще ли ты, еще ль не знаешь,
Что скоро минет блеск сих снов?

Чего, чего ты ожидаешь?
Почто расторгнуть не дерзаешь
Вокруг себя завесу тьмы?
Мгновенно гром на землю грянет,
Сиять к нам солнце перестанет,
Хаоса в бездну снидем мы.

Спустилось солнце в хладны воды,
Лазурны помрачились своды,
Покрыла землю черна тень;
Свои дела ты оставляешь
И тою мыслью засыпаешь,
Что паки ты увидишь день.

Но алчна смерть уж над тобою
Сверкает острою косою,
Тебя преобращая в прах!
Наместо дел мы продолженья
Или желаний исполненья
Встречаем с днем печаль и страх.

Природа нам напоминает,
Что быстро время угрожает
В ничтожество всё обратить,
Что всё исчезнет, прекратится,
И нам сие всечасно тщится
Живыми образы явить.

Приятны летни дни проходят,
И за собой они выводят
Угрюмости осенних туч;

Кончаются забавы, неги,
Ниспасть готовы хладны снеги,
И солнце отвращает луч.

Трава и лист в полях желтеет,
Зефир их больше не лелеет,
Пастушки гонят с поль овец;
Из рощей птички улетают,
Струи кристальны замерзают —
Се нашей жизни образец.

Познать себя лишь начинаем,
Уж силы мужества теряем,
Белеют на главе власы!
В болезнях, в грусти жизнь проводим,
Слабеем, к вечности отходим,
Где гибнут слава и красы.

⟨1789⟩

28

Недавно наш Милóн книг множество собрал
И, показавши их приятелю, сказал:
«Сколь много я здесь книг предорогих имею!
Я библиóтекой похвастать, право, смею».
Но он ему на то: «Я зрю сие, мой друг,
Лишь только жаль, что ты в серали сей евну́х».

⟨1789⟩

29. ОДА

СУЕТНОСТЬ

Средь моря бедств, страстей волненья
Где мне спокойствия искать?
Где скрыться от коварств, гоненья
И чем пороков избежать?

Горесть терзает
Сердце и дух,
Разум смущает
Вестей разных слух.

Лишь только смертный в свет родится,
На мир сей очи возведет,
Уже спокойствия лишится
И слез своих потоки льет.

Дух свой смущает
Множеством бед
Или страдает,
Хоть оных и нет.

Всечасно грусть в нем возрастает
С его теченьем юных дней;
Уже он всё предпринимает,
Стремясь к наклонности своей.

Разные страсти
Дух в нем мятут,
Разны напасти
Его всюды ждут.

Но скучно время се приходит,
И вечер жизни настает!
Ни в чем утех он не находит
И приближенья смерти ждет.

Дни все минутся,
Как сонны мечты,
Смертью прервутся
Все суеты.

⟨1817⟩

С. С. ПЕСТОВ

Семен Семенович Пестов родился в 1763 году в Петербурге, воспитывался в Московском университетском пансионе, затем учился в Московском университете, вероятно в одно время с М. И. Антоновским, С. С. Бобровым и другими членами Общества университетских питомцев. Он активно сотрудничал в «Беседующем гражданине» (1789), служа в правительственном сенате в Петербурге. Позднее занимал разные должности в Курске, Екатеринославе, Нижнем Новгороде и Херсоне. В 1808 году вышел в отставку и поселился в деревне Пантазиевка, Александровского уезда, Херсонской губернии, писал воспоминания, указатель к которым под названием: «Алфавитный указатель личных знакомых и друзей Семена Семеновича Пестова, о которых он упоминает в записках своих с 1786 по 1827 г.» был напечатан в 1915 году. Умер Пестов в 1827 году.

Сочинения С. С. Пестова никогда не были собраны.

30. СТАНС

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ НАЧАЛЬНИКИ ОТ ПОДЧИНЕННЫХ

Когда начальники в пиру где подопьют,
Не пьяными тогда — веселыми зовут.
Коль на кого они сердиты, злы, брюзгливы,
Тогда все говорят: они в том справедливы.
Когда природа их обидела умом,
Не смеет и тогда никто сказать о том.
Их добродушными зовут, не дураками,
Их прóстыми все чтут, уж худо — простяками.

Хотя бы ничего не делали в суде,
За леность и тогда не обнесут нигде,
И подчиненных труд одним лишь им припишут,
Не зная, кончат кой тем, имя что подпишут.

⟨*1789*⟩

31. ПЕСНЬ МОЕМУ БЛАЖЕНСТВУ

Блаженство жизни сей вкушает
Не тот, заботится кто век;
Чинов, богатства кто желает,
Тот прямо бедный человек.

Ни чин, ни золото не сильно
Душе спокойствие принесть;
Будь князь, живи во всем обильно,
Но для него химер тьма есть.

Возмнит быть герцогом иль дожем
Иль всей вселенной завладеть,
Но и царями быв, не можем
Без совести блаженства зреть.

Благополучен тот не лестно,
Творит кто ближнему добро,
Живет кто искренно и честно,
Кто презирает серебро.

Но вяще тот благополучен,
Особой милой кто пленен;
Любя ее, с ней неразлучен,
Которой счастье множит он.

Любовь взаимно их пленяет,
Чтоб благо истинно вкушать,
А добродетель возбуждает,
Чтоб благо прочих совершать.

Такой любви, моя драгая,
Ищу я в прелестях твоих.

Я, добродетель почитая,
В тебе жду блага дней своих.

Твоя душа мной будет править,
Как путем добрым мне идти;
Чтоб счастье здесь себе составить,
Жену такую тот найди.

⟨*1789*⟩

ПОЭТЫ «ИРТЫША»

Журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» выходил в Тобольске с сентября 1789 до декабря 1791 года (с сентября по декабрь 1790-го издание журнала прервалось по неизвестной причине).

«Иртыш» издавался при Тобольском Главном народном училище, и официальная редактура журнала была обязанностью его учителей, которые являлись и его сотрудниками, помещая в «Иртыше» оригинальные сочинения и переводы (последние носили в основном учебный характер). Печатались в журнале и ученики Главного народного училища.

Журнал активно вмешивался в общественную жизнь Сибири. Так, он систематически печатал сатиры колыванского вице-губернатора Н. А. Ахвердова на председателя колыванской палаты уголовного суда Семена Шалимова, в которых последний изображался злым и безграмотным волком. Редакция журнала печатала эти сатиры отдельными оттисками для распространения в Колывани и обращалась к Ахвердову с посланиями, поддерживавшими его в этой борьбе.

Постоянным сотрудником «Иртыша» был тобольский прокурор И. И. Бахтин, назначенный на эту должность незадолго до выхода первого номера, 10 декабря 1788 года. Бахтину принадлежат самые яркие и смелые на страницах «Иртыша» выступления против крепостного права: в его стихах крестьяне пугают детей волком или именем барина, в «Сатире на жестокости некоторых дворян к их подданным» говорится о тиранах-помещиках, которых бесполезно учить сатирой: «Горбатых ведь нельзя уж сделать попрямей». [1]

---

[1] «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века», «Б-ка поэта» (Б. с.), 1959, с. 534. Стихотворения И. И. Бахтина см. также в кн.: «Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века», «Б-ка поэта» (Б. с.), 1969, с. 303.

Постоянными сотрудниками журнала были П. П. Сумароков и Н. С. Смирнов (а первый, возможно, и фактическим редактором).

В 1791 году в Тобольске по дороге в Илимский острог полгода прожил А. Н. Радищев. Он упоминает «Иртыш» в своих путевых заметках.[1] Не исключено и участие Радищева в последних номерах «Иртыша».

Тобольский журнал был весьма заметным явлением в русской провинциальной журналистике. В 1789—1791 годах это был единственный провинциальный журнал в России.

---

[1] См.: А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., М.—Л., 1952, т. 3, с. 260.

П. П. СУМАРОКОВ

Панкратий Платонович Сумароков, внучатый племянник знаменитого русского писателя А. П. Сумарокова, родился в городе Владимире 14 октября 1765 года. С двенадцатилетнего возраста он воспитывался в Москве в семье своего родственника И. П. Юшкова, где получил хорошее домашнее образование. Службу Сумароков начал в Преображенском полку в Петербурге. Там он познакомился с Н. М. Карамзиным. Вскоре Сумароков был переведен в конную гвардию.

В 1787 году по обвинению в подделке ассигнации П. Сумароков был сослан на двадцать лет в Тобольск.

Здесь развернулась его литературная деятельность. Когда в сентябре 1789 года в Тобольске в связи с открытием Главного народного училища стал выходить «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», душой всего дела и, по всей вероятности, фактическим редактором журнала стал Сумароков, хотя официальная редакция была возложена на преподавателей училища.

В 1791 году в Тобольске проживал отправленный в Илимский острог А. Н. Радищев. Возможно, именно Сумароков является адресатом известного стихотворения Радищева «Ты хочешь знать, кто я. . .».

Параллельно с «Иртышом» в Тобольске выходил также издававшийся П. Сумароковым и им же составленный «Журнал исторический, выбранный из разных книг».

После прекращения «Иртыша» П. Сумароков начинает издание нового журнала «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей» и в течение 1793—1794 годов выпускает двенадцать его книжек.

С 1796 года, после запрещения вольных типографий, он печатает свои произведения в «Аонидах» Карамзина и в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». В 1799 году, возможно при участии Карамзина, в Москве вышла первая часть его стихотворений.

Вернувшись из ссылки в 1802 году, Сумароков продолжал писательскую и редакторскую деятельность. В 1802—1804 годах он выпускает в Москве «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения», а в 1804 году становится ненадолго редактором журнала «Вестник Европы», сменив на этом посту Н. М. Карамзина. После 1808 года (когда вышла вторая книга его сочинений) он, по словам сына, «не писал более стихов». [1]

Последние годы жизни Сумарокова были отданы переводам романов и составлению экономических и врачебных книг.

Жил Сумароков в это время в своей деревне Кунеево, Каширского уезда, Тульской губернии, стремясь привести в порядок свое имение.

В 1813 году Сумароков заболел и 1 марта 1814 года скончался.

Основные издания сочинений П. П. Сумарокова:

Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей, Тобольск, 1793—1794.

Собрание некоторых сочинений, подражаний и переводов. Пан⟨кратия⟩ Сум⟨ароков⟩а, чч. 1—2, М., 1799—1808.

Журнал приятного, любопытного и забавного чтения, М., 1802—1804.

Стихотворения Панкратия Сумарокова, СПб., 1832.

32. СОЛОВЕЙ, ПОПУГАЙ, КОШКА И МЕДВЕДЬ

Весьма, мне кажется, тот глупо поступает,
Кто свой лишь хвалит вкус, а прочих охуждает.
Я это докажу
Сейчас примером,
И сказку вам скажу
Эзоповым манером.

---

[1] ⟨Петр Сумароков⟩, Жизнь П. П. Сумарокова. — В кн.: Стихотворения Панкратия Сумарокова, СПб., 1832, с. XXVIII.



БЕСѢДУЮЩІЙ
ГРАЖДАНИНЪ

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ,

заключающее въ себѣ

разсужденія вольнымъ слогомъ и на стихахъ, какъ на природномъ Россійскомъ языкѣ сочиненныя, такъ и заимствованныя переводомъ у самыхъ лучшихъ Иностранныхъ Писателей, чрезъ разныя роды Твореній открывающія путь къ ясному познанію главнѣйшихъ обязанностей человѣка въ особенности, а наипаче Гражданина.

ЧАСТЬ I.

Печатано съ дозволенія указнаго

ВО ГРАДѢ СВЯТАГО ПЕТРА 1789. ГОДА.


Р. О. Кипренскій
Г. Муромъ

Ахти! читатели, какой я молодец!
Я вам из басни сей две выведу морали,
Из коих первую уж вы и прочитали,
Вторую ж берегу на самый я конец.
Однажды Соловей спросил у Попугая:
«Скажи, что в комнате у нас за вонь такая,
Сосед любезный мой!
И что за дым такой,
Тяжелый и густой,
Ко мне сквозь сетку
Набился в клетку?
Мне тошно от него и ломит голова».
По-людски Попугай болтать был мастер;
Он вот как отвечал: «Виной тому трава,
Которая зовется кнастер;
Ее наш барин жжет,
И этот дым, мой свет,
Который боль тебе такую приключает,
Он с жадностью глотает,
Великий находя в нем смак».
— «Какой же он дурак!
Возможно ль статься, —
Воскликнул Соловей, —
Чтоб мог питаться
Он дрянью сей?
Неужто в свете есть такие басурманы,
Для коих могут быть невкусны тараканы?
Они-то прямо барский кус!
А он от кушанья такого морщит ус;
О! как испорчен ныне вкус!»
— «Вздор! — молвил Попугай. — Не то он должен кушать;
А если б он хотел меня послушать
И был бы умный человек,
Тогда б лишь сахар ел и не пил бы вовек».
— «Неправы оба вы, — мяукнула им Кошка, —
Когда бы вкусу он хоть капельку имел,
То б, без сомнения, мышей да крыс лишь ел».
— «Все трое глупы вы! — внезапу заревел
Медведь, прикованный к столбу возле окошка. —
Когда б по правилам он вкуса поступал,
То, верно бы, себя хищением питал,

Бессильных так, как я, терзая без разбору,
А в осень, выкопавши нору,
Он в ней бы полгода по-моему лежал
И жир из лап сосал...
Ну, что вы скажете об этом?
Не самый ли благой совет ему я дал?»
Погибни ты, Медведь, с благим твоим советом!
И так уж многие по-твоему живут;
Лишь тем страшней тебя, что жир чужой сосут.

⟨1790⟩

33. ЛИШЕННЫЙ ЗРЕНИЯ КУПИДОН

Пою несчастие, от коего Эрот
Стал слеп, как крот.
О вы, чувствительные души!
Развесьте уши,
Разиньте рот,
Дыхание свое сколь можно притаите
И песне жалкой сей внемлите...
Но нет, немного погодите,
Мне должно сделать здесь возгла́с:
Ведь я отделаюсь тотчас.
О ты! что на Сибирь взираешь исподлобья![1]
Скажи мне, светлый Феб, за что до нас ты лих?
За то ль, что своего блестящего подобья
Не видишь здесь ни в чем, как лишь почти в одних
Льдяных сосульках
Да в таковых же пульках,
Которы бедная Аврора вместо слез,
От стужи плачуща, бросает к нам с небес?
Но кто ж виновен в том, коль сам ты нас не греешь?
Ты права не имеешь
Коситься так на нас.
Услышь же мой к тебе охриплый с стужи глас:
Пожалуй, сделай одолженье!
Просунь сквозь снежных туч
Хотя один свой луч
И мерзлое мое распарь воображенье.

---

[1] Все сии сочинения писаны в Сибири.

ИРТЫШЪ
ПРЕВРАЩАЮЩІЙСЯ ВЪ ИПОКРЕНУ,

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ СОЧИНЕНІЕ,

издаваемое

отъ

Тобольскаго главнаго народнаго училища.

МѢСЯЦЪ СЕНТЯБРЬ

1789 года.

Развязывая умъ и руки,
Велитъ любить торги науки,
И счастье дома находитъ.

Ода къ Фелицѣ напечат: въ 1 част. соб. люб. рос. сл.

ВЪ ТОБОЛЬСКѢ
ВЪ Типографіи Тоб. купца Вас: Корнильева.

Теперь, читатели, прошу мне сделать честь,
Прочесть,
Что об Эроте вам желаю я донесть.

Оставя некогда небесные чертоги,
Задумали сойти на землю древни боги.
Омир-покойник был тогда еще в живых,
И он-то пóзвал их.
Зачем, вы спросите, — не знаю:
Откушать, может быть, или на чашку чаю;
Всяк знает, что он был им закадычный друг:
Едал амврозию, тянул и нéктар с ними;
Со спящих же богинь обмахивал он мух
И часто забавлял их сказками своими.
Но полно вам скучать подробностями сими.
Теперь поедем мы на час в небесный дом:
Мне хочется, чтоб вы со мною прокатились
И посмотрели б там, как боги в путь пустились.
Они отправились в порядке вот каком:
Зевес сел на орла с Юноною верьхом,
На всякий случай взяв с собой в дорогу гром;
Потом за прочими начальными богами
Вулкан шел с молотом и с длинными рогами,
Которы приобрел своею он виной,
Ревниво поступив с женой.
Позвольте на часок мне здесь остановиться,
Хочу с ревнивыми немного побраниться.
Послушайте, друзья,
Ревнивые мужья!
Советую вам я
Не слишком строгости к супругам предаваться,
Коль вы не любите бодаться.
Не стройте из домов своих монастырей,
Не запирайте жен, как стариц иль зверей;
А то, когда на час явится им свобода,
Тогда-то госпожа Природа
Свое возьмет,
И то, над чем с трудом вы много лет корпели,
В минуту пропадет,
А вы навек с рогами сели.
Совет полезный давши вам,
Я обращаюсь к богам.

Зефиры собрались на пир туда же с ними,
Так и начнем мы ими.
Надмеру нежные и малые божки,
Дабы не простудили ножки,
Обулись в теплые сапожки
И, чтоб от ветру им сберечь свои ушки́,
Надели лисьи треушки
И сели в дрожки,
В которых бабочек впряжён был целый цуг;
А на запятках вместо слуг
Стояла пара шпанских мух;
Да сверх того еще божков конвоевали
Шестнадцать бойких комаров,
Носами острыми и писком погоняли
Крылатых легких скакунов.
Но чья везется колесница
Четверкой сизых голубей?
Конечно, то любви царица
Желает покататься в ней?
Так точно. Вот она садится;
За нею вслед, резвясь, толпится
Рой целый Смехов, Игр, Амуров и Утех.
Но как их посажать с собой богине всех?
Нельзя; однако ж с ней иные заломались,
Другие в ноги побросались,
Иные, не успевши сесть,
Цепочкой свившися, за нею полете́ли,
Бросали к ней цветы и песни пели
Богине в честь;
Иные втерлись к ней за спинку,
Иные скрылись в волосах,
Иные в ямках на щеках,
Иные впутались в косынку,
Иные... Но оставим их;
Давно пора мне догадаться,
Что я болтать отменно лих;
Но впредь не буду я так много завираться
И в двух скажу стихах
О прочих всех богах:
Они туда ж помчались,
Иной на радуге верьхом,
Иной на облаке, иной пошел пешком;

А дома лишь Эрот с Дурачеством остались;
Один затем, что мал, другой затем, что глуп.
Но что же делать им, оставшись на просторе?
Эрот сначала был весьма в великом горе.
Калякать о любви? — Его товарищ туп:
Не знает и начал прекрасной сей науки.
Наскучив наконец сидеть поджавши руки,
Эрот сказал ему вот так:
«Дурак!
Теперь одни с тобой мы дома,
Так станем как-нибудь играть,
Хоть в жмурки, ведь игра сия тебе знакома;
Всё лучше, нежели от скуки нам зевать».
— «Ох, нет! — в ответ сказал глупец Эроту. —
Давно я потерял к игра́м таким охоту;
А дай мне свой колчан на час,
Хочу я испытать один хоть в жизни раз,
Умею ль действовать и я, как ты, стрела́ми;
Я сам тебе за то, голубчик, отплачу:
Пузырики пускать тебя я научу,
Клянуся в том тебе я Стиксом и богами».
Эрот было сперва и слушать не хотел;
Но сладить с дураком, скажите, кто б умел?
И так он наконец был должен согласиться;
Дурачество ж к нему умело подлеститься,
Дав опыт, пузыри из мыла как пускать.
Эроту новость та смертельно полюбилась,
Товарищ же его взял лук и стал стрелять;
Но вот беда какая вдруг случилась:
Дурачество, разинув рот,
В безмерной радости не видя, где Эрот,
Стрельнуло изо всей своей дурацкой мочи
И вышибло ребенку очи!
Какой нелепый поднял вой
Лишенный зрения крылатый мой герой!
Искусный же стрелок, от страха и печали
Разинувши свой зев,
Такой пустил ужасный рев,
Как будто бы с него живого кожу драли.
Вытье его отто́ль повсюду разнеслось,
Всё зданье от того небесное тряслось.

Но бросим мы на час сих двух глупцов несчастных
И съездим в тленный мир.
Я чаю, кончился уже давно тот пир,
Который жителям небес давал Омир.
На лицах их, от спирта красных,
Сверкают радости следы.
Не ведая совсем ужасной той беды,
Которая без них на небесах стряслася,
Толпа божественна всвояси поднялася,
С хозяином простясь
И точно так же, как и прежде, поместясь.
Какая сделалась тревога,
Как мать слепого бога
Домой пришла!
Ах! что она нашла!
Богиня видит токи крови,
Зрит сына своего:
Прелестные ж глаза где были у него,
Там только ямочки осталися да брови.
Тогда-то скорбь ее все меры превзошла:
Какое зрелище для матери столь нежной!
Наместо роз вступил в лице ее цвет снежный,
Затмилися ее небесные красы;
Терзает в горести она свои власы;
Колени слабые едва ее держали,
И если бы когда богини умирали,
То б этой, верно, умереть;
Но боги ведь не мы, так как же быть? — Терпеть.
Но можно ль перенесть столь бедствие несносно?
Богине же не мстить — и горько, и поносно.
Горя отмщением, вдруг силу ощутив
И взор с плачевного предмета своратив,
На крыльях бешенства летит она в чертоги,
Где был Зевес и прочи боги.
Киприда в ярости, в отчаяньи, в слезах,
Вбежав растрепана, во всех вселяет страх,
Бросается Зевесу в ноги
И, вздохи тяжкие пуская без числа,
О бедствии своем, рыдая, донесла.
Зевес, услыша то, столь сильно огорчился,
Что чуть с престола не свалился.
О, лютая напасть!

Отец богов, разинув пасть,
Ревет быком и стонет,
Богов с Олимпа гонит;
Потом с отчаянья он на стену полез.
Не столько в бурный ветр шумит дремучий лес,
Не столько турок зол, соделавшись с рогами,
Как злился наш Зевес, кричал, стучал ногами,
Сбираясь пересечь богов всех батогами.
Он рвет
И мечет,
Попавшихся ему дерет,
Как перепелок кречет;
Шумит,
Гремит,
Своей заморской ищет трости
И хочет изломать Дурачеству все кости.
Уставши наконец, Зевес потише стал
И драться перестал;
Но вот что бедному Дурачеству сказал:
«Скотина!
За то, что ослепил Кипридина ты сына,
Который мой любимый внук,
Достоин ты ребром повешен быть на крюк;
Но я свой гнев смягчаю
И вот какую казнь тебе определяю:
С сего часа́ всегда с Эротом ты ходи;
Куда он ни пошел, везде его води.
Вот что навеки я тебе повелеваю!»
Потом пощечины две-три ему влепил
Да тем и заключил.
С тех пор Дурачество всегда с Амуром ходит.
Но это бы еще не важная беда,
А вот лишь плохо что: Дурачество всегда,
Когда стреляет он, его руками водит;
Какой же может быть тут лад?
Безмозгло божество стреляет невпопад;
Удар любви с тех пор нам в голову приходит
Почти всегда,
И очень метко;
А в сердце никогда,
Иль очень редко.

⟨1791⟩

34. ПЛАЧ И СМЕХ

Когда жестокий *сплин* [1] мне ночью спать претит,
То, вставши поутру с тяжелой головою,
Бываю я всегда печален и сердит,
Бранюсь с своей судьбою;
Все бедствия людей я вижу пред собою.
Мне мнится, слышу смертных стон;
Зло лезет мне в глаза тогда со всех сторон.
Явятся предо мной огнем дышáщи горы,
Страданья, смерть, чума —
И словом, я тогда куда ни взвел бы взоры,
Несчастий и злодейств мне всюду зрится тьма.
Потом изыскиваю средства,
Нельзя ль чем облегчить несносны смертных бедства!
Но видя, что никак нельзя помочь тому
И что напрасно я на то лишь время трачу,
Нахмурюсь и — заплачу.

Когда же с умными людьми я где сижу
Иль книгу новую читаю и лежу,
Притом здоров бываю,
Тогда все горести свои позабываю
И ни о чем я не тужу.
Тогда и то себе на память привожу,
Что от драгой моей Климены
Не зрел и, кажется, не буду зреть измены.
И что несчáстливой судьбы моей премены
Авось-либо когда-нибудь я и дождусь.
Авось-либо велико дело!
Я без него давно оставил бы сей свет;
Несчастный только им одним лишь и живет,
Скажу я это смело.
Хоть сим *авось-либом* я тщетно, скажут, льщусь,
Но от него всегда я вмиг развеселюсь
И — засмеюсь.

Август 1788, ⟨1795⟩

[1] Spleen — известный припадок англичан, которому часто подвергаются и другие люди с чувством.

35. ОДА

В ГРОМКО-НЕЖНО-НЕЛЕПО-НОВОМ ВКУСЕ [1]

«Groyez moi, résistez à vos tentations,
Dérobez au public vos occupations,
Et n'allez point quitter, de quoi que l'on vous somme,
Le nom, que dans la cour vous avez d'honnete homme,
Pour prendre de la main d'un avide imprimeur
Celui de ridicule et misérable auteur».

«Misantr.», act 1, sc. 2 [2]

Сафиро-храбро-мудро-ногий,
Лазурно-бурный конь Пегас!
С парнасской свороти дороги
И прискочи ко мне на час.
Иль, дав в Кавказ толчок ногами
И вихро-бурными крылами
Рассекши воздух, прилети.
Хвостом сребро-злато-махровым
Иль радужно-гнедо-багровым
Следы пурпурны замети.

Жемчужно-клюковно-пожарна
Выходит из-за гор заря;
Из кубка пламенно-янтарна
Брусничный морс льет на моря.
Смарагдо-бисерно светило,
Подняв огнем дышаще рыло
Из сольно-горько-синих вод,
Усо-подобными лучами

---

[1] К сочинению сего вздора подали мне мысль некоторые из новых наших стиходеев, из коих одни желают подражать Горацию нашему Г. Д⟨ержави⟩ну, а другие К⟨арамзи⟩ну и Д⟨митрие⟩ву; но как, вместо вкуса и таланта, имеют они только непреодолимую охоту марать бумагу, то и пишут точно такую чепуху, какую читатель найдет в сей оде, если будет иметь терпение ее прочитать.

[2] «Поверьте мне, боритесь с собою, скрывайте от людей свои занятия и не оставляйте, как бы вас к этому ни побуждали, своего имени, которое слыло при дворе именем честного человека, ради того, чтобы принять из рук жадного печатника имя смешного и жалкого автора». *«Мизантроп», действие 1, явл. 2* (франц.). — *Ред.*

Златит, как будто бы руками,
На полимент небесный свод.

Сквозь бело-черно-пестро-красных
Булано-мрачных облаков
Луна, стыдясь гостей толь ясных,
Не кажет им своих рогов
И, мертво-бело-снежным цветом
Покрывшись перед солнца светом,
На небе места не найдет.
Ветр юго-западно-восточный
Иль северо-студено-мочный
Ерошит гладкий вод хребет.

Октябро-непогодно-бурна
Дико-густейша темнота,
Сурово-приторно сумбурна
Сбродо-порывна глухота
Мерцает в скорбно-желтом слухе,
Рисует в томно-алом духе
Туманно-светлый небосклон.
В уныло-мутно-кротки воды
Глядятся черны хороводы
Пунцово-розовых ворон.

Но вдруг картина пременилась:
Услышал стон я голубка,
У Клары слезка покатилась
Из левого ее глазка;
Катилась по лицу, катилась,
На щечке в ямке поселилась,
Как будто в лужице вода.
Не так-то были в прежни веки
На слезы скупы человеки;
Но люди были ли тогда?

Коль девушке тогда случалось
В разлуке с милым другом быть,
То должно, дуре, ей казалось,
О том реками слезы лить.
Но в наши веки просвещенны

Как могут люди огорченны
Так слезы проливать рекой?
Ведь ныне слезы дорогие,
Сравнятся ль древние простые
С *алмазной* нынешней слезой?

Теперь посмотрим мы, как вьется
Голубушка над голубком;
А сердце бьется, жмется, рвется
И в грудь стучит, как молотком.
Голубчик выпустил, знать, душку,
Нет жизни в нем ни на полушку,
Уж носик съежился его.
Овсянки, ласточки, синички,
Варакушки и прочи птички
Роняют слезки на него.

От этой жалостной картины,
Читатель, если ты не взвыл,
А от начальной пиндарщины
В восторг когда не приходил,
То сердца твоего *тон* низок,
Умом ты к готтентотам близок
И так, как лютый тигр, жесток.
Ты б должен на стену бросаться
Или в лоскутья истерзаться
От сих громко-прискорбных строк.

⟨1802⟩

36. К ЧЕЛОВЕКУ

Игрушка счастья и судьбины,
С дурным посредственного смесь,
Кусок одушевленной глины,
Оставь свою смешную спесь!
Почто владыкой ты себя природы ставишь?
Сегодня гордою пятой
Ты землю, презирая, давишь,
Но завтра будешь сам давим землею той.

⟨1802⟩

37. ЧУДЕСА

Видал я на своем веку чудес немало,
И мне великое желание припало
Читателям об них здесь вкратце рассказать.
За это многие дадут себя мне знать!..
Но так и быть! пущусь. Извольте же послушать:
Во-первых, видел я таких богатырей,
Которы годовой доход пяти семей
Изволили втроем за ужином прокушать.
Видал таких я лекарей,
Которые не всех больных своих морили.
Видал таких господ, которые кормили
Подвластных им людей
Не хуже лошадей
И их не походя бранили или били.
Видал подьячего, который трезв был так,
Что в сутки хаживал лишь два раза в кабак.
Я видел старую девицу,
Которая себе не убавляла лет!
Клеон, покойный мой сосед,
Имел хоть много книг, читал и был уж сед,
Но Африку считал за птицу;
Однако ж, так как сей многопочтенный муж
Имел шесть тысяч душ,
То с Лейбницем его в учености равняли.
Хоть дурен был он так собой, как смертный грех,
Но все его в глаза с божбою уверяли,
Что зá пояс заткнет он херувимов всех.
Индейских петухов боялся он и раков;
Но утверждали все, что этот господин
Легко бы мог один
Взять в пять минут Очаков
И рать турецкую побить всю кулаком,
А если бы его кто нáзвал дураком,
Важнее всякого то было б святотатства!..
Как после этого не пожелать богатства!..
Но мало ли еще каких видал я штук!
Видал я русских дам, охотниц до наук;
Видал, что с кошкою дружна была собака;
Видал я жен таких,

Которые мужей своих
Любили с месяц после брака!
Видал, что сельский поп на свадьбе был не пьян.
Видал богатых я и молодых дворян,
Которые всегда в большом хоть свете жили,
Однако ж иногда по-русски говорили.
Они ж по нескольку недель
Верст за пять от Москвы живали
И там, о чудеса! с тоски не умирали!
Видал я чудаков, которые езжали
За тридевять земель
Смотреть, как солнышко *заморское* садится,
Иль слушать, как шумит *заморский* ветерок,
Иль любоваться, как *заморский* ручеек
По камням и песку *заморским* же струится.
Как будто на Руси не стало ручейков!
Иль будто ветерок шуметь у нас не смеет
И солнце русское садиться не умеет!..
Таких несчастных я писателей видал,
Которым никаких похвал
В газетах даже не сплетали!
Видал российских я ученых бедняков,
Которы площади топтали!
В учители ж не их бояре к деткам брали,
А иностранных кучеров.
Но этого, знать, мне не видывать вовеки,
Чтоб в Волге не было белуг и стерлядей;
Чтобы злословить Фирс не стал честных людей;
Чтоб перестали грызть друг друга человеки;
Чтобы цыгане красть не стали лошадей;
Чтобы жеманиться Климена перестала;
Чтобы Москва-река через Иркутск течь стала;
Пугать не стали чтоб боярами робят;
Чтобы в Гренландию переселились музы;
Чтобы премудрые французы
Узнали наконец, чего они хотят!
О богословии чтоб споры прекратились.
. . . .
Чтоб денег кто взаймы мне без процентов дал
Или чтоб, наконец, когда богат я стал.

⟨*1804*⟩

38—54. *ЭПИГРАММЫ*

1

Жена Глупона за нос водит,
И часто в гнев она приходит,
Что ухватить рукой неловко мужнин нос,
Затем что он курнос.
Простительно ль иметь так мало ей догадки
И не видать того,
Что у него
По милости ее ловчей есть рукоятки.

⟨*1790*⟩

2

Не стыдно ли тебе, Дамон, быков бояться?
Простительно лишь тем рогов их опасаться,
Кто не имеет, чем от них обороняться.

⟨*1790*⟩

3

Клит, сделавшись больным, за лекарем послал;
Тот с сердцем отвечал: «Ведь я не коновал!»

⟨*1790*⟩

4

Ты хочешь знать, Дамис, за что твоя жена
Желает зла тебе, как будто лиходею,
Хотя и ничего не делаешь ты с нею? —
Уж полно, не за то ль и злится так она?

⟨*1790*⟩

5

Какое сходство Клит с календарем имеет?
— Он лжет и не краснеет.

⟨1791⟩

6

Девица, кою сбыть скорее с рук желают
И тщатся для сего богатей нарядить,
Сходна с пилюлею, котору позлащают,
Дабы скорей ее заставить проглотить.

⟨1791⟩

7

Что не видал ослов, наш Клит весьма жалеет;
Неужто бороду без зеркала он бреет?

⟨1791⟩

8

Однажды Скрягин видел сон,
Что будто пиршество давал большое он.
От этого он сна столь сильно испугался,
Что мог насилу встать,
И страшной клятвой обязался
Вперед совсем не спать.

⟨1791⟩

9

За что не терпит Клит Дамона, как врага?
Что сделал он ему? — Рога.
— Ага!

⟨1791⟩

10

Что Клав меня лечил, слух этот, друг мой, лжив:
Когда б то было так, то как же б был я жив?

⟨1791⟩

11

На Клита, верно б, я сатиру сочинил,
Когда бы стоил он бумаги и чернил.

⟨1799⟩

12

Увидя Спеськина, со мной весь скажет свет,
Что оплеушины лицо его зовет.

⟨1799⟩

13

Однажды барыня спросила астроло́га:
«Пожалуй, дедушка, скажи мне ради бога,
Иметь я буду ли детей?»
А тот, поворожив, ответ такой дал ей,
Что будут у нее их трое.
Тут муж, услышавши решение такое,
Спросил, худого быть в вопросе том не мня:
«А сколько будет у меня?»

⟨1799⟩

14

Клит голову ушиб так больно ныне летом,
Что с месяц у него в глазах была всё тьма;
Однако ж от сего он не сошел с ума,
А только сделался — поэтом.

⟨1802⟩

15

Охотник Клит стихи чужие поправлять
И также прозу;
Но право чем сие он может оправдать?
Он колдуном себя желает показать,
В крапиву превращая розу.

⟨1804⟩

16

Клав, борзый наш поэт,
Одною славою питается шесть лет,
Так мудрено ли же, что худ он, как скелет?

⟨1804⟩

17

Ах! батюшка, ах, ах!
Какой я видел страх!
Клит по уши в долгах,
А сверьх ушей — в рогах.
Ах! батюшка, ах, ах!

⟨1808⟩

Н. С. СМИРНОВ

Николай Семенович Смирнов родился в 1767 году в Москве в семье крепостного. Отец его был управляющим имениями князей Голицыных. Привилегированное положение позволило ему дать сыну превосходное домашнее воспитание. Однако занятия постоянно прерывались, так как господа загружали способного молодого человека всевозможной канцелярской работой. Неоднократные просьбы и отца, и самого Николая Смирнова об освобождении успеха не имели.

Ненависть к своему рабскому состоянию и жажда знаний все сильнее овладевали юношей. Перенеся тяжелую болезнь, вызванную главным образом, как он сам пишет, «омерзением к рабству», он просил своих господ отдать его хотя бы в солдаты, на что также получил отказ.

Отчаявшись, Смирнов решил прибегнуть к крайней мере: бежать за границу, чтобы закончить образование в одном из европейских университетов, однако по дороге заболел, был схвачен и посажен в тюрьму. Летом 1785 года по приказу Екатерины II он был сдан «в состоящие в Тобольске воинские команды солдатом». [1]

Существует предположение, что историю Смирнова использовал А. Н. Радищев в главе «Городня» «Путешествия из Петербурга в Москву». [2]

С 1788 по 1796 год Смирнов, в звании сержанта, занимался преподавательской деятельностью в солдатских училищах, а также «употребляем был по разным горным и заводским препоручениям». [3]

---

[1] К. В. Сивков, Автобиография крепостного интеллигента конца XVIII века. — Исторический архив, т. 5, М.—Л., 1950, с. 288.

[2] См.: А. Старцев, Радищев в годы «Путешествия», М., 1960, с. 89—96.

[3] Сведения о сибирском периоде жизни Смирнова имеются в материалах Иркутской казенной суконной фабрики. — ЦГИАЛ.

В Тобольске Смирнов активно сотрудничает в журнале «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» на протяжении всего существования журнала. Широко образованный, владеющий иностранными языками, он печатает здесь переводы и оригинальные произведения, отмеченные печатью грусти и пессимизма. Из Кударинска и Усть-Каменогорска Смирнов посылает свои произведения в Москву, в журнал «Приятное и полезное препровождение времени», где после прекращения «Иртыша» печатался и П. П. Сумароков. В течение 1794—1796 годов Смирнов напечатал здесь одиннадцать оригинальных и переводных произведений. Особенно интересна переделка Смирновым эпизода из книги Рейналя «История обеих Индий», где он, «дрожа от злобы», рассказывает, как жестокий рабовладелец продал в рабство свою возлюбленную, спасшую ему жизнь.

В 1797 году по просьбе кригс-цалмейстера Новицкого Смирнов был переведен в штат Иркутской суконной казенной фабрики как человек «способный и исправный, знающий обычай и язык тамошних народов».

Вскоре после перевода на иркутскую фабрику, в 1800 году, Смирнов умер.

Сочинения Н. С. Смирнова отдельными изданиями не выходили.

55. СТИХИ НА ЖИЗНЬ

О вы! которые рождаетесь на свет!
Мой взор на вашу часть с жалением взирает;
И самой смерти злей собранье здешних бед,
В сей жизни человек всечасно умирает.
Из недр ничтожества когда б я мог то знать
И если бы творец мне дал такую волю,
Чтоб сам я мог своей судьбою управлять, —
Не принял жизни б я и презрил смертных долю.

⟨*1790*⟩

56. ОТВЕТ С ТЕМИ ЖЕ РИФМАМИ

Не много мудрецов рождается на свет;
Не всякий и мудрец без горести взирает
На бренну нашу жизнь, цепь вечных зол и бед;
Но в том уверен я, что мудрый умирает

Без страха и забот, и не желает знать,
Правдиво ль то иль ложь, что он имеет волю
Своею волею в сей жизни управлять;
И мысля так, не чтет блаженством смертных долю.

⟨1790⟩

57. ПЕСНЯ

(Голос: «Triste raison, j'abjure ton empire» [1]*)*

Как мне не плакать, ах! как мне не рваться!
Можно ли смерти себе не желать?
С милой Анетой велят расставаться;
Душу велят здесь мою покидать!
Ах! для чего ж я с Анетой свыкался,
Если теперь ей «прости» говорю?
Взором любезным на что я прельщался,
Ах! и на что к ней любовью горю?

Новые радости мне приносило
Всякое утро, как с нею я жил;
Сердце мое одного лишь просило:
Чтоб неразлучен с Анетою был.

Всякий час боле Анетой прельщаясь,
Я почитал всех счастливей себя;
Пышности, славе, чинам посмеваясь,
Их не искал я, Анету любя.

Мог ли искать их любимый я ею?
Ах! ее сердце престол было мой.
Сжалься, любовь, надо мной и над нею
И возврати двум несчастным покой!

Сжалься!.. Позволь нам еще ты обняться
И съединивши уста умереть:
Лучше не жить, чем всечасно терзаться
И в разлученьи любовью гореть.

---

[1] «Печальный рассудок, я освобождаюсь от твоей власти» (франц.). — *Ред.*

Как мне не плакать, ах! как мне не рваться!
Можно ли смерти себе не желать?
С милой Анетой велят расставаться;
Душу велят здесь мою покидать.

⟨1795⟩

58. ПЕСНЯ

(На голос: «Велишь себе открыться»)

На что, печальна лира!
Велишь любовь мне петь,
Когда моя Пленира
Велит любя терпеть?

Велит молчать, томиться,
В разлуке с нею жить,
Надеждою не льститься
И только слезы лить!

Сперва друзья мы были
С Пленирою моей;
Все радости делили —
Делил и грусть я с ней.

Мы вместе с ней гуляли
По рощам и лугам;
Мы вместе отдыхали
Под старой липой там.

Когда Пленира пела,
Я вместе с нею пел;
Чего она хотела,
И я того ж хотел.

Но счастье то вкушая,
Сам бед причиной был;
Любви еще не зная,
Я страстно уж любил.

Пленирой грудь томилась:
Люблю! я ей сказал;
Пленира осердилась,
Я всех несчастней стал. . .

От глаз своих сокрыться
Велела мне совсем;
С душою разлучиться
Велела словом тем.

Неси вздох этот слезной,
Вечерний ветерок!
На грудь к моей любезной,
Под тоненький платок;

А ты, печальна лира!
Дай волю мне стенать;
Мне здесь моя Пленира
Велела жизнь скончать.

⟨1795⟩

59. К МУРЗЕ

*(Писано в проезд мой
через Усть-Каменогорскую крепость,
по просьбе киргизца, против крепости
за Иртышом тогда кочевавшего)*

Мурза! тебе, я чаю,
Наскучили уж мы,
Киргизские умы?
Я это примечаю:
С тех самых точно пор,
Как ты Фелицын двор
И всех, кто с головою,
Пером своим пленил,
Восхитил, удивил,
Всяк хочет быть Мурзою
Иль батырем у нас
В степи киргизской дикой.
Охоте быть великой
Там надобно у вас,
Далёко за горами,
Чтоб в нашу степь хотеть
Учиться песни петь
И так дружиться с нами;
А всё причиной ты!..
Ну, где с тобой сравниться?

Я слышал: этим льститься —
Пустые суеты;
Не всем Мурзой родиться,
Не всем, как он, греметь;
И нашу льзя ль царицу,
Бессмертную Фелицу,
Бессмертно так воспеть?

А я не строю лиры;
Достойно ей владеть
В себе не вижу силы.
Мурзу не смею петь,
Не смею петь Фелицу...
Как сметь мне из-за гор
Нахальный, дерзкий взор
На нашу взвесть царицу?
В том слава вся моя,
Что мысленно ея
Могу лобзать десницу.

Но жив в степи пустой,
Себя я утешаю
И время коротаю
Простою забызгой; [1]
Она свое изделье!
Пою любовь, веселье,
Свободу и покой,
Которы мы вкушаем
С тех пор, как ощущаем
Скиптр мирный над собой.
Или верхом гуляю,
По степи разъезжаю,
По речкам, по горам,
В стадах, по табунам,
И ими утешаюсь.
Иль в юрте я сижу,
Кумызом [2] забавляюсь

[1] Дудка из камышины. Киргизы играют на ней, жалобно припевая.

[2] Квашеное кобылье молоко: здоровое, прохладительное, но несколько пьяное питье. Киргизы до безмерности его любят и во все лето почти им одним и питаются.

И время провожу
За чашкой с бишбармаком.[1]
Иль с трубкой табаку,
До неги бывши лаком,
Валяюсь на боку,
Султаном быть мечтая.
Иль роскоши вкушая
В объятьях милых жен,
Дождусь, как сладкий сон,
Сомкнув уставши взоры,
Перенесет за горы
В бессмертной славы храм,
К Фелицыным ногам.

Чего ж желать мне боле
В такой счастливой доле?
Не смею ничего,
Как только лишь того,
Чтоб сон тот мог свершиться,
Чтоб зреть Фелицын трон. . .
Но нет! . . страшусь забыться! . .
Так пусть же этот сон,
Когда не может сбыться,
Беспрестанно снится
И сладкой сей мечтой
Прельщает разум мой,
Который в нем встречает
Несчетны чудеса
И в оных утопает,
Меня перенося
К пророку в небеса!

⟨1795⟩

60. БЛАГОДАРНОСТЬ

В злат-рубиновой порфире,
В венце из пламенных лучей,
Бряцая на волшебной лире,
Латонин сын из-за морей

---

[1] Мелко изрубленное и весьма уваренное без костей баранье мясо.

Едва свой образ светозарный
Явил, как слезы благодарны,
Напомнив милости твои,
Стезю из сердца проложили
И, заструившись, облегчили
Болезни и тоску мои.

Благотворительность святая,
Любимая природы дщерь!
Где твой престол? Страна какая
Гордится им? — Ни лютый зверь,
Сократу смертный яд разведший;
Ни скот, Эфесский храм сожегший,
Не воскуряли фимиам
Пред утешительницей мира. . .
Кто ж скажет мне, уныла лира!
Где беломраморный тот храм,

В котором истукан бесценный
Стоит *немногих* божества?
Один лишь смертный тот блаженный,
Кто драгоценней торжества
Души своей ни в чем не знает,
Как если слезы отирает
Несчастных, их счастливя часть.
Скажи ж, о мой благотворитель!
Скажи: где ангел твой хранитель?
Позволь пред ним и мне упасть!

Сердечны слезы умиленья,
Которых ток еще течет!
Он примет вас без оскорбленья
И сам вам цену наречет:
Ему любезна благодарность;
Ему притворство и коварность
С дарами смеют ли предстать?
Теките, слезы драгоценны!
Когда *ему* вы посвященны,
Я рад вас вечно проливать.

24 сентября 1795
Крепость Усть-Каменогорская

П. А. СЛОВЦОВ И ПОЭТЫ «МУЗЫ»

Раздел объединяет поэтов, связанных с Главной Александро-Невской духовной семинарией и журналом «Муза».

Главная семинария была в 1790-е годы не только одним из культурных центров тогдашней России, но и рассадником вольномыслия. В короткий срок она выдвинула таких известных деятелей, как М. М. Сперанский, П. А. Словцов, И. И. Мартынов, Н. И. Анненский.

Поэтическое творчество кружка молодых вольнодумцев представляет интересное сочетание просветительских идей XVIII века с чертами, свойственными социально-психологическому типу русского семинариста тех лет.

Появление в 1796 году журнала «Муза» — одного из наиболее ярких изданий конца царствования Екатерины II — знаменовало выход поэтов этого кружка на общерусскую литературную арену и перекидывало мост к их яркой государственной, публицистической и журнальной деятельности в начале XIX века. На страницах журнала появлялись произведения Державина, Карамзина, Дмитриева, великой княжны Александры Павловны. Однако ядро его составляла группа молодых, радикально настроенных писателей-разночинцев, в основном связанных с Александро-Невской семинарией: И. И. Мартынов (издатель журнала), М. М. Сперанский, Г. П. Каменев, П. А. Словцов, Е. А. Колычев, А. И. Леванда, через которого протягиваются нити к кружку Крылова — Клушина, тогда уже распавшемуся под нажимом правительственных репрессий.

Сотрудничество в журнале великой княжны Александры Павловны как бы предваряет — через того же И. И. Мартынова [1] — сближение наследника престола Александра Павловича с Пниным и

---

[1] См.: В. А. Теплова, К вопросу о журнальной деятельности И. И. Мартынова 90-х годов XVIII в. — «Ученые записки Горьковского гос. университета», Серия историко-филологическая, вып. 72, т. 2. Горький, 1964, с. 819.

Бестужевым, позволившее последним издавать в условиях павловского режима прогрессивный «Санкт-Петербургский вестник». «Большая» бюрократическая карьера Сперанского и Мартынова в будущем не была случайностью в этом отношении. С одной стороны, это свидетельство попыток «молодого двора» прощупать связи с прогрессивными общественными силами, с другой — для молодых радикалов, преследуемых реакцией, не имеющих опоры в народе, отвергнувших французский опыт, естественно было пытаться наладить связи с хотя бы относительно прогрессивными элементами правительства.

П. А. СЛОВЦОВ

Петр Андреевич Словцов (1767—1843) родился на Урале в семье заводского священника. В 1779—1788 годах учился в Тобольской духовной семинарии и за отличные способности был направлен в С.-Петербург в Главную Александро-Невскую семинарию (в будущем — духовная академия). Сотоварищами его по учебе были М. М. Сперанский и И. И. Мартынов. К этому времени относится его увлечение вольнодумной философией XVIII века и начало литературной деятельности. В 1792 году, по окончании семинарии, он был назначен в Тобольскую семинарию преподавателем философии и риторики. Ему же было поручено произнесение проповедей в Тобольском соборе. Вокруг Словцова вскоре сложился кружок вольнодумцев, что вызвало недовольство духовного начальства и, видимо, доносы. [1]

Проповеди Словцова в Тобольском соборе, в частности «Слово», произнесенное 10 ноября 1793 года, содержащее нападки на деспотизм и завоевательные войны и обнаруживающее знакомство автора с сочинениями Руссо, а возможно и Радищева, были использованы в качестве предлога для ареста и отправки его в Петербург. Из рук духовного начальства Словцов был передан Шешковскому, который оценил его проповедь как «дерзкую и развратительную». Словцов был отправлен на покаяние в Валаамский монастырь на Ладожском озере, где находился в очень тяжелых условиях. В дальнейшем он был возвращен в Петербург и даже назначен преподавателем риторики, но оставался под надзором и постоянной угрозой насильственного пострижения в монахи.

После смерти Екатерины II император Павел утвердил назначение Словцова в канцелярию петербургского губернатора. Здесь Словцов прослужил до 1808 года, когда он был снова арестован и

---

[1] См.: Н. Степанов, П. А. Словцов (У истоков сибирского областничества), Л., 1935, с. 6.

сослан в Тобольск. Хотя предъявленное ему обвинение во взяточничестве вскоре отпало как заведомо ложное, ему, несмотря на энергичные попытки, так и не удалось добиться разрешения на возвращение из Сибири. Это заставляет полагать, что скрытые причины ссылки были иными. В Сибири Словцов издал ряд трудов исторического и краеведческого характера.

Поэтическое наследие Словцова никогда не было собрано и изучено. В 1796 году он печатался в журнале «Муза». Однако основные стихотворения Словцова, видимо, для печати не предназначались. Они разбросаны по рукописным сборникам конца XVIII — начала XIX века.

61. ПОСЛАНИЕ К М. М. СПЕРАНСКОМУ

Пока с холодного пера текут чернила,
Пока кровь дружества при гробе не застыла,
Хочу из дальних стран и из-за гор вещать.
Лишенный счастия, могу еще его желать
Другим! Мой друг! Прими мой стон вместо совета,
Нам к славе, к счастию одна стояла мета!
Тот счастлив, говорят, кому коварный рок
В слезах других подаст ко счастию урок.
К словесности в тебя вдохнула муза склонность,
А философский век доставил мыслям вольность,
К отважным мнениям ты также склонен был,
Чертами смелыми, как я, блистать любил.
Но помни, что тому фортуна изменяет,
Кто остроумию — не времени ласкает.
Не начинай играть Вольтеровым пером,
Читай Вольтера ты, но Кларковым умом.
Россия хоть давно читает вольнодумов,
Но рано ей своих отважить остроумов;
Она благодарит Монтениев, Руссов,
Но сын ее ей враг, когда он филосо́ф.
Один и тот же ум и критик, и учитель.
Кто в сей стране злодей — в другой тот покровитель.
Не то пишу, чтоб ты невольник был умом:
Народу подлому довлеет быть рабом,
Ты, гордый мыслью, будь тиран предрассуждений,
Понеже разум наш есть цепь опровержений.




Александръ Шишковъ.

Так учит Бель; еще я повторю: будь смел,
Да только с тем, чтоб свет тебя не разумел,
Не будь писателем, забудь сию отвагу
И мыслей не клади блестящих на бумагу,
Пиши к друзьям, черты красивые бросай,
Пиши о новостях, но лишка не вручай.
Вот завещанье всё: «Носи личину в свете,
А филосо́фом будь, запершись в кабинете;
В противном случае в кармане яд имей:
Одну вкушают смерть писатель и злодей!
Ты знаешь, чем от черни отличаться?
Молчать и презирать, така́ть и насмехаться!
Исследуй склонности и темперамент свой.
Какой он, рассмотри, — печальный иль живой?
Не спорь со мной, ты был чувствителен и страстен,
Утехам, нежности и дружеству подвластен.
Адонис был пастух и знал одну свирель,
Любился также ты, ведь ты же Фонтенель».

. . . .

. . . .

Теперь какая жизнь моя? Что я? Раб? Нет, —
Когда захочет он, своей рукой умрет. . .
Скот? Нет, он будущих ударов не трепещет.
Мертвец? Спокоен он, в нем сердце не скрежещет.
Сижу в стенах, где нет полдневного луча,
Где тает вечная и тусклая свеча.
Я болен, весь опух и силы ослабели;
Сказал бы более, но слезы одолели.
Я часто жалуюсь: почто простой народ
Забыл естественный и дикий жизни род?
Почто он вымыслил гражданские законы
И утвердил почто правительство и троны?
Для счастья, говорят. Для счастья только тех,
Которы рвут с нас дань для балов и потех.
Так меркнет гражданин, как слабый свет в тумане,
Потом теряется, как капля в океане.
Но, муза дерзкая, престань о сем блуждать,
Закройтесь, раны, днесь — довольно уж стенать.
Уже плачевну жизнь мою смерть облегчает,
Уже мой труп душа стеняща оставляет.
Сокрой его, земля, от плачущих друзей!
Увы! Они не погребут моих костей,

Не узрят, пепел мой лежать где будет,
Забудет дружество, и свет меня забудет! . .
Прозябнут былия над кучкою моей.
Вот весь мой памятник! Вот весь мой мавзолей!
Пускай над трупами вельможей ставят башни,
Но из гробниц уже не будут бедным страшны!
Мой друг! Как хартия придет к тебе сия,
Скажи родителям моим, что умер я,
Что я отеческих по смерть держался правил,
Что добродетель, честь всего превыше ставил;
Напомни, что я здесь безвинно был гоним,
Проси прощения несчастиям моим;
Пусть тень благословят — их сын почиет в гробе,
Коль мирны дни его катились в тягость злобе.
Родители мои! Они в седых летах
Останутся одни и будут жить в слезах.
О рок! Со всех сторон ты сердце мне пронзаешь,
Но только ль стрел твоих? Ты, друг мой, понимаешь. . .
Твоей. . . боюсь сказать. . . сестрице возвести,
Что льстился я. . . Любовь и дружество — прости!

1794

62. К СИБИРИ

Дщерь Азии, богато наделенна!
По статным и дородным раменам
Бобровою порфирой облеченна,
С собольими хвостами по грудям,
Царевна! сребряный венец носяща
И пестрой насыпью камней блестяща!
Славян наперсница, орд грозных мать,
Сибирь — тебя мне любо вспоминать.

Два века с лишком в вечность упадают,
Твои как ханы белому царю
Покорно пышные чалмы снимают.
Я их преда́нности благодарю.
Хоть населяют разны дики орды
Кряжей и гор сибирских скаты горды,
Но от Туры до острова Ильи
Живут, как дети мирныя семьи.

Пускай Европа чванится умами,
Пускай гордится блеском тонких дум —
Сибирь, гордися кроткими сердцами!
Что значит самый просвещенный ум?
Подобен дерзновенну исполину,
Он зыблет истину, как паутину,
И, разодрав священный занавéс,
Бросает молнии против небес.

Ей-богу! там жить лучше, где повязкой
Глаза завешены — не видят вдаль,
Где маракуют часослов с указкой,
Не зная, кто таков Руссо, Рейналь.
Страна моя! Тебя я не забуду,
Когда и под сырой землею буду;
Велю, чтоб друг на гробе начертил
Пол-линии: *и я в Сибири жил.* [1]

У нас весною любят богомолье,
Притом крестятся все одним крестом;
За то бог дал в землях тако раздолье,
Что о межах судье не бьют челом;
Судье крестьянин не ломает шапки;
С женой, с детьми, как кот согнувши лапки,
В тепле катается, как в масле сыр.
Дай бог, чтоб проклажался так весь мир.

За то в гостинцы матушке царице
Пошлем осистых с искрой соболей,
Чтоб в хладной белокаменной столице
Ей в церковь ездить было потеплей.
Она так набожна, благочестива!
И в царском тереме трудолюбива!
В народе — ангел мирный наяву;
В правленьи — солнце в утреннем пару.

Се та, которая весь Север льдистой
Мизинцем держит так, как перстень свой.

---

[1] Аллюзия к известному ландшафту Пусеня: Et in Arcadia ego (И я в Аркадии ⟨родился⟩ (лат.). — *Ред.*).

Блажите, орды, что в глуши лесистой
Ермак ударил древле булавой.
Хоть сечь его считаете разбоем,
Однак герой останется героем.
Ермак, отродье богатырских душ!
Он палицей одной расчистил глушь.

⟨1796⟩

63. МАТЕРИЯ [1]

Пока в странах неоживотворенных
Недвижима чернелась пустота;
Пока в сих сумерках несотворенных
Не прояснялась вечна густота;
Пока в пространствах солнцы не дышали
И громы в атмосферах не стонали, —
Дотоле — и пункт не существовал,
И тонкий атом в бездне не летал.

Но лишь подвинулись времян колеса,
И чуть тронýлась ось годин и лет;
Чуть потряслась творения завеса,
Вдруг хлынула материя в весь свет.
Повсюду стелет — всюду брызжет сферы
И обливает их в воздушны атмосферы.
Всё полно — нет малейшей пустоты,
От центра до последней высоты.

Каки умы, в стихиях просвещенны,
Откроют мне рожденье естества?
Какие хляби, древле сокровенны,
Отверзли океан сей вещества?
В какой, до появления вселенной,
Таился он пучине отдаленной?
Каким натура перешла путем
Между ничтожеством и бытием?

---

[1] Сочинитель сей пиесы хотел только испытать, можно ли физические истины предлагать в стихах.

Хотя непостижимым сим резоном
Колеблюсь я принять идеализм,
Однак дерзаю защищать с Стратоном
Систему вещества против софизм.
Материя, все массы образуя
И бесконечну цепь существ связуя,
Объемлет всё до заднего кольца,
От грубой глыбы даже [1] до творца.

Она, в различны виды наряжаясь,
Живет и в насекомых и в слоне;
И в разноцветны краски изменяясь,
Сияет в ясной льдине и в огне,
В дожде играет алыми дугами,
А в норде огненными облаками.
Движенье есть повсемственный закон,
На коем вещество воздвигло трон.

Движенье, сердце жизненных явлений,
Дает приметить бьющий пульс существ,
От шифера до каменнорастений,
От сих до прозябаемых веществ,
От прозябаемых до мухоловки,
От мухоловки до сороконожки, [2]
От рака и камчатского калан [3]
Велик ли шаг до индских обезьян?

Вся разность жизни в разности движенья,
А в протчем все равно растут как гриб;
Агаты, литофиты, прозябенья,
Полип, орангутанг и караиб
Равно живут и переходят в росты,
Имеют пищу, силу, плод, наросты
И, может статься, чувственный орга́н;
Кто испытал, не дышит ли тюльпан?

---

[1] Я говорю о творениях вещественных, а не духовных, посему и прошу мне не попрекать вменением материализма. Кажется, на одной стороне можно начинать близ самого творца цепь вещественную, равно как на другой должно полагать цепь духовную. *С.*

[2] Насекомое бескрылое. *С.*

[3] Бобр по-камчатски называется калан. *С.*

Животворя мир весь от колчедана,
Материя всему свой пульс дает
И, действуя от Солнца до Урана,
В себе катает миллион комет,
Которых эллипсы и круговины
Длиннее, нежель тысящны годины
Комет, которым Ламберт дал чертеж.
Так где ж назначить веществу рубеж?

Когда сих солнцев взяв до миллиона
И приложив им вслед шары к шарам,
Когда и Сирия и Ориона
Пхнув по параболическим дугам,
Велю ходить вкруг центра им другого;
Когда и центры центров двину снова
Вкруг центра, деспота эфирных тел, —
И тут не весь материи предел.

Но ах! — грядет година без пощады,
Година лютая натуре всей,
В которую сии громад громады
Падут в ничтожество с своих осей.
Творец! над центром центров почиваяй
И вышней дланию миры вращаяй,
Продли держать вселенныя весы,
Да прийдут поздней роковы часы.

⟨1796⟩

64. ДРЕВНОСТЬ

1

Древность, ты, которой мирна мышца
Усыпила ранни племена,
Зрящая в скрижали летописца,
Пишущая славных имена!
Ты, что связку венчиков[1] имея,
В думе ждешь царей у мавзолея,

[1] Венчики называются бумажки, полагаемые на лбы умерших.

Успокоив перстъ отцев моих,
Повели моей дрожащей трости,
Прежде чем мои почиют кости,
Свиток положить у ног твоих.

2

Соглядая веки обмертвелы,
Над которыми туман повис,
И юдоли древних запустелы,
По которым вырос кипарис,
Мнится, вижу вдоль сея трещобы
Праотцев расписанные гробы;
Мнится, что на всех гробах резец
Начертал девиз их просвещенья,
Врезал истины и заблужденья
Позднóму потомству в образец.

3

Но почто против сего уроку
Памятников истины бежим?
По какому горестному року
Подле памятников лжи стоим?
Как бы мним, что гении усопши
Пустят луч сквозь гробы, мхом заросши,
Между тем как зрим пиры одни.
Тщетно, тщетно ждем небесной силы,
Тщетно ждем лучей вокруг могилы,
Где блудящи лишь горят огни.

4

Слабый смертный! Сколь потребно мало,
Чтоб занять власть над твоим умом,
Если заблуждения зерцало
Древним вкруг очерчено жезлом:
Стоит, чтоб оракулом явиться,
Лишь на персях древности родиться.

Разве гений истины слетал
На сосцы вселенной тот лишь термин,
В коем разум, первенец Минервин,
В сирой колыбели почивал?

5

Нет, и ныне истина над миром
Всходит как бы из-за облаков.
Если ж ложь, кадяща пред кумиром,
Не сгущает над умом паров,
Для чего ж среди сего тумана
Сильный разум, пад на истукана,
С алтаря не опрокинет персть?
Должно ль, чтоб одни его скрижали
Мание Сатурна презирали,
Если всё его чтит грозный перст?

6

Должно ль, чтоб отцы столпотворенья,
Скрывши темя в сумраке небес
И вися над бездной заблужденья,
На истлевшей вазе древних грез,
Уцелели до всеобща труса,
Если сферы терпят тяжесть бруса,
Коим время их браздит в пески,
Если солнце сыплется комками
И с янтарных стен уже местами
Крошатся огнистые куски? [1]

7

Древность, мавзолей свой украшая,
Лишь над нами упражняет гнев
И, осьмнадцатый век удушая,
Высечет лишь новый барельеф.

---

[1] С одной стороны, северные явления, падающие из солнечной системы, а с другой, пятна, в солнце усматриваемые, делают понятною сию фразу.

Франклин, преломивши скиптр британской,
Ре́йналь с хартией в руке гражданской,
Как оракул вольныя страны,
И Мурза в чалме, певец Астреи,
Под венком дубовым, в гривне с шеи
Будут у тебя иссечены.

8

Но кака там тень среди тумана
Стелет по карпатским остриям?
Темный профиль исполинска стана
В светлой Висле льется по струям.
Сбиты локоны по пле́чам веют,
А по ризе пятна сплошь багреют,
С рама обнаженный меч висит,
На руках лежат с короной стрелы,
На главе орел гнездится белый;
Это падшей Польши тень парит.

9

Всё стремится к древности суровой;
Царства почему, обиты в тис,
Опираяся об скиптр свинцовый,
Сходят с зыблющихся тронов вниз,
И преклоншися с гербом руины
Временам дают свои судьбины?
Всё к кивоту древности падёт.
Лишь святых душ лучезарны мощи,
Как в пещерах фосфоры средь нощи,
В раках не померкнут в род и род.

10

Всё падет — так что ж надменный
Смертный предваряет потрясать
Обветшалые столпы вселенны
И перуном землю колебать?
Должно ль царства превращать в могилы,

Чтоб гигантам свесить толщу силы
И исследовать порыв рамен?
Разве нет ему твердыней,
Разве нет в отечестве пустыней,
Где бы меч его был изощрен?

11

Эх! почийте, грозны Марса други,
В просеках лавровых вдоль лесов!
Облеченны в панцирь и кольчуги,
Мчитесь вы против каких врагов?
Эх! почийте лучше, бранны ходы
Двиньте на стихии злой природы;
От потопа нас сдержи порой;
В трусе на зыбях сдержи руины,
В сопках пламенны залей пучины,
И тогда речем, что ты Герой.

12

Вы ль, дымящиеся Чингис-ханы,
Нам поведайте свои дела?
Ах, не вы ль, как пышущи вулканы,
Изрыгали жупел на поля?
Пламя с дымом било вверх клубами,
Рдяна лава пенилась валами;
Ныне ж? — вы потухли под землей.
Ныне, мню, над вашими гробами
Красны заревы стоят столбами;
Древность! С именем их прах развей!

13

Прах развей! — но буде кость злодеев
Не умякнет под земным пластом,
Будто прах под грузом мавзолеев
Не смесится с илом и песком?
Праздны черепы, сии избытки,
Мать-земля расплавит в новы слитки;

Внутрь ее зияли, где погряз
Геркулан со знамям и щитами,
Лиссабон с хоругвью и крестами,
Плавится людей оседших связь.

14

Мнится, что миры людей дремучи,
Кои прилегли к земной груды,
С спящих мышц стряхнут надгробны кучи
И в чреду проснутся на трубы;
Так как мир, кой оюнев днесь паки,
Предкам зиждет по кладбищам раки,
Может быть, из-под сырых холмов
Воспрянýл, чтоб лечь в земной утробе;
Так не все ль мы в раздвижном сем гробе
Переводим с древних дух веков?

15

Кто ж присвоит право первородства?
Ты, остаток древния резьбы,
Сын наследственного благородства,
Тщетно режешь старые гербы,
Тщетно в славе предков ищешь тени,
Кроясь как бы под безлистны клены:
Прадедов увядшие дела
И дипломы, ими заслуженны,
Как сухи листы, с дерев стрясенны,
Не украсят твоего чела.

16

Пусть тебе природа даровала
В люльке князя, графа имена,
Пусть звезда сверхý на грудь упала,
Разметав по плéчам ордена,
Но поверь, что яркий сей фенóмен
Для твоих достоинств вероломен,
Все сии насечки вмиг спадут.

И гремящие без дел титу́лы,
Так же, как наследной славы гулы,
До горы потомства не дойдут.

17

Знай — один лишь разум просвещенный
В поздных переломится веках!
Хоть над жизнью гениев почтенных
Тучи расстилалися в облаках,
Тучи, град и дождь на них лиющи,
Но по смерти их, над темной кущи,
Над которой буря пролилась,
Мирна радуга для них явилась,
Половиной в древность наклонилась,
А другой — в потомстве оперлась.

Между 1793 и 1796

65. ДОПОЛНЕНИЕ К ВЧЕРАШНЕМУ РАЗГОВОРУ

⟨*М. М. Сперанскому*⟩

Полно, друг, с фортуною считаться
И казать ей философский взор;
Время с рассуждением расстаться,
Если счастие кати́т на двор.

Лучше с светом в вихрь тебе пуститься
И крутиться по степям честей,
Чем в пустыню с Про́логом забиться
И посохнуть с горя без людей.

Ветер веет вам благополучный:
Для чего ж сидеть бы взаперти?
Для чего вдаваться мысли скучной,
Что застигнет буря на пути?

Правильно ты весил света муку,
Тяжесть золотых его цепей;
Но ты взвесил ли монахов скуку
И сочел ли, сколько грузу в ней?

Пестра мантия с златыми рясны
Хоть закроет стать твою и ход,
Но закроет ли глаза невластны
От плутовок — набожных красот,

Кои в церковь с полыми грудями
Ходят показаться женихам
И, пред образом курясь духами,
От сердец приемлют фимиам?

Трудно от зараз их защититься,
Хоть себя крест-накрест огради;
Вечно сердце станет биться,
Панагия хоть и на груди.

Панагия, друг, не крепки латы,
И блестяща митра ведь не шлем,
Ежели шалун амур крылатый
Грянет в архипастырский терём.

Полно, друг мой, мыслями ристаться;
Полно, сидя с книгой, ум копить;
Время, время с пристанью расстаться
И по ветру парус распустить.

Как гальот твой по зыбям помчится,
Так причаль за борт и мой челнок;
Если вал девятый и случится,
То удар мне сбоку, чай, легок.

27 февраля 1796

И. И. МАРТЫНОВ

Иван Иванович Мартынов (1771—1833), сын священника, родился на Полтавщине, учился в Полтавской семинарии. В 1792 году переехал в Петербург, где учился, а затем преподавал греческий и латинский языки, поэзию и риторику в Александро-Невской семинарии, в которой сложился кружок молодых вольнодумцев. Позже М. М. Сперанский вспоминал: «В Главной семинарии мы попали к одному такому учителю, который или бывал пьян, или, трезвый, проповедовал нам Вольтера и Дидерота».[1] Затем Мартынов перешел на службу в канцелярию коллегии иностранных дел, а с 1797 года преподавал русскую словесность в Институте благородных девиц. В 1796 году издавал журнал «Муза». В 1803 году назначен директором департамента министерства народного просвещения.

Находясь на этом посту, Мартынов содействовал учреждению нескольких новых учебных заведений, в том числе Педагогического института, где читал лекции по эстетике. Был известен как переводчик с классических языков и с французского.

66. К ПАТРИОТУ

Не титла гордые венчают
Тебя, любезный патриот;
Лице твое светло добро́той,
Твой дух — прозрачный водопад;
В тебе прохладу обретает
Гонимый лютою судьбой.

---

[1] М. А. Корф. Жизнь графа Сперанского, т. 1, СПб., 1861, с. 26.

За златорамое зерцало
Садишься счáстливых творить,
И, где невинность угнетенна,
Тут быстрый взор твой неусыпен, —
Лишь камень дел не чтит твоих!
Всех чувствия к тебе стремятся;
Ты твердый правоте оплот.

Блажен, не льстясь что звуком злата,
Расчета в лицах не храня,
Глаголу совести лишь внемлешь
И не робеешь злых угроз!

Подобен ты отважну парду:
Колючим терном он идет,
Не чувствуя малейшей боли.
Ярится ли перун над ним
Иль тихий солнца луч сверкает —
Унынье не мятет его;
Хребтом он сильным отражает
Гонителей своих удар.
Где твердость, коль не в сердце правом,
Свое жилище сорудила?
Заплатит некогда тьмой зол,
Неверно кто весы склоняет;
В его жемчужной чаше яд,
Хоть сот он вкусом ароматный, —
То слезы, кровь вдовиц, сирот;
Не долго сот сей услаждает;
В нем жизнь и смерть! в нем честь и срам!
Когда он праг преступит жизни,
Проклятие пойдет за ним;
Тебе ж последует до гроба
Благословенье, патриот.

Но есть стремнины, коих трудно,
Чтя добродетель, избежать;
Быть может, ты на них преткнешься;
Дерзай — до ската лет твоих!
Не долгой путь нам здесь назначен,
Его украсить должно нам.
Коль поздной старости достигнешь,

Не совращаясь с добрых дел,
Седина каждая заступит
Тебя пред времени судом.
Слезами сердца провожденный,
Хоть погрузишься в смертный сон,
Но из-под хладной дски возникнут
Лучи твои в сей тусклый мир;
Здесь память дел твоих раздастся,
А там... там правда! вечность! бог!

⟨1796⟩

Е. А. КОЛЫЧЕВ

Биографические сведения о Е. А. Колычеве (ум. не позже 1805 года) крайне скудны. Наши представления о нем как незначительном поэте резко расходятся с оценками современников: Батюшков в плане книги по истории русской литературы записал: «Статьи интересные о некоторых писателях, как-то: Радищев, Пнин, Беницкий, Колычев».[1] Нам неясно, чем заслужил Колычев право быть включенным в этот ряд, но у Батюшкова, близко знавшего и Пнина, и Беницкого, знакомого с творчеством Радищева, бесспорно, были какие-то неизвестные нам соображения на этот счет. Пнин, сам на пороге смерти, почтил прах Колычева стихами:

Лежит в могиле сей
Природы друг и друг людей.

Определения «друг природы», «друг людей» в публицистике эпохи Просвещения имели характер терминов, совершенно недвусмысленных по содержанию. Расхождение в оценке Колычева друзьями и потомством связано с тем, что последнее судит о нем по печатным стихотворениям, которые появились в основном на страницах «Музы» и «Санкт-Петербургского журнала». У современников же были другие источники. А. Е. Измайлов писал, что «едва ли не самые лучшие пиэсы» его «остались в рукописи».[2] Местонахождение неопубликованной части наследия Колычева в настоящее время неизвестно.

67. ЧЕРВЯЧОК

На зелененьком кусточке
Червячок во тьме блистал
И, качаясь на листочке,
Тихий свет свой проливал.

---

[1] К. Н. Батюшков, Сочинения, т. 2, СПб., 1885, с. 338.
[2] «Благонамеренный», 1824, № 14, с. 138.

Змей вияся протекает
Под кустом зеленым сим
И невинного пронзает
Жалом гибельным своим.

«Что я сделал пред тобою?» —
Червячок, упавши, рек.
«А зачем блестишь собою?» —
Змей сказал — и прочь потек.

⟨1796⟩

68. К ОЗЕРУ Б***

Холодны, светлы, тихи воды,
Где часто при ночных лучах
Элиза, в тишине природы,
Купается в златых волнах!

Кристалл! который, преломляя
Красы ее, вкруг них блестит;
Волна, что от луны сияя,
Ее колена золотит!

О, зеркало воды счастливой!
Где часто грудь драгой моей,
С зеленою мешаясь ивой,
Рисуется поверьх зыбей!

Струи, в которы упадает
Она во всех своих красах,
Увы! ваш рок меня смущает. . .
Страшитесь. . . яд в ее очах!

Страшитесь! . . И когда вас пламень
Сих светлых глаз не воспалит,
То сердца хлад ее вас в камень
Иль в лед навеки превратит!

⟨1796⟩

ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО

Дружеское литературное общество возникло 12 января 1801 года и просуществовало до осени того же года. Членами его были Андрей и Александр Тургеневы, Жуковский, Мерзляков, Андрей и Михаил Кайсаровы, Воейков, Семен Родзянко. Объединенные родством и воспитанием (большинство членов Общества были воспитанниками пансиона при Московском университете), связанные с масонской традицией, выросшие на чтении повестей Карамзина, члены Общества открывали новую литературную страницу. Увлечение штюрмерской литературой, молодым Шиллером сочеталось в их сознании с политическим бунтарством, жаждой свободы. Призывы к борьбе с тиранами получали в обстановке последних месяцев павловского царствования вполне конкретное политическое звучание.

Ведущая группа членов Общества осуждает и придворное искусство XVIII века, и «легкую поэзию» карамзинистов, требуя героики и гражданственности. Одновременно выдвигается и другое требование — народности.

На заседаниях Общества в доме Воейкова в Москве, у Девичьего монастыря, разгоралась острая полемика. Андрей Тургенев, Мерзляков, Воейков и Андрей Кайсаров стремились придать диспутам политическую окраску, а в литературном отношении ориентировались на Шиллера. Жуковский и Александр Тургенев склонялись к литературным принципам Карамзина и стремились ограничить заседания моральными и эстетическими дискуссиями. Поклонник Стерна Михаил Кайсаров проповедовал скептическую философию Беркли, а Семен Родзянко был настроен религиозно-мистически. Именно благодаря молодым спорам, искренности исканий начинающих поэтов Общество стало не только важнейшим событием в творческих биографиях его участников, но и вехой в развитии русской литературы.

Центральным событием жизни Общества было торжественное заседание, посвященное отечеству. В речи, произнесенной на этом

заседании, Андрей Тургенев призывал слушателей деятельно служить отечеству, «быть его сынами, с опасностию всего жертвовать его благоденствию». [1]

В Дружеском литературном обществе, как в фокусе, сошлись основные направления молодой литературы 1800 — 1810-х годов: романтизм Жуковского, гражданская поэзия, связанная с традицией XVIII века и идеями Просвещения (Мерзляков), и преддекабристское идейно-литературное движение (Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров).

---

[1] «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, М., 1956, с. 336.

А. И. ТУРГЕНЕВ

Андрей Иванович Тургенев (1781—1803) — старший из четырех братьев Тургеневых, семьи, давшей русской культуре начала XIX века плеяду выдающихся деятелей. Самые первые впечатления будущего поэта были связаны с обстановкой опального существования отца, И. П. Тургенева, высланного в свое саратовское поместье после разгрома кружка Новикова. Начало литературной деятельности Андрея Тургенева было связано с масонской моралистической поэзией и прозой, культивировавшимися в университетском пансионе, куда его отдали учиться. Позднее, как протест против этих вкусов, оформилось юношеское увлечение творчеством Карамзина, влияние которого заметно на первых рукописных опытах Андрея Тургенева. Однако к концу 1790-х годов чувствительность и изящный скептицизм Карамзина были вытеснены в сознании молодого поэта Шиллером, поэзией «бури и натиска», литературой, проповедовавшей мужество и сопротивление деспотизму. Отношение Андрея Тургенева к карамзинизму оставалось сложным: наряду с острой полемикой имела место и органическая связь. Не случайно и «К отечеству», и «Элегия» были опубликованы в журнале Карамзина «Вестник Европы».

К началу 1802 года увлечение Шиллером сменяется интересом к Шекспиру (Тургенев переводит «Макбета») и фольклору. Все большую определенность получает его требование народности литературы.

Требование гражданственности в поэзии сочеталось в последние годы павловского царствования в сознании А. Тургенева с бурным ростом тираноборческих настроений, противопоставленных культивировавшимся в семье мистицизму, проповеди морального самоусовершенствования и отрицанию политики. Не случайно он стал кумиром и образцом для среднего брата, декабриста Николая Тургенева. В 1801 году Андрей Тургенев и Мерзляков выступили инициаторами Дружеского литературного общества.

В ноябре 1801 года он переехал в Петербург, где поступил на службу и был причислен к канцелярии Новосильцева. Пребывание в столице было кратким — он был отправлен дипломатическим курьером в Вену; в феврале 1803 года он возвратился в Петербург, а 8 июля того же года скоропостижно скончался от «горячки с пятнами».

Вся короткая жизнь Андрея Ивановича Тургенева была заполнена непрерывной литературной деятельностью. Почти все его труды до нас не дошли — лишь некоторые сохранились в отрывках. Интереснейший культурный памятник — дневник Андрея Тургенева, документ самовоспитания передового русского человека преддекабристской эпохи, — до сих пор не опубликован. Речи Тургенева в Дружеском литературном обществе свидетельствуют о том, что он обладал незаурядным талантом критика.

Стихотворения Андрея Тургенева никогда не были собраны. Предполагавшееся в серии «Архив братьев Тургеневых» их издание не состоялось. Настоящая публикация является наиболее полной. В нее не вошли лишь отдельные разрозненные строки и незавершенные черновые наброски (к ним относятся отрывки сатирической поэмы, процитированной нами во вступительной статье).

Издание стихотворений Андрея Тургенева:

«Поэты начала XIX века», «Б-ка поэта» (М. с.), 1961, с. 253.

69. СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ДОРОГОЙ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ

Вотще невежество свой грубый глас возносит,
Вотще оно тебя, о Карамзин, поносит —
Сердца чувствительны ты будешь век пленять,
И славы можешь ли ты сам другой желать?
Кто Агатона чтет, всяк слезы проливает,
Пленясь творением, творца благословляет;
Тебе сердца пленять дар милый небом дан,
Пой к удовольствию, пой к славе россиан!

1796

70. ОТРЫВОК

К А. С. К⟨айсаро⟩ву

Когда весенняя улыбка
Чело природы озарит,
Когда в дыхании зефира
Прольется сладость и восторг,
Сильней сердца в груди забьются
И кровь любовью закипит,
Когда в врагах мы узрим братьев
И в их объятиях прольем
Слезу прощенья, примиренья, —
Тогда, тогда, мой милый друг,
Узрев, как после бурь ужасных,
Как после мрачныя зимы
Природа снова зеленеет
И снова добрые сердца
Зовет к святому наслажденью, —
Стремись в объятия ее,
Впивай в себя весны дыханье
И томну грудь им оживи.
Ее влиянье благодатно
Унылость в сердце истребит;
Надежда кроткая, благая
Рассеет мрак души твоей
И светлые лучи блаженства
Возблещут в радостных слезах.

1797

71—76. *ЭПИГРАММЫ*

1

Т. К. Ф.

За что ты на меня сердита, я то знаю —
За то, что для тебя стихов не сочиняю,
Прости ты в том меня, ведь это оттого,
Что не желаю я злословить никого.

1797

2

Адам еще в раю с женой был жить обязан;
Так до падения он был уже наказан.

1797

3

О, как священная религия страдает!
Вольтер ее бранит, Кутузов защищает.

1797

4

Он сроду не краснел, краснеть и не умеет,
Он врет, он лжет и не краснеет.
Но может в краску он всегда других вводить,
Лишь только их начнет хвалить.

1797

5

В час скуки думая хоть чем-нибудь заняться,
Судьба в сей день тебя на свет произвела,
Но не могла никак от смеха удержаться,
Взглянувши на тебя, и грусть ее прошла.

25 сентября 1799

6

Кутузов! Вот еще работа для тебя!
Пиши, бесись, ругай, и осрами . . . себя.

7 декабря 1799

77. С. И. П⟨ЛЕЩЕЕВ⟩У

В чьем сердце добродетель
Свой трон соорудила,
Кто ею согреваем,
Как братьев любит ближних,
Им предан всей душою
И счастлив их блаженством;
Чей путь в сей жизни краткой
Любовь друзей нежнейших,
Любовь супруги милой,
Взор ангельский младенца
(Залога нежной страсти)
Цветами устилают;
Кто в горестны минуты,
В минуты испытанья
Находит утешенье
В святом благотворенье, —
Тот счастлив, счастлив прямо;
Хоть проливает слезы,
В слезах его играет
Луч кроткия отрады,
В душе его источник
Блаженства, наслаждений!

П⟨лещеев⟩, здесь узнай себя!
И, зря святых небес к тебе благоволенье,
Благословляй творца в сердечном умиленье.
Чего желать еще осталось для тебя! . .

25 сентября 1799

78

В дыхании зефиров,
На крыльях благодати
Низлетит к нам весна —

Весна! Весна! Кроткая, любезная, вечно юная богиня! Весна низлетит к нам в дыхании любви отческой. Огнь любви разольется во вселенной, счастье озарит людей светлыми лучами в объятиях любви. Дух жизни — будет дух любви. Всё восторжествует, всё исполнится радости.

В врагах мы узрим братьев нежных
И в их объятиях прольем
Слезу прощенья, примиренья.

Всё принесет дань благодарности *благословляющему*, и мы в радости сердца воскликнем:

Цвети, любовь, в природе,
Будь жизнию вселенной,
Будь жизнию пылинке,
Будь жизнию богов!
Красуйся, добродетель!
С любовию сопрягшись,
Лучом ее венчайся
И радость лей в сердца.

29 ноября 1799

79

О ты, которую несчастье угнетает,
Чье сердце горестью питается одной,
Нигде, ни в чем себе отрад не обретает,
Покрыта чья душа отчаяния тьмой, —
Воззри на небеса с сердечным умиленьем,
К небесному отцу простри свой томный глас
И с пламенной слезой моли об утешеньи.
Но счастья не ищи — его здесь нет для нас,
В сем мире, где злодей, страх божий забывая,
Во злодеяниях найти блаженство мнит,
Рукою дерзкою сирот и вдов теснит,
Слезам, отчаянью, проклятьям не внимая.

1799

80. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ГЕТЕ

Свободным гением натуры вдохновленный,
Он в пламенных чертах ее изображал
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный.

10 августа 1800

81. СТИХИ А. М. С⟨ОКОВНИН⟩ОЙ

НА НЕВЕРНОСТЬ ДРУГА

Возможно ли, она (конечно, ведь не он)
Оставила тебя. Забыла!
Она, которую так нежно ты любила?
Что делать! Ветреность для многих здесь закон.
Что было мило нам, мы часто оставляем
Лишь только для того, чтоб новое найтить.
Найдем — и через час вздыхаем,
Хотим прошедшее опять поворотить,
Но ах! уж поздно, всё пропало.
Что прежде столько восхищало,
Пропало — где его искать?
Страшись хорошее на лучшее менять!
Одно с тобой перед глазами,
Другое где-то за горами;
Притом же всё вдали обманчиво для глаз;
И можно ли сравнить надежду с увереньем?
Раскаешься и сам, но будет всё не в час;
И ты останешься с одним нравоученьем!

Ах! Друга твоего неверного урон
(Он только жалок мне) ничем не наградится.
Ах! Если б знал ценить свое блаженство он,
Когда бы чувствовал, чего в тебе лишится!
Напрасно по тебе он будет слезы лить,
Ему тебя никто, никто не заменит.
Но ты, под сча́стливой рожденная звездою,
С любезной, пламенной, нежнейшею душою,
Ты друга вновь найдешь для сердца твоего,
Найдешь — и розами усыплешь путь его.
Чтоб рай вкусить, другим в сем мире неизвестный,
Рай вечно, вечно жить в душе твоей прелестной,
Он жизни для тебя своей не пощадит:
Пускай против него рок злобный ополчится —
Он с роком для тебя бестрепетно сразится
И в смертный час еще тебя благословит.

10 апреля 1801

82. ⟨В. А. ЖУКОВСКОМУ⟩

Тебе легко, мой друг, предписывать законы,
Сердиться, губу дуть, ссылаяся на оны:
Приказывать легко, но трудно исполнять.
Сие, кто служит, всяк, конечно, должен знать,
В архиве ль служит кто иль в соляной конторе,
В сенате, в армии иль в корабле на море.

1801

83. К ВЕТХОМУ ПОДДЕВИЧЕСКОМУ ДОМУ
А. Ф. В⟨ОЕЙКО⟩ВА

Сей ветхий дом, сей сад глухой —
Убежище друзей, соединенных Фебом,
Где в радости сердец клялися перед небом,
Клялись своей душой,
Запечатлев обет слезами,
Любить отечество и вечно быть друзьями.

1801

84. К ОТЕЧЕСТВУ

Сыны отечества клянутся!
И небо слышит клятву их!
О, как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, отечество святое,
Тебя любить, тебе служить —
Вот наше звание прямое!
Мы жизнию своей купить
Твое готовы благоденство.
Погибель за тебя — блаженство,
И смерть — бессмертие для нас!
Не содрогнемся в страшный час
Среди мечей на ратном поле,
Тебя, как бога, призовем,
И враг не узрит солнца боле
Иль мы, сраженные, падем —
И наша смерть благословится!

Сон вечности покроет нас;
Когда вздохнем в последний раз,
Сей вздох тебе же посвятится!..

(1802)

85

Ума ты светом озарен
И видишь бездны пред собою;
Но к ним стремишься, увлечен
Слепою, пламенной душою.
На небо скорбный вздох летит,
Ты слаб — оно тебя терзает,
В тебя отчаянье вливает
И твердым быть тебе велит.
Свободы ты постиг блаженство,
Но цепи на тебе гремят;
Любви постигнул совершенства
И пьешь с любовью вместе яд.
И ты терзаешься тоскою,
Когда другого в гроб кладешь!
Лей слезы над самим собою,
Рыдай, рыдай, что ты живешь!

2 января 1802 ввечеру

86

И в двадцать лет уж я довольно испытал!
Быть прямо сча́стливым надежду потерял,
Простился навсегда с любезнейшей мечтою
　　　　И должен лишь в прошедшем жить,
　　　　В прошедшем радость находить;
И только иногда отрадною слезою
　　　　Увядше сердце оживлять.
　　　　Невинность сердца! Утро ясно
Блаженных детских дней! Зачем ты так прекрасно,
Зачем так быстро ты? Лишь по тебе вздыхать
Осталось бедному, ты всё мое богатство!
　　　　Живи хоть в памяти моей
И каплю ба́льзама в стесненну душу влей!

21 марта 1802

87

Пусть ей несчастлив я один,
Но миллионы ей блаженны;
Отечества усердный сын,
Я прославлял ее, но, сердцем восхищенный,
Не милости искал, святую милость пев.
Не нужно правому прощенье:
Он видит в милости другое оскорбленье.
Тому ль, кто чист в душе, ужасен царский гнев?

21 марта 1802

88

Забудем здесь искать блаженства,
В юдоли горести и слез:
Там, там, на высотах небес,
Жилище блага, совершенства.
Там бедный труженик земной,
Достигнув вечного покою,
Узнает, что есть бог благой.
Но здесь, тягчим его рукою,
В нем видя грозного судью,
Как тень от горя исчезая,
Напрасно слезы проливая,
Клянет он молча жизнь свою.

21 марта 1802

89

А вы, которы в нем отраду находили,
Которые его взлелеяли, любили
И для которых он в степи благоухал,
Проститесь с ним навек! С поникшими очами
Вы будете стоять над местом, где он цвел,
Вы вспомните о нем, и, может быть, с слезами,
Но он для ваших слез опять не расцветет
И только прах один печальный здесь найдет.

21 марта 1802

90

Ты добр! Но пред тобой несчастный, угнетенный,
Невинный к небесам возносит тяжкий стон.
Злодей, и в почести, и в знатность облеченный,
Сияющий в крестах, и веру, и закон
В орудие злодейств своих преобращает.
Нет правосудия, защиты нет нигде,

Земные боги спят в беспечности...
И самый гром небес на время умолкает.
Ищи же счастья здесь, о добрый друг людей,
Ищи его себе...

1802

91. ЭЛЕГИЯ

Ainsi s'éteint tout ce qui brille
un moment sur la terre!..

I.-J. Rousseau [1]

Угрюмой Осени мертвящая рука
Уныние и мрак повсюду разливает;
Холодный, бурный ветр поля опустошает,
И грозно пенится ревущая река.
Где тени мирные доселе простирались,
Беспечной радости где песни раздавались, —
Поблекшие леса в безмолвии стоят,
Туманы стелются над долом, над холмами.

Где сосны древние задумчиво шумят
Усопших поселян над мирными гробами,
Где всё вокруг меня глубокий сон тягчит,
Лишь колокол нощной один вдали звучит,
И медленных часов при томном *удареньи*
В пустых развалинах я слышу стон глухой, —

---

[1] Так угасает всё, что мгновенно блистает на земле! *Ж.-Ж. Руссо* (франц.). — *Ред.*

На камне гробовом печальный, тихий *Гений*
Сидит в молчании, с поникшею главой;
Его прискорбная улыбка мне вещает:

«Смотри, как сохнет всё, хладеет, истлевает;
Смотри, как грозная, безжалостная *смерть*
Все ваши радости навеки поглощает!
Всё жило, всё цвело, чтоб после *умереть*!»
О ты, кого еще надежда обольщает,
Беги, беги сих мест, счастливый человек!
Но вы, несчастные, гонимые Судьбою,
Вы, кои в мире сем простилися навек
Блаженства с милою, прелестною мечтою,
В чьих горестных сердцах умолк веселья глас,
Придите — здесь еще блаженство есть для вас!
С любезною навек иль с другом *разлученный*!
Приди сюда о них в свободе размышлять.
И в самых горестях нас может утешать
Воспоминание минувших дней *блаженных*!

Ах! только им одним страдалец и живет!
Пускай счастливца мир к веселию зовет,
Но ты, во цвете лет сраженная Судьбою,
Приди, приди сюда беседовать с тоскою!

Ни юность, для других заря прекрасных дней,
Ни прелести ума, ни рай души твоей,
Которой всё вокруг тебя счастливо было, —
Ничто, ничто Судьбы жестокой не смягчило!
Как будто в сладком сне узнала счастье ты,
Проснулась — и уж нет пленительной мечты!
Напрасно вслед за ней душа твоя стремится,
Напрасно хочешь ты опять заснуть, мечтать:
Ах! тот, кого б еще хотела ты прижать
К иссохшей груди — плачь! — уж он не возвратится
Вовек! .. Здесь будешь ты оплакивать его,
Всех в жизни радостей навеки с ним лишенна.

Здесь бурной осенью Природа обнаженна
Разделит с нежностью грусть сердца твоего;

Печальный мрак ее с душой твоей сходнее,
Тебе ли радости в мирском шуму *найти*?
Один увядший лист несчастному милее,
Чем все блестящие весенние *цветы.*
И горесть сноснее в объятиях свободы!
Здесь с ним тебя ничто, ничто *не разделит:*
Здесь всё тебе о нем лишь будет *говорить.*
С улыбкой томною отцветшия Природы
Его последнюю улыбку вспомнишь *ты*;
А там, узрев цветов печальные *следы*,
Ты скажешь: где они? здесь только прах их тлеет,
И скоро бурный вихрь и самый прах развеет!
И время быстрое блаженства твоего,
И тень священная, и образ вечно милый
Воскреснут, оживут в душе твоей унылой.
Ты вспомнишь, как сама цвела в глазах его!
Как нежная рука тебя образовала
И прелестью добра тебя к добру влекла;
Как ты все радости в его любви вмещала
И радостей иных постигнуть не могла;
Как раем для тебя казалась вся вселенна...
Но жизнь обман; а ты, минутой обольщенна,
Хотела вечно жить для счастья, для него;
Хотела — гром гремит — ты видишь... гроб его!..

Что счастье? Быстрый луч сквозь мрачных туч *осенних*:
Блеснет — и только лишь несчастный в *восхищеньи*
К нему объятия и взоры устремит,
Уже сокрылось всё, чем бедный веселился;
Отрадный луч исчез, и мрак над ним сгустился,
И он, обманутый, растерзанный, стоит
И небо горестной слезою укоряет!
Так! счастья в мире нет; и кто живет — страдает!
Напрасно хочешь ты, о добрый друг людей,
Найти спокойствие внутри души твоей;
Напрасно будешь ты сей мыслью веселиться,
Что с мирной совестью твой дух не возмутится!
Пусть с доброю душой для счастья ты рожден,
Но, быв несчастными отвсюду окружен,
Но бедствий ближнего со всех сторон свидетель —
Не будет для тебя блаженством добродетель!

Как часто доброму отрада лишь в слезах,
Спокойствие в земле, а счастье в небесах! — —

Не вечно и тебе, не вечно здесь томиться!
Утешься; и туда твой взор да устремится,
Где твой смущенный дух найдет себе покой
И позабудет всё, чем он терзался прежде;
Где вера не нужна, где места нет надежде,
Где царство вечное одной любви святой!

1802

92. ⟨В. А. ЖУКОВСКОМУ⟩

Смиренный жизни путь цветами устилая,
Живи, мой милый друг, судьбу благословляя,
И ввек любимцем будь ее.
Блаженство вольности, любви, уединенья
И муз святые вдохновенья
Проникнут сладостью всё бытие твое.
А мне судьба велит за счастием гоняться,
Искать его, не находить,
Но я не буду с ней считаться,
Коль будешь ты меня любить.

1 января 1803

93. ⟨М. М. ХЕРАСКОВУ⟩

Забавный старичок, прославленный пиита,
Кому дорога к нам давно уже открыта,
Не знаю, до тебя дойдет ли речь моя;
Жаль, если не дойдет, но в том невинен я.
Смиренья должного границы преступая,
В смирении своем тебя с собой равняя,
Что «Кадма» ты сложил, прощает Фенелон, —
Но если сведает о «Полидоре» он?

11 февраля 1803

94

Мой друг! Коль мог ты заблуждаться
И с чистой, пламенной душой
Блаженством на земли ласкаться, —
Скорей простись с твоей мечтой.
С твоей сердечной простотою
Обманов жертвой будешь ты;
Узнаешь опытностью злою,
Сколь едко жало клеветы;
Всех добрых дел твоих в заплату
Злодеи очернят тебя.
Врагу ты вверишься, как брату,
И в пропасть ввергнешь сам себя.
Восстонешь, роком пораженный,
Но слез не будешь проливать;
Безмолвной скорбью отягченный,
Судьбу ты будешь проклинать;
Потухнет в сердце чувства пламень,
Погаснет жизни луч в очах,
В груди носить ты будешь камень,
И взор твой будет на гробах.

31 марта 1803

95

Уже ничем не утешает
Себя смущенный скорбью дух;
Весна природу воскрешает,
Но твой осиротевший друг
Среди смеющейся природы
Один скитается в тоске,
Напрасно ждет, лишен свободы,
Счастливой части и себе!

Не верит, кто благополучен,
Мой друг! несчастного слезам;
Но кто страдал в сей жизни сам,
Кто сам тоскою был размучен,
И, миг себя счастливым зрев,

Навеки счастия лишенный,
Судьбы жестокой терпит гнев,
И, ей на муку осужденный,
Не зрит, не зрит бедам конца, —
Тому все бедства вероятны,
Тому везде, везде понятны
В печали ноющи сердца.

25—28 июня 1803

А. С. КАЙСАРОВ

Андрей Сергеевич Кайсаров (1782—1813) происходил из родовитой, но небогатой московской дворянской семьи. Из четырех братьев, кроме Андрея, в истории русской культуры и общественной жизни были заметны Михаил Сергеевич Кайсаров — переводчик и пропагандист Стерна и Паисий Сергеевич Кайсаров — генерал, любимый адъютант Кутузова в Молдавском походе и во время Отечественной войны, партизан и герой 1812 года.

Проведя детство в патриархальной домашней обстановке, А. С. Кайсаров поступил в 1795 году в Московский университет, но по приказу Павла I, вместе с другими дворянскими юношами, должен был вступить в военную службу и был определен сержантом в Семеновский полк. В конце 1790-х годов он сблизился с Андреем Тургеневым, Мерзляковым, Жуковским. Под их влиянием увлекся литературой, занялся самообразованием, с большим трудом добившись отставки. Вместе с друзьями Кайсаров пережил бурное увлечение молодым Шиллером и литературой «бури и натиска». В 1801 году он вступил в Дружеское литературное общество и, проникшись критическим отношением к чувствительной литературе, написал нашумевшую сатиру «Свадьба Карамзина». Уже в эти годы оформилось отрицательное отношение Кайсарова к крепостному праву и политическому деспотизму.

В 1802 году он уехал вместе с Александром Тургеневым учиться в Геттинген, где в 1804 году выпустил на немецком языке исследование по славянской мифологии (русский перевод — в 1809 году), а в 1806 году защитил на латинском языке диссертацию о необходимости уничтожения крепостного права в России, в которой объявлял крестьянство самым здоровым — духовно и физически — сословием, основой будущей национальной культуры.

Серьезно занявшись под руководством А. Шлоцера изучением русской истории, он одновременно штудировал славянские языки,

профессионально интересовался сравнительным языкознанием. Совместно с Александром Тургеневым он совершил научное путешествие по маршруту: Прага — Вена — Будапешт — Загреб, тайком заехал и в турецкую Сербию, посетив Белград. По пути он собирал рукописи, фольклор, устанавливал связи с национальными деятелями, проектируя создание общеславянского научно-культурного центра. После Геттингена Кайсаров совершил поездку в Англию, где работал над русскими рукописями в Лондоне.[1]

Вернувшись в Россию, он был в 1811 году приглашен профессором русского языка и словесности в Дерптский университет.

В начале Отечественной войны, совместно с профессором Рамбахом, Кайсаров организовал походную типографию, во главе которой и был поставлен в чине майора ополчения. Издавал листовки и первую в истории русской прессы фронтовую газету «Россиянин» (на русском и немецком языках). Будучи близким к штабу Кутузова, он в период Тарутинского лагеря превратил типографию в один из важнейших центров публицистики 1812 года.

После смерти Кутузова Кайсаров не захотел оставаться на штабной службе и перешел в партизанский отряд брата. В 1813 году он погиб в битве при Гейнау. Есть сведения, что он сам взорвал себя вместе с артиллерийским обозом, чтобы склад не попал в руки неприятеля.

Стихотворения А. С. Кайсарова, собранные им самим в отдельную рукописную тетрадь, никогда при жизни автора не печатались. Рукопись сохранилась в архиве братьев Тургеневых (ПД). Отдельные тексты из нее были опубликованы в работе: А. Фомин, Андрей Сергеевич Кайсаров. — «Русский библиофил», 1912, № 4, с. 23.

96. ⟨А. И. ТУРГЕНЕВУ⟩

О ты, которого так много я любил,
Кого любезнее, всего милее чтил,
Чья дружба кроткая мне счастье доставляла
И в одиноку грудь отраду мне вливала,
Кем бывши я любим, о счастье не мечтал,

[1] Распространенные в биографической литературе сведения о получении им степени доктора медицины в Эдинбургском университете (он уже был доктором философии в Геттингене) и избрании почетным гражданином г. Думфиса, видимо, апокрифичны — английские источники их не подтверждают.

Всё счастие мое в тебе одном вмещал, —
С тобою должен я, мой милый друг, расстаться!
Счастливым можно ли ввек смертному остаться?!
И мне назначено суровою судьбой
Далёко от тебя вести в тоске век свой!

4 ноября 1801

97. СТАРИННАЯ ПЕСНЬ ДЛЯ НОВОМОДНОГО АЛЬБОМА

Старички почтенной древности,
Наши дедушки и бабушки!
Ах! Когда б хоть на часок один
Вы в святую Русь явилися!
Что б за странности увидели,
Как чудесят ваши правнуки,
Как бы вы, всплеснув обеими,
Взвыли громким, горьким голосом:
«Ах ты свет наша святая Русь!
Как совсем ты перковеркалась!
Басурманские обычаи
Приняла земля крещеная!
Не одни фаты и фартуки,
Телогреи с сарафанами,
Не одни кафтаны русские
И горлатны черны шапочки
Бросили они, беспутные!
Нет в них сердца, нету русского,
Нет родного, нет ни кровного,
Нет ни дружбы, ни любови в них!
Ах, бывало, девка молодцу
Скажет: «Ваня, я люблю тебя!» —
Молодец уж не кручинится:
Девка рада хоть во гроб за ним!
А зато ведь уж и парень-то
Девку любит верой, правдою,
Из огня и изо полымя
Выхватит свою лебедушку!
А теперь уж всё по-новому —
Малый бесом рассыпается,
А на думе всё непутное:

Сломит розу, — да и был таков!
Девка плачет, надрывается,
Коротает свою молодость,
А бездушный насмехается:
«Ну, вольно было ей верить мне!»
В старину, бывало, друга нет —
Сердце ноет, сокрушается,
Тяжело быть в одиночестве!
Свет не мил без друга милого!
А зато как уж найдет его,
Вдвое солнышко прекраснее,
Вдвое птички веселей поют,
И цветочки, и муравушка —
Как-то всё уж не по-прежнему!
И в печали, и в веселии
Делишь сердце с другом надвое.
А теперь уж и по крошечке
Сердца для друзей не станется;
Их считают не десятками,
А всё сотнями и тысячми.
Если деньги — и друзей тогда толпа,
Есть веселости — как мухи к меду льнут,
А приди злодей-невзгодушка — тогда
Все рассыпятся, и след друзьям простыл.
Ах! Бывало, друга милого
Имя на сердце написано,
А теперь — ну как запомнить всех?
Поголовную им перепись,
Надо им приход, расход вести.
О! Беспутные вы вну́чаты!
Ведь на то-то вам альбаумы
Басурмане ввозят кучами!
Уж хотя бы вы в альбаумах,
Как, бывало, мы в часовниках,
Доброму чему училися;
Но и этой нету радости
Вашим дедушкам и бабушкам.
Ах ты свет наша святая Русь!
Как совсем ты перковеркалась!»
Старички почтенной древности,
Наши бабушки и дедушки!

Вы утрите слезы горькие,
Вам слезами не исправить нас!
Ах! И я, ваш внук почтительный,
Должен вместе за толпой идти!
Мне Всемила написать велит
Что-нибудь в ее альбауме.
Как обычая идти не вслед?
Как Всемилы не послушаться?
Вот, Всемила, тебе песенка
Старомодная, не новая.
Если будешь ты когда-нибудь
В книжке листики рассматривать,
Если очередь меня дойдет,
Ах! Прочти тогда и мой листок!
Поневоле тогда вспомнишь ты,
Что и я когда-то в свете жил.
Может быть, тогда, задумавшись,
Скажешь тихо: «Он любил меня!
А любить ведь не грешно ничуть,
Сам небесный царь любить велит.
Он любил меня душою всей,
Рад был жизнью мне пожертвовать.
Этот листик написал он мне
В самый день мово рождения,
Хоть далёко он отсюда был,
Но душа его со мной была.
Он желал мне счастья, радостей,
Он желал мне ввек веселой быть,
Чтоб здоровье разливалося
По всем жилкам и составчикам;
Чтоб я в вечной цвела младости
Гордо, пышно — словно маков цвет!
Чтоб смеялась людским глупостям,
Пересудам их и зависти,
Чтоб я шла своей тропинкою,
Чтобы сердца всегда слушала —
Сердце злому не научит нас,
Он желал мне — ввек Всемилой быть!»

22 сентября 1809

98. ИЗЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ ПРИКАЗНОГО

Понеже в справках предъявилось
И самый суд определил,
Чтоб сердце бедно покорилось
И Асмодей тебя любил;

Понеже, взявши в уваженье
Судеб жестоких приговор
И рассмотрев определенье,
Которое скрепил тот вор,

Что славится здесь Купидоном,
Лишь каверзы одни творит
И в уголовном свете оном
Делами всякими кутит;

Понеже в день созданья света
Указ верховный состоял,
На коем значится отмета:
«Любовь чтоб каждый испытал!»

Понеже сердца в уложеньи
Параграф первый то ж гласит,
Что должен по узаконенью
И даже Асмодей любить!

Причин сих ради приказали
Любовь мне милой объявить
И декларацью предписали
Самой Пленире сообщить.

Законов в силу поступая,
Сим ведать я тебе даю,
Чтоб, под сукно не отлагая,
Решила ты судьбу мою.

Чтоб сердце ты благоволила,
Законно справив, отказать
Иль приговором положила
С меня закла́дную в нем взять;

Чтоб завтраками не кормила,
Сказала скоро мне ответ, —
Понеже знай, тиранка мила:
Сухая ложка рот дерет!

1809

99. ПЕРЕВОД ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕСНИ

Бедное сердце, терзайся!
На́век, надежда, прости!
Кем я одним лишь дышала,
К гробу тот кажет мне путь!

Кто обо мне пожалеет?
Слезку уронит ли кто?
Если друг сердца изменит,
В ком нам отрады искать?

Почто ж не отнял ты жизни?
На что мне жизнь без тебя?
Или, ты думаешь, можно
Сердцу без друга дышать?

Слушай последнюю клятву,
Милый изменник души!
Верной останусь до гроба!
Буду за гробом любить!

1809

100. ПРОСТИ САРАТОВУ

Итак, готово всё? Никита! Шубу мне!
Уж это говорю я въявь, а не во сне.
Пора, брат, со двора! Пора в Рязань пуститься,
Поплакав, потужив, с Саратовым проститься.
Не вечно ведь, дружок, и маслице коту,
Бывает иногда великий пост в году.

Итак, поедем же! — но нет, не торопися:
Я с благородными, ты с чернию простися!
«Прости, полдюжина почтеннейших мужей,
Плюмажем скрывшая ослину стать ушей!
Кто солью, кто вином по силам управляя,
Ни соли, ни вина отнюдь не презирая,
Не брезгаете вы, чтоб ими провонять:
И солью, и вином ведь можно дом собрать!
Пускай глупцов толпа вам вечно повторяет,
Что вора, как огня, всяк честный убегает,
Но вы не слушайте: всё это лишь пустяк!
Будь вор — так ты богат, будь честен — ты бедняк!

Прости, почтеннейший эльтонский обладатель,
Веселий и пиров князьям изобретатель!
Ползи тропинкою, которою ты полз:
В столице кланяйся, а здесь ты вздерни нос;
То гостю милому красотку подставляя,
Министра жадного то деньгами ссужая,
Ты чудо новое пред светом уж явил
И самую чуму геройски победил.
Когда заслугами ты станешь так блистать,
Нетрудно и тебе в сенаторы попасть.
Не всяк одним путем мог счастия добиться,
А честью ведь нельзя так скоро дослужиться.
Юноне чванствами и гордостью подобной,
С Венерою одной кокетствами лишь сходной,
Пожалуй, от меня супруге поклонись
И поученьице сказать ей потрудись:
Когда по случаю вперед ей доведется,
Что милою она турчанкой уберется,
Для талии стянув к несчастью толсто брюхо,
Поедет в маскерад, шепнула бы на ухо
Тебе, что нынешний нарядный туалет
Потребует подчас и целый факультет;
Чтоб были под рукой и сонный Андреевский,
И сладкий Реингольм — искусный врач немецкий,
Чтоб, если дурнота случится ей на пире,
Ей помощь обрести по крайности в клистире.

Прости ты, сборщица и куриц, и гусей,
И волжских осетров, и волжских стерлядей!

Как курочка живет, по зернышку клюя,
Так длится взятками жизнь жадная твоя.
Собою публику усердно забавляя,
То образ знаменья руками представляя,
То в польском плавая линейным кораблем,
То поступью своей равняясь с журавлем,
Повсюду кошечьи ты взоры обращай,
Во всяком уголке супруга открывай,
Остри ты языка убийственное жало,
Что в злобных женщинах опаснее кинжала;
Как будешь ты и впредь с такою пользой жить,
Нетрудно и тебе у фурий хлеб отбить!

Прости, жеманная ты кралечка виннова,
С супругом в парике, с валетиком бубновым!
Назвав тебя Любовь, сыграл родитель шутку,
Так точно, как бы я назвал павлином утку!
Коль должно бы мне вас к растеньям применить,
Позволь его с репьем, тебя с грибом сравнить!

Прости, горластая румяная девица,
В чиханье первая меж нами мастерица!
К спасению души и тела к облегченью
Желаю жениха я вашему смиренью.

Прости, седой глупец, отец и муж, прости!
Знать, счастью твоему в степях сих не цвести!
И деньги, и жену на двойку ты поставив,
Весь город о себе три дни болтать заставив,
Побоями скончал саратовский свой век
И тем нам доказал: всяк ложь есть человек!

Прости, брат Александр! И жить ты научися:
Не силою своей — душою ты гордися,
Будь добр, как ты теперь, будь ласков и учтив,
Ты денег не люби — и будешь век счастлив!
Прости, Нептунов сын! Друг нежный и смиренный,
Имей к добру всегда ты сердце откровенно,
Коль чувства ты свои так чисты сбережешь,
Ты друга и среди степей себе найдешь.
Чувствительности часть бывает часто слезна,
Глупец ее бранит, но всё она любезна!

Ты часто в скорбный час мне муки услаждал,
И чувств унылых жизнь ты снова воскрешал!
Прости, старинных слов искусный открыватель
И женщин миленьких усердный обожатель!
Пусть будешь ты любим, как милых ты любил,
При смерти бы сказал: «Я счастлив в жизни был!»

Прости, любезная и кроткая Всемила,
Которую судьба так щедро наградила!
Умом и прелестью, и сердцем одарить —
Всё это лишь в одной Всемиле поместить
Когда, судьба, тебе так кстати показалось,
Дай, чтоб достоинствам и счастие равнялось!
Прощай, Николенька! Алешенька, прости!
Пусть будет ангел вас невинности пасти!
Старайтесь маменьке во всем вы быть подобны,
Так точно, как она, быть милы и незлобны;
Когда же будете вы внятно говорить,
Когда возможете чувств силу изъяснить,
Скажите, чтоб она здоровье берегла
И, коль не для себя, для вас чтобы жила!

Простите, все друзья! Ах, может, навсегда,
Быть может, нам не быть уж вместе никогда!
Жизнь только миг, цвет сельный человек,
Пройдет лишь ветра дух — и скроется навек!»
Никита! Но когда никто не воздохнет
И барина твово слезинкой не почтет?
Тогда... Но колокол у врат моих звенит —
Пусть тройка удалых от горя нас умчит!

22 ноября 1810

С. Е. РОДЗЯНКО

Жизнь Семена Емельяновича Родзянко (1782—1808?) была коротка, так же, как и его литературное поприще. В 1798 году в брошюре «Речь, разговор и стихи, читанные в публичном акте, бывшем в Благородном университетском пансионе декабря 22 дня 1798 г.» было опубликовано стихотворение «воспитанника Семена Родзянко» «Любовь к отечеству», а уже около 1802 года у него начали замечать бесспорные признаки безумия. И тем не менее поэтическая картина эпохи будет неполной без его имени. Родзянко более чем кто-либо другой может быть назван поэтом университетского пансиона в том виде, в каком это учебное заведение сложилось на рубеже XVIII—XIX веков. Не случайно стихи его были постоянным спутником пансионских торжественных актов в 1798—1800 годах.

Сблизившись с Андреем Тургеневым, Мерзляковым и Жуковским, он вошел в Дружеское литературное общество, однако в нем оказался одиноким: он единственный выделялся религиозностью и интересом к духовным поискам именно в этой области. Андрей Кайсаров почти с недоумением писал Андрею Тургеневу: «Как бы ты думал, о чем мне случилось говорить с Родзянкою? О боге. Он много в⟨ерит⟩, и поэтому он не нашего поля ягода». [1]

Меланхолия, одиночество, напряженные размышления, глубокая травмированность обстановкой павловского царствования наложили неизгладимые следы на характер Родзянко и ускорили ход болезни.

Стихи его никогда не были собраны отдельным изданием.

---

[1] Ю. М. Лотман, А. С. Кайсаров и общественно-литературная борьба его времени. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 63, Тарту, 1958, с. 60.

101. К БОГУ

Всезрящий в Тройце бог, с высот неизмеримых
Благодарению души моей внимай
И чувство, мысль мою, тобою тамо зримы,
Ты духом просвети, путь правый обновляй!
Отец, и сын, и дух, неслитный, нераздельный,
Когда всеблагостью из ада мир исторг,
Рекли: «Спасение!» Склонился свод небесный,
И в воле тройческой единый познан бог.
Кто, кто из христиан глас к небу простирает
И помощи горе́ не чает обрести?
Червя и тленный злак всесильный назирает:
О бозе укрепись — и льзя стену прейти.

1800

А. Ф. ВОЕЙКОВ

Александр Федорович Воейков родился в Москве 30 августа 1779 года (по другим сведениям — 1778) в богатой и родовитой дворянской семье. С 1791 по 1796 год учился в Московском университетском пансионе, где сблизился с братьями Тургеневыми и В. А. Жуковским. С 1796 по 1801 год Воейков с некоторыми перерывами служил в конной гвардии, и тогда же стали появляться его первые стихи «Осень», «К живописцу» в «Приятном и полезном препровождении времени» и других изданиях.

В 1801 году, выйдя в отставку, Воейков поселился в Москве и стал активным участником Дружеского литературного общества. Собрания Общества некоторое время происходили в доме Воейкова на Девичьем поле. Воейков, как свидетельствует его речь, сохранившаяся в архиве братьев Тургеневых,[1] был настроен тогда если не радикально, то во всяком случае тираноборчески, живо интересовался политикой и ратовал за гражданскую справедливость. Литературой он продолжал заниматься, печатал иногда свои стихи в «Вестнике Европы», «Трудах Общества любителей российской словесности» и других изданиях, переводил из Вольтера, Вергилия и особенно много из Делиля.

В 1812 году, записанный в ополчение, Воейков был причастен к литературному кружку Тарутинского лагеря (штаб Кутузова) и, по некоторым сведениям, принимал участие в партизанской войне.

В 1814 году он женился на младшей из сестер Протасовых — Александре Андреевне, воспетой Жуковским под именем «Светланы». Воейков был в это время в зените своей литературной славы: злые и меткие характеристики Магницкого, Рунича, Красовского и

[1] См.: Ю. М. Лотман, А. С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 63, с. 29.

других придали его «Дому сумасшедших» характер смелой политической сатиры. [1]

В 1815 году семья Воейкова вместе с сестрой его жены М. А. Протасовой (в которую был влюблен Жуковский) и их матерью Е. А. Протасовой переселилась в Дерпт, где Жуковский выхлопотал для Воейкова кафедру в университете. [2]

В годы дерптской жизни Воейков, кроме переводов из Делиля (в 1816 году вышел отдельным изданием его вольный перевод поэмы «Сады»), написал еще несколько посланий и отрывков из дидактической поэмы «Науки и искусства».

Профессорская деятельность Воейкова оказалась неудачной. В 1820 году он был отставлен от должности и вернулся в Петербург. Друзья — В. А. Жуковский и А. И. Тургенев — снова устраивают его в Петербурге преподавателем русской словесности и соредактором в «Сыне отечества» Н. И. Греча. Здесь в 1821—1822 годах Воейков ведет отдел критики и печатает свои произведения. [3]

На вечерах в доме Воейковых в это время собирались Карамзин, Батюшков, Крылов, Гнедич, Вяземский, постоянным гостем был А. И. Тургенев, горячо привязавшийся к А. А. Воейковой и ее детям; неизменным другом дома был В. А. Жуковский; И. Козлов, Н. Языков, Баратынский считали вдохновительницей своей лиры А. А. Воейкову, снискавшую уважение и любовь всего петербургского литературного мира.

В 1822 году Воейков получил в аренду «Русский инвалид» и стал редактором «Новостей литературы». Благодаря дружеским связям, он сумел привлечь к сотрудничеству лучшие литературные силы. В «Новостях» в 1822—1826 годах печатались Пушкин, Жуковский, Вяземский, Дельвиг, Рылеев. Сам Воейков поместил в них переводы из Делиля, Вергилия, несколько оригинальных стихотворений и описательную прозу «Из записок одного русского путешественника». Сотрудничал Воейков в «Полярной звезде» и в «Соревнователе просвещения и благотворения».

С 1827 по 1830 год выходил журнал «Славянин», в котором,

---

[1] Возможно, этим и объясняется тот факт, что современники явно переоценили тогда литературную одаренность автора, произнося его имя рядом с именами Жуковского и Батюшкова.

[2] О тяжелой домашней обстановке, сложившейся в этой семье из-за неуравновешенного характера А. Ф. Воейкова, см. обширные материалы из архива А. А. Воейковой в кн.: Н. В. Соловьев, История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана», тт. 1, 2, Пгр., 1915—1916.

[3] См.: Н. И. Греч, Записки моей жизни, М.—Л., 1930, с. 642—648.

кроме Б. Федорова, Олина, Карлгофа, Глебова и других, печатались также Жуковский, Баратынский, Вяземский. За публикацию в первом номере этого журнала за 1830 год стихотворения Вяземского «Цензор», где в завуалированной форме высмеивался бывший министр народного просвещения А. Н. Голицын, Воейков был посажен на гауптвахту. Позволяя себе смелые выпады против высокопоставленных особ, Воейков имел частые неприятности с цензурой. Вместе с тем он не отличался принципиальностью ни в идеологической позиции, ни в литературных спорах, ни по отношению к друзьям.

После смерти А. А. Воейковой, скончавшейся от чахотки в Ницце в феврале 1828 года, связи Воейкова с прежними друзьями его молодости почти прекратились. Однако в доме Воейкова на Шестилавочной (ныне ул. Маяковского) по пятницам собиралось литературное общество, где бывали самые разные литераторы, начиная от малоизвестных сотрудников Воейкова по «Славянину» и кончая И. А. Крыловым.

Умер Воейков в Петербурге 16 июля 1839 года.

Сочинения А. Ф. Воейкова ни разу не были собраны.

102. САТИРА К С⟨ПЕРАНСКОМУ⟩
ОБ ИСТИННОМ БЛАГОРОДСТВЕ

С⟨перанский⟩, друг людей, полезный гражданин,
Великий человек, хотя не дворянин!
Ты славно победил людей несправедливость,
Собою посрамил и барство и кичливость.
Ты свой возвысил род; твой герб, твои чины
И слава — собственно тобой сотворены;
Твои после тебя наследуют потомки
Любовь к отечеству — не титлы только громки.
Однако же нельзя дворянство вздором счесть,
Когда, с заслугами соединяя честь,
Почтенный дворянин, блистая орденами,
Быть хочет так, как ты, полезен нам делами.
Дворянство помнит он лишь только для того,
Чтобы достойным быть отличия сего;
Заслуги праотцев своими умножает —
И честь их имени еще светлей сияет!

Напротив, не могу я вытерпеть никак,
Чтобы воспитанный французами дурак

Чужим достоинством бесстыдно украшался
И предков титлами пред светом величался.
Пусть праотцев его сияет похвала,
Пускай в истории бессмертны их дела,
Пускай монархи им за верное служенье
Пожаловали герб, дипломы в награжденье, —
Гербы и грамоты в глазах честны́х людей
Гнилой пергамент, пыль, объедки от червей,
Коль, предков славные являя нам деянья,
В их внуке не возжгут к честям поревнованья;
Когда без славных дел, тщеславием набит,
Потомок глупый их в презренной неге спит,
А между тем сей князь, боярин этот гордый,
Надутый древнею высокою породой,
Глядит, как будто он нас царством подарил
И бог не из одной нас глины сотворил;
Как будто с Минихом делил труды и славу
Или с Суворовым взял гордую Варшаву.
Неужли вечно мне глупца сего щадить?
Однажды навсегда хочу его спросить:
Скажи, о дивный муж, отличное творенье!
Какие у людей животные в почтенье?
Мы дорого цени́м ретивого коня
За то, что статен он, горяч, как пыл огня;
За то, что никогда в бегу не утомлялся
И на ристалище стократно отличался;
Но будь Алфанов он или Баярдов внук,
Да кляча по себе, — тотчас сбывают с рук:
Прощай почтение и к племени, и к роду!
На нем таща́т дрова или привозят воду.
Зачем же хочешь ты слепить нас мишурой?
Родня великим ты — примеры пред тобой:
Румянцев и Орлов — среди громовых звуков;
В посольстве — князь Репнин, в сенате — Долгоруков;
Спаситель Еропкин от язвы, от врагов;
Любители наук — Шувалов, Муравьев;
Херасков — наш Гомер, воспевший древни брани,
России торжество, падение Казани;
Поэтов красота, вельможей образец,
Державин — славных битв, любви, богов певец:
Он движет в нас сердца, златые движа струны;

Он нежен, как любовь, и звучен, как перуны.
К заслугам и честям премножество дорог!
Наследник бабушкин и маменькин сынок,
Не на одних словах — будь барин самым делом;
Великих сих мужей поставь себе примером:
Будь честен, как они, — и княжеством хвались;
Полезен обществу — и предками гордись;
Пусть бабушка твоя от крови будет царской,
А прародителем князь Курбский иль Пожарский,
Хоть ты не внучек их, но можешь внучком слыть, —
Кто смеет Минина породой укорить?
Но знай, что кто в деда́х считает Геркулеса,
Не должен быть ни трус, ни глупая повеса.
Но ты не внемлешь мне! — ты вечное пятно,
Бесчестье праотцев. Я вижу то одно,
Что ты дурак, подлец, бездельник благородный,
От корня доброго гнилой сучок, негодный...

Остановись, мой дух, в досаде на бояр,
Ты слишком далеко простер сердечный жар!
Со знатным будь всегда учтивее, скромнее,
Смягчи же грубый глас, спроси его нежнее:
«Как древность рода вы изволите считать?»
— «О! я за триста лет могу вам доказать,
И доказательство так ясно и бесспорно:
Дипломы, грамоты!..» — «Помилуйте, довольно!»
А кто поручится, коль сметь у вас спросить,
Что не изволили прабабушки шалить
Над знаменитыми своих супругов лбами,
Простонародными украся их рогами?
И не было ли встарь проворных молодцов,
Которые у сих почтенных старичков
Чистейшей крови ток в теченьи возмутили?
Иль ваши праотцы других счастливей были
И в длинный ряд веков, на грешной сей земли,
В родство с Лаисами ни разу не вошли?..
Притом, как русскому, вам должно быть известно,
Что местничество здесь нимало не совместно;
Под скиптром благости для всех права даны:
Полезные сыны отечеству равны,
И самый древний род, богатое наследство
Не есть отличное для службы царской средство.

Но если как-нибудь, ошибкой или так,
И выйдет в знатный чин ленивец и дурак,
Почтения к нему нимало не прибудет —
Он из простых глупцов глупцом чиновным будет.

Отечество мое! ты будешь ввек цвести;
Для всех сынов твоих отверстые пути
К победе на бою, к трофеям после боя!
Из бедного слуги соделал *Петр* героя,
Который не родством, а сам собой блистал —
И выбор мудрого заслугой оправдал.

Пускай же мальчики болтают и танцуют,
Потомки воинов всю жизнь провальсируют;
Пусть эти гордецы, без чести, без заслуг,
Стараются набрать толпу большую слуг,
Лакеев отличать ливрейными цветами
И с ног до головы обшить их галунами —
Невежде нужно быть отличну от людей
Кафтанов пестротой и статью лошадей;
Но горькие плоды их старость ожидают,
Презрение и смех на бал сопровождают.
Меж тем, С⟨перанский⟩, ты, трудясь, как муравей,
Чин знатный заслужил прилежностью своей;
Твоею доблестью отечество гордится:
Осмелится ль с тобой дворянский сын сравниться,
Который газы лишь и фейерверки жжет
Или на псарне жизнь прекрасную ведет?
С⟨перанский⟩, ты наук, словесности любитель,
От сильных слабому покров и защититель;
Ты духом дворянин! трудися, продолжай,
Вослед за Сюллием, за Ко́льбертом ступай;
Не орденской звездой — сияй ты нам делами;
Превосходи других душою — не чинами;
Монарху славному со славою служи;
Добром и пользою вселенной докажи,
Что *Александр* к делам людей избрать умеет
И ревностных сынов отечество имеет.

⟨*1806*⟩

103. К МОЕМУ СТАРОСТЕ

Отечества, семьи и барина кормилец,
Брадатый староста, безграмотный мудрец,
В повиновении, в убожестве счастливец,
С тобой поговорить мне должно наконец!
Дивишься ты, что я, и праздный, и богатый,
И независимый, ропщу на жребий свой,
Тогда как ты, блажен средь дымной, низкой хаты,
Не ропщешь на судьбу и весел над сохой.
Ты веруешь в душе, что стужа, зной, работы
Здоро́вей праздности; что барин должен знать
Одних лишь рысаков да псов своей охоты
И, как придверный пес, жиреть, лениться, спать.

Мой друг! ты белый свет и город знаешь худо!
Одним покроем ввек шьешь длинный свой сермяк!
Когда б хоть на два дни с тобой рок сделал чудо,
Обривши бороду, надев короткий фрак,
В один карман вложил предлинные экстракты
Из крючкотворных дел, в другой карман часы,
Грусть, скуку поверять; дал в руки мел и карты
И два хохла на лбу поставил для красы;
Когда бы Кривотолк по силе уложенья,
По силе грамоты о вольности дворян
Хватайке отсудил часть твоего именья
В противность истине, в противность всем правам;
Когда бы родственник к тебе из сожаленья
Проворно схоронил в свой родственный карман,
В сей ненасытный гроб монет, твои алтыны;
Когда бы друг тебя наверну обыграл, —
Скажи, увидевши столь нежные картины,
Как ты о счастии моем бы думать стал?
Прибавь же к этому всех большее несчастье —
Зреть торжествующим неистовый разврат,
В судьбе обманутых живое брать участье
И видеть совести с фортуною разлад;
С грабителем казны изобличенным вместе
Быть в лучшем обществе, в почетнейших домах,
С злодеем, коего давно на лобном месте
Нам видеть надо бы у палача в руках;

Смотреть, как делатель фальшивыя монеты
Для света целого дает богатый пир;
Педанта Ко́лбертом зовут в стихах поэты
И как разбойника признал владыкой мир —
Тогда бы ты сказал, спеша под кров домашний:
«Я лучше соглашусь взрыть целый огород,
Простую воду пить, вкушать простые брашны
И в хижине своей укрыться от хлопот!
Ах! я не ведал бы в объятиях семейства,
Кому судьба людей в градах поручена,
Где всё на откупу, и самые злодейства,
Где всё продажное: и совесть, и жена!
Там не видал бы я людей в крестах без веры,
Без чести в почестях, в почтеньи без заслуг,
За деньги вышедших в дворяне, в офицеры
Из целовальников, из самых подлых слуг!
В селе не знал бы я, что даже в храмах веры
С смиренной харею, с двуличною душей,
Во всеуслышанье вздыхая, лицемеры
Смышляют обмануть и бога, и людей!»
Но если б сверх того ты, сделавшись поэтом
За тяжкие своих родителей грехи,
Любил читать, читать, читать пред целым светом
Посланья, басенки, водя́ные стихи,
Где и без «абие» слов много бестолковых, —
Любил, и трепетал, чтоб ваксы и сельдей
Купец не обернул сатирою твоей;
Чтобы поэма в честь, во славу дел Петровых
На полке не сгнила — кус лакомый червей!
Чтобы мессии в честь, настроя громку лиру,
С Сурми́ным Клопштоку дерзнув идти вослед,
Не написать, как он, на здравый смысл сатиру
И в сумасшедших дом в жару не залететь, —
Тогда бы ты узнал, что тяжело поэту
И русские стихи порядочно писать,
Что надо быть, как я, бессовестну, чтоб свету
Свой жалкий бред в стихах французских предлагать.
О ты! который жил всегда со всеми в мире,
Который никого в свой век не проклинал,

Ты проклял бы и жизнь, и страсть играть на лире
И Феба с музами в ад к дьяволу б послал!

Теперь, мой друг! сравни, сообрази прилежно
Быт барский хлопотный и тихий свой удел.
Ты жизнь ведешь умно, спокойно, безмятежно,
В крестьянстве быть всегда свободным ты умел;
А я! .. о, верная примета сумасбродства! —
Свободный званием, но в самом деле раб,
Раб честолюбия, раб страсти стихотворства,
Я жадности писать сопротивляться слаб!
Свобода не одно с испорченною волей —
Поверь: бедняк, как ты, стократно веселей,
Стократ довольнее своей смиренной долей,
Чем сонм философов, вельмож и богачей.
Поверь... и Греция, и Рим тебе порукой,
Сии невольники — Эзоп и Эпиктет...
Ах! я забыл, что ты не просвещен наукой,
Что незнаком тебе республик древних свет...
Но ты и в этом прав: с простым и добрым сердцем
И с маленьким умом, довольным про себя,
Как я желал бы быть таким, как ты, младенцем!
Как рад бы я прийти учиться у тебя!
Не зная римских прав, живешь в ладу с соседом;
Без математики ты знаешь свой рубеж
И, веры праотцев не искажая бредом,
Постишься, молишься и тихо крест несешь.
Не спрашиваешь ты Жан-Жака и Платона,
Как целомудренно жену свою лобзать;
Умеешь выполнить свой долг без Цицерона;
Готов последний грош убогому отдать.
Ты трезв, трудолюбив, спишь на пуку соломы;
Работе, отдыху — всему урочный час;
С французской кухнею, с шампанским незнакомый,
Ешь кашу русскую, пьешь в будни русский квас,
А в праздник русское, а не заморско пиво.
Зато и в пятьдесят ты бодр, румян в тягле,
Зато вспахать тебе полнивы в день не диво;
Зато не думаешь еще об костыле;
Зато, мать судорог и дочь невоздержанья,
Подагра твоего не посетит одра.
Она пойдет искать великолепна зданья

И ложа пышного, на коем доктора,
Мигрени, колики и спазмы испытуют
Терпенье богача; где совести укор
И веры тайный глас впервые торжествуют
И где наследников веселых полон двор.
Тогда как ты, простяк, без страха, без томленья,
С живою верою к могиле подойдешь
И, дальний, трудный путь сверша, до воскресенья
Простясь с домашними, приляжешь и заснешь!
А мы... безумные с науками... но полно!
Не всё, что нá сердце лежит, пересказать!
И так я час болтал без умолку, довольно!
Мне время рифмы плесть — тебе пора пахать!

1807

104. К МЕРЗЛЯКОВУ

ПРИЗЫВАНИЕ В ДЕРЕВНЮ

Поэт, воскресивший нам
Вергилия древнего,
Дающий и правила
И вместе примеры к ним!
Оставь город суетный,
Столицу рассеянья,
В деревню, в деревню к нам
Укройся от грозных бурь,
Под сень рощи липовой,
Где ждет соловей тебя,
Соперник твой в пении.
Тебе ли жить в городе,
Тогда как в природе всё
Цветет, улыбается?
И чем утешать себя
Среди толпы праздныя,
Где многих занятие
Злословие ближнего;
Где скука роскошная
Зевает от праздности;
Где спит в пресыщении
Богатство ленивое;
Все радости скучные,
Веселости вредные,

Все ласки притворные,
Объятья холодные;
Где голос любви самой
Едва-едва слышится
И где честолюбие
В одних детских мелочах?
Смотри, как в садах у вас
Деревья бесплодные,
Железом обстрижены,
Искусством подровнены,
Стоят как невольники,
Едва-едва изредка
Листом одеваются,
Едва-едва могут лишь
Пускать ростки слабые;
Сравни их с высокими
Дубами, растущими
Среди леса дикого:
Смотри, как подъемлются
Главы их высокие;
Смотри, расстилаются
Власы их кудрявые,
Играючи с бурями;
Их корни внутри земли,
Вершины за облаком;
Их свойство — величие,
Удел — независимость.
Сравни: вот подобие
И жителя градского
И жителя сельского,
Их сходство, различие!
О, верь мне, что в городе
И слава вседневная
Есть гроб славы истинной.
Писатель, желая льстить
И нравиться публике,
Блистая мгновение,
Теряет бессмертие
И жертвует сам собой
Воздушному призраку.
Поэты великие,
Вольтеры, Горации,

Любили беседовать
С природою-матерью.
Среди гор заоблачных
И в царстве зимы седой,
Где ветры свирепствуют,
Гремят громы грозные,
Ревут воды ярые,
Свергаяся в пропасти,
В долинах Швейцарии,
Цветистых, муравчатых,
В прелестнейшем сумраке
Дерев сенолиственных,
Близ хижины Дафниса,
Близ стада Розалии
Певал певец Авеля.
На грозной, крутой скале,
На волны нагнувшейся,
Любил Демосфен сидеть,
Любил смотреть издали
На море пустынное,
Любил он прислушивать,
Как волны колышутся;
Обдумывал с гением
Те речи бессмертные,
В которых он пережил
Афины и Грецию.
Под сводом густых аллей
Любил Буало бродить,
Искать рифмы звучные,
Творить стихи сладкие.
Приди к нам, любезный друг,
Встречать лето красное!
Ты книг не бери с собой:
Здесь книга великая
Природы открыта нам;
В деревне не надобно
Цветов остроумия, —
Здесь сердце лишь надобно.
Друзья твои ждут тебя,
В объятья отверстые
Готовы прижать тебя!
Приди разделить с нами

Не яства сахáрные,
Не вина заморские,
Но русский обед простой,
Приправленный ласкою
Хозяйки приветливой
И дальней прогулкою.
У нас не найдешь, мой друг,
Ни злата, ни мраморов
Под кровом соломенным;
Зато ты у нас найдешь,
Чего нет давно уже
В больших городах у вас —
Сердца откровенные,
Свободу беспечную,
Веселость игривую.
И что пчеле надобно?
Цветы и убежище!

⟨1810⟩

105. К ОТЕЧЕСТВУ

О русская земля, благословенна небом!
Мать бранных скифов, мать воинственных славян!
Юг, запад и восток питающая хлебом, —
Коль выспренний удел тебе судьбою дан!
Твой климат, хлад и мраз, для всех других столь грозный,
Иноплеменников изнеженных мертвит,
Но крепку росса грудь питает и крепит.
Твои растения не мирты — дýбы, сосны;
Не злато, не сребро — железо твой металл,
Из коего куем мы плуги искривленны
И то оружие, с которым сын твой стал
Освободителем Европы и вселенны.
Не производишь ты алмазов, жемчугов:
Седой гранит, кремень — твой драгоценный камень,
В которых заключен струей текущий пламень,
Как пламень мужества в сердцах твоих сынов.

О русская земля! ты ввек не производишь
Ни тигров яростных, ни алчных крови львов,
Ни злых крамольников, страшнейших тех чудовищ.

Нет, матерь! не твоей утробою рожден
Сей лютый крокодил, короны похититель,
Чертогов, алтарей, престолов сокрушитель,
Не уважающий законов естества,
Враг человечества, враг дерзкий божества,
Которого рука полмира оковала
И угрожать тебе неволею дерзала,
Которого алчбе подлунный тесен круг!
Твой росс есть ада враг, твой росс есть неба друг!
Великосердая решительница споров
Меж царствами земли! тобой рожден Суворов,
Петр — диво, *Александр* — краса земных владык,
И Задунайский вождь, и Крымский, и Чесменский,
И громом свергший в ад денницу князь Смоленский.

О, да прильпнет навек к гортани мой язык,
Десная пусть рука моя меня забудет,
Когда не ты, не честь твоя и слава будет
Восторгов, хвал моих единственный предмет!
О русская земля, отечество героев!
С благоговением тебе дивится свет.
Не драгоценностей ты ищешь среди боев,
Не царства, не града прияла мздой побед,
Но благодарность лишь единую стяжала
И, лавроносная! едино удержала
Из прав, присвоенных над слабыми мечом,
Лишь право быть царям и царствам образцом
Великодушия; народам показала,
Как независимость и веру защищать,
Как жизни не щадить, как смерть предпочитать
Ярму железному, цепям позорным рабства.
В сердцах сынов твоих пылает бранный жар,
И пусть пылает он! еще один удар —
И идол сокрушен, наказано коварство
И в преисподняя низвергнуто тиранство!

О росс! вся кровь твоя отчизне — довершай!
Не Риму — праотцам великим подражай.
Смотри, перед тобой деяний их зерцало;
Издревле мужество славян одушевляло:
Царица скифская, рассеяв персиян,
Несытого кровей главу отъемлет Кира;

Опустошителю Персеполя и Тира
Вещают их послы: «Богами скифам дан
Плуг — чтоб орать поля, меч — биться за свободу;
Будь другом, не врагом ты храброму народу.
Женоподобных нет меж нами индиян;
Нет тканей пурпурных, смарагдов, перл и злата —
Стрелами, копьями и бронями богата
Лишь Скифская земля. Мужей увидишь здесь —
За независимость все, все мы ополчимся,
Или смирим твою неистовую спесь,
Иль ляжем все костьми, — тебе ж не покоримся!»
Мамай с ордой татар, как волк на верный лов,
Зубами скрежеща, бежит из нырищ, гладный;
Но, развернув хоругвь свободы, на врагов
Димитрий с громами — и варвар кровожадный
Нашел не дóбычу, а вечный срам и смерть.
Лев скандинавский, Карл, грозит Россию стерть,
Мечтает увенчать себя бессмертной славой,
Но погребает честь и гордость под Полтавой.
Стремится Фридерик Европу возмутить,
По воле править мнит вселенныя судьбою;
Но равновесие меж царств восстановить
С полками Салтыков едва выходит к бою —
И низложен других народов покоритель,
Непобедимости исчезнула мечта.
И се восстал еще ужаснейший губитель!
И вновь обеты всех к тебе: «Гряди, спаситель!
Гряди, о росс! вина такой войны свята;
Но, возвратив покой отчизне, миру кровью,
Над миром царствуй ты не ужасом — любовью».

1812

106. КНЯЗЮ ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ СМОЛЕНСКОМУ [1]

Князь славы! именем народов и царей,
Иноплеменничья избавившихся плена,
Объемлю я твои священные колена —
О, будь благословен, верховный вождь вождей,

---

[1] Написано до получения плачевного известия о кончине великого нашего полководца.

Завоевавший гроб священныя свободы,
Расторгший рабства цепь и сокрушивший бич!
Тебе со плесками воскликнули народы,
Тебе звук арф, глас труб, торжеств и славы клич:
Ты не отечества — вселенныя спаситель!

Уже, господствуя, Европу зря в цепях,
В цареубийственных вращая скиптр руках,
Играл судьбою царств коварный похититель;
Уже, пронырствами и дерзостью велик,
На троны возводил и низводил владык;
Безверный потоптал законы и святыню,
Мнил мир весь положить в безлюдную пустыню,
Мнил видеть славы храм вдали уже отверст,
Мнил свой поставить трон высоко, выше звезд.

И тьмы тем, всадники, кони и колесницы,
Тристаты и пешцы по манию десницы
Готовы ринуться. Как сонмы вешних вод,
Свирепые, сломив спасительный оплот,
Уносят хижины и затопляют нивы,
Пастух, оцепенев, зрит прежде край счастливый
И плод рачения лет многих и трудов
Добычей жалкою свирепости валов, —
Так галлов полчища несметны, нечестивы
В Россию хлынули и полились в Москву.
Успехом упоен, враг верит горделивый:
«Росс склонит под ярмо позорное главу!»
Но гибельны пути лукавы и строптивы;
И справедливый бог не тако совещал —
Он перстом на тебя монарху указал.
О, вид торжественный! о, зрелище прекрасно!
Доверенностию полсвета окружен,
Поник седым челом, коленопреклонен,
Не в лыстех мужеских, не в силе войск ужасной,
Не в конской крепости... слезящий взор простер,
Ты в боге положил сердечно упованье
И молишь, в бой идя за веру, за царя,
Благословить твое святое начинанье.

И не умедлил бог! кто сильный постоит?
Ты стал в лице врагам, как ангел-истребитель:

Все вспять! полки, вожди, сам мира победитель...
Вослед им мразы, глад, отчаяние, стыд
И твой губящий гром — посол твоей десницы,
Как вышнего глагол, несущий казнь для злых,
От коего дрожит в основах мир своих;
И где Сеннахериб? где кони, колесницы?
Проклятый господом, исторгнут корень злых,
И на распутиях их трупы воссмердели,
Как жабы мерзкие, излезшие из блат.
И россы цепи рвать германцев полетели:
Ликуют небеса, и стонет мрачный ад.

Теки, о исполин! рази, карай злодейство,
Мир миру славными победами даруй
И раны сограждáн спокойством уврачуй.
Да будет целый мир — единое семейство!
Да обнимаются, как братия, цари!
Да встанут новые для Феба алтари!
Под *Александровой* счастливою державой
Дадут науки плод, искусства процветут;
Тебе обязаны спокойствием и славой,
Отчизне и тебе дань сердца принесут.
Уже бессмертие от муз тебе готово:
Векам провозгласит дела твои Платон,
Хвалами возгремит об оных Цицерон,
Созвездье в небесах откроет Гершель ново
И именем твоим великим наречет;
Рафáэль оживит твой образ на холстине,
В медú и мраморе твой вид — гроза гордыне.
Я зрю: твой обелиск до облак восстает,
И восседит орел полночный на вершине.
Я слышу гласы лир: славнейшие певцы —
Державин, Дмитриев — плетут тебе венцы;
Коломбы росские вкруг света обтекают,
Дела твои в концах вселенной возвещают,
И имя славное твое из рода в род
В благословениях к потомству перейдет.

1812

107. К Ж⟨УКОВСКОМУ⟩

Ты, который с равной легкостью,
С равным даром пишешь сказочки,
Оды, песни и элегии;
Муз любимец и учитель мой
В описательной поэзии!
Добрый друг, открой мне таинства!
Где ты взял талант божественный
Восхищать, обворожать умы,
Нежить сердце, вображение?
Не Зевес ли положил печать
На челе твоем возвышенном?
Не Минерва ль обрекла тебя
При рожденьи чистым музам в дар?
Нам талантов приобресть нельзя,
Мы с талантами рождаемся.
Все пиитики, риторики,
Все Лагарпы, Аристотели
Не соделают поэтами.
Что наука? Кормчий смысленный,
Искушенный и воспитанный
В школе времени и опытов;
Но без ветра морем плыть нельзя
И писать без дарования.
Ты поэтом родился́ на свет,
В колыбели повит лаврами.
Родился — и улыбнулася
Мать-природа сыну милому,
И все виды для очей твоих
В красоту преобразилися,
И все звуки для ушей твоих —
В сладкогласие небесное.
Представляешь ли Фантазию,
Как она по свету рыскает,
Подостлавши самолет-ковер,
Алый мак держа в одной руке,
А в другой ширинку белую, —
Претворяешь в пурпур рубище,
В пышный храм шалаш соломенный,
Узы тяжкие железные
В вязь легчайшую, цветочную.

Все блестящи краски радуги
На палитру натираешь ты,
Все цветы, в полях растущие,
Разноцветны, разновидные,
Рвешь, плетешь из всех один венок
И венчаешь им прелестную
Дщерь Зевесову — Фантазию.

Со друзьями ли беседуешь
Под покровом кленов сетчатым,
На ковре лугов узорчатом,
Где ручей журчит по камышкам,
Где шум сладкий бродит по лесу, —
Ты, сливая голос с лирою,
Поощряешь к наслаждениям,
К сладострастию изящному.
«О друзья мои! — вещаешь ты. —
Жизнь есть миг, она пройдет, как сон,
Как улыбки след прелестныя,
Как минутный Филомелы глас
Умолкает за долиною.
Посмотрите, как за часом час
Оставляет нас украдкою.
И как знать? Быть может, завтра же
Мы уснем в могиле праотцев;
Так почто же дни столь краткие
Отравлять еще заботами,
Подлой страстью сребролюбия,
Домогаться пресмыканием
Мзды за низкость жалких почестей?
Насладимся днем сегодняшним!
В чаше радости потопим грусть
И, стаканом об стакан стуча,
Смерть попросим, чтоб нечаянно
Посетила среди пиршества,
Так, как добрый, но нежданный друг».

Иль с Людмилою тоску делишь
О потере друга милого.
Иль с Светланою прелестною
Вечерком крещенским ре́звишься,
Топишь в чашу белый ярый воск

И, бросая свой золот перстень,
Ты поешь подблюдны песенки.

О соперник Гете, Бюргера!
Этой сладкою поэзией,
Этой милой философией
Ты пленяешь, восхищаешь нас;
Превосходен и в безделицах,
Кисть Альбана в самых мелочах.
Но почто же, мой почтенный друг,
Ты с цветка лишь на цветок летишь
Так, как пчелка златокрылая,
Так, как резвый мотылек весной?
Ты умеешь соколо́м парить
И конем лететь чрез поприще.
Состязайся ж с исполинами,
С увенча́нными поэтами;
Соверши двенадцать подвигов:
Напиши четыре части дня,
Напиши четыре времени,
Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю, —
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!
Мы имели славных витязей,
Святослава со Добрынею;
А Владимир — русско солнышко,
Наш Готфре́д или Великий Карл;
А Димитрий — басурманов бич;
Петр — Сампсон, раздравший челюсть льва,
Великан между великими;
А Суворов — меч отечества,
Затемнивший славой подвигов
Александра, Карла, Цесаря;
А Кутузов — щит отечества,
Мышцей крепкою, высокою
Сокрушивший тьмы и тысячи
Колесниц, коней и всадников
Так, как ветр великий севера
Истребляет пруги алчные,
Губит жабы ядовитые,
Из гнилых болот излезшие
И на нивах воссмердевшие;

А Плато́в, который так, как волхв,
Серым волком рыщет по лесу,
Сизым орлом по поднебесью,
Щукой зоркой по реке плывет
И в единый миг и там, и здесь
Колет, гонит и в полон берет!

Выбирай, соображай, твори!
Много славы, много трудностей.
Слава ценится опасностью,
Одоленными препятствами.
В колыбели сын Юпитеров
Задушил змей черных зависти,
Но зато Иракл на небо взят;
И тебе, орел поэзии,
Подле Грея, подле Томсона
Место на небе готовится!

7 января 1813

108. К ЕК⟨АТЕРИНЕ⟩ АФ⟨АНАСЬЕВНЕ⟩ П⟨РОТАСОВ⟩ОЙ
ПРИ ОТЪЕЗДЕ ИЗ ЕЕ ДЕРЕВНИ 31 ЯНВАРЯ

Итак, оставить сей гостеприимный кров,
Где снова с тишиной и радостью дружился
И с каждым днем добрей и лучше становился!
Нося из края в край отеческих богов,
Скитался долго я, как странник бесприютный,
Далёко от родных, от милых, от друзей,
Встречал холодный взгляд, холодных лишь людей
И, перестав уже погоды ждать попутной,
Вздремал под бурей бед унывшею душой,
Когда, несытая разлукою одной,
Судьба из малого любезного мне круга
В бою похитила еще героя-друга,
Незалечённые открылись раны вновь —
И друга прежнего жестокая утрата,
И смерть во цвете лет любезнейшего брата,
И в гробе матери нежнейшая любовь! . .
Вотще мой кликал глас, мои искали взоры
Необходимыя утехи и подпоры!

Но сердце привело к обители твоей...
В *Жуковском* обнял я утраченных друзей
И спутников живых, рассеянных судьбою, —
В *нем* был соединен весь мир мой предо мною.
Пространство, время, смерть исчезли в сладкий час!
Мы испытания минувшие забыли,
Биение сердец приветствовало нас,
И слезы лишь одне в восторге говорили!

О, радость полная превыше бед моих!
Я поспешал сюда в объятья только брата,
И что же? — Я нашел твой дом *семьей родных*!
И месяц радостей за год скорбей заплата!
И быстро по цветам сей месяц пробежал
В неизмеримую пучину лет и ве́ков!
И своенравный рок стезю мне указал
Из мира ангелов в мир низкий человеков...
Удел мой — находить в сем мире и терять,
И чаще грустью смех, чем смехом грусть сменять.

Простите, милые! В какой бы край судьбами
Отброшен ни был я — всё буду сердцем с вами!
К вам, к вам, под тихий кров, растерзанной душой!..
Рассеешься ли ты, тумана мрак ужасный?
Приветный солнца луч блеснет ли надо мной?
Дождусь ли я тебя, возврата день прекрасный?
И скоро ль положу дорожный посох свой?..

⟨*1814*⟩

109. ПОСЛАНИЕ К С. С. УВАРОВУ

Муз благодатных славный любимец, владеющий лирой,
Даром язы́ков и грифелем Клии, Уваров! постыдно
Великолепный российский язык, сладкозвучный и гибкий,
Сделать рабом французской поэзии жалкой, нескладной,
Рифмой одной отличенной от прозы. Не нам пресмыкаться!
Льзя ль позабыть, что законные мы наследники греков?

Нам с православием вместе науки они завещали —
И сохраним в чистоте наследное наше богатство!
Усыновим богатый и полный Гомеров гексаметр,
Разнообразнейший всех стихотворных древних размеров!

Как невозможно в одежду младенца одеть великана,
Углем и мелом сходно списать картину Вернета,
Или Моца́ртов сонат рассказать в простом разговоре,
Так невозможно александрийским стихом однозвучным
В ходе, в падении стоп, в пресеченьи стиха, в сочетаньи
Рифм, одинаким в течение целой пространной поэмы,
Часто из нескольких песен и тысяч стихов состоящей,
Выразить с тою же верностью, смелой в рисовке,
в смешеньи
Света и тени, и с тою же яркостью в красках, всю силу
Чувств, всю возвышенность мыслей и блеск, которыми
каждый
Стих Илиады и каждый стих Энеиды сияет.

Вспомни, Уваров! что пишет Вольтер к китайскому хану:
Острый старик насмехается едко над варварским,
странным
Правилом их стихотворным, которое требует строго
Двух шестистопных стихов и друг подле друга стоящих.
Ежели верить Вольтеру: одна стихов половина
Служит для смысла, другая же вечно только для рифмы,
Так что легко, ничего в существе не теряя, французам
Можно во всякой поэме стихов половину убавить.

Участь русской державы и русской словесности сходны:
Долго владычество чуждое Русь ярмом тяготило!
Нас, несогласных, татары, быстро нахлынув, пленили;
Россы, оковы татар разорвав, их самих оковали.
Нам, не радевшим о чести народной, о славе престола,
Дали сарматы царя и красной Москвой овладели.
Иго сарматское сбросили мы; но, приняв от французов
Моды и образ их мыслей, снова стали рабами.
Галлы, тяжелую цепь наложа на поэзию нашу,
Видя, что мы отступили от древних обычаев русских,
Дать и царя своего и уставы свои возмечтали. . .
Но орел встрепенулся, расторгнул железные путы,

Крикнул германским орлам знакомым им голосом славы
И, распустив могучие крылья, стал над Парижем.

Наши поэты среднего века с умом и талантом:
Славный князь Кантемир, Феофан, Симеон и Буслаев
Правилам польской поэзии, с нашею столько несродной,
Русский, способный ко всем изменеэньям, язык
добровольно
Поработили. И сам Ломоносов своею чредою
Дань заплатил предрассудкам и мнению века.
Преобразитель словесности нашей пишет, об ней
рассуждая,
Что велелепнейшим метром, и звучным и самым
способным
Выразить скорость и тихость и страсти движенья,
считает
Он анапесты с ямбами. Но увлеченный примером
Немцев, которых словесность была тогда в колыбели,
Больше — примером французов, дал преимущество
ямбам,
И в Петриаде своей подражает поэме Вольтера.

Тщетно полезный муж Тредьяковский желал в Телемахе
Истинный путь проложить российской эпической музе:
Многоученый, он не имел дарований и вкуса,
Нужных вводителю новой системы и новых законов.
И Ломоносова гений, увенчанный лавром победы,
Ямб освятил и заставил признать эпическим метром.
И Херасков повлекся за ним — слепой подражатель.
И отважный Петров не посмел изобресть в Энеиде
Нового, больше поэме приличного стопосложенья!
И стихотворец, рожденный с талантом, Костров в Илиаде
Ямб утомительный выбрал своим стихотворным
размером!
Сам подражатель Кострова, Гнедич уж несколько песен
Переложил шестистопными русскими ямбами с рифмой.
И восхищенный Вергилием и ослепленный Делилем,
Юноша дерзкий, я перевел половину Георгик,
Мысля, что рифмой и новым и лучшим размером украсил
Песни Вергилия, коим в сладости нету подобных.

Честь и слава тебе, Уваров, славный питомец
Эллинских муз и германских! Ты, испытательно вникнув

В стопосложение греков, римлян, славян и германцев,
Первый ясно увидел несовершенство, и вместе
Способ исправить наш героический стих, подражая
Умным германцам, сбросившим иго рифмы гремушки,
Освободившим слух свой от стука ямбов тяжелых.
Я устыдился, бросил в камин свое земледелье;
Начал поэму сию и новым, и, сколько возможно
Мне было, к метру латинскому самым ближайшим
размером.

В самом деле, сличая ямб всегда одновидный
С разнообразным и звучным гексаметром, вижу
в последнем
Больше, чем тридцать колен, перекатов в тоны
из тонов:
Можно возвысить свой стих и понизить; быстро
промчаться
Вихрем, кружащим с свистом и шумом по воздуху
листья;
Серной скакать с скалы на скалу, с камня на камень,
Тихо ступать ступень с ступени по лестнице звуков.

Пусть говорят галломаны, что мы не имеем спондеев!
Мы их найдем, исчисляя подробно деяния россов:
Галл, перс, прусс, хин, швед, венгр, турок, сармат
и саксонец, —
Всех победили мы, всех мы спасли и всех охраняем.

Мы их найдем, исчисляя прекрасные свойства монарха.
Царь Александр щедр, мудр, храбр, тверд, быстр,
скромен и смéтлив.
Хочешь ли видеть поле сраженья: пыль, дым, огнь, гром,
Щит в щит, меч в меч, ядры жужжат, и лопают бомбы,
Сгрянулись рати, брань закипела — и кровь полилася.
Хочешь ли видеть мирное поле под жатвой богатой,
Слышать в гумне на току бой в лад цепов молотящих:
Здесь сквозь доски пила визжит, зацепляясь зубами;
Тут ковачи раз в раз бьют сталь, стуча молотами;
Там раздается лай псов по мхам, по холмам, по долинам.
Грянул перун — и громкое эхо кругом прокатилось;
Свистнул порывистый ветр, буграми вздулося море,

Хлябь ревет и клокочет, огромные волны хлебещут,
Ребра трещат в корабле и скрипят натручены скрепы.
Руль раздроблен, и внезапно вал, на корабль набежавший,
Перевернув его трижды, стремглав сшиб кормчего в бездну.

Вот, Уваров! гекзаметр, которому дать не желают
В русской империи права гражданства, законного права!

Я не дивлюся нимало, что есть на святой Руси странные люди,
Люди, которых упрямство ничем не преклонное губит:
Знают они, что в осьмнадцать годов текущего века
Русское царство в искусствах, в науках, в силе и славе,
Как исполин, на столетие целое смело шагнуло;
Но из упрямства на прежнем старом месте остались,
Смотрят на вещи с той точки, с которой полвека смотрели,
Верить никак не хотят, что время и опыт открыли
Многое в ходе, в сложеньи вселенныя бывшее тайной;
Мыслят, что всякая новость в правленьи, в науках, в искусствах
Гибель и веры и нравов и царства ведет за собою.
Проклят, по мнению их, всяк тот, кто, древних читая,
Вздумает ввесть в поэзию нашу новые метры —
Он прослывет нечестивцем, не знающим бога и правды.

Но признаюсь пред тобой: с удивлением слышу, что те же
Наши великой ученостью в свете славные люди,
Те просвещенные наши большие бояра, которым
Прежде читал я старый свой перевод из Георгик,
С жаром которые выше Делилева труд мой ценили,
Ныне, когда им новый читаю, жалеют об рифмах.
Часто, терпенье совсем потеряв, головою качая,
Думаю: *«Знать, у больших господ и. . . затеи большие!»*

1818
Дерпт

110. ПОСЛАНИЕ К Д. В. ДАВЫДОВУ

Давыдов, витязь и певец
Вина, любви и славы!
Я слышу, что твои совсем
Переменились нравы:
Что ты шампанского не пьешь,
А пьешь простую воду,
И что на розовую цепь
Ты променял свободу;
Что ныне реже скачешь в клоб,
В шумливые беседы,
И скромные в семье своей
Тебе вкусней обеды.
Не завиваешь ты уса́;
Конь праздный в стойле тужит,
И сабельная полоса
За зеркало не служит.
Вкруг кивера обвился плющ
И вполз на верх султана;
Паук раскинул сеть свою
По сетке доломана.
Вкруг двоеглавого орла
Твоей блестящей шашки,
Влетев в открытое окно,
Порхают дерзко пташки.
Заглядываю в тайный шкаф —
Он пуст: в печи Буянов,
Гервасияда в камельке;
Один певец Русланов
Тихонько прячется в углу,
Загорожен Бюффоном.
И вместо прежних книг — Руссо,
И Кампе с Фенелоном,
И Локка любишь ты читать.
Из моралистов строгих
Выписываешь в свой альбом,
Но, чудное для многих,
Открой мне таинство свое!
Скажи, Шольёв наследник,
Кто обратил тебя на путь?

Кто — славный проповедник,
Или писатель — Златоуст?
Кто подал в помощь руку
Закореневшему в грехах
И объяснил науку
Не у прелестниц записных
На ложе сладострастья,
Но в целомудренной любви
Искать прямого счастья?
Нет! то не мог быть человек,
Как мы же, земнородный,
Уверен я, хотя бы он
Мудрец был превосходный.
Я слышу: ангел доброты
К тебе с небес спустился
И в виде грации младой
С тобою обручился.

Давыдов! правду говоря,
Тебе бы за проказы
Ветрану должно дать в жену
И произвесть в Пролазы.
Но ты не глуп, не подл, не крив,
Грехи твои забыты,
И верный ты, счастливый стал
Супруг из волокиты.
Любимец ветреных богов,
Которые играли
Тобой средь мира и боев,
Довольно! .. днесь настали
Блаженства тихого часы,
Венере с Марсом смена:
Из баловня богов сих ты
Стал баловнем Гимена.

1819

111. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗГ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕСЛОВУТОГО ГОРОДА ЮРЬЕВА

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА ИЗ ЮРЬЕВА В БОГОСПАСАЕМЫЙ ПСКОВ КОРОЛЕВИШНЫ, МАТЕРОЙ ЖЕНЫ АННЫ ПЕТРОВИШНЫ,

на Каменном мосту в лицах представленное 1820-го года 10 января, по-славянски просинца

ПРОЛОГ

Уж как было то в осьмисотом году,
В осьмисот во двадцатом году,
Во двадцатом году другой тысячи,
Во десятый день было месяца
Того ли холодного просинца,
А и деялось, учинилось
Во славном во городе Юрьеве,
На широком Каменном мосту,
Собиралась поляница удалая,
Что и русская и немецкая,
Еще чукчи со лютерами,
Вся сорочина долгополая,
Провожать свою любушку
Во путь, во дороженьку.
Как вскричали они зычным голосом:
«Закатился наш светел месяц!
Упала звезда поднебесная!
Потухла свеча воску ярого!
Увез злодей К⟨арло⟩ Горынович
Из Юрьева во Псков голубушку,
Матеру жену Анну Петровишну!»

(Solo. Положа руку на ухо, поет)

Ты растрога, растрога моя,
Ты растрогала, растрогала меня,
Ты зазноба, зазноба моя,
Зазнобила ты сердечушко мое;
Ты растрепа, растрепа моя,
Растрепала кудри рыжие мои,
Раззамаха, раззамаха ты моя,
Раззамала кости старые мои.

Т. . . .

(с гитарой и умильными взлядами)

Душа моя возлюбленна,
Серая кобыла!
За что меня невзлюбила,
Мерина гнедова?

Старик Ш⟨амаев⟩

Ох вы славные русски кислы щи,
Вы медвяные щи пузырные!
Для чего вы, щи, скоро киснете
Середи поры, время теплова?
Что поутру вы, щи, запенилися,
О полудни, щи, поспевали вы,
А при вечере и окиснули.

Л⟨авр⟩ов

Голова ль ты моя, голозушка,
Голова моя бесталанная!

Профессор А⟨деркас⟩

Фертом белы руки в боки,
Делайте легкие скоки.

Енко

Высота ли высота поднебесная,
Широта ли широта моря синева,
Глубина ли глубина мать сырой земли!

Студент Б⟨рок⟩

Уж как я ли молодец
Никуда не годен,
Ни в солдаты, ни в драгуны,
Ни в мелки матросы.
Только годен молодец
На печи лежати.
На печи, печи лежати,
Пряники жевати.

Майор Ш⟨ульц⟩

Что у нас было во Чухонщине,
Что во Юрьеве славном городе,

Во соборе Петропавловском,
Что у правого у крылоса,
Молодой майор богу молится,
Сам он плачет, как река льется;
В возрыданьи слово вымолвил:
«Расступись ты, мать сыра земля,
Что на все четыре стороны,
Ты раскройся, гробова доска!»

Анна Петровишна
(высунув голову из возка, который подъезжает к мосту)

Ах, вы очи, вы очи ясные!
Вы глядели да огляделися,
Не по мысли вы друга выбрали,
Не по моему по обычаю.

Догадчица
(solo приплясывает)

Государь З⟨онтаг⟩, ты мой батюшка!
Не давай, З⟨онтаг⟩, меня за старого замуж;
Старого, З⟨онтаг⟩, на смерть не люблю,
Ты отдай, З⟨онтаг⟩, меня за ровнюшку.

Хор
Воейков, Шемиот, Виламов, к⟨нязь⟩ Голицын, Алекс⟨андр⟩ Петерсон и другие

Понесися по поднебесью,
Птица милая, голубушка,
Что лети, лети, сизокрылая,
На сторонушку на далекую...
Грустно в Юрьеве быть сиротками.

Воейков
(подперши буйную голову)

Ты мне сладостней, чем гексаметры.

Шемиот

Ты белее чиста серебра,
Ты краснее красна золота,

Светлей камня самоцветного
И рубина и яхонта.

Виламов

Ты лягушечка
Ты зеленая!
Ты мышоночек
Серый, гладенькой!

К⟨нязь⟩ Голицын

Я могучий богатырь Полкан.
Я убью К⟨арло⟩ Горыныча,
Свобожу свою любушку
Из возка из тюремного,
Из засады из тесныя.

Петерсон

Рогатка, рогаточка,
Рогаточка Рижская,
Ты вельми пестро изукрашена,
Со замками с немецкими,
Со запорами железными,
Ты запрись крепко-накрепко,
Не пускай пролезть, не пускай проползть
Ты того ли К⟨арло⟩ Горыныча,
Что Дубыню Дубынича.

Хор квартальных

Перестань стонать, кукушечка,
Не кукуй ты, заунывная.

Портные

Молодка, молодка молодая,
Солдатка, солдатка полковая.

Дьячки

Барыня, барыня,
Сударыня барыня,
Поехала барыня
Из Юрьева во Псков.

Профессора

Едет с барыней холоп,
Повирает он и врет.

Студенты

Твои очи соколиные,
Твои брови соболиные.

К⟨арло⟩
(высунувши голову из возка,
поет по-кучерски)

Как со вечера солдатам
Приказ отдан был,
Со полуночи солдаты
Ружья чистили,
Ко белу свету солдаты
Во поход пошли.

Студенты
(allegro)

Ах, глупый ты дурень,
Неразумный дурень.
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.

Анна Петровишна

Ах, как тошно, мне тошнехонько
Нынешний годочек,
А еще того тошнее
Нынешний денечек.

Общий хор

Не ходить было за неровню,
Не бросаться было за чинами,
Вить не с лентою жить, со советом,
Не с скотиною жить, с человеком.

10 января 1820

112. ДОМ СУМАСШЕДШИХ

1

Други милые, терпенье!
    Расскажу вам чудный сон;
Не игра воображенья,
    Не случайный призрак он,
Нет, но мщенью предыдущий
    И грозящий неба глас,
К покаянию зовущий
    И пророческий для нас.

2

Ввечеру, простившись с вами,
    В уголку сидел один,
И Кутузова стихами
    Я растапливал камин.
Подбавлял из Глинки сору
    И твоих, о Мерзляков,
Из «Амура» по сю пору
    Недочитанных стихов!

3

Дым от смеси этой едкой
    Нос мне сажей закоптил
И в награду крепко-крепко
    И приятно усыпил.
Снилось мне, что в Петрограде,
    Чрез Обухов мост пешком
Перешел, спешу к ограде
    И вступаю в Желтый Дом.

4

От любови сумасшедших
    В список бегло я взглянул
И твоих проказ прошедших
    Длинный ряд воспомянул.

Карамзин, Тит Ливий русский!
Ты, как Шаликов, стонал,
Щеголял, как шут французский...
Ах, кто молод не бывал?

5

Я и сам... но сновиденье
Прежде, други, расскажу.
На второе отделенье
Бешеных глупцов вхожу.
«Берегитесь, здесь Наглицкой! —
Нас вожатый упредил. —
Он укусит вас, не близко!..»
Я с боязнью отступил.

6

Пред безумцем, на амвоне —
Кавалерских связка лент,
Просьбица о пенсионе,
Святцы, список всех аренд,
Дач, лесов, земель казенных
И записка о долгах.
В размышленьях столь духовных
Изливал он яд в словах.

7

«Горе! Добрый царь на троне,
Вер терпимость, пыток нет!..
Ах, зачем не при Нероне
Я рожден на белый свет!
Благотворный бы представил
Инквизиции проект;
При себе бы сечь заставил
Филосóфов разных сект.

8

Я, как дьявол, ненавижу
    Бога, ближних и царя;
Зло им сделать — сплю и вижу
    В честь Христова алтаря!
Я за деньги — христианин.
    Я за орден — мартинист,
Я за землю — мусульманин,
    За аренду — атеист!»

9

Други, признаюсь, из кельи,
    Уши я зажав, бежал...
Рядом с ней на новосельи
    Злунич бегло бормотал:
«Вижу бесов пред собою,
    От ученья сгибнул свет,
Этой тьме Невтон виною
    И безбожник Боссюэт».

10

Полный бешеной отваги,
    Доморощенный Омар
Книги драл, бросал бумаги
    В печку на пылавший жар.
Но кто сей скелет исчахший
    Из чулана кажет нос?
То за глупость пострадавший
    Ханжецов... Чу, вздор понес!

11

«Хочешь мельницу построить,
    Пушку слить, палаты складсть,
Силу пороха удвоить,
    От громов храм божий спасть,
Справить сломанную ногу,
    С глаз слепого бельмы снять —
Не учась, молися богу,
    И пошлет он благодать!

12

К смирненькой своей овечке
Принесет чертеж, размер,
Пробу пороха в мешечке.
Благодати я пример!
Хоть без книжного ученья
И псалтырь один читал,
А директор просвещенья,
И с звездою генерал!»

13

Слыша речь сию невежды,
Сумасброда я жалел
И малейшия нáдежды
К излеченью не имел.
Наш Пустелин недалёко
Там, в чулане, заседал
И, горé возведши око,
Исповедь свою читал:

14

«Как, меня лишать свободы
И сажать в безумный дом?
Я подлец уже с природы,
Сорок лет хожу глупцом,
И Наглицкий вечно мною,
Как тряпицей черной, трет;
Как кривою кочергою,
Загребает или бьет!»

15

«Ба! Зачем здесь князь Пытнирский?
Крокодил, а с виду тих!
Это что?» — «Устав алжирский
О печатании книг!»
Вкруг него кнуты, батоги
И Трусовский — ноздри рвать...
Я — скорей давай бог ноги!
Здесь не место рассуждать.

16

«Что за страшных двух соседов
У стены ты приковал?»
— «Это пара людоедов! —
Надзиратель отвечал. —
Вельзевуловы обноски,
Их давно бы истребить,
Да они как черви — плоски:
Трудно их и раздавить!»

17

Я дрожащими шагами
Через залу перешел
И увидел над дверями
Очень четко: «Сей отдел
Прозаистам и поэтам,
Журналистам, авторáм;
Не по чину, не по летам
Здесь места — по нумерам».

18

Двери настежь надзиратель
Отворя, мне говорит:
«Нумер первый, ваш приятель
К⟨аченовск⟩ий здесь сидит.
Букву Э на эшафоте
С торжеством и лики жжет;
Ум его всегда в работе:
По крюкам стихи поет.

19

То кавыки созерцает,
То, обнюхивая, гниль
Духу роз предпочитает;
То сметает с книжек пыль
И, в восторге восклицая,
Набивает ею рот:
«Сор славянский! пыль родная!
Слаще ты, чем мед из сот!»

20

Вот на розовой цепочке
  Спичка Ш⟨алик⟩ов, в слезах,
Разрумяненный, в веночке,
  В ярко-планшевых чулках.
Прижимает веник страстно,
  Ищет граций здешних мест
И, мяуча сладострастно,
  Размазню без масла ест.

21

Нумер третий: на лежанке
  Истый Г⟨линк⟩а восседит;
Перед ним дух русский в склянке
  Неоткупорен стоит.
«Книга Кормчая» отверста,
  А уста отворены,
Сложены десной два перста,
  Очи вверх устремлены.

22

«О Расин! откуда слава?
  Я тебя, дружка, поймал:
Из российского «Стоглава»
  «Федру» ты свою украл.
Чувств возвышенных сиянье,
  Выражений красота,
В «Андромахе» — подражанье
  „Погребению кота“».

23

«Ты ль, Хлыстов? — к нему вошедши,
  Вскрикнул я. — Тебе ль здесь быть?
Ты дурак, не сумасшедший,
  Не с чего тебе сходить!»
— «В Буало я смысл добавил,
  Лафонтена я убил,
А Расина переправил!» —
  Быстро он проговорил.

24

И читать мне начал оду...
Я искусно ускользнул
От мучителя; но в воду
Прямо из огня юркнул.
Здесь старик, с лицом печальным,
Букв славянских красоту —
Мажет золотом сусальным
Пресловутую фиту.

25

И на мебели повсюду
Коронованное кси,
Староверских книжек груду
И в окладе ик и пси,
Том, в сафьян переплетенный,
Тредьяковского стихов
Я увидел, изумленный, —
И узнал, что то Ш⟨ишк⟩ов.

26

Вот Сладковский. Восклицает:
«Се, се россы! Се сам Петр!
Се со всех сторон зияет
Молния из тучных недр!
И чрез Ворсклу, при преправе,
Градов на суше творец
С драгостью пошел ко славе,
А поэме сей — конец!»

27

Вот Ж⟨уковск⟩ий! — В саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянувши чинно,
Черта дразнит языком.
Видеть ведьму вображает:
То глазком ей подмигнет,
То кадит и отпевает,
И трезвонит и ревет.

28

Вот Картузов! — Он зубами
Бюст грызет Карамзина;
Пена с уст течет ручьями,
Кровью грудь обагрена!
И напрасно мрамор гложет,
Только время тратит в том, —
Он вредить ему не может
Ни зубами, ни пером!

29

Но С⟨таневи⟩ч, в отдаленьи
Усмотрев, что это я,
Возопил в остервененьи:
«Мир! Потомство! за меня
Злому критику отмстите,
Мой из бронзы вылив лик,
Монумент соорудите:
Я велик, велик, велик!»

30

Чудо! — Под окном на ветке
Крошка Б⟨атюшк⟩ов висит
В светлой проволочной клетке;
В баночку с водой глядит,
И поет он сладкогласно:
«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись на дно — ужасный
Крокодил на нем лежит».

31

Вот И⟨змайл⟩ов! — Автор басен,
Рассуждений, эпиграмм,
Он пищит мне: «Я согласен,
Я писатель не для дам.
Мой предмет — носы с прыщами,
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями —
Мир квартальных есть мой мир».

32

Вот Плутóв — нахал в натуре,
Из чужих лоскутьев сшит.
Он — цыган в литературе,
А в торговле книжной — жид.
Вспоминая о прошедшем,
Я дивился лишь тому,
Что зачем он в сумасшедшем,
Не в смирительном дому?

33

Тут кто? — «Плýтова собака
Забежала вместе с ним».
Так, Флюгарин-забияка
С рыльцем мосичьим своим,
С саблей в петле... «А французской
Крест ужель надеть забыл?
Ведь его ты кровью русской
И предательством купил!»

34

«Что ж он делает здесь?» — Лает,
Брызжет пеною с брылей,
Мечется, рычит, кусает
И домашних, и друзей.
— «Да на чем он стал помешан?»
— Совесть ум свихнула в нем:
Всё боится быть повешен
Или высечен кнутом!

35

Вот в передней раб-писатель,
К⟨арази⟩н-хамелеон!
Филантроп, законодатель.
Взглянем: что марает он?
Песнь свободе, деспотизму,
Брань и лесть властям земным,
Гимн хвалебный атеизму
И акафист всем святым.

86

Вот Грузинцев! Он в короне
И в сандалиях, как царь;
Горд в мишурном он хитоне,
Держит греческий букварь.
«Верно, ваши сочиненья?» —
Скромно сделал я вопрос.
«Нет, Софокловы творенья!» —
Отвечал он, вздернув нос.

87

Я бегом без дальних сборов...
«Вот еще!» — сказали мне.
Я взглянул. Максим Невзоров
Углем пишет на стене:
«Если б, как стихи Вольтера,
Христианский мой журнал
Расходился. Горе! вера,
Я тебя бы доконал!»

88

От досады и от смеху
Утомлен, я вон спешил
Горькую прервать утеху;
Но смотритель доложил:
«Ради вы или не ради,
Но указ уж получён;
Вам нельзя отсель ни пяди!»
И указ тотчас прочтен:

89

«Тот Воейков, что бранился,
С Гречем в подлый бой вступал,
Что с Булгариным возился
И себя тем замарал, —
Должен быть, как сумасбродный,
Сам посажен в Желтый Дом.
Голову обрить сегодни
И тереть почаще льдом!»

Выслушав, я ужаснулся,
Хлад по жилам пробежал,
И, проснувшись, не очнулся,
И не верил сам, что спал.
Други, вашего совету!
Без него я не решусь;
Не писать — не жить поэту,
А писать начать — боюсь!

1814—1830

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Объединение писателей в общества — типичная черта литературы начала XIX века, результат характерного для той эпохи духа общественности. Если молодые дворяне — поэты и философы — группировались в Москве начала XIX века вокруг архива коллегии иностранных дел, фиктивная служба в котором не накладывала никаких обязанностей, то писатели-разночинцы тяготели к университету и университетскому пансиону и к их литературному центру — Обществу любителей российской словесности. Это было уже не «дружеское» — частное, интимное общество, а «ученое сословие». Принадлежность к нему уже не была чисто личным делом — она давала социальный статут. Поэт-дворянин, обладавший некоторой гарантией личных и политических прав, выражал жажду свободы в стремлении отделить поэзию от государства, быть в мире искусства человеком. Свободомыслие университетского профессора, поэта-разночинца, находящегося в дворянском обществе на положении квалифицированного слуги, требовало признания за «служителем муз» места, равного по социальной ценности государственному чиновнику. Дается же это место не протекцией, родством или угодничеством, а трудолюбием и талантом.

В результате Общество любителей российской словесности при Императорском Московском университете, которое числило в своих рядах маститых поэтов и являлось как бы высшей официальной инстанцией московского Парнаса начала века, стало притягивать к себе и молодых поэтов кружка А. Ф. Мерзлякова, объединившего в большинстве разночинцев. Интерес к народности, фольклору, античной культуре, отрицательное отношение к дворянскому дилетантизму

в поэзии, критика карамзинизма и неприятие поэтики Жуковского объединяли этот пестрый лагерь поэтов, из которых многие обладали незаурядными дарованиями. Материальные лишения, трудная жизнь, ранняя смерть — типичные общие черты биографии большинства из них.

Литературными органами кружка были издания, связанные с Обществом и университетом — «Труды Общества любителей российской словесности», «Вестник Европы». В 1815 году кружок имел собственный журнал — «Амфион».

З. А. БУРИНСКИЙ

Захар Александрович Буринский (1780—1808) принадлежит к поэтам, чье имя в настоящее время забыто даже специалистами. Однако современники ценили его высоко. Имя его упоминается в обзорах поэзии в ряду наиболее значительных литературных деятелей. Батюшков в «Речи о влиянии легкой поэзии» сожалел о Буринском, «слишком рано похищенном смертию с поприща словесности».[1] Греч дал ему такую характеристику: «Молодой писатель с большим талантом, переводчик Вергилия, умер слишком рано для упрочения своей славы».[2] Белинский в обзоре «Русская литература в 1841 году» назвал Буринского в одном ряду с Катениным и Пниным.

Обстоятельства жизни Буринского почти неизвестны. Всю свою короткую жизнь он боролся с нуждой, и, по всей вероятности, именно эта борьба свела его преждевременно в могилу. Он родился в Переславле-Залесском в семье священника, блестяще окончил Московский университет в 1806 году и, получив магистерскую степень, готовился к тому, чтобы занять кафедру профессора. Ему предстояла заграничная командировка. Смерть оборвала все планы.

Как поэт Буринский принадлежал к кружку Мерзлякова. В близких к университету московских литературных кругах 1805—1808 годов он считался восходящей звездой русской поэзии. С. П. Жихарев писал: «Милый, беспечный мой Буринский, будущее светило нашей литературы, поэт образом мыслей и выражений и образом жизни — словом, поэт по призванию!»[3] Из петербургских литераторов известны связи его с Гнедичем, возможно, завязавшиеся еще в московский период жизни последнего. В письме Гнедичу Буцин-

---

[1] К. Батюшков, Опыты в стихах и прозе, ч. 1, СПб., 1817, с. 22.

[2] Н. И. Греч, Учебная книга русской словесности, ч. 4, 1844, с 326.

[3] С. П. Жихарев, Записки современника, М.—Л., 1955, с. 143.

ский жаловался на одолевающую его нужду, зависимость, унижающую интеллигента-разночинца: «Люди нашего состояния живут в рабстве обстоятельств и воли других... Сколько чувств и идей должны мы у себя отнять! Как должны переиначить и образ мыслей и волю желаний и требований своих самых невинных, даже благородных склонностей! — Мы должны исказить самих себя, если хотим хорошо жить в этой свободной тюрьме, которую называют светом».

Стихотворения его никогда не были собраны. Большинство из них оставалось в рукописях и по настоящее время не разыскано.

113. ПОЭЗИЯ

Поэзии сердца́, все чувства — всё подвластно...

Моск⟨овский⟩ журн⟨ал⟩

Приди, Поэзия, дар неба драгоценный!
Се музы росские благодарят судьбе!
Приди, бессмертная, в сей день, для нас священный;
Теперь усердие внимает лишь тебе.
Сопутствуй истине, пусть глас ее нельстивый,
Соединясь с твоим, монарха воспоет —
И скажет, как теперь россияне счастливы,
Как музам Александр блаженный век дает!

Всегда, во всех странах горел огонь небесный —
Душа Поэзии — и смертных согревал;
Всегда, во всех странах сын песни вдохновенный
На лире золотой и трогал, и пленял,
Как сердце и душа стремились в нем к свободе
Восторга на крилах отца и бога петь,
Когда он кроток, благ является в природе,
И жизнь, и красоту творению дает!

Где тучи вечные нависли над снегами,
Где в гробе красоты всегда природа спит —
И там Поэзия является с цветами,
И там огонь ее в груди людей горит,
И движет струны лир. Так в острове туманов
Фингалов мрачный сын героев воспевал;

Так житель Холмогор, стремясь вослед Пиндаров,
Из недра вечных льдов гармонию воззвал!

Как тысячи светил на тверди запылали —
Огонь Поэзии для смертных возгорел;
Народы родились, и грады расцветали —
И луч Поэзии льды полюсны согрел.

Тогда, как человек с другими съединился
И царства возросли под сводами небес,
Язык божественный ее обогатился,
Соделался тогда источником чудес;
Тогда Филиппов сын, по гласу Тимофея,
От ног Таисиных спешил на брань лететь;
Родились Пиндары, Гомеры и Орфеи —
И звери дикие ходили им вослед!

Кто мог предметы все Поэзии исчислить
И языку ее круг тесный начертить? —
Поэзия везде! — и кто дерзнул помыслить,
В жилище облаков орла остановить?
Ее пределы там, где кончится вселенна;
Великий путь — земля, моря и небеса.
Парил Бард Севера по тверди вдохновенной
И на Атлантовых не опочил хребтах.
И сколь различен вид чудесныя природы,
Различен столько вид Поэзии самой;
Поэзия была богиней всех народов
И не потушит ввек бессмертный факел свой!

Какую чудную увидим мы картину,
Когда история покажет ряд веков,
Как в недрах дикия и мертвыя пустыни
Ручей, виющийся едва среди песков,
Далёко по полям хребет свой расстилает,
Жизнь, изобилие египтянам дает;
И как из семени дуб гордый изникает,
Так и Поэзия в пути своем идет.
Родился человек — и в сладком восхищеньи,
В сердечной простоте природу прославлял;
Изображал потом свой ужас, изумленье,
Когда из черных туч огонь над ним пылал,

Как горы крепкие в сердцах своих стенали
И океан кипел, ревущий в берегах.

Поэты мудрые на арфах подражали
Глаголам Вышнего, как Он вещал в громах,
И в кротких зе́фирах, и в стоне ветров ярых,
И в трелях соловья, в журчаньи светлых вод,
И в шепоте дерев, и в бурных водопадах
Звучали струны их: велик, велик господь!

Раздались песни Муз, — и счастье с кротким миром,
С улыбкой жизненной слетели к нам в поля.
Дары благие их посыпалися с лиры,
И обновилася великая земля!
Так человек, пленясь согласьем лирна звона,
Огнь в сердце ощутил, летел других обнять,
Составить общество: гармонии законы
Цепями милыми умеют нас пленять.

Что был ты, *человек*, один в лесах, с природой?
Не раб ли был ее ты в славный век златой?
Но в обществе воззрел на небо с мыслью гордой,
Тогда исполнился великий жребий твой!
Душа возвысилась к моральному блаженству,
Ты начал в радости свободнее дышать;
Открытый разум твой понесся к совершенству,
И в мыслях полетел вселенную обнять!
Распространился круг идей твоих далёко,
Искусства, знания, науки родились,
И до небесных стран твое проникло око,
И горы под рукой твоею раздались!

Леса дремучие поля обременяли;
Там — в черной их глуши — смерть вечная жила;
Вой ветров, рев зверей там эхом повторялись;
Река шумящая свой бурный ток вила
Средь каменистых скал, среди степей бесплодных,
Уединение ходило на брегах;
Коснулся Амфион до струн волшебно-стройных —
Упали дерева на мощных их корнях
И, превратясь в суда, за счастьем полетели;

Пустыни облеклись вдруг жатвой золотой,
Сыны гранитные под сталию исчезли.
Какое торжество Поэзии святой!

Явились общества, — брань лютая явилась,
Из ада принеслась — и возлегла в полях;
Глад, ужас, бешенство кругом ее обвились,
И поселилась смерть в стальных ее руках!
Тогда восстал Поэт — се глас его громовый
Устами Минина к гражда́нам говорит:
«Ступайте, братия! вам плен и смерть готова,
Огнь гибельной войны в отечестве горит.
Идет ужасный враг, как тигр ожесточенный,
Разит без жалости младенцев, слабых жен!
Не видите ли вы сих нив опустошенных?
Не слышите ли вы несчастных смертный стон?
Смотрите, как в крови купается враг лютый:
Одной рукою меч, другою цепь несет.
Ступайте, братия! еще одна минута —
И всё отечество погибнет и падет!
Ступайте!» — и герой булат свой извлекает,
На все опасности без робости летит.
Пусть медна пещь ревет, пусть в молниях пылает
И в вихрях огненных смерть лютую стремит, —
Герой неустрашим! Героя слава водит,
В глазах его огонь, в его деснице смерть;
Пред воинством своим, как грозный Марс, предходит —
И все спешат, как львы, в его опасный след!
Спешат — и враг упал, отечество спасенно,
Герой бессмертие и лавры заслужил, —
И се уста сынов Поэзии священной
В восторге чувств своих воспели громкий гимн
И славу воина в потомство передали:
Он в сонме Рымникских, Румянцевых воссел!

Трофеи гордые и мавзолеи пали,
Но не умолкнет песнь бессмертных, славных дел,
Сияет средь веков, как солнце на лазури,
И в хаосе времен погаснет вместе с ним.

Гремел глас Пиндаров в полете мощной бури,
Разил и восхищал согласием своим.

Воззрите! се Поэт перед лицем Эллады
С волшебной лирою, как некий бог, сидит,
Поет Иракла честь, поверженные грады,
И пламенный перун со струн его летит;
Он в души воинам мгновенно проникает,
Когда геройские поет им Бард дела;
Склонили к лире слух и, всё забыв, внимают —
И се гармония в них мужество возжгла!
Как ветры бурные, героев сонм несется,
Летит стремительно награду получить,
Под звуки сладких струн к победе дух их рвется,
И лавры на главе спешат они носить!
Дивиться ль мужеству Филиппова нам сына?
Гомера он читал, Поэзию любил!

Кто к просвещению шагами исполина
Отечество свое из тьмы привесть спешил;
Россию усмирив с ее скала́ми, льдами,
Согрел и оживил, как древний Прометей;
Кто степи дикие усеял городами
И от руки кого пал северный Арей, —
Тот в гимнах бардовых вовек не умирает.
Песнь Ломоносова до вечности пройдет;
Потомство позднее дивится и внимает,
Как в Петриаде он Великого поет!

Бичи вселенныя, друзья убийства, брани!
И ваши имена Поэзией живут.
Бессмертны Батыи, Аттилы, Тамерланы!
Вас роды поздные страшатся и клянут;
На *вас* Поэзия перун свой грозный мещет,
Во глубине могил трясет, разит ваш прах;
Се струны движуща рука Певца трепещет,
Над лирою его летает бледный страх.

Мы *слышим* меди гром, глас смерти миллионам,
Вопль ярый воинства, звук труб и стук мечей;
Еще взыграл Поэт — мы слышим смертны стоны,
Мы зрим растерзанных, растоптанных людей.
Там сетуют отцы, летами удрученны:
Чудовище войны пожрало их сынов;

Там плачут сироты, родителей лишенны,
Стенают тысячи несчастных, горьких вдов!

Злодей не внемлет им и по стезе кровавой,
При ярком зареве градов горящих, сел,
Спешит достигнуть в храм всегда живущей славы;
Но нет, не славу он — проклятие нашел!
Никто не посетит убийцы гроб ужасный,
И рушится его в забвеньи мавзолей!..
Но ты, герой добра, друг муз, отец несчастных!
Ты не умрешь в сердцах обязанных людей!

О россы! и у нас в век славный и бессмертный
Родились громкие Поэзии сыны,
Не ты ли, дщерь небес, не твой ли дар священный
Явился среди льдов, в объятиях зимы?
Не твой ли пылкий сын, великий Ломоносов,
В полете бурь царя, до облак воспарил?
И не с тобой ли пел блаженные дни россов,
На лире золотой гремел, пленял, разил?
Не ты ли двигала пленительные струны,
Когда Владимира Херасков воспевал,
Как Иоанновы и лавры и перуны,
И лирну песнь свою бессмертью отдавал?
Так! ты с Державиным в гремящем Водопаде
Горящим искр дождем летела с струн его;
Как пел он Вышнего и россиян отраду,
Не исполнялся ли восторга твоего?

О Дух Поэзии и гражданин вселенной,
С которым песни Муз нас могут восхищать,
Дар вдохновения! — один твой огнь небесный
Певцов монарховых живить, воспламенять
И сделать гласы их и лирну песнь возможет
Достойными хвалить достойные дела.
Пусть зависть в бешенстве грудь собственную гложет,
Но не дерзнет препнуть парение орла!
Наш юный Александр с Великими сравнится,
Не пламенный перун — оливы будет несть,
Ему вселенная с любовью удивится
И вечные венцы монарху станет плесть!

О царь! будь божеством — монархом над сердцами,
Храни и защищай любезных Пиэрид!
Они усыплют твой алтарь любви цветами,
И кроткого царя их будет гимн хвалить!
Ах! продолжи́ свой путь, великий, несравненный
Монарх и человек, для счастья поздных чад!
И да возможешь ты державой вожделенной
Чрез целые сто лет Россию утешать!

⟨1802⟩

114. ПРИЗЫВАНИЕ ЦЕЗАРЯ

Перевод из первой книги Вергилиевых «Георгик»

И ты в какой Совет, о Цезарь, вступишь вышний?
Не знаем, будешь ли защитник ты градов?
Иль, миртом матерним главу свою покрывши,
Плодов земных творец, царь мощный бурь, громов?
Иль власть на бездну вод рука твоя положит —
И мореходцы все единого почтут,
Фетида дщерь во брак и в дар моря предложит,
И крайние брега их бога призовут?
Или желаешь ты звездой светлоблестящей
В знак новый месяцев на высоте сиять?
Се уклоняется уж Скорпион горящий,
И часть небес тебе спешит он уступать!
Но чем ни будешь ты (лишь столь жестокой страсти
Быть Тартара царем твой дух не мог иметь,
Пускай полям его, где век в блаженной части
Все добрые живут, дивится целый свет),
Даруй, чтоб счастлив был путь мыслей дерзновенных,
О Цезарь! Мирный бог! Со мною сострадай
Над бедной участью селян непросвещенных,
Наставь их и к мольбам слух кроткий приучай!

1803

115

На ее могиле есть цветок незримый,
Всюду разливает он благоуханье;
Он цветок заветный, он цветок любимый —
Он воспоминанье!

И вечно-душистый цветок неизменный
Не боится бури, не вянет от зною,
Сторожит сохранно имя преселенной
К вечному покою!

1805

Н. Ф. ГРАММАТИН

Николай Федорович Грамматин (1786—1827) — поэт и филолог. Образование получил в Московском университетском пансионе, который окончил в 1807 году с золотой медалью. В 1809 году получил степень магистра за «Рассуждение о древней русской словесности». Активно сотрудничал в пансионских изданиях, потом в «Цветнике», «Вестнике Европы», «Сыне отечества».

В Москве Грамматин примыкал к литературному окружению Мерзлякова и Жуковского. В дальнейшем сблизился с Милоновым. В 1811 году вышли два его сборника: «Мысли» и «Досуги». В 1823 году он издал переложения: «Суд Любуши, древнее чешское стихотворение» и «Слово о полку Игореве, историческая поэма». Позднее, вынужденный переехать в провинцию, отошел от литературной деятельности. Ф. Ф. Вигель вспоминал: «Огромный талант Милонова можно сравнить с прекрасной зарей никогда не поднявшегося дня; много было его и в Грамматине, но он тоже далеко не пошел. Первый талант свой потопил в вине или, лучше сказать, в водке; последний зарыл его в деревне, куда навсегда переселился хозяйничать».[1]

Основные издания стихотворений Н. Ф. Грамматина:

Мысли, 1811.
Досуги, кн. 1, СПб., 1811.
Стихотворения, чч. 1—2, СПб., 1829.

[1] Ф. Ф. Вигель, Записки, М., 1929, т. 1, с. 356.

116

Лето красное! проходи скорей,
Ты наскучило мне без милого.
Я гуляю ли в зеленом саду,
Брать ли в лес хожу спелы ягоды,
Отдыхаю ли подле реченьки —
Пуще тошно мне, вспомяну тотчас,
Что со мною нет друга милого,
Что мне некому слова вымолвить,
Что я долго с ним не увижуся.
Ах, без милого всё не мило нам!
Ровно солнышко закатилося
С той поры самой, с того времени,
Как простился он во слезах со мной,
Как в последние он прижал меня
Ко белой груди, к ретиву сердцу.
Вспоминает ли обо мне он так?
Так ли любит он всё по-прежнему?
Много времени с той поры прошло,
А ни грамотки, а ни весточки,
Ах, от милого не пришло ко мне!
Да и слуху нет; полно, жив ли он?
Хоть во сне бы он мне привиделся,
Наяву коли не видать его!
Не в тебе ли он, мать сыра земля?
Я послушаю, припаду к тебе:
Не услышу ли шуму, топоту?
Не бежит ли то добрый конь его?
Не везет ли он добра молодца
На святую Русь, к красной девице?
Нет, не чуть его, не шелохнется,
Не слыхать коня молодецкого, —
Видно, милого не видать уж мне,
Знать, заехал он в дальню сторону,
Знать, не помнит он красной девицы,
Позабыл, мой свет, всю любовь мою!
Не другая ли приглянулася?
Ты настань скорей, осень пасмурна!
Забушуйте вы, ветры буйные!
Отнесите вы к другу весточку,
Вы промолвите, как горюю я,

Как я ночь не сплю, днем тоскую всё,
Как изныло всё сердце вещее.
Ах, злодейка-грусть съела всю меня!
Непохожа я на себя стала.
Как на родину, свет, приедешь, мой, —
Не узнаешь ты красной девицы:
Вся иссохла я от кручины злой.
Коли помнишь ты, не забыл еще,
Коли вправду жаль за любовь меня —
Приезжай, мой свет, поскорее ты!
Привези назад красоту мою,
Я по-прежнему буду весела.

⟨1807⟩

117. ГАРМОНИЯ

Хор

Юна дщерь природы вечной,
Да постигнем твой закон,
О Гармония! чудесный!
Всей вселенной правит он.

Из хаосной колыбели
Лишь изник прекрасный мир,
Хоры ангелов гремели,
Раздавался звук их лир, —
Ты уже существовала
И всесильну власть свою
На творенье простирала:
Всё признало власть твою.

Хор

В недрах вечности рожденна,
Ты движенью путь дала;
От бездейства пробужденна,
Жить вселенна начала.

Время быстрое спокойно
Потекло в своих брегах;
Мириады солнцев стройно
Понеслись в златых кругах.

Красота и совершенство
Зиждут дивный твой чертог;
Сходит слава и блаженство,
Человек стал полубог.

Хор

Ты рекла — и вдруг народы
Собрались на голос твой;
Чада дикие свободы
Власть познали над собой.

Где леса непроходимы,
Воздвигались грады там;
Степи где необозримы,
Зрелась жатва по полям.
Царства сильные родились
На лице всея земли;
Мир, спокойство воцарились,
И законы процвели.

Хор

Благотворный, сильный гений!
Где не зрим твоих даров?
Ты начало вдохновений,
Оживляешь ты певцов.

Тимотей ли движет струны —
И покорен мира царь;
Он речет — гремят перуны
И цветет любви алтарь.
Глас Орфея раздается —
Древеса бегут с холмов,
Чувство в камень хладный льется,
Гаснет ярость злобных львов.

Хор

Ты воззришь — и брань кровава
Перестанет вдруг пылать;
Не пленяет больше слава
Кровь рекою проливать.
Враг людей и враг покоя
Бросил меч и грозный щит;

Ты воззрела на героя,
И герой благотворит.
Кроткий мир с небес слетает
При громах священных лир;
Всё тебя благословляет,
Весь счастлив тобою мир.

Хор

Бури, громы — всё послушно,
О Гармония, тебе!
В мире всё единодушно
Сей покорствует судьбе.

Поклянитесь, други, вечно
Чтить святой ее закон!
Всё под солнцем скоротечно,
Краток жизни нашей сон;
Но душа, сей луч небесный,
Не угаснет никогда:
Дружбы чувствие чудесно
В нас останется всегда.

⟨1807⟩

118. ОСЕНЬ

Мрачная осень,
Други, настала,
Вранов зловещих
Крик раздается,
Хор сладкогласный
Птичек умолк.

Птиц голосистых
Песни не слышны;
Моря златого
Ветр не волнует;
Класы под острым
Пали серпом.

Гладное стадо
Бродит уныло;

Корму не стало
В пажитях тучных;
Нет ни травинки
В поле пустом.

Роща оделась
В желтую ризу;
Старец лишь древний,
Бор зеленеет;
С луга зеленый
Убран ковер.

Чада Эола
С цепи сорвались;
Сосны склоняют
Чела столетни;
Дубы на корнях
Крепких скрыпят.

Небо одето
Мраками тучи;
Феб лучезарный
Землю не греет,
Мещет сквозь облак
Тусклый лишь луч.

Влажны туманы
Стелются долу;
Тщетно печальный
Взор простираю,
Холмы в туманной
Скрылись дали.

Утром студены
Падают росы,
С облак, сгущенных
Норда дыханьем,
Целый день льются
Реки дождя.

Всё опустело:
Птицы пропали,

Звери по норам
Ищут спасенья,
Страх лишь с тоскою
Бродят в лесах.

Общей творенья
Грозной кончины
Всё днесь являет
Образ печальный;
Взор не встречает
Жизни нигде.

Трепет холодный
Льется по жилам,
Мрачная горесть
Душу объемлет;
Что же утешит
В горести нас?

Дружба и музы
Нам утешенье!
Пусть умирает
Матерь-природа,
Пусть на дубравы
Сыплется снег.

С кубком в деснице
Алого сока,
В мирной беседе
Граций прелестных
Ждать возвращенья
Будем весны.

В ризе, блестящей
Зеленью яркой,
Паки воскреснет
Матерь-природа,
С нежной улыбкой
Взглянет на нас.

В мрачных, прохладных
Рощах тенистых
Паки природе,

Жизни царице,
Лики пернатых
Гимн воспоют.

Реки, расторгнув
Льдисты оковы,
Быстро покатят
Шумные волны;
Феб воссияет
В славе своей.

⟨1810⟩

119. УСЛАД И ВСЕМИЛА
(Старинная русская баллада)

«Радость дней моих, Всемила!
Не грусти, не плачь о мне;
Без тебя мне жизнь постыла
Будет в дальной стороне.
Не грусти, за Русь святую,
За царя, за край родной,
На Литву иду клятую;
Скоро свидишься со мной.
Пред святыми образами,
Пред всевидящим творцом
Лучше слезы лей ручьями
О возврате ты моем».

Так, прощаясь со Всемилой,
Говорил Услад младой.
«Ах! могу ль расстаться, милый,
Без тоски, без слез с тобой?»
Золото кольцо снимала
С белой рученьки своей,
Другу на руку вздевала,
Чтобы помнил он об ней.
«Может быть, давно могила
Ждет тебя в стране чужой;
Знай, не будет жить Всемила,
Свет ей мил одним тобой».

Время мчится, пролетает,
Об Усладе слуха нет;
Дни Всемилы скорбь снедает,
Ей противен белый свет.
Друга ждет назад всечасно,
День и ночь об нем грустит, —
Ожидание напрасно!
Ах, надежда тщетно льстит!
Не спешит Услад к Всемиле,
Вести к девице не шлет, —
Неужели он в могиле?
Неужель покинул свет?

Чем разгнать печаль и скуку?
Сердцу где найти покой?
Получить Всемилы руку
Вот приехал князь младой.
Злато, ткани дорогие
И алмазы ей дарит;
«Будь моею! дни златые
Потекут для нас», — твердит.
Долго слушать не хотела
Слов, где лести яд был скрыт, —
Быть изменницей робела;
Наконец Услад забыт.

Где, Всемила, обещанья?
Где хранитель-ангел твой?
Час разлуки, час свиданья —
Позабыто всё тобой.
Ах! но что с Усладом будет:
Он любви не изменит,
Долгу, клятвы не забудет,
Верность к милой сохранит.
Страшно в гневе бог карает,
Им возжжен в нас огнь любви;
Бог изменниц не прощает,
Гнев свой тушит в их крови.

Уж достигла весть Услада
(Верный друг ее принес),

Смерть одна ему отрада,
Смерти молит от небес.
Небеса моленью вняли
(Знать, оно достигло их),
Смерти ангела послали
Разрешить от уз земных.
В цвете дней Услад средь боя
Жизнь отчизне в дар принес;
В землю скрыли прах героя,
И никто не пролил слез.

Вот Всемила с новым другом
Брачный празднует союз;
Все желают ей с супругом
Легких и приятных уз.
Алый сок драгий струится
В кубках сребряных, златых;
На ланитах радость зрится,
Пьют здоровье молодых.
Вдруг во храмину вступает
Витязь; взор сокрыт его.
Как ни просят, не снимает
Витязь шлема своего.

Он кольцо вручил Всемиле,
Страсти пламенной залог:
«Торжествуй! Услад в могиле,
Но измену видит бог;
Спят в его деснице громы,
Но он злых готов карать!»
Речь и поступь ей знакомы,
Просит шлем пернатый снять.
Долго витязь не решался
Скинуть шлем с главы своей,
Наконец повиновался, —
Что ж представилось пред ней?

Зрит Услада: из могилы
Он восстал (о, страшный вид!).
Стынет в жилах кровь Всемилы,
Гром ужасный в слух разит:

«Ты моя! ничто на свете
Нас не может разлучить».
Так Всемилы дней во цвете
Прервалася жизни нить.
Ах, красавицы, учитесь
Клятвы данные хранить,
Изменять любви страшитесь:
Есть творец, готовый мстить!

⟨1810⟩

120. НА СМЕРТЬ КНЯЗЯ ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА СМОЛЕНСКОГО[1]

Дела велики, благородны
Не покоряются векам,
И смертные богоподобны
Зерцалом вечным служат нам;
Пусть грозный старец сокрушает
Их обелиски, алтари,
Но дел с землей их не сравняет,
Не меркнут славы их зари.

Кто сей в поле брани —
Смертный, полубог ли
Дни свои кончает?
Рать уныла россов,
И с ланит героев
Слез поток стремится.

Кто сей? — гром метавший
Из десницы мщенья
На полях при Красном
И полки несметны
Нового Мамая
В мрачный ад пославший?

Смерть! разить помедли,
Да свершит Кутузов
Подвиг, им начатый,

[1] Генерал-фельдмаршал князь Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов Смоленский скончался 1813 года апреля 16 дня, в городе Бунцлау, что в Силезии, на походе против французов. Тело его оттуда привезено в С.-Петербург и погребено в Казанском соборе.

Да расторгнет цепи
Склепанных народов,
Да спасет Европу.

Тщетно! в гроб нисходит
Наше упованье;
Плачь, рыдай, Россия!
Плен твой сокрушивший
Сам в оковах смерти;
Плачь, велик урон твой.

Нет, прерви рыданье,
Мать племен несметных!
Сын твой жив, не умер,
Жить в веках позднейших
Будет твой спаситель:
Гроб есть дверь к бессмертью.

От Невы до Тага
И от гор Рифейских,
Вечным льдом покрытых,
До Атланта древня,
На плечах могучих
Небеса носяща,

Слава протрубит всем
Подвиг Михаила,
Прелетит чрез волны
Шумны океана,
Оглушит свет новый
Звуком дел геройских.

И святым останкам,
Полубога праху
Из далеких краев,
От концев вселенны
Придут поклониться
Поздные потомки.

И вождя на гробе,
Дел его великих
Славой распаленны,
Поклянутся смертью

Умирать героев
За спасенье братий.

Но тиран! не льстися
Тщетною надеждой;
Россов есть довольно,
В ад готовых свергнуть
Адскую гордыню
И карать противных.

Знай, что сам всевышний
Россов есть защита;
Он хранит народ свой,
Он во бранях вождь наш;
Богу сил и браней
Кто противустанет?

Скоро день настанет
Мщения господня,
Скоро грянут громы
Из десницы вышней,
И погибнет с шумом
Память нечестивых.

12 сентября 1813

121—131. *НАДПИСИ К ПОРТРЕТАМ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ*

1
БОЯНА

Озлясь, что мыслию он соколом парил,
Сатурн одно его лишь имя пощадил;
Но славы тем его усу́губил сиянье;
И гусель вторится Бояна рокотанье.

2
НЕИЗВЕСТНОГО СОЧИНИТЕЛЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВОМ»

Как в дикости своей пленительна природа,
Подобно песнь твоя, российский Оссиан!
В ней гения видна орлиная свобода;
Орлом ширяться дар тебе природой дан.

3

АРТЕМОНА СЕРГЕЕВИЧА МАТВЕЕВА

Се жертва ярости неистовых стрельцов
И закоснелого невежества врагов;
Был саном знаменит, почтен и в заточеньи,
Равно велик душой пред троном и в гоненьи.

4

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА

Среди полярных льдов взлелеянный природой
И пламенной влеком к изящному охотой,
Он сам себе тропу на Пинде проложил;
Франклином,[1] Пиндаром страны российской был.

5

ЯКОВА БОРИСОВИЧА КНЯЖНИНА

«Родись опять, Мольер!» — изрек Латоны сын,
И, «Хвастуна» творец, родился в свет Княжнин.

6

МИХАИЛА МАТВЕЕВИЧА ХЕРАСКОВА

Пусть стрелы критики в Хераскова летят;
Его эгидом осенят
Монархи русских стран,
Владимир, Иоанн.

---

[1] Франклин в Филадельфии и Ломоносов в Петербурге в одно время исследовали причину электрической силы в воздухе и попали на одну и ту же. Чтоб слава изобретения не была приписана одному Франклину, Ломоносов, по убеждению своих товарищей, профессоров Санкт-Петербургской Академии наук, самым скромным образом протестовал против сего в слове своем о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих, предложенном 1753 года ноября 26.

7

ГАВРИИЛА РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА

Прочь, прочь, не стихотворец ты,
Не чувствуешь коль вдохновенья.
Ты зришь Державина черты,
Царя ты видишь песнопенья.

8

ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОЗЕРОВА

Расина русского здесь лик изображен;
Он музам от пелен служенью обречен;
Философ и пиит в глубь сердца проникает
И слезы из очей невольно извлекает.

9

ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА

Душа его видна в творениях прекрасных,
Он в них изображен, как в зеркале вод ясных;
Он вкуса образцом на Пинде русском стал,
В нем скромный Лафонтен соперника венчал.

10

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВИЧА ВОСТОКОВА

Хотя вещанья дар и отнят у него,
Но языком богов Феб наградил его.

11

КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА БАТЮШКОВА

Талант, приятность, вкус пером его водили,
И признаки труда малейшие сокрыли.

⟨1818⟩

Ф. Ф. ИВАНОВ

Федор Федорович Иванов (1777—1816) родился в семье обедневшего генерал-майора, бывшего приближенного императрицы Елизаветы. Обучался Иванов в гимназии при Московском университете. В 1794 году он был выпущен во второй морской полк капитаном и принял участие в морской кампании против Швеции. В 1797 году вышел в отставку, однако материальные трудности заставили его через два года вернуться на службу, на этот раз в один из московских департаментов.

Литературные интересы проснулись у Иванова поздно: около 1803 года он попал, на правах ученика и дилетанта, в кружок Мерзлякова, Буринского, Грамматина. «Он часто признавался, — вспоминал позже Мерзляков, — что начал только учиться в дружеском кругу нашем».[1] Одновременно начали развиваться его театральные интересы. Он сблизился с известными актерами того времени и, видимо, с театральным кружком Сандуновых. Под влиянием радикальных настроений, царивших в этих кругах, Иванов перевел с французского трагедию Ламартельера «Робер, атаман разбойников» (русское название — «Разбойники») — переработку драмы Шиллера и написал оригинальную трагедию «Марфа Посадница» — одно из наиболее ярких явлений преддекабристской «гражданственной» школы в литературе 1800-х годов. «Обе пиесы имели одинаковую участь: их не пустили на сцену по неизвестным некоторым причинам»,[2] т. е. из-за цензурного запрета. Зато с большим успехом шла пьеса Иванова «Семейство Старичковых», «посредством которой хотели отмстить за себя злонамеренным иностранцам истинная любовь к отечеству и музы искусств отечественных, столь недостойно пренебре-

---

[1] А. Мерзляков, Воспоминание о Федоре Федоровиче Иванове. — В кн.: Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова ... в четырех частях, ч. 1, М., 1824, с. 10.

[2] Там же, с. 14.

гаемые некоторыми ослепленными приверженцами ко всему иноземному».[1] Общая позиция Иванова здесь сближается с драматургией Крылова тех лет, отдельные сюжетные мотивы обнаруживают знакомство с «Солдатской школой» Сандунова.

Поэтическое наследие Иванова, видимо, известно нам далеко не полностью. Друзья видели в нем в первую очередь сатирика. Мерзляков находил в его стихах «силу мыслей и чувствований, иногда обращенных в сторону критическую», и даже полагал, «что природа хотела образовать в нем строгого и грозного Ювенала, но судьба не благоволила докончить начатого природой».[2] Это сближало Иванова с другим учеником Мерзлякова — Милоновым. Однако «ювеналовская» поэзия Иванова до нас не дошла. Видимо, и на нее распространились «некоторые неизвестные причины», а рукописи Иванова погибли в огне московского пожара, заодно уничтожившего и все остальное его бедное имущество. Последние годы он провел почти в нищете и умер, оставив без всяких средств семью, в числе которой была и малолетняя дочь Наташа — таинственная Н. Ф. И. лирики Лермонтова.[3]

Основные издания сочинений Ф. Ф. Иванова:

Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова, действительного члена Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете, изданные оным обществом в четырех частях с портретом автора, чч. 1—4, М., 1824.

«Поэты начала XIX века», «Б-ка поэта» (М. с.), 1961, с. 333.

132. НА ОТЪЕЗД К. Н. БАТЮШКОВА В АРМИЮ

Питомец юный муз,
Сын неги и прохлады!
Ты с Аполлоном рвешь союз
И отвращаешься от плачущей наяды.
За что? куда спешишь?

---

[1] А. Мерзляков, Воспоминания о Федоре Федоровиче Иванове. — В кн.: Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова ... в четырех частях, ч. 1, М., 1824, с. 12.

[2] Там же, с. 18—19.

[3] См.: Ираклий Андроников, Лермонтов, М., 1951, с. 23.

Иль гром прельстил тебя Беллоны?
Иль ищешь лавровой, кровавой ты короны?
На розы, мирты не глядишь!
Увы! зрю, шлем пером и сталью твой блистает,
Звучит булатный меч;
Мысль не в жилище валк витает,
Живет в боях среди кровавых сеч;
Пуста и кверху дном, зрю, чаша круговая,
И пиршествен разбит фиял,
И лира на стене забыта золотая,
И пальмовый венок завял.

Кто ж в дружеских пирах
К веселью первый даст *сигналы*?
И с ясной радостью в очах
С кем грянем мы и в арфы, и в кимвалы?
Ступай, жестокий друг!
Украсься лавром и честями;
Отечество зовет, простись с друзьями.
Пусть над тобой витает добрый дух,
Хранит тебя в боях кровавых
И шепчет на ухо об нас;
Не позабудь друзей средь бранной славы.
Прости! ступай и — в добрый час!

1807

133. РОГНЕДА НА МОГИЛЕ ЯРОПОЛКОВОЙ

Перестаньте, ветры бурные,
Перестаньте бушевать в полях;
Тучи грозные, багровые,
Перестаньте крыть лазурь небес!
Месяц бледный, друг задумчивый
Душ, томящихся печалию,
Осребри лучом трепещущим
Холмы, дремлющи во тьме нощной;
Освети тропу, проложенну
Не стопами путешественных,
Не походом храбра воинства,

Не копытами коней его, —
Освети тропу, проложенну
Девой страстной, злополучною
Не ко граду, не ко терему,
Но к могиле, безответная.

Наступил уже полночный час —
Утихают ветры бурные!
Месяц ясный, как серебрян щит
Друга, милого душе моей,
На лазури стал и смотрится
В зыбки волны тиха озера.
Луч ударил в берег каменный,
Преломился и, рассыпавшись
По долине и крутым холмам,
Осветил тропу любимую.
Сердце скорбное! пойдем скорей
Ко холму, куда сокрылися
Ясны дни твои и радости,
Все надежды, все желания.

Вот те хо́лмы величавые,
Прахи храбрых опочиют где;
Вот и камни те безмолвные,
Мхом седым вокруг поросшие.
Вижу сосны те печальные,
Что склоняют ветви мрачные
Над могилой друга милого;
Черны тени их, угрюмые,
Разостлалися в душе моей.
Вот цветы полупоблекшие;
Их в слезах вчера рассыпала
Одинокая на всей земле.
О любезный друг души моей,
Из пригожих всех прелестнейший,
Глас чей слаще соловьиного,
В рощах он когда любовь поет;
Разговор был чей приятнее
Звуков арфы златострунныя;
Чей в боях меч, будто молния,
Белый огнь струит по ребрам гор,

Рассекая так щиты врагов.
Сыпал искры ты вокруг себя!

Сколько сильных от руки твоей
Пало ниц! — И стоны скорбные,
Стоны томные, последние,
Донеслись в их домы ветрами,
Раздалися в сердце матери
Или в сердце девы нежныя!
О любезный друг души моей!
Я узнала по самой себе,
Как ужасна роковая весть,
Что осудит жить одной душей!
Ах! я знаю, каково, вздохнув,
Не слыхать, чтоб повторил кто вздох!
Но, к свершенью муки лютыя,
Пред глазами поминутно зреть
Бед виновника безжалостна,
Люта брата Ярополкова!..
Ах! рукою он кровавою
Жмет Рогнеды руку хладную!
Смолкнут сердца тут биения,
И душа, полна отчаянья,
Вырывается из тела вон.
Он вдову твою, печальную,
В брачный храм зовет с собой...
Нет, убийца друга милого!
Не клади змию на одр к себе,
Яд волью в уста злодейские
И мучения неслыханны
Принесу тебе в приданое...
Ах, друг милый сердца страстного!
Сколько слез горючих пролито!..
Лишь придут на думу горькую
Спознаванья, речи сладостны,
Уверенья в страсти вечныя
И златые дни протекшие, —
Дух взыграет, сердце пламенно
Оживится жизнью новою.
Но, ах! кратки те мгновения;
Вмиг представится прощание,
Как сбирался ты в кроваву брань.

Вижу друга я в стальной броне
И чело высоко, гордое,
Тяжким шлемом осененное;
Щит серебрян со насечкою,
В нем играет луч полуденный;
Острый меч звучит в златых ножнах,
А ужасное копье твое
Страх родит в сердцах бестрепетных;
Смертью лук самой натянутый,
За плечьми колчан каленых стрел.
Как меж прочих древ высокий дуб,
Так меж храбрых отличался ты
Величавой сановитостью;
Как между цветов в моем саду
Всех фиалка заунывнее,
Так между подруг печальных я
Всех грустнее, всех несчастнее.

Нет часа мне в долгий летний день,
Нет минуты в длинну зимню ночь,
Чтобы сердце страстно, скорбное,
Чтоб душа осиротевшая
Отдохнули б от тоски своей,
Чтоб уста мои поблекшие
Оживилися улыбкою.
Речь разумная отцовская
И беседа милой матери
Мне невнятны; я ответствую
Их ласканьям только стонами...
Затворилось сердце грустное
Ко упрекам тихим родственным,
К утешеньям дружбы сладкия.
Слезы матери, как град, текут
На засохшу грудь дочернюю.
Слезы милые, бесценные!
Не согреть вам груди хладныя,
В ней тоска, как будто лютый мраз,

Зазнобила чувства, радости.
Сердце пламенно, обыкшее
Цвесть ласканьем друга милого,
Жить единым с ним дыханием,
Всё иссохло и трепещет лишь

При названьи имя сладкого
Друга милого погибшего!..
Здесь с могилою безмолвною
С безответным белым камнем сим
Как с друзьями я беседую,
Вопрошаю — но ответа нет.

Ах, ответствуйте, друзья мои,
Долго ль, долго ль мне скитатися
В белом свете, как среди пустынь?
Долго ль литься пламенным слезам
На сыпучие желты пески?
Скоро ль смерть рукой холодною
Разорвет дней цепь тяжелую
И душею с нареченным мне
Обвенчает в хладном гробе нас?
Ах! ответствуйте, ответствуйте!..
Вы молчите... всё безмолвствует;
Лишь тоска, как птица вещая,
В сердце крикнула, сказала мне,
Что заря потухла утрення,
Пали росы на зеленый лес.
Да падет слеза последняя
На могилу, скрывшу радости;
Да прерву беседу сладкую
Со друзьями безответными!
До полуночи, друзья мои,
До свиданья, сердцу милого.
Ах! когда бы солнце красное,
Холм теперь сей осветив лучом,
Осветило бы мой гроб на нем!

⟨1808⟩

134. ПОСЛАНИЕ К А⟨ЛЕКСЕ⟩Ю Ф⟨ЕДОРОВИ⟩ЧУ М⟨ЕРЗЛЯКО⟩ВУ

Нет! в мир сей введены мы не на жертву бед!
Пусть плачем мы подчас, пускай подчас крушимся
И часто круто нам бывает, друг сосед!
Кто винен? — Не в свои мы сани все садимся;

Иль, сидя и в своих, хватаемся рукой
Всегда за кус чужой.
Не удалось — и закричали,
Что здешний мир — юдоль печали,
Что жребий наш таков,
Чтобы миг радостей слезами покупали!..
Нет! меньше прихотей, мой милый Мерзляков,
И жизнь легохонько помчится.
Мы знаем: век никто на розах не проспит.
Безумно временщик удачами гордится,
Пирует он у рока на кредит,
Но придет срок ему слезами расплатиться.
Счастлив, когда в величии своем
Он никого напрасно не обидел,
Тек истины святой путем,
И несчастливец в нем защиту видел;
Когда от должности отцов не отрешал
В угоду низкую любовницы иль шута;
И дурака богатого и плута
В места почетны не сажал;
Когда был гордости и мести не причастен, —
Он року не подвластен;
В нем совесть чистая; он неба доблий сын;
Печаль его тиха, душа его спокойна:
Он в счастии мудрец, в несчастьи исполин,
И в бедствах зависти судьба его достойна!
А льзя ль величию завидовать того,
Великим может ли тот даже и назваться,
Кого на высоте несчастные боятся,
Кого льстецы, как псы, облегши вкруг него,
На ждущих помощи и правосудья лают
И лаем шумным стон несчастных заглушают?
Увы! восстонет так несчастный перед ним,
Как пред кремнистою скалой волна стенает,
И как волна, в скалу ударясь, исчезает,
Погибнет бедный так, — но Крез неумолим!
Страданья чуждые ему ль считать бедою?
Прикрыта грудь его алмазною звездою,
И сердце сквозь нее не тронется тоскою!
Имущество сирот разделит он льстецам
И беззащитного осудит на мученье,

И дни, назначенны отчизне на служенье,
Размычет по пирам.
Страшись, Сарданапал! судьбина строго учит.
Царь гибкостью твоей наскучит
И взглянет на дела...
Тогда при праге бед тебя я ожидаю;
Тогда узреть желаю,
Тверда ль твоя душа, как в счастии была?
Без власти, равен став с гражданами правами,
Как встретишься с обиженным тобой?
Как ты увидишься с ограбленной вдовой?
Какими взглянешь ты глазами
На бледные толпы отчаянных сирот,
Тобой лишенных достоянья?
Польется по челу холодный градом пот,
Попросишь покаянья!
Вотще! — и совесть иссушит
Округлость тучную ланит,
И в тишине глубокой ночи
Не встретят сладка сна твои померкши очи.
Почувствуешь тогда... Но предадим судьбе
Карание злодеев сильных.
Мы в неизвестности, с Фортуной век в борьбе,
В днях, бурями обильных,
Потщимся, милый друг, так править наш челнок,
Чтобы от нас был берег недалек;
При первой чтоб грозе иль ветра при порыве
Причалить мы могли к родимой, злачной ниве,
С которой на борьбу валов морских смотря,
Мы ждали бы, когда прояснится заря.
Так, душу оградя от зависти и лести,
Не станем мы желать
И тягостной, и незавидной чести
Толпу поклонников Фортуны умножать
И думать, как дойти дорогой к ней прямою...
Тебя, мой друг, снабдил Феб арфой золотою;
В душе твоей покой:
Бряцай и пой.
Наш век обилен чудесами!..
Пой с адом россов бой.
Иль, Александра ты восхитяся делами,
Его высокою душой,

Поклонник доблести одной,
Звучи громовыми струнами
И к подданным любовь, и милость ко врагам;
Иль, обратясь к лужайкам и полям,
Пой резвы шалости пастушек с пастухами
С обычною беспечностью твоей.
Пускай прошли и нет уж тех счастливых дней,
Когда поэты вдохновенны,
Уважены, почтенны
Любимцами богов, красавиц и царей,
На лирах золотых бряцали
И в гимнах доблесть чествовали;
Порок их песней трепетал;
Ни временщик, сын лести и коварства,
Ни откупщик, ограбивший полцарства,
Из уст их никогда привета не слыхал;
Как Энний, подвиги воспевший Сципиона,
Под мрамором одним с героем положен,
И бард великий Альбиона
В ряду с царями погребен.
Пусть в наш премудрый век не славы за могилой
Певец за песни ждет;
Пусть въявь или тайком Фортуне прихотливой
Челом на рифмах бьет
И языком богов, как смирною, торгует:
Памфил предателя Колбертом именует,
Водяный рядит Клит невежду в мудреца
Или в любимца муз бессмысленна писца;
Он, древних и назвать не зная именами,
Бессовестно зовет своими их друзьями
И хвалит коль кого сей ложный Златоуст —
«Тот пишет, как Проперс, а этот, как Саллюст!» [1]
Балобонов в своих посланьях всех ругает;
Все мелют только вздор, один лишь он поэт,
И ум его не постигает,
Как не кадит ему согласно целый свет;
И, в ожидании всеместна воскуренья,
Бред порет на стихах к себе от удивленья.
Ермил в журнале врак, судья всего и всех,

[1] Так мнимые наши ученые искажают имена древних.

Он мерит ум своим аршином
И не поставит в смертный грех
Хвалить вздор, писанный поэтом-господином.
Увы! мой друг! Всё это так!
В поэзию прокрались *отношенья*:
И зависть, и корысть таланты гонят в мрак!
Кто не страдал от их змеина уязвленья?
И ты, питомец муз, краса протекших дней
Тоскующей российской Мельпомены,
О О⟨зеро⟩в! и ты, в душе твоей
Жестоко пораженный,
Стал жертвой и умолк для сирых росских муз!
Незаменим с тобой их рушенный союз!
Ах! долго им скорбеть, скорбеть без утешенья
И безотрадны слезы лить.
Напрасны дерзких покушенья
Певца Донского нам на сцене заменить!
Увы! не знав страстей, сердец обуреванья,
Знав только меру дать стихам,
И Мельпомене в зло, и вкусу для страданья,
И в казнь чувствительным душам —
Прадоны новые друг друга лишь сменяют!
Их мета — *бенефис*, не лавровый венок.
Зато рожденья в день они и умирают,
И провождает их в забвение свисток.
Мир вракам их — и мир ненарушимый!
Но отвратим наш взор от шалостей людских,
Уйдем хотя на час от козней городских
На брег Москвы-реки, под клен густой, любимый;
Там на лугу раскинем скатерть мы,
Поставим масло, сыр и полные фиалы,
Из коих, прыгая как звезды, брызги алы
Наш успокоят дух, развеселят умы.
В седьмый, фиал в фиал мы стукнув, обоймемся,
И солнце тихо сядет за горой!
Мы, проводив его, в десятый поклянемся
Пред мощной не роптать судьбой.

1811 (?)

135. ПЕСНЬ ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ ГЕРОЕВ

Маститый сын Беллоны!
Могучий севера Перун!
Всемощна счастия разрушивый запоны!
Сквозь стоны, молний треск внуши бряцанье струн,
Твою поющих славу,
Разбитый истукан Европы под ярмом,
У ног раздавленну гордыню величаву
И российский всепалящий гром!

Из ила ржавых блат, из тины неизвестной,
Возник внезапу исполин:
Шагнул, льет ужас повсеместный,
Взмахнул мечом Европы властелин —
За ним лежат в пыли престолы раздробленны,
Чернеют веси, грады опаленны,
Несется всюду плач и стон.
Герои от его бледнеют взора,
Владыки от него ждут славы и позора, —
Судьбины колесом вертит Наполеон.
Где край тот неизвестный,
Куда бы силою чудесной
Злодей не доступил?
Достиг — за ним возможны кары,
Разбои, грабежи, пожары!
Там старец пал; тут меч младенца обагрил
На персях матери полмертвой, осрамленной!
Как тигр, алчбою разъяренный,
В Россию ворвался;
Со скрежетом зубов чрез холмы, долы рыщет,
Как вепрь очми грозит, как змий прельщеньем свищет;
В обмане не успел — ток крови полился.
Бесстрашный, твердый росс в волшебном изумленьи
Теснится в отступленьи.

«Колосс полночный пал!» — весть скорбная летит;
Европа в ужасе дрожит
И стерту выю протягает.
«Погибло всё! — гласит. —
Москва пылает!..»

Спокойтесь, робкие! — еще Кутузов жив,
Не верьте — слух тот лжив,
Что всё пред галлом погибает;
И северный не пал колосс, —
Он только уязвлен глубоко.
Дивись, сколь в бедствиях велик, чудесен росс!
В нем чувствие высоко,
Как кедр под бурями, твердеет и растет;
Как кедр, пусть сломит вихрь, но к долу не погнет;
Пусть грянет гром — скала лишь озарится,
Не дрогнет, не смутится.

Таков, Смоленский, ты!
От ярости громов твой бодрый дух крепчает,
Ум невозможности считает за мечты
И к гибели врага махины созидает.
В змеиный вьется ль клуб, иль страшно рычет
львом,
Глядит — и жмет в деснице гром;
На шлем твой сыплются удары
И искры вкруг летят;
Как на гранит перуны яры,
Зубчаты молнии с чела его скользят:
Так ты лица не изменяешь,
Ни веждей не смежаешь,
Но, быстрый устремивши взгляд,
Все меришь вражески и взмахи и движенья,
Ждешь буйных сил изнеможенья,
Чтоб изверга послать во ад...
Приспел твой час — пустил перуны,
Грохочет эхо по горам.
Враг гулом изумлен, погибли мысли буйны,
Спасенье не мечу вверяет уж — ногам.

Широки степи тесны стали
Для бегства — о злодей!
Тебя корысть и злость в Россию звали —
И се мзда лютости твоей...
Очнулся поздно, кровопийца!
Где грезы льстившие? неслыханный убийца!
Где горы золота? — давай!

Где слава? — лавры где? — вещай!..
Бесчисленны полки, послыша росски громы,
Узнали их (они вселенной всей знакомы),
И лютый страх
Завыл в сердцах.
Не смеют уж в лицо увидеть росса в поле,
Постыдно тыл предав его всемощной воле,
Закрыв глаза, бегут;
Доспехи, колесницы,
Дышащи смертию бойницы —
Бросают всё, лишь срам несут.
Усеялись поля несчетными телами,
Пирует черный вран, играют псы костями
Воителей твоих, вождей.
А ты! творец их бедства и позора,
Ты к ним не обращаешь взора!
Бежишь — и слезы брызжут из очей,
Остатки ярости, дань сраму и боязни!
Бежишь — куда, злодей? — Тебя ждут всюду казни,
И нет нигде отрад.
Впреди проклятие встречает,
В тылу Смоленский ужасает;
Убежище — единый ад!
Разверсты челюсти его к тебе зияют,
Батый и Тамерлан, и Не́рон восклицают:
«Приди, дражайший брат!
О превосшедший нас во злобе!
Довольно — отдохни — уж полвселенной в гробе!
Се ты достиг желанья своего!
Живущие тебя вовеки не забудут,
Тираны имени ужасна твоего
Как поношения стыдиться будут».

А ты! Муж доблестный, непобедимый
Ни клеветою, ни мечом!
Ты оживил полки, тобой водимы,
И возвратил орлу его палящий гром.
Он при тебе взмахнул крылами,
Налег на облака — давнул — и вихрей свист,
Как осенью опадший лист,
Погнал, клубя, полями.

Так злобный враг, твоей развеянный десницей
За лютость, грабежи и в селах и градах,
Бежит, приявши мзду достойну со сторицей.
Мужайся, доблий муж! и при закате дней
Сверши твой подвиг исполинский:
Даруй спокойствие подлунной всей,
И да герой чудесный Италийский
В тебе воскреснет для полков.
При имени твоем обымет страх врагов,
И да смятутся их советы;
Да славы твоея не потемнят наветы,
И клевета у ног безмощная шипит,
Как лютая змия, ярящась на гранит.

⟨1812⟩

136. РАЗГОВОР КАТОНА С БРУТОМ

(Из Лукановой «Фарсалии»)

В глубокой нощи час, терзаемый тоскою,
Течет к Катону Брут поспешною стопою.
Притек — еще был чужд Катона сладкий сон;
Нет, в думу погружен, над Римом бдит Катон.
Душа великого — как бурная пучина:
В глубокой думе сей вселенныя судьбина!
«Друг добродетели, гонимой искони,
Катон! — вещает Брут, — ко мне твой слух склони;
Порывный счастья вихрь ничтожен пред тобою;
Рим властвует один высокой сей душою!
О доблестный Катон! ты будь светильник мой,
Яви мне правый путь, подай совет благой:
Пусть Кесарю одни, другие вслед Помпею,
Один Катон мне вождь, — другого не имею!
Вещай, пребудешь ли ты другом тишины,
Когда весь стонет мир от ярости войны?
Или алчбу вождей содейством увенчаешь,
Междоусобну брань участьем оправдаешь?
Ах! в пагубну сию, позорну Риму брань
Для выгод лишь своих всяк ополчает длань:
Один, чтоб избежать заслуженныя казни,
Забыл, презрел свой долг из рабския боязни;
Другой, чтобы не пасть в томленье нищеты,

Злой хищник, мчится вслед обманчивой мечты
И чает золотом ограбленной вселенной
Уврачевать беды, плод жизни развращенной.
Кому в борьбе властей, и бедствий, и сует
Здесь нечего терять, тот всё приобретет.
Ужели и Катон для брани брань возлюбит?
К чему ж тогда, увы! к чему ему послужит
Тот доблественный дух, в волнении умов
Непотрясаемый, как камень средь валов?

В тот стан или в другой сын Ромула строптивый,
Ворвавшись яростно с победой злочестивой,
Явит свое чело, покрытое стыдом,
И, кровью сограждáн омыт, в свой внидет дом, —
Когда Катон был с ним, Катону осужденье!
О боги! — нет! .. да прочь отыдет преступленье
От доблести сея, не знающей укор!
Не дайте, чтоб в веках покрыл ее позор,
Чтоб неповинные, доселе чисты длани
С отцеубийственным мечом явились в брани!
Так, будь участник ты — и над твоей главой
Все бедствия падут, рожденны сей войной.
Кто не похвалится, изъя́звленный средь бою,
Что смерть ему дана Катоновой рукою!
И всяк за смерть свою уже сторицей мстит,
Коль смертию своей Катона он винит.

Спокойство среди зол — отличье душ высоких!
Так в безднах воздуха небесного далеких
Течет светил собор в предписанный свой путь;
Раздор стихий до них не смеет досягнуть.
Трясется дольний мир, колеблемый громами,
Олимп покоится и светл за облаками —
Непременяемый таков природы чин.
Но сколько Кесарю для торжества причин,
Как сердце Юлия от радости взыграет,
Когда во стане он, неистовый, узнает,
Что добродетельный и твердый сей Катон
Междоусобия стремленьем увлечен!
И за него ли ты или за виды чужды,
Ему в том вовсе нет иль очень мало нужды.

Уж Кесарю Катон желанну платит дань,
Когда в мятежных прях простер с мечом он длань.

Сенат, патриции и консулы смятенны
Текут под знамена́, Помпеем водруженны.
Катон! склонися к ним сей доблественной главой —
И Кесарь лишь один свободен под луной.
Но если ты за Рим, за отчески законы,
Но если станешь в бой граждан для обороны,
Тогда, Катон, я твой, во власти я твоей;
Тогда располагай ты жизнию моей!
Быть может, всё теперь усилие напрасно.
Отечество, увы, отечество злосчастно!
Но знай, не Кесарь мне и не Помпей мне враг:
Брут будет враг тому, победа в чьих руках!»

Изрек, — Катон подъял взор, мглою покровенный,
И потекли из уст слова сии священны:
«Ты право мыслишь, Брут! междоусобна брань —
Зло тяжко, коим нас казнит всевышних длань;
Но я последую нетрепетной стопою
В путь, мне назначенный таинственной судьбою.
Преступником меня коль боги учинят,
Пусть в преступлении себя и обвинят!
Но кто, о пылкий Брут, с душой несокрушенной
Спокойно может ждать падения вселенной?
Народы дикие, сыны чужих морей,
Участие берут в ужасной битве сей;
Цари, рожденные под дальними звездами,
Делимые от нас законом и страстями,
Вкруг римских днесь орлов стеснилися, как рой;
А я, я римлянин, — могу ль вкушать покой?
О всемогущие, о боги всеблагие!
Да падающий Рим, тряся концы земные
(Коль так положено), пусть суд ваш совершит,
Но пусть в па́дении Катона раздробит!
О Рим, отечество, любовь и жизнь Катона!
Погибнем вместе мы, не знав царя и трона!
И не расторгнуть нас, доколе не приму
Я вздох последний твой и пепл не обниму!
О небеса! итак, весь Рим, обитель славы,
Всё жертвой должно быть: свобода, честь и нравы!

Не скроем ничего из жертвы роковой
И склонимся во прах под тайною рукой!

О, если б мог собрать все римлян преступленья
На собственну главу и — жертва очищенья —
Возмог бы я предстать пред яростных богов!..
Как славно Деций пал средь вражеских рядов!
Пусть оба воинства, свирепствующи ныне,
Катона одного увидят посредине!
На стрелы я пойду, пойду против мечей:
Открыты взор и грудь, — стремися, сонм смертей!
Излейтесь на меня, и язвы, и мученье!
Блажен, коль кровь пролью отчизне искупленьем,
Коль гибелью моей престанет гнев богов!
Но для чего губить сии толпы рабов,
Покорный сей народ, к ярму уже готовый,
Способный лобызать тирана скиптр свинцовый?
Меня единого потребно истребить,
Меня, стремящегось законы оградить!
Пролита мною кровь, и смерть моя блаженна —
Свободы торжество, печать ее священна!
Кто без меня возмнит раздоры воспалять,
Не узрит нужды тот к оружью прибегать.
Но до сего, о Брут! в бездействии ль томиться?
Рим, Рим зовет сынов, и должно ополчиться!
Коль победит Помпей, кто может ожидать,
Чтобы он возмечтал вселенной обладать?
Пойдем, и под его мы станем знаменами!
Да знает он, что брань не за него с врагами!
Коль ратником Катон в рядах Помпея стал,
Когда сразим врагов — победу Рим стяжал».

1812

«БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

Объединение литераторов, из которого выросла позднее «Беседа любителей русского слова», сложилось в Петербурге в начале 1800-х годов. «Мы четверо, а именно: Державин, Муравьев, Хвостов и я, установили для чтения вечера, и, в назначенные дни, съезжались по очереди друг к другу. Некоторые другие любители русского языка присоединились к нашему обществу, и мы провождали время с пользою и приятностью», — рассказывает в своих воспоминаниях основатель общества А. С. Шишков.[1] Встречи, о которых пишет Шишков, происходили регулярно. На них обсуждались политические события, читались и обсуждались литературные произведения И. А. Крылова, Г. Р. Державина, С. А. Ширинского-Шихматова и др.

Литераторы, окружавшие Шишкова, были в основном противниками Н. М. Карамзина и его школы и активно выступали против сентиментализма, занявшего на рубеже XVIII—XIX веков господствующее положение в русской литературе. Теоретическим знаменем кружка стала вышедшая в 1803 году книга Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка».

Шишков, полемизируя с Карамзиным, провозглашал церковнославянский язык, духовные старинные книги, а позднее и фольклор тем фундаментом, на котором должна строиться современная русская литература.

Обострявшаяся литературная борьба, стремление расширить свое влияние на публику привели к созданию официального общества, которому после долгих споров учредители присвоили название «Беседа любителей русского слова».

Г. Р. Державин предоставил для заседаний общества большой

---

[1] А. С. Шишков, Записки, мнения и переписка, т. 1, Берлин — Прага, 1870, с. 93.

зал своего петербургского дома на Фонтанке и богатую библиотеку.

«Беседа» открылась торжественным заседанием 15 марта 1811 года. Затем заседания происходили каждый месяц, вызывая громадное по тем временам стечение публики. Во время войны 1812 года заседания общества не собирались, возобновились они в 1813 году и продолжались до 1816-го, когда в связи со смертью Державина собрания «Беседы» окончательно прекратились. Попытки Шишкова и Хвостова в 1817—1818 годах возобновить ее деятельность оказались безуспешными.

Состав «Беседы» и ее литературная позиция не были однородными. Наряду с эпигонами классицизма, как Хвостов, бесцветными литераторами вроде П. Ю. Львова, Ф. П. Львова, И. С. Захарова и др., в нее входили такие первоклассные писатели, как Крылов и Державин. «Беседа» не чуждалась романтических веяний, что проявлялось в интересе к фольклору, к изображению экзотического, часто восточного мира, к остродраматическим ситуациям в лирике (Г. Р. Державин, С. А. Ширинский-Шихматов, С. И. Висковатов, Т. Беляев и др.).

Деятельность «Беседы» оказала заметное влияние на формирование русского романтизма и в особенности декабристской литературы.[1]

---

[1] См. об этом: Ю. Н. Тынянов, Архаисты и Пушкин. — В кн.: Ю. Н. Тынянов, Пушкин и его современники, М., 1968; Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, Саратов, 1946.

А. С. ШИШКОВ

Александр Семенович Шишков родился в 1754 году. Образование получил в Морском кадетском корпусе и в 1771 году, находясь на последнем курсе, с тридцатью другими учениками проделал опасное по тому времени путешествие из Архангельска через Белое море и вокруг Европы в Петербург. У острова Борнгольм во время крушения весь экипаж едва не погиб. Возвратившись в Россию, Шишков в 1772 году окончил в числе лучших учеников Морской корпус.

В 1776—1779 годах Шишков совершил еще одно морское путешествие, на этот раз из Петербурга к берегам Турции. Он побывал в Константинополе, Афинах, на Анатолийском берегу, где некогда находилась Троя, но особенно сильное впечатление произвела на Шишкова Италия, где ему удалось пробыть несколько месяцев. Любовь к итальянскому языку и итальянской литературе Шишков сохранил на всю жизнь.

Вскоре после возвращения из похода Шишков, произведенный в лейтенанты, был назначен преподавателем тактики в Морском корпусе. В 1790 году он участвовал в Шведской войне под началом адмирала Чичагова.

В царствование императора Павла I, несмотря на непостоянный нрав этого монарха, продолжается продвижение Шишкова по служебной лестнице. Он получает сперва чин капитана первого ранга, а затем становится вице-адмиралом. Однако к концу своего царствования император заметно охладел к Шишкову, отпустил его надолго за границу. Вскоре после возвращения Шишков был удален от двора в Адмиралтейств-коллегию.

Воцарение Александра I Шишков приветствовал восторженными стихами, однако он был противником либеральных реформ, связанных с именем молодого царя, и открыто высказывал свое неудовольствие. Постепенно вновь удаленный от двора, он был назначен председателем ученого департамента Адмиралтейств-коллегии.

Литературой Шишков начал заниматься еще в юности. Он много переводил с французского, немецкого, итальянского языков, которыми хорошо владел. В частности, он перевел на русский язык немецкую «Детскую библиотеку» Кампе, которая на многие годы сделалась любимым детским чтением и выдержала множество изданий.

В 1789 году Шишков сотрудничал в «Беседующем гражданине», журнале, издававшемся М. И. Антоновским, в котором участвовал и А. Н. Радищев.

В начале XIX века Шишков становится яростным противником «нового слога», введенного в литературу Карамзиным и его подражателями. В своих трудах он ориентируется на высокий слог Ломоносова, считая церковнославянский язык основным фундаментом и источником современного литературного языка. Свои взгляды Шишков изложил в книге «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», вышедшей в 1803 году. Книга эта вызвала бурную полемику и поставила Шишкова во главе антикарамзинской партии.

Выбранный еще в 1796 году в члены Российской академии, он вместе с Державиным становится в 1811 году во главе «Беседы любителей русского слова», где он стал председателем первого разряда.

В 1812 году Шишков назначен был статс-секретарем Александра I, и все манифесты, указы, рескрипты, касающиеся войны 1812 года, были написаны им. В суровые годы войны высокий торжественно-архаический стиль Шишкова оказался как нельзя более уместным. Позднее именно об этой его деятельности писал Пушкин:

Сей старец дорог нам; он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года.

В 1813 году Шишков, по собственной просьбе, был назначен президентом Российской академии и продолжал оставаться одним из руководителей «Беседы».

С годами консервативные убеждения Шишкова все более крепли. В последнем манифесте, написанном по случаю окончания войны с французами, Шишков выступил защитником крепостного права.

В 1824 году Шишков вопреки своему желанию был назначен министром просвещения и оставался на этом посту до 1828 года. В 1826 году он представил на утверждение Николаю I новый цензурный устав, который получил у современников название «чугунного» и просуществовал лишь до 1828 года.

В том же 1826 году Шишков был назначен членом верховного

суда над декабристами. По своим убеждениям он не сочувствовал идеям подсудимых. Это не помешало ему, однако, упорно добиваться смягчения участи заговорщиков, обращаясь не только к своим коллегам по судебным заседаниям, но и к императору.

После выхода в отставку Шишков продолжал оставаться членом Государственного совета и президентом Российской академии, однако круг его литературной и административной деятельности был уже завершен.

В 20-е годы зрение Шишкова стало ослабевать, а к концу жизни он совсем ослеп.

Скончался Шишков глубоким стариком в начале 1841 года.

Основные издания сочинений А. С. Шишкова:

Собрание сочинений и переводов А. С. Шишкова, чч. 1—17, СПб., 1818—1839.

Записки, мнения и переписка адмирала Шишкова, тт. 1—2, Берлин — Прага, 1870.

137. ПЕСНЯ

СТАРОЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ

(Перевод с французского)

Бывало, в прежни веки
Любили правду человеки,
Никто из них не лгал,
Всяк добродетель знал;
Любил любовник верно,
Не клялся лицемерно;
А ныне уж не так:
Обманывает всяк.
Неправда, вероломство,
Злость, ненависть, притворство,
Лукавство, зависть, лесть,
Прогнавши бедну честь,
Ворочают всем светом,
Все думают об этом;

А совесть уж пошла —
Каха́, кахи́, каха́!

Бывало, в прежне время
Судейское всё племя
Защитою в беде
Служило сирым на суде,
Судьи́ и адвокаты
Не требовали платы;
А ныне за пять слов
Со всех сирот и вдов
Последнее сдирают,
Кругом их обирают
И гонят от дверей
И мать и дочерей,
Коль денег больше нету,
Суму таскать по свету;
А истина пошла —
Каха́, кахи́, каха́!

Бывало, в прежни годы
Лишенные свободы
Любовничьи сердца
От брачного венца
До самой двери гроба
Любовью тлели оба;
А ныне уж не так:
Где впутается брак,
Там всё пойдет неладно,
Всё скучно и досадно;
Любовь начнет дремать,
Топорщиться, зевать,
Потупит в землю взоры,
Распустит крылья хворы;
Без ней пошла жена —
Каха́, кахи́, каха́!

Бывало, в прежни веки
Текли сладчайши реки
И прозы и стихов
Из авторских голов,

Писатель восхищался,
Читатель им прельщался;
А ныне уж не так:
Кастальский ключ иссяк,
Не слышно больше звона
От лиры Аполлона;
Измученный Пегас
Насилу на Парнас,
Лишася прежней силы,
Таскает ноги хилы,
И муза уж пошла —
Каха́, кахи́, каха́!

Бывало, мамы, тяти
Вкруг нежной их дитяти
Умели ставить щит
От страстных волокит,
Их ков предупреждали,
Невинность ограждали;
А ныне уж не так:
Имеет доступ всяк;
Любовник стал проворен,
Отец легкосгово́рен,
Мать верит похвалам,
А дочка всем словам,
Что щеголь ей болтает;
Она слабеет, тает,
И честь ее пошла —
Каха́, кахи́, каха́!

Бывало, в прежни веки
Умели человеки
Воздержно в свете жить,
Умеренность хранить,
Чрез то имели радость
Вкушать по доле младость;
А ныне уж не так:
В сластях нашедши смак,
Воздержность презирает,
Повеса утопает
Средь неги и забав;

В пятнадцать лет начав,
Он в двадцать лет пустился,
А в тридцать притупился,
И бодрость вся пошла —
Кахá, кахи́, кахá!

Бывало, не дивились,
Что девушки стыдились
В семнадцать лет уметь
Любовию гореть;
Домашняя работа
Была их вся охота;
А ныне уж не так:
Их бабки пялят зрак
На видного мужчину,
Лощат свою морщину
И помощью румян
Мнят ввесть его в обман,
Чтоб, вспомня стару веру,
Еще сбродить в Цитеру;
Пускай бредут туда —
Кахá, кахи́, кахá!

Бывало, в прежни по́ры
Девичьи скромны взоры
Ни пышностью пиров,
Ни множеством даров,
На честность обращенны,
Не смели быть прельщенны;
А ныне уж не так:
Пред златом честь пустяк.
В богатом екипаже,
Хотя б был черта гаже
И всех глупее Клит,
Однако убедит
Младую Меликрету,
Забывшись, сесть в карету
И ехать с ним... куда?
Кахá, кахи́, кахá!

⟨1784⟩

138—139. *НАДПИСИ К МОНУМЕНТУ КНЯЗЯ ИТАЛИЙСКОГО ГРАФА СУВОРОВА́-РЫМНИКСКОГО*

1

Для обращения всея Европы взоров
На образ сей, в меди блистающий у нас,
Не нужен стихотворства глас,
Довольно молвить: се Суворов!

⟨*1804*⟩

2

Суворов здесь в меди стоит изображен;
Но если хочешь знать сего героя славу,
Спроси Италию, Стамбул, Париж, Варшаву,
Царей, вельмож, гражда́н, солдат, детей и жен.

⟨*1805*⟩

140. СТИХИ ДЛЯ НАЧЕРТАНИЯ НА ГРОБНИЦЕ СУВОРОВА

Остановись, прохожий!
Здесь человек лежит на смертных не похожий:
На крылосе в глуши с дьячком он басом пел [1]
И славою, как Петр иль Александр, гремел.
Ушатом на себя холодную лил воду [2]
И пламень храбрости вливал в сердца народу.
Не в латах, на конях, как греческий герой, [3]
Не со щитом златым, украшенным всех паче, [4]
С нагайкою в руках и на козацкой кляче
В едино лето взял полдюжины он Трой. [5]
Не в броню облечен, не на холму высоком —
Он брань кровавую спокойным мерил оком
В рубахе, в шишаке, пред войсками верхом, [6]
Как молния сверкал и поражал как гром.
С полками там ходил, где чуть летают птицы. [7]
Жил в хижинах простых, и покорял столицы. [8]

Вставал по петухам,[9] сражался на штыках;[10]
Чужой народ его носил на головах.[11]
Одною пищею с солдатами питался.[12]
Цари к нему в родство, не он к ним причитался.[13]
Был двух империй вождь;[14] Европу удивлял;
Сажал царей на трон, и на соломе спал.[15]

⟨*1805*⟩

ОБЪЯСНЕНИЯ

[1] Суворов за некоторое смелое противуречие императору Павлу Первому отозван был от войска и сослан в село свое *Кончанское* Новгородской губернии в Боровицком уезде. «Там (говорит о нем жизнеописатель его Фукс) часто победоносная рука его звоном колокола призывала жителей в священный храм, где старец сей, исполненный веры, пел вместе с церковными служителями хвалы божеству». Когда потом Павел Первый, по просьбе Австрийского императора прислать к нему Суворова для принятия верховного повелительства над войсками, призвал его к себе и, посылая с ним также и свои против французов войска, произнес к нему сии достопамятные слова: «Иди спасать царей»; тогда Суворов, отправляясь в путь, сказал: «Я пел басом, а теперь еду петь барсом».

[2] Он имел привычку для укрепления членов своих часто обливаться холодною водою.

[3] Ахиллес.

[4] См. в Илиаде описание Ахиллесова щита, коней и колесницы.

[5] Он не щеголял красивостию и борзостию коня своего: садился на простую козацкую лошадь и на ней с плетью в руке, называемою нагайкою, разъезжал по полкам.

[6] Он не мог сносить летних жаров, и потому (если не по особой любимой им необычайности) часто среди самого пылкого сражения видали его скачущего верхом в одной рубахе; но никогда не скидывал он с головы своей шлема, в котором даже дома и при женщинах хаживал.

[7] Известен славный переход его чрез Альпийские горы.

[8] Варшаву, Медиолан, Турин и проч. Он не любил великолепия и пышности; жил всегда в простых покоях, без зеркал и без всяких украшений. В пище наблюдал умеренность. Дворецкому своему приказывал насильно отнимать у него блюды, и жаловался всем, что он ему есть не дает.

[9] Суворов, когда надлежало идти в поход, никогда в приказах своих не назначал часу, в которой выступать; но всегда приказывал быть готовыми по первым петухам; для того выучился петь по-петушьи, и когда время наставало идти, то выходил он сам и крикивал: *кокореку*! Голос его немедленно разносился повсюду, и войско тотчас поднималось и выступало в поход. Казалось, он нарочно придумывал сии странности, дабы посредством их избавляться иногда от таких переговоров и объяснений, которые были для него или неприятны или затруднительны. Он не опасался ими затмить славу свою; ибо мог сказать о себе подобное тому, что в Метастазиевой опере говорит

о себе Ахиллес, проведший отроческие лета свои в женском одеянии на острове Сциросе:

. . . . .gli ozj di Sciro
scuserà questa spada, e forse tanto
occuperò la fama
co'novelli trofei,
che parlar non potrá de'falli miei.

то есть:

«Праздность проведенных мною на Сциросе дней оправдаю я сим моим мечом, и может быть, новыми победами столько озабочу славу, что не успеет она говорить о моих проступках». — В присылаемых донесениях Суворов не описывал побед своих пространными объяснениями. По взятии турецкой крепости Туртукая, он написал к императрице:

Слава богу, слава Вам,
Туртукай взят, и я там.

[10] Известно, что Суворов белое оружие, то есть штыки, в руках русских воинов почитал всегда средством превосходнейшим к побеждению неприятеля, чем ядра и пули. Пословица его была: «Пуля дура, штык молодец».

[11] В Италии, когда он въезжал в какой город, народ выбегал навстречу к нему, отпрягал лошадей у его кареты и вез его на себе. Однажды случилось, что в самое то время, когда он приближался к освобожденному им от французов городу, нагнал его посланный из Петербурга с письмами к нему офицер. Он посадил его в свою карету, и когда народ выбежал и повез его на себе, то он, улыбнувшись, спросил у офицера: «Случалось ли тебе ездить на людях?» Офицер с такою же улыбкою отвечал ему: «Случалось, ваша светлость, когда, бывало, в робячестве игрывал шехардою».

[12] Он часто едал с ними кашицу.

[13] Баварский король причислил его в свои родственники.

[14] Российский генералиссимус и Австрийский фельдмаршал, имевший два почетных прозвания: Рымникский и Италийский.

[15] Он не любил мягких перин и пуховиков; сено и солома служили ему вместо оных.

141—142. ⟨*СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ*⟩

1

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА, КОТОРУЮ ПОЕТ АНЮТА, КАЧАЯ СВОЮ КУКЛУ

На дворе овечка спит,
Хорошохонько лежит,
Баю-баюшки-баю.
Не упрямится она,

Но послушна и смирна,
Баю-баюшки-баю.
Не сердита, не лиха,
Но спокойна и тиха,
Баю-баюшки-баю.
Щиплет ходючи траву
На зеленом на лугу,
Баю-баюшки-баю.
Весела почти всегда,
И не плачет никогда,
Баю-баюшки-баю.
Ласки к ней отменной в знак,
Гладит ту овечку всяк,
Баю-баюшки-баю.
Так и ты, моя душа,
Будь умна и хороша,
Баю-баюшки-баю,
Если хочешь, чтоб любя
Все лелеяли тебя,
Баю-баюшки-баю.

⟨1783⟩

2

НИКОЛАШИНА ПОХВАЛА ЗИМНИМ УТЕХАМ

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Мне не хуже:
В зимний холод
Всякий молод,
Все игривы,
Все шутливы —
В долгу ночку
К огонечку
Все сберутся,
Стары, малы,
Точат балы
И смеются.

А как матки
Придут святки,
Тут-то грохот,
Игры, хохот;
О, какие
Тут дурные
На игрищи
Есть личищи!
А плутишкам
Ребятишкам
Там и нравно,
Где забавно,
Где пирушки,
Где игрушки,
И где смехи,
Скачки, пляски,
Песни, сказки,
Все утехи.
А снежки-то?
Ком, свернися!
А коньки-то?
Стань, катися!
А салазки?
Эй, ребята!
По подвязке
Надо с брата —
Привяжите, —
Ну! везите:
Едем в Питер.
Я пусть кучер,
Вы лошадки
Резвоноги —
Прочь с дороги!
Держи право!
Ай, ребятки!
Ну уж браво!
Накатались,
Наигрались,
Вплоть до ночки;
Не видали,
Как часочки
Пролетали.

Только ль дела,
Что катайся?
Чем изволишь
Забавляйся:
От ученья
За веселье,
От веселья
За ученье.
Всяко время
Мне не бремя,
И зимою,
Как весною,
Слава богу,
Не скучаю,
Но вкушаю
Радость многу.

⟨*1785*⟩

С. А. ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ

Сергий Александрович Ширинский-Шихматов родился в 1783 году в селе Дернове Смоленской губернии, в семье небогатого отставного поручика князя Александра Шихматова. Еще дома он обучился не только русской грамоте, но и «началам французского и немецкого языков».[1] В 1795 году Шихматов поступил в Морской кадетский корпус, который окончил в 1800 году, получив звание мичмана. В том же 1800 году он был определен в Морской ученый комитет при Адмиралтействе. Председателем этого комитета был А. С. Шишков, и к тому же времени, видимо, относится сближение будущего руководителя «Беседы любителей русского слова» с одним из наиболее значительных ее поэтов.

В мае 1804 года Шихматов в чине поручика был переведен в Морской кадетский корпус воспитателем и прослужил здесь до 1827 года, отказавшись от предложенного ему в 1811 году места инспектора в только что открывшемся Царскосельском лицее. По свидетельству воспитанников Шихматова, в числе которых были и будущие декабристы Завалишин и Беляев, он был человеком ученым и добрым, одним из тех немногих воспитателей, которые никогда не прибегали к телесным наказаниям.

Литературная деятельность Шихматова начинается в 1806 году, когда им был опубликован сочувственно встреченный перевод «Опыта о критике» Попа. Широко известным становится его имя после появления поэм «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» и «Петр Великий». В 1809 году Шихматов избирается членом Российской академии. По этому случаю он сочинил и произнес «Песнь российскому слову», в которой дал краткие похвальные характеристики русским писателям от Ломоносова до Шишкова. В 1811 году основана «Беседа любителей русского слова», и Шихматов становится членом первого разряда, которым руководил А. С. Шишков.

[1] Список недорослям из дворян, определенным в Морской шляхетный кадетский корпус в кадеты. — Центральный государственный архив Военно-Морского Флота в Ленинграде.

Литературная деятельность Шихматова протекала под сильнейшим воздействием идей А. С. Шишкова. Шихматов насыщал поэтическую речь славянизмами и архаизмами, стремясь распространить высокий напряженно-торжественный слог на все виды литературного творчества, особенно культивируя при этом эпическую поэму, куда он вносил сильный элемент лиризма, что отразилось и в названии самого значительного его произведения: «Петр Великий. Лирическое песнопение».

Наряду с Шишковым и Хвостовым, Шихматов стал мишенью для остроумных нападок членов карамзинского лагеря, будущих арзамасцев. Нападки эти воспринимались им очень болезненно.

Воспитанная с детства религиозность с годами все более усиливается и все яснее проявляется в творчестве Шихматова. Последние его произведения приобретают отчетливо выраженный теологический характер.

В 1827 году, отпустив своих крестьян в вольные хлебопашцы, Шихматов выходит в отставку. С 1828 года он поселяется в Юрьевском монастыре, где попадает под сильное влияние изувера Фотия. 25 марта 1825 года Шихматов постригся в монахи под именем Аникиты.

В 1834—1836 годах Шихматов совершил путешествие к святым местам в Иерусалим, а затем стал архимандритом при русской посольской церкви в Афинах. Здесь он и умер в 1837 году.

Сочинения Шихматова никогда не были собраны.

143. ПОЖАРСКИЙ, МИНИН, ГЕРМОГЕН, ИЛИ СПАСЕННАЯ РОССИЯ

Лирическая поэма в трех песнях

О росс! О род великодушный!
О твердокаменная груды!
О исполин, царю послушный!
Когда и где ты досягнуть
Не мог тебя достойной славы?..

Державин

ПЕСНЬ ТРЕТИЯ

Сверкающи кристаллом чистым,
Увеселяя слух и взор,
По камням пеняся кремнистым,
С высот Саянских медных гор,

Стоящих стражею Байкалу,
Бегут ветвистые струи,
Сливают быстрины свои,
Скопляясь, множатся помалу;
И Лена, славная из рек,
Еще младенец безызвестный,
Источник сребряный, прелестный,
Отважный восприемлет бег.

Несется влагой всей согласно,
Кропит поля, бразды, луга,
Растет, быстреет ежечасно
И разгоняет берега;
Течет — следы ее щедроты —
И новы дани вод пиет,
Шумит, волнует свой хребет,
Валит, стирает все оплоты,
Природы твердые труды;
Возрастши в силу совершенну,
Вбегает в бездну устрашенну,
Далече гонит вечны льды.

Так сонм россиян бранноносный
Дерзает в строгий путь побед;
Гнушаясь жизнию поносной,
Идет, сражая зло и вред,
Боря растущие преграды.
Текут в него со всех градов,
Преславных жаждущи трудов,
Отечества нелестны чады;
Среди напастей не скользя,
Стремятся храбры, сильны, скоры;
Стремнины, блата, реки, горы
Для россов гладкая стезя.

Гремит паряща в поднебесной
Деяний вестница, молва:
В боях Пожарский бессовместный
Идет — возрадуйся, Москва!
Скорбят убийцы безотрадно,
Свою провидя слезну часть.
Над россом зная веры власть,

Спешит в узилище злосмрадно,
Жилище слез и мрачных дум,
Толпа, злодейством наважденна,
Сломить правдивость Гермогена,
Сразить в измену твердый ум.

Вели! — да скопище мятежно
Идущих в буйстве к сим стенам,
Вотще на дерзкого надежно,
Главы свои поклонит нам.
«Кляни! — рыкают гордым гласом, —
Рабов, дерзающих на нас.
Кляни! — или текущий час
Твоим последним будет часом».
— «Благословен господь вовек,
На брань россиян научивый,
Их дух и руки ополчивый! —
В весельи сердца старец рек. —

Расти, расти, святейший пламень
Любви к отеческой стране!
Как ветры, веющи на камень,
Сарматы! грозы ваши мне.
Я веру блюл, блюду не лживу,
И как на воды в знойный день
Желает жаждущий елень,
Мой дух так жаждет к богу живу;
Терзайте, рвите плоть мою —
Не ощущу свирепость вашу,
И горькую страданий чашу,
Как жизни сладость, испию.

Отверзлись очи мне душевны,
Я вижу таинства времен...
Забудь, Россия, дни плачевны;
Царица ты земных племен.
Врагов бесчестья полны лицы,
Потухли бранные зари,
Почиют царствы и цари
Под сению твоей десницы,
Сармация твоя раба...».
— «Умри! умри, злодей завистный!

Судьбу России ненавистной
Твоя прообразит судьба».

Рекли, сокрылися мгновенно.
И пастырь добрый, нищ и сир,
Стрегущий овцы неизменно,
За них готов оставить мир;
И в узах варварам ужасный,
Ничем, никак не устрашен,
Питания вконец лишен,
Как агнец, под ножом безгласный,
Терпеньем, кротостью велик,
Спокоен тает, тает гладом;
И торжествующий над адом
В небесный воспаряет лик.

Приспел лютейший всех тиранов,
Наперсник Смерти, бледный глад;
На пир скликает хищных вранов,
Томимый обтекает град,
Питает едкие болезни
И дышит на живущих мор
(Увы, плачевнейший позор!
Сокройся, истребись, исчезни!).
Преторглися узлы родства,
Мертвеет дружба, нет приязни,
И под бичом свирепой казни
Пустеет царство естества.

Страдальцы шлют ужасны крики,
Жестокость мук бессильны снесть;
Вращают окрест взоры дики,
Взыскуют жалости — и несть.
Дрожащи протягают длани
И тщетно просят живота —
На всех простерлась нищета;
Уже измолкли их гортани,
Иссяк источник горьких слез;
От щедрого дарами неба
Напрасно ждут крупицы хлеба,
Падут — и мир для них исчез.

Враги, плодящи нам напасти,
Напасти видят над собой;
Разжегши в персях тлевши страсти,
Исходят снова на разбой;
Толпами реются в жилищи,
Последню восхищают снедь;
Мечом, желая жизни впредь,
Не сущей истязуют пищи
(Смерть в сердце росса, смерть совне!)
И, все исчерпав злобы средства,
Еще избыть не могут бедства;
Тогда... Но ах! вещать ли мне?

Вещать ли лютость смертных рода
И зло, невместное уму?
Внемли — и восстени, Природа,
И солнце, преложись во тьму!
Кто, кто главе моей даст воду,
Потоки слез моим очам?
Да я, по дням и по ночам,
Тоске своей дая свободу,
Рыдаю оны страшны дни,
Студом словесных вечно черны,
В веках претекших беспримерны,
В грядущих временах одни.

Драконы, аспиды, гиены,
Рожденны с жаждой кровопийств,
Горячей кровью воздоенны,
Которых жизнь есть цепь убийств,
И те щадят себе подобных;
А смысл имущи существа,
Почтенны искрой божества,
Лютейшие чудовищ злобных,
Далече превзошли зверей!
Дерзнули, обуяв алчбою,
Питать себя, увы! собою
И люди пожирать людей.

Сарматы, да умалят муки,
Дыханье всяко погубя,

Подъемлют на россиян руки,
Беснуясь, жрут самих себя.
Простерли хищный глад свой в гробы
(Коль долготерпелив господь!),
И мертвых устрашенных плоть
Питает жадны их утробы.
Природы вопиющий глас
Страданий заглушают чувством
И, адским умудрясь искусством,
Творят неслыханный запас.

Порвите все свои заклепы,
Развейте ужас, что я рек,
О ветры, волн цари свирепы!
Пожарский с россами притек,
И россы с ним непобедимы!
Уже там сильною рукой
Готовит помощь Трубецкой;
Отвсюду смертью обстоимы,
Враги еще возносят рог,
Надежны на свою твердыню;
Вещают их уста гордыню,
И сердце буйное: несть бог.

Но се — как пруги ненасытны,
Скопившись тучею густой,
Летят на нивы беззащитны,
Пленяясь жатвою златой,
Пожрать надежду земледельцев —
Бегут сарматы без числа,
Из челюстей исхитить зла
Москвы погибельных владельцев,
Прибавить россам годы бед.
Примчались — разлились в долине,
О нашей хвалятся кончине
И строят знаменья побед.

Мечтающи полсвета вскоре
Послышать в узах под собой,
Столпившись, восшумев как море,
Идут начать с Пожарским бой.

Но россы изливают души
Пред вышним с воздеяньем рук:
«На свой не уповаем лук;
Ты дерзость дерзостных разруши,
Ты в помощь нашу днесь восстань!»
Безмолвны, верой воскриленны,
Вождя примером укрепленны,
Текут — сошлись — сразились — брань.

Взревели страшно громы яры,
Земля колеблется вокруг;
Летают смертные удары,
И строи упадают вдруг.
Пространно властвующим страхом,
Несытой гибелью войны
Окрестны движутся страны,
И дымом жупельным и прахом
Затмился воссиявший день;
Поверьх двух воинств раздраженных
От тысящ пламеней возжженных
Простерлась огненная сень.

Кипят кровавые потоки,
Шумит дремучий, грозный лес,
Подземны пропасти глубоки,
Куда не падал свет небес,
Из тощего стенают чрева;
Завывши, звери ищут нор,
Трясется твердость гордых гор
От бурного жерл медных рева;
Тучнеют кровию луга,
Мутятся и краснеют реки...
Престаньте, буйны человеки!
Ужели смертных жизнь долга?

Не выше ли земного круга
Взнеслись воюющи полки,
Что молнией разят друг друга,
Перуны мещут из руки?
Умолкли нестерпимы звуки,
Огни престали воздух жечь;

И воин всяк, иссунув меч,
Горит, презрев грозящи муки,
Отверсть себе опасный путь
В среду врагов, стеной сгущенных,
Железной смертью ополченных, —
Горит пронзить враждебну грудь.

Смесились ратники противны,
Во тьме лишь зрится острий блеск,
Лишь вопли слышатся прерывны,
Оружий сокрушенных треск;
Пылая мужеством обильным,
Алкая славы и хвалы,
Среди курения и мглы,
Спешит сразиться сильный с сильным,
Победой увенчать чело,
Врага низвергнув в мрачность гроба.
Стеклись, сразились, пали оба,
И солнце жизни их зашло.

Бесстрашен росс средь ядр ревущих,
Бесстрашен росс среди мечей;
Зрит тьмы смертей к нему грядущих
И вспять не отвратит очей;
Мольбы возносит сердцем к богу,
Рукою борет сопостат.
Уже сарматы много крат,
Кляня его отважность многу,
В постыдный покушались бег,
Но вновь разят, отмщеньем полны.
Так яры океана волны
То бьют, то покидают брег.

Пожарский в ужасах покоен,
В веленьях внятен, мудр и скор,
И в мыслях бранью не расстроен,
Повсюду мещет острый взор
И движет ратные громады,
Как телом действует душа.
Спасти отечество спеша,
Не слышит огненные грады,
Шумящи бурей вкруг его;

Из строя в строй летит стрелою,
Живит подвластных похвалою,
Крепит дух воинства всего.

Рядами жнет врагов сварливых,
Ему предходят страх и смерть;
Сломилась гордость горделивых;
Куда возмнит свой меч простерть,
Бегут сарматы целым строем.
Как вихрь, крутится конь под ним,
Гордится всадником своим,
Зовет беды и дышит боем,
Высоко прядает чрез рвы,
Бодрится грозным звуком ратным,
Смеется остриям булатным,
Играющим поверх главы.

Еще колеблется победа,
Кому отдать цветущий лавр;
Никто не воспящает следа.
Сколь тверд крутый, недвижный Тавр,
Чело кремнисто, вечно-снежно
Подъемлющ выше облаков,
Пренебрегающ ветров ков
И бурь стремление мятежно, —
Столь в брани росский тверд борец.
Но множество врагов несчетно,
Усилие россиян тщетно,
И близок славный им конец.

Но что? где вои дерзновенны,
Тебе послушны, Трубецкой?
Враждой завистной вдохновенны,
Хранят постыднейший покой!
Стоят со спящими мечами,
Хулений изрыгают яд;
Падение России чад,
Увы! сухими зрят очами.
Пожарский с храбрыми вотще
На смерть стремится непревратно;
Падет Россия безвозвратно,
Кто, кто спасет ее еще?

Никак, Отечество любезно!
Сынов довольно у тебя,
Пресечь готовых время слезно.
Се муж, отвергшийся себя,
Святейших алтарей служитель,
Грядущий в трудный след Христа,
Носитель своего креста,
Оставя тихую обитель,
Где богу посвящал свой век,
Богат духовной нищетою,
Подвигшись верою святою,
От бед спасать тебя притек.

Как каплет в дол с горы стремнистой
Перлова утрення роса,
Или от сота мед душистый, —
Благие мира словеса
Лиются из его гортани,
Текут — и услаждают слух,
Текут — и побеждают дух;
Провидя россов жребий в брани,
Сей новый, верный Авраам,
Добыча горестей безмерных,
Спешит уверить маловерных,
Косненья их открыть им срам.

«Россия близ златой свободы,
И вами ли попрется вновь?
Или вы изверги природы?
Иль тигров вам влиянна кровь?
Ужели заклялись вы твердо
К Отечеству насытить месть,
Своих злодеев превознесть,
Подвигнуть небо милосердо
Пролить нерастворенный гнев
На вас, преступных, полной чашей?
Воздастся казнь измене вашей,
И ад сведет о вас свой зев.

Отдайте жизнь, сыны России!
Полмертвой матери своей;

Обрушьте на враждебны выи
Ярем, носящийся над ней.
Творец и совесть вам награда,
Спасенных души и сердца,
Щедроты россов без конца,
И плач и тщетный скрежет ада...
Я зрю, уже кипите вы
Стяжать хвалу потомков позных:
Пойдем, врагов потопчем грозных,
Сотрем завистников главы!»

Срамясь правдивой укоризны,
Гнушаясь подлой быть виной
Падению своей отчизны,
Сомкнувшись, дышущи войной,
Текут отмщать своих собратий:
Сражают их убийц мечем,
Как быстрым молнии лучем,
Не терпят мужеству препятий;
Повсюду от ударов их
Холмятся трупы сопостатов,
Их стыд омыла кровь сарматов,
Пронзенных средь надежд своих.

Приемлют новый дух и крепость,
Пожарский! сильные твои.
Смирилась хищников свирепость;
Забыв кичения свои,
Трясутся от российской силы,
От пожирающих смертей,
Взыскуют к бегствию путей,
Сердцами робки и унылы.
Но кто еще с страны другой
Разит, мятет полки строптивых?
Се Минин, трепет нечестивых,
Се ты, России сын драгой!

Военным преисполнен жаром,
С дружиной храброю настиг,
Напал — и новым сим ударом
Решил победу в краткий миг.

Сарматы, бодрым духом скудны,
Гнетомые со всех сторон,
Бесчислен видя свой урон,
Дают хребет на язвы студны,
Бегут — и вслед им страх и меч;
Бегут — разят друг друга сами,
Не чая мест под небесами,
Куда от росса бы утечь.

Тираны пали сокрушенны —
Их срам гремит по всей земли;
Их кровью россы орошенны
Москву избавить потекли.
Летят на огненны стрельницы,
Летят — и что прервет их путь?
Враги, мечтая их препнуть,
Возносят слабые десницы,
Но сами падают стремглав,
И злоба бездны побежденна.
Москва, Россия — свобожденна:
Свершился вышнего устав.

Пустеют полные темницы,
Падут оковы с росских рук.
Исшедших рубища и лицы
Следы являют долгих мук;
Томимые во мгле, во смраде,
Во страхе смертного часа,
Вперяя взоры в небеса,
Пиют восторг. — Пожарский в граде,
И воинство героев с ним;
Сердца сограждан восхищенных,
Востоком свыше посещенных,
Летят во сретение им.

Спасители — разрушив брани,
Спасенные — оживши вновь,
Друг к другу простирая длани,
Безмолвием гласят любовь;
Сплетаются, как лозы юны,
Спрягают души и уста,
Кропят слезами все места;

И яры, пагубны перуны,
Хоть грозный рев их изнемог,
Еще внимая умным слухом,
Взывают, возрастая духом:
Велик, велик, велик наш бог!

Стремятся россы изумленны
К виновникам своих отрад;
На них, блаженством упоенны,
Несытый утверждают взгляд,
И радость ликовствует всюду.
Несется глас во все концы:
Пожарский, Минин нам отцы!
Чудясь нечаянному чуду,
Всяк росс, в весельи торжества,
С главой, цветами увязенной,
Сей первый день Москвы спасенной
Святит на вечны празднества.

Вкусив от сладости спокойства,
В восторгах тает весь народ;
Представя свары и нестройства,
Горчайший безначальства плод,
Минувших бед позор ужасный,
Стократно ублажает мир;
И в сердце устрояя пир,
Влечется волею согласной
Царя поставить над собой,
Дабы за твердой сей стеною
Пожить с любезной тишиною
И век не ратовать с судьбой.

Царя, который бы в законе
К правленью почерпал совет;
Благословлялся бы и в стоне,
Хромым был жезл, слепым был свет,
Преступным судия безмездный
И сотворил бы свой престол,
Другим — прибежище от зол,
Себе — ступень в чертог небесный.
Но что? Се возникает глас,
Подобный шуму волн спокойных:

Пожарский первый из достойных!
Да будет царь, кто царство спас!

Изящный правотой сердечной,
Нет в россах равного ему:
Да будет царь! — его превечный
Обрел по сердцу своему,
И крепость дал в его десницу
Отмстить обиды естества
Врагам людей и божества,
В добыче их создать гробницу,
Навек пленить России плен,
Расторгнуть нерастерзны путы,
Пресечь злодеев ковы люты
И жалы притупить измен!

Достоинств блеском облеченны,
Всеобщий утоляя жар
И чувством сердца увлеченны,
Духовный лик и сонм бояр,
Несущи утвари державных,
Величество богов земных,
Грядут — и вся Россия в них —
К свершителю деяний славных,
Которым дышит днесь Москва
По немощи своей плачевной;
Ему из глубины душевной
Износят ревностны слова:

«Внемли — гласит тебе Россия:
Ты в гибельной моей судьбе
Мои болезни, муки злые,
Как сын, восчувствовав в себе,
Стремился от битвы́ на битву,
На громы высился челом,
И зло преоборал за злом,
Не дал мучителям в ловитву,
Не дал свободы моея;
Меня, изнеможенну, сиру,
Воздвиг, явил во славе миру,
И се — тебе награда я!

Дерзай — приемли скиптр десницей,
Которой жизнь мне отдана,
Покрой блестящей багряницей
Мой труд понесши рамена;
На верьх главы богоугодной,
В которой бедствие мое,
Спасенье, паки бытие
Носились мыслью неисходной,
Взложи сияющий венец;
Одеян красотою царской,
На праздный трон воссядь, Пожарский!
Воссядь — и будь царем сердец!»

Рекли — гремят повсюду клики
И движут радостию тварь;
Несчетны восклицают лики:
«Да здравствует Пожарский царь!»
Герой, душою умиленный,
Смущен великостью наград,
Гром, плеск, колеблющие град,
Внимал, собой не ослепленный.
Народ провозглашал вотще;
Он пребыл тверд — и рек народу:
«Я зрю отечества свободу,
И можно ли желать еще?

Погибни тот со срамом вечным,
Кто бед отеческой страны
Быть может зрителем беспечным,
Дремать на лоне тишины,
Когда Отечество в неволе,
Лишенно силы и красы,
Счисляет язвами часы!
Но росс ли создан к рабской доле,
Ярем иноплеменных несть,
Влечь жизнь в бесчестии глубоком,
Тиранов видеть тихим оком
И не подвигнуться на месть?

Я долг свершал, дерзая в бои,
И что пред долгом все беды?

Не я — сии, сии герои,
Трудами одолев труды,
По бедствах, коим нет подобных,
Поправ сарматскую змию,
Исторгли братию свою
Из челюстей ее всезлобных,
Чрез них возник земный Эдем
Для россов из земного ада;
И я — о, из наград награда! —
Сподобился быть их вождем.

Господь возводит на престолы,
Владеть оправдывает он;
Вотще чрез пагубы, крамолы
Теснятся хищники на трон.
Пусть высоты достигнут звездной,
На землю наведут боязнь, —
Приспеет медленная казнь,
Восторгнет их рукой железной
И свергнет в тартар от небес.
И я — дерзнув ступить на царство,
В себе вместил бы их коварство,
Их студ достойно бы понес.

Умерим радости чрезмерны,
Возвысим святость древних прав,
Явимся, россы, клятве верны;
И богу божие воздав,
Который рассудил правдиво
С язы́ком лютым нашу прю,
Царево воздадим царю;
Карая нас чадолюбиво,
Всевышний ветвь царей укрыл
От алчной злобы Годунова:
Под сению его покрова
Цветет Романов Михаил.

Да воцарится сей над нами!
И мы пожнем блаженства плод.
Богат Отечества сынами
Романовых преславный род.

И ныне Филарет священный,
Исполнен дел благих и дней,
К губителю страны своей
Потек боязнью не смущенный;
России дав святый обет
Умреть за чад ее и веру,
Предстал бесстрашен изуверу,
Бесстрашен страждет девять лет.

Ни зрак мучителя претящий,
Ни ярость вкруг него врагов,
Ни глад, всю внутренность палящий,
Ни лесть, ни теснота оков,
Ни злейший мук позор святыне
Не превратили сердца в нем, —
Разимый нощию и днем,
Он тверд, как адамант, поныне,
И злость злодеев утомил.
Почтим во старце верность строгу,
Пойдем — воскликнем славу богу:
Да воцарится Михаил!»

Плененный чувств сих высотою,
Еще безмолвствует народ,
Приятной связан немотою;
Но вдруг воззвал — и горний свод
Исполнился взываний гласных:
Да воцарится Михаил!
Воззвал — и путь свой устремил,
Ликуя от сердец согласных,
Пред алтари царей царя.
Так, движимы с высот луною,
Подвигшись всею глубиною,
Текут шумящие моря.

Герой! Средь тех в России звуков,
Которых гул, в твою хвалу,
Катясь от праотцев до внуков,
Гремя сквозь шум времен и мглу,
Раздастся в вечности безмерной, —
Един ли я пребуду нем?

Никак! — Но пусть погибнет в нем
И мой ничтожный глас усердный;
И я спасен тобой от бед,
И я воскликну дерзновенно:
Велик, велик ты незабвенно
Кровавых множеством побед!

Но сей победою бескровной
Ты всех героев победил;
Смирясь пред властию верховной,
Превыше оной воспарил,
Проникнул славой в сонмы звездны.
Уставить зыблющийся трон,
Избавить веру и закон,
Извлечь Отечество из бездны —
Само собой есть верьх утех.
Пред сим ничто венец, порфира,
Ничто весь блеск, вся слава мира,
Ничто подданство смертных всех!

Вещайте, славные народы!
Сыны всех лет, всех стран, всех вер:
Блеснул ли где в претекши годы
Толикой доблести пример?
И дух, толь истинно небесный,
Витал ли некогда средь вас?
Воздвигните хвалений глас,
Гремите россу плеск безлестный,
Ему совместника в вас нет:
Един Пожарский во вселенной!
Но что? — вотще стремлюсь я, бренный,
Умножить искрой солнца свет.

Пространны не вмещают храмы
Грядущих богу дать хвалу,
Дымятся чисты фимиамы
И сладкую наводят мглу;
Избегшие смертей и плена
Благодарят всех благ творца
И, сокрушив свои сердца,
Смиренно преклонив колена,
Блажат несведомы судьбы;

И все, в веселии великом,
Единым духом и языком
Возносят пламенны мольбы.

Тебя мы хвалим, боже вечный,
Телес и душ безмездный врач!
Ты утишил наш стон сердечный,
Утешил неутешный плач,
Смиряя, ты смирил порочных;
Но вняв раскаяния глас,
От смертной тли воззвал и спас;
Развеял тьмы злодеев мочных,
Как листвие осенних древ;
И мышцей сотворил державу,
Вселил в России мир и славу,
На благость преложил свой гнев.

Послал отраду безотрадным,
Явился в немощных бог сил;
Как злато пламенем нещадным,
Ты нас бедами искусил,
Исчислил слезы неисчетны
И с наших осушил ланит;
Над нами утвердил свой щит,
Да мы пребудем безнаветны.
Заря взбудила дня молву,
Терзался град бичом от терний;
Ты рек, — и солнца луч вечерний
Златит ликующу Москву.

Тебя, живущий на высоких!
Прославим, россы, в род и род.
Взыграй, земля, из недр глубоких!
Склонись, склонись, сафирный свод,
И, го́ры, возопийте радость!
Природа, воскури алтарь!
Воспой с Россиею, вся тварь,
И с нами песней ваших сладость
Слияйте, жители небес!
Снедайся, в козн́ях ад обильный,
Россию воскресил всесильный,
На камень крепости вознес.

Так вы, о россы пресловуты,
Пожарский, Минин, Гермоген,
Скончали годы наши люты!
Так скипетр российский сохранен!
Спасенна от цепей Россия,
Растуща в силе каждый час,
Хваляся, хвалится о вас;
Седит, вкушая дни благие,
Полмира осенив рукой,
На высшей счастия степéни.
Простите мне, священны тени!
Что я нарушил ваш покой;

Дерзнул, певец безвестный в мире,
Приявший скудный дар в удел,
На слабой и нестройной лире
Бряцать великость ваших дел.
Почто парящий Ломоносов,
Парнаса росского творец,
Не сплел достойный вам венец?
Пленяясь доблестию россов,
Горжусь, что россом создан я;
И если бы возмог искусством
С сердечным состязаться чувством,
Жила бы с вами песнь моя.

Вы, презря варваров безбожных,
Умреть готовые всегда,
По подвигах, лишь вам возможных,
Успели положить тогда
Величию России семя.
Оно тепéрь ливанский кедр,
Который, мирной тенью щедр,
Летяще презирая время,
Главою разделив лазурь,
Смеясь громам и вихрям тщетным,
Гонимым, беззащитным смертным
Дает убежище от бурь.

Оттоле росс, злодеям страшен,
Покоит сушу и моря;
Изрядством всяким преукрашен,

Чтит сердцем бога и царя;
На глас царя, на глас России,
Пойдет один противу царств;
Пред ним — ничто навет коварств,
Ничто воюющи стихии,
Ничто зияющий хаос,
Ничто и тартар возбешенный;
Хоть мир падется сокрушенный,
Бесстрашен разразится росс.

О росс, народ благословенный!
Геройством, благостью души
Единственный во всей вселенной!
Мои моления внуши:
Пробавь любить честные нравы
И веру праотцев своих!
Будь в истине ревнитель их!
Отвергни чуждых стран отравы,
Почти богатый свой язык,
Пылай к царю, Христу господню:
Будь росс! — преможешь преисподню
И вечно будешь ты велик.

⟨1807⟩

144. ПРИГЛАШЕНИЕ ДРУЗЕЙ НА ВЕЧЕРНЮЮ БЕСЕДУ

Уже сияющий златого дня родитель,
Великий царь светил и света предводитель,
По зимним небесам свершив свой краткий путь,
В чертоги запада укрылся отдохнуть.
И се! одевшись тьмой, Ночь хмурая, немая,
Вздыханиям моим о свете не внимая,
Сквозь окна кажет мне насупленный свой зрак
И в храмину мою вселяет черный мрак.
Услужливый *Хохлов* [1] ударил сталью в камень:
Заискрился огонь, от искр родился пламень,
Приемлет в пищу воск и мне в ночную тень,
Как солнце новое, блестящий вводит день.
Сияет на столе сосуд из меди чистой,
И в нем шумит, кипит Невы ручей сребристый;

[1] Слуга мой.

В скуделях непростых древес китайских цвет
(Которым лечится и лакомится свет)
Готов утешить вкус и дышит ароматом;
В прозрачнейшем стекле, сверкая ярким златом,
Целебный крепостью, отрадный лозный плод
Воздержности сулит прибавить к жизни год;
Гордится белизной пшеницы тук приятный,
Любимейшая снедь природы неразвратной;
В себе и вне себя я ощущаю мир,
И вдруг в моих стенах благоухает пир.
О присные мои! которых всесодетель
Призвал распространять в России добродетель,
Воспитывать птенцов полночного Орла,
Блюсти от внешнего и внутреннего зла,
Учить их ревновать великих душ примеру,
Вливать в их нежну грудь бесстрашие и веру, —
Вы много, много раз являли мне любовь,
Стекитеся ко мне — и днесь явите вновь,
Почтите своего усердного клеврета.
Меж вами живучи, не знаю я навета,
Не знаю я досад, не знаю я тревог;
И в мнениях своих хотя кажуся строг,
Но дух мой полон к вам любви нелицемерной,
И сердце прыгает от радости чрезмерной,
Что всех вокруг себя увижу скоро вас,
Услышу, сладкий мне, гортани вашей глас.
Придите, сокрушим тиранский скипетр Скуки,
Соединим сердца, соединяя руки,
Дадим течение рассудку своему
И будем братия и други по всему.
Как пчелы из цветов сосут прелестну сладость,
Так мы от дружества почерпнем мудрость, радость;
Гнушаясь хитрости и вежливых коварств,
Прогоним от себя языки чуждых царств,
Но с русской простотой своим родимым словом
Беседовать начнем о старом и о новом.
Друг другу подтвердим, что истый русский дух,
Как огнь у нас в груди, не токмо не потух,
Но пламенем горит. — Чтоб предков наших тени
Не плакались на нас, не делали нам пени,
Напротив бы, еще исполнились отрад,
Россиян видя в нас, себя достойных чад,

В любви к отечеству им, сильным, равномочных.
Явимся полны свойств невинных, непорочных,
Чтоб отрок девственный от наших всех речей
Ни разу не склонил к земле своих очей.
Судьею чувств и слов возьмем стыдливость строгу.
Начатки наших дум предложим в жертву богу,
От тварей научась, колико благ творец,
Дадим ему хвалу от радостных сердец;
Возлюбим чистоту и таинства закона,
С восторгом ощутим, как в пениях Сиона
Дух божий разливал живительный свой жар;
Признаем, что пред сим — ничто природный дар,
Дар оный выспренний, которым, как перуны,
Из тьмы язычества гремят нам лирны струны.
Прилепимся душой к писаниям святым
И сердцем огненным, и разумом простым
Восхвалим святость их и веру нашу праву;
Она являет нам всю творческую славу,
Как солнце, как земля, как звезды, как моря,
Она есть дело рук небесного царя,
Достойна требовать от смертных всех покорства.
В законе утвердясь, коснемся стихотворства:
Богато сладостьми и пользами оно,
Над всеми тварями господствует равно.
Так солнце, шествуя по выспреннему своду,
И красит и живит всю зримую природу.
Искусство славное! тобою человек,
Забвения избыв, красуется вовек;
От пагубных страстей ты защищаешь младость,
И пения твои приносят старцам радость,
Но ведай — и смирись: тебе послушных нет!
Ты можешь восхищать, но не исправить свет.

Поспешно прелетим к богатству слова россов,
Услышим, как гремит витийством Ломоносов:
Он в слове сем открыл неистощимый клад,
Мальгерба превзошел и с Пиндаром стал в ряд, —
Колико в нем стихов, толико нам уроков.
Услышим, как поет обильный Сумароков,
Как дышит нежностью, пленяет простотой,
Как важен звучностью, приятен остротой.
Венец Горация присудим Кантемиру.

Вострубим похвалу российскому Омиру,
Он первый поприще труднейшее претек
И пением своим продлил России век.
Прочтем Державина парящи к небу оды
И тем совместные, какими в вечны роды
Пред светом хвалится и Греция и Рим;
Восторг и чудеса мы чувствуем и зрим,
Восхитясь, воспылав его чудесным даром,
Начнем сей дар хвалить с веселием и жаром.
Потом у нас в кругу пусть славится Княжнин,
Идущий по пути, которым тек Расин;
Софокла Галлии искусный подражатель,
Пороков общества забавный порицатель,
Он тем уже снискал немолчной славы слух,
Что мог изобразить великий росса дух.
И ты, играющий и мыслями и слогом,
От нас приимешь лавр, сердечных чувств залогом,
Писатель Душеньки! второй Анакреон,
Певцам веселия достойный дать закон;
Ты вечно в лике их пребудешь величайший.
Найдется ли где мед, стихов твоих сладчайший?
Где столько нежностей для сердца и ума,
Которых не нашла и Сафо бы сама?
Где, где мечтание толь быстро и шутливо?
Но жаль, чрезмерно жаль — коль молвить справедливо, —
Что баснословие, сей вечный смертных стыд,
Имеет у тебя прелестный, смелый вид;
Лишь истина красна, лишь истина любезна,
И баснь язычников для верных достослезна.

Потом начнем судить, пристрастия отстав,
Как складным делать слог, — и примем за устав
Обычаю отнюдь не покоряться духом,
Но искушать слова и разумом и слухом:
Вернее в дни сии держаться старины;
Хоть можно иногда, без смертныя вины,
Легохонько сметать пыль с древности языка.
Беды в сем деле нет — да в том беда велика,
Что мы, сметая пыль, сдираем красоту
И любим без ума чужую нищету,
Презрев несметные отцов своих богатства.

Погрешности певцам простим за их изрядства.
Как смертный человек быть может совершен?
Кто чужд погрешностей? Кто слабостей лишен?
И солнце иногда оскудевает в свете.
Не станем разбирать по действу, по примете
Все свойства добрыя и злобныя души;
Положим, будто бы все люди хороши.
Заметим только то из нравственной науки,
Что в дольнем мире сем, в дому утех и скуки,
Ни злато, ни сребро, ни светлые кремни —
Лишь добродетели счастливят нас одни;
Что лучше дни влачить в углу неосвещенном,
Чем жить с неправдою в чертоге позлащенном;
Что тот из нас блажен, кто ближним чужд вреда,
В ком совесть бодрствует и девствует всегда.
Приятной речию забавяся доселе,
Начнем совещавать о главном нашем деле:
Как в юные сердца страх божий насаждать
И тем на них привлечь небесну благодать,
И тою предварить душевны недостатки;
Чтоб дети нежные, самих себя начатки,
Невинностью цвели под дланию царя.
Душой к творцу, к царю, к отечеству горя,
Возвысясь, возмужав, став смелы исполины,
Дерзали с силою на брань поверьх пучины;
Чтоб в них восстали вновь для гибели врагов
Апраксин, Головин, Орлов и Чичагов
И выше вознесли Россию над вселенной.
Нетрудно нам достичь сей цели вожделенной,
Потщимся только вслед старейшинам своим,
Сынам отечества и мудрым и благим,
Россию любящим и ей самой любезным;
Ко всякому добру, ко всем трудам полезным
Примером собственным предводят нас они.
О небо! увенчай блаженством все их дни.
В конец же наших слов, друзья! прошу усердно
Тому хваление воздать нелицемерно,
Кто, песнь мою почтив хвалением своим,
У трона теплым был предстателем моим:
Живи средь радостей, друг мудрости и чтитель!
Светильника ее на севере блюститель,
Умеющий ценить различный лирный звук,

Искусный расширять в России свет наук,
Горящий водворить в ее градах и селах,
Во всех ее странах, во всех ее пределах
Достойно росских чад сияние ума,
Чтоб всякая везде пред ним исчезла тьма,
Чтоб россам первенство отдали все народы.
Успехом веселись — промчится в поздны роды
О подвиге твоем отрадный смертным клик.
Так дружбой усладясь, друзей и братий лик,
Так время искупив — и вечер зимний, длинный,
Согрев и сократив беседою невинной,
Едва над башнями преполовится ночь,
Мы станем вечерять, отгнав излишность прочь,
И пищу, данную от благости превечной,
Приимем в радости и простоте сердечной.
Не станем в ней искать телесной толстоты;
Сия парящий ум лишает быстроты:
Чем толще человек, тем бренности в нем боле.
Пусть каждый досыта и ест и пьет по воле,
Нисколько не чинясь, как дома у себя.
Воздержностью дыша, подобных нам любя,
Жалеть не преминем о тех трапезах тучных,
Где жадность восседит под шумом ликов звучных,
С отверстой челюстью, с бесстыднейшим челом,
Деревни целые глотает за столом;
Где детищи ее, от шумства громки, смелы,
Во цвете юности от неги престарелы,
Бросают, пресытясь, на яствы алчный взгляд,
И пьют, и льют в себя шампанский острый яд,
Спешат быть жертвами обжирства и опийства,
Сего сугубого самих себя убийства.
Но мы, друзья! не так. — Везде, во всякий час,
Да будет трезвая умеренность при нас,
Источник здравия, от немощей ограда.
Мы, пищей укрепясь и силой винограда,
И умудрив умы, возвеселив сердца,
Щедроты восхвалив небесного отца
И милости его для нас неизреченны,
Довольные собой, друг другом восхищенны,
Разыдемся вкушать приятну сладость сна,
И в души к нам с небес прольется тишина.

8 декабря 1809

145. ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Лирическое песнопение, в осьми песнях

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Содержание

Уподобление Полтавской битвы ужаснейшим явлениям в природе. — Битва. — Храбрость войск Петровых. — Петр сражающийся. — Карл сражающийся. — Они сходятся друг с другом. — Карл уязвленный упадает. — Собравшись с силами, на носилках носимый, понуждает паки войски свои к сражению. — Бой возобновляется с большею лютостию. — Шведы ослабевают. — Бегут. — Бегущий Карл. — Бегущий Мазепа. — Последние чувствия сего изменника. Кончина его. — Обращение к нему. — Молитва Петрова по одержании победы. — Воззвание к псалмопевцу. — Изложение слов его. — Петр награждает своих сотрудников. — Изливает от щедрот своих и на пленников. — Предлагает учреждение своим и шведским пленным военачальникам. — Признает шведов учителями своими в военном искусстве. — Удивление и радость их. — Петр возвращается от брани. — Россияне с восторгом его сретают. — Москва паче всех градов ликовствует. — Воззвание к Петру и ко всем победителям полтавским.

Представь — что, ветрами несомы,
Затмив природы светлый взор,
Рождая молнии и громы,
Две тучи, с двух железных гор,
Земле ветшающей солетных,
Сшибаются на высоте;
Две бури, пружась в тесноте,
Расторгли толщи стен их тщетных
И бьются средь воздушных стран;
Воюют в мраках нощи днéвной,
Смущают землю распрей гневной,
Мятут и роют океан.

Представь — дождевные потоки
Столпами вержутся с небес,
Ломаясь о скалы́ высоки,
Падут с утеса на утес

И полнят трепетом окрестность,
Срывая камни с крутизны
И долу роя глубины,
Кипящи, реются в безвестность;
Что вихри, чада облаков,
Шумящи влажными крилами,
Борясь с твердеющими мглами,
Износят реки из брегов.

Представь — что быстрины мятежны,
Следами стропотных стезей,
Блуждают по полям безбрежны,
Грозят потопом твари всей
И мчат в дальнейшие пределы,
Взыскуя горшего вреда,
Древа, и камни, и стада,
Людей, и хижины, и селы;
Что свыше, злобясь до конца,
Гроза перуном кровоцветным
Коснулась хлябям огнеметным,
Возжгла их жупельны сердца.

Представь, что пламенные реки,
Под морем и землей виясь,
Стремятся, упреждая веки,
Вселенныя расслабить связь;
Что горы прядают — и вскоре,
Отторгшись от своих корней,
Рассыпались в бугры кремней;
Земля волнуется, как море,
Из бездн всплывают острова,
На дно пучины грязнет суша;
Природа, весь свой чин разруша,
Болезнует, едва жива.

Представь — что в пропасти бездонны
Изрылись долы и поля,
Несутся к небу вопли, стоны,
И, зинув, алчная земля
Глотает осужденны грады
И смертным всем являет страх;
Что распадаются во прах

Столпы всемирныя громады
И паки воскипит хаос,
Всеместность тяготы нестройной.
Се вид битвы Полтавской знойной!
Се вид, как поражает росс.

Се пагуба свой меч простерла,
В персть смерти сонмы возлегли;
Рыкают медны брани жерла,
Дрожит от них испод земли.
Полтава, ревом их борима,
Дает боязненный свой глас;
Едва мелькнувший день угас,
Угас в багровых тучах дыма,
Перуны, раздирая тьму,
Блестят, гремят, разят, ничтожат
И гибель гибелию множат,
Враждуя естеству всему.

Но россам ужас сей не страшен;
Против громов уставив грудь,
Надежнейшую стен и башен,
Вступают смело в смертный путь.
Текут веселыми ногами
Сквозь стены огненных дождей
По манию своих вождей
Сразиться с ярыми врагами.
Пронзают готские сердца
Их острия триобоюдны,
И готы, дерзостию чудны,
Колеблются от их лица.

Всяк росс в пылу битвы кровавой
С толиким ратует огнем,
Как будто всей своею славой
Победа оперлась на нем;
И даже оскудевший в силах
И всю свою изливший кровь,
Еще к отечеству любовь
Текущу слышит в хладных жилах;
Хоть смертный рок его постиг,
Повержен, изъязвлен мечами,

Страшит противников очами,
И лют его последний миг.

Глас гнева грозныя России,
Гремящий страшно на врагов,
Сей глас, терзающий стихии,
Внимая близ своих брегов,
Умолк, смирился Днепр смущенный,
Прервал свой шумный, бурный бег
И в ложе трепетен возлег.
Давно уже сквозь мрак сгущенный
Российский не сверкает меч,
Но каплет готов кровь густую,
Ее, нещадно пролитую,
Творит кипящим током течь.

Но кто, кто там примером дивным
Россиян поощряет в бой?
Воюем воинством противным,
Владеет, кажется, судьбой;
Небесной истине послушен,
Жадающ гордость гордых стерть,
На готов воскриляет смерть;
В бедах растущих благодушен,
К делам великим быстр как ветр,
На ужасы глядит спокойно,
И тьмами сильных движет стройно?
Боязнь врагов гласит: се Петр!

Подвигшись разумом обильным,
Предзрел, исчислил, повелел;
Разит — отъемлет духи сильным
И в груды безобразных тел
Враждебны претворяет строи,
Разит — и меч его хвала.
Смотря на славные дела,
Ему дивясь, ревнуют вои;
К нему сердца свои вперя,
Воюют по его глаголу.
Так ангел вод, по произволу,
Вздымает и кротит моря.

Прешли кичения продерзких;
Не столько молния острá,
Как меч Петров для сонмов зверских.
Не столь в парении быстра
Стрела от сребряного лука,
Пущенна в высоту паров,
Как борзый, пылкий конь Петров;
И Петр, средь гибельного звука,
Средь тем искусственных смертей,
Устроенных геенским гневом,
Летающих повсюду с ревом,
Щитит собой своих детей.

Противников теснит в могилы,
Отмщая кротки небеса,
И пожинает цвет их силы,
Как злак звенящая коса.
Сраженные его десницей,
Державы готския столпы
Поверглись пред его стопы.
Сверкая сталью, как зарницей,
Забрало твердое от бед
Для россов, доблестью примерных,
Не чувствует трудов безмерных
На трудном поприще побед.

Блажимый жребием победным,
Болит душою о своих,
Ссеченных острием зловредным,
И скорбию скорбит о них;
И милость, красота героя,
Ходатаица торжества,
Начально свойство божества,
Петру своинствует средь боя:
Он слышит слезную мольбу
Врагов своих, достойных мести,
Покоит их покоем чести
И в язвы их лиет цельбу.

Против Петра, как вихрь жестокой,
Пред коим стелются древа,
Карл ратует рукой высокой;

И подвигов его молва,
Гремяща, полнит ратно поле.
Растут опасности пред ним,
Но, славы жаждою гоним,
В опасностях опасный боле,
Убийством веселит свой дух.
Кровавой сечи шум железный
И стон и вопль падущих слезный
Питают в сладость Карлов слух.

Добыча едкия досады,
Служитель смерти, муж кровей,
Разит — и нет, и нет пощады.
Грызомый гордостью своей,
Спешит истнить Петровы войски,
Отмщая сил своих упад,
Со срамом сверженных во ад.
Пронзенные в сердца геройски,
Пред ним валятся россы в прах;
И удивленно их делами,
Лицем вися над их телами,
Вздыхает Мужество в слезах.

Воюет Карл судьбы гневливы,
Вселяя бодростью очес
Бесстрашие в сердца страшливы,
Растет надеждой до небес;
Пылает гнев в его утробе,
Промещет искры на лице;
Возросший в лавровом венце,
Горит узреть Петра во гробе.
И се — сквозь частые полки
Просекшись вдруг мечем багровым,
Предстал пред мужеством Петровым
Прославить мощь своей руки.

Лиется месть с кровавых взоров,
Как нощь власы по раменам;
Игралище страстей, укоров,
Подобен яростным волнам,
Текущим низвратить твердыни,
Напал на камень росских чад,

Уставил на Петре свой взгляд
И зрит уже с высот гордыни
Россию в рабственных сетях,
Стенящу, гибнущу, полмертву;
Так смотрит лютый тигр на жертву,
Трепещущу в его когтях.

Но Петр, грядущий в сени смертной,
Отнюдь не убоялся зла,
Ни бури злобной, злонаветной.
Как два враждебные орла,
Великие, великокрилы,
Свирепы, многие ногтьми,
И тверды грудью и костьми,
Сыны отважности и силы,
Едва узрелись меж собой,
Несутся быстротой чудесной,
Полетом мерят свод небесный,
Над тучами вступают в бой.

Терзают, рвут один другого,
Терзают, рвут, терзают вновь,
От облак до лица земного
Дождит дымящаяся кровь;
И воплем вопль усугубленный
Сторичен слышится в горах,
Пернатых всех сражает страх,
Доколе, смертно изъязвленный,
Один бессилен ниц падет,
И обагренный победитель,
Свободный воздуха властитель,
Подъемлет к солнцу свой полет.

Равно гнушаяся покорством,
Так Петр и Карл стеклись в огне —
Восхитить лавр единоборством,
Сомкнуть отверстый зев войне,
Дать вид иной земному кругу.
Петр — зиждущ россам век златой,
Карл — полн великости мечтой,
Во брани сверстные друг другу.
И вдруг — где кровь рекой текла,

Где брань свирепствовала боле,
Широкое отверзлось поле,
Престали ратные дела.

Над поприще, решитель боев,
Весы свои спускает рок,
Извесил обоих героев,
И Карл является легок.
Исчезло зрелище ужасно
Волнующейся рдяной мглы,
Недвижны вои как скалы,
И Ожидание безгласно
Стоит, притрепетно, вокруг.
Скрежещет токмо смерть зубами,
Что смертных не грызет толпами,
Что в пище оскудела вдруг.

Геройство, крепость и искусство
Равно блеснули в обоих,
Пленяют зрящих дух и чувство,
В мятущиеся перси их
То мещут радости, то страхи.
Сверкают витязей мечи,
Как блески молнии в ночи,
Творят далекие размахи,
Виясь, играют в их руках
И сыплют искры воспаленны,
Сшибаясь, как столпы червленны,
На бранноносных облаках.

Кончая тщетны острий звуки,
От коих страждет бранный жар,
Подъемлют жилистые руки
Последний ускорить удар.
Довольные сражаться с львами,
Петр зрится в Карле, Карл в Петре:
Мечи, блеснув, взнеслись горе,
Висят, висят над их главами;
Но Петр искусством предварил,
Превысил силой неоскудной,
Поставил край борьбе всечудной,
Ударил — и не повторил.

Упал, упал Гигант надменный,
И шум падения его
Исшел во все концы вселенной;
Среди киченья своего
Упал борец, Петру неравный.
Он целый мир теснил собой,
Но свержен праведной судьбой,
Покрытый перстию бесславной,
Бездушствует в своей крови;
Безгласен, мертвому подобен,
Но горд еще, на россов злобен,
И к готам слабым чужд любви.

Как дуб нагорный, живший веки,
Стяжавый против вихрей мощь,
Под ветви коего далеки
От света убегала нощь
И тьмила низкие долины,
Как сей, от бури громовой,
Над ним ревущей, роковой,
Стенящ от корня до вершины,
Сраженный яростью ея,
Падет, шумя главой лесистой,
Влачит по крутизне кремнистой
Рушенье славы своея, —

Так ратная рука Петрова
Над Карлом совершила казнь,
И готов, обнаженных крова,
Обуревает вдруг боязнь;
Но стыд и месть влекут на битву.
И Карл, носимый на одре,
Признав совместника в Петре,
Готовый, жадный на ловитву,
Из глубины души воззвав
Свои Петром сраженны силы,
Женет на смерть полки унылы,
Убийством полнит свой состав.

Тогда возникли многи бои,
Слились в един кровавый вид,



А П Бунина



На сечу соступились строи
И мстить и множить Карлов стыд.
Мечем и зелием могущим
Плодят тьмочисленны беды.
Весь воздух стал от их вражды
Игралище громам ревущим,
То осязаемая тьма,
То мгла, пронзенна молний блеском,
То огнь, борющийся со треском, —
Средь жертв мятется Смерть сама.

Как понт, приливом понужденный,
Бег ветров силится препять,
То, силой ветров побежденный,
Бунтуя, отступает вспять, —
Так смутну вижу брань кроваву.
Но россам возгремит хвала.
Разя противных без числа,
Вселяют в персть их древню славу;
Читают на челе Петра
Надежду скорыя победы.
Вотще неистовствуют шведы,
Близка их гибель и быстра.

Вотще, к покорству непреклонны,
Друг друга славою кича,
В самом уроне безуронны,
Падут под острием меча.
Смертей звенящие обломки
Уже усеяли поля,
Вскипела кровию земля,
Стенания и вопли громки
Смутили тишину небес;
И всюду устрашенны взоры
Сретают страшные позоры,
Достойные потоков слез.

От смерти храбрым нет заступы:
Разит со всех возможных стран;
Дымящися от молний трупы,
Исполнены железных ран,

Разметаны на пищу тлену, —
Се горький плод ее игры.
Пронзенных воинов бугры,
Коней, точащих кровь и пену,
И целые полки в кострах,
Ограды двух народов тверды,
И в перси каменны, злосерды,
Лиют жаление и страх.

Уже изнемогают готы,
Проник до душ их росский меч;
Уже от бедствий жаждут льготы
И озираются утечь.
Как класы, побиенны градом,
Лежат приникнувши к земли,
И ратаю, еще вдали,
Грозят свирепым, хищным гладом, —
Так готы, горды до конца,
Мертвеют, тысящьми простерты;
И тысящи еще не стерты,
Но трепет входит в их сердца.

Но стерлись с крепостью их луки,
Не льстят и славы им лучи;
И долу падая, их руки
Роняют тяжкие мечи.
И сердцем оскудев и духом,
Забыв и лавры многих лет,
И весь на них смотрящий свет,
По коему гремели слухом,
Кляня предательство и кознь,
Мятутся, как пред бурей воды;
Бегут — пред коими народы
Со страхом разбегались врознь.

Страшилищи всея полночи,
Бегут, не ведая куда;
Боязнь, как мгла, мрачит их очи;
Стягченны бременем студа,
Бегут пред росскими сынами,
Вверяют жизнь свою Днепру;

Но Днепр, покорствуя Петру,
Пожрал их шумными волнами.
Метаясь пред благим царем,
Останки, избегая брани,
На узы простирают длани,
Склоняют выи под ярем.

Сам Карл, всем россам неприязнен,
Признал их первенство в сей день;
Сам Карл, страдающ и боязнен,
Как робкий, язвенный елень
(От страха каменеют члены
И сердце умирает в нем),
Несомый пламенным конем,
Помчался в земли отдаленны
От лютой с россами войны;
Бежит чрез непреходны скиты,
Волчцами, тернием покрыты,
Под власть неверныя Луны.

За ним злокозненный предатель,
Который, в страшный час битвы́,
Российской крови излиятель,
Отличен гордостью главы,
Мечтал сразить полки Петровы,
Злодейства ужасом гоним,
Бежит — и чает, что над ним
Возжечься молнии готовы
И, мстительным огнем паля,
Истнят рушителя закона,
И что его, как Авирона,
Поглотит гневная земля.

Избег далече, небрегомый,
Как вран витая по горам;
Но совестью своей жегомый,
Безмерен чувствуя свой срам,
Гнетомый злобой неисходной,
Едва свободный воздохнуть,
Невольно прерывает путь.
Как туча, на скале неплодной
Сидел он мрачен и угрюм;

И мысли черные, постыдны,
Как в терние спешат ехидны,
Спешат в его нечистый ум.

В груди, глубоко вкорененно,
Растет желание честей;
Как угль — в нем сердце потемненно,
Проникнул трепет в тук костей
И в глубину души мятежной.
Он весь дрожит, как легкий лист,
И в слух его, как вихрей свист,
Шумит глас мести неизбежной;
И кровь им преданных на смерть
Стремится на него как море:
Не смеет он, погрязший в горе,
Воззреть с надеждою на твердь.

Язвится светом благодатным,
Как аспид, кроется во мгле,
Волнуем умыслом развратным,
Носящий ужас на челе
И ненависть ко смертных роду,
Из чрева тощия скалы
Рыгает на Петра хулы,
Клянет себя и всю природу.
В очах его густеет ночь,
Яд злобы пенится по жилам;
Но мысль вредить Петровым силам
Еще не отступает прочь.

Мученьем скорби безотрадной
Пронзаясь до души своей,
То мещется как вепрь зложадный,
То извивается как змей;
Взревел гортанью громогласной
От бездны сердца своего,
И жизнь оставила его;
Погиб погибелью ужасной,
Льстецам ужаснейший урок.
Но в сем, о дерзкий возмутитель!
Своих собраний утеснитель! —
Но в сем не весь еще твой рок.

Познает позднее потомство,
Как жизнь отечество любя,
Твое пред оным вероломство,
И клятвой проклянет тебя.
Воссетует твоя отчизна,
Что в ней приял ты бытие;
И имя гнусное твое
Злодеям будет укоризна.
Изменник слову божества,
Изменник долгу человека,
От рода в род и род до века
Ты будешь срамом естества.

Се враны, привлеченны смрадом,
Разносят плоть его в когтях;
И гады, дышащие ядом,
Гнездятся грудами в костях.
Из недр, из устия вертепа,
Шипят трижальные змий,
И всем шипения сии
Вещают: здесь гниет Мазепа!
Не зреют век красы весны
Вокруг сей дебри многобедной;
И путник, трепетный и бледный,
Бежит далече сей страны.

Взыграла радостью Полтава,
Кончину сопостатов зря.
На крылиях победы Слава
Парит — и росского царя
До звезд возносит по вселенной.
Внимающа полтавский гром,
Земля умолкла пред Петром;
Пред силою его явленной
Смиряются, ругаясь Льву,
Народы, племена, языки;
И венценосные владыки
Признали в нем свою главу.

Но Петр, на высоте смиренный,
Войну из мыслей истребя

И меч, невольно обагренный,
Далече вергнув от себя,
На месте распрей многобедных,
Где злом усугублялось зло,
Склоняя до земли чело,
Средь воинов своих победных,
Составив с ними общий лик,
Пылая духом благодарным,
Сверкая взором огнезарным,
Речет: «О боже! Ты велик!

Ты ныне воссоздал Россию,
Бог славы, милостей и сил!
Стер челюсти и льву и змию,
Своей десницей осенил
Над нашею главой в день брани.
Ты радостью ущедрил нас,
Грядущи роды россов спас
От рабственной, позорной дани;
Прервал народов многих плен,
Страдавших бедства несочтенны,
Как сильный верви треплетенны,
Которым прикоснулся тлен.

Рек враг, кипящий злым наветом:
Под солнцем власть моя крепка,
Пойду — и будет над полсветом
Моя господствовать рука;
Цепями прикую Россию
К престола моего столпам
И дам покой моим стопам,
Возлегши ими ей на выю!
Но ты не предал нас в корысть,
Велел от выспреннего свода:
Да будет в Севере свобода!
И Север восклицает: *бысть!*

Ты удержавил землю нашу,
И ярости своей фиал,
И мести праведныя чашу
На готов гордых излиял;

Ты, ков губителей жестокой
Сломив — вселенной дал покой;
Расторгнул крепкою рукой,
Разрушил мышцею высокой
Железны толщи их полков;
Послал свой гнев неудержимый,
И Гнев твой — огнь неугасимый —
Поел как терние врагов.

Отднесь пред всякою державой
Хвалясь о силе божества,
Живяся жаром веры правой,
Красуясь славой торжества,
Россия претворилась храмом,
И грады оной в алтари;
От них, как утренни зари,
Дымятся чермным фимиамом
Ливан и смирна и алой.
Восходит глас над беги звездны,
И небо, и земля, и бездны
Твоей исполнились хвалой.

Взносись, хвала сия, вовеки,
Благому сладкая воня́,
Стремись, хвала сия, как реки
И, возрастая день от дня,
Пролейся стройным океаном
К подножию творца чудес.
Царь дней, убийства зря с небес,
Облекся тройственным туманом,
Безлучен, устрашал весь мир.
Но се! лиет пучину света
Свидетель нашего обета,
Природе всей готовит пир».

Так Петр до выспренних селений
Пред вечным изливал мольбы,
Устами, полными хвалений,
Благословлял его судьбы,
Которых силою всемощной
Гордыня рушилась во прах,

Царей и царств пресекся страх,
В смущаемой стране полнощной
Вселилась паки тишина;
И россов мужество беззлобно
Блеснуло, молнии подобно,
На все грядущи времена.

Ликуй, небесного Сиона
Святыней дышащий певец!
Ревнитель свышнего закона,
Провидец спаса и отец,
Которого живые струны
Вливали в чистые сердца
Восторг надежды на творца,
На злобу сыпали перуны,
Разят и оживляют нас.
Сбылись слова твои святые,
И к нам, сквозь мглы веков густые,
Несется сребряный твой глас:

«Я зрел тирана в блеске славы,
Царей гнетущего жезлом —
Так кедр Ливанския дубравы
До неба высился челом,
И ветви простирал до моря,
И отрасли свои до рек;
Не мнил позыбнуться вовек,
С стихиями, с годами споря,
Мечтал соодолеть судьбе,
От силы всякой безопасен.
Ему дивился я ужасен,
Минул его — *и се не бе!*»

В себе вмещая все доброты,
Петр чтит сподвижников своих,
Дождит, дождит на них щедроты,
Любовию лобзает их,
Явивших истинны изрядства,
Продерзость рушивших вконец.
Но россу лавровый венец
Приятен паче гор богатства.

И Петр глашает верных слуг,
Да внидут в радость их владыки;
Ликуют души их велики
В забвении своих заслуг.

Ревнующий любви превечной
И злым дарующий покров,
Дарами благости сердечной
Осыпал Петр своих врагов.
Как тихий вечер льет прохладу
Возлегшим странникам под тень,
Творившим трудный путь весь день,
Так он в сердца их влил отраду:
Простер над ними дружбы щит
И, дышащ кротостью эфирной,
День брани претворил в день пирный,
Который совесть не тягчит.

Светись, видение златое!
Пусть землю озарит твой луч.
Хвались, Согласие святое!
Не сяжет тьма военных туч,
Не льются током кровь и слезы,
И стали блеск, и свист свинца
Не зыблет, не мятет сердца;
Но вкруг воздержныя трапезы,
Отколе бегает вражда,
Сидят герои достодивны,
Друг другу некогда противны,
Отныне други навсегда.

Над всеми видом исполина
И доблестью восходит Петр.
Как мать для милого ей сына,
Так он для них безмерно щедр,
Сочетавая их сердцами,
Пленяет всех в свою любовь;
И гроздия сладчайшу кровь
Вкусив червлеными устами,
Вещает чувствия свои,
Стократ славнейшие победы:

«Живите, мужественны шведы,
В войне наставники мои!»

Гремите век, слова священны!
Небесный ум рождает вас.
И слуги Карла восхищенны
В восторге испускают глас:
«Прешло для нас печалей время,
Отднесь блаженна наша часть;
Петрова нас покрыла власть,
Легко, легко сей власти бремя,
О боже! ты воздай ему».
Так вновь препобежденны готы
Петровы славили доброты
Хвалой по сердцу своему.

Но как чествуют росски чады
Благого своего отца?
Исходят в сретение грады,
И нет их радостям конца.
Петра зовут своей избавой,
Щитом народов и владык;
Друг другу отражают клик:
Благословен грядый со славой,
Грядый с победой от небес,
Воитель милостью обильный,
Который, силой свыше сильный,
Россию в царствах превознес!

Стремится Юность в светлых ликах
И пением гремит привет
Гремящему во всех языках;
Исходят старцы, полны лет,
И чтя в душе труды Петровы,
Словам невместные отнюдь,
Живят свою полмертву грудь
И ветхие творятся новы.
И Немощь восстает с одра
На звуки, жизнь и мир гласящи;
Младенцы, у сосцев висящи,
Очами веселят Петра.

Но паче всех в блаженстве зрима
Цветуща древностью Москва,
Совместница Афин и Рима,
Градов на севере глава,
Гордясь первейшим в мире троном,
Блажит дела ее царя.
К нему объятия простря,
Приемлет и объемлет лоном
Спасителя полночных царств,
Пред коим, верой вдохновенным,
Исчезли с срамом незабвенным
Наветы силы и коварств.

Гряди — понесший скорби многи!
Испить веселия струи
В священны милостью чертоги,
Отколе праотцы твои
Во все страны своей державы
Вселяли славу с тишиной.
Гряди — и, не смущен войной,
Небесной мудрости уставы
Пространно извитийствуй нам,
В покой божественным наукам,
Во свет последним нашим внукам
И в зависть чуждым племенам.

Красуйся, Петр! хвалою правой,
Красуйтесь, воины! вожди!
Победа ваша под Полтавой
Не в ломкой, гибнущей меди,
Но станет жить и жить вовеки
У россов ревностных в сердцах,
Греметь во всех земли концах.
Она — доколе человеки
Не узрят в солнце вечный мрак,
Доколе не сгорят стихии, —
Пребудет памятник России
И правды Саваофа знак.

⟨1810⟩

146. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНОГО МОЕГО БРАТА КНЯЗЯ ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЗ ПЯТИЛЕТНЕГО МОРСКОГО ПОХОДА,

в течение которого плавал он на многих морях, начиная о Балтики до Архипелага, видел многие европейские земли, и, наконец, из Тулона сухим путем чрез Париж возвратился в Россию

Сидя́ на хо́лме возвышенном,
Весне, пестреющей вокруг,
Стонал я в сердце сокрушенном,
О том, что медлит верный друг
В страна́х далеких от отчизны,
От дружбы братской удален;
Уже, уже я утомлен
Надежде делать укоризны,
Счислять его отсутства дни.
Падут ли некогда преграды?
Иль вечно мне не зреть отрады?
Терпеть прискорбия одни?

Се солнце разлилось по миру,
И полночь облеклась во свет,
И птицы к вышнему эфиру
Возносят песни и полет,
Резвясь на воздухе прозрачном.
Там златом искрится вода,
А там — блаженствуют стада,
Пасомые на поле злачном.
Лишь я примрачен и уныл,
Не рад толь светлому позору:
Кидаю взгляды по обзору —
Не зрю того, кто сердцу мил.

Но кто там мчится в колеснице,
На резвой двоице коней,
И вся их мощь в его деснице?
Из конских дышащих ноздрей
Клубится дым и пышет пламень,
И пена на устах кипит;
Из-под железных их копыт
Летит земля и хрупкий камень,
И пыль виется до небес;

Играют гривы их густые,
Мелькают сбруи золотые,
Лучи катящихся колес.

Кто сей? — мой дух летит навстречу —
Я зрю любезные черты,
Еще, еще его замечу,
И се — что вижу я? — се ты,
Се ты, се ты, толь жданный мною,
Пришлец и странник мой драгой,
Мой друг, мой брат, сам я другой,
Се ты притек ко мне с весною,
Подобный младостью весне!
И он познал меня мгновенно,
Но чувствам верим мы сомненно,
Друг друга чаем зреть во сне.

Огнь жизни пробежал по жилам,
И слезы сыплются из глаз,
Лишь горним сведомая силам
Любовь горит во мне сей раз.
Глашу — напав ему на выю:
«Кто, кто тебя мне возвратил?
Не друг ли смертных Рафаил,
Как древле сохранил Товию,
Тебя поставил в сих местах?»
Друг друга чувствуем всю радость,
Друг друга лобызаем в сладость,
И души наши на устах.

Пойдем под кров наш безмятежный,
В огромный, мирный наш Дедал,
Спокойся в недрах дружбы нежной!
Довольно море ты орал,
Довольно перемерил суши,
На лоне братства отдохни;
Начнем вкушать златые дни,
Слием в беседах наши души,
Сердцам своим предложим пир.
Природа веселится нами,
Как мать счастливыми сынами,
Дыханье удержал зефир.

Беги, *Хохлов*! крылатым шагом,
Зови, зови сюда друзей,
Зови питаться дружбы благом,
Скажи, что счастье у князей,
Что брат восторгом полнит братий,
Как бы избегший смертных врат.
Друзья! и вам, и вам он брат,
И ваших жаждет он объятий;
Летите к нам в сей светлый час,
Покинув все свои работы,
Разгладив на челах заботы,
И с нами радуйтесь у нас.

Наш друг всё так же благороден,
Всё так же жив и бодр, и свеж,
И малым и большим угоден,
Хорош для мудрых и невеж,
По чувствам веры достохвален,
Искусен жить со всеми в лад,
С веселым веселиться рад,
С печальным истинно печален,
За шутками шутлив остро,
В беседах важных тих и важен,
Душой и сердцем не продажен,
Крылат на всякое добро.

Он многие обтек державы
И в странствах мудростью возрос,
Соблюл отеческие нравы,
Среди соблазнов пребыл росс;
Вступая в родину драгую,
И прах чужой отряс от ног;
Отечество и царь и бог
Рождают совесть в нем благую,
И мысль его — мысль россов всех:
«Кому чужой удел корыстен,
То свой конечно ненавистен,
А нам не чтить Россию — грех!

Под хладной северной звездою
Рожденные на белый свет,
Зимою строгою, седою

Лелеяны от юных лет,
Мы презрим роскошь иностранну;
И даже более себя
Свое отечество любя,
Зря в нем страну обетованну,
Млеко точащую и мед,
На все природы южной неги
Не променяем наши снеги
И наш отечественный лед».

Он видел братий наших греков,
От коих свет заняли мы,
Сих древле мудрых человеков,
А ныне — меркнут их умы.
Зрел галлов, славой восхищенных,
Престольный их роскошный град,
Зрел Рима недорослых чад,
Австрийцев, блеском освещенных,
Забывших горе прусаков,
Надменных, дерзостных британцев,
Сынов отечества гишпанцев
И шумных духом поляков.

Исследовав страны́ другие,
Тебе вверяет вновь свой век,
О мать любезная Россия!
И громко суд такой изрек:
Подобно как Иван Великой
Превыше низких шалашей,
Так росс возносится душей
Превыше царств Европы дикой,
И дивен высотою чувств!
Так вызнал друг наш все народы:
Он видел чудеса природы
И вечны чудеса искусств.

Он зрел Везувия во гневе,
Когда сей злобный исполин,
Горя геенною во чреве,
Восстал природы рушить чин;
Из челюстей воспламененных
На землю реки лил огня,

И дымом тьмил светило дня,
И грады ка́мней раскаленных
Метал от ада в звездну твердь;
От страха трепетало море
И чаяло иссякнуть вскоре;
Пожарами хвалилась Смерть.

Он зрел — гора из волн кипящих
Схолмилась на морском хребте,
Челом коснулась туч висящих,
Шумит в воздушной высоте;
Столп облачный и водный черный
Идет меж неба и земли,
Пловцов страшит еще вдали
Своею тягостью безмерной,
И брызжет страшный дождь вокруг,
И вержет долу водопады;
Он зрел — и толщу сей громады,
Ударив громом, пре́рвал вдруг.

Он зрел — там смертного десница
Изводит — диво для очей! —
Из мрамора живые лица;
Там, в блеске солнечных лучей,
Того зрел вид и зрак небесный,
Кто нас от ада мог спасти,
Зрел славу бога во плоти;
Зрел Фидиев резец чудесный,
Рафа́елеву смелу кисть:
Поглотит время царствы грозны,
Но труд их прейдет в веки поздны,
Не будет времени корысть.

Что зрел он на водах, на суше,
Нельзя пересказать всего;
О други! уготовьте уши,
Послушать есть что у него.
До нового ли вы охочи?
Приход ваш будет не вотще:
Он вести, теплые еще,
Неслыханны у нас в полночи,
Привез из царства новостей.

Придите, вечеря готова,
Он будет предводитель слова,
Беседой усладит гостей.

Но снова речию нескладной
И мыслию стремлюсь к тебе,
О друг мой милый, ненаглядный!
И молвлю нечто о себе:
Во время нашея разлуки
В стихи ударился мой ум,
Я стал слагать их наобум,
И стопы прибирал и звуки,
Попал в рифмующу толпу,
И в дом Словесности российской
Без всякой хитрости витийской
Кой-как пробил себе тропу.

Прошла о мне молва по граду,
И Кротость в царственном венце
Моим бряцаниям в награду
Осклабила свое лице;
И вскоре камение честно
Ко мне сронилося с высот.
Не стою, правда, сих щедрот,
Но стоить их я тщусь нелестно;
За плату не пишу стихов,
Восторг наемника бездушен —
Боюся, совести послушен,
Умножить тем число грехов.

Писать люблю я произвольно;
Велят — и жар во мне потух.
Но полно о стихах! довольно!
Уже я утомил твой слух.
От детства сходствуя сердцами,
Носящи в жилах ту же кровь
И братску пламенну любовь,
Мы можем счесться близнецами
По тем же качествам ума;
И ты (о, как мы в людях дики!)
Не любишь плящущие лики,
И я скорблю о них весьма.

Веселье светское ничтожно,
Земное всё есть дым и прах;
Небесну жизнь люби неложно.
В душе питая божий страх,
Не бойся силы смертных тленной:
Хотя бы хитрый человек
Народы в сеть свою вовлек,
Ярем бы наложил вселенной,
В звездах поставил бы свой трон,
И он от брения составлен:
Смотри — он смертию раздавлен,
Гнетет его железный сон.

Пусть мир пред Крезами одними
Курит свой жертвенный ливан
И чтит поклонами земными
Богатства блещущий болван;
Но ты, гнушаясь сим развратом,
Цени достоинство равно,
Хоть скрыто рубищем оно,
Хотя преиспещренно златом.
Узрев свой свет в душе твоей,
Взыграет мудрости наука,
Невольно улыбнется Скука
И сбросит облако с бровей.

Хвали делами добродетель;
Птенцам, поверенным тебе,
Будь друг, отец и благодетель,
Всегда подобен сам себе;
В груди гаси рассудком страсти,
Пусть вера в ней горит одна:
Вот щит, вот медная стена
Противу всякия напасти.
В союзе с ближними живи,
Люби людей, люби сердечно,
И знай — с тобою будет вечно
Бог щедрый мира и любви.

30 мая 1810

147. НОЧЬ НА ГРОБАХ

ПОДРАЖАНИЕ ЮНГУ

⟨*Отрывок*⟩

Блажен, кто в мире сем, воюя с суетами,
Скучая пышными ничтожества мечтами,
Для отдыха души охотно каждый день
Спешит под смертную, безмолвну, мрачну тень,
К усопшей братии, под ветвия унылы!
Кто любит посещать пустынные могилы,
Между гробами жить, и взвешивать свой прах,
И верой исторгать из сердца смертный страх,
И в смерти почерпать бессмертия дово́ды!

Уже скончался день, и вечер канул в воды,
И перлы по лугам рассыпались в росе;
Нисходит свыше Ночь во всей своей красе,
Вмещающа в себе величество с приятством,
Явилась в небесах со всем ее богатством,
Со всеми строями бесчисленных миров;
Волнисты облака, истканны из паров
Художеством драгим всесильныя десницы,
Порфира у нее, достойная царицы,
Воскрилием своим касается земле;
В подобии венца сверкают на челе,
Как камни честные, слиянные рядами,
Славнейшие из звезд, из славных меж звезда́ми,
И блеском трепетным, как искры, светят в дол.
Воссела с тишиной на черный свой престол
И скипетр от свинца простерла над вселенной.
Живитель сладостный природы утомленной,
На легких крылиях летит врачебный Сон,
Пленяет смертных всех под кроткий свой закон
И подвергает мир своей отрадной власти;
Уснули суеты, и воздремали страсти,
Забылись горести, от слез едва престав,
И крепость немощным вливается в состав.
Безмолвствуют земля, и воздух, и пучина,
Как будто общая приближилась кончина;
Природа кажется движенья лишена,
И всё творение покоит тишина.
Затмились призраки, блеставшие при свете,

И смертного душа, сама с собой в совете,
Избавясь, разрешась от видимого зла,
Пред строгой совестью ценит свои дела,
В доброты собственны вперяет мысль прилежну
И к вечности летит чрез временность мятежну,
Чрез море бурное в незыблемый покой,
Ликует разумом средь родины драгой,
И, сими пользуясь небесными часами,
Вкушает на земле общенье с небесами.

И я ли потерплю вращаться на одре,
Когда мой бодрый дух возносится горе,
К лучам премудрости, светить ему готовым?
О Сон! не возбраняй моим восторгам новым;
Собрав вокруг себя все радостны мечты,
Спустись под низкий кров стенящей Нищеты,
Плач в сердце усыпи, сомкни слезящи вежды,
Отчаянной являй отрадные надежды,
И силы обнови к томительным трудам;
А я ни внешних чувств нечувствию не вдам,
Объемля сердцем мир, объятый тишиною,
Возвыситься потщусь над бренностью земною,
Учиться разуму, отвергнув буйство прочь.
Подруга Мудрости, способствуй мне, о Ночь!
И направляй мои стремления отважны;
Ты Юнгу на гробах вдыхала мысли важны,
Когда, паря умом, сей Мудрости певец
Бессмертию души бессмертный плел венец:
В учении его горит небесный пламень
И силою своей растаивает камень,
Безбожных хладные, жестокие сердца,
И нудит их познать, хвалить, любить Творца.
Учением его согретый, вдохновенный,
Я вслед ему стремлюсь, не в меру дерзновенный,
И ежели, о Ночь! преткнуся на пути,
Ты мрачный свой покров на стыд мой опусти.

Се нива божия, насеянна телами!
Висит над нею тма — и черными крилами
Над спящим множеством наводит страшну тень
И ждет, когда придет ужасный, вечный день,

Который, осияв пещеры мертвых темны,
Затмит сияющи величия наземны.
Здесь взор недремлющий лишь видит ночь одну,
Здесь слух внимающий лишь слышит тишину;
Чуть мраморы сквозь мглу мелькают часты, бледны,
Престолы Смерти злой и знаменья победны,
И все, безмолвствуя, вещают мне мой рок.
По дремлющим древам летает ветерок,
И шорохом листов и веяньем шумливым
Задумчивость зовет к мечтаниям страшливым;
Здесь время с вечностью сошлися на земли
И мир вещественный с духовным сопрягли;
И здесь из недр земных сквозь каменные своды
Я слышу с трепетом священный глас природы:
«Живущий, ты умрешь! Будь в мыслях бодр и строг
И гордости своей сломи высокий рог».

О тления удел! Рушения жилище!
Уму надменному приличное гульби́ще!
Не весь ли шар земный подобится тебе?
Народы без числа вмещает он в себе,
Вмещает вновь и вновь, и дмится непрестанно;
И всё его лице, обширно и пространно,
Корою облеклось из трупов и костей;
Моря его текут по черепам людей,
И грады зиждутся от камений надгробных;
Мы жнем насущный хлеб от персти нам подобных,
И сею перстию земля пресыщена:
Гробами нашими вселенная полна,
И места нет на ней, не бывшего могилой.
Трепещет целый мир пред страшной Смерти силой,
Пред ужасом ее под солнцем торжества.
И солнце в небесах, сей образ божества,
Всесильным предано ее державной воле,
И солнце некогда сорвет она оттоле.
И вы, о светлые, небесные Огни!
Сверкающи сребром в полунощной тени,
От хищности ее и все вы не изъяты;
Но лютая, имев добычи толь богаты,
До времени судьбы оставя горний свод,
Ревнует поражать словесных слабый род,
Над нами истощать свой тул неистощимый.

Падут — и властелин, вселенною служимый,
И самый низкий раб — все брение одно.
Средь хлябей вод морских теряются равно
Безвестные ручьи и громки в мире реки;
Так в смерти равными творятся человеки.
Очами разума во гробы я проник:
Кто нищ, и кто богат; кто мал, и кто велик?
Где гордое чело, где образ величавый,
На коих злат венец покоился со славой,
На коих с трепетом страны и племена
Читали жребий свой на многи времена?
Где прелесть красоты, собор очарований,
К которой каждый миг, на крылиях желаний,
На крылиях любви, с восторгом без конца,
Парили юные, пылающи сердца?
Где сильная рука, которая громами
Сражала смертных в персть, и тысящми и тмами,
И землю облила потоками кровей?
Всё тления корысть! Всё смрад и снедь червей!
О, горестный конец! Вид срамный, достослезный,
И жизни временной, и славы нам любезной!
Для смертных смертию ров пагубы изрыт;
До ада углублен, как самый ад несыт,
Глотает каждый миг бесчисленные жертвы.
Мы зрим, но — буйные — не мним быть сами мертвы,
Как бы со смертию поставили завет;
Но смерть вступает в нас, лишь мы вступаем в свет,
И делит с жизнию все наши дни и годы;
И нужны ли для нас сей истине довóды?
Где время прежнее, где каждый прошлый час?
Увы! едва мелькнув, промчались мимо нас
В пространство вечности, для мыслей необъятно,
В бездонной пропасти погрязли невозвратно!
Все прочие летят — еще единый миг,
И я до смертных врат, до вечности достиг,
И мир исчезнет мне со всею красотою,
И солнце будет мрак, и звезды темнотою.
Как гибнет след орла, парящего к звездам,
Громады корабля, текуща по водам,
Змеи, по камени виющейся волнами,
Так жизнь претекшая теряется за нами
И разве в памяти витает в виде сна.

Меж мертвых и живых коль слабая стена!
Коль слабый щит живым от смертного навета!
Быть может, миг один — быть может, многи лета,
Быть может, целый век — и всё то миг один.
Отринуть смерть свою не льстися, Исполин!
Вспять море устреми, сдержи стремленье бури,
И солнцу воспяти катиться по лазури,
Но смерть остановить на день, на час, на миг
Отчайся, суетный! коль рок тебя постиг.
Со свистом окрест нас летают смерти стрелы,
Валятся все и всё — и мы ли будем целы?

Доколе, Смертные! забвение, как тма,
Сокроет страшный час от вашего ума?
Доколе малостям стеснять ваш ум обширный?
Премудрость здесь живет — отсель, как пастырь мирный,
Который, песнию дух скорбный веселя,
Из хижины своей взирает на поля,
Из недра тишины взираю я на битву
И вижу жаркую тщеславия ловитву,
Как суетных людей волнуются толпы́
И рушат истины оплоты и столпы.
Одни другим корысть, гонящи и гонимы,
Как лисы хитростны, как львы неукротимы,
Доколе всех их Смерть, могущий сей ловец,
В железну сеть свою загонит наконец.
Предел сей положен Судьбою вечной, правой:
В богатстве ли плывем, парим ли к небу славой,
Почием ли склонясь под светлый счастья щит,
Вся слава кончится сим словом: «Здесь лежит!»
И всё величие: «Земля отходит в землю!»

⟨1812⟩

Д. И. ХВОСТОВ

Дмитрий Иванович Хвостов родился 19 июля 1757 года в богатой дворянской семье и получил хорошее образование сначала дома, затем в Московском пансионе профессора Литке и в Московском университете. Хвостов служил в военной (Преображенский полк), потом в гражданской службе (в сенате под начальством князя А. А. Вяземского). В 1789 году он оставил службу и уехал в Москву, где женился на А. И. Горчаковой, родной племяннице А. В. Суворова. Суворов покровительствовал своему родственнику; по его ходатайству Хвостов был вновь принят на службу в 1790 году, позднее по просьбе знаменитого полководца был возведен королем Сардинии в графское достоинство. В 1802 году Хвостов снова в отставке и издает в Москве вместе с П. И. Голенищевым-Кутузовым и другими журнал «Друг просвещения». В 1807 году он переселился в Петербург, где жил до самой смерти, успешно продвигаясь по служебной лестнице.

Литературная атмосфера окружала Хвостова еще в доме родителей. В юности он близко познакомился с писателями А. П. Сумароковым, А. Г. Кариным и В. И. Майковым, которые были в родстве с Хвостовыми, и в возрасте 18—20 лет сам стал писать стихи. В рукописной автобиографии он говорит: «Хотя граф Хвостов не скоро принялся за поэзию, но зато был постоянен в ней, ибо всю жизнь свою среди рассеянностей, должностей и многих частных дел он не оставлял беседовать с музами».[1] До начала 1800-х годов опыты Хвостова были ничуть не ниже литературного уровня его времени и в общем сочувственно воспринимались в литературных кругах. «Любимцем чистых муз, другом верным Аполлона» назвал Хвостова Е. И. Костров.[2]

[1] ПД, архив Д. И. Хвостова.

[2] «Приятное и полезное препровождение времени», 1795, ч. 7, с. 189.

На всем протяжении своей литературной деятельности Хвостов оставался последовательным и убежденным сторонником классицизма. Он переводил «Андромаху» Расина и «Поэтическое искусство» Буало. Идеи Буало Хвостов развивает в послании «О притчах», чтобы восполнить отсутствие раздела о басне в «Поэтическом искусстве».

В 1791 году Хвостов был избран членом Российской академии. В конце 1800-х годов он вошел в дружеский кружок Шишкова — Державина, из которого выросла позднее «Беседа любителей русского слова», и с самого возникновения «Беседы» стал ревностнейшим ее участником. При этом, будучи последовательным классиком, Хвостов отвергал многое в творчестве Шихматова, часто не принимал литературных взглядов Шишкова и Державина.

Притча (басня), понимаемая как канонический жанр нормативной поэтики классицизма, становится излюбленной поэтической формой Хвостова. Его книга «Избранные притчи...» сыграла роковую роль в дальнейшей литературной судьбе поэта. Имя Хвостова как знамя одряхлевшего классицизма и вообще всех архаических явлений литературы стало мишенью насмешек, которыми осыпали его, оттачивая свое остроумие, сменяющие друг друга поколения поэтов.

Неглупый и добродушный по природе, Хвостов стоически переносил эти насмешки. Журналы обычно отвергали его стихи, и он, будучи человеком богатым, печатал их на свой счет. Хвостов трижды выпускал собрания своих сочинений (сам скупая и уничтожая предыдущее издание, чтобы выпустить затем следующее) и издал десятки своих произведений в виде отдельных брошюр.

В 1824 году Карамзин писал о Хвостове И. И. Дмитриеву: «Я смотрю с умилением на графа Хвостова... за его постоянную любовь к стихотворству... Это редко и потому драгоценно в моих глазах... он действует чем-то разительным на мою душу, чем-то теплым и живым. Увижу, услышу, что граф еще пишет стихи, и говорю себе с приятным чувством: „Вот любовь достойная таланта! Он заслуживает иметь его, если и не имеет“». [1]

Бескорыстно влюбленный в поэзию, Хвостов собирал и тщательно сохранял в своем архиве материалы по истории русской литературы. Он приступил к составлению «Словаря русских писателей», но работа не была доведена до конца.

Умер Хвостов в глубокой старости 22 октября 1835 года.

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, СПб., 1866, с. 379.

Основные издания сочинений Д. И. Хвостова:

Избранные притчи из лучших сочинителей российскими стихами, СПб., 1802.

Лирические творения графа Хвостова, СПб., 1810.

Послания в стихах графа Дмитрия Хвостова, СПб., 1814.

Полное собрание стихотворений графа Хвостова, чч. 1—4, СПб., 1817—1818.

То же, изд. 2-е, чч. 1—5, СПб., 1821—1827.

То же, изд. 3-е, чч. 1—8, СПб., 1818—1834.

148. ЯКОВУ БОРИСОВИЧУ КНЯЖНИНУ

Княжнин! ты поприще просторное избрал; [1]
Мой друг, исполни то, что тесть твой обещал.
Театра нашего основанное зданье
Усовершенствовать ты приложил старанье.
Красы всеобщие пленяют каждый век,
Коль их постиг, списал великий человек.
Ум, сердце всем даны, — не климат и не реки
Виною, что в стихах столь превосходны греки;
В туманном Лондоне большие есть умы;
Коль дар с наукой в нас, — быть славны можем мы.
Ты сам «Дидоною» Петрополь восхищаешь,
У зрителей своих слез токи извлекаешь,
Огонь постигнул муз в сердечной глубине
И доказал своей примерами стране,
Что скуден хладный ум трагедию составить,
И нужно чувствовать, чтоб чувствовать заставить.
Обязан трагик нам в известные часы
Являть на зрелище высокие красы,
Чтоб действие текло, и были все пружины
Искусно сцеплены огромнейшей машины.
Зря «Ифигению», забыл я, кто Расин.
Перед меня предстал Фетидин в гневе сын;
Увенчанную зреть любовь его желаю,
С ним исступление, с ним горесть разделяю;
Состраждя, купно с ним пускаю тяжкий стон,

Чтоб хитростный Улисс иль сам Агамемнон
Царевну юную не предали на жертву;
Ее, как сродницу, боюсь увидеть мертву.
Искусство ужасать и умилять сердца —
Искусство первое трагедии творца.
Пусть лица в действии законами искусства
Свои врожденные представят нравы, чувства.

Любовь и ненависть по воле к ним вселяй,
Но их природных свойств отнюдь не истребляй;
Ты всё распоряди, чтоб в сладости забвенья
Я зрел событие, не плод воображенья;
Увидеть не хочу нигде страстей твоих,
Себя сокрой, представь героев нам своих.

Представь, Княжнин, себя, чужие зря напасти,
Умей их описать, как собственные страсти; [2]
Забудь вселенную, и, взяв криле ума,
Пари без робости, да муза пусть сама
Один твой будет вождь. Стихи всегда прекрасны,
Коль с чувством, нравами писателя согласны.
Искусства красоты — хвала родившим их;
Творца не поведет чужой к бессмертью стих,
И если зрителя мгновенно обольщает,
Восторг и похвалу потомства уменьшает.
Богатый духом муж не ждет чужих подпор,
Его душа ему родит красот собор;
Сраженья в лютый час сын Марса не стремится
Вобану, Гиберту, Полибию учиться;
Не время занимать, чем славится герой,
Он сам распорядит тогда к победе строй.

Природы красоты в душе своей питая,
Расина нежность, дух Корнеля ощущая,
Ты внедри их в себя, будь сладостен, высок;
Их да́ры совместив в души своей поток,
Разлей в творения повсюду изобильно,
Влеки и восхищай ты зрителей насильно,
Забудь Корнеля, дай мне видеть Княжнина,
Пусть будет чувствами душа твоя полна.
Кто хочет славен быть, будь славен сам собою;
Нет двух в одном лице, — так суждено судьбою.

Пусть страсти у людей с начала лет одни,
Расин и Эврипид — одно в различны дни;
Пускай различен век, различны их языки,
Но чувствования у обоих велики.
В Расине сила, дух, речь плавная в стихах
Была примером бы в блистательных веках.
Воскресни Эврипид, не боле он Расина;
Различен образ их, хотя одна картина.

Как Эврипидовы Расин понятья взял,
Он кисть им дал свою, свой узел завязал;
Он в «Ифигении» боролся с славным греком,[3]
Как рыцарь доблестный с великим человеком:
В едином подвиге одной стезей летел,
Не крал его стихи, а превзойти хотел.

Дух подражания к победе поощряет,
Границы иногда в искусстве расширяет.
Будь подражателем не в дробных мелочах, —
В высоком, в нежности и плавности в стихах.
Кто мыслит победить Расина без препоны,
Тот в Пирре опиши гнев страстный Гермионы;
Своей красой пленяй, сам сделайся творец,
Коль хочешь приобресть бессмертия венец.

На Геликоне *Тасс* с эпической трубою
Необозримое зрит поле пред собою;
Покорствуют ему все части естества,
Все твари, виды все, и сами *божества*;[4]
Желая произвесть огромное творенье,
Он может даровать жизнь, чувство и движенье.
Круг трагика тесней: пускай летит до звезд, —
Он должен сохранять, блюсти единство мест,
Единство в действии, единство в прилепленье,
Чтоб к одному лицу стремилось сожаленье;
И правду строгую себе в предмет избрав,
Он должен представлять героев страсть и нрав.

Французский Эврипид, певец злосчастной Федры,
Проникнул в самые сего искусства недры;
Он смертных срисовал в трагедиях сердца,
В себе вмещая дар писателя-творца.[5]

Искусство редкое, великое искусство —
Приятной звучностью склонить, растрогать чувство,
Сокрытой прелестью, пленяющею слух,
Вливаясь внутрь сердец, возвысить сильный дух;
А плавностью стихов сиять, греметь всеместно —
Искусство, одному Расину лишь известно.

Представь, Княжнин, представь ты Мельпомену нам;
Теки без робости в ее чудесный храм.
Пускай дух зависти, враждебный и лукавый,
Лиющий каждый час поэта в грудь отравы,
Творения твои стремится помрачать, —
Великого певца не может огорчать;
Пускай открытым ртом без смысла толки сеет, —
Святая истина торжествовать умеет.
Прадона увенчал в Париже наглый крик;
Прадон теперь забыт, — Расин всегда велик.

1784

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Яков Борисович Княжнин* женат был на дочери основателя российского театра А. П. Сумарокова. Мы скажем только, что сей достойный наследник творца «Семиры» украсил российский театр такими творениями, которые как ныне, так и долго будут у нас в числе хороших произведений. Примечания при сем «Послании» касаются именно до сочинителей, которые, склеивая из разных лоскутков свои произведения, выдают их под своим именем, а не до переводчиков. Переводчики, обязываясь представить чужие мысли, должны их перелить в формы, приличные свойствам и оборотам того языка, на который переводят. И это не малое достоинство. Делиль, французский последнего времени писатель, будет в потомстве знаменит по переводу своему Вергилиевых «Георгик».

[2] *Умей их описать, как собственные страсти.* Автор не разумеет здесь того, чтобы трагический творец в изображении лиц списывал самого себя, но желает изобразить то высокое подражание чужим страстям, которое писатель по сильному воображению и чувствам приписывает лицам своим, гнушаясь теми холодными подражателями, кои только списывают чужие мысли и слова и кои *в горниле разума и чувств не сотворяют*. См. «Послание о Притче».

[3] *Он в «Ифигении» боролся с славным греком.* Много на французском театре трагедий под именем Ифигении, которых более ни читают, ни играют. «Ифигения в Авлиде» г. Расина, о которой здесь речь, уже царствует на театрах всей Европы более полутораста лет. Расин во многих своих сочинениях подражал древним; в «Ифигении» же особенно Эврипиду. Содержание у обоих одно, и различается только развязкою. У Эврипида богиня лесов, подвигнутая сожалением

к бедственному жребию добродетельной дочери Агамемнона, ниспускается на алтарь в минуту жертвоприношения, похищает царевну, переносит ее в Тавриду и вместо оной оставляет молодую лань на жертвеннике. Расин, напротив того, основываясь на повествованиях Павзания, вымышляет новое лице — Эрифиль, над которой и совершается участь, приуготовленная Ифигении. Ифигения приводится к алтарю, многочисленное войско ахейское с нетерпением желает узреть смерть царевны и умилостивление богов, как внезапно Ахилл, распаленный гневом и любовию, вспомоществуемый Патроклом, вторгается в толпы устрашенных греков, достигает своей возлюбленной и предает ее в защиту бесстрашных друзей своих... Начинается битва, свистят стрелы, течет кровь; но верховный жрец с мрачным челом и взорами, как бы вдохновенный небом, предстает посреди сражения, успокаивает Ахилла, и именем говорящего его устами Оракула объявляет, что боги требуют иной крови Елены, иной Ифигении, которая на берегах Авлиды должна себя принести в жертву, — это Ерифиль, плод тайного брака Тезея с Еленою. Уже Калхант, взяв ее за руку, готовится вести к алтарю, Эрифиль исторгается, подбегает к жертвеннику, схватывает священный нож и заколается. Оба сии поэта знали совершенно свойства сердца человеческого, и в различии развязки руководствовались только различием вкуса и нравов своего времени. Они знали, что смерть юной, прекрасной, добродетельной царевны, любимой столь великим героем, навлечет неудовольствие и негодование зрителей. Для избежания сего Эврипид прибегнул к чудесности, которая грекам очень нравилась; а Расин, чувствуя всю необходимость для трагедии ужаса и сожаления, выдумал новое лицо, без которого (как сам говорит в предисловии) не осмелился бы и подумать о сочинении сей трагедии.

4 *Все твари, виды все, и сами божества.* Разумеется, что здесь идет речь только о греческой трагедии и баснословных богах.

5 *В себе вмещая дар писателя-творца.* Французы весьма различают слова auteur, ecrivain,[1] а говоря о стихах, versificateur.[2] Автор в предыдущем стихе приписывает Расину достоинства сочинителя, называя его творцом по изящности мыслей и чувств, и достоинство писателя, почитая его после Вергилия, по справедливости, первым из стопослагателей.

149—153. *ПРИТЧИ*

1

ВОРОНА И СЫР

Однажды после пира
Ворона унесла остаток малый сыра,
С добычею в губах не медля на кусток
Ореховый присела.

[1] Автор, писатель (франц.). — *Ред.*
[2] Версификатор (франц.). — *Ред.*

Лисица к сыру подоспела
И лесть, как водится, запела
(Насильно взять нельзя): «Я чаю, голосок
Приятен у тебя и нежен и высок».
Ворона глупая от радости мечтала,
Что Каталани стала, [1]
И пасть разинула — упал кусок, [2]
Который подхватя, коварная лисица
Сказала напрямки: «Не верь хвале, сестрица.
Ворону хвалит мир,
Когда у ней случится сыр».

⟨1802⟩

2

ЛЯГУШКА И БЫК

Лягушка на́ поле увидела быка,
Влюбилася в его широкие бока.
Такая толщина для ней была угодна,
И мыслит, что она ей так же сродна.
Какой же был успех?
Пыхтела, дулася и лезла вон из кожи.
Лягушка треснула и породила смех.
С моей лягушкой схожи
Дворяне, что живут богато, как князья,
И обнищав, кричат: «Повеселился я!»

⟨1802⟩

3

ЭМПЕДОКЛ И ТУФЛИ [3]

Был Эмпедокл мудрец,
Который век искал, огня где образец.
Он у подошвы гор пылающих скитался,
Начало пламени отыскивать пытался,
И наконец
Был у Везувия прикован для напасти.
Одно ли сердце, — ум свои имеет страсти.
Увидя изредка огня текущий блеск,

Мудрец, услыша клокот, треск,
Чрезмерно рад, но Эмпедоклу мало:
Глотая черный дым, знать хочет, где начало.
Природы таинства в углу самих небес
Упрятал далеко Зевес [4]
И любопытство нам оставил.
Кичливый Эмпедокл с сердцов
Сам бросился огня в неизмеримый ров.
Для всех, не исключая Цицерона, [5]
Лавровая мила корона.
Про Эмпедокла я осмелюся сказать:
Когда в огонь скакать,
На что и туфли покидать?
Без добродетели нет истинныя славы,
Лишь непорочные и сердце здесь и нравы
Нам могут памятник похвальный созидать.

⟨1802⟩

4

ОСЕЛ И РЯБИНА

Скопились некогда средь лета облака,
Не видно солнца боле,
Пустым осталось поле,
Лиет с небес река;
Тогда бежит медведь в берлогу,
Кроты сидят в норах,
А птички на кустах;
Тогда пошел в дорогу
Осел один.
Хотя Осел не умный господин,
Но боль он чувствует, как всякая скотина;
Ослу, как и лисе, холодный дождь
Наносит дрожь.
Стояла на поле, где шел Осел, Рябина;
Осел с приветством к ней: «Голубушка моя!
По милости твоей не буду зябнуть я,
Как епанча, листы твои меня покроют,
Ослу приятну жизнь среди дождя устроят;
Я вижу птички там, —
Так для чего не быть ослам?»





Ослиной головой мотает
И крепко лапами за дерево хватает;
Ползет —
И дерево грызет.
Цепляется ногами,
Но длинными ушами
За ветку зацепив, Осел
Мой сел,
И на Рябине он висел.
Всё стало дело:
Ослино тело
Наверх нейдет
И отпуска с Рябины ждет.
Кой-как Осел спустился,
Но влезть на ма́кушку он снова суетился:
«Коли не удалось мне так разгрызть орех,
Я новым опытом найду успех
И поступлю не так, как прежде;
На легкость я мою в надежде
На дерево скакну», — и вмиг
Ослица прыг,
Летит на дерево с размаху.
Рябина потряслась, — Ослу последний час;
Упал — находит раз;
Теперь ослиного ищите праху!

⟨1802⟩

5

ДВА ГОЛУБЯ

Два голубя друзьями были;
Не разлучаяся, любили
И ворковать,
И поклевать,
И на ручей слетать
Для утоленья жажды.
Один постарее, другой
Был молодой,
Весну прелестную лишь видел он однажды;
Вдруг захотел гулять и крылья расправлял.
Головкой старичок качая, ворковал:

«Легко ль с тобою мне расстаться!
Скажи, зачем лететь? Здесь тот же солнца свет;
Не скучно ли скитаться
Между опасностей и бед?
Там горькие и воды
И непогоды,
Там злые коршуны — зачинщики войны;
Недавно, слышал я, ворона прокричала,
Напасти предвещала;
Вот лето кончилось, все жатвы собраны,
Зефиров подожди — наперсников весны».
Пустился младший в толк: «И будки и прилавки
Увидеть наши я хочу;
Затем лечу,
Чтоб сверить, как живут французские козявки;
Хочу житье-бытье всех голубей узнать;
Что худо — пренебречь, что лучше — перенять;
Поверь, что ничего не пропущу без справки;
Я молод и в поре,
Хочу полезным быть, голубчиков прославить,
Тебя рассказами от скуки позабавить;
Я голубь, а не крот, — мне стыдно жить в норе».
Пришлося расставаться,
Слезами обливаться;
И младший голубок собрался, полетел,
Куда хотел.
Но вот несчастие: вдруг хлынул дождь рекою,
И новый *Кок*
Иззяб, измок.
Лишь минула гроза, он на пшеницу скок
И там попал в силки ногою;
Кой-как распутался и потащил с собой
Петличку от силка. С одной
Простясь бедою,
Столкнулся невзначай
Опять с другою:
Пырь коршуну в глаза. Орел на тот случай
За коршуном стал гнаться;
А голубь между тем с уликой беглеца,
Когда два сильные сцепились молодца,
Изволит убираться.
В деревне хочет он на кровлю опускаться.

Ребенок камушек схватил,
Пустил,
Пошла стрела в свою дорогу
И голубю попала прямо в ногу.
Летит домой,
Где друга-старика стыдливо он ласкает,
О путешествиях и рта не разевает. [6]

⟨1802⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Что Каталани стала.* Если угодно, можно заменить сей стих следующим: *что вправду Тоди стала.* Тоди и Каталани — славные певицы 18-го и 19-го столетия.

[2] *И пасть разинула — упал кусок.* Многие критиковали слово *пасть*, свойственное только зверям, а не птицам. Автор знает, что у птиц рот называется *клювом,* несмотря на то, он заменил сие речение употребляемым в переносном смысле, ибо говорится и о человеке: «Он разинул пасть» (Словарь Российской Академии.)

[3] Басня «Эмпедокл и туфли» собственная автора, почерпнута из истории.

[4] *Упрятал далеко Зевес.* Слово «Зевес» поставлено для того, что Эмпедокл жил во времена многобожия.

[5] *Не исключая Цицерона.* Цицерон говаривал: «Слава есть последняя страсть мудрого».

[6] *О путешествиях и рта не разевает.* Сочинитель в отрывке своем: «О сущности басни», опровергая мнение Ламота о басенке двух голубков, говорит: «Прекрасные мысли о разлуке, в конце оной помещенные, у всех французов и русских в памяти». Вот причина, по коей он не осмелился перевести конца из басни Лафонтеновой.

154. РЕКЕ КУБРЕ

Кубра! ты первая поила [1]
Меня пермесскою водой,
Младое чувство возбудила
Прельщаться греков простотой.
Я на брегу твоем высоком
Всегда спокойным сердцем, оком
Ловил природы красоты;
Не знал кумиров зла, ни мести,
Не зрел рабов коварства, лести,
И собирать хотел цветы.

Хотел, подруги Феба, музы,
По вашим странствовать горам,
Нося прелестные мне узы,
Курить пред вами фимиам,
И воду пить пермесских токов,
Как Ломоносов, Сумароков,[2]
Парил я в мыслях на Парнас,
Дерзал стремиться вслед Гомера;[3]
Но вдруг представилась Химера,
Исчезла мысль, и дух погас.

Кубры оставя ток прозрачный
Приятных и спокойных вод,
В предел я поселился мрачный,
В превратный пояс непогод,
Где светлый жезл куют морозы,
Весной дышать не могут розы,
И где сердитый царь Борей,
Неистовым свирепством полный,
Далече посылает волны
Губить богатый злак полей.

Кубра, виясь кольцом и ныне,
Спешит мои березки мыть,
Течет торжественно в долине.
Зачем не суждено век жить
Мне там, Кубра, твое где ложе,
Где те, что мне всего дороже,[4]
Где я без желчи воду пил,
В восторге радостном и мире
Играл среди весны на лире,
И сладость бытия вкусил.

Хребет свирепого Нептуна
Пловец стремится попирать,
И стрéлу грозную Перуна
Средь бурь дерзает отражать.
Когда смирятся моря бездны,
Весельем дышит брег любезный,
Наскучит смертоносный вал,
К пенатам кормчий возвратится;

Раскаянье в душе родится,
И подвиг славы скучен стал.

В игривых мне волнах являет
Кубра обилие чудес,
И мысль крылатая летает
На свод лазуревый небес.
Далече простираю взгляды:
В эфире плавно мириады
Своей катятся чередой;
Громады гор, вод быстрых бездны,
И смертного труды полезны
Теперь сияют предо мной.

Что протекло, возобновляю
По воле в памяти моей;
С Сократом вместе обитаю
Благотворителем людей.
Дух любопытственный насытить
И созерцанием восхитить —
Источник истинный утех;
На мир раскинуть мысль свободну,
Постигнуть красоту природну —
Веселие превыше всех.

Пускай Кубры прозрачной воды
Мне в сердце радости вольют,
И лет моих преклонных годы
Без огорчений потекут.
Она мила между реками:
Приятно щедрыми судьбами
Я совершаю срок годов.
Я начал здесь играть на лире,
Засну, оконча песнь Темире,
При шуме от ее валов. [5]

1803

[1] Ода «Реке Кубре», сочинена 1806 года, напечатана была во многих журналах и потом в полном издании 1818 и 1821 годов.

[2] *Как Ломоносов, Сумароков.* Высокое почтение автора к Ломоносову, российскому Пиндару, во многих случаях ясно обнаружено.

Что же касается до Сумарокова, то, не выдавая основателя театра нашего за образцового поэта, можно, кажется, особливо в то время, в которое стихи сии были писаны, сделать приветствие предку нашей словесности. Неужели на место его ставить Кондратовича или Тредьяковского? Бесспорно, что творцы Россияды и Семиры не могут по дарованию равняться с нашим Пиндаром; но они были его современники и сближались с ним более, нежели другие малозначащие писатели, каковых уже в то время довольно было. Впрочем, мнение мое о знаменитом Александре Петровиче Сумарокове ясно сказано во 2 томе сего издания (см. послание первое о критике и стих: «Гремела на заре его в России лира»).

3 *Дерзал стремиться вслед Гомера.* Михаил Матвеевич Херасков, Омир российских стран, первый удостоил сочинителя советами и наставлениями при вступлении его на Парнас.

4 *Где те, что мне всего дороже.* Сей стих, относящийся к пребыванию в селе Слободке почтенных родителей автора, где при церкви по смерти покоится их прах, неоднократно был повторяем в его стихах. См. Дамский журнал 1827 года № 14, где между прочим, при разборе пятого тома нашего автора, сказано о сем стихе: «Священный памятник бытия его — прах родительский».

5 *Засну, оконча песнь Темире, При шуме от ее валов.* Автор супруге своей придает имя Темиры.

155. ГАВРИЛЕ РОМАНОВИЧУ ДЕРЖАВИНУ

Министр, герой, певец! блажен, кто духом силен; [1]
Планетам таковым заката в мире нет;
Кто дарованием и чувствами обилен,
Без опасения, как вождь светил, течет,
Сияньем землю озаряет, —
Огонь святый не угасает.

Орел, которому земли в пределах тесно,
Являет крепость сил и мужество чудесно;
Среди юдольных стран он селянин небес;
Открыл повсюду путь наперснику Зевес,
Взвился, и высочайши горы
И солнца дом объяли взоры.

Певец! ты лепоту и стройность видел мира, [2]
Движение планет в обители эфира,
Где звезды странствуют, бросая свет в ночи,
Где преломленные в дол сыплются лучи;

Ты видел, как орлы парили
И солнце крыльями закрыли.

Приемля дар и кисть, не скрой злодейств картины.
Под игом уз земной нередко страждет шар, [3]
Кровь смертного пиют поля, морей пучины,
Наносит властелин бессильному удар.
Глагол небес — молчат законы,
Нередко слышен вопль и стоны.

Священной истины живописуй уставы,
Род смертных покажи среди счастливых дней,
Представь сияние неложной в мире славы,
Любовью дышащих изобрази царей.
Певец! ты был внутри чертога,
Ты видел ангела и бога. [4]

Воспламененных лир паря далече струны,
Гремят сквозь цепь веков, как грозные перуны.
Да будет песнь твоя священной правды храм,
Твои стихи — закон народам и царям;
Изобрази красы прелестны,
Представь *Петра* труды чудесны.

Неутомимого представь орла в полете,
На суше и водах, вверху кремнистых гор,
Который, плавая лучей в горящем свете,
На беспредельный круг бросает быстрый взор,
Оттоле жертвы похищает,
Птенцов лелеет и питает.

1804

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Стихотворение «Гавриле Романовичу Державину» напечатано было вскоре по увольнении его от звания министра юстиции. Он был министр и певец; название же героя не собственно к нему относится. Автор разумеет, что каждый превосходный герой, министр, певец суть в мире такие планеты, коим заката нет, как то доказали Фемистокл, Перикл, Гомер и другие.

[2] *Певец! ты лепоту и стройность видел мира.* Сей стих, равно и весь куплет относятся к царствованию Екатерины II и нахождению Гавриила Романовича в звании статс-секретаря при особе сей великой государыни. Мне случилось видеть 1803 года в Новгороде, еще при жизни Державина, рукопись называемую: «Ключ к его стихотворениям», который ныне в разных изданиях печатается. В оном написано было об авторе сего стихотворения: «Стихотворец сей не имеет дарования». Покоряясь таковому заключению знаменитого поэта нашего времени и приятеля своего, автор осмеливается печатать как сие, так и прочие свои стихотворения.

[3] *Под игом уз земной нередко страждет шар.* Сие стихотворение написано во время ужасов мнимой Французской республики.

[4] *Ты был внутри чертога, Ты видел ангела и бога.* Смотри стихи Державина под названием: «Бог, Фелица и Хлор-Царевич».

156. В. Л. ПУШКИНУ

НА ПРЕБЫВАНИЕ В КОСТРОМЕ

Благополучию, забаве
Нигде всемирных громов нет.
Живущий в пышности и славе
Нередко горьки слезы льет,
А Тирсис, сельский обитатель,
Пастушки милой обожатель,
Веселье в розовом венке
На бархатном лужку встречает,
В восторге сладком утверждает:
Оно вот здесь — при ручейке.

На Темзе пышную столицу
Ты, Пушкин, странствуя, видал;
И вкуса Роскоши столицу,
Чудесную Лютецу [1] знал.
Средь вихря радостей пременных
Не мог ты в мыслях восхищенных
Насытить чувствие и взор:
По утру Фидиас прельщает...
А там «Меропа» восхищает...
Или — гремит небесный хор.

[1] Древнее имя Парижа.

Иное Комус прихотливый
Дает великолепный пир,
А после яств слова игривы
И песни сладкострунных лир
Тебя в чертог возносят Феба.
До высоты достигнув неба,
Ты Мерсие, Дюсиса зришь
И с ними Томсона читаешь
Или к Филиде страсть питаешь
И о романах говоришь.

Ты, возвращенный вновь пенатам,
На Волге зришь Пермесский ток,
Грозишь на лире супостатам,
Сулишь россиянам венок.
Секваны, Темзы удаленный,
Средь Норда муз не отчужденный,
На Волге любишь с ними быть,
Где хитрыми они руками
Военны лавры с их цветами
В один венок могли вместить.

Хоть милость Фебову ты носишь,
Но дар умеешь величать,
Творца безделок[1] превозносишь,
Спеша везде его венчать,
И не смущаешься в досаде,
Когда холодных стран в наряде
По-русски видишь Буало,
Как гласных он спешит расставить,
Стеченья грубые бесславить,
Прося, чтоб было всё как скло.

Шумяща быстрыми волнами
Огромный Волга кажет вид,
Она восточных стран дарами
Россию щедро богатит.
Речной играет ветер злобно,

[1] Под сим скромным названием г. Дмитриев выдал свои стихотворения.

Веселье, труд текут подобно,
Равно в Париже, в Костроме
Несчастие людей терзает,
Но где ж блаженство обитает?
В спокойной совести, в уме.

Имея нежно сердце, чувство,
Хоть пышных видов удален,
Хотя чудесное искусство
Не ловит душу, мысль в плен,
Ты в розах видишь всю природу,
Там светлую встречаешь воду,
Развесисты древа близ рек.
Когда цветы где обретаешь,
Тогда как бабочка летаешь
И их сбираешь целый век.

Не ранее 1805

157. ⟨И. И. ДМИТРИЕВУ⟩

Давненько Буало твердил, что целый век [1]
Сидеть над рифмами не должен человек;
Я признаюсь, — себя тем часто забавляю,
Что рифмы к разуму, мой друг, приноровляю.
Пускай, водимые враждебною рукой,
Досады спутствуют с забавою такой,
Пусть музы иногда мне самому суровы,
На Пинде нахожу себе веселья новы;
Но более стократ любил бы Геликон,
Когда б не столько строг к певцам был Аполлон.

Сей лучезарный бог искателю здесь славы
Назначил тесный путь и тяжкие уставы;
Он требует, чтоб мысль писателя была,
Как чистый солнца луч, безмрачна и светла;
Чтобы в стихи слова не вкралися напрасно,
И представлялась вещь с природою согласно,
И дар везде сиял, и быстрый огнь певца
Разлившися, зажег читателей сердца;

Чтобы паденье стоп, от смысла неразлучно,
Для слуха нежного гремело плавно, звучно;
Чтобы. . . но кто сочтет неисчислимость уз?
Кто может угодить разборчивости муз?
Я первый волю их нередко нарушаю,
И воду из Кубры в Кастальский ток мешаю: [2]
То изломаю ямб, то рифму зацеплю,
То ровно пополам стиха не разделю,
То, за отборными гоняяся словами,
Покрою мысль мою густыми облаками;
Однако муз люблю на лире величать,
Люблю писать стихи и отдавать в печать. [3]
Строками с рифмами, скажи, кого обижу?
И самому себе от них беды не вижу.
Не станут их хвалить? мне дальней нужды нет;
Их Глазунов продаст, а Дмитриев прочтет.
Когда мои стихи покажутся в столицу,
Не первые пойдут обертывать корицу.

Мне старость грозная тяжелою рукой [4]
Пускай набросила полвека с сединой;
Поверь, что лет моих для музы не убавлю,
И в доказательство я Буало представлю.
В мои года писал стихами Буало,
Шутил затейливо, остро, приятно, зло.

Себя не ставя в ряд певцов, венчанных славой,
Довольно, что стихи считаю я забавой.
Хвала правительству! — на рифмы пошлин нет!
Ничей от них меня не отвратит совет.

Как? может Бабочкин, с поблекшими власами,
Климене докучать свидания часами?
С подагрой, кашлем он к Амуру подлетя,
Пугает иль смешит коварное дитя.

В Петрополе Бичев, явясь из края света,
Сияет на бегу, как новая планета, [5]
И вихрем носится, ристанья чин храня;
Он, выю извернув ретивого коня,

Мечтает, что ему завидуют и боги,
Коль бегуна его резвее прочих ноги.

Обжоркин каждый день для всех твердит одно,
Что сытный был обед и вкусное вино;
Изволит завтракать бифстексом и росбифом,
Потом в Милютиных, не справяся с тарифом,
Отколе и когда приходят корабли,
За кажду устрицу бросает два рубли;
Готовясь пировать на свадебном обеде,
Успеет завернуть пить шоколад к Лареде —
Он счастлив, вне себя за лакомым столом;
Он любит перигю, и с стерлядьми знаком;
Глазами жадными все блюды пожирает:
На гуся целит, ест пирог, форель глотает,
Котлетов требует, или заводит речь,
Чем сдобрить винегрет, как вафли должно печь,[6]
А после кинется на виноград и сливы,
На дули, яблоки, на сочные оливы;
Там время полдничать, там ужинать пора,
Он упражнен едой до полночи с утра.
Обжоркину жена, и совесть, и рассудок,
Дары и почести — один его желудок.

Шаталов, тот слуга покорный всех вельмож,
Он только рассевать привык повсюду ложь;
В восторге, в радости, при музыкальном громе,
Про вести скажет: «Их я слышал в знатном доме».

Для дел и для забав у всякого свой вкус;
В их выборе отнюдь не налагают уз.
Что Бабочкину здесь, Шаталову возможно,
Тем пользоваться мне зачем, скажи, не должно?
Так, каждый для себя веселье изготовь,
Их забавляет бег, стол, вести и любовь —
Пусть тешатся они в сей жизни шумом, стуком;
Я веселюсь твоим приятным, муза, звуком.
Мне в «Федре» басенки отрадно прочитать;
Люблю переложить на русскую их стать;
Люблю, склоняя слух к Расина скорби, стону,
Принудить у Невы крушиться Гермиону;

Люблю Горация высокой мысли гром
Своим на севере изображать пером;
Но песнопения болезнию не стражду,
И лавров на главу зеленых я не жажду.
Случалось, — несколько текло на свете лет,
Что сам я забывал о том, что был поэт;[7]
Не мня, что скудный дар — отечеству заслуга,
Я посещать люблю Парнас в часы досуга.
Надеюсь, — может быть, в числе стихов моих
Внушенный музами один найдется стих;
Быть может, знатоки почтут его хвалами,
Украсят гроб певца приятели цветами,
И с чувством оценят не мыслей красоту,
Не обороты слов, но сердца простоту.[8]

1810

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Давненько Буало твердил, что целый век* и проч. Сие Послание было сочинено 1811 года, напечатано в разных журналах, читано в «Беседе любителей русского слова», при многолюдном собрании, известным Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, и удостоено было особливой похвалы. После того переложено на французский язык А. И. Вейдемейером в прозу, и в стихи г. Сент-Мором (см. его «Антологию» и «Амфион», журнал славного г. Мерзлякова, где находится разбор всем Посланиям нашего автора, сочиненный А. А. Писаревым).

[2] *И воду из Кубры в Кастальский ток мешаю.* Кубра — речка, протекающая в деревне сочинителя близь большой Ростовской дороги в 110 верстах от Москвы. См. т. 1, где речке Кубре посвящены две оды, первая на стр. 167, вторая, под названием «Явление Кубры», на стр. 257.

[3] *Люблю писать стихи и отдавать в печать.* Автор в издании 1821 года сей стих при 2-м томе поставил в эпиграф всем Посланиям своим, а в предыдущих стихах:

То, за отборными гоняяся словами,
Покрою мысль мою густыми облаками,

подражал «Науке стихотворной» г. Буало, где сказано:

Il est certains esprits dont les sombres pensées
Sont d'un nuage épais toujours embarassée.

[4] *Мне старость грозная тяжелою рукой* и проч. Автору было за 60 лет от роду, когда сие Послание писано; см. в газете Conservateur Impartial, supplément au № 48, 1821 года.

[5] *Сияет на бегу, как новая планета.* У знаменитого лирика г. Петрова ода на рождение покойного императора Александра I начинается следующим прекрасным по мысли стихом: «Явилась нова в мир планета». Некоторые молодые люди, приметя на бегу сего поэта, всякий раз и очень громко твердили собственный стих его, переинача только следующим образом: *Явилась нова в бег планета,* и частым повторением так надоели поэту, что он оставил охоту бегунов и не являлся более на бегу.

[6] *Котлетов требует, или заводит речь, Чем сдобрить винегрет, как вафли должно печь.* У г. Сент-Мора это переведено прекрасно: «Il est sur tout classique en parlant du jambon».[1]

[7] *Случалось, — несколько текло на свете лет, Что сам я забывал о том, что был поэт.* Очень много стихов автора рассеяно по разным журналам; но он не прежде, как с 1810 года совокупил в одно целое лирические свои творения, и, может быть, с тех пор начал заботиться об исполнении обязанностей поэта.

[8] *Не обороты слов, но сердца простоту.* Последние стихи сего Послания весьма дурно переведены у г. Сент-Мора. В них сказано, будто бы я по собственному признанию дурный поэт, но зато добрый человек.

---

[1] Он сугубый специалист в разговорах о ветчине (франц.). — *Ред.*

А. П. БУНИНА

Анна Петровна Бунина родилась 7 января 1774 года в селе Урусово, Ряжского уезда, Рязанской губернии. Она принадлежала к старинному дворянскому роду, из которого позднее вышел знаменитый писатель И. А. Бунин. Мать ее умерла, когда будущей поэтессе было 14 месяцев. Осиротевшая девочка воспитывалась у теток, а потом у старшей сестры. О своем тяжелом детстве она рассказала в автобиографическом стихотворении, впервые публикуемом в настоящем издании. По свидетельству биографов, ее первые стихотворные опыты относятся к тринадцатилетнему возрасту.[1] Позднее во время поездок в Москву она познакомилась с тамошними литераторами, а в 1802 году, несмотря на сопротивление родных, поселилась в Петербурге и усиленно занялась самообразованием, обучаясь английскому, французскому и немецкому языкам, физике, математике и русской словесности. На учителей Бунина истратила свое небольшое состояние и до конца дней сильно нуждалась. Первым ее учителем был П. И. Соколов, впоследствии секретарь Российской академии. Вся последующая творческая деятельность Буниной была затем связана с Российской академией и «Беседой любителей русского слова».

Начало литературной деятельности Буниной связано с традициями классицизма. В 1808 году она выпускает облегченное изложение труда аббата Батте, одного из крупнейших поздних теоретиков этого направления,[2] позднее переводит и первую песнь знаменитого трактата Буало «Поэтическое искусство». Перевод этот был сочувственно встречен критикой и оценен выше, чем аналогичная работа

---

[1] См.: М. Д. Хмыров, Русские писательницы прошлого времени. Анна Бунина. — «Рассвет», 1861, № 11, с. 213; А. Чехов, Замечательные русские женщины. Анна Петровна Бунина. — «Исторический вестник», 1895, № 10, с. 164—173.

[2] Правила поэзии, сокращенный перевод аббата Бате с присовокуплением российского стихосложения, СПб., 1808.

Д. И. Хвостова.[1] В 1821 году Бунина опубликовала полный перевод Буало.

Характерное для классицизма мировосприятие отличает и многие оригинальные произведения Буниной.

В то же время в ряде стихотворений Бунина обнаруживает глубину, напряженность и драматизм лирических переживаний, острое и трагическое восприятие мира, характерные для романтизма, что также обусловило высокую оценку современниками ее творчества.

С 1806 года произведения ее начинают появляться в журналах. Откликнулась Бунина в своих стихах на события Отечественной войны 1812 года. Ее всегдашний покровитель А. С. Шишков с помощью М. И. Кутузова, высоко ценившего творчество поэтессы, выхлопотал Буниной у царя пенсион в две тысячи рублей ежегодно.

В 1811 году при учреждении «Беседы любителей русского слова» Бунина была избрана ее почетным членом.

В 1815 году поэтесса опасно заболела: у нее начался рак груди. 29 июля она уехала в Англию для лечения. Отъезд Буниной стал заметным событием в литературной жизни Петербурга. О нем поместил подробное сообщение в «Российском музеуме» князь Шаликов. В «Сыне отечества» появились стихотворения, посвященные отъезжающей поэтессе.[2]

Брат Буниной по случаю ее отъезда написал в подражание ее поэме «Фаэтон» шуточную поэму «в трех песнях» под названием «Путешествие российской Сафы к британским берегам».[3]

В Англии Бунина провела два года, все время очень нуждаясь. А. С. Шишков всячески помогал ей и, наконец, выхлопотал у царя четыре тысячи рублей, которые тут же и были высланы поэтессе.[4]

Биографы сообщают, что Бунина очень тяготилась денежными подарками высочайших особ за поднесенные им сочинения. Эти подарки ставили ее в неловкое положение.

В 1817 году Бунина вернулась в Россию. Болезнь ее продолжала прогрессировать, и все способы лечения оказались тщетными. В последние годы жизни она не могла даже лежать, и дни и ночи проводила на коленях, продолжая в этом положении работать. Часто переезжая с места на место, Бунина жила то у одних, то у других родственников. В 1826 и 1827 годах она ездила на Кавказские воды. Отсюда, из Горячеводска, она пишет Шишкову об окончании работы

---

[1] См.: «Цветник», 1809, № 7, с. 118—127.

[2] «Российский музеум», 1815, № 9, с. 354—357; «Сын отечества», 1815, № 23, с. 26.

[3] ЦГИАЛ (Сообщено В. П. Степановым).

[4] См. письмо А. С. Шишкова Буниной от 20 сентября 1816 г. — ГПБ.

над переводом с английского духовных бесед оратора и проповедника Блера. После долгих цензурных мытарств книга, разрешенная к печати в апреле 1828 года, вышла только в июне 1829, и содержала вместо обещанных девятнадцати глав лишь семнадцать.[1]

«Со смертного и страдальческого одра» надписала Бунина Российской академии дарственный экземпляр последней своей книги.[2] Спустя несколько месяцев после ее выхода, 4 декабря 1829 года, Бунина скончалась в селе Денисовке Рязанской губернии.

Основные издания сочинений А. П. Буниной:

Неопытная Муза, чч. 1—2, СПб., 1809—1812.

Сельские вечера, СПб., 1811.

Собрание стихотворений Анны Буниной, чч. 1—3, СПб., 1819—1821.

158. С ПРИМОРСКОГО БЕРЕГА

Светлое море
С небом слилось,
С тихостью волны
Плещут на брег,
Кроткие зыби
Чуть-чуть дрожат.

Солнце погасло,
Месяца нет,
Заревом алым
Запад блестит,
Птицы на гнездах,
В кущах стада.

Всё вдруг умолкло,
Все по местам.

---

[1] Материалы о подготовке к печати этой работы хранятся в ЦГИАЛ.

[2] Нравственные и философские беседы. Из сочинений доктора Блера. Переводила с английского Анна Бунина, М., 1829. — Экземпляр Библиотеки Академии наук СССР.

В комнате тихо,
Шороху нет;
Дети прижались
Скромно в углах.

Лина коснулась
Арфы струнам:
Арфа златая
Глас издала;
Звуки согласны
С Линой поют.

Розовым пламем
Светит камин;
Скачет по углям
Ясный огонь;
Дым темно-серый
Вьется столбом.

Пламень лютейший
Душу палит;
Сердце томится,
Высохло всё:
Яд протекает
В жилах моих.

Слезы иссякли
В мутных очах,
Вздохи престали
Грудь воздымать,
Речь замирает
В хладных устах!

Море, взволнуйся!
Гробом мне будь!
Арфа златая,
Громом ударь!
Пламень, разлейся,
Бедну сожги!

1806

159. СУМЕРКИ

Гавриилу Романовичу Державину,
в его деревню Званку

Блеснул на западе румяный царь природы,
Скатился в океан, и загорелись воды.
Почий от подвигов! усни, сокрывшись в понт!
Усни и не мешай мечтам ко мне спуститься,
Пусть юная Аврора веселится,
Рисуя перстом горизонт,
И к утру свежие готовит розы;
Пусть ночь, сей добрый чародей,
Рассыпав мак, отрет несчастных слезы,
Тогда отдамся я мечте своей.
Облекши истину призраком ложным,
На рок вериги наложу;
Со счастием союз свяжу,
Блаженством упиясь возможным.
Иль вырвавшись из стен пустынных,
В беседы преселюсь великих, мудрых, сильных.
Усни, царь дня! тот путь, который описал,
Велик и многотруден.

Откуда яркий луч с высот ко мне сверкнул,
Как молния, по облакам скользнул?
Померк земной огонь... о! сколь он слаб и скуден!
Средь сумраков блестит,
При свете угасает!
Чьих лир согласный звук во слух мой ударяет?
Бессмертных ли харит
Отверзлись мне селенья?
Сколь дивные явленья!
Там ночь в окрестностях, а здесь восток
Лучом весення утра
Златит Кастальский ток.
Вдали, из перламутра,
Сквозь пальмовы древа я вижу храм,
А там,
Средь миртовых кустов, склоненных над водою,
Почтенный муж с открытой головою
На мягких лилиях сидит,
В очах его небесный огнь горит;

Чело, как утро ясно,
С устами и с душей согласно,
На коем возложен из лавр венец;
У ног стоит златая лира;
Коснулся и воспел причину мира;
Воспел, и заблистал в твореньях Творец.

Как свет во все концы вселенной проникает,
В пещерах мраки разгоняет,
Так глас его, во всех промчавшися местах,
Мгновенно облетел пространно царство!
Согнулось злобное коварство,
Молчит неверие безбожника в устах,
И суемудрие не зрит опоры;
Предстала истина невежеству пред взоры:
Велик, — гласит она, — велик в твореньях бог!

Умолк певец. . . души его восторг
Прервал согласно песнопенье;
Но в сердце у меня осталось впечатленье,
Которого ничто изгладить не могло.
Как образ, проходя сквозь чистое стекло,
Единой на пути черты не потеряет, —
Так верно истина себя являет,
Исшед устами мудреца:
Всегда равно ясна, всегда умильна,
Всегда дово́дами обильна,
Всегда равно влечет сердца.

Певец отер слезу, коснулся вновь перстами,
Ударил в струны, загремел,
И сладкозвучными словами
Земных богов воспел!
Он пел великую из смертных на престоле,
Ее победы в бранном поле,
Союз с премудростью, любовь к благим делам,
Награду ревностным трудам,
И, лиру окропя слезою благодарной,
Во мзду щедроте излиянной,
Вдруг вновь умолк, восторгом упоен,
Но глас его в цепи времен

Бессмертную делами
Блюдет бессмертными стихами.
Спустились грации, переменили строй,
Смягчился гром под гибкою рукой,
И сельские послышались напевы,
На звуки их стеклися девы.
Как легкий ветерок,
Порхая чрез поля с цветочка на цветок,
Кружи́тся, ре́звится, до облак извиваясь, —
Так девы юные, сомкнувшись в хоровод,
Порхали по холмам у тока чистых вод,
Стопами легкими едва земле касаясь,
То в горы скачучи, то с гор.
Певец веселый бросил взор.
(И мудрым нравится невинная забава.)

Стройна, приятна, величава,
В одежде тонкой изо льна,
Без перл, без пурпура, без злата,
Красою собственной богата
Явилася жена;
В очах певца под пальмой стала,
Умильный взгляд к нему кидала,
Вия из мирт венок.
Звук лиры под рукой вдруг начал изменяться,
То медлить, то сливаться;
Певец стал тише петь и наконец умолк.
Пришелица простерла руки,
И миртовый венок за сельских песней звуки
Едва свила,
Ему с улыбкой подала;
Все девы в тот же миг во длани заплескали.

«Где я? . .» —
От изумления к восторгу преходя,
Спросила я у тех, которы тут стояли.
«На Званке ты!» — ответы раздались.
Постой, мечта! продлись! . .
Хоть час один! . . но ах! сокрылося виденье,
Оставя в скуку мне одно уединенье.

⟨1808⟩

160. ПАДЕНИЕ ФАЭТОНА

Баснословная повесть

Его высокопревосходительству
милостивому государю
Николаю Семеновичу
Мордвинову
в знак глубочайшего
почтения и преданности
посвящает сочинительница

ПЕСНЬ 3

Бегущи звезды в понт
Гоня от солнечного взора,
Уже дщерь Солнцева, румяная Аврора
Устлала розами восточный горизонт;
Уже явилася стояща пред вратами,
Уже их алыми коснулася перстами
И, убелив сребро отливом багреца,
Отверзла к шествию отца.
Уже и призраки рассеялись окружны,
И мрак за мраком отлетали прочь,
И ризу совлекла с природы ночь.
Уже часы досужны
Ретивых Солнцевых, от сна воззвав, коней
Впрягли в блестящу колесницу.
Уже природы гул, хор птиц и рев зверей
Дрожали в воздухе, приветствуя денницу,
И всхода Солнечна желанный миг настал.

Узря упорство Фаэтона,
Феб болей слов не расточал.
Кому в желаниях и гибель не препона,
Пред тем слова напрасный звук!
Слепцу что живопись искусных рук,
То речь мудрейшая глупцам самонадежным!
Итак, не вновь грозить паденьем неизбежным,
Не с воли совратить,
Но править научить
Предпринял Феб отвергшего советы,
И как достигнуть меты,
В четырех объяснил ему законах тех:
«Не опускайся вниз, — и не взносися вверх,
Держись средины;

Не ослабляй бразды на миг единый;
И оком бодрственным гляди всегда вперед!
Науке сей, мой сын, других законов нет».

Поклялся юноша ученью быть покорным;
А Феб, стеня, тоскуя и грустя,
На гибель снаряжать тут стал свое дитя.
Сперва составом он, огню противоборным,
Уста его и очи оросил;
Потом лучи на темя возложил;
Потом, с рамен своих совлекши червленицу,
Одел его хламидой сей;
Потом воссесть велел на колесницу,
Дал вожжи и коней;
Потом, терзаяся, рыдая,
Вздох вздохом заглушая
И отвратя лице, сказал ему: «Ступай!»

О муза! подкрепи, дай твердость слогу
С земного пренестись в небесный край
И с юношей вступить в эфирную дорогу!
Воздушный путь мне вовсе нов!
С каких начну я слов?
Каким себя обогащу примером?
Ни с Гарнеренем мне, ни с славным Монгольфьером
По воздуху в свой век проплыть не удалось;
А быль рассказывать неловко на авось.
Неспорно, — всяких в мире много:
Иной, судя не слишком строго,
Таких чудес наскажет вам,
Что вянут слушателей уши!
Вот там-то, по его словам,
Киты не сходят с суши;
А там на дне морском
Живут по году водолазы!
Другой, прослыть боися чудаком,
От сей воздержится проказы,
Но вас самих он проведет
И в дураки введет.
В Париже, в Лондоне, в Китае, в Геркулане —
Везде, вам скажет, был
И пользу приносил.

У турок, при султане
Два года жил,
Ведя расход без сметы.
Китайцам он давал к правлению советы;
Британцев научил торги водить,
Француженок наряды шить,
Быть тонкими евреев.
У готфов, скифов и халдеев —
Везде он побывал,
Всё опытом узнал.
Опишет все вам тропки,
Куда стопы его неробки
В который занесли и день, и час.
Такой вы слушая рассказ,
Вот, мыслите, мудрец меж мудрецами!
А он те земли, вам которы описал,
С учителем по карте пробежал.
Но я, чтоб наравне не стать между лжецами,
Ни легковерия других не уловить,
Читателя хочу заране предварить,
В воздушном что пути, без всякого обману,
Преданий древних я держаться только стану.

«О радость! о восторг!
Счастливый Фаэтон конями правит,
Которыми лишь мог
Единый править бог!
Счастливый Фаэтон навек себя прославит!
Счастливый Фаэтон в лучах!
Во образе светила!
Вселенна перед ним колена преклонила!
Счастливый Фаэтон явился в небесах
И примет за труды бессмертия награды!» —

Так мнил Клименин сын, бросая окрест взор,
Когда стоял он у преграды,
Котора от небес делила Солнцев двор.
Гордящийся Иос тяжелой гривой,
Волнами падающей вниз;
Флегон ретивый,
Белейший снега Пироис,
Эфон высоковыйный —

Четыре Солнцевы коня,
С горящими очми от внутрення огня,
Еще держимые, стремились в путь эфирный.
Как мечется на добычь лев,
И мощный, и несытый,
Пуская страшный рев, —
Так кони Солнцевы, взнося к грудям копыты,
Биют решетку врат,
На месте прядая в порыве к бегу яром.
Хребты их с рьяности дрожат;
Главы дымятся паром;
Звенят бразды сребром;
Грызомы удила в кольцо биют кольцом;
И воздух, зыбляся от ржаний голосистых,
Разносит их в странах эфира чистых,
Чтоб Солнца предварить приход.

Часы, у сих стоящие ворот,
Отверзли их в наставше время.
Тут кони, радуясь, что болей нет преград,
Быстрее ветра в путь летят;
Но легким ощутя везомо бремя
И направление не то вожжей,
Прямой бросая путь, по прихоти своей
В пространства мечутся небес необозримы.
Клименин сын, во все страны носимый,
Восчувствовал смертельный страх.
Хотя бразды держал в руках,
Но правил он коньми без всякого устава.
Не ведая их нрава, —
Который поводлив, ретивей иль смелей,
Огнист иль с норовом, пужливой ли породы, —
Он будто с умысла и к пагубе своей
Строптивым более дает еще свободы,
Послушных осаждает взад.
Тогда-то в них настал вдруг беспорядок общий!
Тогда-то Фаэтон и дару стал не рад!
Тогда-то, изнуря свои он силы тощи,
За гордость сам себя стократно клял:
Почто Меропсовым быть сыном возгнушался,
При взорах матери спокойно не остался,
Почто труды не по себе подъял!

Тем меней Фаэтон являл в себе искусства,
Чем ближе быть опасность мнил!
И силы малились от конского в нем буйства,
И буйство их росло с его потерей сил!
Несчастный! думаешь, твой страх достиг предела!
Длань рока на тебе вполне отяготела,
И ужас встал на верхнюю черту!
Ах, нет! пожди еще! лютейшую тревогу
За дерзки замыслы ты встретишь попремногу,
Чтоб сведать гордости тщету.

Хранящий Фаэтон отцово наставленье
Еще из рук не выпускал вожжей
И тем хоть вмале бег обуздывал коней;
Но вдруг незапно приключенье,
Господство юноши, для новых мук,
Исхитило из рук.
Известно, — по пути,
Где Солнцу каждый день назначено идти,
Рассеяны пречудны знаки,
Которые у нас зовутся зодияки
И ставятся везде во всех календарях.
Столь их уродливы личины,
Что, может, робкого и от печатных страх
Возьмет не без причины;
Но в небе там,
Хотя и все они пригвождены к местам,
Однако живы все, — глядят и шевелятся.
Ну как чудовищей таких не испужаться,
Кто даже был бы и храбрец!
А бедный Фаэтон, к несчастью, из трусливых.
Как! скажете вы мне, — толь храбрый молодец,
Что к славе в помыслах ревнивых
Цветущего себя не пощадил
И век свой на заре скосил;
Что розе мартовской подобен был красою
И жизни краткостью сравнялся с тою, —
Толь храбрый молодец за труса выдан здесь!
Где слыхана такая смесь!
Не спорь, читатель мой; а паче
Ты храбрость с дерзостью не числи за одно!
Наглец при маленькой сам струсит неудаче;

Не кончить — начинать ему лишь суждено.
Кто храбрость истинну имеет,
Тот, дела не начав, робеет;
Медлительно берет со всех его сторон:
«Не лучше ль отложить?» — смиренно мыслит он.
Когда же начато... О! зрелище преславно!
Что часть он божества, — тогда-то будет явно!
Тогда-то он в себе дух творческий явит,
И дар бесценный сей творца не постыдит!
Но время к повести, оконча споры скушны.

Незапно путник наш воздушный
Увидел в зоне знак, —
Который именно? с какой страны? и как?
Предание смолчало;
Стрелец ли, Дева ли, иное ль было что?
Никто не говорит про то;
Но что-то юношу смертельно испугало.
С испуга он как мертвый охладел,
Стал бледен, обомлел:
Не движется в нем кровь, не бьются жилы;
Ни духа жизненна, ни сердца нет;
Померк во взорах свет,
Иссякли все душевны силы,
И вожжи выпали из рук.
Прощай бессмертие и трубный славы звук!
Досада, мщенье — всё забылось,
Всё страхом усмирилось,
Чтоб страх явить сей в полноте.
Лишь ярость приросла коней безмерно.

Почуя вожжи на хребте
(Свободы средство вожделенно),
Как бурный понт,
От века прущий в гору,
Едва постижну взору,
Кипит от гнева на оплот
И утекает вспять без силы;
Но вдруг, сквозь зе́мные прорвавшись жилы,
Несется в дол, — крутит, ревет,
И гору, с треском что упала,
С собой несет, —

Так и они, познав, что боле власти нет,
Котора ими управляла,
Несутся в небеса, без цели, наугад:
Вертят кругом, вперед и взад,
Цепляют звезды неподвижны,
На тучи спрядывают нижны,
И Фаэтона, в казнь вины,
Как вихри мча коловращают.

Лежащи к полюсам страны
Впервый зной Солнца ощущают;
Впервые тех морей окованна вода
Восстала изо льда,
Впервые сребряным хребтом блеснула,
В скалы бесплодные волной плеснула,
Но, в хладных ощутя вдруг недрах жар,
По часе бытия, изникла в пар.

Снеслись в бугры погибши рыбы.
Упали с шумом снежны глыбы,
Что, горни кроя вышины,
Копилися в слоях от сотворенья мира,
И тех числом лет бытности равны.

Расчистилась вся твердь до самого Эфира,
Не стало облаков, ни туч,
Чтоб Солнца заслонить палящий луч:
Рождаясь, влага иссыхала.
То пламя тонкое, что воздух разожгло,
Багровым заревом на землю налегло,
И огненную пещь земля собой являла.

Под градусом одним юг, запад, норд теперь.
Камчатский и лапландский зверь
От жара в первый раз сокрылся в норы, —
Сокрывшись в них вотще!

Но то ль еще? —
Дымящиясь помалу горы
В единый запылали час.
Пылает Тавр, Кавказ, Готард, Хитера, Осса,
Родопа, Апеннин, Атлант, Рифей, Эльфоса,
Протяжный Пиреней, о двух холмах Парнас. . .

Сия последняя всех прежде запылала,
Всех прежде жертвою пожара стала,
Затем, что с низа до верхов
Была завалена стихами,
И что (будь сказано меж нами),
В соборе том стихов
Иные были суховаты, —
Сухие же скорей зажгутся и стихи!
Итак, Парнас, подтопкою богатый,
За наши вмиг сгорел грехи!

Но то ль еще? . . горят с посевом нивы,
Герцинский лес пылает горделивый,
Все рощи, все луга горят;
Все реки в берегах кипят.
Кипит Дуэро, Днепр, Рейн, Эльба, Темза, Сена,
И Прут, Великому грозила где премена,
И Тибр, где Рима вознеслась глава;
И трон незыблемый обтекшая Нева,
И Таг, златой песок влекущий;
Кипит Фазис, отколь руно унес Язон;
России ратников дающий Дон;
Кипит Эвфрат, Родан, По, Нил, Дунай цветущий;
Кипит Алфей,
Ристаньем древле знаменитый,
И Ганг, куда, победами несытый,
Достиг надменный из царей;
И хладная вода вскипает темной Волги.
Все реки, все моря кипят.

Но только ль бед земле грозят?
Пылают грады многи:
Везде пожар отсвечивал в пожар.
Истнились навсегда те памятники пышны,
Художника где был проявлен дар;
Лишь громы слышны
От бедственна паденья их,
Лишь пепл остался нам от них.

Горит виновная Ливийская столица, —
Цвет черный от паров
Налег на все арабски лица,

В правдиву казнь грехов,
Содеянных одним из их породы.
Из рода в роды
Преходит казнь та и поднесь,
Хотя чужда арапам ныне спесь,
И стали черными вдруг полны без пощады
Премноги грады.

Пожары множились, и множилась напасть!
Горящая земля была готова пасть;
Хаосом ей погибель угрожала!
Но вдруг из недр растерзанных ее
Цибела вверх главу мертвелую подъяла,
И стала так молить богов царя:
«Почто, о Дий! толико я страдаю!
Воззри! в единый вся иссохла день,
Как вставшая из гроба тень!
Иссякли все сосцы, чем тварь твою питаю!
Толь бедственная смерть, о Дий! почто? . .»
Рекла, и в землю вновь вступила.
Еще бы говорила,
Но сил едва ей стало и на то:
Густой клубами дым препятствовал дыханью,
И угли на главу бросал пожар.

Дий, вняв не раздражась богини сей роптанью,
«Толико-то, — изрек, — земной ничтожен шар,
И смертных радости толико-то мятежны!
Как тают от огня пылинки малы снежны,
Так прочны блага их единым гибнут днем!
Безумство одного бывает в гибель всем!» —

Умолк, — и в думу погрузясь немногу,
К громодержавному отшел чертогу,
Троеконечный там перун подъял,
Вознес всемощну с ним десницу,
Поверг на дерзкого возницу —
И Фаэтон с небес упал.

⟨1811⟩

161. И. А. КРЫЛОВУ,
ЧИТАВШЕМУ «ПАДЕНИЕ ФАЭТОНА» В «БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

Читая баснь паденья знаменита,
Улыбкой оживил ты лица всех гостей,
И честь того прешла к стране пиита.
Во мзду заслуги сей
Я лавры, сжатые тобою,
Себе надменно не присвою.
Когда б не ты ее читал,
Быть может, Фаэтон вторично бы упал.

Ноябрь 1811

162. ПЕСНЬ СМЕРТИ

Хвала тебе, сон мертвых крепкий!
Лобзанью уст хвала твоих!
Ты прочный мир несешь на них,
Путь жизни изглаждаешь терпкий,
Сушишь горячих токи слез;
Ты пристань бурею носимых,
Предел мятущих душу грез;
Ты врач от язв неисцелимых;
Сынов ты счастья ложный страх:
Зло, в их рожденное умах.

Хвала твоей всемощной длани!
Она связует месть врагов,
Ведет гонимого под кров,
Вселяет тишину средь брани;
Коснется слабого очей, —
И зев не страшен крокодила,
Ни остро лезвее мечей,
Ни мощна власти грозной сила;
Ни скудость, ни враги, ни труд
В могиле спящих не гнетут.

Хвала в тебе целебну хладу!
Он гасит пламень, жгущий кровь.

Берет из сердца вон любовь,
Кладет конец ее злу яду!
Втечет — и жалость отбежит;
Не нужны чада, братья, други;
Ни их жестокость не крушит,
Ни их напасти, ни недуги:
Заботы ль им, иль дальний путь —
Не ляжет камнем скорбь на грудь.

Пусть к мертвым мещут взор угрюмый,
Пусть гордо их проходят прах,
Неся презренье на устах;
Пусть память их сотрут из думы,
Киченьем нежность воздадут,
Скрепят сердца неблагодарны,
В суровстве — тигров превзойдут,
В бесчувствии — металлы хладны, —
Не нанесут удара им:
Их крепок сон, неколебим.

Тебя ль, о скорбных друг! со славой,
Со властию, с богатств красой,
Тебя ль со звуком слов, с мечтой
Поставит в ряд рассудок здравый?
Нет, нет! не слава мой кумир!
Я к ней не припаду с обетом.
Не плески рук — твой прочный мир
Мольбы я избрала предметом.
Как ветры развевают дым,
Так зло полетом ты своим.

Когда друзья неблагодарны,
Презрев законы правоты,
Сбирая чужды клеветы,
Хулы о нас гласят коварны, —
Ужели звучны плески рук
Глубоки уврачуют раны?
Ужели славы скудный звук
Прольет нам в сердце мир попранный?
Нет! яд сей жгущ, неугасим!
Он стихнет под жезлом твоим.

⟨1812⟩

163. МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА БОЛЯЩЕЙ

Боже благости и правды!
Боже! вездесущий, сый!
Страждет рук твоих созданье!
Боже! что коснишь? воззри!..

Ад в душе моей гнездится,
Этна ссохшу грудь палит;
Жадный змий, виясь вкруг сердца,
Кровь кипучую сосет.
Тщетно слабыми перстами
Рву чудовище... нет сил.
Яд его протек по жилам:
Боже мира! запрети!

Где целенье изнемогшей?
Где отрада? где покой?
Нет! не льсти себя мечтою!
Ток целения иссяк,
Капли нет одной прохладной,
Тощи оросить уста!
В огнь дыханье претворилось,
В остру стрелу каждый вздох;
Все глубоки вскрылись язвы, —
Боль их ум во мне мрачит.
Где ты смерть? — Изнемогаю...
Дом, как тартар, стал постыл!

Мне ль ты, солнце, улыбнулось?
Мне ль сулишь отраду, май?
Травка! для меня ль ты стелешь
Благовонный свой ковер?
Может быть, мне там и лучше...
Побежим под сень древес.

Сколь всё в мире велелепно!
Сколь несчетных в нем красот!
Боже, боже вездесущий!
К смертным ты колико благ!

Но в груди огонь не гаснет;
Сердце тот же змий сосет,

Тот же яд течет по жилам:
Ад мой там, где я ступлю.
Нет врача омыть мне раны,
Нет руки стереть слезы,
Нет устен для утешенья,
Персей нет, приникнуть где;
Все странятся, убегают:
Я одна... О, горе мне!

Что, как тень из гроба вставша,
Старец бродит здесь за мной?
Ветр власы его взвевает,
Белые, как первый снег!
По его ланитам впалым,
Из померкнувших очей,
Чрез глубокие морщины
Токи слезные текут;
И простря дрожащи длани,
Следуя за мной везде,
Он запекшимись устами
Жизни просит для себя.
Нá копейку, старец! скройся!
Вид страдальца мне постыл.
«Боже щедрый! благодатный! —
Он трикратно возгласил, —
Ниспошли свою ей благость,
Все мольбы ее внемли!»
Старец! ты хулы изрыгнул!
Трепещи! ударит гром...
Что изрек, увы! безумный?
Небо оскорбить дерзнул!
Бог отверг меня, несчастну!
Око совратил с меня;
Не щедроты и не благость —
Тяготеет зло на мне.

Тщетно веете, зефиры!
Тщетно, соловей, поешь!
Тщетно с запада златого,
Солнце! мещешь кроткий луч
И, Петрополь позлащая,
Всю природу веселишь!

Чужды для меня веселья!
Не делю я с вами их!
Солнце не ко мне сияет, —
Я не дочь природы сей.

Свежий ветр с Невы вдруг дунул:
Побежим! он прохладит.
Дай мне челн, угрюмый кормчий!
К ветрам в лик свой путь направь.
Воды! хлыньте дружно с моря!
Вздуйтесь синие бугры!
Зыбь на зыби налегая,
Захлестни отважный челн!
Прохлади мне грудь иссохшу,
Жгучий огнь ее залей.
Туча! упади громами!
Хлябь! разверзись — поглоти. . .

Но всё тихо, всё спокойно:
Ветр на ветвиях уснул,
Море гладко, как зерцало;
Чуть рябят в Неве струи;
Нет на небе туч свирепых;
Облак легких даже нет,
И по синей, чистой тверди
Месяц с важностью течет.

⟨1812⟩

164

Хоть бедность не порок
Для тех, в ком есть умок,
Однако всяк ее стыдится
И с ней как бы с грехом таится.

К иному загляни в обеденный часок:
Забившись в уголок,
Он кушает коренье:
В горшочке лебеда,
В стаканчике вода.
Спроси зачем? — «Так, братец! для спасенья!

Пощусь! — сегодня середа!»
Иной вину сухояденья
На поваров свалит;
Другой тебе: «Я малым сыт!»
У третьего: «Желудок не варит!
Мне доктор прописал диету».
Никто без хитрости и без затей
Не скажет попросту: «Копейки дома нету!»

Привычки странной сей
Между людей
Мы знаем все начало!
Так будет и бывало,
Что всяк таит свою суму.

Итак, прошу не погневиться!
Ну, ежели и тот стыдится,
Что кушать нечего ему,
Кто вправду голодом томится,
То как же я подложной нищетой
Родителей моих ославлю в позднем роде?
Не ведали они напасти той,
Но жили по дворянской моде!
Палаты с флигельми в наследственном селе;
Вкруг сада каменна ограда:
В одном угле
Качели — детская привада,
В другом различны теремки,
Из дерева грибки,
И многие затеи;
Лимоны, персики, тюльпаны и лилеи
В горшочках и в грунту,
С плодом и на цвету,
У батюшки мово считали как крапиву!
Орехи кедровы, миндаль, —
Ну, словом, всё свое! Ни даже черносливу
Купить не посылали вдаль
На зимню трату!
Всё в садике росло, хотя не по климáту.
(Губерния Рязань, Ряжск город был уезд.)
Груш, яблок. . . точно в небе звезд!
И все как в сахаре наливны;

И даже патока своя,
Затем что были пчелы —
Что день, то два иль три роя!
А люди-то бегут и принимают в полы!
Голубушки! Как бы теперь на них,
Гляжу на пчелок сих!
Летит красавица! вся словно золотая!
Тащит в двух задних лапках мед;
То липочку, то розу пососет,
Передней лапочкой из ротика возьмет
Да в заднюю передает.
Подчас их цела стая,
И каждая поет!
А я, поставя уши рядом с веткой,
Учусь у них жужжать,
И, мысля подражать,
Клохчу наседкой!
Сама же думаю: точь-в-точь переняла.
Ребенок я была!
Однако детская мне в пользу шалость эта:
От пчелок я и в поздни лета
Навыкла песнью труд мой услаждать,
При песнях работа́ть,
За песнью горе забывать.
Однажды, помню я, сорвать цветок хотела,
Под листиком таясь пчела сидела:
Она меня в пальчишко чок!
Как дура я завыла...
Уж мамушка землей лечила,
Да сунула коврижки мне кусок.
В ребенке не велик умишка:
И горе, и болезнь — всё вылечит коврижка!
Умом я и поднесь не очень подросла:
Прилично ль, столько наврала,
От главной удаляся цели!
Простите! — на беду
Некстати пчелки налетели!
Теперь же вас назад сведу
На прежнюю беседу!
Отцу мому и деду,
И прадеду, и всей родне
Не как теперя мне,

По божеской всемощной воле
Назначено в обильи жить!
Себя, гостей и слуг кормить
Довольно было хлеба в поле.

Три брата у меня, сестра́ми самтретья, —
И всем меньшая я.
Мной матушка скончалась;
Зато всех хуже я считалась.
Дурнушкою меня прозвали!
Мой батюшка в печали
Нас роздал всех родным.
Сестрам моим большим
Не жизнь была, — приволье!
А я, как будто на застолье, [1]
В различных девяти домах,
Различны принимая нравы,
Не ведая забавы,
Взросла в слезах,
Ведома роком неминучим
По терниям колючим.
Наскучил мне и белый свет!
Достигша совершенных лет,
Наследственну взяла от братьев долю,
Чтоб жить в свою мне волю.
Тут музы мне простерли руки!
Душою полюбя науки,
Лечу в Петров я град!
Заместо молодцов и франтов,
Зову к себе педантов,
На их себя состроя лад.
Но ах! Науки здесь сребролюбивы!
Мой малый кошелек стал пуст!
За каждый перио́д игривый
За каждое движенье уст,
За логические фразы,
Физически проказы,
За хлеб мой и за дом
Платя наличным серебром,
Я тотчас оскудела, —

[1] Застольными в деревнях называются дворовые люди.

И с горем пополам те песни пела,
Которые пришли по вкусу вам.
Вот исповедь моим грехам!

Остались у меня воздушные накосы,
Но были б ноги босы,
Когда б не добрый наш монарх,
Подобье солнца лучезарна,
Что в тонких нисходя лучах,
От былья до зерна песчана,
От мошки до слона
Вливает жизненные силы!
Так им мне сила вновь дана;
И музы вновь меня ласкают милы!

29 февраля 1813

165. ПЕСНЯ

В НАРОДНОМ РУССКОМ ВКУСЕ ИЗ МЕСТЕЧКА ВЕИЛ-БРУК

Отпирайтеся, кленовые!
Дружно настежь отворяйтеся
Вы, ворота Веил-Брукские!
Пропустите красну девицу
Подышать текучим воздухом!
Душно ей здесь взаперти сидеть,
За четыремя оградами,
За четыремя воротами!

Что за первыми воротами
Хмель к жердинкам прививается;
За вторыми за воротами
Ярая пшеничка стелется;
Что за третьими воротами
Круторогая коровушка
На пуховой травке нежится,
С резвым маленьким теленочком;
За четвертыми воротами
Стоит терем на пригорочке,
Бурным ветрам как игрушечка!
Нету терема соседнего,
Нету деревца ветвистого!

В тереме том красна девица,
Чужеземная заморская,
Под окном сидит печальная!
Заплетает кудри черные
Через крупну нить жемчужную,
Слезы крупные роняючи,
Заунывно припеваючи:
«О! неволя ты, неволюшка!
Королевство чужестранное!
Холишь ты мою головушку
Пуще гребня частозубчата!
И хмелинка не одна цветет,
Вкруг жердинки увивается.
И пшеничка не одна растет,
Не былинкой, целой нивою!
Круторогая коровушка
Не одна в долине кормится!
Только я одна сироткою,
Будто пташка взаперти сижу».

Между 1815 и 1817

166. НА РАЗЛУКУ

Разлука — смерти образ лютой,
Когда, лия по телу мраз,
С последней бытия минутой
Она скрывает свет от глаз.

Где мир с сокровищми земными?
Где ближние — души магнит?
Стремится мысль к ним — и не с ними;
Блуждает взор в них — и не зрит.

Дух всуе напрягает силы;
Язык слагает речь, — и ах!
Уста безмолвствуют остылы:
Ни в духе сил нет, ни в устах.

Со смертию сходна разлука,
Когда, по жилам пробежав,

Смертельна в грудь вступает мука,
И бренный рушится состав.

То сердце жмет, то рвет на части,
То жжет его, то холодит,
То болью заглушает страсти,
То муку жалостью глушит.

Трепещет сердце — и престало!
Трепещет вновь еще сильней!
Вновь смерти ощущая жало,
Страданьем новым спорит с ней.

Разлука — смерти образ лютой!
Нет! смерть не столь еще страшна!
С последней бытия минутой
Престанет нас терзать она.

У ней усопшие не в воле:
Блюдет покой их вечный хлад;
Разлука нас терзает боле:
Разлука есть душевный ад!

Когда... минута роковая!
Язык твой произнес «прости»,
Смерть, в сердце мне тогда вступая,
Сто мук велела вдруг снести.

И мраз и огнь я ощутила, —
Томленье, нежность, скорбь и страх, —
И жизненна исчезла сила,
И слов не стало на устах.

Вдруг сердца сильны трепетанья;
Вдруг сердца нет, — померкнул свет;
То тяжкий вздох, — то нет дыханья:
Души, движенья, гласа нет!

Где час разлуки многоценной?
Ты в думе, в сердце, не в очах!
Ищу... всё вкруг уединенно;
Зову... всё мёртво, как в гробах!

Вотще я чувства обольщаю
И лживых призраков полна:
Обресть тебя с собою чаю —
Увы! тоска при мне одна!

Вотще возврат твой вижу скорый;
Окружным топотом будясь,
Робея и потупя взоры,
Незапно познаю твой глас!

Вотще рассудка исступленье, —
Смятенна радость сердца вновь!
Обман, обман! одно томленье...
Разлука не щадит любовь!

Разлука — образ смерти лютой,
Но смерти злее во сто раз!
Ты с каждой бытия минутой
Стократно умерщвляешь нас!

⟨*1819*⟩

П. И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

Павел Иванович Голенищев-Кутузов (1767—1829) был старшим сыном адмирала и директора Морского корпуса И. Л. Голенищева-Кутузова и родственником знаменитого полководца М. И. Кутузова. С девяти лет П. И. Кутузов был записан в военную службу. Он был адъютантом у князя Потемкина, а затем, с января 1785 года, у адмирала Грейга, участвовал в Шведской войне, в 1796 году произведен в полковники. С 1798 года начинается его статская служба: Кутузов был произведен в действительные статские советники и назначен одним из трех кураторов Московского университета. В 1800 году он представил план преобразования Благородного университетского пансиона в кадетский корпус и план «нового образа учения в университете», за что получил чин тайного советника и бриллиантовый перстень. В связи с убийством Павла I эти замыслы не были осуществлены, а Александр I, поначалу отменив кураторство, отставил его от университета. В 1805 году Кутузов был назначен сенатором, а с 1810 года — снова попечителем Московского университета.

В 1816 году вместе с отставкой А. К. Разумовского был удален с поста попечителя и Кутузов. В 1821 году он вышел в отставку.

В ранней юности Кутузов стал масоном. По собственному свидетельству, он в юности тесно общался с М. И. Антоновским, председателем Общества университетских питомцев, впоследствии издателем «Беседующего гражданина». Видным масоном, мастером стула в ложе «Нептун» был начальник Кутузова адмирал Грейг. В этой ложе в 1809 году читалась ода Голенищева-Кутузова. Ревностным масоном оставался Кутузов и в более поздние годы.

Литературная деятельность Кутузова началась еще в юношеские годы. В 1783 году он печатает стихи в журнале «Собеседник любителей русского слова». Позднее пишет оды, обращенные к Екатерине II и Павлу I. В 1802—1806 годах Кутузов издавал в Москве с Д. И. Хвостовым и другими журнал «Друг просвещения», где напечатал много своих стихов и переводов. В эти же годы он выпустил собрание своих

сочинений в трех томах, а также напечатал отдельными книгами переводы Грея (1803), Пиндара (1804), Сафо (1805), Гезиода (1807). 10 января 1803 года Кутузов был избран членом Российской академии.

По своим литературным вкусам Кутузов был убежденным сторонником А. С. Шишкова. В 1811 году при основании «Беседы любителей русского слова» он избран почетным членом общества. В историю русской литературы Кутузов вошел как свирепый противник Н. М. Карамзина, которого считал якобинцем и революционером.

Ненависть к Карамзину Кутузов сохранил на всю жизнь. Когда историк привез в Петербург для напечатания первые тома «Истории Государства Российского», то Кутузов, по словам Д. И. Хвостова, «торжественно по службе как попечитель Московского университета представил министру просвещения выписку из сочинений г. Карамзина с показанием мест, где открывается пагубное о вере и о нравственности учение, и сверх того, извещал о сем служебным же письмом графа Аракчеева».[1] Ненавистником Карамзина попал Кутузов в знаменитую сатиру А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших».

Основные издания сочинений
П. И. Голенищева-Кутузова:

Стихотворения, чч. 1—3, М., 1803—1804.
Переводы:
Стихотворения Грея, М., 1803.
Творения Пиндара, М., 1804.
Стихотворения Сафо, М., 1805.
Творения Гезиода, М., 1807.

167. ЭЛЕГИЯ,
СДЕЛАННАЯ НА СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Ударил колокол[2]; он вечер возвещает.
Стопами тихими стада идут горой;
Оратай утомлен, путь к дому направляет,
Оставя размышлять меня во тьме ночной.

---

[1] ПД, архив Д. И. Хвостова.
[2] В Англии есть древнее узаконение, чтобы звонить по вечерам в колокол в знак того, чтобы гасили огни.

Все виды сельские вечерний мрак скрывает,
Безмолвие во всех простерлося местах;
Единый жук его жужжаньем прерывает,
И только пастухи играют на рогах.

На башне сей, плющом и мохом покровенной,
Сова возносит вопль и жалобы к луне,
Что странники в своей прогулке дерзновенной
Встревожили ее в глубокой тишине.

Под сими вязами, под тению древесной,
Где множество бугров под мягкою травой,
Сокрытые в гробах лежат в могиле тесной
Деревни праотцы, вкушающи покой.

Ни утра свежего приятное дыханье,
Ни голос петуха, ни гулы на рогах,
Ни резвой ласточки приятно щебетанье
Не могут пробудить уснувших в сих гробах.

Не будут пред огонь они в кружок сбираться,
Хозяйственны труды их больше не займут;
Не будут дети их на шею к ним кидаться,
Их с ласками толпой встречать не побегут.

Сколь часто их серпу колосья покорялись!
Колико крат земля пахалась их сохой!
Как весело они к работе собирались!
Сколь часто падал дуб, сраженный их рукой!

Тщеславный! их забав и жизни не гнушайся;
Не думай презирать полезных их трудов.
Вельможа суетный! — внемли! — не отвращайся
От повести простой смиренных бедняков.

Ни тщетный блеск гербов, ни пышность сана, власти,
Ни гордость, коею мирский богач надут,
Ничто не оградит от неизбежной части:
Все славные пути равно во гроб ведут.

Гордец! не укоряй их низостью породы
И что трофеев нет над ними в сих местах,
Где повторяют звук священных пений своды,
Во храме древнем сем, в простых его стенах.

Ни урна с надписью, ни памятник надменный,
Ничто в телесный дом души не возвратит;
От гласа почестей не встанет прах сей тленный,
И духа хладного звук лести не прельстит.

Тут сердце, может быть, чертог огней небесных,
Или глава лежит достойная венца;
Иль руки, что могли в согласиях прелестных
Чрез звуки лирные привесть в восторг сердца.

Наука, временем, трудом обогащенна,
Не открывала им огромных книг своих;
От хладной бедности их пылкость утушенна,
Замерзли от нее и ум и живость их.

Сколь много камений блестящих, драгоценных
Во мрачных пропастях скрывает океян!
Сколь много есть цветов прелестных, несравненных,
Лиющих запах свой среди пустынных стран!

Здесь, может быть, сокрыт, кто Гампдену был равен,
И так же был, как он, защита поселян;
Здесь, может быть, Мильтон безмолвен и бесславен;
Там Кромвель, кровь своих не лививший сограждан.

Сената целого владея одобреньем,
Смеяться бедствиям, презрев угрозы злых,
На всё отечество излить благотворенья,
И повесть дел своих читать в глазах других, —

Сего им не дал рок, стеснивший круг их славы,
Но к преступлениям чрез то пресек их путь;
Он им не повелел чрез действия кровавы,
Чрез слезы ближнего до счастья достягнуть.

Он их не научил скрывать личиной лживой
Борения души, творящей с правдой брань;
Иль краску потушать невинности стыдливой,
Иль лирою платить порокам подлу дань.

От низких замыслов безумства удаленны,
Не ведали они тщеславия затей;
В покое дни вели спокойны и блаженны,
И шли в смирении начертанной стезей.

К защите праха их, над хладными костями
С простою рéзьбою тут памятник стоит,
Простыми, сельскими украшенный стихами:
«Вздохни, вздохни о нас!» — прохожему гласит.

Не надпись пышная, не громки восклицанья,
А начертание их возраста, имян;
Вокруг же их слова священного писанья,
Учащи умирать смиренных поселян.

Но кто же предавал забвенью молчаливу
И в самых горестях любезно бытие?
Кто мог не вспоминать жизнь бедну иль счастливу?
Кто к ней не обращал желание свое?

Душа, оставя мир, друзей в нем видеть льстится,
Глаза, смыкаяся, хотят их зреть в слезах;
Из гроба вознестись природы глас стремится,
И прежним пламенем горит еще наш прах.

А ты, который пел их лирою свободной,
Потомству предая простую повесть их!
Коль кто-нибудь с тобой чувствительностью сходный
Похочет также знать судьбину дней твоих, —

То скажет, может быть, старик с седой главою:
«Видали мы его на утренней заре,
Как он топтал росу и скорою ногою
Спешил, чтоб солнца всход увидеть на горе.

Там часто он лежал под дубом сим тенистым,
И в полдень под его покровом отдыхал;
Там, очи обратя к потокам вод сребристым,
Журчание ручья задумавшись внимал.

Он часто с горечью, казалось, улыбался;
Там бро́дя по лесам, с собою он шептал;
Почасту также он слезами заливался,
Как будто бы в любви надежду потерял.

Не стало вдруг его, хоть утро было ясно, —
Ни в лес он, ни к ручью, ни к дубу не пришел;
Назавтра я везде искал его напрасно:
Ни в поле я его, ни в роще не нашел.

На третий день мы песнь услышали унылу,
И с ней его несут ко храму погребать —
Стихами скромными украсили могилу,
В которых можешь ты судьбу его узнать:

ЭПИТАФИЯ

Смиренный юноша в сем гробе положен,
Который счастием и славой был забвен;
Наука взор к нему с улыбкой обратила,
Задумчивость его печатью утвердила.

Он, душу добрую, чувствительну имея,
Награду получил превыше всех заслуг;
Дал бедным то, что мог — лил слезы, их жалея;
В возмездье от небес ему дарован друг.

Да звук похвал доброт его не прославляет!
Забудьте также все погрешности его;
Да прах его покой во гробе сем вкушает
В надежде трепетной на бога своего!»

⟨1803⟩

168. ЭПИСТОЛА 9
К НЕВЕ РЕКЕ,

писанная мерою старинного русского стопосложения декабря 20 1803 года по просьбе моих приятелей

О питательница река Нева
Града славнова и великова,
Коль везде о тебе гремит молва,
О брегах твоих камня дикова,
Так, что видеть, Нева, красу твою
Приезжают народы дальные, —
То не чудно, что я тебя пою,
Славлю воды твои кристальные!
Свет увидел я при твоих струях,
Был твоими вспоен потоками,
Был воспитан я на твоих брегах;
Там старанием и уроками
Обработался ум незрелый мой;
Там я нежнова зрел родителя,
Подававшего мне пример собой;
Видел умного в нем учителя,
Управляющего моей душой,
Возрождавшего в чувствах пламенных
К чести, к истине и добру любовь;
Но в сердцах он умел и каменных
Насаждать семена благих плодов.
Он мне другом был, благодетелем;
Много ль в мире найдешь отцов таких!
О Нева! ты была свидетелем
И невинности и забав моих;
Зрела игры мои вседневные,
Возрастание сил и чувств моих,
И способности все душевные
Развернулися у брегов твоих.
Сердце пылкое, откровенное
Мнило много себе найти друзей;
Но, обманами обольщенное,
Стало жертвою хитрых их сетей.
С кем делил достоянье бедное
И последнее был отдать готов,

Тот, коварство питая вредное,
Мне в погибель хотел устроить ков.
Но десница отца небесного
Разгнала скоро мрачный облак сей
И сияньем луча чудесного
Мне открыла моих прямых друзей.

И веселья, и огорчения,
И тревоги огня страстей моих,
И бесчисленны приключения
Мне встречались, Нева! у вод твоих.
Слыша волны твои шумящие
В день один, оттого задумчив стал;
В руки слабые и дрожащие
В облегченье тоски я лиру взял;
Я воспел тишину отрадную,
Пел, что чувствовал я в душе моей;
Вдруг услышал ту песнь нескладную
Богданович, полночных стран Орфей,
Ободрил музу несозрелую,
Стихотворства он мне уроки дал,
Влил в меня он охоту смелую,
Чтоб к Парнасу дороги я искал.
Вняв совету, играл я с музами,
Я гонялся везде за ними вслед,
Их пленился драгими узами,
Гром Очаковских я воспел побед,
Был услышан Екатериною,
Ободрявшею чистых дев собор,
Оживлен мыслью был единою,
Что Минерва ко мне простерла взор.
Павла пел как благотворителя,
Как ущедрившего семью мою;
Александра как оживителя
Муз драгих я душою всей пою.
Девы чистые и небесные
Соплетенны ему от лир венцы,
Внемля звукам хвалы нелестныя,
Понесут их во все земли концы.

Вот, возлюбленные приятели,
Вам и песенка на старинный слог!

Я не метил вовек в писатели,
А нестройно бренчал я так, как мог.
Вам известны мои способности:
Ум не беглый, у лиры слабый глас
Представляют мне неудобности
К воспарению на драгой Парнас.
Не имею я дарования, —
С ним давно бы уж я вельможей был;
Я б чрез замыслы и писания
Много новостей и затей родил;
Добрался бы я в то святилище,
Где фортуна свои дары лиет;
Иль начальствовал бы в училище,
Где науки свой сообщают свет.
Но с природою толь убогою
Должен я в уголку моем сидеть,
Или скромной ползти дорогою
И тихохонько для друзей звенеть.
Но оставивши всё пристрастие,
Не завидую я судьбе ничьей,
И мое в том прямое счастие,
Что вкушаю покой в душе моей.

20 декабря 1803

169. СТАНСЫ

МОЛОДОМУ САТИРИКУ

Предав перо твое сатире,
Дамон, ты жизнь свою затмил;
Друзья довольно редки в мире,
А ты врагов себе купил.

Брось перья, ядом напоенны,
Бумаги колки разорви,
Пой лучше чувствия бесценны
Священной дружбы и любви.

Когда желчь горькая сатиры
Крушит всю внутренность твою,
В то время я из уст Темиры
Любови сладкий нектар пью.

Я весел, мыслью не расстроен,
А ты во злобе всякий час;
Скажи, кто более спокоен
И кто счастливее из нас?

Пускай старик ворчит, бранится,
Повеся нос, нахмуря бровь,
А наше дело веселиться,
И петь и чувствовать любовь.

⟨1804⟩

170. ПОСТЕЛЯ

Постеля есть почтенный
В глазах моих предмет:
Пиит уединенный
В ней думает, поет;
Скрывается от взоров
Всегда кокетка в ней,
Затем, что без уборов
Цены лишится всей.

Несчастный убегает
В постелю от беды,
В сне сладком забывает
Все скорби и труды;
Но тщетно преступленье
В постелю лечь спешит:
Тут совести грызенье
С подушкою лежит.

Лизета от постели
Богата стала вдруг,
Стяжала в две недели
Карету, славный цуг.
Постеля наслажденья
Бесчисленны дарит,
Постеля и рожденье
И час последний зрит.

⟨1804⟩

Я. А. ГАЛЕНКОВСКИЙ

Яков Андреевич Галенковский (1777—1815) происходил из украинских дворян. О начале своего творчества он сам рассказывал в автобиографии, которую в третьем лице написал для биографического словаря митрополита Евгения Болховитинова: «Учился он латинскому и словенскому языку у многих академиков киевских... и потом послан в Академию киевскую... (в 1785 году), где оказал большие успехи в латинском языке и украшен был двумя звездами Pro Diligentia.[1] Перевел всего «Телемака» для упражнения и написал одну пастушескую повесть «Благодетельный Зафир, или Любовь Леандра и Клеомены» и поэму в стихах «Аполлон, или Золотой век», которые потом сжег в камине. Написал он также любовную повесть под именем «Земир, или Заблудившийся охотник» ... и другую шутливую повесть «Старостянка Каролина, или Польские были и небылицы во время Костюшка», но все сии бумаги имели равную участь с первыми, кроме некоторых отрывков».[2]

Литературная деятельность Галенковского началась после переезда в Петербург, где он поступил офицером в кавалергардский полк. Первые появившиеся в печати опыты Галенковского были, бесспорно, связаны с карамзинизмом («Часы задумчивости, сочинение Иакова Галенковского», чч. 1—2, М., 1799; «Красоты Стерна», М., 1801). Однако вскоре, возможно под влиянием переехавшего в Петербург Андрея Тургенева, отношение его к Карамзину и его школе стало критическим. К этому же времени относится сближение его с И. И. Мартыновым, в журнале которого «Северный вестник» он в 1805 году под криптонимом И. Г. опубликовал несколько резких критических статей против литературной чувствительности. Интерес к гражданственно-

---

[1] За усердие (лат.). — *Ред.*

[2] Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее сокращенно — ГПБ), собрание Погодина.

героической тематике, вылившийся в апологию творчества Шиллера, скоро сменился пропагандой национальной самобытности в литературе, образцом которой был объявлен Шекспир. В 1802 году Галенковский начал многотомное издание периодического типа, долженствовавшее стать теоретико-литературным курсом, — «Корифей, или Ключ литературы». Всего вышло одиннадцать частей «Корифея».

Женившись на родственнице жены Державина, Галенковский вошел в литературный круг поэта 1810-х годов. Он принял участие в его теоретико-литературных трудах. «Рассуждение о лирической поэзии» и ряд других теоретических работ Державина построены на основе рукописей, подготовленных Галенковским. В эти же годы он вступил в «Беседу» и стал выполнять роль ее секретаря. В «Чтениях в Беседе любителей русского слова» в 1813 году появились его рассуждения о Вергилии и Овидии. Однако, насколько можно судить, отношение его к Шишкову было ироническим. Характерно, что статью, прославляющую Овидия и эпическую поэзию, он завершает: «У него не было того, что называется *романизмом*, и любовный язык всех поэтов латинских не стоит одного письма к Юлии (г. Руссо, O,mourons, ma douce amie [1])». Не случайно, видимо, он жаловался печатно на страницах «Чтений», что «одна почтенная особа, которая всех более участвовала в издании сего журнала», препятствует публикации его сочинений.

В 1815 году Галенковский скоропостижно скончался. Державин считал, что причиной смерти была острая критика, которой «Корифей» подвергся на страницах только что начавшего выходить «Сына отечества» Греча.

Сочинения Я. А. Галенковского никогда не переиздавались.

171. ⟨ПОДРАЖАНИЕ САТИРЕ В. В. КАПНИСТА⟩

Кто сколько ни сердись, а я начну браниться —
С плохими книгами никак мне не ужиться. [2]
Везде писатели свой кажут дерзкий вид,
Выходят в свет толпой, забывши вкус и стыд.

---

[1] О, умрем, мой нежный друг (франц.). — *Ред.* — Статья «Рассмотрение Овидия» опубликована в «Чтениях в Беседе любителей русского слова», СПб., 1813, ч. 11, с. 67.

[2] Всякий с первого стиха догадается, что сие вступление применено к материи, и всякий увидит, что составлено до слова как в сатире К⟨апниста⟩.

Иной ученым быть решился непременно:
От сказок к хроникам преходит дерзновенно
И думает, что так легко их сочинять,
Как травки и цветы слезами омывать.
Ну что ж! Пускай сей вздор безграмотных пленяет,
Читатель ничего иль мало в том теряет;
Но для чего *Дамон*, писатель наших миф,
Две басенки иль три на русский преложив,
Уж думает, что он совместник Лафонтена?
Зачем опять другой, усердный раб *Славена*
Свой мелкомысленный славено-русский бред
За образец ума и вкуса выдает?
Тот новой мудрости свой разум посвятил:
Он таинства на дне колодезя открыл;
Хоть сам во тьме, свой ум ко свету простирает,
На путь ведя иной, со старого сбивает.
Другой, меж шкапом книг зарывшись день и ночь,
Всех авторов щечит, на курс напрягши мочь;
Однако ж не блеснул, а только запылился,
Хотел было учить, да сам не научился;
А третий, чтоб скорей в ученый ряд попасть
Иль быть профессором — всех хуже стал писать.
Но можно ли каким спасительным законом
Принудить *Клузия* жить в мире с Аполлоном,
Не ставить на подряд во все журналы од
И древних уж не сметь перелагать вперед?
Возможно ль запретить, чтобы *Лакриманс* унылый,
Своею нежностью всем дамам опостылый,
Напутав кое-как и прозы и стихов,
Не отдал их в печать и не был бы готов
Оплакать всякий куст, все тропки, все гробницы?
Чтоб пропустил *Салтон* день ангела сестрицы,
Чтоб журналистов рой друг друга не хвалил
И древний наш *Услад* дев Пинда не дразнил?
Нельзя. Зато и нам нельзя же не сердиться:
Вы пишете лишь вздор, так как же не браниться?

⟨*1805*⟩

А. П. БРЕЖИНСКИЙ

Андрей Петрович Брежинский родился в 1777 году в дворянской семье. Он учился в инженерном шляхетном корпусе и в 1795 году был выпущен прапорщиком в армию. В 1799 году вышел в отставку. С 1801 года Брежинский в течение двух лет участвует в Комиссии составления законов. В это время он познакомился с А. Н. Радищевым и посещал его дом вместе с И. С. Бородавицыным и И. П. Пниным. По свидетельству сына писателя, П. А. Радищева, эти молодые люди слушали его отца «с большим любопытством и вниманием».[1] К Брежинскому было обращено известное стихотворение Пнина «Итак, Радищева не стало! Мой друг, уже во гробе он! . .».[2]

С 1804 по 1807 год Брежинский служил секретарем у П. Зубова в замке Руэндаль (Ругендаль) в Курляндии, с 1808 года преподавал русский язык и словесность в Горном кадетском корпусе.

Писать стихи Брежинский начал еще в молодые годы, находясь в Сибири адъютантом при генерал-лейтенанте А. И. Горчакове. Там он, по словам Д. И. Хвостова, «упражнялся с успехом в лирическом стихотворении, помещая по большей части в творения свои картины, ужасы природы изображающие, краю тому свойственные».[2]

Брежинский написал ряд стихов, посвященных А. В. Суворову. С суворовской темой связано и опубликованное в 1805 году в «Друге просвещения» «Послание к покойному Михаилу Ивановичу Козловскому, императорской Академии художеств профессору, который производил Суворова монумент, на открытие коего при сем приложена ода сочинителя сих же стихов. Санкт-Петербург, 1801 года».

---

[1] «Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями», М.— Л., 1959, с. 99.

[2] Там же, с. 100.

[3] А. Ф. Бычков, О словарях русских писателей митрополита Евгения. — Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности имп. Академии наук, т. 5, вып. 1, СПб., 1868, с. 274.

В 1801 году была напечатана «Эпистола» Брежинского, обращенная к П. А. Зубову. Писал он и пьесы, трагедии и комедии (о знакомстве с *Талией* и *Мельпоменой* Брежинский говорит в стихотворном послании к А. В. Казадаеву от 13 мая 1800 года).[1] Однако его драматические опыты до нас не дошли. Интерес к драматургии, возможно, сблизил Брежинского с Державиным. Последний писал Брежинскому в Астрахань 28 февраля 1816 года о своих домашних спектаклях: «Без вас театр наш не существует...»[2]

В борьбе шишковистов и карамзинистов начала XIX века Брежинский занял особую позицию, о чем свидетельствует печатаемое здесь стихотворение, однако в 1811 году он стал членом-сотрудником первого разряда «Беседы любителей русского слова», где председателем был А. С. Шишков.

Год смерти Брежинского неизвестен. В 1843 году он был еще жив и писал А. В. Казадаеву: «Вы вопрошаете... существует ли в сем мире Брежинский?

И вот на ваш вопрос ответ:
Еще под солнцем он живет,
И не считая дней и лет,
Еще в сем мире существует,
Хотя на старость негодует,
Но и над нею торжествует
Смиренный, кроткий ваш поэт».[3]

172. СТИХИ

НА СОЧИНЕННЫЕ КАРАМЗИНЫМ, ЗАХАРОВЫМ И ХРАПОВИЦКИМ ПОХВАЛЬНЫЕ СЛОВА ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ

Бессмертная Екатерина!
Закрой глаза, зажми свой слух.
Твоей империи три сына,
Имея слабый, низкий дух,
Тщеславный разум дерзновенный
И дар и смысл обыкновенный,

---

[1] ГПБ.
[2] Д. С. Бабкин, А. Н. Радищев, М.—Л., 1956, с. 253.
[3] ГПБ.

Полезли смело на Парнас,
В разноголосицу завыли,
Слог Ломоносова забыли,
Сей посрамили век и нас.

Один с улыбкою умильной
Желал дела твои воспеть,
И слов пустя поток обильный,
Мнил славу Томаса иметь.
К романам, к пасторальну слогу
Имея страсть, скроил эклогу,
И слово «милая» вклеил.
Твои и лавры, и трофеи,
И храмы все, и мавзолеи
Слезою нежной окропил.

Другой хотел быть Цицероном,
Как буйвол в дебрях заревел,
Тяжелым, грубым, древним тоном
Тебе псалом свой прохрипел.
Твои деяния, щедроты,
И кротость, разум и доброты
Славянщиной нашпиговал,
И, «сице», «абие», и «убо»,
И «аще», «дондеже», «сугубо»
Твердя, оригиналом стал.

А третий, всех попрать желая,
И воспаря пополз как рак,
И разум тощий напрягая,
Явил усердья бедный знак.
От славянщизны удалился
И нежностью не прослезился;
Ни то ни се стал меж двоих:
Надувшись Шведскою войною,
Он тем лишь прав перед тобою,
Что речь его короче их.

1802

«ЧТЕНИЯ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

Одной из основных задач «Беседы любителей русского слова» уже с самого момента ее основания стало «издание трудов своих, разделяя оные на два рода, так чтобы одно из сих изданий содержало в себе просто словесность, а другое суд о языке и словесности».[1] Разделение это не было выполнено, и только вторая книга печатного органа «Беседы» вышла в двух номерах, из которых один содержал теоретический трактат Державина, а другой — в основном художественные произведения.

Вместе с тем сама задача издания печатного органа была полностью осуществлена «Беседой». С 1811 по 1815 год вышли из печати девятнадцать книжек «Чтений в Беседе любителей русского слова».

Журнал этот стал весьма заметным явлением в литературной жизни начала XIX века. В первой книге помещена программная «Речь при открытии Беседы» А. С. Шишкова, основной темой которой является мысль о великом значении художественной литературы для любого цивилизованного народа.

На страницах «Чтений» опубликовано более двадцати басен И. А. Крылова, среди которых и такие политически острые, как «Листы и корни», «Гуси», знаменитый отклик на события 1812 года «Щука и кот» и др. Здесь печатал свои произведения стареющий Державин, среди них стихотворение «Аристиппова баня» и имеющий большой исторический интерес «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества». Здесь же опубликована большая часть теоретического трактата Державина «Рассуждение о лирической поэзии или об оде» (остальное до сих пор остается в рукописи).

К концу своего существования, как это часто случается, «Чтения» начали хиреть: второстепенный материал заполняет их страницы.

---

[1] «Чтения в Беседе любителей русского слова», кн. 1, СПб., 1811, с. 61.

Однако даже в этот период здесь развертывается важнейшая для истории русской культуры полемика Уварова и Капниста о переводе на русский язык «Илиады» Гомера. Блистательным практическим решением этого спора явилась шестая песнь «Илиады», переведенная гекзаметром и опубликованная Н. И. Гнедичем в 13-й книге «Чтений».

На страницах «Чтений» публиковалась значительная часть литературного материала, который читался на заседаниях «Беседы» или был написан его членами. Кроме того, здесь же находили себе место и произведения авторов, не принадлежащих к «Беседе», но близких ей по своим литературным вкусам.

В данном разделе представлены стихотворения второстепенных поэтов, примыкавших к «Беседе» и публиковавшихся в «Чтениях».

Анна Алексеевна *Волкова* (1781—1834) — поэтесса, начала печататься в 1794 году, пользовалась покровительством А. С. Шишкова, который издал первое собрание ее стихотворений (1807). Она была избрана в почетные члены вместе с А. П. Буниной при самом основании «Беседы».[1] В 1812 году вышли ее сочинения «Арфа стихогласная».

Тимофей *Беляев* — крепостной дворовый человек Н. И. Тимашева, уфимского губернского прокурора.[2] Биографические сведения о нем не сохранились.

Петр Александрович *Корсаков* (1790—1844) — дипломат, переводчик и цензор, издатель журналов «Русский пустынник, или Наблюдатель отечественных нравов» и «Северный наблюдатель».

---

[1] См.: «Чтения в Беседе любителей русского слова», кн. 1, СПб., 1811, с. 12.

[2] См. о нем: Г. Р. Державин, Соч., СПб., 1864—1883, т. 6, с. 286.

173. СТИХИ

К «БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»[1]

Среди Петрополя Афины
Восстали в наши времена;
Раскинуться, как райски крины,
Наук готовы семена.
Полночных стран жестоки хлады
В душах не потушают жар:
Где солнце есть, там без преграды
Растет высокий мудрых дар.
Но где же солнце теплотою,
Где, на каких брегах Скамандр
Пред нашей хвалится Невою,
Коль наше солнце Александр?
На росском днесь Парнасе зрится
Отверстый музам новый храм,
Пред ними в тишине курится
Наук изящных фимиам.
Там жертву чисту совершает
Мужей отличнейших собор,
Светильник разума сияет,
Яснеет там душевный взор.
Словесность русская любезна
Средь их беседы председит,
Чиста, приятна и полезна,
Минуты сладкие дарит.

[1] Сии стихи присланы в «Беседу» от почтенной сочинительницы (почетного члена «Беседы») с тем, чтоб оные были напечатаны, почему во исполнение воли ее оные здесь и помещаются.

Льются токи Иппокрены,
Там бьют ключи Кастальских вод.
В сем храме юноши и жены
Бессмертия вкушают плод.
Не так, как гордые масоны,
Что нас нескромными зовут,
Беседы наши за препоны
В таинственных работах чтут,
Пол женский слабым почитают
Не только телом, но умом;
А здесь пииты дозволяют
Нам так же действовать пером;
На тихие ума забавы
Они нам право здесь дают
И нас с собой к жилищу славы
Стезей цветущею ведут.
Красы языка исчисляя,
Даруют мыслям новый свет,
Ошибки слога исправляя,
Живят воображенья цвет.
О вы! наукой знамениты,
Вожди к парнасским высотам,
Почтенны росские пииты,
Дав пищу новую сердцам,
Путь наш к Парнасу освещайте
Небесным знания огнем
И силу духа подкрепляйте,
Да в трудном поприще своем,
Из чувств своих венцы сплетая,
Души признательность явим
И, вам в усердьи подражая,
Дань слову русскому дадим.

⟨1811⟩

174. ПЕСНЬ КУРАЙЧА РИФЕЙСКИХ ГОР

«Что томно так свирель играет,
Уныло голос издает?
О чем, поведай, унывает,
И наших песней не поет?» —
Народ Курайча [1] вопрошает.
Но сей, что отвечать, не знает,
В безмолвной тишине стоит.
Чудится сам премене явной,
Что нрав его и ум забавный,
Не зная, что сказать — молчит!

Молчит — и всюду примечает
Нестройность видиму во всем.
Глядит — но сам не понимает
И в собственном быту своем.
Верхóвой конь в полях не рыщет,
И пес хозяина не ищет,
Теряет кобылиц самец,
Туйгун [2] гусей не догоняет,
Лисицу пес не добывает,
В закутах режет волк овец.

Но вот! — и хищный зверь горами
Стремится к полночи бежать;
И враны черные стадами
Туда ж пустились отлетать.
Буран [3] им в том не воспящает
И пуще с тылу погоняет
Побитой рати на тела.

Совы́ средь ясна дня летели,
В колчанах стрелы зашумели,
На луке взвыла тетива.

С кольчуги ржавчина валилась,
Как луч надглавник заблистал,
Булатна сабля изострилась,
Конец копья приправлен стал,
Кони копытом землю били
И пену из роту клубили,
А пар от них как дым валит.[4]
Молва, во всех носясь аулах,[5]
В невнятных отдавалась гулах:
«Война на полночи горит!»

Как ловчий сокол снарядился
На хищных вранов напущать,
Так каждый батырь устремился,
За белого Падьшу[6] стоять.
Он бранного коня седлает,
Приборы ратны надевает
Врага всеобща поражать.
Детей младых благословляет,
Царю небесному вручает,
Земного едет защищать.

Старейшины пришли седые
И батырям сказали так:
«Оставя игры полевые,
Ступайте, женихи, на брак.
Копьем и саблею пир дайте,
Оковы тяжкими венчайте
На нас нашедшу злую рать;
К ним бранну почесть соблюдите,
На копья острые садите,
Умейте саблей туй скончать. . .»

Рекли — и батыри пустились
На ратно поле пировать,
Как волны за волной катились
Гостей на полночи искать.

Курайчи бранну песнь взыграли,
Отцы и матери взывали,
Да бог избавит их от бед.
Девицы юные, прекрасны,
Одни казалися несчастны,
Что им идти не смели вслед.

Ушли — и долго не слыхали
Вестей о батырях своих.
Молве народной не дерзали
Поверить слепо участь их.
Муллы [7] намазы [8] отправляли,
Со старцы бога умоляли
Их силы подкрепить и дух.
Все к небу воздымая длани
И к богу крепкому во брани,
Умильно вопиют. — И вдруг!

Жезлом князь Михаил ударил,
И новый фараон бежит;
Своих по трупам путь направил,
Израиль в тыл его разит.
Тимпаны с лики загремели
И песнь победную воспели
Бессмертному царю веков.
Священны девы вдохновенны,
Царем-пророком наученны,
В Сионе возродились вновь.

О! древней отрасль Марианны,
Тимпанниц дев священный хор!
Достиг твой ныне лик тимпанный
Седых верьхов Рифейских гор.
Долины снежны огласились,
В теченьи реки становились,
Не смели ветры бушевать.
Древа куржак [9] с себя стрясали,
Из логов звери выбегали
Победну песнь твою внимать.

И се! — из дальних зрю толпами
Аулов едущий народ,

Семью зовущийся родами
В осьмой присвоенный им род.
Спешат узнать и вопрошают,
Священну песнь не понимают,
Не смеют лиры в руки взять.
Курайча веща призывают,
Тимпан со гусльми поверяют,
Велят священный гимн взыграть.

Но как взыграть сей гимн! — не знаю:
Не звучен глас, гугнив язык.
Я к вам, тимпанницы, взываю,
Вдохните ваш мне громкий лик!
Скажите: кто вас, дев священных,
Из пепла фениксов рожденных,
Умел вовре́мя возродить?
«Певец прославленной царицы,
Что вас под именем Фелицы
Заставил добродетель чтить».

«Да будет он благословенный
Отныне ввек, и в род и род!
Он древний наш Мурза почтенный! —
Воскликнул в радости народ. —
Да с нами духом водворится,
И тем вовек не разлучится
Сердец, приверженных к нему.
О нем беседы не престанут,
Благими делы воспомянут,
Курайчи воспоют ему».

А вы! с восторженной душою
Пришли ко мне глаголы внять!
Их в сердца чистоте со мною
Возможно только понимать.
Народ! внемлите весть благую,
Урус [10] погану рать и злую
Попрал, стоптал, под ноги смял.
Джигиты [11] наши подоспели,
Как снежны бури налетели,
И враг на Запад побежал.

Соотчичи мои любезны!
Сей враг есть древний тот Дадьжал,[12]
Которого Алла во бездны
Низвергнуть ангела послал.
Уже сей злобный разоритель,
Святыни чтимой осквернитель,
Упал преторжен, поражен.
Пути погибли нечестивы,
И замыслы исчезли льстивы,
Взнесенный рог его сотрен.
Твою десницу бог направил,
Архистратиг российских сил!
Ты с именем его ударил,
И в ад летит сатанаил.
Его следы — все полны крови;
К тебе сердца — полны любови,
И род земный тебя благословит.
Тебе плетут — венцы лавровы;
Ему готовит ад — оковы,
Земля — проклятие творит.

Полночный Пиндар, вознесися
Превыше западных певцов!
Как орля юность обновися,
Хвала осьми наших родов!
Ты славно пел дела Фелицы,
Давидски днесь отроковицы
Трубят о славе наших дней.
Прости степной моей свирели, —
Того соотчичи хотели,
Чтоб я тебе пропел на ней.

⟨1813⟩

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕСНИ РИФЕЙСКИХ ГОР

1 Башкирский певец.
2 Ястреб белого рода.
3 Уральских гор жестокие метели.
4 Башкирцы, издревле быв суеверны, утверждают, что описанные примечания во время войны должны случиться непременно.
5 Зимние башкирские жилища.

[6] Всероссийский император.
[7] Магометанские духовные.
[8] Их богослужение.
[9] Иней, на деревьях бывающий.
[10] Башкирцы так называют россиян.
[11] Молодые, смелые и проворные люди.
[12] Дадьжал, по мнению башкирцев, есть тот, которого християне называют антихристом. О нем повествуют, что родится от жены-блудницы; в краткое весьма время приимет исполинский рост и чрезмерно громкий голос. На крик его прибежит шестиногий осел, также роста необычайно великого, на котором он начнет производить в роде человеческом ужасные кровопролития. Тогда молитвами музульман снизойдет на землю ангел и, схватя его с шестиногим ослом, закинет за гору Кафт. А где оная находится, неизвестно.

175. К РОДИНЕ

Крутоверхи берега,
Ручейки студены,
Злачны пажити, луга,
Рощицы зелены,
Где весенний соловей,
Вторя нежности моей,
Пел со мной *Корину*;
Где нередко голубок,
С милой розно, клял свой рок,
Ворковал кручину!

Мирны кущи и поля,
Радостей обитель,
Где живет душа моя!
Я не ваш уж житель!
И отчизны сладкий дым
Не явит очам моим
Места, где родился!
И мой вещий сердца страх
Не шепнет в драгих местах:
«Вот — где ты пленился!»

Он не скажет мне: «Вот *терн!*
Вот *твоя судьбина!*
Вот цветущий, злачный дерн,
Где прошла *Корина!*
Тут, где роща зеленей,
Где поток течет светлей,
Тут *она* сидела!

Там, где птичек хор стройней
Песнь поет любви своей,
Там *Корина* пела».

Голос сердца моего
Смолк, заглохнул в скуке:
Не услышу я его
С *милою* в разлуке;
Разве только для того
Звуки голоса сего
Назовут *Корину*,
Чтоб в мечтаниях о *ней*
Вдруг очнувшись, — в страсти злей
Клял мою судьбину!

Хоть не знал, любим ли я
Радостью моею,
Но я видел взор *ея*,
Вместе был я с *нею*!
Слышал мне любезный глас,
Из ее прелестных глаз
Пил я жизнь, отрады,
И в надежде лучших дней
От души души моей
Ждал из уст награды!

Жизнь моя тогда была
Нежный цвет весенний,
И душа моя ждала —
Чтоб, как плод осенний,
Милой томный, нежный взгляд
Был мне вместо всех наград,
Всех даров вселенной;
Чтоб, созрев от горьких слез,
Мне отрадой был небес
Плод сей драгоценный!

Где вы, сладостны часы,
С *нею* проведенны?
Где вы, радости, красы?..
О места священны,
Где родился я на свет,

Где любви моей предмет,
   Милую *Корину*,
Я увидел в первый раз!
Ах! твердите каждый час
   Ей мою кручину!

Вы скажите, что не смел
   Вымолвить *любезной*:
Как горел я, как я тлел
   В страсти бесполезной;
Всё пылает грудь моя,
Всё люблю *Корину* я,—
   Вы *ей* повторите,
И *Корины* мне ответ,
Если он мне жизнь дает,
   С ветром перешлите!

Если ж страшен сей ответ,
   Коль лютей судьбины,
То — пусть вихорь разнесет
   Злой ответ *Корины*!
Пусть увянет жизнь моя;
Лишь бы с той надеждой я
   Встретил час кончины,
Что мой камень гробовой
Будет окроплен слезой
   Ангела — *Корины*!

⟨1815⟩

176. ЗИМНИЕ МЕЧТАНИЯ

Мирный злак полей иссушила осень;
Все дары *Марцаны* [1] пожирает хлад;
Белый снег пушит рощи черных сосен;
В густоте дремучей *лешие* [2] шумят.

Ясны облака гонит с тверди синей —
Грозною десницей — стропотный *Позвизд*. [3]

---

[1] Марцана была Церера славян.
[2] Лешими называли славяне своих сатиров.
[3] Позвизд был Эол славянский.

Где дохнет — там снег; где воззрит — там иней.
Ужасом несется в уши резкий свист.

Спутники его — вьющиеся вихри,
В дальние пещеры мча свой быстрый бег,
Сыплют на пути блещущие искры,
И в полянах белых к небу веют снег.

Резвы ручейки брызжущей струею,
Прыгая по камням в долы с синих гор,
Замерли в брегах, и над их рудою —
Льдистый, неподвижный стелется ковер.

Мёртво всё в полях, и в тиши долинной
Слышен за холмами мразов дикий треск;
При подошве гор — мир воссел пустынный;
Но сей мир страшнее, чем перунов блеск.

Мразная зима! К смерти путь открытый
Для полей, для долов, для природы всей —
Ты подобье нашей старости маститой,
Ты нам служишь дверью в области теней.

Некогда и вы, древеса зелены!
Сению приятной прохлаждали луг;
Некогда и вы, о дубровы темны,
Песнями пернатых услаждали слух!

Ваш зеленый лист длань зимы сорвала;
Вас теперь склоняет долу бурный ветр;
Жителей дубров стужа разогнала,
Мраз чело подъемлет из подземных недр.

Некогда и ты, славный сын *Добрыни* —
Смелый воевода громоносных сил,
Возносясь как дуб посреди равнины,
Процветал меж руссов пышный *Рагуил*!

Но прошло красы время знаменито:
Ты главу седую к персям преклонил,
И чело твое, лаврами обвито,
Снежными власами перст веков покрыл.

Мир тебе, о сын славного *Добрыни*!
Дел твоих под сенью век твой пролетел;
Как богатый плод посреди долины —
Так твой славный вечер радостно приспел.

Счастлив, кто, как ты — смело, безмятежно, —
Не страшится встретить зиму жизни сей,
И с душою твердой, радостной, надежной —
За дверями гроба ждет весенних дней!

После 1803

М. В. МИЛОНОВ
И ПОЭТЫ ЕГО КРУЖКА

М. В. МИЛОНОВ

Михаил Васильевич Милонов (1792—1821) происходил из семьи просвещенного, но небогатого воронежского помещика. Материальная нужда была постоянным спутником жизни Милонова. В 1803 году он поступил в Благородный пансион при Московском университете. С 1805 по 1809 год учился в Московском университете, который окончил, получив степень кандидата. Затем Милонов переезжает в Петербург и поступает на службу, сначала в министерство внутренних дел, а затем, пользуясь покровительством И. И. Дмитриева, — в министерство юстиции. В 1812 году он пытается при посредничестве П. А. Вяземского вступить в формируемый М. А. Дмитриевым-Мамоновым гусарский полк. После ухода Наполеона из Москвы служит в комиссии помощи пострадавшим жителям города.

Литературные занятия Милонова начались еще в университетском пансионе. Он сближается с московскими литераторами — Мерзляковым, Грамматиным, Жуковским. В 1807—1809 годах его стихи стали появляться в «Утренней заре» (пансионском издании, печатавшем сочинения воспитанников) и «Вестнике Европы». После переезда в Петербург Милонов сблизился с кругом «Цветника» и группировавшихся вокруг него радикальных литераторов. В дальнейшем печатался также в «Санкт-Петербургском вестнике» Измайлова, «Сыне отечества», «Благонамеренном» и других периодических изданиях.

К этому времени Милонов окончательно определился как поэт гражданского направления и сатирик. Противопоставляя себя мечтательному романтизму Жуковского, он писал:

Зовись ты Шиллером — зовусь я Ювеналом!

«Ювеналовское» направление Милонова на самом деле представляло собой пропаганду высокой гражданской сатиры, подготавливавшей поэтическую практику декабристской поэзии эпохи Союза благоденствия.

После 1815 года, бросив службу, Милонов, больной и голодный, начал опускаться. Смерть Беницкого разрушила наиболее близкий ему поэтический кружок. Круг радикальных петербургских писателей-разночинцев рассеялся и измельчал. Лучшие поэты умерли от нужды и болезней, выжившие все больше становились чиновниками. Складывающийся же мир молодых литераторов декабристского лагеря был Милонову чужд. Он повторил трагедию Ермила Кострова — «возвышенного певца», разменявшего свой талант на трактирные забавы. Пушкин записал характерный рассказ: «Сатирик Милонов пришел однажды к Гнедичу пьяный по своему обыкновению, оборванный и растрепанный. Гнедич принялся увещевать его. Растроганный Милонов заплакал и, указывая на небо, сказал: „ Там, там найду я награду за все мои страдания...“ — „Братец, возразил ему Гнедич, посмотри на себя в зеркало: пустят ли тебя туда“».[1] После смерти Милонова многие его произведения остались в рукописях, в настоящее время утраченных.

Основные издания стихотворений
М. В. Милонова:

Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михаила Милонова, СПб., 1819.

«Поэты-сатирики XVIII — начала XIX в.», «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1959, с. 477.

177. К РУБЕЛЛИЮ

Сатира Персиева

Царя коварный льстец, вельможа напыще́нный,
В сердечной глубине таящий злобы яд,
Не доблестьми души — пронырством вознесенный,
Ты мещешь на меня с презрением твой взгляд!
Почту ль внимание твое ко мне хвалою?
Унижуся ли тем, что униже́н тобою?
Одно достоинство и счастье для меня,
Что чувствами души с тобой не равен я!
Что твой минутный блеск? что сан твой горделивый?
Стыд смертным и укор судьбе несправедливой!

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, 1949, с. 159.

Стать лучше на ряду последних плебеян,
Чем выситься на смех, позор своих граждáн;
Пусть скроюсь, пусть навек бегу от их собора,
Чем выставлю свой стыд для строгого их взора;
Когда величием прямым не одарен,
Что пользы, что судьбой я буду вознесен?
Бесценен лавр простой, венчая лик героя,
Священ лишь на царе владычества венец;
Но коль на поприще, устроенном для боя,
Неравный силами, уродливый боец,
Где славу зреть стеклись бесчисленны народы,
Явит убожество, посмешище природы,
И, с низкой дерзостью, героев станет в ряд, —
Ужель не обличен он наглым ослепленьем
И мене на него уставлен взор с презреньем?
Там все его шаги о нем заговорят.
Бесславный тем подлей, чем больше ищет славы!
Что в том, что ты в честях, в кругу льстецов лукавых,
Вельможи на себя приемлешь гордый вид,
Когда он их самих украдкою смешит?
Рубеллий! Титла лишь с достоинством почтенны,
Не блеском собственным, — сияя им одним,
Заставят ли меня дела твои презренны
Неправо освящать хвалением моим?
Лесть сыщешь, но хвалы не купишь справедливой!
Минутою одной приятен лести глас;
Но нужны доблести для жизни нам счастливой,
Они нас усладят, они возвысят нас!
Гордися, окружен ласкателей собором,
Но знай, что предо мной, пред мудрых строгим взором,
Равно презрен и лесть внимающий, и льстец.
Наемная хвала — бесславия венец!
Кто чтить достоинства и чувства в нас не знает,
В неистовстве своем теснит и гонит их,
Поверь мне, лишь себя жестоко осрамляет, —
Унизим ли мы то, что выше нас самих?
Когда презрение питать к тебе я смею,
Я силен — и ни в чем еще не оскудею;
В изгнаньи от тебя пусть целый век гублю,
Но честию твоих сокровищ не куплю!
Мне ль думать, мне ль скрывать для обща посмеянья
Убожество души богатством одеянья?

Мне ль ползать пред тобой в толпе твоих льстецов?
Пусть Альбий, Арзелай — но Персий не таков!
Ты думаешь сокрыть дела свои от мира —
В мрак гроба? но и там потомство нас найдет;
Пусть целый мир рабом к стопам твоим падет,
Рубеллий! трепещи: есть Персий и сатира!

⟨1810⟩

178. К ЛУКАЗИЮ

Сатира вторая

Луказий! решено: ты хочешь быть поэтом
И требуешь, чтоб я снабдил тебя советом,
Как славы достигать и имени певца;
Что легче, как найти невежду и льстеца?
Ищи их и пиши: всё будет совершенно!
Писателем прослыть весьма обыкновенно.
Стихи свои хвалой наполни гнусных дел,
Будь дерзок, подл и льстец — и слава твой удел!
Рубеллию тверди, что он рожден вельможей,
Жене его шепни, что всех она пригожей,
А *Балдусу*, вралю, что первый он поэт,
И одами зови его высокий бред;
Утешь его, скажи, что добрый час настанет
И свет стихи его порочить перестанет,
Что, рано ль, поздно ли, насмешники помрут —
И томы пыльные читателей найдут;
К *Вралеву* забеги с пренизким ты поклоном:
Ему не в первый раз вступаться Цицероном
За скаредных певцов, уродство их хвалить,
Дерзни его хоть раз с Горацием сравнить —
И он, не устрашась, провозгласит пред светом
Тебя и Пиндаром, и классиком-поэтом!
Там к *Бавию* иди: сей ждет тебя бедняк,
Отец *помесячных* нелепостей и врак,
Дай что-нибудь ему! он скоро разорится —
И жизнь твоя как раз в журнал его вклеится!
С огромною своей поэмою спеши
В дом *Клита* и ему усердно припиши:
Он знатный господин, талантов покровитель
И просвещения в отечестве ревнитель, —

Страницей лести лишь пожертвуй — и твой труд
На счет его казны тисненью предадут!
Лишь книга добрая явиться в свет не смеет,
А вздорная везде заступников имеет,
Нет нужды, что о ней забудут через день!
Тем лучше, сочинять Луказию не лень;
Комедии своей желаешь ли успеха —
Зови друзей в театр для хлопанья и смеха —
И слава о тебе промчится в *шумный рай*!
В обширных замыслах своих не унывай:
Быть может, за игру актрисы превосходной
Похвалят и стихи в трагедии негодной;
Тогда тебя введут к *Лукуллу* в пышный дом,
Где он, обсаженный невеждами кругом,
За каждую строку твоей подлейшей лести
Сторицею воздаст хвалы тебе и чести!
В ученых обществах ты станешь заседать,
Куда стекаются не слушать — а зевать;
Где *Мидас*, мстя женáм, в бессмыслии суровом,
Недавно их морил своим похвальным словом;
Но только ли еще? — о гении твоем
И *Клузий* возвестит в издании своем,
И *Глазунов*, сей муж, толико благодарный,
Распишет о тебе хвалой высокопарной,
И, книжного ума брадатый продавец,
Всех будет уверять, что первый ты певец!
У нас кто захотел в поэты — записался;
Хоть новый рекрут сей с грамматикой не знался —
Нет нужды до того! отвага, дерзость, лесть
Невежд и подлецов нередко вводят в честь!
Смелей бери перо! примеры пред тобою;
Так *Мевий*, разродясь сатирою одною
И выдав сто дурных стихов наперечет,
Попал в певцы и всем свой строгий суд дает;
Ах, сколько есть таких, которы, от рожденья
Не могши написать двух строк без погрешенья,
Взялись о правилах и вкусе говорить, —
Невежда боле всех имеет страсть учить.
И ты, хоть не богат своим природным даром,
Старайся заменить его отвагой, жаром;
Найдутся многие, которые простят
Бессмыслице твоей за то, что в ней узрят

И цель полезную, и рвение благое,
Которы облечешь ты в рубище худое, —
Что добрый гражданин, что в службе ты давно;
Как будто гражданин и автор — всё равно!
Как будто стыд тому, кто всех из нас честнее,
Быть в мыслях правильней и в связи их яснее.
Пусть *Фабий* нежный друг, пусть добрый он отец,
Пусть мужа верного он будет образец, —
Все качества сии достойно уважаю,
Но, слушая его трагедии, — зеваю;
И если б кто дерзнул в присутствии моем
Сказать, что он рожден трагическим певцом,
И мне бы отвечать на то не можно было —
Молчание мое льстеца бы обличило.
И как, не изменя и чести, и стыду,
Осмелюся назвать я, к собственному вреду,
Нескладного певца поэтом превосходным,
Хотя б он в доброте Сократу был подобным?
Радковского вранье поэмою считать,
С российским Пиндаром *Бессмыслова* равнять
И, чтоб никто в моем безумстве не сомнился,
Кричать, что снова Юнг в *Плаксевиче* родился!
Скорей решусь принять ужасный приговор,
Что буду помещен поэтов сих в собор,
Скорее соглашусь смешнее быть *Шутова*,
Глупее *Бавия* и даже злей *Злослова*!
Но это для себя, Луказий, я сказал,
Ты смело достигай великих сих похвал;
Так *Фирса* Томасом друзья его назвали,
Хоть смысла у него в твореньях не встречали,
Но он привык искать не смысла — длинных слов,
И мало ли ему подобных есть творцов?
Их дружбы ты ищи, их слушай наставленья,
Яви себя рабом нелепого их мненья,
Наука их легка: не думать ни о чем,
Лишь странным щеголять в болтаньи языком;
Так *Вадий* нанизал поэму в их расколе
Из смеси чудных слов, неслыханных дотоле, —
И вправду славен он! поэмой будут сей
Теперь определять безумие людей!
Но главный мой совет: будь тверд в своем ты мненье
И бранью защищай нелепое творенье,

На всё за детище любезное дерзай,
И умным, и глупцам ни в чем не уступай.
Быть может, иногда ты встретишь, хоть их мало,
Людей, которые острят на глупость жало,
Тогда, рассвирепев и взявши грозный вид,
Брани их наповал, забыв и честь и стыд:
«Безбожник, — закричи, — злодей и изверг света,
Кто смеет не почтить в Луказии поэта!»
Но этих смельчаков немного меж людей,
И прозе, и стихам большая часть судей:
Педант, над книгами в течение полвека
Утративший и смысл, и образ человека,
Который всякий час, с надменною мечтой,
Вам будет заменять грамматику собой,
Который всё наук прошел обширно поле,
И сам — том древния грамматики, не боле;
Иль автор мелочей, в посланиях своих,
Где с здравой логикой в раздоре каждый стих,
Дающий вес умам, познаниям, талантам;
Иль *Вариус*, что схож с огромным фолиянтом,
В котором столько же нелепиц, сколько слов;
Иль славы ищущий ругательством *Злослов,*
Кто, площадную брань нам выдав за сужденье,
Себе вменяет в честь всеобщее презренье;
Иль *Друз*, что о любви к отечеству твердит
И первый сам его невежеством срамит!
Ступай, Луказий мой, храня в душе отвагу,
Смелей переводи чернила и бумагу,
Такое ремесло нимало не во вред!
Но вижу, что тебя смущает мой совет, —
Такими ль, говоришь, такими ли путями
Державин, Дмитриев прославились меж нами?
Не все под сча́стливой планетой рождены;
Луказий, чтоб дерзать за славой, как они,
Чтобы стяжать венцы, которы их покрыли,
Им равные, скажи, имеешь ли ты силы?
Питаешь ли в груди божественный сей жар,
Который от небес немногим послан в дар,
Сию высокость чувств и духа благородство —
Достоинство людей, поэтов превосходство?
Для славы истинной отважишься ль на всё,
Найдешь ли ты в себе возмездие свое?

Луказий! не мечтай: мне цель твоя известна!
С прямым талантом лесть и низость несовместна.
Для тех особый путь назначен был судьбой;
Тебе ли, как они, прославиться собой,
Одну лишь страсть к стихам несчастную имея?
Что подвиг Геркула для слабого пигмея?
Совет же мой легок — и к славе путь прямой,
Решился — в добрый час! пиши — и бог с тобой!

⟨1810⟩

179. ⟨Н. Ф. ГРАММАТИНУ⟩

Твоя комедия без *или*,
И на театре ей не быть,
Она сгниет в архивной пыли;
Да почему же ей не сгнить,
Когда и с прибавленьем *или*
Давным-давно две Лизы сгнили?
Я разумею: «Лизу, *или*
Признательности торжество»; [1]
И ту, какой и естество
Не создавало: «Лизу, *или*
Распрепечальный *результат*
И *гордости* и *обольщенья*». [2]
Ну, так бери свои творенья
Да и скорей их в печку, брат!

1810(?)

180. ПРИДОНСКИЙ КЛЮЧ

В тени дубравы ток виющий,
О сын венчанных мохом скал,
Со ребр их в Дон лиющий
Свой пенистый кристалл!

---

[1] «Лиза, или Торжество благодарности», драма Н. И. Ильина.
[2] «Лиза, или Следствие гордости и обольщения», драма Б. М. Федорова.

К тебе, Придонский ключ целящий,
Близ коего отшельник жил
И твой поток журчащий
Из камня источил,
Иду в часы полдневна зноя,
Свежа палиму жаром грудь,
Средь неги и покоя
При шуме отдохнуть;
Или, в час вечера сума́чный,
Как, пробираясь сквозь тростник,
Луна в твой ток прозрачный
Свой опускает лик,
И в тму глубокую полнощи,
Как черны призраки ея,
Из ближней вышед рощи,
Обстанут вкруг тебя,
Твой шум в молчании внимают,
Не движась с высоты скалы,
И тени упадают
Далеки по земли;
Как, наклонясь, в тебе глядится
Чело угрюмое холма,
И с трепетом дробится
У ног его волна;
О ключ, святыней источенный,
Пробивший влагою песок!
Тобою привлеченный,
Я славлю твой исток.
Да ввек твоя святится сила
И живоносные струи,
Вечно-биюща жила
Питающей земли!

⟨1811⟩

181. УНЫНИЕ

Люблю в душе моей уныние питать.
Природа всякий час готова нам внимать,
Наставник истинный, товарищ драгоценный!
Но более всего люблю тот час священный,

Как гаснет в облаках, прощаясь с миром, день,
Как длинная с холмов в долины ляжет тень,
Полдневных шум работ умолкнет постепенно,
И пение певцов слабеет отдаленно,
Скрываются цветы, чернеют зыби вод,
Как света царь, скончав торжественный свой ход,
Померкшее чело скрывает за туманом,
И теплится заря на западе багряном.
Тогда, мечтается, с прохладным ветерком
Молчание летит под маковым венком,
Друг ночи и о ней желанный возвеститель!
Ты мир и сон ведешь оратая в обитель.
Час вечера в полях — печальный жизни вид!
Струя сокрытых вод вокруг меня журчит,
И аромат с цветов невидимых восходит;
Тогда во глубину свою мой дух нисходит;
Спят чувства — и мечта его оживлена!
Парениям ее вселенная тесна.
Сюда питать ее, под наклоненной ивой,
Сажусь — и углублен в беседе молчаливой —
Сюда, уныния и мудрости друзья!
Лик месяца блеснул на зеркале ручья!
Пред мною храм села, в очах моих кладбище,
Отшедших от земли пустынное жилище,
Не бронза, не гранит — вещатели похвал!
Полуобрушенный, покрытый дерном вал,
Заросших ряд могил, где мох лишь, поседевший
На камнях гробовых иль вновь зазеленевший,
Почивших время сна являет для очей;
Здесь пепел их свежит извивистый ручей.
Как братья, как друзья, гроб вместе старца, млада,
Их персти не делит железная ограда!
При них взор странника стремится отдохнуть,
О братья, вместе течь и вместе кончить путь!
О тленности мечта здесь дух мой посещает,
Шаг каждый мой себе подобных попирает,
Из праха нашего составилась земля.
А там, где день и ночь гремит творцу хвала,
В природной простоте ума не озаренна,
Не хитростью его, а чувством соплетенна,
Где, мнится, сам отец внимает чад своих,
Вселяет в злобных страх и милует благих,

Где древность на стенах секирой твердой стали
Неизгладимые означила скрижали, —
В сем храме мысль моя со трепетом парит,
Приникши к алтарям, поющи лики зрит,
Дух — верою, мольбой — ланиты воспаленны,
Уста, несущи песнь, и очи умиленны;
Там молится, предстать готовясь пред судом,
Раскаянье, к земле приникшее челом,
В потоке слез свое сретает искупленье;
Благословляя там от мира удаленье,
Согбенный летами, под бременем скорбей,
Желая ускорить кончиною своей,
Дом тесный труженик себе уготовляет,
Не кончен зрится труд... а старец истлевает!..
Сюда, в час осени, стекайтеся, друзья!
Как с шорохом листов смесится шум ручья
И ток, рассвирепев, в расширенном стремленье,
К окрестным понесет жилищам потопленье;
Как ветер восшумит, внезапный гость лесов,
И обнажит верьхи дряхлеющих дубов;
Когда отцветшие дубравы и долины
Представят взорам вид печальныя картины
И вы не встретите в зерцале мутных вод
Ни утра зарево, ни неба ясный свод;
Феб скроется, узрев природы разрушенье,
И, в скорби, сократит для ней свое теченье;
Когда она, сорвав красот своих венец,
Сама — как старица, сретающа конец, —
Тогда, мои друзья, в сей мрачный лес вступайте;
Свой собственный закат всеобщим услаждайте,
Смерть менее страшна, коль думаем о ней.
Сидящим вам в мечтах, быть может, вестник сей,
На мшистой высоте повременно звучащий,
Которым говорит нам миг, от нас летящий,
Моленья скажет час... во храме огнь блеснет.
Всяк к месту, в нем себе избра́нному, придет.
Торжествен час хвалы, предвечному несомый!
Быть может, окружив почивших тесны домы,
Благословения на прах их притекут,
Моление и скорбь свой тихий гимн сольют,
И взыдет фимиам над дремлющим в покое...
Там веры чувствуйте величие простое!

Или всю скорбь в себе стремитеся вместить,
Всю силу ближнего несчастие делить,
Когда, сквозь частый кров, составленный ветвями,
С бледнеющим челом, с померкшими очами,
С власами, падшими в небрежности на грудь,
Вы узрите красу, таящу робкий путь
К могиле, где ее отрада заключенна:
Дух скорбью услажден, грудь плачем облегченна!
Склонясь на мшистый крест задумчивым челом,
Уныния она вам будет божеством.

⟨1811⟩

182. ПОХВАЛА СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Beatus ille qui procul etc.
Hor.[1]

Блажен, кто жизнь свою в свободе провождает,
Как первобытныя вселенны гражданин,
Доставшийся ему удел распространяет
И в отческих полях работает один.
Его не устрашит труба, войну гласяща,
Свирепых воинов во трепет приводяща,
Ни разъяренныя стихии грозный вид;
Корысти он вослед чрез бездны не летит.

Но, лучшею себя забавой услаждая,
В саду сухую ветвь пилой отъемлет прочь,
Ослабшую крепит, с другой сочетавая,
Там тополу спешит любимому помочь;
С веселием стада с полей своих встречает,
Там круторогую телицу загоняет,
Там агницы стрижет сребристое руно,
Иль, златом полное, обходит он гумно.

Когда ж, венчанная румяными плодами,
К нам осень притечет, обильная в дарах,
Как матерь щедрая, ожиданна сынами,

---

[1] Блажен, кто вдали и т. д. *Гораций* (лат.). — *Ред.*

И пиршество для них устроит на полях —
Приспела сладкая трудов его награда,
Там точит пурпурный он сок из винограда,
Там им взращенный плод рука его берет
Иль в чашу светлую янтарный цедит мед.

Всё вам, о боги, в дар! вам жертвы обреченны,
Властители лесов, стрегущие стада
И быта сельского хранители священны,
Приносит первого избытки он плода;
Ваш храм, украшенный работою простою,
На утрие его исполнится хвалою,
Церере принесет он юного овна
И Вакху на алтарь — обильный ток вина.

Садится ль он дубов развесистых под тенью,
На мягкой зелени, кропимой ручейком,
Внимает ли его приятному теченью,
Согбенный думою или объятый сном, —
Летающий зефир в него прохладой дует,
На ветви голубок, уединясь, воркует,
И сам поет вблизи пернатых царь певцов,
Во мраке притаясь чуть веемых листов.

Когда ж печальную и хладную часть года
Юпитер от небес на землю низведет,
Преследует зверей различного он рода,
Со стаей псов, вокруг расставленных тенет, —
Вотще тогда бегут и заяц торопливый,
Стремящийся сокрыть в излучинах свой след,
Щетинистый кабан и серна боязлива,
Пригнувшая рога на трепетный хребет!

Как весело домой с добычей возвратиться!
Там матерь нежная, любимая жена
Перед пылающим горнилом суетится,
Малютки милые толпятся вкруг огня;
Умеренность, обед приправив с простотою,
Стол кроют дедовский с старинною резьбою,
И травы, и плоды — садов домашних дар,
Мед чистый и вино — посланье щедрых лар!

Там легким вечером его встречают взоры,
Как весело бегут, тесняся меж собой,
Овечки сытые в скрипящие затворы;
Склоняся под ярмом дебелою главой,
Как медленно идут волы, оставя нивы,
И скачут разметав кони златые гривы!
Ни скука, ни тщета, ни скорбь, боязни дщерь,
Не входят никогда в его простую дверь.

⟨1811⟩

183. К МОЕМУ РАССУДКУ

Сатира третия

Смирись, рассудок мой! к чему такое рвенье?
Сатира для людей — худое наставленье.
С сим страшным ремеслом ты будь всегда готов
Приязни рушить связь, нажить себе врагов;
Все скажут о тебе: насмешник сей несчастный
Есть язва общества, ум вредный и опасный,
Беги его, страшись — для острого словца
В сатире уязвит он матерь и отца!
И те, которые слывут тебе друзьями
И смелыми подчас пленяются стихами,
В обиженном лице портрет увидя свой,
Смеяся вслух над ним, а тихо над тобой,
К толпе твоих врагов тотчас передадутся
И дружества с тобой под клятвой отрекутся.
Сатира, в коей желчь и злоба лишь видна,
Без пользы для других, писателю вредна;
Исправишь ли порок насмешкою одною?
Стихи ль подействуют над зверскою душою?
Напрасно! все труды останутся вотще,
Такие чудеса не слыханы еще.
Ты будешь обличать *Грабилина* злодейства,
Им разоренные показывать семейства, —
Что пользы? Хищник сей покоя и добра
Иль друг с вельможами, иль си́лен у двора!
Хоть всеми бранными осыпь его словами,
Он, откуп новый сняв, сравнен с полубогами!
И день и ночь пиры богатые дает,
На коих — крокодил! — он кровь и слезы пьет!

Ты скажешь: на суде, пред взорами *Клеона*,
Уснула грозная блюстительность закона,
Невинный осужден, оправдан плут... а он?
Он знатен, он богат, на что ему закон?
Суда для сильных нет — он слабым лишь ужасен;
Преступник чем знатней, тем боле безопасен.
Явишься ль в общество осмеивать порок
Иль юности давать спасительный урок,
Бранить невежество, пустую знатность рода,—
Что ж будет? все тебя в нем примут за урода,
Который должного почтенья не хранит
И смело знатному о чести говорит!
Писателей дурных исправить ты желаешь, —
Вот цель премудрая! как будто выставляешь
Себя лишь одного для них ты образцом,
В сатире, где едва смысл вяжется с стихом.
«Пришел, — вскричат они, — давать нам наставленья,
Как будто бы писать нельзя уж без ученья!»
Начнешь ли *Балдуса* порочить скучный бред —
«Он добрый человек, — услышишь ты в ответ, —
Кто право дал тебе бранить его нещадно?
Всяк волен здесь писать и складно, и нескладно;
Простительно отцу лелеять милых чад;
К тому ж ввели ль кого стихи его в разврат,
Недолговечные творения поэта,
Которые гниют, не знав дневного света?»
Вралева упрекнешь — все ахнут: боже мой,
Что труд *Бессмыслова* возносит он хвалой!
Чего же хочешь ты? вражды между друзьями,
Которые живут взаимными хвалами?
Оставь, оставь навек такое ремесло,
Пока оно тебе вреда не принесло;
Поэма вздорная, нелепо песнопенье
Герою и певцу есть вместе посрамленье!
Пусть тонет, пусть горит, в незнании от всех, —
Сказав о ней, родишь лишь жалость, а не смех;
Печатный всякий вздор исчезнет сам собою:
Его ли воскресить осмелишься хулою?
Театра нашего и слава наших дней:
Сумбека, Радамист, Электра и *Атрей* —
Довольно на себя врагов вооружили:
Пыль, черви, сырость, мгла войну им объявили!

И ты, на сцену вновь явившийся, *Эдип*,
Из нищего — царем безжалостно погиб,
Предтечу своего вотще затмить стремился,
Слепец афинский жив — а *Царь Эдип* сокрылся
При плеске зрителей высокого райка!
Но можно ль сосчитать, упомнить, хоть слегка,
Трагедий, драм собор, труд цеха заказного,
Которы погреблись в подвалах *Глазунова*;
Пусть, клятвой отягчась расчетных продавцов,
Скрывают там себя и стыд своих творцов, —
Нет, мало! для твоей обидной им забавы
Ты отыскал в пыли валявшийся «Храм славы»,
Биона с Мосхом вновь несчастный перевод,
И «Федру» *Бавия*, и кучу разных од,
Улику жалкую бессмыслия, безумства;
Но мщенье ждет тебя за дерзость и кощунство!
Уж *Вздоркин* для тебя по дням и по ночам
Терзает бедный ум для жалких эпиграмм;
Уж вновь бессвязное послание готовит,
В котором очернит тебя и озлословит,
И, в гибельном бреду, бумажный витязь сей
С костра возопиет к дружине так своей:
«Зачем мы, друг, с тобой на сем костре палящем?
Я сроду не писал ни *абие*, ни *аще*!
Он враг мой, он злодей, в посланиях моих,
Жестокий! обличил в бессмысльи каждый стих,
А их хвалил и ты, хвалил мой благодетель,
Сам, в радостных слезах, я был тому свидетель;
О! вечно я ему сей злобы не прощу
Иль *абие* скорей в стихи мои вмещу! ..»
Так *Вздоркин* на тебя в посланьи ополчится,
Проси его иль нет, уж он не примирится,
Тиснению себя безжалостно предаст;
Ты шепчешь: «В добрый час! не так-то он горазд»;
Согласен в том с тобой; но разве не случалось,
Что даже *Балдусу* нередко удавалось
Насмешкою платить насмешникам своим;
Не сам ли он тебя под именем чужим
Недавно разбранил и с другом поплатился,
Чтоб глупость тот его назвать своей решился;
В немногих сыщешь ты ума и остроты;

Во всех достанет сил для подлой клеветы;
И брань ли требует таланта здесь какого,
Коль льется нам она с пера и с уст *Злослова*?
Пусть *Балдус* не страшит, пускай его весь век
В кропании стихов уродливых протек,
Но *Бавий, Мевий, Фирс,* поющий доброгласно,
Но злобных рифмачей соборище ужасно!
Один уж пред тебя с ругательством предстал,
Торгаш бессмыслицы и продавец похвал,
Который всех морит в горячке стихотворной
Журналом, виршами и прозою позорной:
Страшись, страшись толпы рассерженных певцов,
Уж гром их над тобой обрушиться готов.
Неистовый порок обиды не прощает,
И гибельный конец злословье ожидает!

Но тише — ты в ответ и в спор со мной идешь:
Ты вид злоречию совсем иной даешь;
Когда бы, например, в горячности безмерной,
Открыл пред светом я тот путь неимоверный,
По коему достиг *Рубеллий* до честей,
Стал властвовать людьми, раб низкий всех страстей,
Когда бы, гнусную сорвав с него личину,
Я подлых дел его открыл хоть половину
И, в виде собственном представив на позор,
Ужасный произнес над ним бы приговор;
Когда бы обличил я страшны злодеянья,
Которы, в поздние минуты покаянья,
Ханжихин, устрашась и смертных, и богов,
Смиренно облачил в монашеский покров;
Когда бы, позабыв к прелестным уваженье,
Всех тайн *Кокеткиной* я сделал откровенье
Иль жизнь *Распутина* порочить стал бы вслух,
Как в ветхой хижине, храня он бодрый дух
И мудрость с ранними обретши сединами,
Нас жалкими о ней смешит проповедями, —
По праву б ты меня злоречивым назвал;
Но чтобы над глупцом смеяться я престал?
Чтоб, *Вадия* стихи внимая на мученье,
Я мог выказывать в лице своем терпенье;
Чтоб, стоя с низостью пред знатным подлецом,
Престал бы соглашать я сердце с языком,

Иль чтоб в кругу друзей, с людьми иль меж стенами,
Бурруна, Бавия назвал бы я певцами;
Чтоб, оды *Балдуса* читая, не зевал,
В них каждой бы строки с досады не марал,
На жалкий перевод Расина и Вольтера
Спокойно бы смотрел и хлопал из партера, —
На это нет моей покорности к тебе:
Я это повелеть не в силах сам себе.
Предавши своему печатный вздор сужденью,
Мешаю ль от него купцов обогащенью?
Благодаря уму своих покупщиков,
Как Крез, от глупых книг разжился Глазунов;
И в чем же винен я, когда, за наказанье,
Купивши и прочтя *Бессмыслова* маранье,
Скажу, что лучше б он его не издавал, —
Тогда его глупцом никто бы не назвал;
Полезный сей совет всяк право дать имеет
Тому, кто пишет вздор и вздор печатать смеет, —
Пусть автор плачущий нанижет пять страниц,
Где просит милости, пощады, павши ниц,
Не внемлет ничего читатель беспристрастный:
Стихи летят в огонь — и гибнет труд несчастный!
К тому же в силах ли сатирой я своей
Хоть мало обратить на разум рифмачей?
Я *Балдусу* твержу: ты не рожден поэтом;
Будь другом, будь отцом, полезен будь советом
Иль помощью другим, — лишь кончу мой совет,
А *Балдус* за перо — и вновь полился бред,
И мне ж за доброе приязни наставленье
Несносные стихи читают на мученье!
Я *Вздоркину* сто раз стыд тяжкий предрекал,
Когда он в свет свои посланья издавал,
А *Вздоркин* — что ни день, то басня или ода,
А *Вздоркин*, нового произведя урода,
Скропавши два стиха, надулся и кричит:
«О радость! о восторг! и я, и я пиит!»
Вотще пред *Бавием* все силы истощаю
И к смыслу здравому склонить его желаю;
Рифмач неколебим — и с каждою луной
Нас новою дарит в журнале чепухой;
Советом оскорбясь, себе ж к стыду и сраму,
Смешную на меня пускает эпиграмму;

И это ль ты во мне злоречием зовешь,
За это ли конца ужасного мне ждешь?
Не мне ли одолжен тем *Балдус* многоплодный,
Что, может быть, его прочтет потомок поздный?
Безвестны имена: *Фирс, Мевий* и *Злослов* —
Известность обретут ценой моих стихов,
И, может быть, с гудком мой *Бавий*, вместо
лиры,
По смерти рассмешит читателей сатиры!
За это ль на себя их мщенье навлеку,
Что я им лишний год прибавлю на веку?
Но, муза! замолчим, покорствовать умея,
До первого глупца — и первого злодея!

⟨1812⟩

184. К ПАТРИОТАМ

*Писано в 1812 году,
по занятии французами Смоленска*

Цари в плену, в цепях народы!
Час рабства, гибели приспел!
Где вы, где вы, сыны свободы?
Иль нет мечей и острых стрел?
Иль мужество в груди остыло,
И мстить железо позабыло?
В России враг... и спит наш гром!
Почто не в бой? он нам ли страшен?
Уже верхи смоленских башен
Виются пламенным столбом!

Се вестник кары — вражьей траты:
Их кровь жар мести утолит!
К мечам! вперед! блажен трикраты,
Кто первый смертью упредит!
Развейтесь, знамена́ победны,
Героев-предков дар наследный!
За их могилы биться нам!
На гибель злым и малодушным,
Сам браней бог вождем воздушным
Летит святым сим знаменам!

Их слава нарекла своими —
И носим имя мы славян!

Вперед, рядами — вместе с ними,
Перуном грянем в вражий стан!
Сразим, иль всяк костями ляжет,
И гробный холм потомству скажет:
Здесь скрыт бестрепетных собор,
И скажут веки и стихии:
Он славу защищал России
И мстил вселенныя позор!

Стыдом, проклятием покрытый,
Сей царь земли, сей бог побед,
В ров гибели, для нас изрытый,
С высот честей своих падет!
Не сонм наемников иль пленных,
К алчбе, корысти устремленных,
Предателей страны своей,
Которы в страхе рабском пали,
В добычу всё врагам отдали —
И прах отеческих костей!

Он встретит в нас героев славы,
Известных свету россиян,
Спасавших чуждые державы,
Которых суша, океан
В победах громких созерцали,
Которых царства трепетали,
Кого дрожал и храбрый швед,
И прусс, и галл непостоянный,
Сам вождь его, в боях венчанный,
И спящий в гробе Магомет!

Восстань, героев русских сила,
Кого и где, в каких боях
Твоя десница не разила?
Днесь брань встает в родных полях —
Где персть, древа и камни хладны
Возжгут твой дух, ко славе жадный!
Один, один врагу удар —
И вся Европа отомстится:
Здесь Бельт от крови задымится,
А там — вспылает Гибралтар!

1812

185. МЫСЛИ ПРИ ГРОБЕ КНЯЗЯ КУТУЗОВА СМОЛЕНСКОГО

Как изумленный свет делам твоим дивился
И дух унывшия Европы оживал,
Росс, видя образ твой, в веселии гордился
И, избавителя, тебя благословлял;
Когда всеобщий слух тобою был пленяем,
Цари завидовать могли твоей судьбе;
Кутузов! твой ли гроб в печали мы сретаем?
Такое ль торжество готовили тебе?
Восторгов наших глас в плач тяжкий превратился;
Где ты, спасение, надежда россиян?
Лишь славу их вознес — и в вечности сокрылся —
Так солнце от очей скрывает океан.
Кто ныне поведет полки осиротелы?
Кто мужеством врагов заставит трепетать?
Кто будет защищать Отечества пределы?
Кому спасать царей и царства восставлять?
Увы! тебя уж нет! пусть рок ожесточенный,
В отраду нам, тебя бессмертием дарит,
Пусть слава временам твой кажет гроб священный,
В нем славы наших дней залог уже сокрыт;
Какой России сын удержит слез теченье?
Не есть ли торжество врагам твой гроб один?
Усердие к тебе вменится ль в исступленье?
Здесь пишет не поэт — здесь плачет гражданин.
Соотчичам твоим отрада лишь едина,
Что гром твоих побед всю вечность обтечет,
Что их Отечество в тебе имело сына:
Во славе лишь сынов Отечество живет.

Апрель 1813

186. ОСВОБОЖДЕННЫЕ ПЛЕННИКИ

Романс, почерпнутый из происшествий 1813 года

Кровавой битвы час ужасный,
Как грозно жребий мой решен!
Я жив остался — и напрасно
Мой меч победой изощрен!

Вотще со мной орудье мести!
Вотще внимаю брани глас, —
Разив врагов на поле чести,
От плена меч меня не спас!

Повержен, язвами покрытый,
Не смерти жертва, но врагов,
Добыча брани знаменитой,
Познал Оскольд позор оков.

Герой! где твой булат разящий,
Где пыл к сраженью, страх врагам,
Твой клик, победе предлетящий,
Оракул грозный их сердцам?

Далёко родины священной,
Далёко кровных и друзей;
За храбрость — мрак тюрьмы презренной;
За клик победный — звук цепей.

На диком береге Луары,
В ужасной башне вышиной,
Враги его повергли яры
Под стражей дневной и ночной.

Чем боле витязь был опасен,
Тесняся с смертью в ряд врагов,
Тем боле плен его ужасен
И гибельный конец готов!

Один, прискорбен, в думе смутной —
И взор его к земле простерт;
Он смерти ждет ежеминутно
И каждую минуту тверд.

Как вдруг . . . о, скорбно утешенье!
Свет озарил темничну тму;
Ведут . . . «Одно им заточенье
И участь та же, что ему!

Они — погибель наших ратей,
Гроза рушительна в бою,

На них видна кровь наших братий,
На них насытим месть свою!

Нет, нет, пусть прежде изготовим
Достойное отмщенье им.
Страданья каждый вздох изловим —
И казнью страшной умертвим!»

Краса станиц, щит стран полнощных,
Возросших средь Донских степей,
Быстролетучих, храбрых, мощных,
Оскольд зрит ближних и друзей:

«Там брань, — они гласят, — кровава,
Отчизны в славу возжжена,
А нам, нам изменила слава —
Лишь честь осталася верна!

Погибнем, коль погибнуть должно,
Нас близит к смерти каждый миг!
Почто, отечество, не можно
Вновь биться нам в рядах твоих?»

Проходят дни, проходят ночи,
Несчастных жертв внимая стон,
И утомленные их очи
Отрадный не смыкает сон.

В душе отмщение пылает,
Снедает сердце их тоска;
И, безоружная, не знает
Путей отчаянья рука.

Вдруг ночи в мрак дверей затворы
Отверзлись, страшно заскрыпев.
«Час смерти», — и смущенны взоры
Сретают деву — прелесть дев.

Как ангел, божий утешитель,
Ниспосланный с небес благих,
От уз земных освободитель,
Она является для них.

Кто красоту ее опишет?
Как роза, цвет ее ланит,
В груди огонь любови дышит
И взор отважностью горит.

«О витязи, — рекла, — спасайтесь,
Минута смерти сочтена;
Вот ключ, одежда, всё: скрывайтесь!
А я за вас умру одна!

Темницы страшной сей хранитель
Похитил счастье дней моих,
И хищник сей... есть мой родитель!
Им предан казни мой жених!..»

Смущенных их, в благодаренье,
Выводит смело за собой:
«Здесь вам, о витязи, спасенье —
А мне во глубине речной!

О, погаси, пучина яра,
Огонь, пылающий во мне!» —
И, с шумной пеною, Луара
Ее скрывает в глубине.

⟨1815⟩

187. НА КОНЧИНУ ДЕРЖАВИНА

Элегия

He was a man, take him for all in all,
We shall not look upon his like again.[1]

Шекспир

О ком, зрю, хариты и музы в печали,
О ком умоляют власть грозных судеб?
Но тщетно на урну, взывая, припали:
Ты скрылся, Державин! — ты скрылся, наш Феб!

И глас их не слышит уж сердце поэта!
Цевницы во прахе — нет жизни в струнах...

[1] Он был человеком в полном смысле слова, Мы больше не увидим подобного ему (англ.) — *Ред.*

О бард! и на лиру, пленявшу полсвета,
На лиру ль бессмертья сей падает прах?

Где ж вечность и слава, о коих поведал
И двигал к ним сердце героев, царей?
Кому, песнопевец, кому ты передал
Небесный твой пламень, другой Прометей?

Увы, всё в подлунной на миг лишь созданно!
Кичливости смертных повсюду урок;
Нетленный твой вижу, злой смертью сорва́нный,
На гробны ступени катится венок. . .

Венок, кем бессмертна России царица?
Что слава сплетала, тобою гордясь?
Нет, бард наш единый! прах скрыла гробница —
Но вечность над нею с тобой обнялась!

И, в недра приемля гроб славного праха,
Обитель истленья, святится земля.
Вняв глас твой, о гений! со смертью без страха
Сойдусь — и за гробом увижу тебя:

В сияньи небесном, где днесь, песнопевец,
Ты вновь пред Фелицей — царей образцом,
И севера витязь, ее громовержец,
Склоняет при встрече пернатый шелом.

Сияй между ними, от муз похищенный,
На след твой взираю я с завистью днесь —
И скорбью к могиле несу отягченный
Всё, что лишь имею: и слезы, и песнь!

Там, мнится, твой гений гласит, отлетая:
«Что петь мне: царицы единственной нет!»
Отчизна вещает, твой гроб обнимая:
«С величьем народа родится поэт».

Как дни исчезают, и смертных так племя, —
Гробницей великих их след познаю;
Твой памятник видя, зрю, самое время
Склонилось недвижно на косу свою.

Твой путь был ко славе усыпан цветами;
Особая участь счастливцу дана:
Ты пел, окруженный бессмертья сынами, —
По отзывам лиры ценят времена.

1816

188. К В. А. ЖУКОВСКОМУ

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ЕГО СТИХОТВОРЕНИЙ

Желанный дар из рук любимого поэта,
Стань в ряд с Державиным в почетный уголок;
Пусть ищет кто другой забав ничтожных света:
В вас сердца моего утеха и урок!
При вашем имени о свете забываю
И, силою благой фантазии влеком,
В мир лучший, в мир другой мечтой перелетаю,
Который лишь душам возвышенным знаком,
Где всё, что на земли возможет быть прелестно
И радости небес для сердца прорицать,
Рукою собрано поэзии чудесной —
Олимп, где жрец ее дерзает обитать!
Туда меня, поэт, твой гений увлекает...
О, если бы его имел я силу крил!
Венец его в лучах бессмертия сияет:
Он лиру лишь добру и славе посвятил.
Пускай достоинства свет видит равнодушно, —
Поэту ль от него отличия искать?
Пусть будет он сокрыт от знатности бездушной,
Пусть будет злость его и зависть помрачать —
Не знает низких средств души высокой сила,
Он будет лишь одно прекрасное любить,
Судьба его сама от смертных отличила,
И чувств его ничто не может изменить!
Завиден для меня путь, избранный тобою,
Стезя, ведущая так близко до сердец.
Скажи, исполненный когда самим собою,
Страсть к славе и добру, поэзии мудрец,
С волшебной силою ты передать желаешь
И чувства упоить сей страстию благой —
Скажи мне, не в себе ль награду обретаешь?
И высший смертных долг исполнен уж тобой!

Ты любишь — и поешь в восторге добродетель.
Круг мирных дел певца пускай судьба стеснит,
Но дух его парит, величия свидетель,
И с гордостью венок достоинству дарит.
Как живы для меня, поэт, твои картины,
Наставник в коих твой, натура, вся видна:
Сей вечер сумрачный, сходящий на долины,
И обаяния владычица, луна,
Что, медленно взойдя в среду небес обширных,
Сребристою струей рассéкла мрачный ток,
Близ коего один, в мечтах, при звуках лирных,
Ты внемлешь быстрых лет катящийся поток,
И время отдает тебе минувши годы,
Надеяся тобой украсить в мире след —
О, нежных сердца чувств, поэт любви, природы!
Минуты сей восторг дороже многих лет!
С какою прелестью своей неизъяснимой
Ты благ утраченных нам кажешь скорбный вид!
Он скрылся, призрак сей, вовек невозвратимый,
Но живо моему он сердцу говорит!
И к праху самому, дух нежный, пламенея,
Мечтание пред ним слиялось с бытием —
Я зрю: горит лучом столб бледный мавзолея,
И гений внемлет глас при камне гробовом!
Верь: лучший наш удел — сия страна мечтаний,
Где мысль, свободна уз, полет свой соверша,
Бросает свет на путь тернистый испытаний —
И чувствует свое величие душа.

⟨1818⟩

189

Жуковский, не забудь Милонова ты вечно,
Который говорит тебе чистосердечно,
Что начал чепуху ты врать уж не путем.
Итак, останемся мы каждый при своем —
С галиматьею ты, а я с парнасским жалом,
Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом;
Потомство судит нас, а не твои друзья,
А Блудов, кажется, меж нами не судья.

3 сентября 1818

190. ПОСЛАНИЕ В ВЕНУ К ДРУЗЬЯМ

Давно живущие средь Вены
И мне давнишние друзья,
Душа к которым без измены
Давно привержена моя!
Я к вам от Северной Пальмиры
Теперь, настроя звуки лиры,
Хочу послание писать
И о себе кой-что сказать.
Обнявши брата Владислава,
Через него я шлю к вам весть,
Как здесь Российская держава
Не престает поныне цвесть,
Как здесь министры все спокойны,
Устроясь во взаимный лад,
И их чиновники достойны
Берут чины наперехват.
Как здесь, в обширном Петрограде,
На дождь и слякоть несмотря,
Во всем величьи на параде
Мы видим нашего царя.
Как он, Европу созерцая,
Иметь мечтая перевес,
Обширно царство оставляя,
Спокойно едет на конгресс.
Что ждет вдали — того не знаем,
Но, други, согласитесь в том,
Что трон, который покидаем,
Несчастным кажется рулем.
Не осердитесь хоть из дружбы,
Что речь покажется темна.
Ведь я чиновник статской службы,
А в оной ясность не нужна.
Оставя свой предмет высокий,
Я о другом вам расскажу:
И красоту здесь, и пороки
Литературы покажу.
Здесь пишут менее, чем было,
И повестей хороших нет:
Не всходит более светило
Поэзии средь наших лет.

Державин спит давно в могиле,
Жуковский пишет чепуху,
Крылов молчит и уж не в силе
Сварить Демьянову уху,
Измайлов, общий наш приятель,
Хоть издает здесь свой журнал,
Но он лишь только что издатель,
И ничего не написал.

1818

191. ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Элегия

Рассыпан осени рукою,
Лежал поблекший лист кустов;
Зимы предтеча, страх с тоскою
Умолкших прогонял певцов;
Места сии опустошенны
Страдалец юный проходил;
Их вид во дни его блаженны
Очам его приятен был.
«Твое, о роща, опустенье
Мне предвещает жребий мой,
И каждого листа в паденье
Я вижу смерть перед собой!
О Эпидавра прорицатель!
Ужасный твой мне внятен глас:
«Долин отцветших созерцатель,
Ты здесь уже в последний раз!
Твоя весна скорей промчится,
Чем пожелтеет лист в полях
И с стебля сельный цвет свалится».
И гроб отверст в моих очах!
Осенни ветры восшумели
И дышат хладом средь полей,
Как призрак легкий, улетели
Златые дни весны моей!
Вались, валися, лист мгновенный,
И скорбной матери моей
Мой завтра гроб уединенный
Сокрой от слезных ты очей!

Когда ж к нему, с тоской, с слезами
И с распущенными придет
Вокруг лилейных плеч власами
Моих подруга юных лет,
В безмолвьи осени угрюмом,
Как станет помрачаться день,
Тогда буди ты легким шумом
Мою утешенную тень!»
Сказал — и в путь свой устремился,
Назад уже не приходил;
Последний с древа лист сронился,
Последний час его пробил.
Близ дуба юноши могила;
Но, с скорбию в душе своей,
Подруга к ней не приходила,
Лишь пастырь, гость нагих полей,
Порой вечерния зарницы,
Гоня стада свои с лугов,
Глубокий мир его гробницы
Тревожит шорохом шагов.

⟨1819⟩

192. ЭПИТАФИЯ

КНЯЗЮ КУТУЗОВУ СМОЛЕНСКОМУ

Пади пред гробом сим, России сын и Феба!
Не смертный погребен — здесь скрыт посланник неба!

⟨1819⟩

193. К ПОРТРЕТУ ФРИДРИХА II

Сей смертный помрачил сияние короны,
Ум, лучший дар творца, во зло употребил,
Ему дивилися — и гибли миллионы,
Он добродетель пел — и бич Европы был.
Поступками тиран, философ размышленьем,
Величие снискал единым преступленьем;
Им свет опустошась, его боготворил.

⟨1819⟩

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»

Если официальные объединения типа Общества любителей российской словесности при Московском университете представляли один полюс литературной жизни, то на другом располагался интимный кружок друзей-поэтов, чуждающийся любых форм организации. Вместо статутов и протоколов единственным документом такого кружка была тетрадка, заполняемая коллективными стихами, а распорядок заседаний заменялся ужином,

Где до утра слово *пей!*
Заглушает крики песен...
(Пушкин, «Веселый пир»)

В этом отношении и кружок Милонова, и его рукописный «орган» — «Зеленая книга» — существенно дополняют общую картину литературы эпохи.

Милонов — одаренный поэт, сравнивавший себя с Ювеналом, литературный учитель Рылеева, один из ярких представителей гражданской поэзии 1810-х годов, имел и другую славу — трактирного завсегдатая и пьяницы. Именно эту вторую славу Милонова зафиксировал и передал потомству в записанных им анекдотах («Table talk») Пушкин. Пушкинские записи позволяют увидеть здесь нечто более значимое, чем эпизод из биографии второстепенного поэта. Пушкин подбирает случаи столкновения «высокого» и признанного поэта и его более талантливого, но спившегося и ставшего изгоем современника: Сумароков и Барков, Херасков и Костров, Гнедич и Милонов. В таком сопоставлении самое «падение» одаренного поэта выступает как неприятие мира и бунтарство.

В этом смысле показателен и демонстративно «внелитературный» кружок литературных друзей Милонова. Дело не только в том, что

он был составлен из людей, далеких от признанной литературы. Нормы высокой поэзии были здесь объектом пародирования и осмеяния: «трогательные» стихи, которые «маленький Опочинин» должен поднести великой княгине Екатерине Павловне, сочиняются коллективно, а гонораром служат бутылка коньяку, сахар и лимоны для изготовления пунша. Сочинение стихов сопровождается пародийной поэтической перепиской.

Образцом такого рода фамильярной кружковой поэзии служит «Зеленая книга» Милонова — Политковских, которая дошла до нас в неполной писарской копии из архива Я. К. Грота (ПД), озаглавленной «Выписки из Зеленой книги». Кружок этот сложился, видимо, незадолго до войны 1812 года, и его встречи продолжались до 1820 года — времени смертельной болезни Милонова. В «Выписках» имеются стихи, датированные 1811 и 1814 годами. По всей вероятности, «Зеленая книга» велась на всем протяжении существования кружка.

М. В. МИЛОНОВ

194—196. *НАДПИСИ К ПОРТРЕТАМ*

1

ОЛЕНИНА

Поэтов небольших великий Меценат
И человек в миниатюре;
Но в этом он не виноват,
А только стыд натуре.

2

ПОРТНОГО НИМАНА

Вот Нимана портрет!
Его узнает тот, кто в долг во фрак одет.

8

В. И. РЕМБОВСКОГО

Се вид Рембовского! Хоть чином не велик,
Но так душою добр, что стоит генерала!
Он, если бы вина на свете недостало,
Предложит вам сосать его почтенный лик.

197. ПО СЛУЧАЮ ПРИНЕСЕНИЯ СКВЕРНОЙ ВОДКИ

ДЛЯ ПУНША, В ЧАЯНИИ ПРЕКРАСНОГО РОМА И В РАСПОЛОЖЕНИИ ВЫПИТЬ С АППЕТИТОМ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ

Возможно ль не роптать на жребий в здешнем мире?
Желаешь выпить *шесть*, а только пьешь *четыре*.

198. НА ВЗДОРОЖАНИЕ РОМА ДО ВОСЬМИ РУБЛЕЙ БУТЫЛКА

Ужасно цены как на вещи поднялись,
И сколько ни дивлюсь Патрикия я духу,
Такие времена, что, как ты ни крепись,
С Рембовским съедешь на сивуху.

199. К НЕВКУШАЮЩЕМУ ЛЮБИТЕЛЮ ПУНША

Хоть пунш давно готов, Понтикус не вкушает
И с отвращением как будто бы глядит.
Иной подумает, что вкуса в нем не знает
И даже на людей вкушающих сердит.
Не воздержание виной тому, не чванство:

Но самая любовь ко Вакховым дарам.
Он из любви к нему доказывает нам,
Что трезвость наконец рождается от пьянства.

200. К ИЗДАТЕЛЮ «ПАНТЕОНА»

Ценитель гениев поэзии небесной,
Связующий их труд в единый переплет,
Никольский! Подвиг твой и славный и чудесный,
Зане ты сам плохой прозаик и поэт.

201. К НЕМУ ЖЕ

Напрасно пышным ты названьем «Пантеона»
Желаешь доказать, что подвиг твой велик.
Торгаш чужих даров без права, без закона,
Ты только к ним клеишь ничтожный свой ярлык.

202. НА БЕЗГРАМОТНОГО СЕНАТОРА-СТИХОТВОРЦА

Хвостов! Никак не надивлюся,
С какою целью бог хотел тебя создать!
Как вижу я тебя — смеюся,
И плачу — как в Сенат ты едешь заседать.

203. ПОСЛАНИЕ ПРОСИТЕЛЬНО-ПОКОРНО-СТИХОТВОРНОЕ, ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ДЕСЯТИРИЧНОГО ПОДВИГА НА ПОПРИЩЕ ПОЭЗИИ В БОРЬБЕ С РИФМАМИ И СМЫСЛОМ

(к Н. Р. Политковскому)

Протектор книжицы с зеленым корешком,
Гордящейся твоим немногим стихотворством,
О ты, безвласый муж, враждуяй с париком,
Чтоб истины чело не омрачать притворством!

Прочти послание затейливых писак,
Родивших в час один столь многи надписанья, —
Ты любишь истину, они не любят врак
И пишут на лице, презрев иносказанья.
Пускай неславные, безвестны имена
Прославятся твоим изобретеньем книжным;
Она усердия поистине полна,
В ней спуску нет друзьям и родственникам ближним.

Се книга случаев, как книжица судеб:
Ее не разогнет порока длань развратна.
Се жертва, коею любуется сам Феб,
Ужасная глупцам, для мудрых же приятна;
Внеся в нее стихи, согласны с правотой,
И, чествуя тебя мы ими, как Поэта,
Любитель истины! не шапки иль бехмета,
Но руководствуясь везде прямой ценой,
Изящности своей не портивши простой,
Шестирублевого мы просим от Тангета.

204. К Н. Р. ПОЛИТКОВСКОМУ

Послание поздравительно-просительное,
по случаю всерадостного бракосочетания,
от сожителей, испуганных перемещением
на новое и неизвестное жилище

Внемли приветствие многопреда́нных душ,
Которые, тебя усердно поздравляя,
Желают, чтоб ты был не только добрый муж,
Но чтобы, братию, друзей не забывая,
Как ныне, так и впредь до них ты был хорош,
Чтоб доступ нам к тебе соделался не труден,
Чтоб каждого из нас ты не поставил в грош
И в милостях своих являлся неоскуден.
И словом, если мы оставим тот приют,
Который столько лет имели мы с тобою,
Проси, да новую квартиру нам дадут,
Где б можно спрятаться от хлада и от зною,
И мебель старую и кухонный прибор

Отдай нам в полное всегдашнее владенье,
Зане купить теперь на рынке этот вздор
Потребно денежно изрядное скопленье,
Которое, увы, не копится у нас
По ценности вещей на многие расходы.
И если в просьбах сих последует отказ,
То мы останемся как детища природы:
Лазурный свод небес пребудет нам покров,
Постель белей млека — пылинки то есть снежны,
Трапеза — лавочных десяток огурцов:
И пища и приют такие ненадежны.
Не говорим уже, что будет наш костюм.
Адам и Диоген — несходствие чудесно!
Но оба опытны, имели оба ум.
И так у первого займем мы лист древесный,
А у другого нам лохмотья не просить,
Которым мы давно с излишеством богаты,
Займем лишь у него искусство горстью пить
И бочки почитать за пышные палаты.

205. К Ф. С. ПОЛИТКОВСКОМУ,
КОТОРЫЙ НАЗВАЛ МЕНЯ БЕЗБОЖНИКОМ

Безбожником меня напрасно называешь
И этим мне совсем не делаешь вреда;
Но сам безбожник ты, когда
Милонова хулой безвинно порицаешь.

206. ПО СЛУЧАЮ ВСТАВЛЕНИЯ В РАМЫ ЛИКА АРХИЕПИСКОПА ПЛАТОНА,
В ДЕНЬ ЕГО АНГЕЛА 18-ГО НОЯБРЯ 1814-ГО ГОДА

В златоблестящих рамах сих,
При громе мусикийска звона,
Давно почивша во святых
Почтите, братие, Платона.

Покажем всем пример благой,
Сколь внуки благодарны деду!
Украся лик его святой,
Украсим мы теперь беседу.
Но чтобы жар наш не простыл,
Нальем Тангетовским стаканы:
Покойник сам изрядно пил —
И мы, друзья, напьемся пьяны!
Да чествуема нами тень,
Витающа в странах нескушных,
Благословения в сей день
Пошлет на нас с высот воздушных.
А ты, юнейший брат из нас, [1]
Возросший под его покровом,
Почти его хоть в жизни раз
Не глупым, не гугнявым словом,
И докажи, что тысяч пять
В наследство получил недаром:
Вели скорей нас напитать
Тангетовским нектаром.

П. С. ПОЛИТКОВСКИЙ

207. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ М. В. МИЛОНОВА

Как трезв, имеет лик румян и благозрачен,
Смеющиесь уста и гладкое чело;
А пьян — как яблоко моченое не смачен,
И цвет лица его — нечистое стекло.
От пухлости ланит чуть красны очи зрятся,
И юный клонится к земле его хребет.
Волнистые власы щетинятся, курчатся,
И словно как старик — увы! — он в двадцать лет.

[1] Ставинский.

208. ЗАОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ В ЛЮБВИ ОДНОГО НОВЕЙШЕГО СЕНТИМЕНТАЛИСТА

ДЕВИЦЕ АНОНИМ, ПОЯВИВШЕЙСЯ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ ДЕПАРТАМЕНТА РАЗНЫХ ПОДАТЕЙ И СБОРОВ И ПОСЛЕ ТОГО СКРЫВШЕЙСЯ

О прелесть заднего двора!
Краса девиц повсюду сущих!
Твой взгляд дороже серебра,
Милее роз, в лугах цветущих.
Твой синий шелковый капот
Четвертого стола прельщенье,
И скоро от тебя сойдет
С ума всё отделенье.
Вотще я по часам стою,
Зевая у окошка,
Лишь множу тем тоску мою:
Она скребет меня, как кошка.
Один лишь след, один песок
Мне в утешение остался,
К которому твой башмачок
Так часто прикасался.
Увы, жестокая краса,
Скажи, на что сие похоже?
Ах, лучше б плюнула в глаза
Или хватила бы по роже,
Чем так тирански поступать
И мучить человека,
Который должен умирать,
Не про́жив трети века,
Который так в тебя влюблен,
Положим, от безделья,
Что забывает пищу, сон
И бродит как с похмелья...
Тюрьмою кажется мне мир,
И солнце стало мутно,
Не прохлаждает грудь зефир,
Томлюся поминутно.
Боюсь, с ума чтоб не сойти,
Хоть я того и стою;
Но быть так! Потерплю, поною,
А там опомнюсь, и — прости!

209. НА ОТШЕСТВИЕ МИЛОНОВА В НЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

23-го МАЯ 1814-го ГОДА

Милонов, мня тщету и тленность презирать,
В обитель Невскую от мира поспешает,
Чтоб тело там свое той влагой напитать,
Котора вещества от тлена сохраняет.

210. ПЛАЧ О НЕПОЛУЧЕНИИ ЖАЛОВАНЬЯ

(Написано экспромтом в конце 1811 года)

Бесплодно дни мои считаю,
Надежды в будущем не зрю:
Два месяца не получаю, [1]
Увы! вотще служу царю!
Начальство в жребий мой не входит,
Само бо ест и пиет всласть,
А брата нашего доводит
Терпети горе и напасть.
Придется умереть от стужи,
Коль с гладу умереть не мог:
Вся плоть моя почти наружи,
И пальцы лезут из сапог.
А ты, любезная отчизна,
Котору буду век любить,
На всё в тебе дороговизна,
За гривну нечего купить.
Блажен, кто мелочным товаром
Торгует в лавочке простой
Или владеющий амбаром
И кучей в нем кулей с мукой!
День со дня цену прибавляют,
Они блаженствуют одни,
Купцы карманы набивают
В военные и мирны дни.

---

[1] Т. е. жалованья.

Итак, не лучше ль мне приняться
За их невинно ремесло,
Чем жалованья дожидаться
И плакать в первое число.

Н. Р. ПОЛИТКОВСКИЙ

211. К ПОРТРЕТУ ЧАСТО ЧИТАЮЩЕГО «ЗЕЛЕНУЮ КНИГУ»

Вот самолюбца лик совсем иного роду!
Каких не делает такая страсть проказ!
Хоть он не смотрится ни в зеркало, ни в воду,
Зато в стихи свои глядится в день сто раз.

КОЛЛЕКТИВНОЕ

212—214

1

СТИХИ, ПИСАННЫЕ НА ЗАКАЗ

С ЗАПЛАТОЮ ЗА ОНЫЕ ВПЕРЕД ДЕСЯТИ РУБЛЕЙ,
НА КОТОРЫЕ КУПЛЕНЫ БЫЛИ ЛИМОН,
САХАР И БУТЫЛКА КОНЬЯКУ,
В НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ВЫПИТАЯ

(должны были быть прочитаны маленьким Опочининым великой княгине Екатерине Павловне)

С невинным детским лепетаньем
Предстать дерзаю пред тобой,
Чтобы со общим восклицаньем
Соединить глас слабый мой.
Мой дед при смерти и при жизне
Мне дал пример любви к отчизне.

Прими, царевна, ты в сей час

. . . .

Твой брат великодушный, твердый
Европу и Россию спас

. . . .

2

ПРИНОШЕНИЕ,

ПРИ КОЕМ СЛЕДОВАЛИ ВЫШЕПИСАННЫЕ СТРОКИ

Видно, курс на всё поднялся,
Даже дороги стихи.
Как ни бился, ни старался,
Смыслу нет в них ни крохи.
Что же делать? — Ром распили,
А стихи вот каковы:
Хоть и дорого купили,
А всё гнил товар — увы!

3

БЛАГОДАРНОСТЬ СТИХОТВОРНАЯ

ЗА ОНЫЕ ЖЕ ВЫШЕПИСАННЫЕ СТИХИ

Pomum et citronem perdidi. [1]

Напрасно вас спасал сей брат великодушный
И жаль, что вас не съел французский Вельзевул.
Прегорьки пьяницы, поэты малодушны!
Вот всяк из вас каков: пришел, узрел, хлебнул
И скрылся выспаться в гостеприимны кровы.
А дружеству помочь, когда пришла беда,
Нет в вас ни совести, ни чести, ни стыда;
Не склонны вы к добру, но к злу всегда готовы.
Я мнил вчера друзей-поэтов в вас найти;
Но вы лишь нищие Парнаса на пути.
За ром и времени драгого за утрату
Я не спущу ни даже брату.
Тебе ж, негодница, каналья, эгоист,

[1] Утратив плоды и лимоны (лат.). — *Ред.*

Который на душу и на руку нечист,
Ну, словом, вам, сударь, любезнейший Милонов,
В воображении шлю я до сту миллионов
И в то же время сей несу богам обет:
Чтоб всё, что будешь ты писать, всё было бред
И вышеписано то было лепетанье,
Чтоб в службе и у муз нашел ты поруганье,
Чтоб ход тебе в бордель закрыт был навсегда
Или же отворен для тяжкого вреда,
Чтобы ты опился не ромом — крепкой водкой,
И умер наконец с непромоченной глоткой.


II

И. И. ВАРАКИН

Иван Иванович Варакин (1760—1817?) — поэт, крепостной крестьянин князей Голицыных. Обстоятельства его жизни почти неизвестны. Единственным источником сведений является краткая автобиография, написанная им для В. Г. Анастасевича и хранящаяся в бумагах последнего (ГПБ). Известно, что, как грамотный и способный человек, он употреблялся своими помещиками для выполнения сложных и ответственных поручений. В своей автобиографии он упоминает, что «занимался письмоводством и юриспруденцией», а также управлял соляными и железными заводами на Урале.

Он был уже известным поэтом, печатавшимся в «Зрителе» Крылова и опубликовавшим сборник стихотворений, когда Г. Р. Державин, С. С. Уваров, Н. Н. Новосильцев и С. С. Ланской обратились к князьям Голицыным с предложением о его выкупе. Несмотря на исключительно высокое общественное положение заступников и на то, что предложенная ими сумма — по данным самого Варакина — была огромной (12 000 рублей), помещики наотрез отказались отпустить престарелого уже поэта на волю.

Данные о последних годах его жизни отсутствуют. Дата смерти устанавливается предположительно.

Как поэт Варакин тяготел к разночинным литературным кругам. Печататься, по всей видимости, он начал в «Зрителе» Крылова и Клушина (1792). В 1807 году вышел единственный сборник его стихотворений. В дальнейшем Варакин сблизился с Анастасевичем и сотрудничал в его журнале «Улей». Далее следы его литературных занятий теряются.

Общественные воззрения Варакина отмечены характерным соединением наивной веры в освободительные намерения правительства с недвусмысленными антидворянскими и антикрепостническими настроениями. Даже политику Павла I он готов приветствовать как направленную против сословных привилегий дворян (в стихотворении

«Русская правда в царствование императора Павла I»). В «Послании к новобранцам», говоря о военной службе, он противопоставляет счастливую участь служащих государству солдат горестной доле помещичьих крестьян — рабов своих господ· «Итак, может ли сие поприще казаться вам неприятным? Приближаясь к нему, должны ли вы воздыхать о первобытном состоянии? О, забудьте навсегда оное, купно с тучами прискорбий, вас терзавших, жалейте только о братии вашей, о братии стенящей».[1] Правда, со временем вера Варакина в освободительные намерения правительства ослабевала. В письме Анастасевичу от 29 мая 1812 года отчетливо звучат критические ноты: «Ни газеты вчерашние, ни сегодняшний листок «Северной почты» ничего не содержат любопытного, кроме как две семьи императорские имеют в Дрездене общие блистательные столы, куда и король прусский поскакал. Каковы же обеды у бедных солдат? И чего-то мы дождемся? Правда, я в рассуждении себя и прочих подобных мне, коим свет и без того есть Харибда, не ужасаюсь детей Марсовых, а готов и сам к ним присоединиться».[2]

Издание сочинений И. И. Варакина:

И⟨ван⟩ В⟨аракин⟩, Пустынная лира забвенного сына природы, СПб., 1807.

215. РУССКАЯ ПРАВДА
В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

Правду ныне на престоле
Видит север из-за гор.
Работая мужик в поле,
К ней возводит весел взор.
«Царствуй, истина святая! —
Он всем сердцем вопиет: —
Царствуй, нам себя являя,
Царствуй тысящи ты лет!

---

[1] И⟨ван⟩ В⟨аракин⟩, Пустынная лира забвенного сына природы, СПб., 1807, с. 82.

[2] Ю. М. Лотман, К характеристике мировоззрения В. Г. Анастасевича. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 65, Тарту, 1958, с. 23.

Долго мрачные туманы
Сокрывали тя от глаз;
Бушевали тучи рьяны
Над Уралом здесь у нас;
Но как скоро появились
Твои светлые лучи,
Все страшилища сокрылись,
Видим солнышко в ночи!

Усмирели хлебоеды,
Перестали нас зорить
И на пышные обеды
Душ по тысяще валить.
Не до зайцев, не до балов,
Не до карточной игры;
Гонят наших объедалов
Под военные шатры».

О, как сердце заиграло
В простодушном мужике:
«Дай покину свое рало!
И взыграю на гудке. . .
Слушай вся теперь вселенна,
К нам на север оглянись
И, коль хочешь быть блаженна,
Правде нашей помолись.

Я, не басней обольщая,
Начинаю к тебе речь;
Не природу возмущая —
Не велю рекам вверьх течь,
Не сдвигаю лес с кореньем,
Не гоню зверей в стада;
Кто так бредит сувереньем,
Тот краснеет от стыда.

Мне не сведомы Орфеи,
Не знаком и Амфион;
Все их басни и затеи —
Был пустой лишь дудки звон;
Но прошу, послушай слова
Деревенска простяка;

Вот порукой — мать диброва!
Не скажу я пустяка.

Видишь, солнце как сияет
Над деревнею у нас.
Видишь, как река играет,
В дальние страны катясь;
Видишь злачные долины
И цветущие луга:
Они полны все скотины,
Полны песней пастуха.

А овечки как резвятся
На зеленом бережку!
Наши детки веселятся
Меж цветами во кружку, —
Что ж их ныне восхищает?
Что так много веселит?
Слышишь! эхо отвещает:
Правда миром нас дарит!

Мир к нам сладкий возвратился,
Мир блаженством всех снабдил,
Мир с природой содружился,
Мир меж нами опочил!
Начались златые годы
В царстве северном у нас!
Веселитеся, народы!
Правда назидает вас.

Но взгляни еще направо —
Наши нивы как цветут:
Ровно золото кудряво,
Класы полные растут...
Здесь горошек, там пшеница,
Ячмень, греча и бобы;
Тут детина, там девица
Собирают их в снопы.

Будет чем и поделиться
Нам с соседней стороной,

Коль не станет нарогтиться
Потревожить наш покой.
Полно — что нам до жеманства!
Что до гордости чужой!
Плюем мы на обаянства,
Попирая всё ногой.

Не одни вить мизантропы
Живут нашим добрецом;
Часть большая всей Европы
У нас ходит за купцом;
От нас соболи, лисицы,
В других царствах коих нет!
Горностаи и куницы
Дают шубы на весь свет.

Ну, скажи, магометанец!
В чей ты кунтыш наряжен?
Краснобай, этот британец,
Чьею сталью обложен?
Всё российские доброты!
А без них бы вы куда?
Ваши крепости и флоты
Были б жидки как вода.

Кто ж еще доволен нами?
Кто снабден нашим добром?
Там — за небом, за морями,
Там — где солнцев ранний дом,
Где китайцы, иль манжуры,
Горьку воду свою пьют,
Нагрузив зверями фуры,
Нам спасибо все дают.

А индейцы, персиане,
Разве незнакомы нам?
Загляни лишь к Астрахане,
Сколько их увидишь там!
Все спокойно куплю деют,
И пускаясь за моря,
Все в сердцах своих имеют
Доблесть нашего царя!»

Еще было петь
Мужик хотел —
Стал гром греметь,
И дождь пошел.

От вас, перуны,
Ослабли струны!
Пойду сушить
И пиво пить!

1797

216. СТИХИ

НА СЛУЧАЙ ИЗДАНИЯ КНИГИ МУДРЫМ ГРАФОМ СТРОЙНОВСКИМ «О УСЛОВИЯХ ПОМЕЩИКОВ С КРЕСТЬЯНАМИ»

К тебе, друг правды беспримерный,
Гласят признательны сердца,
Стройновский! свыше вдохновенный
Любовью самого творца,
Любовью к племенам злосчастным,
Которых стоном повсечасным
Исполнен весь пространный мир,
Внемли — се чувства благодарны
За круги звездны лучезарны
Несутся громче всяких лир.

Твое в них имя воспаряет
И с мудрыми да станет в ряд!
Превзо́йдет многих, воссияет
Среди блаженства и отра́д.
Изрек ты истину неложну!
Гордыню обличил безбожну,
Как мудрый некогда Солон.
По̀чувствуют ли спящи крезы,
Что злато их — народа слезы,
Кровавый пот, болезни, стон!

Что иго рабства ненавистно
Мрачит их собственные дни,
Что им алкали ненасытно
Немвроды, Не́роны одни.

Почувствуют ли те уроки,
Сколь бедства были там жестоки,
Где сильный бедного теснил:
В гробах не уцелели кости,
Где скрыто было имя злости!
Всеобщий вихрь их поглотил.

Но да не узрит, о Россия!
Ужасных толь и грозных дней,
Законы озарят благие
Твоих возлюбленных детей.
Внимай желанию цареву!!!
Уже нет места злобе, гневу
Под сильным скипетром его!
Деспóты! Стали мудры музы
И рабства тягостные узы
С народа снимут твоего.

Какой восторг неизъяснимый
Там движет души, мысли, ум!
Где луч свободы, уже зримый,
Расторгнул прах унылых дум, —
Какая радость там сияет!
Се друг подругу поздравляет
С пременой счáстливой, драгой:
«Не бойсь, — речет, — скончáлись муки,
Возлюбленна! И хищны руки
Не разлучат меня с тобой».

Отец семейства и́дет в поле,
Природа вкруг него поет,
Одной своей он внемлет воле,
Одна она его ведет;
Созрел ли плод иль еще спеет,
Он пред творцом благоговеет,
Что видит собственность труда;
Он с поля в дом — тут сердца други
Стеклись у врат и стали в круги,
Бегут и дети их туда.

А там чьи гласы раздаются
В конце селе̄ния всего?

С холма, где воды чисты льются
Из недра мягкого его
И корни дуба омывают,
На коем горлицы витают,
Где всех приятностей собор,
Я вижу круг девиц прекрасных,
Невинных, милых и согласных,
Составивших прелестный хор.

Поют — сердца объемлет сладость!
Поют своих свободу дней,
Играют — взор тут видит радость
И торжество природы всей;
Среди восторгов их чистейших
Несется имя августейших,
Несется к самым небесам:
«О Александр! Елисавета!
Державные монархи света,
Вы дали жизнь и радость нам!»

Но вот на игры их приятны
Стеклися братия, отцы —
Все бодры, мужественны, статны
(Хотя под лавровы венцы).
Стеклись — объемлются, взирают,
Златую вольность прославляют
И тех, кто ону даровал:
«Чего желать, друзья нам боле? —
Сказали все, — мы в сладкой доле,
Уже нам бог ее послал.

Умрем за честь и за свободу,
Один над нами властен царь.
Велит — пройдем сквозь огнь и воду,
Из лавр ему сплетем алтарь!
Смотри на нас теперь, вселенна!
Что может мышца свобожденна!
Что могут русские штыки!
Какой народ противу станет?
Мы все пойдем, и гром наш грянет —
Рассыплем вражески полки».

Ликуй, Стройновский! Плод твой спеет,
Монарх к тебе благоволит,
Народ за правду благ радеет
И имя всем твое твердит.
На небо гласы простираем,
Да узрим вскоре и познаем
Всю славу, счастие свое!
О ты, зиждитель царств всесильный,
Вонми наш стон к тебе умильный
И дай нам ново бытие.

1811

217. ГЛАС ИСТИНЫ К ГОРДЕЦАМ

Полно гордиться,
О человек,
Время смириться,
Краток твой век!
Взгляни на гробы,
Кинь взор один:
Земной утробы
Ты бренный сын.
Всё исчезает
На свете сем,
Что ни прельщает
Живущих в нем.
Царские троны
С шумом падут,
Скиптры, короны
В прахе гниют.
Вчера с друзьями
Аммон [1] играл —
Нынче червями
Наполнен стал.
Одна минута —
И он уж прах,
Где ж гордость люта?
В адских огнях!

---

[1] Царь Иудин, сын и преемник Манассии.

Где его сила,
Где власть, краса?
Всё подкосила
Смерти коса.
Где его злато,
Где блеск камней?
Пламнем объято,
Стало землей.
Гордец ничтожный!
Время престать
Жить столь безбожно,
Бедных терзать.
Слышишь ли стоны,
Кои несут
Все без препоны
Бедны на суд? . .
Ты их тиранил,
Ты их зорил,
Ты их изранил,
Ты кровь их пил!
Вот тот несчастный,
Коего ты,
Злодей ужасный,
Ввергнул в беды.
Злобною властью
Гнал его род,
Алчною пастью
Пожрал живот.
Ты пресыщался —
Он гладен был,
Ты забавлялся —
Он слезы лил!
Сниди же, злобный
И лютый вепрь,
Под камень гробный
И в адску дебрь!
Мучася вечно
Там ты пребудь
И бесконечно
Бей свою грудь.

⟨1812⟩

В. Г. АНАСТАСЕВИЧ

Василий Григорьевич Анастасевич (1775—1845) — поэт, переводчик и библиограф — родился в Киеве. Образование получил в Киевской академии. В дальнейшем много писал по вопросам истории, экономики и библиографии, переводил с польского и древних языков. В 1821 году в письме к Н. И. Гречу, перечисляя журналы, в которых он сотрудничал, Анастасевич называет 14 наименований, среди них — «Лицей», «Журнал российской словесности», «Новости русской литературы», «Благонамеренный», «Вестник Европы», «Вестник Сибирский», «Вестник Украинский», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Сын отечества», «Журнал императорского человеколюбивого общества», «Труды Казанского общества», «Улей» («коего, — замечает Анастасевич, — был сам издателем и составлял оный почти весь»[1]). Сотрудничал он также в виленских журналах на польском языке.

Прослывший чудаком-библиографом, «педантом», возбуждавший насмешки арзамасцев, Анастасевич был человеком большой культуры и бесспорно демократического направления. Он не скрывал своего отрицательного отношения к крепостному праву в России, симпатий к национально-освободительному движению в Польше, резко отзывался о дворянских привилегиях.

Библиограф и собиратель, Анастасевич задался целью создания коллекции ходящих по рукам антиправительственных материалов, историческую и общественную ценность которых он вполне сознавал. План этот вызвал тревогу у поддерживавшего с Анастасевичем приятельские отношения известного библиографа митрополита Евгения Болховитинова, который предупреждал своего корреспондента, что относительно него «и теперь гроза не утихла по мнению о вольнодум-

---

[1] Ю. Лотман, К характеристике мировоззрения В. Г. Анастасевича. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 65, Тарту, 1958, с. 21. См. также: М. А. Брискман, В. Г. Анастасевич, М., 1958.

стве».[1] В 1818 году Анастасевич набросал для В. Н. Каразина проект мероприятий, необходимых для освобождения крестьян. Особое внимание здесь обращено на ликвидацию ненавистных Анастасевичу сословных привилегий дворян.

Литературные воззрения Анастасевича сформировались под влиянием идей Просвещения XVIII века: ему импонировала торжественная гражданская поэзия, с большим уважением относился он к памяти Тредиаковского, в насмешках над которым усматривал все тот же ненавистный ему дух дворянского дилетантизма. Отрицательное отношение к легкой поэзии карамзинистов сближало его с «Беседой». Однако он не чувствовал себя единомышленником Шишкова, скептически оценивая его лингвистические концепции.

Стихи Анастасевича никогда не были собраны. Огромный его библиографический архив — труд всей жизни — в значительной степени погиб.

218. О «ТЕЛЕМАХИДЕ»

Соотич, тезка мой, певец чистосердечный,
«Ездою в островок любви» венец сорвавший вечный,
Елико ты меня в «Предсловьи» ни просил,
Чтоб я прочесть сей труд собрал побольше сил,
За искренность челом бия по-молодецки,
Признáюсь, часто я над ним сыпáл мертвецки.
Тогда мне грезилось — сказать, да не солгать,
Что я желал тебе вовек не прелагать
Ни сей «Езды» крутой, ни той «Телемахиды»,
Которой сам себе ты столь нанес обиды,
Что наши умники, не зрев ее в мой век,
Кричат наслышкою: «Ты глупый человек!»
И слов пяти собой сказать не зная сами,
Живут чужим умом, вовек слывя скворцами.
Не гневайся, мой друг, не слушай ты их врак,
Пусть попугаи все твердят: «Дурак, дурак!»
Кто сердится на то, сполу был кстати так.
Чрез века три тебе хвалу воздаст потомство,
Что первый с музами ты россов ввел в знакомство.

1811 (?)

[1] Ю. Лотман, К характеристике мировоззрения В. Г. Анастасевича. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 65, с. 22.

219. И. И. В⟨АРАКИНУ⟩, СОЧИНИТЕЛЮ «ПУСТЫННОЙ ЛИРЫ», НАПЕЧАТАННОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 1807 г.

Не ты *забвенный сын природы* —
Она таких, как ты лишь, мать,
Есть светло-чтимые уроды —
Они ей не хотят внимать,
Она не признает сынами
Тех, кои держат с счастьем связь,
Гнушается их именами,
Пред ней равны — невольник, князь.
«Мы-то созданья превосходны!» —
Кричат одни тщеты друзья.
С мечтой их все ли мненья сходны?
Ты первый против, как и я.
Пускай кричат лишь меж собою,
Пусть храмы ставят им рабы...
Чу!.. Клия вторит ли трубою,
Их крик — на праге их судьбы.
Нет, здесь их гром весь свет смущает
И мало света им... а там
Сажень земли их прах вмещает,
Коль лягут по своим местам.
Там, там одна лишь обща доля
Без всякой разности их ждет.
Не их нередко — наша воля
Последний долг им воздает,
Предать земле их бренно тело
Не им и даже долг сей в честь:
Обыкновение хотело
К обрядам нужду сопричесть.
Ты правду рек, что «кто несчастным
Явит лучи своих доброт,
Утешит взором их приятным
И слезы горестны отрет,
Тот равен солнцу животворну;
Прострет кто руку благотворну
На помощь страждущим в бедах,
О нем во области эфирны
Несутся гласы звучны, лирны,
В дубровах слышны и градах»,
Что «муж, ко счастию народа

Избранный всем благотворить,
От рода будет и до рода
В сердцах и чувствах наших жить.
Тот, коего мужик рукою
Вводился в храм наук к покою,
Или проникнув оком в даль,
Кто испросил ему в награду
За пользу отчеству иль граду
От доброго царя медаль. ..»
В ⟨аракин⟩, в мыслях благородный!
Вот лучший в свете твой диплом:
Ты не несчастен — дух свободный
В ярме не может быть рабом.
Се дух твой с лирой возлетает
Туда, где впуск не по чинам,
В ряду с бессмертными читает
Определенье именам. . .
Ты зришь с улыбкой, с сожаленьем
Сколь мало на Олимпе тех,
Что век свой здесь живут лишь мненьем
Невежд — рабов своих утех.
Там песни нищего Омира
Преодолели цепь веков,
Там и твоя «Пустынна лира»
Преодолела звук оков.
Там сын скитавшийся Фингала
В туманах, в дебрях лишь бряцал.
Нет барда, ни языка галла —
Глас уцелел в вертепах скал!
Твой глас пустынный, глас природы,
Настроенный по шуму волн,
По свисту ветров, чад свободы,
И сельской простоты он полн.
Но слух ничем не зараженный
Умеет прелесть различать,
Глас, жаром истины возжженный —
Один изящества печать.
А *тон*, подделанный искусством,
Пленяет новостью лишь слух,
Не тронет сердца с чистым чувством —
К нему друг правды вечно глух.

Что может с честью той сравниться,
Коль сельской лире царь внимал?
Твой должен рок перемениться —
В нем часть бард россов принимал.
Но потерпи, как терпит гений,
Пока еще не прогнан мрак,
Пока с превыспренних селений
Феб всем явит свой светлый зрак.

20 января 1812

220. БЕСЕДЫ

Мы часто слушаем в беседах ахинею,
Все знают Ермолу и шепчут все: «Бог с нею!»
Не важность мнение — кто переучит нас?
А дело в том — кто врет? В какой он вписан класс?

1812

С. Н. ГЛИНКА

Сергей Николаевич Глинка, старший брат известного поэта и декабриста Ф. Н. Глинки, родился 5 июля 1775 года в селе Сутоки Смоленской губернии, в семье небогатого отставного гвардейского офицера. В шестилетнем возрасте Глинка был отдан в сухопутный шляхетный корпус в Петербурге, где провел 13 лет. Большое влияние в это время на него оказал Я. Б. Княжнин, который был в корпусе наставником русской словесности и пользовался большой любовью воспитанников. Уже в корпусе Глинка отличался мечтательностью, восторженностью и писал стихи. По свидетельству самого Глинки, В. А. Озеров показывал эти стихи Державину, но одобрения они не получили. Зато прочитанное на экзамене высокопатриотическое сочинение Глинки вызвало похвалу М. И. Кутузова, и он сказал тогда же: «Нет, брат! Ты не будешь служить, ты будешь писателем». [1]

В 1795 году, выйдя из корпуса офицером, С. Н. Глинка совершил путешествие на родину, впечатления которого оставили заметный след во всей его жизни, а затем отправился служить в московский линейный батальон, был одно время адъютантом Ю. В. Долгорукова, участвовал в походе Суворова 1799 года и в 1800 году вышел в отставку в чине майора. К этому времени он выступил в печати со стихами.

Прослужив некоторое время учителем на Украине, Глинка с 1802 года поселился в Москве, занялся переделкой для русской сцены французских опер и написал несколько драм патриотического содержания: «Наталья, боярская дочь», «Минин», «Сумбека» и другие, многие из которых с успехом шли на сцене.

В 1808 году Глинка женился и жил скромно и уединенно, имея впоследствии многочисленное потомство. Он был знаком почти со

---

[1] С. Н. Глинка, Записки, СПб., 1895, с. 121.

всеми московскими литераторами своего времени (Дмитриевым, Жуковским, В. Л. Пушкиным, князем Шаликовым и др.), но редко появлялся на литературных обедах и вообще был далек от литературного «света». По свидетельству С. Т. Аксакова, «он не мог видеть бедного человека, не поделившись всем, что имел, забывая свое собственное положение и не думая о будущем, отчего, несмотря на значительный иногда прилив денег, всегда нуждался в них». [1]

С 1808 года Глинка стал издавать «Русский вестник» — журнал, намеренно противопоставлявший Россию всему европейскому, особенно французскому.

Апогеем деятельности Глинки и периодом его короткой славы был 1812 год. Журнал Глинки в этот грозный год приобрел авторитет и читался даже простым народом. Глинка стал, по выражению Вяземского, «законным трибуном». Но сразу же после победы над Наполеоном потребность в патриотическом пафосе сильно упала. «Русский вестник» стал быстро хиреть и сделался предметом насмешек. Глинка ни в чем не изменился: он выпускал одно за другим патриотические сочинения, с 1815 года принялся за русскую историю, которую писал с пафосом, но без документов, однако она имела успех как учебное пособие и выдержала три издания. В 1822—1823 годах Глинка пытался издавать «Детское чтение», пробовал свои силы и на педагогической деятельности, но все неизменно кончалось долгами и неудачей. В 1824 году прекратился «Русский вестник». А. С. Шишков и Н. М. Карамзин приняли участие в судьбе Глинки. В 1827 году он вынужден был принять место цензора по новому цензурному уставу, о котором писал с возмущением: «§ 151 чугунного устава обязывал цензоров отыскивать двоякий смысл, то есть превращать цензурный комитет в инквизицию». [2] Он не желал стеснять свободы авторов, независимо от их взглядов и, где это было можно, разрешал все своей властью, обходя цензурный комитет, с которым скоро перессорился и в конце концов был уволен от должности цензора в 1830 году. В годы цензорства и в 1831 году Глинка активно сотрудничал в «Дамском журнале» князя Шаликова под псевдонимом «Мечтатель», причем вернулся к мотивам стихов своей юности, воспевая сельский уют, мир, покой. Мечтательство не давало средств к существованию, пришлось ехать в Петербург, и там с помощью Жуковского и А. С. Шишкова Глинка получил пособие на издание своих записок. В последние годы Глинка ослеп, и свой «Очерк характера Суворова» диктовал. Умер он 5 апреля 1847 года. Незадолго до его смерти Белинский

---

[1] С. Т. Аксаков, Собр. соч., М., 1956, т. 3, с. 9.
[2] С. Н. Глинка, Записки, СПб., 1895, с. 349.

писал: «С. Н. Глинка в восторге от своего времени: он им гордится, его любит, им живет, воспоминанием о нем молодеет. Все это очень естественно и очень хорошо... И притом С. Н. Глинка был молод в славную эпоху жизни России — ему есть о чем вспомнить с гордостию и упоением».[1]

Основные издания сочинений С. Н. Глинки:

Собрание новых романсов и песен, М., 1798.
Сочинения, чч. 1—4, М., 1817.
Записки, СПб., 1895.

221. МОИ ЖЕЛАНИЯ

Родясь в посредственной судьбе,
Даров и счастья не желаю;
Умеренность! в одной тебе
Свое я счастье полагаю.
Нельзя спокойствия купить
За все сокровища вселенной;
В душе, корыстью зараженной,
Оно вовек не может быть.
Когда б огромные палаты,
Где средь веселия цветов
Вельможи крепким сном объяты;
Когда б роскошных блеск пиров,
Когда б тех пышностей сиянье,
Которым жжем мы фимиам,
Смягчая жизни сей страданье,
С собой давали счастье нам, —
Фортуне б стал я поклоняться,
Чтоб сим блаженством наслаждаться;
Но стану ль рабствовать пред ней,
Когда щедротою своей
Она лишь душу отравляет
И сердце — в камень претворяет?
От бури уклонясь мирской,

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 9, М., 1955, с. 415.

С тобой, возлюбленный покой,
Под кровом хижины смиренной
В судьбе б я жил благословенной;
Когда бы Лизанька моя,
Которой сердце отдал я,
В ней восхотела жить со мною!
С твоей ли, Лизанька, душою —
В сем мире развращенном жить?
Где добрых, умных презирают,
Мидасов пышных величают;
Где сердцем надобно хитрить,
Где в глупость простоту вменяют;
Где надобно обман любить!..
Оставь, оставь сей свет несчастный,
Предрассуждению подвластный,
Приди под кров спокойный мой,
Приди — тебя сюда со мной
Природа нежна призывает:
Она тебя лишь ожидает,
Излить готовясь чашу благ!
Приди — и дуть Борей престанет,
Сквозь тучи Феба луч проглянет,
Зефир повеет на лугах.
Из урн наяд ручьи прольются,
В луга цветущи понесутся;
Но прелести твои узрев,
От удивленья онемев —
Остановя́т свое теченье...
Приди — и нежный соловей,
Сидящий с милою своей,
Твое услышав приближенье,
Веселым гласом возгремит
И твой приход здесь возвестит.
Приди — здесь вновь всё оживится,
Тобою всё возвеселится.
А я, тебя зря каждый час,
Себя и целый свет забуду.
Пускай и свет забудет нас,
Я тем благополучней буду!..

1795

222. ДРУГУ РУССКИХ

Жить для Отечества, вот бытие одно;
Нам счастье от небес в нем истинно дано.
Мечтатель говорит: «Я гражданин вселенной»,
А русский: «Край родной вселенная моя».
Мила своя страна душе благорожденной;
Ей мысли, ей душа посвящена твоя.

23 января 1808

223. НА ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА

Величественна тень восходит над Дунаем!
Дунай смутился, восшумел;
Как будто молнией и громом поражаем,
В волнах он бурных закипел.
От облаков взглянул Суворов!
Летит перун от быстрых взоров;
Слова его как гром гремят,
Брега дунайские дрожат,
И стены потряслись *Синила*; [1]
Над ними исполинска сила,
Суворова над ними длань:
О, сколь ужасная воспламенится брань!
Суворов рек Багратиону:
«Ступай! Враждебную в прах опрокинь препону;
Ступай, питомец мой!..» Героев вождь ступил,
И к Александровым стопам пал Измаил!
Он пал с смирением: в трепещущих стенах
Ни гром, ни страшный меч не поселили страх.
Он славою побед предтекших низложился;
Мечу, обвитому оливой, покорился!
Так торжествует росс и миром и войной!
Дунай! престань шуметь кипящею волной:
Пускай внимают все, что к нам гласит судьбина:
«Суворов не исчез! жива Екатерина!»

1809

---

[1] Прежнее название Измаила.

224. СТИХИ ГЕНЕРАЛУ РАЕВСКОМУ

Вера твоя спасет тя!

Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин:
Себя и юных двух сынов —
Приносишь всё царю и богу;
Дела твои сильней всех слов,
Ведя на бой российских львов,
Вещал: «Сынов не пожалеем,
Готов я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!..
Мы россы!.. умирать умеем».[1]
Орлы взвилися на врагов!
На бога твердо уповая,
Полки врагов не исчисляя,
За веру льют родную кровь.
Враг отражен, и снова
На россов злость его сурова
К стенам Смоленска привлекла;
Стотысячна толпа пришла.
Мал русских сонм — но вера с ними!
Опять с полками стал своими
Раевский, веры сын, герой!..
Горит кровопролитный бой.
Все россы вихрями несутся,
До положенья глав дерутся;
Их тщетно к отдыху зовут:
«Всем дайте умереть нам тут!» —
Так русски воины вещают,
Разят врага — не отступают:
Не страшен россам к смерти путь.[2]
И мы, о воины! за вами
Из градов русских все пойдем;

---

[1] Никогда, никогда никакое русское сердце не забудет слов героя Раевского, который, с двумя своими юными сынами став впереди русских воинов, вещал: «Вперед, ребята, за веру и за Отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь».

[2] Рассказывают, что когда полки генерала Дохтурова пришли на смену утомленным воинам генерала Раевского, сии последние сказали: «Мы не устали; дайте нам биться, рады все умереть!»

За нас вы боретесь с врагами,
И мы, мы вас в пример возьмем.
Или России избавленье,
Иль смерть врагу и пораженье!..
К победе с вами мы пойдем,
Иль *с верой — верными* умрем.

1812

225. К ПРАХУ

Н. М. КАРАМЗИНА

Друзья! на что смущать еще прах неостылый
Бессмертного творца?
Пускай парит любовь над мирною могилой:
Он ближних никогда не огорчал сердца.

16 декабря 1828
Москва

226. СОЛОВЕЙ

Милый, звонкий соловей!
Насладись весной своей!
Пой при ясности лазури.
Что до горя? что до бури?
Милый, звонкий соловей!
Быстро минут сорок дней!

Милый, звонкий соловей!
Ты поешь! — журчит ручей,
И луна всё посребряет,
Где твой голос пробегает
Светлой, быстрою струей;
Пой! ты отпоешь с весной.

Милый, звонкий соловей!
Наживешь когда детей,
Слух пленять ты позабудешь;

Хлопотать невольно будешь:
Не до песен уж тогда,
Как заботы у гнезда!

⟨1829⟩

227. ПУШКИНОЙ И ПУШКИНУ

Экспромт, написанный в присутствии поэта

Того не должно отлагать,
Что сердцу сладостно сказать.
Поэт! обнявшись с красотою,
С ней слившись навсегда душою,
Живи! твори! пари! летай!..
Орфей! природу оживляй,
И *Байрона* перуном грозным
Над сердцем торжествуй морозным.
Теперь ты *вдвое* вдохновен,
В *тебе* и в *ней* — всё вдохновенье.
Что ж будет новое творенье?
Покажешь: ты дивить рожден.

10 апреля 1831
В доме поэта

228. МОЯ ИСПОВЕДЬ

Послание к Н. А. К⟨ашинце⟩ву

Что наша жизнь? Одно шатанье,
Когда не для добра живем.
Что ненависть? любви изгнанье;
А без любви — во тме идем...
Нет! к человечеству душою
Не охлаждаюсь никогда!
Лелеян ли бывал судьбою,
Или встречалась мне беда —
В любви одной, в любви всегда
Я видел первую отраду.
Спешил к печальному я брату,
С страдальцем слезы проливал,
Вздыхал, где слышал вздох сердечный,
И клеветы позабывал.

Как странник на земле беспечный,
Держусь я мненья египтян.[1]
Срок жизни нам на время дан.
Что блеск земной? Страстей обман!
Он часто, как огонь болотный,
Сверкнув, тинистою стезей
Исчезнет тотчас от очей!
Душой младенец беззаботный,
Скажу, фантазии жилец:
Жизнь для души — любовь сердец.

Мой друг! мое ты сердце знаешь:
Скажи ж (кому? ты угадаешь),
Что я привык тем только жить,
Чтобы *мечтать* и — чтоб *любить*.

24 апреля 1831
Москва

[1] Древние египтяне называли домы свои *гостиницами;* а гробы настоящим жилищем: вот почему гордые владыки египетские сооружали пирамиды и мавзолеи. «Но, говорит Боссюэт, им даже не удалось *насладиться* и безмолвною могилою в сих памятниках гордыни». Приводя это место, Шатобриан восклицает: «*Насладиться могилою!*.. какое величественное выражение!» И мы назовем его величественным: ибо оно разительно изобличает гордыню, чуждую любви и домогающуюся и за пределом гроба жить в одних замыслах высокомерных.

Н. М. ШАТРОВ

Николай Михайлович Шатров родился в 1767 году. Он был сыном пленного перса Шатра, которого привез и поселил в своем доме М. А. Матюшкин, командовавший после отъезда Петра I русскими войсками во время персидского похода.

В доме Матюшкина Шатров получил довольно скудное начальное образование, а затем, с 1787 года, начал службу сначала в Монетной экспедиции, затем в Московском губернском правлении и позднее в Московской удельной экспедиции. В 1804 году он получил чин надворного советника и в июле 1805 года был произведен в дворянское достоинство.

По свидетельству современников, Шатров отличался живостью характера, остроумием и способностями к импровизации.

Постоянно живя в Москве, Шатров познакомился и подружился со многими московскими литераторами, среди которых были Н. И. Новиков, М. М. Херасков, Н. Эмин и другие. Особенно близко Шатров сошелся со слепым поэтом Н. П. Николевым. Принадлежа к кругу Николева, Шатров был противником Карамзина и его школы. Когда, в 1794 году, Карамзин выпустил сборник под названием «Мои безделки», Шатров написал на него эпиграмму, хорошо известную в конце XVIII века:

Собрав свои творенья мелки,
Русак немецкий написал:
«Мои безделки».
А ум, увидя их, сказал:
«Ни слова! Диво!
Лишь надпись справедлива!»[1]

---

[1] И. И. Дмитриев тогда же ответил Шатрову эпиграммой:

Коль разум чтить должны мы в образе Шатрова,
Нас боже упаси от разума такова.

Печататься Шатров начал в середине 1790-х годов в московских и петербургских журналах.

Особенно большой популярностью пользовались его переложения псалмов, в которых с редкой для того времени выразительностью и силой Шатров откликался на современные события: войну 1812 года, поражение Наполеона и т. п.

После войны Шатров печатался в «Амфионе» (1815), «Русском вестнике» (1815, 1817, 1818), «Сыне отечества» (1817), «Московском телеграфе» (1829), «Дамском журнале» (1831, 1832).

В 1820 году Шатров ослеп. Он вынужден был оставить службу и сильно бедствовал. Его стихотворения издала в 1831 году Российская академия, «узнав, что... писатель Николай Михайлович Шатров находится в весьма ограниченном состоянии при совершенном лишении зрения... чем исполнила свою обязанность и вместе сделала пособие писателю, находившемуся в бедственном положении».[1] Издание это встретило сочувственные отзывы критики, отмечавшей самобытность таланта Шатрова. Декабрист В. К. Кюхельбекер писал в своем тюремном дневнике 18 июля 1833 года: «...Шатров — поэт не без дарования, не без теплоты чувства, не без мыслей новых и удачных».[2]

Однако к тридцатым годам XIX века сочинения Шатрова, обладавшего несомненным поэтическим даром, уже безнадежно устарели. Раскупались они плохо и не могли поправить бедственное положение поэта. На Шатрова смотрели как на живой памятник давно минувшей эпохи. Друзья Шатрова вынуждены были признать, что вся его слава уже в прошлом. Так, М. А. Дмитриев, обращаясь к поэту, писал:

Ломоносова потомок,
Сын державинских знамен,
Ты меж нас живой обломок
Приснопамятных времен...

Сам Шатров в одном из своих поздних произведений, неопубликованном послании к баснописцу А. М. Зилову, подчеркивает, что стоит на позициях строгого классицизма и не приемлет романтических увлечений:

Своевольство романтизма
Часто вносит бред в стихи;

---

[1] «Труды императорской Российской академии», ч. 1, СПб., 1840, с. 82. — См. об этом также в бумагах Д. И. Хвостова (ПД).
[2] В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л., 1929, с. 117.

Без ума и классицизма
Шаг один до чепухи!

Скончался Шатров в нищете, надолго пережив свою известность, 11 октября 1841 года.

Издание сочинений Н. М. Шатрова:

Стихотворения, чч. 1—3, СПб., 1831.

229. ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ 81

Восстанет бог — и глас громов
Бесстрашных трепетать принудит!..
Он снидет в сонм земных богов
И каждого дела рассудит...
Могущие! сей близок час!
Уж пламенник любви погас;
Померкли мира дни златые;
Готов архангел вострубить:
Страшитесь! Время пробудить
Глаголом правды души злые.

Бог вверил вам судить людей,
Хранить их собственность, свободу;
А вы под именем судей
Врагами стали смертных роду:
Законом сделавши обман,
Употребляя средством сан,
Поставя целью самовластье,
Осмелились присвоить гром,
Назвались мира божеством,
И рушилось земное счастье.

Приявши власть добро творить,
Возможность защищать гонимых,
Без страха правду говорить,
Не зреть на лица подсудимых, —

Вы всё творите напротив
И, совесть златом усыпив,
Среди утех, пиров блестящих,
Не слышите стенящих вдов,
Поющих истину певцов
И нищих, под окном просящих.

Вы боги! — а несчастных стон
Царю царей на вас доносит;
Корыстью скованный закон
Отмщенья вам всечасно просит.
Вы судии! — а правду ложь,
Как жертвенный, двуострый нож,
Нещадно режет днем и ночью.
Вы стражи! — а богатых власть,
Презрев чужой семьи напасть,
Бессильных давит тяжкой мощью.

Еще ли, бога не боясь,
Хотите правду гнать напрасно;
Народным жалобам смеясь,
Судить подобных самовластно;
Законов разум превращать;
Суму у бедных похищать;
Теснить защиты не имущих;
Невинных без вины винить;
Лицеприятие хранить;
Щадить разбойников могущих?

Еще ли от насильных рук
Гонимого не защитите,
Вдовам не облегчите мук,
Заслугам кровли не дадите?
Еще ли, обольстясь мечтой,
Для выгоды своей одной,
В чужих слезах не брав участья,
Дерзнете рабство продолжить,
Дерзнете жертвовать, служить,
Как богу — идолам пристрастья?

Судьи! — Услышьте правды глас,
Любимцы счастья! пробудитесь!

Представьте грозный, смертный час
И властью срочной не гордитесь.
Престаньте бедных презирать;
Неправосудьем раздирать
Святую хартию завета;
Исправьте злобные сердца,
Покуда медлит гнев творца
И день не наступил ответа.

Судите так, как судит бог!
Преследуйте одне деянья;
Богат ли кто, или убог,
Не различайте состоянья;
Подайте руку, как друзьям,
Рабам, священникам, князьям;
Любите всех, чтоб вас любили,
Чтоб бог за зло не воздал злом,
Не осудил вас тем судом,
Каким и вы других судили.

Не внемлют! — И вотще певец
Укорный голос напрягает:
Жестокость каменных сердец
Не чувствует, не постигает.
Бродя во тьме пороков злых,
Все алчут почестей земных:
Богатств, корон и поклоненья;
Всё так же презрен бедных стон,
Оставлен бог, забыт закон,
И нет злодейству исправленья.

Раздвиньтесь, пропасти земли!
Чертоги сильных, отопритесь!
И вы, которые могли
Губить людей, — землей пожритесь!
Я видеть мнил в судьях земных
Отцов отечества прямых
И всем вещал: се божьи чада!
А вы под блесками громов,
Как и ужасный из врагов,
Все дети смерти — жертвы ада!

Восстань, бог сил! Гряди судить
Судей, неправедно судящих:
Пора за правду отомстить,
Рассеять сонмы зло творящих;
Прерви, прерви терпенья срок!
Довольно царствовал порок,
Корысть — свободой торговала,
Богатство — притесняло честь,
Превозмогала правду — лесть
И совесть долг свой забывала.

Подвигнись в грозных облаках,
Шумящим пламем окружися,
Ревущей бури на крылах
С небес гремящих опустися
И, зло достойно наказав,
Восстанови любви устав;
Соделай всех людей друзьями;
Все веры слей в един закон;
Всем царствам дай единый трон
И царствуй мира над царями.

1798

230. ПОСЛАНИЕ К МОЕМУ СОСЕДУ

Не тужи, сосед любезный,
Что фортуна к нам строга;
Грозный случай, век железный
Хоть кому сшибут рога.
Зло под солнцем неизбежно,
Утешенье с горем смежно;
Счастие как вешний лед,
По которому чрез воду
И в хорошую погоду
Редкий без хлопот пройдет.

Сам ты человек ученый:
Много слышал и видал;
Сам ты знаешь мир крещеный;
Кто путь славы протекал
Без худого приключенья?

Кто избегнул огорченья —
Иль мудрец, или герой?
Ах! Сократы и Катоны,
Цесари и Сципионы
Были случая игрой!

Знаешь сам — как *Велизеру*
Заплатил *Юстиниан*;
Как *Артемия* за веру
Наградил *Иулиан*;
Как *Овидия*-поэта
Август, повелитель света,
В горькой ссылке погубил;
. . . .
Как же быть! Во всяком веке
Сильный слабого тузит;
Зависть в каждом человеке
Как змея всегда шипит...
Посмотри на бар счастливых,
На крестьян трудолюбивых:
Где без горести живут?
Где ума не притесняют?
Где убогих не терзают?
Где богатых не клянут?

Кто злодеев не имеет?
Кто из нас не упадал?
Кто из нас так жить умеет,
Чтоб себя не забывал;
Чтоб, сидя по горло в счастье,
Брал в чужой беде участье;
Чтоб, идя на верх честей,
Не толкал других с дороги
И, добившись в полубоги,
Назывался: друг людей?..

Свет похож на рынок шумный,
Где живут всё торгаши;
Где и сам боярин думный
В грех не ставит барыши;

Где корысть — как уложенье,
Совесть — как предрассужденье,
Дружба — как содомский плод...
Ах! перо из рук валится,
Дыбом волос становится,
Как посмотришь на народ!

Гордость всех нас обуяла;
Деньги сделались наш бог;
Правда цену потеряла,
Позабыт взаимный долг;
Все ударились в обманы,
Захотели в *Тамерланы*...
От вельмож и до крестьян,
Вместо истины, ученья,
Упиваясь развращенья,
Всякий самолюбьем пьян!

Как же счастьем тут ласкаться?
Как тут славу заслужить?
Сам ты должен в том признаться —
Мудрено на свете жить!
Трудно во время такое
Нам, сосед! руно́ златое
Честным образом достать.
Страсти хуже, чем драконы;
Мы с тобою не *Язоны,*
Что ж напрасно хлопотать?

Сам ты видишь — нет надежды
Стену лбом проколотить,
Чувство сильного невежды
На добро оборотить.
Страсти целый мир дурачат,
Ничего при них не значат
Знаменитые умы.
Наша жизнь опасно море;
Если всех удел есть горе,
Так потерпим же и мы;

Подождем, покуда бури
Тучу грозную промчат,

Прояснится блеск лазури
И перуны замолчат.
Кроме доброго терпенья,
Нет другого утешенья
В этом случае для нас;
. . . .
Будь уверен — достается
Всем сестрицам по серьгам;
Зло по свету так и льется...
Покоримся временам!
Не одни мы промах дали,
На худых людей попали;
Сами боги, в злые дни,
Жертвой случая бывают:
Государства исчезают,
Как воздушные огни!

Право, попусту трудится
Ум судьбу пересудить;
Можно ль карле умудриться
Исполина победить?
Человек-слепец мечтает,
А судьба определяет:
Так и быть! — И льзя ли нам
Взять в опеку провиденье
И другое направленье
Дать развратным временам?

Остановимся ж на этом:
Отдадим поклон мечте
И, простясь с коварным светом,
Возвратимся к простоте:
Познакомимся с природой,
С добродетелью, свободой,
Погостим хоть день у них.
Ах! пора за ум приняться,
Жить и — жизнью наслаждаться
Посреди друзей своих.

Не желай утех излишних,
Миллионов и льстецов;

Не желай чертогов пышных,
Громких почестей, венцов:
Там на бархатных диванах,
С миллионами в карманах,
Притупя и вкус и взор,
Дремлет в неге пресыщенье,
Как ночное привиденье
На верху пустынных гор!

Верь, сосед! блаженства розы
В свете шумном не цветут;
Я слыхал, что горьки слезы
Через золото текут...
Что такое наше счастье?
Говорят — одно пристрастье
Только к выгодам своим.
Если так — по сей примете
И у бедного в подклете
Можно повстречаться с ним.

Не трудись летать высоко,
Милый, умный мой сосед!
Не ищи утех далёко
Самому себе на вред...
Счастие не за горами,
Не за темными лесами
И не в тех больших домах,
Где к хозяину без спроса
Показать не можно носа:
Милый друг! оно — в сердцах.

Кто умеет богу верить,
Понимать любви устав,
Страсти гордые умерить;
Кто имеет добрый нрав,
Совесть угрызенья чужду,
Хлеба с душу, денег с нужду,
Крепко спит в семье своей,
Тот и без похвал гремящих,
Без чинов и звезд блестящих
Счастливей самих царей!

⟨*1810*⟩

231. ПОЖАР МОСКВЫ
1812 ГОДУ

Пою пожар Москвы несчастной!
Нагрянул новый Тамерлан
И бранью тяжкою, ужасной
Вломился в Кремль, как ураган;
И нет от сильных обороны:
Повсюду страх, повсюду стоны,
Здесь горький плач, там страшный бой,
Везде насильство, притесненье,
Везде убийство, истребленье,
Везде грабеж, везде разбой.

Летят под небом с воем, с блеском
По грозным тучам смерть и гром
И разливают пламень с треском
На каждый храм, на каждый дом.
Зияют страшные зарницы
Над высотами всей столицы,
И загорается Москва.
Дым черный стелется, клубится,
И се перестает светиться
Москвы блестящая глава.

Москва несчастная пылает,
Москва горит двенадцать дней;
Под шумным пламем истлевает
Несметное богатство в ней:
Все украшенья храмовые,
Сокровища их вековые,
Великолепия дворцов,
Чудесных редкостей собранья,
Все драгоценности ваянья,
Кистей искусных и резцов.

Еще двенадцать дней дымилась
Столица славы и отрад,
Пожара искра в пепле тлилась,
Курился нестерпимый смрад.
Повсюду ужасы встречались,

От гибели не исключались
Ни хижины, ни алтари;
От переулка до гульбища
Всё претворилось в пепелища,
В развалины и пустыри.

Всё истребилось, и сожглися
Гостиный двор и Арсенал,
Сам Кремль с Китаем сотряслися,
И сам царь-колокол упал;
Взорвались башни, сокрушились,
Зубчаты стены развалились,
Скатилися с бойниц главы;
Повсюду ужас, разрушенье,
Пять взрывов — и в одно мгновенье
Не стало на земле Москвы.

Меж тем от голода и хлада
И от насилия врагов
На смрадном пепелище града
Толпы детей, толпы отцов
И сонмы матерей несчастных.
Под сумраками дней ненастных,
Скорбей сердечных не стерпев,
Без всякой помощи страдают
И разной смертью погибают,
Приютной кровли не имев.

Между развалин закоптелых,
Карнизов падших и колонн,
Домов и лавок обгорелых
Глухой, унылый слышен стон:
Там умирающий и мертвый,
Меча иль глада ставши жертвой,
Одни под ветрами лежат;
Никто им не закроет очи,
И только звезды полуночи
Тела усопших сторожат.

Все стогны полны мертвецами
Различных полов, лиц и лет;

Враги с железными сердцами —
И никому пощады нет;
А там толпы полуживые,
Главы седые, вековые,
Как тени с Стиксовых брегов,
Без обуви и без одежды,
Без помощи и без надежды,
Рабами стали для врагов.

И помня доброе былое,
Свою свободу и покой,
Клянут плененья время злое,
Томясь под страшною рукой
Ужасного Наполеона;
И полны пепелища стона,
И камни смочены слезой;
Страшна спасенья невозможность!
Всё превратилося в ничтожность,
Как под содомскою грозой.

Москвы под пеплом погреблися
Седьми веков и труд и ум,
По всей вселенной раздалися
Ее паденье, треск и шум.
Все вопрошали в удивленьи,
Кому Москва себя в забвеньи
Такую жертву принесла,
Которой не было примера,
И страшная такая мера
Кого и от чего спасла...

Отечество? Но без пожара
Великой из земных столиц
Довольно смелого удара
Бесчисленных ее десниц
На пораженье супостата:
Россия храбрыми богата,
Полки ее богатырей
Видали в поле Тамерлана.
Ужель Европу от тирана
И от бесславия царей?

Тебе венец и почитанья,
Царица русских городов.
Твой плен, твой пепел и страданья
Есть тайна божеских судов;
Не человеческой злой воле
На бранном, кроволитном поле
Была должна ты уступить;
Но бог, казня Наполеона,
Хотел Европу от дракона
Твоим пожаром искупить.

Узря Европы сотрясенье,
Ты длань ей дружбы подала,
Охотно для ее спасенья
Себя всю в жертву отдала;
От уз постыдных искупила;
Но чем Европа заплатила
Союзнице своей Москве?
Москва сама собой восстала,
И снова слава заблистала
На царственной твоей главе.

И следствием твоих страданий
Есть мир и царство тишины.
Уже волканы всех мечтаний,
Завоеваний и войны
Твоим пожаром потушились,
Ужасных силы сокрушились,
Исчез, исчез всемирный трон:
Надежды гордых перестали,
Кумиры слепоты упали,
И пал наш враг Наполеон.

Свобода! Пойте гимн свободы,
Европы славные певцы,
И вы, германские народы,
Сплетайте в честь Москвы венцы;
Сроднитесь с русскими сердцами
И будьте все ее певцами:
Пускай векам передадут
Пожар московский песни ваши,

И поздние потомки наши
Венец для ней, как вы, сплетут.

Я духом речь потомков внемлю,
Как отклик радостной молвы:
«Подвигнем океан и землю
Для прославления Москвы,
И в память жертвы незабвенной,
На поклоненье всей вселенной,
Как всех столиц земных главе,
Воздвигнем памятник!» — сказали,
Воздвигнули — и написали:
«Спасительнице царств Москве».

1813 или 1814

232. ПРАХУ ДЕРЖАВИНА

Замолк гремящий бард Фелицы,
Как в тучах вспыхнувший перун;
Уже надгробные цевницы
Бряцанием железных струн
О смерти барда возвестили
И барды барда проводили
В страну блаженных праотцов.
Рыдайте, девы Геликона:
Почил любимец Аполлона!
Почил — великий из певцов!

Он пел могущую царицу,
Как бард шотландских берегов;
Он пел бессмертную Фелицу,
Как бард, достойный петь богов.
Он пел — и песнь как вихрь неслася,
Как шумный водопад лилася,
Как щит — звучал высокий слог.
Дивились барды, ревновали,
Все подражать ему желали;
Но подражать — никто не мог.

Он пел и смело прикасался
К златым Орфеевым струнам;

От звуков воздух сотрясался,
И бард как гром являлся нам.
От струн его лучи блистали,
Из пéрстов искры вылетали,
Сияла арфа как луна,
Слетались тени слушать пенье,
Сама Фелица в то мгновенье
Восторгами была полна.

Как Пиндар, вечно незабвенный,
Он пеньем нас очаровал,
И, как Рафáэль несравненный,
Пером волшебным рисовал
Картины дивные природы,
И, как певец златой свободы,
Он путь к сердцам умел найтить,
И стройным лебединым пеньем,
Одушевляясь вдохновеньем,
Умел всех бардов превзойтить.

Его перо — перо науки,
Его язык — язык богов,
Его победных песней звуки —
Как звуки пламенных громов,
Его «Бог» ода — удивленье,
Псалмы, «Сосед», «Мурзы виденье»,
«Вельможа», «Счастье», «Водопад»,
«Умеренность» и две Фелицы
Прейдут потомства за границы
И будут цвесть, как райский сад.

Какой из современных гений
Оспорит у него венец?
Громами стройных песнопений
Какой сравнится с ним певец?
Он кончил жизни подвиг тленный,
Но струны арфы вдохновенной
Не могут с бардом умереть:
Их звуки в вечности отгрянут
И никогда не перестанут
Для царства русского греметь.

Хотя гробницы время гложет
И камни поглощает их,
Колоссы дивные ничтожит
Ударом тяжких крыл своих;
Земную славу затмевает,
На всё, как ветер, навевает
Забвенья вечного туман, —
Но не поглотит вдохновенья,
Превыше времени, забвенья
Екатеринин Оссиан.

Мир барду! песнопенью слава!
Покойся на златых венках!
Твоя хвала — как Этны лава.
Удел великих — жить в веках!
И ты в веках с *Екатериной*
Жить будешь песнью лебединой,
Под блеском вечного венца.
Тебя потомство не забудет,
И долго, долго здесь не будет
Тебе подобного певца.

1816

233. ПРАХУ НИКОЛЕВА

Певец гремящий, незабвенный,
Проснись в часы беседы сей;
Оставь свой одр уединенный;
Восстань! И на призыв друзей
Из тьмы могильной отзовися,
В собранье к нам перенесися
И будь свидетель, что, любя
Певца великих в здешнем мире,
Твоей еще мы внемлем лире
И помним в вечности тебя.

Пять лет сегодня миновало,
О друг наш, северный Мильтон,
Как между нас тебя не стало
И гений твой пал в вечный сон!
Но дружба друга не забыла:

Не всё ужасная могила,
Не всё *твое* взяла у нас.
Покорна *слову* смерти злоба,
Ты мертв — но говоришь из гроба,
Ты прах — но слышен всем твой глас.

Не умирает! .. И не может
Певец бессмертный умереть!
Хотя гробницу время сгложет,
Но муза будет вечно петь;
Он движет громы, землю, воды,
Передает из рода в роды
Дела великих на земли:
Он тот, кем мира все Атриды
И самые Семирамиды
До наших дней дожить могли.

Поэзии *живое слово*
Сильнее смерти и времян;
Их свойство сколько ни сурово,
Но не погиб от них Боян.
Подобно и твои творенья
Не встретят мрачного забвенья,
Невежество переживут,
Дождутся времени златого
И силою *живого слова*
Твой прах ко славе воззовут.

Блажен певец! стихотворенье
Есть лучший дар из всех даров,
В нем зрится неба вдохновенье
И слышится язык богов;
И тот, кто им владеть умеет,
Бессмертный лавр в удел имеет;
Ты языком богов владел,
Изображал все страсти живо,
Природу рисовал нелживо
И правду вслух пред сильным пел.

Ты пел могучих в ратном поле
И передал их славу нам;

Ты пел бессмертных на престоле
И сделался бессмертен сам;
Хвала твоей гремящей лире!
Для нас она не смолкнет в мире
И не завянет твой венец,
Тебя чтить музы вечно будут:
Бессмертного не позабудут;
И как забыть? — ты был певец.

1821

Г. П. КАМЕНЕВ

Гавриил Петрович Каменев (1772—1803) родился в Казани в семье богатого купца, обучался в привилегированном немецком пансионе Вюльфинга, где ранее учился Г. Р. Державин.

В 1790-х годах в Казани сложился литературный кружок, руководимый С. А. Москотильниковым. Членами этого кружка, помимо Каменева, стали Н. С. Арцыбашев и И. И. Чернявский.

В 1796 году, возможно, благодаря рекомендации Москотильникова, произведения Каменева появляются в журнале И. И. Мартынова «Муза».

В 1799 году с письмами Москотильникова Каменев приехал в Москву, где познакомился с Карамзиным и группой московских масонов: И. В. Лопухиным, О. А. Поздеевым, директором Московского университета И. П. Тургеневым и его сыновьями Андреем, Александром и Николаем. Редактор журнала «Иппокрена» А. П. Сохацкий одобрил литературные опыты Каменева и в течение 1799—1800 годов напечатал в своем журнале одиннадцать его произведений.

В 1802 году Каменев побывал в Петербурге и был принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств.

Вскоре после возвращения в Казань Каменев, организм которого был подорван излишествами бурно проведенной молодости, скончался.

Вольное общество отметило смерть своего сочлена трехнедельным трауром, а В. В. Попугаев произнес 12 сентября 1803 года речь, посвященную памяти Г. П. Каменева.

Творческий облик Каменева складывался под сильным влиянием «кладбищенской» поэзии Эдуарда Юнга, через которое преломились впечатления от чтения русских рыцарских романов и книжных обработок русских сказок. По свидетельству А. А. Фукс, Пушкин сказал о Каменеве: «...он первый в России осмелился отступить от классицизма. Мы, русские романтики, должны принести должную дань его памяти...».[1]

---

[1] А. А. Фукс, Воспоминания. — Прибавления к «Казанским губернским ведомостям», 1844, № 2.

При жизни стихотворения Каменева не были собраны, многие из них появились в печати уже после его смерти.

Издание произведений Г. П. Каменева: «Поэты-радищевцы», «Б-ка поэта» (Б. с.), 1935.

234. КЛАДБИЩЕ

Птица ночная жалобным криком
Душу смущает, трогает сердце,
В робость приводит, мятет.

С свистом унылым быстро с могилы,
Мохом обросшей, любит спускаться
К куче согнивших костей.

Слух мой полету мрачной сей птицы
Вслед с ней стремится. Что ж я тут слышу?
Томный и тихий лишь стук.

Дух мой объемлет трепет и ужас!
Знатностью прежде, гордостью пóлна,
С кучи катилась глава.

Где твоя пышность, дерзкий невежда?
Где твоя знатность? — Нет ее больше!
Слаб и порочен сей свет!

Страшная птица тотчас спустилась
С кучи на камень, гордость где прежде
Твердо являла свой вид.

Гордость исчезла, — время сожрало
Надпись златую, знатные титла,
Камень остался один.

Высокомерный! зри те гробницы,
Сколь они пышны! Верно, со треском
Скоро исчезнут, падут.

Честью и славой ныне украшен,
Скоро лишишься титл и богатства;
Так же ты точно падешь!

Счастлив стократно бедный, но честный.
В жизни он терпит; в смерти получит
Вечности счастие всё.

1796

235

Вечер любезный! вечер багряный
В влажном наряде сизой росы!
Друг твой несчастный сердцем тоскует,
В тихой долине слезы лишь льет.
В тихой долине пусто, безмолвно!
Друг твой при речке там быстрой сидит.
Мысли он только к ней устремляет,
К деве любезной здешней страны.
Дева прелестна! где ты, где ныне?
Где воздух тонкий питает тебя?
Где ты, где зыблешь грудь лебедину?
Где изливаешь пламень очей?
Грудь твоя лучше розы цветущей,
К солнцу раскрывшей свежи листы!
Алые губы прелестны и милы!
Руки белее в поле лилей!
Где Эдальвина? где ты, где ныне?
Кто твоих видит прелесть ланит?
Кроткий румянец! нежным оттенком
Мило играешь в них для кого?
О Эдальвина! в горькой печали
Жизнь я несчастну здесь проведу!
Будьте во мраке вечно сокрыты,
Слезные вздохи песни нощной.
Бури свирепством роза погибла!
Нежно, душисто на стебле цвела.
Алые листья лишь распустила,
Буря свирепством сгубила ее.
Грозд винограда! милый, багряный!
Сорван ты жадной и хищной рукой!

Рано ты сорван с гибкого древа!
Сок твой любезный во прахе погиб!
Роза! почто ты рано завяла?
Грозд виноградный! почто не дозрел?
Девы, рыдайте! слезно, печально,
Юноши, плачьте, тоскуйте о том.
О Эдальвина! в тихом ты гробе
Тихо, покойно, безмолвно лежишь;
Ветр на могиле воет уныло,
Скоро снег зимний засыплет ее.
Горькой ты смерти юна невеста!
Брачные песни замолкли навек!
Страшен жених твой, страшен и бледен,
Хладно и пусто на брачном одре.
Нежной красою всех была лучше,
Юная дева, ты в жизни своей.
Грудь твоя ныне низко опала,
Очи померкли, и мертвы уста.
О Эдальвина!.. здесь на могиле,
Густо обросшей травою, сижу.
Ветер холодный мрачныя нощи
Роется бурно в моих волосах.
О Эдальвина!.. в горести лютой
Всю здесь проплачу унылую жизнь.
Бледен, как солнце в осень печальну,
Тих и безмолвен, как темный твой гроб!

1799

236. ГРОМВАЛ

Мысленным взором я быстро стремлюсь,
Быстро проникнул сквозь мрачность времян.
Поднимаю завесу седой старины —
И Громвала я вижу на бодром коне.

Зыблются перья на шлеме его,
Стрелы стальные в колчане звучат;
Он по чистому полю несется как вихрь,
В вороненых доспехах с булатным копьем.

Солнце склонялось к кремнистым горам,
Вечер спускался с воздушных высот.
Богатырь приезжает в глухие леса,
Сквозь вершины их видит лишь небо одно.

Буря, облекшись в угрюмую ночь,
Мчится с закату на черных крылах;
Заревела пучина, дуброва шумит,
И столетние дубы скрипят и трещат.

Негде укрыться от бури, дождя,
Нет ни пещеры, не видно жилья,
Лишь во мраке сгущенном сквозь ветви дерев
То блеснет, то померкнет вдали огонек.

В сердце с надеждой, с отвагой в душе,
Ехавши тихо сквозь лес на огонь,
Богатырь приезжает на берег ручья,
Древний замок он видит вблизи пред собой.

Синее пламя из замка блестит,
Свет отражая в струистом ручье,
Тени в окнах мелькают и взад и вперед,
Завывания, стоны в нем глухо звучат.

Витязь, сошедши поспешно с коня,
Идет к воротам, заросшим травой,
Ударяет в них сильно булатным копьем,
Но на стук отвечают лишь гулы в лесу.

Вмиг потухает внутрь замка огонь,
Свет умирает в объятиях тьмы,
Завывания, стоны утихли, молчат,
Усугубилась буря, удвоился дождь.

Сильным ударом могучей руки
Рушится твердость старинных ворот,
Отлетели запоры, скрипят вереи,
И во внутренность входит бесстрашный Громвал.

Меч обнаживши, готовый разить,
Ощупью тихо он замком идет,

Тишина распростерта, и мрачность везде,
Лишь сквозь окна и щели вихрь бурный свистит.

Витязь в досаде и в грусти вскричал:
«Хищный волшебник, коварный Зломар!
Ты Громвала принудил скитаться как тень,
Ты похитил Рогнеду, столь милую мне!!

Многие царства и земли прошел,
Рыцарей сильных, чудовищ побил,
Великанов сразил я могучей рукой,
Но Рогнеды любезной еще не нашел!

Где обитаешь ты, лютый Зломар?
В дебрях ли диких, в пещерах, в лесах;
В подземельях ли мрачных, в пучине морской
Укрываешь ее ты от взоров моих?

Если найду я жилище твое,
Злобный волшебник, лихой чародей!
Извлеку из неволи Рогнеду мою,
Вырву черное сердце из гру́ди твоей».

Витязь, умолкнув, почувствовал сон,
Одр ему стелют усталость и ночь.
Не снимая доспехов, в броне, в шишаке,
Прикорнув, засыпает глубоким он сном.

Тучи промчались, Борей замолчал.
Звезды потухли, сереет Восток,
Поборает свет мрака, Зимцерла сквозь флер
Заалелась, как роза. Громвал еще спит.

Катится солнце по своду небес,
Блещет с полудня каленым лучом,
И по соснам слезится смола сквозь кору,
Но Громвала всё держит в объятиях сон.

Ночи предтеча со смуглым челом
Смотрит с Востока на лес, на луга,
Усыпает из урны росой мураву;
Но Громвала всё держит в объятиях сон.

Ночь с кипарисным венком на главе,
В ризах, сотканных из мрака и звезд,
По ступеням, нахмурясь, на трон свой идет,
А Громвала всё держит в объятиях сон.

Тучи сомкнулись на своде небес,
Мрачность густеет, настала полно́чь;
Богатырь, воспрянувши от крепкого сна,
Изумился, не видя румяной зари.

Вдруг затрещало по замку, как гром,
Стены трясутся, окошки звенят,
И, как молния быстро блистает во тьме,
Освещается зала вмиг синим огнем.

Настежь все двери стучат отворясь.
В саванах белых, с свечами в руках,
Входят медленно тени; за ними несут
Гроб железный скелеты в руках костяных.

Залы в средине поставили гроб,
Крышка слетела мгновенно с него,
И волшебник Зломар, синевато-багров,
Бездыханен лежал в нем, открывши глаза.

Пол расступился, зеленый огонь
С вихрем трескучим оттоле летит,
Охватив гроб железный, как жар раскалил,
Застонал стоном тяжким геенны Зломар.

В дикоблудящих кровавых глазах
Ужас трепещет, отчаянье, скорбь;
Изо рта пена черная клубом кипит,
Но лежит неподвижно, как труп, чародей.

Духи, скелеты, руками схватясь,
Гаркают, воют, рыкают, свистят,
В исступленном восторге беснуясь, они
Пляшут адскую пляску вкруг гроба его.

В страшных забавах проходит полно́чь,
Вопль их, клики громче звучат.
Но лишь утра предвестник три раз пропел —
Исчезают вмиг духи, скелеты и гроб.

Тьма, как в могиле, с глухой тишиной
Завес печальный спустила опять;
Удивляется чуду смущенный Громвал,
Изумившись, не верит себе самому.

Нежные тоны свирелей и струн
Эхо сквозь мраки на крыльях несет.
Растворился свод залы, и розовый луч
Разогнал тихим светом сгущенную ночь.

В облаке легком душистых паров,
Где волновался жемчужный отлив,
Как по воздуху пух лебединый плывет,
Опускается плавно волшебница в зал.

Чище лилеи одежда ее,
Пояс по чреслам — как яхонт небес;
Как игра златояркой восточной звезды,
Добродетель сияет у ней во очах.

Голосом стройным Добрада рекла:
«Рыцарь печальный, покорствуй судьбе,
Нет Зломара на свете, смерть острой косой
В Тартар душу низвергла злодея сего.

Зевом несытым в кипящую хлябь
Челюсть геенны его пожрала,
С клокотанием лавы и с ревом огня
Вой и стон его бездна лишь будет внимать.

Смерть, преступивши природы закон,
Чувств не лишила волшебника труп,
Развращенных им тени погибших людей
Каждоночно здесь в замке терзают его.

Рыцарь, спеши ты к Рогнеде своей;
К югу за лесом, в песчаных степях,
Там Зломарова замка в темнице стальной
Два крылатых Зиланта[1] ее стерегут.

Рог сей волшебный прими от меня
Грозную челюсть чудовищ сомкнуть,
Но внимай: ты не можешь Рогнеды спасти,
Не пролив ее крови: судьбы́ так велят».

Струны свирели вторично звучат,
Облако кверху с Добрадой летит.
Пораженный сей речью, Громвал вне себя,
Истукану подобен, вслед смотрит за ней.

Рог изумрудный державши в руке,
С горькой досадой вскричал богатырь:
«Вероломной волшебницы пагубный дар,
Ты убивством Рогнеды мне счастье сулишь.

Нет! трепещу я от мысли одной, —
Сердце из гру́ди ей в жертву летит.
Но, Громвал, повинуйся глаголу судьбы,
Чародейство Зломара спеши истребить.

Если не можешь Рогнеду спасти,
Замок разрушить, Зилантов сразить,
Богатырскую кровь ты пролей за нее
И геройскою смертью любовь увенчай».

Красное утро янтарным лучом
Сосен столетних верьхи золотит;
Обращая на полдень коня своего,
Оставляет наш витязь и замок, и лес.

Дебри, вертепы, стремнины, хребты
Стонут от тяжких ударов копыт,

---

[1] Зилантом называли в старину змея, жившего, по баснословному преданию, в пещере одной горы, возвышающейся над Казанкою. И поднесь монастырь, тамо построенный, именуется Зилантовым. А в гербе Казани видно его изображение.

Пыль густая, как туча, крутившись столбом,
По поднебесью вьется, где скачет Громвал.

Мрачным ущельем скалистой горы
Выехал рыцарь в обширную степь;
Открывается взорам песка океан,
И вдали будто с небом сливается он.

Ветр не волнует сыпучую зыбь,
Дышит тлетворным дыханием зной;
Ни кусты не шумят, ни журчат ручейки,
Как в полночь на кладбище, всё ноет, молчит.

В дикой пустыне, в сих страшных полях
Нет ни дороги, не видно следов.
Лишь к востоку приметна крутая гора,
И на ней крепкий замок чернеет вдали.

С жаждой и зноем сражаясь три дня,
Смерти препоны расторг богатырь.
На коне утомленном, в кровавом поту,
Подъезжает он тихо к подошве горы.

В скользких стремнинах навислых камней,
Страшно грозящих низринуться в дол,
Обрываясь над бездной по узкой тропе,
Достигает вершины и замка Громвал.

Силой геенны и адских духов
Мрачный сей замок построил Зломар.
Взгроможденные башни из черных камней
Предвещают погибель и лютую смерть.

В сердце с Рогнедой, с геройством в душе,
Буре свирепой подобный Громвал
Сокрушает чугунных ворот вереи,
В замок крови вступает с булатным мечом.

Грозно идет он, — под крепкой пятой
Мертвые кости, черепья хрустят,
Враны, птицы нощные и нетопыри
Пробуждаются в мшистых расселинах стен.

Облаком вьются над замком они,
Воздух колеблет ужасный их крик;
И Зиланты, послышав Громвалов приход,
Испускают вой, свисты и крыльями бьют.

Челюсть разинув, летят на него,
Копьями жалы торчат из пастей,
Чешуею брячат, извивая хвосты,
Выпускают мертвящие когти из лап.

В рог изумрудный трубит богатырь,
Звук оглушил их, — как камни падут,
Подсекаются крылья из кожи и жил,
Погрузившись в сон смертный, горами лежат.

Рыцарь в восторге к темнице летит
С пламенным сердцем Рогнеду обнять;
Но огромная дверь растворяется вдруг,
И навстречу выходит в броне Исполин.

Грозные взгляды — кометы во тьме,
Медь на нем — панцирь, свинец — булава,
Серый мох по болоту — брада у него,
Черный лес после бури — власы на челе.

С силой ужасной взмахнув булаву,
С свистом в Громвала пустил Исполин;
Поражает его по буйно́й голове,
Содрогается эхо, по замку звуча.

Шлем, зазвеневши, дробится в куски,
Сыплются искры из темных очей,
Булава от удара согнулась дугой,
Но не двинулся с места Громвал, как скала;

Меч в богатырской руке заблистал,
Бурным перуном злодея разит.
Разлетелась бы в части и вдребезги медь,
Но скользит лезвее по волшебной броне.

В бешенстве лютом ревет великан,
Адом зияет, от злости дрожа,

Напрягает он мышцы укладистых плеч,
Угрожает Громвала в руках задушить.

Смерть неизбежна, погибель близка,
Страшные длани касаются лат;
Но Громвал, ухватя его ногу, как дуб,
Потряхнувши, поверг, опрокинул его

Башне подобно громыхнул Гигант,
Звуком ужасным весь замок потряс,
Расседаются стены, валятся зубцы.
Он, упавши, в сырой земле яму вдавил.

Взявши за горло могучей рукой,
Меч ему в челюсть вонзает Громвал,
По булату зубами скрипит великан,
Зарыкал, застонал он, подобно волу.

Желтая пена, багровая кровь
Хлещет, клубится из синего рта,
Стервенея от боли, со смертью борясь,
Роет землю ногами, трепещет, хрипит.

Вместе сливаясь журчащей струей,
Пучится, бродит Гигантова кровь,
Облачко́м поднявши́сь, легкий пар от нее
Образует Рогнеды прекрасной черты.

Розы в ланитах, любезность в очах,
Алые губы манят поцелуй;
По плечам, отливаясь как бархат, власы
Осеняют ее лебединую грудь.

Чуду такому дивится Громвал,
Призрак ли это или существо?
Приближаясь с надеждой и с робостью к ней,
Не мечту, но Рогнеду он к персям прижал.

Радости пламень, перун быстротой,
Томную душу героя проник,
Восхищенное сердце под крепкой броней
Потрясает дебелую рыцаря грудь.

В страстном восторге целуя ее,
Голосом кротким Громвал говорит:
«Долго, долго тебя я, Рогнеда, искал
И по белому свету скитался, как тень».

Тяжко вздохнувши, вещает она:
«Лютый волшебник, коварный Зломар,
Раздраженный презренною страстью своей,
В чародейский сей замок меня перенес.

Здесь, прикоснувшись волшебным жезлом,
Памяти, чувства меня он лишил;
Погрузившись мгновенно в таинственный сон,
Я с тех пор в бездне мрака сокрыта была».

За руку взявши Рогнеду, Громвал
Тихо спустился к подошве горы,
Посадивши ее на коня за собой,
По дороге обратно стрелой полетел.

Замок объемлет глубокая тьма,
Громы во мраке свирепо звучат,
Аквилоны завыли, сорвавшись с цепей,
Затрещало кремнистое недро горы.

С ревом ужасным разверзлась земля,
Рухнули башни в бездонную пасть,
Ниспроверглись Зиланты, темница, Гигант,
Чародейство Зломара разрушил Громвал.

Май 1803

237. СОН

Рдяное солнце в облаке мрачном
Скоро сокрылось от глаз;
Всё приумолкло, всё приуныло,
Дремлют леса.

Ночь в колеснице, черной, печальной,
Тихо с Востока летит,
Влажные тени стелет на землю;
Тускнет река.

Скуки унылой тяжкое бремя
Душу мою тяготит;
Скорби жестоки, горести чует
Сердце мое.

Сердце тоскует, слезы льются
Градом из томных очей!
Всё будто кажет, всё предвещает
Близку мне смерть.

В хижину мирну, к милой подруге
С смутной душою спешу,
В недрах покоя — кроткой дремоты
Горе забыть.

В длинной одежде, бледен, печален,
Перст приложивши к губам,
Сон опускает черную ризу
Мне на глаза.

С духом смущенным я засыпаю:
Сердце хладеет во мне.
Мрачные виды взору открылись:
Ужас и страх!

В пасмурный вечер, с трепетом в чувствах,
Я на кладбище сижу;
Камни надгробны, смерти жилища,
Окрест меня.

Заревным цветом небо покрыто,
Смотрит кровавым лицом;
В рдяном пространстве око не видит
Звезд и луны.

В воздухе душном всё увядает,
Блекнет, на что ни взгляну;
Древние сосны зноем томятся,
Ноют — молчат.

Воздух, сгущенный паром зловонным,
Грудь мою тяжко теснит;
В лютом мученьи чувствую близко
Горькую смерть.

Камни надгробны вдруг потряслися,
Скорбный услышал я вздох;
Глухо и томно он отозвался
В сердце моем.

В робости, в страхе, мог ли приметить,
Вздох сей отколь происшел?
Вижу: открылась хладна могила
Близко меня.

Вижу: выходит медленным шагом
Страшный мертвец из нее —
В гробной одежде, в саване белом
Мне предстает.

Я ужаснулся, волосы дыбом
Встали над бледным челом.
Тень, подождавши, гласом могильным
Мне прорекла:

«Вздох этот тяжкий, чадо печали,
В слух твой проник из земли.
Стонет природа, тленью предавшись:
Се твой удел!

Скоро и ты здесь, в недрах безмолвных
Матери нашей земли,
Скоро здесь будешь, в тесной могиле,
С нами лежать».

Май 1803

Н. Ф. ОСТОЛОПОВ

Николай Федорович Остолопов родился в Сольвычегодске в 1782 году, воспитывался в Петербурге, в Горном кадетском корпусе. В течение всей жизни Остолопов оставался чиновником, довольно часто меняя места службы и жительства. Начал он с коллегии иностранных дел, затем служил по министерству юстиции, затем, с 1808 года, служил в Вологде сперва губернским прокурором, позднее главным правителем Комиссии о питейных сборах и вице-губернатором. В 1820 году Остолопов вернулся в Петербург и стал редактором «Журнала департамента народного просвещения», в 1824 году он служил в ведомстве путей сообщения, а в 1825—1827 годах был директором петербургских театров. В 1829 году Остолопов, уже как чиновник министерства финансов, был назначен управляющим астраханской конторой коммерческого банка. Умер он в Астрахани в 1833 году.

Литературная деятельность Остолопова была разнообразной и богатой, хотя он и не отличался ни ярким поэтическим дарованием, ни оригинальностью суждений. Начав печататься в московском журнале «Иппокрена», Остолопов после вступления в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (3 мая 1802 года) становится активным сотрудником периодических изданий Общества и близких к Обществу журналов («Свиток муз», «Периодическое издание» 1804 года, «Северный вестник», «Журнал российской словесности», «Журнал для пользы и удовольствия», «Цветник», «Санкт-Петербургский вестник»), печатается и в других журналах, в том числе и самых влиятельных: «Вестнике Европы», «Сыне отечества» и пр.

С 1806 года Остолопов стал издавать журнал «Любитель словесности», сочувственно встреченный критикой.

По своим литературным взглядам и вкусам Остолопов всегда оставался убежденным сторонником позднего классицизма, что осо-

бенно явственно проявилось в изданном им в 1821 году «Словаре древней и новой поэзии», над которым Остолопов работал с 1806 года.

Остолопов входил в державинское окружение последних лет жизни поэта. В 1822 году он выпустил «Ключ к сочинениям Державина, с кратким описанием жизни сего знаменитого поэта».

Архаическая литературная позиция Остолопова уводила его на периферию литературной жизни. Он был забыт современниками, а его редкие литературные выступления в конце 1820-х годов вызвали насмешки критики.

Как литератор Остолопов отличался плодовитостью: много печатался в журналах, издавал свои сочинения и переводы отдельными книгами.

Основные сочинения Н. Ф. Остолопова:

Прежние досуги, или Опыты в некоторых родах стихотворства, М., 1816.

Словарь древней и новой поэзии, тт. 1—3, СПб., 1821.

238. ОТКРЫТИЕ В ЛЮБВИ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА

Егда аз убо тя узрех,
О ангел во плоти чистейший!
Впадох внезапу в лютый грех,
Грех велий, абие презлейший.

Держах псалтирь тогда свою
И чтох кафисму уж шестую,
Как увидох красу твою —
Аз книгу изроних святую.

Власы твои — как стадо коз[1]
Близ Галаадския долины,
Как кедр Ливанский твой есть нос,
И взоры — яко голубины.

---

[1] Подражание некоему славящемуся премудростию своею мужу.

Как стадо зубы суть овец,
Уста твои как багряница,
Твой глас пленитель есть сердец,
Пренепорочная девица!

Царя-пророка будто столп
Твоя златорубинна шея,
И твой обширный белый лоб
Сияет, как у Моисея.

И перси тучные твои —
Как серны на горах младые...
Внемли, внемли мольбы мои,
Вместилище души святыя.

Егда б узрех красы твои,
Узрех, лепá еси колико,
Воспех бы гимни ти свои
И сам священнейший владыко!

Аз убо ныне тя молю:
О, еже ми любовь творити,
Да впредь я боле не скорблю,
А сице не останусь жити.

Но аще ты откажешь в том —
Во все нечестия впущуся,
И аще не отмщу ти злом —
В онь час сам с смертью съединюся.

1802(?)

239. ЗЯБЛИК

Зяблик, летая,
Вольность хвалил;
Чижичек в клетке
Слушал его.

«Милая вольность! —
Зяблик сказал. —

Ты мне дороже
В свете всего!

Там я летаю,
Где захочу;
Нет мне преграды
Вечно нигде.

В роще, долине,
В темном лесу,
Лишь пожелаю,
Быть я могу.

Здесь я с подружкой
Милой резвлюсь,
Там, с нею сидя,
Песни пою.

Всё мне к веселью
Служит везде,
Всё мое счастье,
Вольность, в тебе!

Чижичек! полно
В клетке сидеть,
Станем со мною
Вместе летать!»

Только лишь зяблик
Речь окончал,
Видит мой зяблик —
Коршун летит.

«Где мне укрыться?..» —
Чуть он успел
В страхе ужасном
Только сказать,

Коршун стрелою
Вмиг налетел,

Вмиг вольнодумца
В когти схватил.

Чижичек вздрогнул,
Сел в уголок
И потихоньку
Так говорил:

«Мне здесь и в клетке
Жить хорошо,
Только б хозяин
Добренький был».

⟨1802⟩

240. НА КОНЧИНУ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНА

Дивиться ль, смерть, твоей нам злобе?
Ты не жалеешь никого;
Ты вздумала — и Пнин во гробе,
И мы не зрим уже его!

Но тщетно ты его сразила:
Он будет жить в сердцах друзей!
Ничто твоя над теми сила,
Любим кто в жизни был своей.

В сем мире всё превратно, тленно
И всё к ничтожеству идет;
Лишь имя добрых незабвенно:
Оно из века в век пройдет!

Друзья! мы друга не забудем
В отмщение тиранке злой,
Мы помнить вечно, вечно будем,
Как Пнин пленял своей душой!

Как он приятной остротою
Любезен в обществе бывал
И как с сердечной простотою
Свои нам мысли открывал.

Мы будем помнить, что старался
Он просвещенье ускорить [1]
И что нимало не боялся
В твореньях правду говорить.

Мы будем помнить — и слезами
Его могилу окропим
И истинными похвалами
В потомство память предадим...

Блажен, кто в жизни сей умеет
Привлечь к себе любовь сердец!
Блажен! — надежду он имеет
Обресть бессмертия венец!

17 сентября 1805

241. УЯЗВЛЕННЫЙ КУПИДОН

Феокритова идиллия

Однажды Купидона
Ужалила пчела
За то, что покушался
Из улья мед унесть.
Малютка испугался,
Что пальчик весь распух;
Он землю бьет с досады
И к матери бежит.
«Ах! маменька! взгляните, —
В слезах он говорит, —
Как маленькая, злая
Крылатая змея
Мне палец укусила!
Я, право, чуть стерпел».

---

[1] Его сочинения: «Вопль невинности, отвергаемой законом», «Опыт о просвещении относительно до России» и неоконченное «О возбуждении патриотизма», «С.-Петербургский вестник», изданный им в 1798 году, и многие стихотворения заслуживают уважение как любителей словесности, так и любителей философии. — См. изданный в 1805 году г. Брусиловым «Журнал российской словесности», № 10.

Венера, улыбнувшись,
Такой дала ответ:
«Амур! ты сам походишь
На дерзкую пчелу:
Хоть мал, но производишь
Ужасную ты боль».

⟨*1806*⟩

242. К ТАНИРЕ

Элегия

Танира милая! расстался я с тобою!
В ужасной горести, с мучительной тоскою
Смотрю я на сии, мне чуждые места;
Скитаюсь в них один, как бедный сирота.
Проходит целый день в стенаниях напрасных;
Иду рассеять грусть, и грусть всегда со мной!
О друг моей души! я счастлив лишь с тобой,
С тобой спокойствие и радость обретаю!
Теперь об них, теперь совсем и не мечтаю;
И что приятного тоска произведет?
Одно печальное на мысль ко мне идет.
Вчера испуган был я страшною мечтою:
Ты мне представилась отчаянно больною...
И бледность на челе, и смерть уже в глазах!
Малютки близ тебя, недвижимы, в слезах,
Взирали на твое ужасное страданье,
Касались рук твоих, и жалость и терзанье
Одним безмолвием старались изъявить...
И ты их не могла, мой друг, благословить!
Я слышал голос твой пронзительной, унылой...
Казалось мне, что ты уже с последней силой
«Прости» сказала мне... Я вздрогнул и вскричал,
Хотел бежать, хотел, но сил не обретал.
О друг мой! не ропщи, что стал я малодушен!
Ты знаешь, я бывал всегда судьбе послушен,
Ее жестокости с терпением сносил,
Я чувствовал в себе еще довольно сил
И впредь без ропота быть властным над собою;
Но мыслил ли когда расстаться я с тобою?

Одно отчаянье теперь владеет мной.
О вы, которые разлуки сей виной!
Вы смерти моея безвременной хотите!
Скорей с Танирою меня соедините!
Тогда мы счастие и радости найдем,
В могилу вместе мы с улыбкою сойдем!

⟨1816⟩

А. П. БЕНИЦКИЙ

Литературное поприще Александра Петровича Беницкого (1780—1809) было кратким. Он родился в небогатой дворянской семье, воспитание получил в известном в Москве частном пансионе университетского профессора Шадена, в котором когда-то учился Карамзин, и вынес из него основательное знание иностранных языков. Оставив пансион, он вступил унтер-офицером в гусарский полк. В 1803 году, получив первый же офицерский чин, он вышел в отставку, а в декабре 1804 года определился на гражданскую службу в Комиссию составления законов, где сблизился с группой свободолюбиво настроенных литераторов. В марте 1805 года появилось первое печатное произведение Беницкого — стихотворение «Гробница друга». В это же время он сближается с И. И. Мартыновым, в журнале которого «Северный вестник» делается постоянным сотрудником. Сближение его с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств приводит к принятию Беницкого сперва в корреспонденты (1806 год), а через год — в действительные члены Общества. Показательно, что, имея уже значительное число опубликованных сочинений, для вступления в Общество Беницкий представил неопубликованный перевод трагедии Лессинга «Филотас», который никогда, видимо по цензурным обстоятельствам, в печати на русском языке не смог появиться.[1] Вся трагедия — пламенный призыв к гражданственному служению, апология героической гибели, в частности героического самоубийства — антитезы рабскому терпению. Тема эта была особенно острой в кругу литераторов, близких Радищеву и еще недавно отмечавших его гибель.

О том, что тема эта не была для Беницкого случайной, свидетельствует опубликованный им в «Цветнике» драматический отрывок

---

[1] Хранится в архиве Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (рукописное собрание Научной библиотеки Ленинградского университета).

«Грангул» — прозаический монолог пленного ирокезца, готовящегося умереть в пытках на костре, но не склониться перед врагом. Произведение это, видимо, послужило источником для «Песни пленного ирокезца» Полежаева.

Можно полагать, что друзья, знавшие Беницкого не только по журнальным публикациям, но и по произведениям, не предназначенным для печати (о существовании таковых имеются свидетельства, однако в настоящее время они, видимо, безвозвратно утрачены), и по беседам в дружеском кругу, видели перед собой гораздо более радикального мыслителя, чем историки литературы, ограниченные тесным кругом прошедших через цензуру сочинений. Хорошо знавший Беницкого Батюшков, собираясь писать историю русской литературы, отводил ему место в одной статье рядом с Радищевым и Пниным.

Однако если политические эмоции Беницкого были пламенными и бунтарскими, его воззрения, оформленные в программу, видимо, не выходили за пределы той умеренно-прогрессивной системы убеждений, которая была характерна для ядра Вольного общества. Именно они определили редакционную позицию журнала «Цветник», который Беницкий стал издавать в содружестве с А. Измайловым в 1809 году.

Беницкий обладал способностью сплачивать вокруг себя молодых, активных литераторов. «Цветник» в короткий срок стал настоящим центром молодой литературы: в нем принимали участие Милонов, Катенин, Гнедич, Никольский, Батюшков и др. Отдел критики журнала, полностью находившийся в ведении Беницкого, современники оценивали особенно высоко.

Литературные воззрения Беницкого сближали его с поэтами гражданского направления преддекабристской поры. Он пропагандировал Шиллера,[1] сочувственно относился к «новому слогу» Карамзина, но требовал дополнить его гражданственностью содержания; в рецензии на первый том собрания сочинений Радищева он весьма сдержанно оценил поэтическое мастерство автора «Бовы», но недвусмысленно намекнул на сочувствие позиции Радищева-прозаика.

Ранняя смерть Беницкого, последовавшая от скоротечной чахотки, оборвала его литературный труд. Узнав о смерти Беницкого, Батюшков писал: «Больно жаль Беницкого! Жильберт в нем воскрес и умер. Большие дарования, редкий светлый ум».[2]

---

[1] Возможно, что название издававшегося Беницким альманаха «Талия» подсказано аналогичным шиллеровским. О влиянии Шиллера на Беницкого см.: H.-B. Harder, Schiller in Russland (1789—1814), Berlin — Zürich, 1969.

[2] К. Н. Батюшков, Соч., т. 3, СПб., 1886.

Основные издания сочинений А. П. Беницкого:

Талия, или Собрание разных новых сочинений в стихах и прозе, кн. 1, СПб., 1807.

«Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», «Б-ка поэта» (Б. с.), 1933.

243. ПЕСНЬ ВАКХУ,
ВЗЯТАЯ ИЗ АФИНСКИХ ПИРШЕСТВ

Лейтесь, вина ароматны,
В кубки сребряны, златы,
Обвивайтесь вкруг, приятны,
Свежи, розовы цветы.
Лиру взяв, с Анакреоном
Я хочу гремящим тоном
Вакха юного хвалить:

«Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!»

Вакх веселый любит хоры,
Любит пляски, хоровод,
Истребляет злость, раздоры,
Гонит скуку, тьмы забот, —
В юных радость поселяет,
Старым младость возвращает
И любовью всех живит.

Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!

Пусть герои ищут славы,
На полях врагов разят —
В недрах тишины, забавы
Мы счастливей их стократ.
Мы счастливы — хоть забвенны.
Наши лавры — плющ зеленый,
Наша честь — побольше пить!

Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!

Вакх, мечтой нас забавляя,
Облегчает тем труды
И, надеждою питая,
Учит презирать беды.
Всех равно к себе приемлет,
Всех как братиев объемлет
И блаженство всем дарит.

Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!

Если счастие не служит
И наскучил здешний свет, —
Много тот пускай не тужит,
Дружно с Вакхом заживет.
Он беды свои и горе
Сбросит с плеч, как камень в море.
Вакх златой всем век дарит.

Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!

Вакх жезлом своим волшебным
Усмиряет тигров, львов;
Хором дружеским, веселым
Музы с ним поют любовь.
Он смягчает и морозы,
На снегах сбирает розы,
Чудеса везде творит.

Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!

Вакх — любитель правды строгой,
Он жить правдой учит нас;

Всяк иди своей дорогой
И тверди на всякий час,
Что минуты жизни скоры:
Не успеешь кинуть взоры,
Как всё в вечность улетит.

Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!

Что ж? Какие жертвы славны
Мы ему за всё явим?
Эти рюмки и стаканы
Вмиг до капли осушим!
И наместо драгоценных
Приношений, жертв священных,
Станем, станем ввек гласить:

«Славься, славься, сын Семелы!
Восклицайте все в весельи:
Вакх повсюду да гремит!»

⟨*1805*⟩

244. КОНЧИНА ШИЛЛЕРА

Там увидимся мы опять, или — никогда...
Траг⟨едия⟩ «Разбойники»

Зри! — там звезда лучезарна
В синем эфире,
Светлой протягшись чертою,
Тихо померкла.

Рок то; звезда, путь окончa,
В бездне затмилась:
Смертный великий [1] со славой
В вечность отходит.

---

[1] Человек (полководец или писатель, все равно), достигший в своем намерении совершенства, есть — *великий человек. Шиллер*, в избранном им роде трагедий, показал и достиг последней возможной степени совершенства.

Слышишь? .. — Чу! — стонет медяный
Колокол смерти;
Стонет и своды земные
Бой потрясает.

В мирной ограде покоя
Гений рыдает;
Долу повержен, дымится
Пламенник жизни.

Ветви навислыя ивы
Кроют могилу;
Листвия с шумом колеблют
Ветры пустынны.

Лира поэта при корне
Древа безмолвна,
Острый кинжал Мельпоменин
В прахе сверкает.

Муза печальна, трепеща,
Урну объемлет;
Слезы по бледным ланитам
Градом катятся.

Кто извлекает стенанья
Девы парнасской?
Кто сей, над коим тоскует
Дщерь Мнемозины? ..

Ужасы хладныя смерти,
Как вы коснулись?
Горе! — певец Мельпоменин —
Шиллер — во гробе? ..

Шиллер — пред кем цепенели
Оркуса силы,
Стиксовы воды мутились,
Фурии млели.

Скоро, ах! скоро умолкнет
Звон похоронной;
Камень надгробной истлеет,
Ива завянет.

Где же певец Мельпоменин?
Где его память?
Слава великих — кончина;
Память — творенья.

Гений, как в тверди светило,
Век не мерцая,
Греет, живит, восхищает
Взоры вселенной.

Яркий светильник не скроют
Мраки туманны;
Ночью луна свет приимет:
Узрят в ней солнце.

⟨1805⟩

245. СЧАСТИЕ

«Наставь меня, мудрец, как счастие найти?
Тебе, я думаю, оно известно?»
— Ближайших *три* к нему пути:
Будь подл, но это, знай, и трудно, и бесчестно;
Будь честен, но тогда возненавидит всяк;
Всего же легче: *будь дурак*.

⟨1807⟩

246. ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Когда мерцание серебряной луны
Леса дремучи освещает
И сыплет кроткие лучи на купи́ны,
Когда свой запах разливает
Душиста липа вкруг синеющих лесов
И землю, от жаров унылу,

Свежит дыхание весенних ветерков, —
Тогда, восклоньшись на могилу
Родных моих, друзей, мерцания луны
Я в горести не примечаю
И запах лип не обоняю,
Не слышу ветерков приятныя весны.
Увы! я с милыми расстался,
Все чувства рок во мне несчастьем притупил;
Ах! некогда и я пленялся
Луною в летню ночь, и я дышать любил,
Под свесом липы благовонной,
Прохладным воздухом, — но без друзей и ты,
Природа! вид прияла томной,
И ты утратила свой блеск и красоты.

⟨1809⟩

П. И. ШАЛИКОВ

Петр Иванович Шаликов родился в 1768 году (по другим сведениям, в 1767-м), был сыном небогатого грузинского князя, получил домашнее воспитание, затем служил кавалерийским офицером, участвовал в турецкой и польской войне, в частности во взятии Очакова. Вышел в отставку премьер-майором гусарского полка в 1799 году и поселился в Москве. Первые стихотворения Шаликова появились в 1796 году в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» и в «Аонидах». Тогда же, по-видимому, состоялось знакомство его с И. И. Дмитриевым и Н. М. Карамзиным, которых Шаликов почитал всю жизнь как своих учителей. Литературную известность принесли Шаликову два томика изящно изданных книжек «Плоды свободных чувствований» и продолжение их — «Цветы граций», в которых сентиментальные прозаические миниатюры перемежались с чувствительными стихами, — все это было вполне на уровне своего времени, хотя и не обнаруживало в авторе особенного таланта или оригинальности. Насмешки, которым стал подвергаться Шаликов с начала своего творчества и которые сопровождали его потом всю жизнь, только отчасти были связаны непосредственно с его литературными трудами, — гораздо бо́льшую роль сыграли здесь личные качества Шаликова и принадлежность его к осмеиваемому направлению (сентиментализму), в котором он, как малоталантливый человек, представлял собой весьма удобную мишень для нападений противников.

Наделенный характерной внешностью (худощавый, с большим носом, черными бакенбардами, в зеленых очках), Шаликов подчеркивал свою оригинальность эксцентричностью одежды, витиеватой речью и неестественной манерой держаться — он все время разыгрывал роль

«вдохновенного поэта». Кроме того, он обладал самолюбивым, раздражительным и отнюдь не добрым характером, чем и наживал себе множество врагов, был, по свидетельству П. А. Вяземского, «вызываем на поединки» и навлекал на себя злые эпиграммы. [1]

В творчестве своем — и в прозе, и в стихах — Шаликов старался подражать Карамзину. Карамзин, как известно, всю жизнь покровительствовал Шаликову, находил в нем «что-то тепленькое», называл «добрым» и защищал от насмешек И. И. Дмитриева. [2] И. И. Дмитриев, хотя и написал известную пародию на Шаликова, [3] поддержал в 1806 году его первый журнал «Московский зритель», который просуществовал всего год. В 1808 году Шаликов снова принялся за журнал, назвав его «Аглая» и подчеркнув тем самым преемственность от известного альманаха Карамзина. Кроме самого издателя в нем участвовали Ф. Глинка, А. А. Волков, М. Н. Макаров, И. М. Долгоруков, А. Ф. Мерзляков, В. В. Измайлов, В. Л. Пушкин и др. Литературная позиция Шаликова в 1808—1812 годы была достаточно определенной: он горячий защитник Карамзина и активный противник «старого слога». О его методах борьбы П. И. Голенищев-Кутузов писал графу А. К. Разумовскому 4 декабря 1811 года: «Некто князь Шаликов здесь на нашего Каченовского за критики на слезливцев письменно угрожает Каченовского прибить до полусмерти, почему бедный Каченовский принужден был просить защиты у полиции... Князь Шаликов, как всей публике здесь известно, есть человек буйный, необузданный, без правил и без нравственности». [4]

Во время кампании 1812 года Шаликов, как свидетельствуют современники, по недостатку средств не смог выехать из Москвы. Будучи очевидцем событий, он написал и издал в 1813 году брошюру «Историческое известие о пребывании в Москве французов». После окончания войны, по протекции И. И. Дмитриева, он получил место редактора «Московских ведомостей», а в 1823 году начал издание двухнедельного «Дамского журнала». В годы «Дамского журнала» Шаликов сам писал немного. Он продолжал свои «Мысли, характеры и портреты» в прозе, начало которым было положено отдельным изда-

---

[1] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., СПб., 1878—1896, т. 7, с. 172.

[2] М. А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти, изд. 2, М., 1869, с. 96—99.

[3] См.: И. И. Дмитриев, Полн. собр. стих., «Б-ка поэта» (Б. с.), 1967, с. 347.

[4] А. А. Васильчиков, Семейство Разумовских, СПб., 1880—1894, т. 2, с. 369.

нием еще в 1815 году, и сочинял стихи на разные случаи: от торжественных царских праздников до именин и крестин у своих приятелей. Действительное место Шаликова в истории русской словесности отнюдь не должно определяться лишь тем, что современники сделали его мишенью своих сатирических стрел. Князь П. И. Шаликов был профессиональным литератором и журналистом, и хотя он не обладал большим поэтическим дарованием (что отлично понимал и сам), написанное им читалось, обсуждалось, а в некоторых кругах, несомненно, пользовалось даже успехом. Характерно, что А. С. Пушкин, неоднократно смеявшийся над шаликовской чувствительностью в сатирических стихах и дружеской переписке, иногда отзывался о нем как о поэте совсем не враждебно. Так, в первом издании «Разговора книгопродавца с поэтом» (1825) поэт, отказываясь петь для «женских сердец», отвечает книгопродавцу:

Пускай их Шаликов поет,
Любезный баловень природы.

В письме к Вяземскому Пушкин сам комментировал этот стих как «мадригал кн. Шаликову» и прибавлял при этом: «Он милый поэт, человек достойный уважения... и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятна». [1]

Шаликов относился к Пушкину с неизменным благоговением. В «Дамском журнале» помещено немало стихотворений, обращенных к автору «Евгения Онегина» и «Полтавы». Личное знакомство Пушкина и Шаликова могло произойти в 1827 году в доме В. Л. Пушкина, где Шаликов бывал очень часто. Встречались они, очевидно, в 1829 году в доме Ушаковых. Сохранилось письмо Шаликова к Пушкину от мая 1836 года, где Шаликов благодарит Пушкина за визит [2] и предлагает свои стихи о Карамзине для «Современника». Эти стихи напечатаны не были, но в шестом томе, вышедшем уже после смерти Пушкина (кн. 2 за 1837 год), появились стихи Шаликова «К И. И. Дмитриеву».

Умер Шаликов в 1852 году в своей маленькой деревеньке Серпуховского уезда, глубоким стариком, едва ли не последним из представителей русского сентиментализма.

---

[1] А. С. Пушкин, Полн, собр. соч., т. 10, 1958, с. 125.
[2] См.: «Литературное наследство», кн. 16—18, М., 1934, с. 602.

Основные издания сочинений П. И. Шаликова:

Плод свободных чувствований, чч. 1—3, М., 1798—1799.
Цветы граций, М., 1802.
Послания в стихах князя Шаликова, М., 1816.
Повести князя Шаликова, М., 1819.
Сочинения князя Шаликова, чч. 1—2, М., 1819.
Последняя жертва музам, М., 1822.

247. ВЕЧЕРНЕЕ ЧУВСТВО

В глубокой тишине природа вся дремала,
Когда за горы Феб скрыл луч последний свой;
Луна медлительно вид томный появляла
И будто бы делить хотела грусть со мной!
Прошедшее тогда вдруг мыслям всё предстало,
И чувства сладкие унылость обняла;
Как листья на древах — так сердце трепетало;
Душа растрогана, утомлена была...
Все жизни случаи в уме изобразились,
И каждый чувствие иное порождал;
И капли нежных слез на грудь мою катились,
Приятнейший их ток жар в сердце прохлаждал...
«Где вы, — воскликнул я, — минуты те счастливы,
Когда я дружества сладчайший нéктар пил?..
Уж жатва два разá обогащала нивы,
А рок жестокий вас ко мне не возвратил!
Луна! ты одного теперь меня находишь —
Без друга!.. Одного — лишь с грустию моей!
Ты прежни вечера на мысль мою приводишь
И нудишь слезы течь рекою из очей!..
Без дружбы, без любви — что лестного на свете?
Ужасная в душе и сердце пустота!
Другого для меня нет счастия в предмете:
Любить... любимым быть... а прочее... мечта!!!»

⟨*1796*⟩

248. РОЩА

Опять в твоих прохладных тенях,
О роща милая моя!
На мягких дёрновых постелях
Пришел вкусить спокойство я
И тихо жалобы сердечны
Твоей глубокой тишине
Вверять опять! Ах! слезы вечны
Судьбой назначено лить мне!
Твое печальное, уныло,
О роща! время протекло,
Весны дыханье оживило
Тебя — и в радость облекло.
Уж ты красуешься цветами,
Журчащими меж них ручьями
И зеленью пленяешь взор;
Уже гремит пернатых хор
В кудрявых лип твоих вершинах,
На древних вязах и осинах;
Уж ты зовешь меня к себе...
Ах! я пришел — пришел к тебе;
Но с тою ж грустию, тоскою,
В которой видела меня
Ты прошлою, мой друг, весною,
Своим мне эхом состеня!
Мой рок, увы! не пременился —
Печали те же сердце рвут;
Веселья луч в душе затмился,
И дни во мгле мои текут!..
Стени ж опять, стени со мною,
О роща, мой безмолвный друг!
Растерзанный судьбы рукою,
В тебе лишь успокою дух!

⟨1797⟩

249. К СОСЕДУ

Наш Пиндар громкими стихами
Воспел соседа своего
И вместе с пышными пирами,
С богатством, роскошью его

Своей поэзии небесной
Богатство, роскошь съединил!..
О дар божественный, чудесный!
Кто в дань тебе не приносил,
Твоим огнем воспламененный,
Живых восторгов, нежных слез!
Но петь тебя, сосед почтенный!..
Я не Державин; ты — не Крез!
Не Крез!.. Хвала судьбе! и смело
Цевницу скромную мою
Снимаю со стены, — пою.
Ни лесть, сердец порочных дело,
Ни выспренность надутых слов,
Поэтов вывеска холодных,
Не *распестрят* моих стихов,
Всегда простых, всегда свободных!

Вертепов мраморных, златых,
Шатров персидских дорогих,
Огромных груд китайской глины
И альбионского стекла
Капризная рука судьбины
Тебе, сосед мой, не дала!
Не слышны музыка и хоры,
Когда сидишь ты за столом;
Прелестных дев не видят взоры.
С шампанским, мозельским вином
В укромном домике, опрятном
Ведешь беспечно мирны дни,
И в обществе твоем приятном
Бывают лишь друзья одни.
Ты любишь с ними посмеяться,
Но не *сардонским смехом* [1], — нет:
Им шумный одержим лишь свет! —
А тем, которым забавляться
Подчас желает и мудрец, —
Аттическим, всегда любезным,
Всегда отрадным и полезным
Для добрых, пламенных сердец.
Ах! часто шуткой остроумной

---

[1] То есть принужденным.

Как чародействия жезлом,
Наш рок тяжелый, мрачный, скудный
Предстанет с ясным вдруг челом!
Так бочку *Диоген* катая,
Себя счастливцем почитая,
Быть *Александром* не хотел —
Затем что ввек шутить умел!

Но *шутки в сторону*, и музы —
Краса мятежной жизни сей,
С которыми так сладки узы! —
Займут собой твоих друзей.
Бессмертны гениев творенья
Для сердца, разума и зренья,
Под кровом храмины твоей,
Несут отвсюду дань бесценну!..
О музы! счастье и вселенну
Я с вами позабыть готов!..
Потом дойдет и до стихов:
Свои *пословицы* читаешь,
Посланья, были — легкий плод
Ума, фантазий!.. Ты сбираешь
Его без *авторских* забот,
А так — резвясь; и метроманом,
Ушей безжалостным тираном,
Ни из чего не можешь быть;
Не можешь... ближнего морить.
Один не можешь за обедом,
Как Мид, над блюдами зевать;
Но рад с гостями и *соседом*
По-философски пировать.
Час лишний просидеть — для спора
(В который век не входит ссора,
Дочь винных, бедственных паров!)
О том, кто лучше пишет оды,
Круглит искусно перио́ды
И ведает всю тайну слов.
А иногда твои родные,[1]
Подруги граций, аонид,
В беседе тут же. Их простые

[1] Племянницы.

Манеры, ласки, скромный вид
На чувства дани налагают,
Умы, сердца одушевляют,
И каждый в обществе — поэт.
За круглым столиком в *боскете,*
В твоем ученом кабинете,
Откуда изгнан *этикет,*
Усевшись, мысли обращаем
К тому, что лучшим для людей
Блаженством в жизни почитаем;
О чем мудрец с клюкой своей,
И царь в блистательной порфире,
И нищий в рубище — все в мире
Мечтают, спорят, говорят;
Чего все смертные желают;
Чем все сердца в груди горят;
Чему подчас цены не знают,
Но с чем и радость и печаль —
Одна гораздо нам сноснее,
Другая во сто раз милее, —
И с чем расстаться очень жаль!..
Любовь!.. любовь, душа вселенной,
Посланница благих небес
В юдоли скорбной, треволненной,
Для осушенья горьких слез!..
О сей богине рассуждаем;
Ее все свойства раздробляем
И признаемся наконец,
Что человек приемлет с кровью
Потребность жить, дышать любовью —
Единым счастием сердец!..
Алина! сколько раз с тобою
Я то же, друг мой, говорил!
Ах! если б и навек судьбою
Я разлучен с Алиной был,
Но, быв любимым страстно ею,
Прельщался б участью моею!..

Мечтам поклон отдавши свой,
Сосед! ты *истиной* доволен;
Живешь в ладу с самим собой.
Твое богатство — ум, познанья;

Сокровища — любезность, честь.
Безумны обуздав желанья,
Желаешь лишь того, что *есть*,
И рад свою ты долю славить!
Позволь соседу к ней прибавить
Один усерднейший обет:
Чтоб ты был *вечно* мне сосед!

⟨*1808*⟩

250. ВЕСНА

Еще пою тебе, дочь милая Природы!
И как твоих красот и благости не петь
Тому, кто друг полей, друг тишины, свободы?
Ах! как бы я желал небесный дар иметь
Делилев, Томсонов! Что Креза все стяжанья
С его холодною, бесчувственной душой!
За алчность к золоту всю муку наказанья
Он терпит с Танталом! Проводит в кладовой —
В святилище его постыдного кумира —
И день и ночь — и что ж? Ни дня, ни ночи нет
Счастливых для него! Ему пустыня свет,
Немилы прелести ликующего мира
И люди все враги! Он сам себе позор;
Он всюду сирота! .. Ужасная картина,
Ужасная судьба! .. Я отвращаю взор —
И вижу: там в цветах зеленая долина;
Там пурпур запада верхи рисует гор;
Там Цинтия взошла над синими лесами
И смотрится в кристалл журчащего ручья,
Который у меня течет перед глазами, —
И гимн в душе моей! .. Но пенье соловья
Мой ум и чувства развлекает
И гимн достойнейший Природе воссылает!
Внимаю: трель гремит; вдруг слышен ровный тон;
Переменяется — и страсти все движенья:
Надежда, радости, отчаянье и стон —
Лиют мне в грудь рекой всю сладость восхищенья
И горечь всю тоски; пылает, стынет кровь, —
Вот действие твое, весна! твое, любовь!

Орфей лесов свою ждет к сердцу Эвридику.
Ах! он счастливее фракийского певца:
Природа съединит два страстные сердца;
Любовь не тронула подземного владыку!

Как мирно вкруг меня, и как душа моя
С вечерней роскошью, восседшею на троне —
Который всюду ей, весна, рука твоя
Поставила младой природы в нежном лоне, —
Душа моя парит далёко от сует —
Пороков гибельных и ветреного света!
Уже прошли мои мечтательные лета,
И в людях, в обществе мне больше нужды нет!
Но сердцу милые (имею вас!), придите
И счастье тихое со мною разделите!
Бывает *хорошо* нам в жизни и без вас,
Но с вами *лучше* во сто раз!
Что чувствую теперь, кому я открываю?..
Слова мои зефир разносит по лугам
И может их принесть к холоднейшим сердцам!
В сей мысли посреди веселья унываю!
Любовь к Природе, будь всегда щитом моим
Противу Рока и Фортуны!
Пусть надо мной гремят перуны, —
Спокоен буду я под ним!
И ежели в груди моей ты не увянешь,
Доколе не увяну сам
И не сойду во гроб, — то в жизни по цветам
Всегда водить меня ты станешь!..
Ах, нет! на жизненном пути
Так много терния, что смертным невозможно
Всегда по нем без ран чувствительных идти:
Нам дань сию платить законам Неба должно!
Я невредим — но друг, но ближний мой
Печальны слезы проливает
Или в час грозный, роковой
Глаза навеки закрывает!..
Могу ли счастлив быть один?
Могу... благоговеть пред тайной Провиденья!
Природы-матери смиренный, нежный сын,
Могу еще взирать с улыбкой наслажденья

На пиршество земли, на красоту небес
И в непостижности здесь видимых чудес
Свой жребий постигать там — жизни за пределом...
Там вечная весна для добрых есть уделом!

⟨1809⟩

251. СОСЕДКА

Кого ты арфой тихострунной
И нежным голосом своим,
Близ окон сидя в вечер лунный, —
Кого очарованьем сим
Привлечь... к ногам своим желаешь?
О ком ты думаешь, мечтаешь?
И кто счастливый смертный сей,
Предмет гармонии твоей?..
Кому он внемлет, с кем проводит
Часы минут волшебных сих;
Где счастье, радости находит;
Почто он не у ног твоих?..
Я слышу, кажется, стенанье
И арфы и души твоей —
И струн и сердца трепетанье,
И вижу слезы из очей:
Так быть должно!.. Неблагодарный!
Кого предпочитаешь ей?..
Или жестокий бог, коварный,
Равно коварен и жесток
Для всех... и для соседки милой!..
Ах, нет! со всею властью, силой
Не может он — не может рок
Заставить *ангела* людские
Мученья, горе испытать!
И доля ангелов иные
Надежды, чувствия питать!
Соседка-ангел! ты мечтаешь —
В желаньях тайных и живых —
О том, кого... еще не знаешь;
Или б он был — у ног твоих!

⟨1809⟩

252. К МОЕЙ ХИЖИНЕ

> Бесстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
> Кто в тихом своем углу молчалив таится.
>
> *Кантемир, Сат⟨ира⟩ первая*

Что значат пышные вельмож, царей чертоги,
Где в мрачной гордости, с холодною душей
Простые смертные скрываются, как боги,
От взора, от любви подобных им людей, —
Что значат, говорю, пред хижиной моею?
Ах! как доволен я и как любуюсь ею!
Могу ль завидовать, Фортуны чада, вам?
Прямые радости не вашим, знать, сердцам
Даны Природою, сей матерью благою
Своих покорных чад! Ведомые рукою
И нежностью ее, они ⟨по⟩ миртам в путь
Ко счастью тихому, но верному вступают;
Не золотом душе веселья покупают:
Веселья купленны не прольются в грудь!
Природа даром их повсюду расточает,
Где только чистые сердца она встречает, —
Так наш сказал один любезнейший поэт,
Которому знаком довольно белый свет.
Без счастья сча́стливым, богатым без богатства
Быть предоставлено для Фебова собратства.
И я, по благости созвездья моего,
Или по дерзостной мечте, в числе него!
Богатства, счастия в глаза и я не знаю;
И я, без тысячи неутомимых рук,
На розах, как Лукулл роскошный, отдыхаю,
Покинув сладостны объятия... наук.
Сирены льстивые, волшебницы Армиды,
В объятиях у вас сокрыты Эвмениды!

Не бронза, не фарфор, не мрамор вкруг меня,
Но книги, но портрет, но бюст людей великих.
В немой беседе их не примечаю дня.
А там передо мной горшок гвоздичек диких —
Симво́л невинности — с левкоем дорогим,
Бесценным для меня: когда-то Флора им
Или — что всё одно — Эльвира занималась!

На нем, на нем печать души ее осталась:
Он с каждым днем цветет и в новой красоте
Всегда является глазам моим плененным.
Дивлюсь! Судьба ему велела быть нетленным,
Подобно как моей прелестнейшей мечте
О радостях любви остаться ввек — мечтою!
Но более всего я нахожу с тобою
Забавы чистые, друг сердца моего,
Поверенный всех чувств, движений всех его,
Моя смиренная, как сам, — простая лира!
Ты служишь для души источником утех!
И наконец — о день, счастливейший из всех! —
В счастливой хижине моей была Эльвира!

⟨*1810*⟩

253. К В. Л. ПУШКИНУ

Un orgueil très méprisable, un lâche intérêt plus méprisable encore, sont les sources de toutes ces critiques dont nous sommes inondés.

Voltaire[1]

Защитник истины, таланта и ума,
О витязь бодрственный на поприще искусства
Пленять сердца красой языка, мысли, чувства!
В посланиях твоих[2] гармония сама —
Гармония стихов — стих каждый составляла
И тщательно свою на каждом оставляла
Блестящую печать, которая для глаз
Варяго-авторов несносней во сто раз,
Чем солнца яркого лучи для птиц Минервы!
Орудием богов, поэзией, ты первый
В словесности раскол ужасный поразил,
И Феб тебе венок с улыбкою вручил.

---

[1] Презренное высокомерие и еще более презренный низкий расчет являются источниками всех критик, затопляющих нас. *Вольтер.* (франц.). — *Ред.*

[2] К В. А. Жуковскому и к Д. В. Дашкову.

Враги изящного — враги добра и Феба!
Так дивно ль, что тебя, любимца своего,
Он избрал защищать дары благие Неба
И был ревнителем успеха твоего?
Почтенный витязь мой! история Пифона —
Есть подвигов твоих! Я вижу Аполлона
В творце посланий: ты цевницей золотой
Свершил, что он своей карательной стрелой!
Но стрелы зависти и злобы не престанут
Свистать на воздухе — противно для ушей,
Без всякого вреда! я знаю. Так Борей
Подует — и цветы весенни не увянут,
Лишь только разольют свой дальше аромат.

Я ныне был в стране, где нравы и климáт
Поэтам милую страну напоминают
И душу сладкою отрадою питают;
Я был, могу сказать, в *Аркадии* другой [1]
И чувствовал в груди веселье и покой.
Средь мирных жителей, среди долин счастливых,
Далёко от сует, от замыслов кичливых,
От мелких, рабственных, презрительных страстей,
От сих по степени, по титлам великанов,
Но по делам своим пигмеев, не людей,
От сих лжеумников, достоинства тиранов;
В забвеньи горестном о ближнем, о себе
На жизненном пути и чувств и помышлений
Я сердца гимны пел что день моей судьбе;
Что день, мне новые дáры мой добрый гений
Из недр таинственных натуры приносил;
В ее святилище водим я оным был.
Младенцем находясь в познаниях глубоких,
Слепцом в делах Творца премудрых и высоких,
Я верил чувствию душевному — оно,
Сей гений мой, меня учило, просвещало:

[1] В Крыму.

На что мне бытие разумное дано,
Откуда существа все приняли начало,
Какой иметь должны они и я конец,
Какие для детей *там* участи готовит
Великий в правоте и милостях Отец,
Почто *здесь* доброго коварный в сети ловит
И добрый не уйдет коварного сетей...
Суди же, не был ли я истинно, сердечно
Счастливым смертным? Ах! но счастье скоротечно,
Не может вечным быть уделом наших дней!
Я возвращаюся под кров мой безызвестный,
В столицу гордую, и посох мой кладу;
Из области наук вестей приятных жду,
Заране веселюсь... И что же? повсеместный
Я слышу авторов ужаснейший раздор!
Возможно ли? предмет, полезнейший для света,
Для чувства, для ума, предмет есть ныне ссор!
Писатель и поэт — писателя, поэта
Гонитель, жаждущий погибели ему!..
Я лучше предпочту невежд безвредну тьму
Такому ложному познанью, просвещенью;
Такому мнимому таланту, поученью
Надменнейших умов!.. Сокройтесь от меня,
Словесники! [1] Я вас, я ваших слов бумажных,
Враждою дышащих, страшуся как огня
И как направленных на грудь ударов шпажных!
Винюсь, что я готов возненавидеть вас!
Бегите от моих, славяноманы, глаз!..
И торжествуйте: я с словесностью прощаюсь!..
С словесностью. А муз достойные друзья?
Неужели прощусь и с вами также я?
Ах, нет! к вам с прежнею любовью возвращаюсь
И пенью вашему, подобно как весной
Внимают соловьям, внимать с восторгом буду;
Что хоры галок есть, я даже позабуду
При ваших голосах!.. Любезный Пушкин, пой!

⟨1812⟩

---

[1] Так некоторые переводят слово литератор (!!), если не ошибаюсь.

254. НАШИ СТИХОТВОРЦЫ

Ты хочешь, требуешь, мой друг,
Чтоб я тебя привел поэтов наших в круг
Или творений их в картинну галерею.
Изволь — ослушаться не смею.
Итак, войдем. Смотри на этот басен ряд —
Везде их главное достоинство наряд:
Как прост, как чист, с каким невидимым искусством
На *первых* с головы до ног!
Не кажется ль, что сам трудился вкуса бог
При туалете их: что всё в нем дышит чувством,
Рассудком, скромностью, невинностью, умом?..
Не представляешь ли себе, мой друг, весталок?
А имя автора? — Прочти, и взглянь потом
На басни ж; сих наряд — наряд провинциалок:
С прекрасной шалью, дорогой,
С богатым кружевом, цвет платья иль покрой
Отменно странен, неприятен!
Как будто бы для них закон был непонятен
Того, что знатоки эстетикой зовут!
Кто сочинитель? — Двух увидишь имя тут.
Посмотрим далее: вот басни щеголихи!
Одеты ловко так, так гладко, как франтихи, —
Но что ж?
Костюм их, несмотря на пышность, мил, пригож.
Вот подпись автора! Теперь прошу скорее
На притчи бросить взгляд.
Скажи, мой друг, каков наряд? —
Ох! неопрятнее, древнее
И безобразнее ничто не может быть!
Не станем же при них и времени губить.
А если имя знать ты их творца желаешь —
В шести строках его титýла начитаешь.
Прочел? Пойдем вперед. Вот здесь
На разные предметы оды.
«Какая, — восклицаешь, — смесь!
Какое множество! и больше всё уроды».
На лучшие, мой друг, вниманье обрати;
Их мало — но зато какие краски, тени!
Какая кисть и дух! И можно ли найти
Им равные? Писал их гений!

Вот имя — прочитай. Другое же под сим
Названьем — то есть од — названьем
громогласным —
Сумбур, галиматья! Поклон отдавши им —
Таланта мнимого творениям несчастным, —
Посмотрим на сие собранье эпиграмм,
Сатир и песен. Всё еще так свежи, новы,
В цветущем образе являются глазам!
Но снимем легкие покровы
И всмотримся красот в блестящие черты:
Конечно, красоты!
Но сколь опасные!.. Под солью, остротою
Напрасно будешь ты искать, мой друг, того,
Что в *юной* красоте милее нам всего:
Чувствительность души с сердечной добротою,
Которых *вовсе* нет (как жаль!) в твореньях сих.
Вот имя автора (как жаль!) *младого* их,
Но вот другой — еще моложе,
И пишет, выключив *сатиры,* в роде том же,
Но сколь различен их моральный характéр!
Он виден в *авторе,* подобно как в *портрете.*
И новый этого пред нами здесь пример:
В последнем сем поэте
Нет с первым сходного по *нравам* ничего,
Хоть по *стихам* совместник он его.
Еще любезный вот поэт: его посланья
Достойны взора граций, муз!
Ума с шутливостью им нравится союз:
Я вижу в нем печать прямого дарованья!
Прилежно рассмотри его неложный блеск...
Я слышу рук твоих при каждом слове плеск —
И не дивлюсь тому. — Но время удалиться
Из галереи сей [1] и взять уже покой.
Захочешь — и сюда мы можем возвратиться:
Поэмы, драмы нас займут еще собой,
И всё, что только там ни встретят наши взгляды, —
От мадригала до баллады.
Но мы особенно вниманье посвятим

---

[1] Надобно знать, что приехавший ко мне из-за моря старинный приятель желал видеть творения нынешних поэтов, а прежде бывших ему довольно известны.

Стихотворениям прелестным,
Доселе нашему Парнасу неизвестным,
Которые огнем божественным своим
В грудь умиление с восторгом проливают
И слезы нежные из сердца извлекают...
Полюбишь *идеал изящного* душой,
И скажешь: вот поэт, природы друг — и мой!

⟨*1812*⟩

255. К ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ДМИТРИЕВУ
НА НОВОСЕЛЬЕ

Вхожу в твой новый дом с пустыми я руками,
Но с полным сердцем и душой
Желаний искренних, чтоб твердо небесами
Хранимы были ввек здоровье и покой
Хозяина под кровом мирным,
Чтоб украшался он
Любовью, дружбою; чтоб музы, Аполлон
Вновь поселилися с тобой и звуком лирным
Манили бы со всех сторон
К тебе по-прежнему своих питомцев милых;
Чтоб с ними и с самим собой
Не ведал ты отнюдь дней пасмурных, унылых;
Чтоб, словом, был своей доволен ты судьбой
И наконец свершил столь общее желанье,
Приятное для всех исполнил обещанье,
Которым некогда польстив нам, изменил!..
Но я как гражданин нимало не жалею
И выгодам царя, отечества радею:
Отечеству, царю ты с верностью служил!..
Но время, чтобы *наш* ты навсегда уж был.
И я к почтенному, желанному соседу
Нередко буду приходить
Для чувства и ума в полезную беседу
И пищу в ней душе и мыслям находить.
Учиться никогда не поздно!
Вся наша жизнь не что, как школа, где судьбы
Взор обращен на нас то с ласкою, то грозно,
И всякий день берем ее уроки мы.
Я буду для себя другие брать уроки

В сообществе твоем. Там верный, тонкий вкус,
Идеи и слова игривы и высоки —
Хотя последние не кончатся на *ус*, —
Для прозы и стихов мне будут вновь компа́сом,
Который вел меня чрез бездны по волнам
К незримым мной еще странам,
Когда на челноке сближался я с Парнасом,
Когда под веяньем прелестнейших надежд
Стремился ко брегам цветущим Иппокрены,
Не думая о том, что гордых злость невежд
Откроет предо мной прискорбнейшие сцены,
Что вместо критики найду я только брань —
Ума заблудшего корысти низку дань —
И вместо шуток благородных
Пасквили плоские в стихах, *певцам* несродных!
В твоем кругу таких *творений* никогда
Я видеть, к счастию, не буду
И, может статься, навсегда
О них, как о ночных фантомах, позабуду,
Но в сфере истинных талантов ощущать
Начну их действие благое,
И дух мой ими насыщать,
И чувствовать свое существованье вдвое;
Тибулл и Лафонтен,
Попеременно дар восторга сообщая,
Мне приведут на мысль век славных тех времен,
Когда пленила свет их лира золотая.
Один приятный день дороже, чем весь год,
И смех — сокровище скучавшим жизни драмой!
Нередко остротой, забавной эпиграммой
Развеселюсь — хотя б на собственный свой счет.
И кто из нас в себе смешного не имеет?
Кто совершенствами со всех сторон владеет?
«Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно», —
Умнейшим сказано поэтом,
Врагом сатиры злой, — и я согласен в этом;
Но в самолюбии нас должны пощадить, —
Для стрел аттических искусным греком быть!
Но наши грубые, без вкуса *силлографы*
Не следуют тебе, — и всё для них предмет

Насмешек площадных: Гомеры, Стерны, Сафы —
Спасенья никому и в царстве мертвых нет!

В саду твоем с тобой я буду Эпикуром,
По наслаждению роскошному души;
Приду подчас гулять с женою и Амуром...
Все будут для меня минуты хороши
В твоей обители прекрасной!
Но все их описать — труд был бы мой напрасный:
Он выше сил моих!
Другие скажут *всё* тебе в стихах своих,
И лучше моего: поэта новоселье —
Муз праздник, пиршество, веселье!

⟨1815⟩

256. К АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ
НА ЕГО ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТЬ ЖЕНЩИНЕ

Так утомленный сибарит
Весельем, негою, пирами,
На розах лежа, говорит:
«Нет, полно! расстаюсь я с вами,
Веселье, нега и пиры!
Простой природы вас милее
Простые тихие дары!
Они полезнее, прочнее,
Они...» Но голос вдруг сирен
На благовонные куренья
Вновь мудреца влекут во плен
Пиров, и неги, и веселья!
И наш любезный сибарит
Талантом, чувством, песнопеньем
Лишь только женщин отбранит [1]
Как вдруг невольно, с восхищеньем,
О *ножках* [2] — лучшей красоте
Роскошно-томного Востока,
Своей прелестнейшей мечте —

---

[1] См.: «Евгений Онегин», стран. XVII—XVIII.
[2] Там же, стр. 25, 26, 27, 28.

Воспомянув, в мгновенье ока
У *ножек* с лирою златой!..
И ножка женщины, конечно,
Не хуже головы мужской,
Набитой спесью, чванством вечно
И тем не менее — пустой!
И тем не менее виновен
Бесценный грациям поэт,
Что против их подруг нескромен,
Несправедлив его обет!..
Тебе *одна* из них (быть может)
Неверной стала... горький час!
Но *скольких* же (увы!) из нас
Неукротимо зависть гложет,
Шипящая на гений твой?
И ты не *им*, а *нам* отныне
Желаешь лирою златой
(Подобно как средь змей в пустыне!)
И петь, и нравиться?.. Ах, нет!
И пой, и нравься лишь харитам,
Тобой *пленяемым*, поэт!
И будь подобен *сибаритам*
Вовеки негою стихов!
И олимпийских будут вечно
Они веселием пиров!
Хор *женщин* слышу: «Будут вечно!»

1825

257. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

ГЛАВА ВТОРАЯ

(О романе в стихах должно, по-настоящему,
и говорить не в прозе.
И так мы отваживаемся дать знать
стихами о содержании и достоинстве сей главы)

Мы в первой видели главе
Картину франтов, мод и света —
При пиитической Неве,
Где развился талант поэта,
Как волны раннею весной.
Его нам кисть в главе второй
Совсем иных картину нравов,

Иных характеров и лиц —
От наших вдалеке столиц, —
Иных обычаев, уставов,
С иною жизнию, с иной
Потребностью страстей и счастья,
Рисует верною рукой,
И обе — скажем без пристрастья
И с независимой душой —
Равно прелестны и знакомы,
И *уморительны* подчас,
И *поучительны* для нас;
И пусть другой напишет томы
Сих самых же картин: оне,
Смолчав о красках и огне,
Скажу — полней отнюдь не будут.
Двух глав... в два века не забудут —
Затем что есть всему предел!
Блажен, кто и для *внуков* пел!

1826

258. К И. И. ДМИТРИЕВУ

(ПО СЛУЧАЮ СТИХОВ, НАПЕЧАТАННЫХ В 16-й КНИЖКЕ «МОСКОВСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ» 1837)

Вот слава чистая, как солнце в ясный день,
Вот истинный талант, приманчивый, как радость,
Как взор красавицы, как счастливая младость,
Вот гений-исполин! Певец сокрылся в сень
Спокойства, отдыха на розах неиглистых —
И юноша певец, в движеньях сердца чистых,
Певцу маститому благоговейно дань
Приносит творческих, небесных вдохновений,
Которых яркий свет, как диаманта грань,
Как искры северных ночных воспламенений,
Взыграл на радужном *неблекнущем венце*!
И современники в тебе, в *своем* певце,
Утешены, чело подъемля гордо к Фебу,
И с *Ермаком тебя благодаря* душой,
Вручают снова дни твои благому небу —
Да длит их ток с твоей прекрасною судьбой!

1837

В. Л. ПУШКИН

Василий Львович Пушкин родился в Москве 27 апреля 1770 года в семье богатого помещика. Получив основательное домашнее французское воспитание, он с восемнадцатилетнего возраста выезжал в свет, сочинял французские куплеты и эпиграммы, участвовал в любительских спектаклях, слыл остроумным собеседником. Прослужив несколько лет в Измайловском полку в Петербурге, В. Л. Пушкин вышел в отставку в 1799 году в чине поручика и поселился в Москве, женившись на К. М. Вышеславцевой, с которой, однако, уже в 1802 году начал бракоразводный процесс, закончившийся в 1806 году расторжением этого неудачного брака и наложением на Василия Львовича церковной эпитимии.

Первое печатное стихотворение В. Л. Пушкина появилось (без имени автора) в журнале И. А. Крылова и А. И. Клушина «С.-Петербургский Меркурий» в 1793 году — это было выдержанное в лучших традициях классической сатиры послание «К Камину», обратившее на себя внимание современников. Знакомство с И. И. Дмитриевым резко изменило характер литературного творчества Пушкина. Он отдал должную дань «нежности», песенности, анакреонтике и всю свою жизнь считал Дмитриева своим учителем и другом, глубоко почитая его наравне с Карамзиным.

В 1803—1804 годах В. Л. Пушкин совершил заграничное путешествие. Будучи в Париже, он познакомился с Делилем и другими известными тогда французскими поэтами, а у знаменитого актера Тальма брал уроки декламации. В парижском журнале «Mercure de France» появились переведенные В. Л. Пушкиным четыре русские народные песни, взятые им, очевидно, из «Карманного песенника» И. И. Дмитриева. Из путешествия Пушкин привез не только модный фрак и сверхмодную прическу, что отмечали многие современники, но и отлично подобранную, ценнейшую библиотеку латинских, французских и английских писателей.

Вернувшись в Москву в 1804 году, В. Л. Пушкин продолжал свою литературную деятельность, однако до 1810 года творчество его

вполне заслуживает определения «вялой музы»[1] — за пять лет им написано всего около 20 стихотворений, включая экспромты и эпиграммы. В эти годы крепнут дружеские связи В. Л. Пушкина с И. И. Дмитриевым, В. А. Жуковским, К. Н. Батюшковым. Личная дружба связывала Пушкина с П. И. Шаликовым, в журналах которого он по мере своих сил сотрудничал. Вместе с тем он общался и с Д. И. Хвостовым, который посвятил ему стихи. В 1810 году В. Л. Пушкин был принят в масонскую ложу «Соединенных друзей».[2]

В 1810—1811 годах наступил неожиданный расцвет творчества В. Л. Пушкина: он написал лучшие свои послания «К Жуковскому», «К Дашкову» и сатирическую поэму «Опасный сосед». Все эти произведения были связаны с борьбой карамзинистов со сторонниками А. С. Шишкова. В. Л. Пушкин несколькими остроумными стихами, высмеивающими Шишкова и Шаховского, снискал бо́льшую литературную популярность, чем всеми своими баснями и элегиями. Стихотворения В. Л. Пушкина, и особенно ненапечатанный «Опасный сосед», получили, как показывают письма современников, широкий резонанс, и можно сказать, что В. Л. Пушкин становится едва ли не в первый ряд русских литераторов 1810-х годов.

В 1812 году Пушкин буквально бежал из горящей Москвы без гроша денег и без теплой одежды в Нижний Новгород. Дом, все вещи и драгоценная библиотека погибли в Москве. Однако по натуре своей В. Л. Пушкин не мог долго предаваться унынию — в Нижнем Новгороде, хотя он, по его собственному признанию, «жил в избе»,[3] литературные проблемы волновали его куда больше житейских. После окончания войны Пушкин вернулся в Москву. 1814—1815 годы прошли для В. Л. Пушкина и его друзей в собирании сил для отпора шишковистам-«беседчикам». Из многих источников известно, с какими церемониями, переходящими даже в насмешки, был принят в «Арзамас» В. Л. Пушкин, затем исключен из него, а потом снова восстановлен.[4] Послание к арзамасцам (№ 272) было едва ли не последним из лучших стихотворений В. Л. Пушкина. С прекращением «Ар-

---

[1] См. письмо К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу от 9 мая 1811 г. — К. Н. Батюшков, Соч., СПб., 1885—1886, т. 3, с. 128

[2] См.: «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, с. 136.

[3] Письмо к Вяземскому от 14 декабря 1812 г. — В. Л. Пушкин, Соч., 1893, СПб., с. 149.

[4] См.: П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., СПб., 1878—1896, т. 8, с. 416; Ф. Ф. Вигель, Записки, ч. 5, М., 1892, с. 41; М. А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти, изд. 2, М., 1869, с. 88.

замаса» он снова примолк, сильно страдал подагрой, но продолжал посещать заседания Общества любителей российской словесности, литературные обеды, новые спектакли, пытался вмешаться в литературную полемику 1823 года и написал эпиграмму на Кюхельбекера, но сил для литературной войны у него уже не было. Впрочем, Пушкин даже из своей болезни сумел сделать предмет для легкого полушутливого стихотворства — нет в его стихах ни уныния, ни тоски, ни обреченности, столь модных в 1810—1820-х годах. Мрачные байронические мотивы в русской поэзии середины двадцатых годов неприемлемы для В. Л. Пушкина, хотя он и пытается их понять. Отсюда враждебное отношение ко всему тому, что он назовет «романтизмом»: таинственности, туманности и наигранности чувств, — то есть всему противоположному ясности и искренности поэтического изложения, которые он находил в Вольтере, Расине, Мольере, Парни и Грессе, Маро и Петрарке, не говоря уже о Горации — всегдашнем кумире В. Л. Пушкина. Последние значительные произведения В. Л. Пушкина — его неоконченная поэма «Капитан Храбров» и два послания к А. С. Пушкину, а также прозаические «Замечания о людях и обществе» — проникнуты полемикой с «модным романтизмом» и утверждением себя в этом плане «классиком».

Определенную роль сыграл В. Л. Пушкин в жизни молодого А. С. Пушкина.[1] В произведениях А. С. Пушкина, его письмах и дружеских шаржах содержится много упоминаний, намеков и цитат из стихов В. Л. Пушкина, что свидетельствует о восприятии и усвоении творчества дяди гениальным племянником.

Умер В. Л. Пушкин 20 августа 1830 года. А. С. Пушкин и П. А. Вяземский были его последними собеседниками, с которыми он, уже умирающий, хотел говорить все о той же литературе — статьях Катенина. «Вот что значит умереть честным воином на щите le cri de guerre à la bouche!»[2] — так описал А. С. Пушкин смерть дяди в письме П. А. Плетневу от 9 сентября 1830 года.[3]

Основные издания сочинений В. Л. Пушкина:

Стихотворения, СПб., 1822.

Сочинения, под ред. В. И. Саитова, СПб., 1893.

«Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века», «Б-ка поэта» (Б. с.), 1959, с. 261.

---

[1] См. об этом: Н. К. Пиксанов, Дядя и племянник. — А. С. Пушкин, Собр. соч., т. 5, СПб., 1911, с. I—XVII.

[2] С боевым кличем на устах! (Франц.) — *Ред*

[3] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 10, 1958, с. 306.

259. К КАМИНУ

Honni soit qui mal y pense![1]

Любезный мой Камин, товарищ дорогой,
Как счастлив, весел я, сидя перед тобой!
Я мира суету и гордость забываю,
Когда, мой милый друг, с тобою рассуждаю;
Что в сердце я храню, я знаю то один;
Мне нужды нет, что я не знатный господин;
Мне нужды нет, что я на балах не бываю
И говорить бон-мо[2] на счет других не знаю;
Бо-монда[3] правила не чту я за закон,
И лишь по имени известен мне бостон.
Обедов не ищу, незнаем я, но волен;
О милый мой Камин, как я живу доволен.
Читаю ли я что, иль греюсь, иль пишу,
Свободой, тишиной, спокойствием дышу.
Пусть Глупомотов всем именье расточает
И рослых дураков в гусары наряжает;
Какая нужда мне, что он развратный мот!
Безмозглов пусть спесив. Но что он? Глупый скот,
Который, свой язык природный презирая,
В атласных шлафроках блаженство почитая,
Как кукла рядится, любуется собой,
Мня в плен ловить сердца французской головой.
Он, бюстов накупив и чайных два сервиза,
Желает роль играть парижского маркиза;
А господин маркиз, того коль не забыл,
Шесть месяцев назад здесь вахмистром служил.
Пусть он дурачится! Нет нужды в том нимало:
Здесь много дураков и будет и бывало.
Прыгушкин, например, всё счастье ставит в том,
Что он в больших домах вдруг сделался знаком,
Что прыгать л'екосез, в бостон играть он знает,
Что Адриан его по моде убирает,
Что фраки на него шьет славный здесь Луи
И что с графинями проводит дни свои,

---

[1] Позор тому, кто плохо об этом думает! (Франц.) — *Ред.*
[2] *Bon mot* — остроумное выражение (франц.). — *Ред.*
[3] *Beau monde* — высший свет (франц.). — *Ред.*

Что все они его кузеном называют
И знатные к нему с визитом приезжают.
Но что я говорю? Один ли он таков?
Бедней его сто раз сосед мой Пустяков,
Другим дурачеством Прыгушкину подобен:
Он вздумал, что послом он точно быть способен,
И, чтоб яснее то и лучше доказать,
Изволил кошелек он сзади привязать
И мнит, что тем он стал политик и придворный,
А Пустяков, увы! советник лишь надворный.
Вот как ослеплены бываем часто мы!
И к суете пустой стремятся все умы.
Рассудка здравого и пользы убегаем,
Блаженство ищем там, где гибель мы встречаем.
Гордиться, ползать, льстить, всё в свете продавать —
Вот в чем стараемся мы время провождать!
Неправдою Змеяд достав себе именье,
Желает, чтоб к нему имели все почтенье,
И заставляет тех в своей передней ждать,
Которых может он, к несчастью, угнетать.
Низкопоклонов тут с седою головою,
С наморщенным челом, но с подлою душою,
Увидев Катеньку, сердечно рад тому,
Что ручку целовать она дает ему,
И, низко кланяясь, о том не помышляет,
Что Катенькин отец паркеты натирает.
О чем ни вздумаю, на что ни посмотрю,
Иль подлость, иль порок, иль предрассудки зрю!
Бедняк хотя умен, но презрен, угнетаем,
Скотинин сущий пень, но всеми уважаем,
И, несмотря на все, на Лизе сговорил;
Он женится на ней, хотя ей и немил,
Но нужды нет ему: она собой прелестна,
А скупость матушки ее давно известна;
За ним же, знают все, двенадцать тысяч душ,
Так может ли он быть не бесподобный муж?
Он молод, говорят, и света мало знает,
Но добр, чувствителен и Лизу обожает;
Она с ним счастливо, конечно, проживет.
Несчастна Лизонька, вздыхая, слезы льет
И в женихе своем находит лишь урода.

Ума нам не дают ни знатная порода,
Ни пышность, ни чины, ни каменны дома,
И миллионами нельзя купить ума!
Но злато, может быть, пороки позлащает,
И милой Лизы мать так точно рассуждает.
«Постой, — кричит Плутов, — тебе ль о том судить,
Как в свете должно нам себя вести и жить?
Ты молод, так молчи. Мораль давно я знаю:
Ты с нею гол, как мышь, я — селы покупаю.
Поверь мне, не набьешь стихами кошелька,
И гроша не дадут тебе за Камелька.
Я вздора не пишу, а мой карман исправен;
Не знаем ты никем, я в Петербурге славен.
Ласкают все меня: и графы, и князья».
Плутов, ты всем знаком, о том не спорю я,
Но также нет и в том сумненья никакого,
Что редко льзя найти бездельника такого,
Что всё имение, деревни, славный дом
Пронырством ты достал, Плутов, и воровством.

Довольно — не хочу писать теперь я боле,
И, не завидуя ничьей счастливой доле,
Стараться буду я лишь только честным быть,
Законы почитать, отечеству служить,
Любить моих друзей, любить уединенье —
Вот сердца моего прямое утешенье!

⟨1793⟩

260. К ЛИРЕ

Давно на лире милой,
Давно я не играл;
Скорбящий дух, унылый,
Ее позабывал.
Природа украшалась
Прелестною весной,
Рука ж не прикасалась
До лиры дорогой.
Здоровье, дар бесценный,
Лишен я был тебя

И, грустью отягченный,
Влачил свой век стеня.
Всё веселилось в мире,
Цвели в полях цветы,
А я не пел на лире
Весенней красоты.
Ни ручейков журчанья,
Унылый, не слыхал,
Ни птиц в кустах порханья,
Ни рощей не видал.
Спасенный днесь судьбою
От лютых горьких мук,
Кроплю тебя слезою,
О лира, милый друг!
Сердечно восхищенье
Влечет ее из глаз;
Исчезло огорченье,
Настал отрады час.
Но ах, весна сокрылась!
Желтеют древеса,
И птичка удалилась
В полуденны леса;
Уж бабочка не вьется
С цветочка на цветок,
И с милой расстается
Пастушкой пастушок;
Зефир не веет боле,
Осенний ветр шумит
И томно поневоле
На лире петь велит.
Но к пользе и несчастье
Дает нам рок терпеть;
Когда пройдет ненастье,
Приятней солнце зреть.
Пловец всегда ли в море
Теряет жизнь волной?
Утешься, лира! .. Вскоре
Увижусь я с весной.

⟨1794⟩

261. ПИСЬМО К И. И. Д⟨МИТРИЕВУ⟩

Ты прав, мой милый друг! Все наши стиходеи
Слезливой лирою прославиться хотят;
Все голубки у них к красавицам летят,
Все вьются ласточки, и всё одни затеи;
Все хнычут и ревут, и мысль у всех одна:
То вдруг представится луна
Во бледно-палевой порфире;
То он *один остался в мире* —
Нет милой, нет драгой: она погребена
Под камнем серым, мшистым;
То вдруг под дубом там ветвистым
Сова уныло закричит;
Завоет сильный ветр, любовник побежит,
И слезка на струнах родится.
Тут восклицаний тьма и точек появится.
Нет нужды до того. Он мыслит, что умен
И что пиитом быть на свет произведен;
Что он с Державиным, с тобой равняться может;
Что с зависти к нему и Стерн наш пальцы гложет.
О, плаксы бедные! Жалка мне участь их!
Они совсем того не знают,
Что, где парят орлы, там жу́ки не летают.
Не крючковата мысль творит прекрасным стих,
Но плавность, чистота души и сердца чувство:
Вот стихотворцев в чем прямое есть искусство!
Нам можно подражать, не портя слог других,
Так Геснер подражал Биону,
Так ты, любезный наш певец,
Вслед шествуя Анакреону,
От граций получил венец.
Так хвальну песнь поет наш бард Фелице, богу;
Так милый, нежный К⟨арамз⟩ин
В храм вкуса проложил дорогу;
И так, отечества усердный, верный сын,
На звучной лире нам бряцая,
Херасков брань воспел, Омиру подражая.
О, если б бардов сих я славный дар имел
И всех пленять сердца подобно им умел,
Тогда б прославился своей везде я лирой!
Но я молчу и им не смею подражать;

Живу я с дружбой и с Темирой;
Для них единственно желаю я писать.
Коль милая моя, читая, улыбнется,
Коль нежный друг души похвалит песнь мою,
Когда я пламень мой и дружбу воспою,
То сердце с радости забьется,
То я доволен и блажен:
Коль мил Темире я, то щедро награжден.

⟨1796⟩

262. ВЕЧЕР

Нет боле сил терпеть! Куда ни сунься: споры,
И сплетни, и обман, и глупость, и раздоры!
Вчера, не знаю как, попал в один я дом;
Я проклял жизнь мою. Какой вралей содом!
Хозяин об одной лишь музыке толкует;
Хозяйка хвалится, что славно дочь танцует;
А дочка, поясок под шею подвязав,
Кричит, что прискакал в коляске модной — граф.
Граф входит. Все его с восторгом принимают.
Как мил он, как богат, как знатен, повторяют.
Хозяйка на ушко мне шепчет в тот же час:
«Он в Грушеньку влюблен: он всякий день у нас».
Но граф, о Грушеньке никак не помышляя,
Ветране говорит, ей руку пожимая:
«Какая скука здесь! Какой несносный дом!
Я с этими людьми, божусь, для вас знаком;
Я с вами быть хочу, я видеть вас желаю.
Для вас я всё терплю и глупостям прощаю».
Ветрана счастлива, что граф покорен ей.
Вдруг растворяют дверь и входит Стукодей.
Несносный говорун. О всем уже он знает:
Тот женится, другой супругу оставляет;
Тот проигрался весь, тот по уши в долгах.
Потом судить он стал, к несчастью, о стихах.
По мнению его, Надутов всех пленяет,
А Дмитрев... Карамзин безделки сочиняет;
Державин, например, изрядно бы писал,
Но также, кроме од, не стоит он похвал.
Пропали трагики, исчезла россов слава!

И начал, наконец, твердить нам роль Синава;
Коверкался, кричал — все восхищались им;
Один лишь старичок, смеясь со мной над ним:
«Невежду, — мне сказал, — я вечно извиняю;
Молчу и слушаю, а в спор с ним не вступаю;
Напротив, кажется забавен часто он:
Соврет и думает, что вздор его — закон.
Что наш питает ум, что сердце восхищает,
Безделкою пустой невежда называет.
Нет нужды! Верьте мне: нелепая хула
Писателю венец, поэту похвала».
Я отдохнул. Увы, недолго быть в покое!
Хозяйка подошла. «Теперь нас только трое;
Не можете ли вы четвертым с нами быть
И сесть играть в бостон. Без карт не можно жить.
Кто ими в обществе себя не занимает,
Воспитан дурно тот и скучен всем бывает».
Итак, мы за бостон. А там оркестр шумит;
Тут граф жеманится, и Стукодей кричит;
Змеяда всех бранит, ругает за игрою.
Играю и дрожу, и жду беды с собою.
Хозяйка милая не помнит ничего.
«Где Грушенька? Где граф? Не вижу я его!»
Бостон наш кончился, а в зале уж танцуют.
Как Грушенька, как граф прекрасно вальсируют!
Хозяйка с радости всех обнимает нас.
Змеяда ей твердит: «Ну, матка, в добрый час!
Граф, право, молодец: к концу скорее дело!
На бога положись и по рукам бей смело;
Он знатен и хорош, и с лучшими знаком;
Твой муженек с тобой согласен будет в том».
Ветрана слышит то, смеется и вертится.
К беде моей, тогда идет ко мне, садится
Белиза толстая, рассказчица, швея. [1]
«Ей-богу, — говорит, — вот чудная семья!
Хозяин с флейтою всё время провождает,
Жена преглупая и всем надоедает,
А в Грушеньке, поверь, пути не будет ввек.
Но дело не о том: ты умный человек;
У Скопидомова ты всякий день бываешь;

[1] Сплетница, commère.

Проказы все его и всё о нем ты знаешь:
Не правда ль, что в жене находит он врага
И что она ему поставила рога?
Нахалов часто с ней в театре и воксале;
Вчера он танцевал два польских с ней на бале,
А после он ее в карету посадил;
Несчастный Скопидом беду себе купил;
Бог наградил его прекрасною женою!
Да, полно, сам дурак всем шалостям виною.
Не он один таков: в Москве им счета нет!
Буянов и не глуп, но вздумал в сорок лет
Жениться и франтить, и тем себя прославить,
Чтоб женушку свою тотчас другим оставить;
И подлинно, успел в том модный господин:
С французом барыня уехала в Берлин».
Я слушал и молчал. Текли слова рекою;
Я мог ей отвечать лишь только головою.
Хотел уйти, ушел. Что ж вышло из того?
Дивлюся силе я терпенья моего.
Попал в беседу я, достойную почтенья:
Тут был великий шум, различны были мненья;
Однако из всего понять я спора мог,
Что то произвели котлеты и пирог;
И кончилось всё тем, что у одной Лизеты
И вафли лучшие, и лучшие котлеты.
Но, кстати, стол готов; все кинулись туда,
Покойно думал есть — и тут со мной беда!
Несчастного меня с Вралевым посадили
И милым подлинно соседом наградили!
Не медля, начал он вопросы мне творить:
Кто я таков? Что я? Где я изволю жить?
Потом, о молодых и старых рассуждая:
«Нет, нынче жизнь плоха, — твердил он, воздыхая. —
Всё стало мудрено, нет доброго ни в чем;
Вот я-таки скажу и о сынке моем:
Уж малый в двадцать лет, а книги лишь читает,
Не ищет ни чинов, ни счастья не желает;
Я дочь Рубинова посватал за него;
Любезный мой сынок не хочет и того:
На деньгах, батюшка, никак-де не женюся,
А я жену возьму, когда в нее влюблюся.

Как быть, не знаю, с ним, — и чувствую я то,
Что будет он бедняк, а более ничто.
Вот что произвели проклятые науки!
Не нужно золото — давай Жан-Жака в руки!
Да полно, старые не лучше молодых;
Не много разницы найдешь ты ныне в них.
Нередко и старик, что делает, не знает:
Он хулит молодых и им же потакает.
Князь Милов в пятьдесят и с лишком уже лет
Спроказил так теперь, что весь дивится свет.
Он, будучи богат и дочь одну имея,
Воспитывать ее, как должно, не жалея,
Решился наконец бедняжку погубить:
Майора одного изволь на ней женить!
И что ж он говорит себе во оправданье —
Ты со смеху умрешь — вот всё его желанье:
«Мой зять любезен мне, и скромен, и умен;
Он света пустотой никак не ослеплен;
Советов-де моих он вечно не забудет;
В глубокой старости меня покоить будет.
Не знатен, беден он — я для него богат;
А честность знатности дороже мне стократ!»
Вот, друг сердечный мой, как нынче рассуждают!
И умниками их иные называют!»
Сосед мой тут умолк; в отраду я ему
Сказал, что редкие последуют тому;
Что Миловых князей у нас, конечно, мало;
Что золото копить желанье не пропало;
Что любим мы чины и ленты получать,
Не любим только их заслугой доставать;
Что также здесь не все охотники до чтенья;
Что редкие у нас желают просвещенья;
Не всякий знаниям честь должну воздает
И часто враль, глупец разумником слывет;
Достоинств лаврами у нас не украшают;
Здесь любят плясунов — ученых презирают.
Тут ужин кончился — и я домой тотчас.
О хижина моя, приятней ты сто раз
Всех модных ужинов, концертов всех и балов,
Где часто видим мы безумцев и нахалов!
В тебе насмешек злых, в тебе злословья нет:
В тебе спокойствие и тишина живет;

В тебе и разум мой, и дух всегда свободен.
Утехи мне дарить свет модный не способен,
И для того теперь навек прощаюсь с ним:
Фортуны не найду я с сердцем в нем моим.

⟨*1798*⟩

263. К ЛЮБИМЦАМ МУЗ [1]

Подражание Горацию

Белеют от снегов угрюмых гор вершины;
Везде туман и мрак, покрыты реки льдом;
            Унылы рощи и долины;
Где кубок золотой? Мы сядем пред огнем.
Как хочет, пусть Зевес вселенной управляет!
Он рек и сотворил. Подвластно всё ему;
            Он громом, молнией играет;
Послушны бури, вихрь Зевесу одному.
Любимец муз счастлив во все премены года:
Он пользуется тем, что видит пред собой.
            Друзья, для нас природа
И в ужасах своих блистает красотой!
Где лиры? Станем петь. Нас Феб соединяет;
Вергилий росских стран присутствием своим
            К наукам жар рождает.
Кто с музами живет, утехи вечно с ним!
Вас грации давно украсили венками,
Вам должно петь, друзья! И Дмитрев, Карамзин
            Прекрасными стихами
Пленяют, учат нас, а я молчу один!
Нет, нет! И я хочу, как вы, греметь на лире:
Лечу ко славе я, ваш дух во мне горит,
            И я известен буду в мире!
О радость, о восторг! И я... и я пиит!

⟨*1804*⟩

---

[1] Сия пиеса была читана на приватном обществе любителей словесности, в доме покойного Михаила Матвеевича Хераскова.

264. К В. А. ЖУКОВСКОМУ

Licuit semperque licebit
Signatum praesente notâ producere nomen.
Ut silvae foliis pro nos mutantur in annos,
Prima cadunt; ita verborum vetus interit aetas,
Et juvenum ritu florent modò nata vigentque.

Horat. Ars poetica [1]

Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?
Что Кондильяка я и Дюмарсе читаю,
Что логике учусь и ясным быть желаю?
Какая слава мне за тяжкие труды?
Лишь только всякий час себе я жду беды;
Стихомарателей здесь скопище упрямо.
Не ставлю я нигде ни *семо*, ни *овамо*;
Я, признаюсь, люблю Карамзина читать
И в слоге Дмитреву стараюсь подражать.
Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.
Славянские слова таланта не дают,
И на Парнас они поэта не ведут.
Кто русской грамоте, как должно, не учился,
Напрасно тот писать трагедии пустился;
Поэма громкая, в которой плана нет,
Не песнопение, но сущий только бред.

Вот мнение мое! Я в нем не ошибаюсь
И на Горация и Депрео ссылаюсь:
Они против врагов мне твердый будут щит;
Рассудок следовать примерам их велит.
Талант нам Феб дает, а вкус дает ученье.
Что просвещает ум? питает душу? — чтенье.
В чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт,
В Синопсисе того, в Степенной книге нет.
Отечество люблю, язык я русский знаю,
Но Тредьяковского с Расином не равняю;

---

[1] Всегда было и будет впредь позволено использовать слова, освященные употреблением. Как леса на склоне года меняют листья и опадают те, что появились прежде, так проходит пора старых слов и в употреблении цветут и крепнут вновь появившиеся. *Гораций, Поэтическое искусство* (лат.). — *Ред.*

И Пиндар наших стран тем слогом не писал,
Каким Баян в свой век героев воспевал.

Я прав, и ты со мной, конечно, в том согласен;
Но правду говорить безумцам — труд напрасен.
Я вижу весь собор безграмотных славян,
Которыми здесь вкус к изящному попран,
Против меня теперь рыкающий ужасно,
К дружине вопиет наш Балдус велегласно:
«О братие мои, зову на помощь вас!
Ударим на него, и первый буду аз.
Кто нам грамматике советует учиться,
Во тьму кромешную, в геенну погрузится;
И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людие, злодея истребить».
Не бойся, говоришь ты мне, о друг почтенный.
Не бойся, мрак исчез — настал нам век блаженный!
Великий Петр, потом Великая жена,
Которой именем вселенная полна,
Нам к просвещению, к наукам путь открыли,
Венчали лаврами и светом озарили.
Вергилий и Омер, Софокл и Эврипид,
Гораций, Ювенал, Саллюстий, Фукидид
Знакомы стали нам, и к вечной славе россов
Во хладном Севере родился Ломоносов!
На лире золотой Державин возгремел,
Бессмертную в стихах бессмертных он воспел;
Любимец аонид и Фебом вдохновенный,
Представил Душеньку в поэме несравненной.
Во вкусе час настал великих перемен:
Явились Карамзин и Дмитрев — Лафонтен!
Вот чем все русские должны гордиться ныне!
Хвала Великому! Хвала Екатерине!
Пусть Клит рецензии тисненью предает —
Безумцу вопреки, поэт всегда поэт.

Итак, любезный друг, я смело в бой вступаю;
В словесности раскол, как должно, осуждаю.
Арист душою добр, но автор он дурной,
И нам от книг его нет пользы никакой;
В странице каждой он слог древний выхваляет

И русским всем словам прямой источник знает, —
Что нужды? Толстый том, где зависть лишь видна,
Не есть Лагарпов курс, а пагуба одна.
В славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу.
В душе своей ношу к изящному любовь;
Творенье без идей мою волнует кровь.
Слов много затвердить не есть еще ученье,
Нам нужны не слова — нам нужно просвещенье.

1810

265. К Д. В. ДАШКОВУ

En blâmant ses écrits, ai-je d'un style affreux
Distillé sur sa vie un venin dangereux?

Boileau, sat. 9[1]

Что слышу я, Дашков? Какое ослепленье!
Какое лютое безумцев ополченье!
Кто тщится жизнь свою наукам посвящать,
Раскольников-славян дерзает уличать,
Кто пишет правильно и не варяжским слогом —
Не любит русских тот и виноват пред богом!
Поверь: слова невежд — пустой кимвала звук;
Они безумствуют — сияет свет наук!
Неу́жель оттого моя пострадждет вера,
Что я подчас прочту две сцены из Вольтера?
Я христианином, конечно, быть могу,
Хотя французских книг в камине и не жгу.
В предубеждениях нет святости нимало:
Они мертвят наш ум и варварства начало.
Ученым быть не грех, но грех во тьме ходить.
Невежда может ли отечество любить?
Не тот к стране родной усердие питает,
Кто хвалит всё свое, чужое презирает,
Кто слезы льет о том, что мы не в бородах,
И, бедный мыслями, печется о словах!

---

[1] Осуждая его сочинения, изливал ли я в ужасных выражениях на его жизнь опасный яд? *Буало, сат⟨ира⟩ 9* (франц.). — *Ред.*

Но тот, кто, следуя похвальному внушенью,
Чтит дарования, стремится к просвещенью;
Кто, сограждáн любя, желает славы их;
Кто чужд и зависти, и предрассудков злых!
Квириты храбрые полсветом обладали,
Но общежитию их греки обучали.
Науки перешли в Рим гордый из Афин,
И славный Цицерон, оратор-гражданин,
Сражая Верреса, вступаясь за Мурену,
Был велеречием обязан Демосфену.
Вергилия учил поэзии Гомер;
Грядущим временам век Августов пример!

Так сын отечества науками гордится,
Во мраке утопать невежества стыдится,
Не проповедует расколов никаких
И в старине для нас не видит дней благих.
Хвалу я воздаю счастливейшей судьбине,
О мой любезный друг, что я родился ныне!
Свободно я могу и мыслить и дышать,
И даже *абие* и *аще* не писать.
Вергилий и Гомер беседуют со мною;
Я с возвышéнною иду везде главою;
Мой разум просвещен, и Сены на брегах
Я пел любезное отечество в стихах.
Не улицы одне, не площади и домы —
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там знакомы!
Они свидетели, что я в земле чужой
Гордился русским быть и русский был прямой.
Не грубым остяком, достойным сожаленья, —
Предстал пред ними я любителем ученья;
Они то видели, что с юных дней моих
Познаний я искал не в именах одних;
Что с восхищением читал я Фукидида,
Тацита, Плиния — и, признаюсь, «Кандида».

Но благочестию ученость не вредит.
За бога, веру, честь мне сердце говорит.
Родителей моих я помню наставленья:
Сын церкви должен быть и другом просвещенья!
Спасительный закон ниспослан нам с небес,
Чтоб быть подпорою средь счастия и слез.

Он благо и любовь. Прочь клевета и злоба!
Безбожник и ханжа равно порочны оба.

В сужденьях таковых не вижу я вины:
За что ж мы на костер с тобой осуждены?
За то, что мы, любя словесность и науки,
Не век над букварем твердили «аз» и «буки».
За то, что смеем мы учение хвалить
И в слоге варварском ошибки находить.
За то, что мы с тобой Лагарпа понимаем,
В расколе не живем, но по-славенски знаем.

Что делать? Вот наш грех. Я каяться готов.
Я, например, твержу, что скучен *Старослов*,
Что длинные его, сухие поученья —
Морфея дар благий для смертных усыпленья;
И если вздор читать пришла моя чреда,
Неужели заснуть над книгою беда?
Я каюсь, что в речах иных не вижу плана,
Что томов не пишу на древнего Бояна;
Что муз и Феба я с Парнаса не гоню,
Писателей дурных, а не людей браню.
Нашествие татар не чтим мы веком славы;
Мы правду говорим — и, следственно, неправы.

1811

266. ОПАСНЫЙ СОСЕД

Ох! дайте отдохнуть и с силами собраться!
Что прибыли, друзья, пред вами запираться?
Я всё перескажу: Буянов, мой сосед,
Имение свое проживший в восемь лет
С цыганками, с б...ми, в трактирах с плясунами,
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком,
Пришел, — и понесло повсюду кабаком.
«Сосед, — он мне сказал, — что делаешь ты дома?
Я славных рысаков подтибрил у Пахома;
На масленой тебя я лихо прокачу».
Потом, с улыбкою ударив по плечу,
«Мой друг, — прибавил он, — послушай: есть находка;

Не девка — золото; из всей Москвы красотка.
Шестнадцать только лет, бровь черная дугой,
И в ремесло пошла лишь нынешней зимой.
Ступай со мной, качнем!» К плотско́му страсть имея,
Я, виноват, друзья, послушался злодея.
Мы сели в о́бшивни, покрытые ковром,
И пристяжная вмиг свернулася кольцом.
Извозчик ухарский, любуясь рысаками,
«Ну! — свистнул, — соколы! отдернем с господами».
Пустился дым густой из пламенных ноздрей
По улицам как вихрь несущихся коней.
Кузнецкий мост, и вал, Арбат и Поварская
Дивились *двоице*, на бег ее взирая.
Позволь, варяго-росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы, *парой* двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.
Ну, к черту ум и вкус! пишите в добрый час!
«Приехали», — сказал извозчик, отряхаясь.
Домишко, как тростник от ветра колыхаясь,
С калиткой на крюку представился очам.
Херы с *Покоями* сцеплялись по стенам.
«Кто там?» — нас вопросил охриплый голос грубый.
«Проворней отворяй, не то — ракалью в зубы, —
Буянов закричал, — готовы кулаки», —
И толк ногою в дверь; слетели все крюки.
Мы, сгорбившись, вошли в какую-то каморку,
И что ж? С купцом играл дьячок приходский в горку;
Пунш, пиво и табак стояли на столе.
С широкой задницей, с угрями на челе,
Вся провонявшая и чесноком, и водкой,
Сидела сводня тут с известною красоткой;
Султан Селим, Вольтер и Фридерик Второй
Смиренно в рамочках висели над софой;
Две гостьи дюжие смеялись, рассуждали
И *Стерна Нового* как диво величали.
Прямой талант везде защитников найдет!
Но вот кривой лакей им кофе подает;
Безносая стоит кухарка в душегрейке;
Урыльник, самовар и чашки на скамейке;

«Я здесь», — провозгласил Буянов-молодец.
Все вздрогнули — дьячок, и сводня, и купец;
Но все, привстав, поклон нам отдали учтивый.
«Ни с места, — продолжал Сосед велеречивый, —
Ни с места! Все равны в борделе у б...
Не обижать пришли мы честных здесь людей.
Панкратьевна, садись; целуй меня, Варюшка;
Дай пуншу; пей, дьячок». И началась пирушка!
Вдруг шепчет на ухо мне гостья на беду:
«Послушай, я тебя в светлицу поведу;
Ты мной, жизненочек, останешься доволен;
Варюшка молода, но с нею будешь болен;
Она охотница подарочки дарить».
Я на нее взглянул. Черт дернул! — так и быть!
Пошли по лестнице высокой, крючковатой;
Кухарка вслед кричит: «Боярин тороватый,
Дай бедной за труды, всю правду доложу,
Из *чести* лишь одной я в доме здесь служу».
Сундук, засаленной периною покрытый,
Огарок в черепке, рогожью пол обитый,
Рубашки на шестах, два медные таза,
Кот серый, курица мне бросились в глаза.
Знакомка новая, обняв меня рукою,
«Дружок, — сказала мне, — повеселись со мною;
Ты добрый человек, мне твой приятен вид,
И, верно, девушке не сделаешь обид.
Не бойся ничего; живу я на отчете,
И скажет вся Москва, что я лиха в работе».
Проклятая! Стыжусь, как падок, слаб ваш друг!
Свет в черепке погас, и близок был сундук...
Но что за шум? Кричат. Несется вопль в светлицу.
Прелестница моя, накинув исподни́цу,
От страха босиком по лестнице бежит;
Я вслед за ней. Весь дом колеблется, дрожит.
О ужас! Мой Сосед, могучею рукою
К стене прижав дьячка, тузит купца другою;
Панкратьевна в крови; подсвечники летят,
И стулья на полу ногами вверх лежат,
Варюшка пьяная бранится непристойно;
Один кривой лакей стоит в углу спокойно
И, нюхая табак, с почтеньем ждет конца.
«Буянов, бей дьячка, но пощади купца», —

Б... толстая кричит сердитому герою.
Но вдруг красавицы все приступают к бою.
Лежали на окне *«Бова» и «Еруслан»*,
«Несчастный Никанор», чувствительный роман,
«Смерть Роллы», «Арфаксад», «Русалка», «Дева Солнца»;
Они их с мужеством пускают в ратоборца.
На доблесть храбрых жен я с трепетом взирал;
Все пали ниц; Сосед победу одержал.
Ужасной битве сей вот было что виною:
Дьячок, купец, Сосед пунш пили за игрою,
Уменье в свете жить желая показать,
Варюшка всем гостям старалась подливать;
Благопристойности ничто не нарушало.
Но Бахус бедствиям не раз бывал начало.
Забав невинных враг, любитель козней злых,
Не дремлет сатана при случаях таких.
Купец почувствовал к Варюшке вожделенье
(А б..., в том спору нет, есть общее именье),
К Аспазии подсев, дьячку он дал толчок;
Буянова толкнул, нахмурившись, дьячок;
Буянов, не стерпя приветствия такого,
Задел дьячка в лицо, не говоря ни слова;
Дьячок, расхоробрясь, купца ударил в нос;
Купец схватил с стола бутылку и поднос,
В приятелей махнул, — и сатане потеха!
В юдоли сей, увы! плач вечно близок смеха!
На быстрых крылиях веселие летит,
А горе тут как тут!.. Гнилая дверь скрипит
И отворяется; спокойствия рачитель,
Брюхастый офицер, полиции служитель,
Вступает с важностью, в мундирном сертуке.
«Потише, — говорит, — вы здесь не в кабаке;
Пристойно ль, господа, у барышень вам драться?
Немедленно со мной извольте расквитаться».
Тарелкою Сосед ответствовал ему.
Я близ дверей стоял, ко счастью моему.
Мой слабый дух, боясь лютейшего сраженья,
Единственно в ногах искал себе спасенья;
В светлице позабыл часы и кошелек;
Чрез бревна, кирпичи, чрез полный смрада ток
Перескочив, бежал, и сам куда не зная.

Косматых церберов ужаснейшая стая,
Исчадье адово, вдруг стала предо мной,
И всюду раздался псов алчных лай и вой.
Что делать! — Я шинель им отдал на съеденье.
Снег мокрый, сильный ветр. О! страшное
мученье!
В тоске, в отчаяньи, промокший до костей,
Я в полночь наконец до хижины моей,
О милые друзья, калекой дотащился.
Нет! полно! — Я навек с Буяновым простился.
Блажен, стократ блажен, кто в тишине живет
И в сонмище людей неистовых нейдет;
Кто, веселясь подчас с подругой молодою,
За нежный поцелуй не награжден бедою;
С кем не встречается опасный мой Сосед;
Кто любит и шутить, но только не во вред;
Кто иногда стихи от скуки сочиняет
И над рецензией славянской засыпает.

1811

267. К П. Н. ПРИКЛОНСКОМУ

Любезный родственник, поэт и камергер,
Пожалуй, на досуге
Похлопочи о друге!
Ты знаешь мой манер:
Хозяин я плохой, в больших разъездах вечно,
То в Питере живу, то в Низовой стране,
И скоро проживусь, конечно;
Подчас приходит жутко мне!
Но дело не о том. Башмачник мой, повеса,
Картежник, пьяница, в больницу отдан был,
И что ж? От доктора он лыжи навострил!
В Тверской губернии пойман среди леса
В июне месяце, под стражу тотчас взят,
И скоро по делам он в рекруты назначен.
Я очень рад,
Что он солдат:
Он молод, силен, взрачен,
И строгий капитан исправит вмиг его,
Но мне квитанцию взять должно за него.

Башмачника зовут Кузьмою,
Отец его был Фрол, прозваньем Карпушов.
Итак, без лишних слов
Скажу, что юному герою
Желаю лавров я, квитанции — себе.
В селении моем, благодаря судьбе,
Хотя крестьяне пьют, зато трудятся, пашут;
Пусть с радости поют и пляшут,
Узнав, что отдали в солдаты беглеца
И что остался сын у бедного отца.
Ответствуй мне скорей иль прозой, иль стихами,
Но будь здоров и помни обо мне!
В прелестной юности соделавшись друзьями,
В какой бы ни был ты стране,
Поверь, что мысль моя стремится за тобою!
И если летнею порою
Поеду в Питер я, останусь дни два, три
У друга моего в Твери.
Воссяду с лирой золотою
На волжских берегах крутых,
И тамо с пламенной душою
Блаженство воспою я жителей тверских.

⟨1812⟩

268. К ЖИТЕЛЯМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Примите нас, мы все родные!
Мы дети матушки Москвы!
Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь, промчались вы!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Чад, братий наших кровь дымится,
И стонет с ужасом земля!
А враг коварный веселится
На башнях древнего Кремля!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Святые храмы осквернились,
Сокровища расхищены!
Жилища в пепел обратились!
Скитаться мы принуждены!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Давно ли славою блистала?
Своей гордилась красотой?
Как нежна мать, нас всех питала!
Москва, что сделалось с тобой?

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Тебе ль платить позорны дани?
Под игом пришлеца стенать?
Отмсти за нас, бог сильной брани!
Не дай ему торжествовать!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Погибнет он! Москва восстанет!
Она и в бедствиях славна;
Погибнет он. Бог русских грянет!
Россия будет спасена.

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

1812

269. К Д. В. ДАШКОВУ

Мой милый друг, в стране,
Где Волга наравне
С брегами протекает
И, съединясь с Окой,

Всю Русь обогащает
И рыбой, и мукой,
Я пресмыкаюсь ныне.
Угодно так судьбине,
Что делать? Я молчу.
Живу не как хочу,
Как бог велит — и полно!
Резвился я довольно,
С амурами играл
И ужины давал,
И граций я прелестных,
В Петрополе известных,
На лире воспевал;
Четверкою лихою,
Каретой дорогою
И всем я щеголял!
Диваны и паркеты,
И бронзы, и кенкеты,
Как прочие, имел;
Транжирить я умел!
Теперь пред целым светом
Могу и я сказать,
Что я живу поэтом:
Рублевая кровать,
Два стула, стол дубовый,
Чернильница, перо —
Вот всё мое добро!
Иному туз бубновый
Сокровища несет,
И ум, и всё дает;
Я в карты не играю,
Бумагу лишь мараю;
Беды в том, право, нет!
Пусть юный наш поэт,
Известный сочинитель,
Мой Аристарх, гонитель,
Стихи мои прочтет,
В сатиру их внесет —
И тотчас полным клиром
Ученейших писцов,
Поэм и од творцов,
Он будет Кантемиром

Воспет, провозглашен
И в чин произведен
Сотрудника дружины:
Для важныя причины
И почести такой
И покривить душой
Простительно, конечно.
Желаю я сердечно,
Чтоб новый Ювенал
Сатиры наполнял
Не бранью лишь одною,
Но вкусом, остротою;
Чтоб свет он лучше знал!
Обогащать журнал
Чтоб он не торопился,
Но более б читал
И более учился!

Довольно; мне бранить
Зоилов нет охоты!
Пришли труды, заботы:
Мой друг, я еду жить
В тот край уединенный,
Батый где в старину,
Жестокий, дерзновенный,
Вел с русскими войну.
Скажи, давно ли ныне,
Не зная мер гордыне
И алчности своей,
Природы бич, злодей
Пришел с мечом в столицу,
Мать русских городов?
Но бог простер десницу,
Восстал... и нет врагов!

Отечества спаситель,
Смоленский князь, герой
Был ангел-истребитель,
Ниспосланный судьбой!
Бард Севера, воспой
Хвалу деяньям чудным!

Но ах! сном непробудным
Вождь храбрых русских сил
На лаврах опочил.

Верь мне, что я в пустыне
Хочу, скрываясь ныне,
Для дружбы только жить!
Амуру я служить
Отрекся поневоле:
В моей ли скучной доле
И на закате дней
Гоняться за мечтою?
Ты знаешь, лишь весною
Петь любит соловей!
Досель и я цветами
Прелестниц украшал;
Всему конец, с слезами
«Прости, любовь, — сказал, —
Сердец очарованье,
Отрада, упованье
Тибуллов молодых».
Жуковский, друг Светланы,
Харитами венчанный,
И милых лар своих
Певец замысловатый
Амуру гимн поют,
И бог у них крылатый
Нашел себе приют;
А я, забытый в мире,
Пою теперь на лире
Блаженство прежних дней,
И дружбою твоей
Живу и утешаюсь!
К надежде прилепляюсь,
Погоды лучшей жду.
Беда не всё беду
Родит, и после горя
Летит веселье к нам!
Неу́жели певцам
В волнах свирепых моря
Всем гибнуть и брегов
Не зреть благополучных?

Неужель власть богов
Превратностей лишь скучных
Велит мне жертвой быть,
Томиться, слезы лить?

Мой милый друг, конечно,
Несчастие не вечно,
Увидимся с тобой!
За чашей круговой,
Рукой ударив в руку,
Печаль забудем, скуку
И будем ликовать;
Не должно унывать,
Вот мой совет полезный:
Терпение, любезный.

⟨1814⟩

270. К КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Quand je pense au dégoût que les poètes ont à essuyer, je m'étonne qu'il y en ait d'assez hardis pour braver l'ignorance de la multitude, et la censure dangereuse des demi-savants qui corrompent quelquefois le jugement du public.

Le Sage[1]

Как трудно, Вяземский, в плачевном нашем мире
Всем людям нравиться, их вкусу угождать!
Почтенный Карамзин на сладкозвучной лире
В прекраснейших стихах воспел святую рать,
Падение врага, царя России славу,
Героев подвиги и радость всех сердец.
Какой же получил любимец муз венец?

---

[1] Когда я думаю о тех оскорблениях, которые приходится сносить поэтам, я удивляюсь тому, что среди них находятся отважные настолько, чтобы презирать невежественность толпы и опасную цензуру полуученых, которые иногда искажают суждение публики. *Лесаж* (франц.). — *Ред.*

Он, вкуса следуя и разума уставу,
Все чувствия души в восторге изливал,
Как друг отечества и как поэт писал, —
Но многие ль, скажи, ценить талант умеют?
О, горе, горе нам от мнимых знатоков!
Судилище ума — собранье чудаков,
И в праздности сердца к изящному хладеют.
Давно ли, шествуя Корнелию вослед,
Поэт чувствительный, питомец Мельпомены,
Творец Димитрия, Фингала, Поликсены,
На Севере блистал? . . И Озерова нет!
Завистников невежд он учинился жертвой;
В уединении, стенящий, полумертвый,
Успехи он свои и лиру позабыл!
О зависть лютая, дщерь ада, крокодил,
Ты в исступлении достоинства караешь,
Слезами, горестью питаешься других,
В безумцах видишь ты прислужников своих
И, просвещенья враг, таланты унижаешь!

И я на лире пел, и я стихи любил,
В беседе с музами блаженство находил,
Свой ум обогащать учением старался,
И, виноват, подчас в посланиях моих
Я над невежеством и глупостью смеялся;
Желанья моего я цели не достиг;
Врали не престают злословить дарованья,
Печатать вздорные свои иносказанья
И в публике читать, наперекор уму,
Похвальных кучу од, не годных ни к чему!

Итак, я стал ленив и празден поневоле;
Врагов я не найду в моей безвестной доле.
Пусть льются там стихи нелепые рекой,
Нет нужды — мне всего любезнее покой.
Но, от учености к забавам обращаясь,
Давно ли, славою мы русской восхищаясь,
Торжествовали здесь желанный всеми мир?
И тут мы критиков, мой друг, не удержали;
При блеске празднества, при звуке громких лир,
Зоилы подвиг наш и рвенье осуждали:

Искусство, пышность, вкус и прелестей собор —
Всё сделалось виной их споров и укор!

Не угодишь ничем умам, покрытым тьмою,
И, право, не грешно смеяться над молвою!
Какой-то новый Крез, свой написав портрет,
Обжорливых друзей к обеду приглашает:
Богатым искони ни в чем отказа нет.
Друзья съезжаются — хозяин ожидает,
Что будут славного художника хвалить,
Известного давно искусством, дарованьем;
Но сборище льстецов кричит с негодованьем,
И точно думая тем Крезу угодить,
Что в образе его малейшего нет сходства,
Нет живости в лице, улыбки, благородства.
Послушный Апеллес берет портрет домой.
Чрез месяц наш Лукулл дает обед другой;
Друзья опять на суд. Дворецкий объявляет,
Что барин нужного курьера отправляет
И просит подождать. Садятся все кругом;
О мире, о войне вступают в разговоры;
Европу разделив, политики потом
На труд художника свои бросают взоры,
«Портрет, — решили все, — не стоит ничего:
Прямой урод, Эзоп, нос длинный, лоб с рогами!
И долг хозяина предать огню его!»
— «Мой долг не уважать такими знатоками
(О чудо! говорит картина им в ответ):
Пред вами, господа, я сам, а не портрет!»
Вот наших критиков, мой друг, изображенье!
Оставим им в удел упрямство, ослепленье.
Поверь, мы счастливы, умея дар ценить,
Умея чувствовать и сердцем говорить!
С тобою жизни путь украсим мы цветами:
Жуковский, Батюшков, Кокошкин и Дашко́в
Явятся вечерком нас услаждать стихами;
Воейков пропоет твои куплеты с нами
И острой насмешит сатирой на глупцов;
Шампанское в бокал пенистое польется,
И громкое *ура* веселью разнесется.

⟨*1815*⟩

271. ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ

Люблю я многое, конечно,
Люблю с друзьями я шутить,
Люблю любить я их сердечно,
Люблю шампанское я пить,
Люблю читать мои посланья,
Люблю я слушать и других,
Люблю веселые собранья,
Люблю красавиц молодых.
Над ближним не люблю смеяться,
Невежд я не люблю хвалить,
Славянофилам удивляться,
К вельможам на поклон ходить.
Я не люблю людей коварных
И гордых не люблю глупцов,
Похвальных слов высокопарных
И плоских, скаредных стихов.
Люблю по моде одеваться
И в обществах приятных быть.
Люблю любезным я казаться,
Расина наизусть твердить.
Люблю Державина творенья,
Люблю я «Модную жену»,
Люблю для сердца утешенья
Хвалу я петь Карамзину.
В собраньях не люблю нахалов,
Подагрой не люблю страдать,
Я глупых не люблю журналов,
Я в карты не люблю играть,
И наших Квинтильянов мнимых
Суждений не люблю я злых;
Сердец я не люблю строптивых,
Актеров не люблю дурных.
Я в хижине моей смиренной,
Где столько горя и забот,
Подчас, Амуром вдохновенный,
Люблю петь граций хоровод;
Люблю пред милыми друзьями
Свою я душу изливать
И юность резвую с слезами
Люблю в стихах воспоминать.

⟨1815⟩

272. К***

> Cujus autem aures veritati clausae, ut ab amico verum audire nequeant, hujus salus desperanda est.
>
> *Cicero*[1]

Я грешен. Видно, мне кибитка не Парнас;
Но строг, несправедлив карающий ваш глас,
И бедные стихи, плод шутки и дороги,
По мненью моему, не стоили тревоги.
Просодии в них нет, нет вкуса — виноват!
Но вы передо мной виновнее стократ.
Разбор, поверьте мне, столь едкий — не услуга:
Я слух ваш оскорбил — вы оскорбили друга.
Вы вспомните о том, что первый, может быть,
Осмелился глупцам я правду говорить;
Осмелился сказать хорошими стихами,
Что автор без идей, трудяся над словами,
Останется всегда невеждой и глупцом;
Я злого Гашпара убил одним стихом,
И, гнева не боясь варягов беспокойных,
В восторге я хвалил писателей достойных!
Неблагодарные! О том забыли вы,
И ныне, не щадя седой моей главы,
Вы издеваетесь бесчинно надо мною;
Довольно и без вас я был гоним судьбою!
В дурных стихах большой не вижу я вины;
Приятели беречь приятеля должны.
Я не обидел вас. В душе моей незлобной,
Лишь к пламенной любви и дружеству способной,
Не приходила мысль над другом мне шутить!
С прискорбием скажу: что прибыли любить?
Здесь острое словцо приязни всей дороже,
И дружество почти на ненависть похоже.
Но боже сохрани, чтоб точно думал я,
Что в наши времена не водятся друзья!
Нет, бурных дней моих на пасмурном закате
Я истинно счастлив, имея друга в брате!

---

[1] Чьи уши закрыты для истины до такой степени, что они не в состоянии услышать слова правды, произносимые другом, для того нет надежды на благополучие. *Цицерон* (лат.). — *Ред.*

Сердцами сходствуем; он точно я другой:
Я горе с ним делю; он — радости со мной.
Благодарю судьбу! Чего желать мне боле?
Проказничать, шутить, смеяться в вашей воле.
Вы все любезны мне, хоть я на вас сердит;
Нам быть в согласии сам Аполлон велит.
Прямая наша цель есть польза, просвещенье,
Богатство языка и вкуса очищенье;
Но должно ли шутя о пользе рассуждать?
Глупцы не престают возиться и писать,
Дурачить Талию, ругаться Мельпомене;
Смеемся мы тайком — они кричат на сцене.
Нет, явною войной искореним врагов!
Я верный ваш собрат и действовать готов;
Их оды жалкие, забавные их драмы,
Похвальные слова, поэмы, эпиграммы,
Конечно, не уйдут от критики моей:
Невежд учить люблю и уважать друзей.

1816

273. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ В. А. ЖУКОВСКОГО

Он стал известен сам собой;
На лире он любовь, героев воспевает;
Любимец муз соединяет
Прекраснейший талант с прекраснейшей душой.

⟨1817⟩

274. К НОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ВКУСА

Хвала вам, смелые певцы и стиходеи.
В поэзии теперь нам кодекс новый дан:
Гораций и Парни — пигмеи,
А Пумпер Никель — великан!

1824

275. ЭКСПРОМТ

НА ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ А. И. И С. И. Т⟨УРГЕНЕВЫМИ⟩

Прощайте, милые друзья!
Подагрик расстается с вами,
Но с вами сердцем буду я,
Пока еще храним богами.
Час близок; может быть, увы,
Меня не будет — будьте вы!

1825

276. ЭКСПРОМТ

НА ОТЪЕЗД Н. М. КАРАМЗИНА В ЧУЖИЕ КРАИ

Дельфийский бог, венец тобою дан
Историку, философу, поэту!
О, будь вождем его! Пусть, странствуя по свету,
Он возвратится здрав для славы россиян!

Май 1826

277. КАПИТАН ХРАБРОВ

ГЛАВА 1

Большой саратовской дорогой,
В кибитке низенькой, убогой,
На родину тащился я,
В село, где в домике смиренном
Жила старушка мать моя,
И с сердцем, часто сокрушенным,
Воспоминала обо мне.
Семь лет я не был в той стране,
Семь лет с родимой я расстался,
В походах и сраженьях был,
Чин капитана получил
И орденами украшался.

Хотел бы я, романтик новый,
Осенний вечер описать

И тоном жалостным сказать,
Как ветер бушевал суровый,
Как с неба дождь ушатом лил,
Как в бурке я дрожал косматой;
Но Аполлон замысловатый,
Увы! меня не наградил
Талантом Байронов чудесных,
И на Руси теперь известных.

Подъехал мой ямщик к реке,
И вот паром. Там вдалеке,
Я вижу, огонек мелькает;
«Скорей, — я закричал, — друзья!
Ночлег нас добрый ожидает:
Я вас согрею и себя».
Старик с плешивой головою,
С седою длинной бородою
Стоит на берегу другом
И нас встречает с фонарем;
А дождь всё льет, и с мокрым снегом.
Слуга мой верный Еремей
В шинели фризовой своей
В дом к старику пустился бегом,
А я за ним, старик за мной;
Ночлегу рад я всей душой.

Мы входим в горницу. На лавке
Старуха сгорбившись сидит,
Лучинка перед ней горит;
В ногах ее мальчишка в шапке
Играет с кошкою своей.
«Старушка добрая, здорово!
Согрей нам чайник поскорей!»
— «Сейчас, бояре! Всё готово!»
И самовар уже кипит,
Ром на столе, я согреваюсь;
Хозяин пристально глядит,
Как я ко сну приготовляюсь.
Мой добрый спутник Еремей
Давно храпит: он спать охотник.
Старик, старуха и работник —

Все вышли вон. Сверчок-злодей
Мне скучным криком спать мешает,
Огарок сальный догорает;
Но как заснуть? Там сотни крыс
Возиться, кажется, сошлись.
Я вдруг вскочил от нетерпенья,
Пошел убежища искать;
В сенях чулан и там кровать:
Вот место для отдохновенья.
Я лег — и слышу разговор:
У старика с женою спор.
«Что мешкаешь? Ступай скорее!
Приезжие сном крепким спят».
— «К рассвету наши прилетят:
Их подожду! Тогда смелее
К концу мы дело приведем;
Пощады нет! Мы их убьем!»
— «А где ж ямщик?» — «Он связан мною
И пьяный нá сене лежит».
— «Ну, как всё кончится бедою?»
— «Ни слова боле! Я сердит
И проучить тебя умею».
— «Я, Климыч, за тебя робею».
Умолкли. Я тихонько встал,
Кинжал и пистолеты взял;
Сонливый мой слуга проснулся,
Пошли мы ямщика будить:
Насилу наш бедняк очнулся.
«Послушай, нас хотят убить:
Мы у разбойников. Скорее
Коней в кибитку запрягай;
Прочь колокольчик! Не зевай!
Спасемся ночью мы вернее».
Готова тройка. Мы с большим
Трудом ворота отворили;
Бежит старик, работник с ним.
«Вы нас, — кричат, — не ускорили!
Мы здесь. Трудненько вам спастись!
Смотри же, барин, берегись!»
Батрак за повода хватает,
Хозяин с топором в руках.

Занес его! . . Откинув страх,
Я выстрелил: он упадает.

Мы ускакали. Провиденье
Избавило от смерти нас!
Вот видим солнца восхожденье:
Настал приятный утра час;
Утихла буря; стадо в поле
Шагами тихими идет,
Пастух играет; дождь не льет.
Хоть птичек хор не слышен боле,
Хоть лист желтеет и летит,
Но божий мир всегда прекрасен.
Свод неба чист, и всё сулит,
Что будет день хорош и ясен.

И вот село! Прелестный вид:
Там на горе крутой, высокой
Великолепный храм стоит,
Внизу река. По ней широкой
И длинный мост ведет в посад.
Народ копышется. Въезжаем.
Отряд мы казаков встречаем
И стражи внутренней солдат;
Они разбойников поймали.
Ямщик остановился мой.
К нам офицер передовой
Бежит. . . Друг друга мы узнали:
«Ах, это ты, Храбров! Откуда?
Не ожидал такого чуда,
Чтоб здесь увидеться с тобой!»
— «Я еду в отпуск на покой,
Готовился покой мне вечный;
Бог спас меня, мой друг сердечный!»
Я тут ему пересказал
Ночное наше приключенье;
И что ж? Какое удивленье!
Он самых тех воров поймал,
Которых ждал старик плешивый.
Романтик бы красноречивый
Представил кучу тут картин;

Скажу я просто: мы расстались
И как друзья поцеловались.
«Прости, мой милый Валентин!»
— «Прости, Храбров! Мы повидались;
Судьбе спасибо! Добрый путь!»
Мне нужно было отдохнуть,
Я ночь не спал. На постоялом
Остановились мы дворе,
И на разостланном ковре,
Одетый теплым одеялом,
Заснул я крепко. Вот мой сон:
Мне чудилось, что на кладби́ще,
Умерших вечное жилище,
Куда-то я перенесен;
Брожу, а вечер наступает;
На небе молния сверкает,
И гром раскатисто гремит;
Сова хохочет, жук жужжит,
И мышь крылатая летает.
И что ж? Могила предо мной
С ужасным треском расступилась.
И в длинном саване явилась
Тень бледная; меня рукой
Она холодной обнимает. . .
«Проститься я пришла с тобой:
Смерть лютая нас разлучает!»
Сказала. . . и узнал я в ней
Тень нежной матери моей.
Я плакал. Сердце трепетало.
Гром грянул. — Я проснулся вдруг.
Родимая, мой милый друг,
Не верю, чтоб тебя не стало!
Нет, от беды избавит бог!
Я, право, обойтись не мог,
Чтоб не представить сновиденья;
Романтики такого мненья,
Что тот поэт не удалец,
Кому не видится мертвец.

Верст десять ехать нам осталось.
От нетерпения казалось,
Что время медленно текло.

Вот наша роща и село,
Вот церковь, пруд, сад плодовитый,
Дом, черепицею покрытый,
Вот конопли и огород;
Мы подъезжаем — я вбегаю
И мать-старушку обнимаю
И целый девок хоровод.
Терентий Карпов, дядька мой,
Служитель пьяный и глухой,
С почтеньем руку лобызает;
Федора-ключница бежит,
От радости на всех брюзжит
И нам обед приготовляет.
«Мой друг Парфен! Бог мне велел
Еще увидеться с тобою!
Ты возмужал, похорошел, —
Сказала мать, — а мне судьбою
Дочь милая еще дана;
Ты будь ей братом! Вот она».
И вдруг я вижу пред собою
Красавицу в шестнадцать лет:
В романах Вальтер Скотта, Мура,
Нодье, виконта д'Арленкура
Читали вы ее портрет.
За стол мы сели: и рубцы
Нам подают, к ним пряженцы,
Бараний бок с горячей кашей,
Жаркого гуся и пирог;
Но есть я ничего не мог,
А любовался всё Наташей.

В дом матушка ее взяла,
Ей было девять лет, не боле;
Священник нашего села
Нашел ее младенцем в поле,
Принес домой и воскормил.
Наташу попадья любила,
Но бог помощницы лишил
Почтенного отца Кирилла.
Тогда он плача упросил,
Чтоб матушка взяла Наташу.
«Бог наградит за щедрость вашу! —

Упав к ногам, он говорил, —
Теперь живу я одинокой;
Как мне за девочкой смотреть?
К тому же в старости глубокой
И мне недолго умереть».

Родительница с восхищеньем
Наташу согласилась взять,
Ее учить и наблюдать
За добрым нравом, поведеньем
И, сколько можно, утешать.
Наташа многое уж знала:
Умела колпаки вязать,
На гуслях песенки бренчать
И полотенца вышивала.
Прошло еще пять иль шесть лет.
Другим Наташа занималась,
И в длинный талию корсет
Она затягивать старалась;
Носила кисею, перкаль,
Большие букли завивала,
«Светлану» наизусть читала;
Лишь одного ей было жаль:
Она не знала по-французски.
Тиранка мода губит нас:
И даже в деревнях подчас
Никто не говорит по-русски.
Наташа в обществах бывала,
Но и с хорошеньким лицом
Большою частью всё молчала.
Всяк может согласиться в том,
Что было ей довольно скучно:
Молчанье с скукой неразлучно.

Представлю я в главе другой,
Читатель, новые картины.
Дошед рассказа половины,
Я смелой напишу рукой
Ряд целый точек

. . . .

И от правил
Романтиков не отступлю:

Я точки в повестях люблю;
Лорд Байрон тысячи их ставил,
И подражатели его:
Гиро, Сумет, Виктор Гюго
Лишь точками известны стали
И славу за вихор поймали.

ГЛАВА 2

Читатель, может быть, дивится,
Что я так сведущ и учен;
Но я всегда любил учиться,
И мой полковник, граф Валтрон,
Саксонец, Гете обожатель,
Был мой наставник и приятель;
Он колдунов, чертей любил,
И, признаюсь, ему в угоду,
Я принял новую методу:
Расина-трагика бранил,
Не смел Вольтера звать поэтом,
А восхищался я «Гамлетом»
И «Фауста» переводил.

Мне нужно было отступленье:
Читателю я доказал,
Что службы долг мне не мешал
Любить и книги и ученье.
Теперь к Наташе я своей
В восторге сердца обращаюсь.
Вот месяц, как в деревне с ней
Живу и жизнью наслаждаюсь.
Хоть снег порхает по полям,
Мы с нею ре́звимся, гуляем,
При матушке, по вечерам,
Романы, повести читаем;
Старушка дремлет, и для нас
Тем лучше: тысячу я раз
У милой руку поцелую;
Она в невинности своей
Твердит, что я любезен ей;
Я весел, счастлив, торжествую!
Ах, без любви пустыня свет!

Однажды утром мне пакет
Приносят с почты; я читаю:
«Мой друг. Тебя уведомляю,
Что старика ты не убил:
Ему ты руку раздробил;
Он ранен, но в живых остался;
Во многом, к счастию, признался,
И я в Саратов буду с ним.
С тобой, товарищем моим,
Увижусь к радости сердечной.
Твой друг нелицемерный, вечный
Валентин».
Я доброй матери моей
Прочел приятеля посланье.
«Исполни бог мое желанье! —
Она сказала. — Может, ей
Он и жених! Не правда ль, милый?
Стараться будем всею силой,
Чтоб он Наташу полюбил!
Он не богат, я это знаю,
Но честен, говорят, и мил;
А честность я предпочитаю
Богатству и чинам большим».
Я был в смущеньи, недвижим
И не сказал в ответ ни слова,
А милая была готова
Заплакать от таких речей.
Но, к счастью, капитан-исправник,
Великий краснобай, забавник,
На двор катит с женой своей,
Большой охотницей до чтенья,
Питомицей мадам Жарни.
«Скорее чаю и варенья, —
Кричит старушка, — вот они.
А, Петр Фомич, прошу садиться!
Аксинья Павловна, ко мне,
Поближе, только не чиниться.
Давно мы в здешней стороне
Гостей любезных не видали.
Прошу Парфена полюбить;
Надеюсь, вы о нем слыхали:
Он отпущен со мной пожить;

Господь старуху утешает».
И Петр Фомич меня тотчас
С восторгом к сердцу прижимает,
Жена учтиво приседает:
«Monsieur Храбров, мы ждали вас
С большим, поверьте, нетерпеньем!
Я слышала, что вы поэт!
Скажите, правда или нет?
Я очень занимаюсь чтеньем,
И романтизм меня пленил.
Недавно Ларина Татьяна
Мне подарила Калибана:
Ах, как он интересен, мил!
Заиры, Федры, Андромахи
Не в моде более у нас;
О них и наши альманахи
С презреньем говорят подчас».
— «Что, каково, — Фомич вскричал, —
Умом хозяйка щеголяет?
Неделю каждую журнал
Она недаром получает;
Язык французский ей знаком,
И розовый ее альбом
Наполнен разными стихами,
Рисунками и вензелями».
Но вот Наташа за столом
Чай ароматный разливает.
Франтиха с головы снимает
Московский щегольской берет;
«Подобного в уезде нет, —
Она с улыбкою сказала, —
Мадам Ле-Бур шлет всякий год
Мне кучу иностранных мод;
Но дорога несносно стала,
А с ней расстаться не могу,
В большом я живучи кругу».
Чай отпили, и ночевать
Остались гости дорогие;
Их должно было удержать:
Проезды осенью дурные,
И Петр Фомич, исправник наш,
Хоть должностью давненько правил,

Мостов же вовсе не исправил,
Свой наблюдая авантаж,
Иль прибыль, говоря по-русски;
Чтоб мне от рифмы не отстать,
Одно словечко написать
Осмелился я по-французски.
Ты смелость не почти виной,
Читатель благосклонный мой!

ГЛАВА 3

Питомица мадам Жарни,
Супруг ее и bon ami[1]
У нас довольно погостили,
И только чрез четыре дни
Мы их в Саратов отпустили.
Ах, сколько мы прочли стихов,
На сцену вызвав колдунов
Немецких, английских, шотландских,
Норвежских, шведских и лапландских.
И, в чертовщину углубясь,
С восторгом мы о ней читали;
Вкус тонкий и в твореньях связь
Мы сущим вздором почитали.
Еленой[2] Фаустовой быть
Аксинья Павловна желала,
Чего-то тайного искала
И не хотела говорить
О классиках она ни слова;
Но всей душой была готова
С рогами черта полюбить
И всю вселенну удивить
Рождением Эвфориона.
Исправник был другого тона:
Он слушал нас и всё зевал;
С старушкою в пикет играл,
И пунш ему был утешеньем.
Романсов русских нежным пеньем
Наташа забавляла нас.

---

[1] Добрый друг (франц.). — *Ред.*
[2] Читай Елену, новую поэму г. Гете.

«Ах, милая, как жаль, что вас
Мадам Тегиль петь не учила, —
Вздохнув, франтиха говорила, —
В Москве я пела и сама,
Но, к огорченью, всё забыла.
В провинции сойти с ума
Не мудрено от страшной скуки;
Я здесь четвертый год живу,
Всё как во сне, не наяву,
И не беру гитары в руки».
Вот как мы быстрые часы
С гостьми своими провождали;
Соседей клали на весы
И всех почти критиковали;
Так водится: людей хвалить
Трудней гораздо, чем бранить.

На святках предводитель Хватов
Дает огромный маскерад
И приглашает нас в Саратов.
Я приглашенью очень рад;
Но тамо милая со мною
Мазурку будет танцевать
И легкостью, и красотою
Всем нравиться и всех пленять.
Мы съехались, и полковая
На хорах музыка гремит;
Приличность и порядок зная,
Наш предводитель Неофит
Иванович, одетый греком,
Княгиню Милову ведет;
Танцуя польский, руку жмет;
Он самым модным человеком
У нас в губернии слывет
И, душ две тысячи имея,
Жать руки может не робея.
Аксинья Павловна со мной
Идет, жеманясь, в сарафане;
Супруг ее, в ямском кафтане,
С предлинной черной бородой,
Наташу подхватив, тащится
За маскарадною толпой;

Вбегает в залу и кружится
Кадриль пастушек, пастухов;
Губернский стряпчий Батраков
Является в усах гусаром;
Разносчик с ленточным товаром
Смешные делает прыжки
И дамам подает стишки.
Армяне, арлекины, турки
Теснятся, бегают кругом.
Какой шум, крик, какой содом!
Но полночь бьет, и вмиг мазурки,
К отраде многих, начались.
Я взял Наташу. Понеслись
Мы с нею вихрем по паркету.
Часа три посвятив пикету,
Старушка мать явилась к нам.
Мазурки кончились, мы сели.
Разносят виноград гостям,
И яблоки, и карамели,
Оршад, и мед, и лимонад,
И пунш охотникам до рома.
Почтеннейший хозяин дома
Всех угощать душевно рад.
Но что я вижу? В парике
И упираясь на клюке,
Подходит маска с длинным носом
И тотчас к матушке с вопросом:
«Давно ль сынок приехал твой,
И долго ль поживет он с нами?
Какой же молодец собой!
Подай мне руку, милый мой!
Мы были в старину друзьями»,
И вдруг мне на ухо шепнул:
«Я Валентин!» — и ускользнул.

Здесь Валентин, и в маскераде
В дурацком резвится наряде,
Подумал я, он шут большой
И до проказ охотник вечно.
Ко мне он будет? Рад сердечно:
Он добрый сослуживец мой.
В Наташу влюбится? Так что же?

Я в ней уверен, для нее
Я всех милее и дороже,
Открыто сердце мне ее.
Но вот уж солнца на восходе,
Московской повинуясь моде,
Пустились гости по домам;
По нашим вороным коням
Ямщик брадастый вмиг ударил
И скоро нас в село доставил.

ГЛАВА 4

Зима настала; снег пушистый
Покрыл и холмы, и луга;
И пышной Волги берега
Освещены луной сребристой.
Летит на тройке удалой
К нам гость доселе небывалый,
Князь Пустельгин, плясун лихой,
Охотник псовый, добрый малый,
Хотя немного и болтлив.
Гусаром будучи, военной
Он как-то службы невзлюбив,
В Московский перешел архив.
Богатый дядя и почтенный
Каким-то случаем ему
Чин камер-юнкера доставил;
В прибавок старичок к тому,
Скончавшись, молодцу оставил,
Так сказать, pour la bonne bouche, [1]
В Саратове пять тысяч душ.
У предводителя на бале
С Наташей князь вальсировал
И даже ей на опахале
Экспромт какой-то написал,
Чувствительный и кудреватый,
Из антологии им взятый.
Итак, князь Пустельгин у нас:
Счастливый для старушки час!

[1] На закуску (франц.). — *Ред.*

Она в сердечном восхищеньи.
Федора и весь дом в волненьи:
Чем угостить? Что подавать?
Вот несут кофе с сухарями,
Витушками и кренделями.
«Прошу на гуслях поиграть, —
Наташе матушка сказала, —
Давно я очень не слыхала
Любимой песенки моей:
«Соловей, мой соловей!»
Наташа милая запела
Приятно, просто, как умела;
Я, бледный, близ нее стоял
И ноты ей перебирал.
«Прелестно, sur mon Dieu,[1] прелестно! —
С ужимкой Пустельгин сказал. —
И Булахов, певец чудесный,
Хотя в столице и живет,
Не лучше этого поет».
Потом, ко мне подсев поближе,
«Вы были, слышал я, в Париже, —
Промолвил он, — скажите нам,
Чем боле занимались там?
Каков Тальма в игре Ореста?
Приятна ли Менвьель-Фодор?
Вы всех их знали... Я ж ни с места
И нигде не был до сих пор;
Но я вояж предпринимаю,
И прямо в Рим. От скуки здесь
Скачу я по полям, порскаю
И в карты проигрался весь!»
Мы после вдруг заговорили
О новых книгах, о стихах
И модный романтизм хвалили.
«Хвала германцам! О чертях
Они понятие нам дали! —
Вскричал наш князь. — И доказали,
Что шабаш ведьм и колдунов,
Мяуканье и визг котов,

[1] Видит бог (франц.). — *Ред.*

Крик филинов и змей шипенье —
Прямое сцены украшенье;
И что «Британик», «Магомет»,
В котором чертовщины нет,
Ни всей прелестной, адской свиты,
Несносны, скучны, позабыты!..»

Что вижу я? Товарищ мой,
Романтик скромный, небольшой,
К вечернему столу явился.
«Насилу я освободился,
Мой друг Храбров, от скучных дел.
Разбойник, атаман Маркел,
Во всем перед судом открылся.
Пятнадцать лет назад тому
Случайно удалось ему
Ограбить барина с женою.
В коляске, позднею порою,
Несчастный ехал из гостей
С подругой доброю своей,
С дитятей, нянею, слугою.
И с грозной шайкою злодей
На них напал. Все пали мертвы.
Но дочь, младенец двух годов, —
Сам бог ей, видно, был покров, —
В живых осталась, и сей жертвы
Всесильный не хотел принять:
Злодеи на нее поднять
Рук кровожадных постыдились,
Хотя, оставив под кустом,
Они с добычей удалились;
И утром, ехавши верхом,
Священник, говорят, почтенный
Нашел ее и, пораженный
Младенца ангельской красой,
Отвез ее в кров мирный свой...»

«И вот она!» — старушка закричала,
Наташа в обморок упала;
Я в трепете ее держал
И в чувство привести старался.

Весь дом на помощь к ней сбежался,
А камер-юнкер ускакал,
Увидев общее смятенье
И хлопоты и огорченье.

⟨1828—1829⟩

278. К А. С. ПУШКИНУ

Поэт-племянник, справедливо
Я назван классиком тобой!
Всё, что умно, красноречиво,
Всё, что написано с душой,
Мне нравится, меня пленяет.
Твои стихи, поверь, читает
С живым восторгом дядя твой.
Латоны сына ты любимец,
Тебя он вкусом одарил;
Очарователь и счастливец,
Сердца ты наши полонил
Своим талантом превосходным,
Все мысли выражать способным.
«Руслан», «Кавказский пленник» твой,
«Фонтан», «Цыганы» и «Евгений»
Прекрасных полны вдохновений!
Они всегда передо мной,
И не для критики пустой.
Я их твержу для наслажденья.
Тацита нашего творенья
Читает журналист иной,
Чтоб славу очернить хулой.
Зоил достоин сожаленья;
Он позабыл, что не вредна
Граниту бурная волна.

⟨1829⟩

279. К В. А. ЖУКОВСКОМУ

Товарищ-друг! Ты помнишь ли, что я
Еще живу в сем мире?
Что были в старину с тобою мы друзья,

Что я на скромной лире,
Бывало, воспевал талант изящный твой?
Бывало, часто я, беседуя с тобой,
Читал твои баллады и посланья:
Приятные, увы, для сердца вспоминанья!
Теперь мне некому души передавать:
С тобою, В⟨яземски⟩м, со всеми я в разлуке;
Мне суждено томиться, горевать
И дни влачить в страданиях и скуке.
Где Б⟨лудо⟩в? Где Д⟨ашко⟩в? Жизнь долгу посвятив,
Они заботятся, трудятся;
Но и в трудах своих нередко, может статься,
Приходит им на мысль, что друг их старый жив.
Я жив, чтоб вас любить, чтоб помнить всякий час,
Что вас еще имею;
Благодаря судьбу, я в чувствах не хладею.
Молю, чтоб небеса соединили нас.

9 января 1830

280. А. С. ПУШКИНУ

Племянник и поэт! Позволь, чтоб дядя твой
На старости в стихах поговорил с тобой.
Хоть модный романтизм подчас я осуждаю,
Но истинный талант люблю и уважаю.
Послание твое к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер.
Ты остроумие и вкус его имеешь
И нравиться во всем читателю умеешь.
Пусть бесится, ворчит московский Лабомель:
Не оставляй свою прелестную свирель!
Пустые критики достоинств не умалят;
Жуковский, Дмитриев тебя и чтут и хвалят;
Крылов и Вяземский в числе твоих друзей;
Пиши и утешай их музою своей,
Наказывай глупцов, не говоря ни слова,
Печатай им назло скорее «Годунова».
Творения твои для них тяжелый бич,
Нибуром никогда не будет наш москвич,
И автор повести топорныя работы
Не может, кажется, проситься в Вальтер Скотты.

Довольно и того, что журналист сухой
В журнале чтит себя романтиков главой.

Но полно! Что тебе парнасские пигмеи,
Нелепая их брань, придирки и затеи!
Счастливцу некогда смеяться даже им.
Благодаря судьбу, ты любишь и любим.
Венчанный розами ты грации рукою,
Вселенную забыл, к ней прилепясь душою.
Прелестный взор ее тебя животворит
И счастье прочное, и радости сулит.
Блаженствуй, но в часы свободы, вдохновенья
Беседуй с музами, пиши стихотворенья,
Словесность русскую, язык обогащай
И вечно с миртами ты лавры съединяй.

Июль 1830

А. И. МЕЩЕВСКИЙ

Биография Александра Ивановича Мещевского (1791—1820?) нам почти неизвестна. Он принадлежал к кружку поэтов Московского университетского пансиона. В 1809 году появилось его стихотворение «Уединение» в хрестоматии трудов пансионских питомцев,[1] а в 1810 году — несколько стихотворений в «Вестнике Европы», журнале, в эту пору тесно связанном с пансионом и университетом. В 1812 году он добровольно вступил в армию и при неясных обстоятельствах был вскоре разжалован в солдаты навечно и сослан на Урал. Причины столь суровой кары до сих пор неизвестны. Сам Мещевский в письме к П. А. Вяземскому изъяснялся туманно: «Вы благородны — этой доверенности довольно, чтобы избавить меня от жестокого смятения, — не имею нужды тронуть Вас оправдательными причинами моего поступка, когда могу сказать Вам, что я *доволен моими чувствами*... Четыре года несчастия заплатили уже моей бедственной опрометчивости — я нахожусь рядовым в Оренбургском гарнизонном полку — в бумаге сказано: *разжалован навсегда*».[2]

Неясно, идет ли здесь речь о самовольной отлучке из полка или только о прошении об отставке, что в военное время, при конфликте между семнадцатилетним поэтом и полковым начальством, могло быть сочтено тяжелым дисциплинарным проступком. С 1816 года Мещевским заинтересовались арзамасцы. О нем стали говорить как о «приемыше Арзамаса», и Жуковский, видимо знакомый с ним еще по пансиону, стремился вызвать во влиятельных арзамасцах сочувствие к ссыльному поэту. А. И. Тургеневу он писал: «Надобно помнить и о том, что ближе к «Арзамасу» — Мещевский в Сибири, а вы,

---

[1] «Избранные сочинения из „Утренней зари“», ч. 1, М., 1809.

[2] Цит. по ст.: Н. А. Роскина, Новое о поэте А. И. Мещевском. — «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, М., 1956, с. 538.

друзья, очень весело поживаете в Петербурге». [1] К хлопотам был привлечен и Карамзин, писавший Жуковскому: «Оренбургский поэт (как человек, и молодой человек), без сомнения, достоин жалости; но как вмешаться в *дело, которого не знаем*?» [2] С 1817 года энергичное участие в хлопотах принимал П. А. Вяземский. В пользу Мещевского делались денежные сборы, правда, видимо, не давшие ощутительных результатов; под криптонимом А. М. были опубликованы поэмы «Марьина роща» и «Наталья, боярская дочь». Мещевский прислал Жуковскому и Вяземскому два рукописных сборника для подготовки издания стихотворений, с чем, очевидно, связывались надежды на прощение его как уже известного поэта. Хлопотам не суждено было увенчаться успехом. Самое имя Мещевского служило преградой для печати — правительство с упорством отвергало все ходатайства за него.

Нуждающийся и больной, несущий все тяготы казарменной дисциплины, Мещевский стал жертвой скоротечной чахотки и скончался, видимо, в 1820 году. Все сведения о нем к этому времени прекращаются. Подготовленный к печати сборник не был опубликован. [3]

Издание стихотворений А. И. Мещевского:

«Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 104, Тарту, 1961, с. 277.

281. НА СМЕРТЬ В. А. ГАББЕ

Его уж для сердец осиротевших нет!..
Едва святая страсть зажгла светильник брачный,
Едва произнесла супружеский обет,
Как мирт любви упал под кипарисы мрачны!..

Судей таинственных незыблемый закон!
Вотще угрюмых парк друзья о нем молили,
Вотще был детский вопль, супруги горький стон —
Добычи роковой они не искупили!..

---

[1] «Русский архив», 1867, стлб. 811.

[2] Цит. по кн.: А. Н. Соколов, Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века, М., 1955, с. 257.

[3] Хранится в ГПБ. Авторство Мещевского установлено нами по почерку.

Давно ль в толпе смертей, чужбины на полях,
Ты лавры пожинал, храним благой судьбою?
Давно ли ты приник, по доблестных трудах,
У дружбы и любви под кровлею родною?..

Как зеркало ручья, светлел твой жизни ток!
Как пальма юная цветет, краса долины,
Ты цвел красой любви... Но грянул тайный рок:
Тоска безбрежная в семье — твой след единый!..

Так быстро пронеслись златые счастья дни!
Давно ль супруг, отец, ты взор подруги милой
Ловил, восторженный, в семейственной тени?
Давно ль?.. Но нет тебя! Ты ранней взят могилой!

Давно ль страдальцам нужд, с веселием очей,
Рукой незримою ты лил благотворенья?
Давно ль, вдовицы щит и матери детей,
Ты их отрадные внимал благословенья?..

Увы! Они теперь на гроб твой их несут!
О друг незримый их! Могилы за пределом
Обетами сердец они тебя найдут!..
Боготворившего и там — венец уделом!

Но здесь, в юдоли трат, что друга заменит
Супруге, матери... во цвете сиротою?
Что первой страсти жар, цвет жизни воскресит
В душе тоскующей, исполненной тобою?..

Вотще блестящую слезу в ее очах
Стремится осушить завистливое время:
Ты спутником живым во всех ее мечтах,
Тобой, печальная, подъемлет жизни бремя!

Безвестно ей, когда зарю ее ланит
И тихий блеск очей отдаст воспоминанье!
Ах! Сердце скорбное в могиле замолчит!
В могиле по тебе забудет трепетанье!

Младенцы сирые, залог любви святой,
Подобием твоим, быть может, оживятся...

Воскреснет в их устах и сладкий голос твой,
Воскреснет дар — душой прелестной возвышаться...

Быть может... Но тебя для матери их — нет!
Нет для тоскующей супруги — невозвратно!..
О, страсти пламенной отторженный предмет!
Когда взывание к тебе за гробом внятно,

Когда супруги вопль, сирот твоих младых
И горестных друзей — тебе еще любезны,
Склонись с улыбкою на дол с зыбей святых,
Где праху твоему приносят дани слезны!..

Ударит и для них разлуки грозный час —
И в нем таинственно сокрыто съединенье!..
И если жар к тебе и здесь в них не погас,
Отшедший друг их! — там — безвестно измененье!

1814

282. ПРИСУТСТВИЕ МИЛОЙ

Тобой я полн, когда огонь денницы
Блистает мне в стекле далеких волн;
Как месяц спит в потоках бледнолицый,
Тобой я полн.
Тебя я зрю — как пылкой пеленою
Подернет ветр вечернюю зарю;
Как странник путь стремит глухой порою,
Тебя я зрю.
Твой слышу глас, когда, с глухим стенаньем,
Встает волна, о дикий брег дробясь;
В тени дубрав, окинутых молчаньем,
Твой слышу глас.
Твой спутник я: вблизи, вдали — с тобою,
С моей душой сливается твоя.
Приди — уж ночь... и месяц — над горою...
Твой спутник — я.

Между 1815 и 1818

283. РОМАНС ЭДАЛЬВИНЕ

Невольник слез — и ночь, и день, —
Тяжелый посох кину...
Прими меня, могилы тень,
Ты скрыла Эдальвину!..

Как лилия — краса полей,
Древ верных в обороне,
Так дева красотой своей
Цвела любви на лоне.

И грудь прелестной белизной
Снег юный помрачала,
И нега с кротостью златой
В очах ее блистала!

И в девственных пылал устах
Огонь зари румяной,
Как светлого ручья в волнах
Играет день багряный!

И голос девы сладок был,
Как тихих струй журчанье!
Он в душу прелесть жизни лил,
Любви очарованье!

Но мертв чарующий сей глас,
Грудь верна охладела!..
Златой огонь очей угас,
Любовь осиротела!..

Навек затмила блеск ланит
Могила отдаленна!..
Ах! Крепко Эдальвина спит
До утра сокровенна...

Невольник слез — и ночь, и день, —
Тяжелый посох кину...
Прими меня, могилы тень,
Ты скрыла Эдальвину!..

Между 1815 и 1818

284. ЭДВИН[1]

«Эдвин! Лоре нет возврата!
Верной, горестной сестрой
Обниму в тебе я брата...
Нет любви для нас иной.
Оттенит тебе долина
Тихий лик мой при луне,
Но слезящий взор Эдвина
Непонятен будет мне!»

И, безмолвен, Эдвин внемлет
Мрачный сердцу приговор...
Деву грустную объемлет —
И прощальный брошен взор!
Брани спутника седлает —
И со знаменем креста
В край неверных поспешает
Мстить за пленный гроб Христа.

Оглашала Палестина
Громкой юношу молвой!
Путеводный шлем Эдвина
Веял бурей роковой!
Мышцы, верой окрыленной,
Мусульманин встрепетал,
Но в душе Эдвина пленной
Бой тоски не врачевал!

Год — он ратает чужбины!
Год — тоска его гнетет!
Крестоносцев от дружины
Тайно Эдвин отстает —
На корабль! Чужбины моря
Мчат его к брегам родным!
Он в отчизне. Мчится к Лоре!
Стукнул в замке пилигрим.

И — ворота отворились...
И слова, как тихий гром,
Вещей встречей разразились:

---

[1] Вольный перевод баллады Шиллера.

«Странник, тих и пуст наш дом!
К Лоре не сюда дорога,
Лора нас отчуждена
И вчера невестой бога
Под убрус посвящена!»

Ах, тебя не утешает
Замок отческий, Эдвин!..
Меч-каратель покидает
И коня — стрелу долин...
И, отдав златой деннице
Тихий странника привет,
Юный Эдвин в власянице
В путь — как труженик идет!

Зрит в пути обитель Лоры,
Темны липы вкруг цвели!
Ставит келью, где бы взоры
Зреть затворницу могли...
И с утра до поздней ночи
С упованьем на лице
Устремлял в обитель очи,
Сидя кельи на крыльце.

И когда окно звенело
В келье Лоры в час луны,
И Эдвин осиротелый
Средь полночной тишины
Зрел на светлый дол склоненный
Лик возлюбленной своей,
Тихий, ясный, умиленный —
Как заря весенних дней, —

Сон спешил страдальца вежды
Утомленны оковать —
Сладкий, с прелестью надежды:
Завтра Лору увидать!
И сидел он дни и годы;
И окна он слышал звук —
Без душевной непогоды,
Без тяжелых прежних мук.

Спит обитель!.. В келье Лоры
Не звенит еще окно...
Дол, и лес, и холм, и горы —
Ночью всё омрачено.
Вдруг свет месяца разлился...
Мертвой Лоры лик в окне,
Бледный, тихий, отразился,
Как в полночном, сладком сне!..

Между 1815 и 1818

285. К КЛАССИКУ БАВИЮ

«Будь краток!» — ты твердишь. Послушности в задаток
Скажу: «Молчи! Ты глуп!» — довольно ли я краток?

Между 1815 и 1818

286. В АЛЬБОМ Ф. И. Г.

Поет ли громко соловей,
С родной дубравой разлученный,
Журчит ли сладостно ручей,
Дыханьем бури увлеченный, —
И мне ль альбомы украшать?..
Давно забыт я богом лиры;
Молчание и чувств печать —
Тебе мой отголосок сирый.

Между 1815 и 1818

287. ПЛОВЕЦ

Схвачен бурей жизни цвет!
Для души осиротелой
Нет надежды, мира нет!
Сердце — спутник онемелый!

С неприязненной волной
Челн бежит в дали безбрежной...
Ближе камень роковой,
Дале берег безмятежный!..

Где стезя знакомых благ?
Где звезда-путеводитель?
Скрылись... в бездну сделан шаг!
Стихнул голос-утешитель!

Неприязнен прах возник!
Челн стрелой! Немеют силы...
И в пучине жадной клик
Обреченного могиле!..

И могуч губитель-глас...
И пловец — в борьбе с волною!
И в волне последний час
Отлететь готов с душою!

Вдруг простерся дивный свет
Над враждующей стремниной...
Реет в блеске дева-цвет
И мирит пловца с пучиной!..

Он на бреге — свет потух...
И пропал вожатый милый!
И пловца внимает слух:
«Я твой спутник до могилы!..»
. . . .

Дева-ангел, спутник мой!
Ах! я найден провиденьем!
Целый мир в тебе одной
Я вместил души веленьем!..

Между 1815 и 1818

288. СЕТОВАНИЕ

Нет его! Он взят могилой!
Незнакомец — вдалеке!..
Не предчувствия ли силой,
Дева, платишь дань тоске?
Берег жизни покидая,
Нес он грусть твою с собой,
И слеза твоя златая
Другу — спутник гробовой!..

Иль в душе осиротелой
Отозвался вещий глас:
«Ты одна в природе целой!
Спутник дней твоих — угас! ..»
Тайных чувствий разуменье
И обет, сокрытый в них,
В чашу рока — наслажденье
Лили в цвете дней твоих.
И когда тоской безмолвной
Омрачался девы лик,
Друга взор, привета полный,
Заглушал предчувствий клик...
«Дева! Я еще с тобою! —
Тайный глас к тебе взывал. —
И вожатый мой к покою,
Гроб меня не окликал...
Скоро он меня окликнет! ..
И потухнет блеск ланит...
Полный скорби, взор поникнет,
Смерти сон его смежит!
Скоро!» — и рука недуга
К гробу юношу свела!
Плод обета, праху друга
Дева слезы в дань несла! ..
Но почто души страданье,
Сердцу близкого привет? ..
С другом-юношей расстанье
Омрачило девы цвет...
Иль природы глас внимало
Сердце силой тайных уз?
И незримо оживляло
Непостижный свой союз? ..
Дева! плачь — ты сиротою! ..
Ты чужда уже утрат!
Друг, оплаканный тобою,
Друг единый — был твой брат! ..
Бытие одна утроба,
Дети нужды, вам дала! ..
Дева, плачь! в объятьях гроба
Ты родное обрела.

Между 1815 и 1818

289. ЛИЛА

До клика петухов — в полночь,
Покинув мглу могилы
(Страшна жильцов могилы мочь!),
Тень обрученной Лилы

Услада в свадебный покой,
Где спал краса-предатель,
Прокралась с золотой луной, —
Бесплотный прорицатель!
Поблеклый розмарин в руках,
Крестом к груди прижатых;
И камень — грудь! И нет в очах
Огней — к душе вожатых!..
Как лилии — уста ея!
Как мертвый снег — ланиты!
И кудри, бледну грудь тая,
Не зыблются, развиты!
Ах! некогда равнял Услад
(Лесть клятвы ненадежной!)
С лилеей — грудь и с небом — взгляд,
Ланиты — с розой нежной...
И с Лилой обручен, — другой
И сердце дал, и руку!
И Лила отцвела тоской...
Гроб прервал девы муку!
«Спишь, милый, иль забыт ты сном?
Будь крест нам настороже!..
Со мной — на ложе гробовом!
С тобой — на брачном ложе!..
Отверсты гробы в ночь теням —
И грозно их явленье!
В них робко мстящим небесам
Внимает преступленье!..

Но ты, Услад, ты не страшись
Вещателей могилы!
Любить, любя — прощать учись
У пре́зренной ⟨ты⟩ Лилы!

Услад! ты клятв не пощадил...
Вот перстень обручальный.
Но брачную свечу сменил
Мой факел погребальный.

И пламенной любви моей
И гроб не исцеленье!
И в мрачной области теней
Бежит ее забвенье!

Услад блаженство неба пил,
Мои встречая взоры;
И рано их слезам учил
Болезненной укоры!..

В ланитах вображал моих
Огонь златой денницы;
И претворил изменой их
В лилеи бледнолицы!..

И сердце девственно просил:
Моленье страсти — внято!
И рано сердце умертвил
Любовию крылатой!..

Услад! взгляни на тень мою!
Узнаешь ли, виновный,
В ней деву прежнюю твою,
Жилицу мглы безмолвной?..

Мой спутник — червь, убрус — наряд,
И тьма — покровом Лилы,
И смерти неприязнен взгляд,
И ночь долга могилы!

Спишь, милый, иль забыт уж сном?
Будь крест нам настороже!
Со мной — на ложе гробовом!
С тобой — на брачном ложе!..

Услад! хоть раз прийди ко мне,
Страдалице забытой!
Ах, мрачен дом мой — в глубине,
Изменою изрытый!..

Над домом незабудка-цвет,
Отшельник в мертвом поле,
Слезы Услада жадно ждет,
Чтоб цвесть весною доле!..

Луч страсти прежней не потух:
Как цвет с весной возникнет.
Прости, Услад! кричит петух!
Свиданье нас окликнет!»

Между 1815 и 1818

290. СЕЛЯНИН

О, дивно блажен, кто, оковы
Откинув градской суеты,
Склонился под сельские кровы!
Там мудрость, улика мечты,

Содружна с природой благою,
И шепотом темных дубров,
И тихо журчащей волною,
И сладким дыханьем цветов

Счастливцу себя возвещает!
Сень тополов — храм мудреца;
И дерн алтари посвящает:
На нем славословит творца!

Задумчивой ночи певицей
Он к сладкому сну провожден,
Он Филомелой с денницей
К полезным трудам пробужден!

Приметен час утра в долине!
Восхищенный духом, он зрит,
Как солнце холмов на вершине,
Творца провозвестник, горит!

При бреге потока, на злаке,
Блестящем вечерней росой,
Пьет липы душистой во мраке,
Дыханье лилеи златой!

На кровле соломенной внемлет
Порханью любви голубей;
Под сладким их говором дремлет
Беспечней любимцев царей!

С священною думой о тленьи
Блуждает вечерней порой
В безмолвном усопших селеньи,
С настроенной к смерти душой...

Зрит мрамор с святым поученьем:
«Смерть с духом веселья встречать».
Зрит пальму с святым утешеньем,
Бессмертья и веры печать!

. . . .

Того серафим в колыбели
Небес благодатью повил,
Кто с голосом сельской свирели
Младенческий клик согласил.

Между 1815 и 1818

291. К НАДЕЖДЕ—МОЛОДОЙ, ПРЕЛЕСТНОЙ ДЕВУШКЕ

Нет, рано дней моих светило угасает!
Нет, рано рок судил мне чашу скорби пить!..
Надежды лишена, душа моя страдает...
Я б мог Надеждой счастлив быть!

Печальным странником среди дали безбрежной,
Где ж посох наконец могу я преклонить?..
Надежду потеряв, гроб вижу неизбежный!
Я б мог Надеждой счастлив быть!

Ах! всё, что льстить могло, — в заре моей увяло!..
Знакомых сердцу благ уже не возвратить!
Надежды, божества — изгнаннику не стало!..
Я б мог Надеждой счастлив быть!

Богатства, и венцы, и блага всей вселенной!
Венца души моей вам всем не заменить!..
Надежду потеряв, увяну обольщенный...
Я б мог Надеждой счастлив быть!

Так, если рок судил мне жертвой быть могилы
Безвременно... готов веленье рока чтить!..
Надежду потеряв, души теряю силы...
Я б мог Надеждой счастлив быть!

Между 1815 и 1818

292. РОМАНС АПОЛОНИЯ

Слышишь голос лебедей —
Лоры смертную предтечу!
Встань, креста товарищ, встречу
Юной спутницы моей.

Слышишь, лютня зазвучала:
И струны волшебней нет!
Лора — бога у зерцала!
Лора — горний видит свет!

Встань — к одру нам краткий час;
И предчувствие — вожатый!
О вещун — певец крылатый!
О губитель — лютни глас!

И с тоскою — руку в руку —
К Лоре братия идут;

И на праге — с ней разлуку
В песнях гроба узнают. . .

. . . .

Мрачен был природы лик,
И дубрав пустынный житель,
Уклонясь молитв в обитель,
Вторил ворон вещий клик. . .

И с природой инок страстный,
Сирый сердцем, угасал,
И над жертвою несчастной
Гробный месяц скоро встал. . .

Между 1815 и 1818

М. А. ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ

Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790—1863), потомок старинного рода смоленских князей, считал себя по прямой линии происходящим от Рюрика. Род Дмитриевых-Мамоновых утратил богатство и знатность (восстановления княжеского титула Мамоновы добились лишь накануне Февральской революции), но после того, как отец будущего декабриста в течение краткого времени был фаворитом Екатерины II, Мамоновы получили графское достоинство и сделались одной из богатейших семей России.

М. А. Мамонов получил блестящее домашнее образование и быстро продвигался по служебной лестнице. Богатство, родство с министром юстиции поэтом И. И. Дмитриевым, прочные связи в самых высоких сферах петербургской бюрократии и московского барства гарантировали ему блестящую карьеру: семнадцати лет он был камер-юнкером, а двадцати — обер-прокурором шестого (московского) департамента сената.

В то же время М. А. Дмитриев-Мамонов жил напряженной духовной жизнью. Внутренняя неудовлетворенность, поиски истины и общественной деятельности привели его к масонству. [1]

В 1812 году в зале Московского дворянского собрания Мамонов произнес блистательную патриотическую речь. Текст ее не сохранился, однако в черновиках повести Пушкина «Рославлев» имеется конспективная запись этой, по мнению Пушкина, «бессмертной речи»: «У меня столько-то душ и столько-то миллионов денег. Жертвую отечеству». [2] Мамонов пожертвовал отечеству все свое огромное состояние и снарядил на свои деньги и из собственных крестьян казачий полк, во

---

[1] Есть основания думать, что определенные черты облика Мамонова этих лет отражены в образе Пьера Безухова.

[2] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 8, кн. 2, 1940, с. 734.

главе которого в чине генерал-майора проделал зимнюю кампанию 1812 года, но во время заграничного похода был уволен в отставку.

После окончания Отечественной войны 1812 года М. А. Дмитриев-Мамонов сблизился с М. Орловым, Н. Тургеневым и, видимо, М. Н. Новиковым. Около 1815 года им было организовано конспиративное общество «Орден русских рыцарей» — преддекабристская организация политического характера, в программу которой входил захват власти и широкий план реформ. Неудовлетворенность тактикой «Союза благоденствия», видимо, побудила Мамонова и Орлова наметить план активных действий. Мамонов, запершись в своем подмосковном имении Дубровицы и окружив свое пребывание полной тайной, начал строительство укрепленного лагеря с крепостными стенами и артиллерией на расстоянии менее чем дневного перехода до Москвы. Орлов в то же время пытался получить дивизию в Нижнем Новгороде. О плане похода из Нижнего в Москву говорит также интересная деталь: в укрепленном поместье Мамонова хранились знамя Пожарского и окровавленная рубашка царевича Дмитрия, — конечно, не как музейный реквизит: первое раскрывает план военной кампании, вторая — мысль о ничтожности прав Романовых на престол. Правительству был подан донос. В результате Орлов был отстранен от командования и отдан под суд, а к Мамонову в Дубровицы был прислан шпион, после чего графа арестовали, привезли в Москву и подвергли домашнему аресту в собственном дворце, где он и находился до воцарения Николая I. Следствие по делу Мамонова не было приобщено к главному процессу и велось отдельно. Находясь под домашним арестом, Мамонов отказался присягать Николаю I, после чего он был объявлен сумасшедшим, заключен в задней комнате своего дворца под надзором полицейских агентов и подвергнут принудительному лечению. Вскоре он действительно сошел с ума. Долгие годы он провел не видя никого, кроме шпионов, тюремщиков, запертый в собственном дворце, заботясь о голубях и трогательно воспитывая единственное допущенное к нему лицо — мальчика-идиота из числа его дворовых. Скончался он в 1863 году от несчастного случая. [1]

Сочинения Дмитриева-Мамонова, публиковавшиеся в «Друге юношества», никогда не перепечатывались.

---

[1] См.: Ю. М. Лотман, М. А. Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 78, Тарту, 1959.

293. ОГОНЬ

И видех небо ново и землю нову;
первое бо небо и земля первая преидоша.

Апокалипсис, глава 21, ст. 1.

Корона и душа вселенной!
Сок, кровь и семя вещества!
Огонь — в нем тайно сокровенный
Тип и дыханье божества!
Нечистое, Огонь, ты гложешь,
А чистое украсить можешь,
И всё собой объемлешь ты!
На солнце и в луне сияешь,
Из недр земли дождь искр кидаешь,
Отец и чадо чистоты.

Тобой творится всё в Природе
И без тебя ничто же есть;
Течешь в мужах из рода в роде,
А чрез жену живишь ты персть.
Тебя измерить невозможно,
Исчислить и хватать не можно,
Ты диво мудрых и очес!
Огонь — стихия Серафима!
Стихия, ангелом любима!
Прекрасный первенец небес!

Ты воды осенил крылами,
Когда лежал на безднах мрак!
Ты воздух алыми зарями
Венчал, явив свой миру зрак!
Парил в хаосе ты покоен,
Когда сей мир был не устроен;
Ты — ты ему движенье дал!
Ты древле сближен был к Аэру.
Но, спущенный на дольню сферу,
Ты жег, пылал и пожигал.

Ты страшен, Огнь, с свинцовым громом,
В сгущенных серых облаках
На крыльях ветреных несомом,
Во пламенных мечах, браздах;

Еще страшнее в жерлах медных,
В десницах воинов победных;
Тогда ты жнешь людей как цвет,
Летает смерть перед тобою
И острою своей косою,
Ударом тмит в глазах их свет.

Но ты ж бываешь благотворным
И служишь смертным так, как раб;
Тогда ты действом чудотворным
И мир преобразить не слаб —
Ты тело наше в холод греешь,
Варишь нам пищу — жизнь в нас сеешь,
В кремне сокрытым ты лежишь.
Теперь сокрыт ты в зверях, в травах,
А явен токмо в жупле, в лавах,
В Везувии столпом стоишь!

Тебе Халдея и Колхида
Курили вечный фимиам,
И в храмах светла Озирида
Ты сопричислен был богам.
У Весты чистой во притворах,
У мудрых в тайных их соборах
Ты чтишься божеский залог!
Тебя любимец муз возносит,
К тебе восторг свой он относит
И мнит — едва ли ты не бог!

Ты чист, прозрачен, ясен, силен,
Удобен множиться стократ,
В себе самом велик, обилен,
Без чуждой примеси богат.
Пожары многие таятся
В малейшей искре — и плодятся
От воли собственной твоей.
Ты всем, ты всем, Огонь, владеешь,
Ты скиптр над тварями имеешь,
Твоя порфира — ткань лучей.

Теперь тебя кора скрывает,
Кора согнитья обняла!

Твой свет внутри теперь сияет,
Извне же грубые тела.
По всей натуре тьма развилась,
И кара силы божьей скрылась,
И свет натуры помрачен.
Но некогда ты уз лишишься
И жрущим в ярости явишься —
И победишь и смерть и тлен!

Тогда сей мир исчезнет тленный,
Как дым кадильный, как мечта,
И в мир изящнейший, нетленный
Отверзутся тобой врата.
Лазурь небес как плащ совьется,
Как пыль со стогнов он повьется,
Предстанут радужны дуги —
Земля как злато расплавленно,
И в море стклянно погруженно,
И в пурпур звездные круги.

Тогда Огонь всю твердь обнимет,
Воссядет на зодьяков трон,
Существ поверхности проникнет
Сафир, смарагд и халкидон;
Луна и солнце постыдятся
Пред светом сим — и съединятся
В одно светило навсегда;
Проклятья область упразднится,
Открытно — ясно нам явится
Натура тайная тогда.

Вся тварь тогда возликовствует
О Рекшем Слово живота;
Взыграет — и восторжествует
Субботу света — слепота!
Вольется и конец в начало,
И всё, что будет и бывало,
Рекою в вечность протечет;
Проглянет вечности денница,
Поглотит числа Единица,
И невечерний узрим свет.

⟨1811⟩

294. ВЕЩАНИЕ ПРЕМУДРОСТИ О СЕБЕ

Из книги Премудрости Сираха

ГЛАВА 24

Аз уст господних слово сильно;
Из них от века я исшла,
Покрыла землю мглой обильно
И на высокия взошла;
Во облачном столпе воздвигла
Себе незыблемый престол,
Круги небесные подвигла
И с гор сошла в глубокий дол.

Стужах народы и языки,
Я упокоилась как царь,
Прияла благодарны лики
И привлекла к себе всю тварь.
Тогда мне бог сказал: вселися
В Иакове! наследствуй ми!
У скинии возвеселися,
Завет пред всеми рцы людьми!..

Он создал мя в начале света,
И аз не оскудею им,
Но будто некая планета
В Сионе послужу пред ним.
Во граде божьем утвержденна,
Как корень власть в земле моя;
Я честь господня! Вся вселенна
Почтет со трепетом меня.

Я вознеслась, как кедр Ливана,
Как на Эрмоне кипарис;
Как финикс в взморье океана,
Облéклась я в червленость риз;
Как розами весной украшен
Во Ерихоне злачный бор;
Цвела, как масличник прекрасен,
Росла, как рос высок явор.

Как асфалакса ароматы
Благоуханье в воздух льют,

Как мастики из кубы златы
Воню приятну издают,
Или как с жреческа кадила
Пред алтарем душистый дым —
Так благовонье я точила,
И утешалася я им.

Как теревинф распространяет
Далече ветвия свои
И тению их наполняет
Бугры, лужайки и струи,
Так я ученье распростерла
И ветви разума дала,
Я ветвь за ветвию простерла,
И благодать произросла.

Мой цвет и лист есть плод богатства,
И славы порожденье он;
Мной гибнет ложь и святотатство
И укрепляется закон.
О вы, что жажда просвещенья
Алканье разума ведет,
Во области благословенья
Мой глас вас всех к себе зовет.

Придите вси и просветитесь
Лучом пронзающих сих слов!
Упейтесь вси и насытитесь
От сладости моих плодов!
Мои уроки меда слаще,
И дар мой вкусен яко сот;
Кто от него вкушает чаще,
Вкушать тот взалчет в род и род.

Кто испытать меня желает,
Тот велий свет в себе зрит сам,
Тот нову жизнь приобретает,
Подобен светлым тот духам.
Он чтет во книге всех судьбины
Обеты вышнего земле, —
В ней знаний дивнейших пучины
И тайны скрыты как во мгле.

В ней Моисеевы законы,
Что духом божьим он писал;
Иаковли прияли сонмы,
Что бог в наследие им дал;
Из книги сей витийство льется,
Как в новоплодии Евфрат,
Когда поверх брегов несется
И класы сельные шумят.

Никто понять ее не может
И чудеса ее повесть —
Она гадания поможет
Решить и смысл их исповесть;
Ибо как бездны океана
Бездонны — так ее совет
И мысль, от горних излиянна,
Обширна и красна как свет.

Аз мудрость — из меня рекою
Науки все проистекли,
Во мне оне — златой струею
Из рая искони текли,
И умственны луга и сады
Их окроплялися водой,
Сердец сокрыты вертограды
В них утоляли жажду в зной.

Подобно утренней Авроре
Я мир пресветло освещу,
Науки истинной я вскоре
Зажгу нетленную свещу;
Я в тайну всех вещей проникну,
Узнаю скрытный их союз;
В востоке я зарей изникну
И тварь освобожду от уз.

Прозрю я в вечность, как пророки,
И будуще узнаю днесь.
Познаний реки и потоки
Пролью на мир я щедро весь;

Внесу я луч на запад мира —
И водворюся даже там,
Где понт касается эфира,
И паки взыду к небесам.

⟨1811⟩

295. ИСТИНА

Призраки суетные славы,
Подвластны року красоты, —
Раздор, обманчивы забавы,
Сыны порока и тщеты!
Бегите, полчища презренны,
От мест, где, свыше вдохновенный
И духом силы предводим,
Хощу я лжи попрать расколы,
Воздвигнуть Истине престолы
И ей греметь победный гимн!

А ты, о дщи перворожденна
Небес любезных и благих,
Вещай, о Истина священна,
И мой исполнь собою стих!
Тебе прилично и пристойно,
Тебе, великая, достойно
Вещать самой себе хвалу!
Вещай — и злиться злый престанет;
Вещай — и в мире сект не станет,
И ложь падет в кромешну мглу.

Вещай — и слабых предрассудки [1]
Иссякнут силою в умах,
И не дерзнут считать за шутки
Закон, начертанный в сердцах!
И добродетель, злом попранна,
Тобою пальмами венчанна,
Восстанет в новой красоте;

---

[1] Здесь разумеются предрассудки, религиозным или политическим фанатизмом порождаемые, кои мешают быть истинным поклонником божества и здравым членом политического тела. Таковых предрассудков весьма много. Секторы сооружают из них системы, дивящие чернь.

Погибнет месть, исчезнут брани,
С сердец сберутся миром дани,
Дадутся узы клевете.

Когда фортуны горделивой
Игралищем бывает царь;
Когда на подвиг зла кичливый
Со трепетом взирает тварь;
Когда, как класы подсеченны,
Валятся царства разрушенны
Капризна[1] случая рукой;
Когда сильнейшим сильный тмится;
Когда вселенная дымится;
Падет и мошка и герой, —

Тогда ты, Истина, едина
На троне с славой восседишь;
Блага ль, строга ль к тебе судьбина,
Ты ею ввек не дорожишь;
В себе источник благ ты знаешь;
Ты в нем всечасно почерпаешь
Трапезы вечныя нектар;
В цепях и в узах ты велика;
Царям ты в хижине улика;
Глагол твой — Нерону удар!

Сколь беден, жалок и несчастен
Всяк смертный, счастием любим,
Твоим кто тайнам не причастен
И кем твой верный раб гоним;
Хотя в венце он восседает,
Хотя он бармами сияет,
Но бармы ложью не красны, —
И трон коль правдой не брежется,
От трона божья отженется:
Цари над нею не властны!

Но если, Истина любезна,
Возлюбишься царями ты,

---

[1] Я осмелился употребить сие слово потому, что оно кажется мне многозначащее *упрямства, своевольства.* О сем предоставляю судить пюристам и тонким знатокам французского языка.

Ты миру целому полезна,
Как солнце с синей высоты;
Как древле милая Астрея,
Людьми ты, милостью владея,
Куешь в орало грозный меч;
Сушишь ручьи ты слез и крови,
И в лоно вечныя любови
Велишь мильонам ты возлечь.

Тебя я чтил, о первозданна!
Лишь стал я мыслить начинать;
Ты токи света несозданна
Благово̀лила низливать
Струей живительной, нетленной
На мя, — и дух мой умиленный
К себе собой ты привлекла.
Когда блуждал я в мраке бедства,
Не знал от скорбей рабства средства,
Тогда *свободу*[1] ты рекла!

Рекла: «Ты волен! . .» и предстала,
Как в майский день весенний луч;
Предметы дальни озаряла
И воссияла в недре туч;
Твой зрак и ныне мне присущен,
Преславен, светел, вездесущен —
И не изгладится во мне;
Доколь в живых я нарекуся,
Доколь дыханьем наслаждуся,
Святой ты будешь вечно мне!

Я зрел тебя, лучи лиющу
На книгу таинств искони,
Живот и в смерти нам дающу;
Прошедши, будущие дни,
Посредства, действия, причины,
Послы послушные судьбины,
И самы помыслы сердец

[1] Здесь говорится не о политической свободе, бывшей поводом к столь ложным заключениям и породившей в прошедшем столетии те гибельные искры, кои возродились в ужасный для мудреца и для чувствительных сердец пожар. Здесь говорится о свободе моральной от уз страстей.

Окрест тебя все предстояли,
Твоих велений ожидали, —
И звездный твой блюли венец.

Ты в их соборе председала
И весила удел корон;
Ты суд и милость изрекала;
Сколь памятно! — я зрел твой трон:
На трех он солнцах был воздвижен,
Многоблистающ, неподвижен,
Как дивный яхонтовый храм;
От лепого сего престола
С превыспренних до низких дола
Исток устроен был лучам.

Виссон твой — утренне мерцанье,
А взор — улыбка божества;
Слова — перунно облистанье
Кристалловидна существа;
Твой скиптр планетам пишет круги,
Целит душевные недуги,
Волнам пороков повелит;
А ты, подобяся деннице
Иль юной некоей царице,
Убрусом свой прикрыешь вид. [1]

Таинственный омет положен
На солнцезарный образ твой,
И совопросник оный ложен
Увидеть не возможет той!
Но я молю — предстань мне ныне,
Пречистая, в бессмертном чине
Первоначальныя красы!
И се златятся зыби неба,
Закрылися врата Эреба
И скрылись Фебовы власы!

Я зрю. . . в пророческом виденьи. . .
Открыла молния эфир!

[1] Вид истины бывает прикрыт иногда убрусом символического, типического, мистического языка (Type-mythe), как то видим из Библии.

Вдали зрю райские селеньи
И чую кроткий с них зефир.
Внезапу звуки все престали...
Нисходит Истина с скрижали,
Неся к нам божьи письмена...
От них лучи потоком льются...
И в виде букв на сердце гнутся...
Померкли солнце и луна.

И се чтут людие господни
Глагол, истканный из лучей,
И с бездны ада преисподни
До дальнейших небес зыбей;
Глагол сей с страхом повторялся,
По сферам с звоном раздавался:
«Любите Истину, цари!
Раби, гласить ее дерзайте!
Ее все люди возлюбляйте!
И кончите, народы, при!»

Умолкло всё, и ... всё пропало!
И сфинкс лежит убит у врат, [1]
В эмблемах солнце воссияло
Светлее днешнего стократ; [2]
Загадки пирамид решились,
И смыслы тайные открылись
Служений Истине в душах.
Познайте ж, книжники надменны,
Уставы правды неизменны
И здесь, и в выспренних кругах!

Престани всякое служенье,
Которо Истине не в честь!
Проклятьем будь благословенье,
Которое нисслала лесть;
Алтарь днесь правде воздвигайся,

---

[1] Сфинкс был вратником таинственных египетских храмов.

[2] Истина и многоразличные смыслы и виды ее кроются в аллегориях, в баснях, в символах, в эмблемах, в иероглифах, в таинственных изображениях и изречениях, в загадках и проч. Сумма (summa summarum) разрешений оных составила бы всеконечно интеллектуальное солнце правды.

А тот отныне низвергайся,
На коем лесть пожрала лжи;
Правдолюбивые Платоны,
Мальбранши, Декарты, Невтоны,
Пишите правды чертежи!

Дух Истины, совета, силы!
Слети с божественных высот;
Слети и озари могилы,
Дыши в нас, осеняй народ;
Учи нас оправданьям вечным,
Ученьям мудрости сердечным;
Одухови наш плотский вкус, —
Да скажет нам в соборе славы
Твои пути, законы правы
Царю пресветлый чистых муз!

И как кристаллом расщепленный
Приятней луч в седьми цветах,
Да так глагол твой повторенный
Усилится в устах, в душах,
Велики породит деянья!
И как ночные рос влиянья
Удабривают кряж земли,
Да тако чрез твои уроки
Посохнут в нивах их пороки,
Сердца избавятся от тли!

Но вы, хвалою подлой звучны,
Любители кумирных благ!
Певцы, со златом неразлучны,
Лобзайте позлащенный праг!
Служители коварств, неправды!..
Уведайте, что гордость правды!
Как свят, кто правду говорит!..
За вами вслед я не ступаю,
Отличий ваших не алкаю,
И вами дух мой возмерзит.

Я ж, Истине хвалы гремящий,
Я в духе ложью не растлен, —
Превыше Пинда им парящий,

Попру забвение и тлен,
Венцы Кастальские лавровы,
Цитерски мирты, розы новы!
Я не завидую певцам;
Венец мой Истиной плетется;
С меня он смертью не сорвется,
И я велик собою сам.

⟨1812⟩

296

В той день прольется злато — струею, а сребро — потоком.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
Москва просияет, яко утро, и Киев, яко день.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
Богатства Индии и перлы Голконда прольются на пристанях Оби и Волги,
И станет знамя россов у понта Средиземного.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
Исчезнет, как дым утренний, невежество народа,
Народ престанет чтить кумиров и поклонится проповедникам правды.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
В той день водрузится знамя свободы в Кремле, —
С сего Капитолия новых времян полиутся лучи в дальнейшие земли.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
В той день и на камнях по стогнам будет написано слово,
Слово наших времен — *свобода!*
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
Богу единому да воздастся хвала!

Между 1818 и 1820

П. А. ГАББЕ

Загадочная биография поэта и публициста Петра Андреевича Габбе (1796 — после 1841) известна нам лишь в самых общих чертах.[1] Один из четырех сыновей мелкого чиновника, коллежского советника А. А. Габбе, он воспитывался, однако, в исключительных условиях: очень рано, еще ребенком, он оказался в атмосфере павловского двора вдовствующей императрицы. Глухие слухи о таинственном и значительно более высоком происхождении П. А. Габбе сопровождали его всю жизнь. Он окончил кадетский корпус, из которого был выпущен в действующую армию в 1813 году, включен в списки Литовского полка и прикомандирован к партизанской «партии» Сеславина. После войны он был направлен в лейб-гвардии Литовский полк, размещенный в Варшаве. Здесь он сблизился с приехавшим позже в Варшаву П. А. Вяземским, который стал литературным наставником Габбе. После отъезда Вяземского из Варшавы Габбе писал ему: «Нарушаю все правила синтаксиса, ибо правила почитаю деспотизмом, и стихи свои оставляю будущему потомству в рукописях. Увы! теперь некому здесь показать своих произведений: пожалуй, станут еще судить по артикулу Петра Великого и музу мою выпишут без выслуги в рядовые».[2]

Близкие связи с Константином Павловичем, казалось, обеспечивали Габбе служебное продвижение. Однако жизнь его сложилась трагически. Еще в Петербурге Габбе, видимо, проникся идеями, далекими от тех, которые могли способствовать успехам при варшавском дворе Константина. Во время похода он был принят в походную ложу «Св. Иоанна», а позже, в Петербурге, был членом ложи

---

[1] Наиболее полный свод биографических данных см.: А. Рогинский, П. А. Габбе, биографический очерк. — Сб. «Русская филология», Тарту, 1967, с. 83—112.

[2] «Русская старина», 1889, № 11, с. 318.

«Избранного Михаила». Свободолюбивая ориентация обеих этих лож, их связь с зарождением декабризма известны. В Варшаве Габбе вошел в кружок свободолюбивых офицеров, полных решимости сопротивляться деспотизму великого князя.

После неудачных попыток смирить недовольных офицеров великий князь доложил императору о волнениях в Литовском полку и получил распоряжение недовольных «наказать примерно»: Габбе и другие офицеры были арестованы, около года провели в заключении в ожидании смертной казни. Видимо, именно в это время Габбе написал элегию «Бейрон в темнице». В 1823 году их лишили чинов и орденов и разослали рядовыми по армейским полкам. Особенно тяжелой была участь Габбе: «Ему дали одежду с умершего солдата, и все лето исправлял он службу как рядовой, поступивший из крестьянского звания. Ему дозволено было писать к родственникам, но через начальников, которые приносили к нему распечатанные письма».[1]

В это время, при посредстве Вяземского, он активизирует сотрудничество со столичными журналами. Отдельной брошюрой выходит его книга о мадам де Сталь, ряд стихотворений появляется в «Московском телеграфе», среди них и «Бейрон в темнице». В апреле 1826 года он добился разрешения выйти в отставку без права жительства в обеих столицах и Варшаве.

Несмотря на болезни и материальные трудности, Габбе, видимо, продолжает стремиться к активной роли в литературе. Он даже совершил тайную поездку в Москву, где встретился с Пушкиным.

Просьбы его о возвращении ему прав, орденов и бумаг неизменно отклонялись. Живя в Одессе в 1833 году, он однажды вышел на улицу и начал разбрасывать листовки. Явно желая замять дело, М. С. Воронцов, в доме которого Габбе был своим человеком, представил весь эпизод начальству как результат помешательства. Воронцов ходатайствовал о разрешении Габбе выехать за границу «для излечения». Габбе выехал в Дрезден. Смерть брата оборвала его связи с Россией и лишила его источников существования. Больной, без денег, навсегда изгнанный с родины, он и в самом деле вскоре оказался в дрезденской больнице для душевнобольных. Дата смерти его неизвестна.

Большинство сочинений его оставалось в рукописях и погибло при аресте. Стихи, печатавшиеся в журналах, никогда не были собраны отдельной книгой.

---

[1] А. Рогинский, указ. соч., с. 101.

297. БРАТУ НА КАВКАЗ

К тебе, мой друг, уже два раза
Сбирался я писать в стихах,
К подошве гордого Кавказа,
Где ты на диких высотах
Зрел шалаши на гибель горцев
И в них на страже ратоборцев,
Длиннобородых казаков...
Твой дух не раз там оживлялся,
С родными, ближними прощался
И мчался в шумный рой врагов!
Ты слышал, мнилося, звук трубный,
Литавры, барабаны, бубны,
Глас чаровательный побед.
И тем восторгом обладая,
Который нам война святая
За честь отчизны в душу льет,
Ты пламенел в воображеньи
Так точно, как тебя я зрел
В том незабвенном мне сраженьи,
Где пулей враг тебя задел...

С тобой на берегах Лоары,
Широкой, зеркальной реки,
Любили смелые гусары
И черноморцы-казаки
Врагу несть сильные удары,
Достойные твоей руки!
С тобою часто утешали
За рюмкой доброго Шабли
Мы красоту в немой печали,
Когда она, еще вдали
Увидя северных амуров, [1]
Известных всюду бедокуров,
Страшилась их пернатых стрел;
Страшилась — но совсем напрасно!
Над нашей братьей пол прекрасный
В день самой битвы власть имел:

[1] Les amours du Nord — так называли в Париже наших казаков.

В открытом поле победитель
Был часто в замке побежден,
И взором томным полонен
Неустрашимых предводитель.
Ты помнишь Аликса, как он,
Не уважая русских сон
И химию[1] имев во власти,
Нас вздумал разложить на части!
Но нет! Вдруг раздалось: «Коней!» —
И мы одеты в броне всей,
При сабле, в бурке и с нагайкой.
И что ж? Убрался химик с шайкой
Своих ночных богатырей,
Хоть нас оставил у огней.
Та память рыцарства, мой милый,
Всегда своей волшебной силой
Останется в отраду мне
И здесь, в сей пасмурной стране,
Где всё так немо, безответно
И где во всей моей судьбе
Ничто для сердца не приметно,
Как мысль о вас — и о тебе.

Октябрь 1820

298. БЕЙРОН В ТЕМНИЦЕ[2]

Элегия

Последний солнца луч погас за Апеннином;
На стогнах Павии умолк народный шум.
Шотландии брегов туда за смелым сыном
Несется окрыленный ум.

Ты ль это, коему дивится современник,
Чьей лире внемлет свет, как голосу веков,
Ты ль, в мрачности глухой, дни, как шиллонский пленник,
Ведешь средь тягостных оков?!

[1] Французский генерал Аликс известен сочинениями своими о естественных науках, особливо же о химии.

[2] Сия элегия написана по случаю заточения л⟨орда⟩ Бейрона в Павии за то, что, когда пришел к нему некоторый военный, с коим вышла у них ссора, то слуга Бейрона, вступясь за своего лорда, убил его противника.

Ты ль это, доблестный питомец Альбиона,
Свободы, красоты и мужества поэт,
Ты ль зришься в горести, отторгнутый от лона
Веселий, как другой Манфред?

Но что! Твой ясный лик как будто оживился,
Каким-то счастием взор снова возгорел;
Светильник твой потух, но пред тобой открылся
Небесный свод — и ты запел:

«Британия! Страна Шекспира и Невтона,
Страна, где я вкусил и жизнь, и бытие,
Где человек, как мир, под сению закона
Свершает поприще свое!

Приветствую тебя из сей темницы дальней,
В глубокой мрачности вздыхаю о тебе,
Твой образ льет елей моей душе печальной
В сей тяжкой, горестной судьбе.

О юность! Ты в мечтах меня обворожила,
О жизнь! Я, кубок твой держав, того не зрел,
Что *пена лишь края той чаши серебрила*,[1]
И, жизнью упоенный, пел!

Но песни бытия могли ль мне быть заменой?
Воображение звало меня на юг:
Там небо чистое, там бор всегда зеленый
И пышный, ароматный луг.

Туда помчал меня корабль, с стремительностью мысли,
Туда, где некогда жил в неге гордый мавр,
Где скалы над водой ужасные нависли
И вечно зеленеет лавр.

---

[1] Выражения подчеркнутые принадлежат самому Бейрону, упоминаемые же: Шиллонский пленник, Манфред, Каин и Корсар — суть известные сочинения лорда.

И ты, отечество полубогов, героев,
О Греция, была ль забыта мной когда?
Я пел твой стыд — и тьмы одушевленных строев
Тебя спасают от стыда.

В окрестностях Афин, на бреге Саламины,
Любил я соловья внимать в тиши ночной;
И горы, и ручьи, и на полях руины
Гласили о веках со мной.

Я видел всё, что зреть и славно, и достойно,
И, жажду знания желая утолить,
Бросался в Геллеспонт и сей пролив спокойно
Дерзал и без любви преплыть.

И ты, о славный град тиранския свободы,
Супруга Адрии, *на океане Рим*,
Венеция! Тебя, неся на жертву годы,
Я посвящал мечтам моим.

Я счастлив был, когда поэзией высокой
Слезу участия мог из очей извлечь,
Исхитить из души глас совести глубокой
Иль из руки тиранский меч.

Но древо знания, увы! не жизни древо!
Кто более страдал, лишь тот один мудрец;
Утешить не могла меня прелестна дева,
Ни слава... сей минутный льстец.

В супружестве, в любви поэт непостоянный,
Отец бездетный здесь, отчизны вдалеке,
Кто мог бы к пристани меня вести желанной,
Какой повериться руке?

Сомненье Каина, таинственность Манфреда
Весь наполняют дух, всё сердце тяготят;
Завидна участь мне твоя, певец Готфреда:
Тебя герои защитят.

Ринальдо и Танкред; их меч благочестивый,
Их провидению открытые сердца
Промчат через толпу, поэт боголюбивый,
Тебя вселенной до конца.

Но более я вам завидую, поэты,
Вам, коих чувствия, души небесный жар
Земною лирою ввек не были воспеты,
И вы, не покидая лар,

В сердечной простоте вкушаете блаженство!
Для вас зари восход есть мира торжество;
Для вас прекрасный день есть жизни
совершенство,
Природы роскошь, пиршество.

Вы любите цветам и зелени дивиться,
Внимать журчанию ручья и до росы,
Прельщенны соловьем, на берегу забыться,
Не видя, как бегут часы.

Мне, мне другой удел! Колеблемый судьбою,
Как брошенный корабль грозою между скал,
От страха и надежд я гордою душою
Спастись несчастием желал.

Желал — и вот оно! *Хаос непостижимый,*
Все чувствия души в одно совокупя,
Теснит меня, и бог ужасный, но незримый,
Гласит: «Я предварял тебя!»

Всё кончилось! едва вступил в житейско поле
И из конца в конец то поле пройдено.
Увы! *Есть смертные, кому в жестокой доле*
Достигнуть лета не дано!»

Так пел Бейрон. Лице британца возгорелось,
И на глазах его блеснули две слезы;
Казалось, зарево вечернее зарделось,
Гоня следы дневной грозы.

Темница ветхая вняла певцу Корсара,
И чувство горести тюремщик ощутил;
И узник за стеной божественного дара
Впервые сладости вкусил.

Италия! Земля природы и искусства,
Почто, подобяся Армиде красотой,
Зовешь в сады сии: там услаждаешь чувства
И гроб готовишь золотой?

А вы, о гении, лишенные приюта,
Вы, Бейрон, Дант и Тасс, герои без войны,
Для вас не создана в теперешнем минута,
Но веки в будущем даны.

⟨1822⟩
Варшава

299. ПЕСНЯ

Опять во власть судьбы предайся,
Броди без дружбы и любви;
Кто сердцу мил, с тем разлучайся,
Кого не любишь, с тем живи.

Давно ль пловец низвержен в море,
Давно ли, над собой скорбя,
Я бурю испытал. . . Но в горе,
Мальвина! я узнал тебя!

Узнал — и снова заиграли
Надежды сердца и любовь:
Забыл я прежние печали
И счастию поверил вновь.

Твоя улыбка — вдохновенье,
Твой стан — воздушен как мечта;
Твой нежный голос — упоенье,
Твой взор — любовь и красота!

С тобой по буре — мир сердечный
Нашел я, как счастливый сон:
Сон сладостный, но скоротечный! ..
Увы, опять я пробужден!

Январь 1824

III

А. А. ПАЛИЦЫН

Александр Александрович Палицын родился в начале пятидесятых годов XVIII века. Он окончил Сухопутный шляхетный кадетский корпус и служил адъютантом у П. А. Румянцева. В чине майора вышел в отставку и поселился с женой и дочерью в деревне Поповке, Сумского уезда, Харьковской губернии. Вокруг него сплотился небольшой кружок местной интеллигенции, который Палицын в письмах называет «Поповской академией». В этот кружок входили В. Н. Каразин, Е. И. Станевич, Н. Ф. Алферов и другие.

Свое время Палицын распределял между занятиями литературой, архитектурой и живописью. С начала своей литературной деятельности он заявил себя сторонником А. С. Шишкова, что нашло отражение в главном его литературном сочинении — «Послании к Привете». Палицын, давая краткий (часто сводящийся к перечислению имен) обзор истории русской литературы XVIII — начала XIX века, последовательно опираясь на книгу А. С. Шишкова, защищает идею «старого слога». Сохраняя видимость беспристрастия, упоминая на страницах книги ничтожнейших писателей, он обходит полным молчанием имя Карамзина, не удерживаясь, впрочем, от нескольких саркастических намеков по поводу его деятельности.

Несмотря на длинноты и некоторую сухость изложения, историко-литературное значение «Послания» Палицына исключительно велико. Оно является едва ли не единственным произведением подобного рода в русской литературе, показывая весь круг явлений, находившихся в поле зрения читателя к началу XIX века, а оценки, содержащиеся в «Послании», вводят нас в самую гущу литературной борьбы этого периода, когда основные литературные группировки («Беседа» и «Арзамас») еще не оформились, а мнения, определившие развитие литературной жизни в первой четверти XIX века, уже начали складываться.

В 1807 году Палицын, разделяя общий для шишковского круга интерес к памятникам русской истории, выпускает свой стихотворный перевод «Слова о полку Игореве». В 1809 году он был избран почетным членом Харьковского университета, в 1814 году — действительным членом Общества наук, состоящего при императорском Харьковском университете.

Умер Палицын в 1816 году.

Сочинения его никогда не были собраны.

300. ПОСЛАНИЕ К ПРИВЕТЕ,
ИЛИ ВОСПОМИНАНИЕ О НЕКОТОРЫХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ МОЕГО ВРЕМЕНИ

Ты любишь свой язык, Привета, очень нежно,
Читаешь всё на нем прилежно;
Я вижу, как с тобой читаем вместе мы,
Что русские тебе приятнее умы:
Ты все черты в них замечаешь,
С восторгом отличаешь,
С другими сравниваешь их;
И больше помнишь, чем чужих,
Писателей своих;
Хотя еще и в колыбели
Тебе французски песни пели,
Большая редкость то в наш век,
Чтоб русское любил и русский человек.
Чуднее и того, что нашего язы́ка
Тебе понравилась музы́ка,
Когда твой круг кричит, что русские стихи
Читать или писать лишь можно за грехи,
Тогда как у людей со вкусом непоследних
Я *Ломоносова* в пыли видал в передних,
Куда он для услуг
Был сослан праздных слуг,
С язы́ком вместе русским;
Затем что господа
Вели всю речь всегда
Язы́ком лишь французским.
В такие времена
Немалая чудесность,
Что русская тебе понравилась словесность,

Когда в дворянски времена
Чужих языков семена,
Всеваемы из детства
Без осторожности и чрез дурные средства,
Укоренясь произросли
Средь нашей ко всему способнейшей земли
И напоследок принесли
Языку нашему и нравам вредны следства;
В такие времена,
Когда в российски письмена
Вползло премножество (как черви или гады),
Моралей, Энергий, Фантомов, Гармоний,
Сцен, Форм, Идей и Фраз, Жени, Монотоний,
Меланхолий и всех подобных им Маний
И портят наш язык прекрасный без пощады;
В такие времена,
Когда Россия вся почти заражена
Болтаньем и письмом и чтением французским,
Презреньем же к речам, к письму и книгам русским, —
Приятно о тебе, Привета, то сказать,
Что с страстью свой язык печешься ты узнать.
Любви к отечеству нельзя не почитать.

Пусть там творцов писать искусство совершенно,
Ты знаешь, что язык наш лучше несравненно.
Не собран из других, он древний, коренной,
Исполнен всех красот, богатый сам собой.
В нем птичьих посвистов, протяжных нет напевов,
Ни звуков с выгнуской, ни диких уху ревов,
Какие слышатся в чужих языках нам,
Затем что наш язык от них свободен сам.
Хотя кричат, больших писцов у нас не много,
Но как бы ни судил кто строго,
Признаться должен наконец,
Что не един уже творец
Сравнил с ученым светом россов.
Есть Пиндар свой у нас, бессмертный *Ломоносов*,
Творец языка своего;
И с одами его
Нет равного в стихах французских ничего.
Смеются правде сей все русские французы;
Им наши ни стихи не нравятся, ни музы;

Меж тем, как то признал французский сам Парнас,[1]
Что *Сумарокова* дойдет в потомство глас:
Он наш Софокл, отец театра он у нас,
В трагедиях его пребудет имя вечно;
Бессмертен в баснях он, конечно.
О сладостный певец, могу ль тебя забыть!
Ты много подавал изустных мне уроков;
Ты много раз желал мне к музам жар внушить:
Тебе за страсть я к ним обязан, *Сумароков.*
Есть также свой у нас Вергилий иль Гомер,
Херасков, чистого витийства наш пример.
В маститой старости, в почтеннейшей судьбине,
Уже в безмолвии покоится он ныне.
Гораций есть у нас, есть свой Анакреон:
Державин дал их лир почувствовать нам звон.
Еще он услаждает
Нас лирою своей,
Певцов одушевляет
Среди и поздних дней;
Как громкий соловей
Вечернею зарей,
Петь прочих возбуждает.
В тот час, как я пишу, зефиров на крылах
Промчался глас его и на псельских брегах.[2]
В младенчество наук, еще во дни Петровы,
Гремел уж *Феофан*, сей Демосфен наш новый.
Что многих из творцов не ниже *Кантемир*,
На то согласен весь давно ученый мир.[3]

Бесплодный чтитель муз, страдалец их союза,
Пример учености, без дара и без вкуса;
Терпенья образец, Ролленев ученик,
Воспомнись, написав нам сотню толстых книг,
По трудолюбию чудесный *Тредьяковский.*[4]
Быть может, Попием у нас бы был *Поповский*,
Который так его прекрасно перевел,
Когда бы дней его не краток был предел.
С талантом был к стихам *Санковский*:
Удачно начат им Марон;[5]
И так же начат был Назон.
Здесь кстати вспомним мы, Привета, труд *Петрова*:
Он Энеиду всю Маронову нам дал;

Но, шепчешь ты, Марон ее бы не узнал.[6]
По крайней мере, наш Гомер *Кострова*
И Оссиан его
Ни слуха не томят, ни вкуса твоего.[7]

Дары природы чтя, нельзя забыть *Баркова*,
Хотя он их презрел:
Он нам Горация и Федра перевел.
Но также, говоришь ты, плохо их одел.[8]
Как жаль, что он не шел
За ними к Геликону,
А пресмыкался вслед Скаррону!
Его бы лирный глас
Мог славить наш Парнас.
О воспитание! о нравы!
Без вас, при всех дарах, ни пользы нет, ни славы.
Послания к слугам творец,
Сей муз самих игры прекрасной
И прозы чистой и согласной
Наш лучший *Визин* образец.
Как зависть труд его ни гложет,
Но правды сей изгрызть не может,
Что он в комедии один у нас Мольер,
Что слога нового в «Иосифе» пример,
Что слог его везде так сладок, как музы́ка,
Что им приятности умножены язы́ка.

Счастливый «Душеньки» творец, наш Лафонтен
Друзьями муз вовек пребудет незабвен.
Он станет Добромыслом
Дух русский услаждать,
Доколе русским смыслом
Мы станем обладать;
И русские французы
Должны признаться в том,
Что грации и музы,
Водя его пером,
Явили образец тут русский,
И Богдановичу и стихотворству в честь,
Которого певец французский
На скудный свой язык не может перевесть.

Довольно одного «Росслава»,
Чтоб вечно *Княжнина* не увядала слава.
Бесспорно, что его «Вадим»
Был духом дерзости не вовремя водим,
Притом и строго был судим, —
Всё с жалостью его театр наш помнить будет;
Парнас его стихов вовеки не забудет.
Княжнин — наш Кребильон,
Хотя и подражал италианцам он.

Не исчисляя всех писцов красноречивых
И переводчиков у нас трудолюбивых,
Хотя и менее известных и счастливых,
Которые в Руси, в недолги времена,
Обогатили наш язык и письмена,
Мне сладко произнесть иных здесь имена:
Они иль в юности меня их дружбой чтили,
Иль в детстве свой язык и муз любить учили;
Приятно их труды на память приводить:
О современниках приятно говорить.
Мы вспомним здесь с тобой, любезная Привета,
Не Виланда и не Боннета,
Со всем почтеньем нашим к ним,
Священнее для нас французов всех и немцев
Любезны имена своих единоземцев.
Почтеннее владеть сокровищем своим.
Но про *Татищева, Щербатова, Хилкова,*
Про *Голикова* тож,
Не станем говорить ни слова:
Итак, Привета, нас давно марает ложь;
И то смеются нам, что мы с тобой читаем
Славенскую всю дрянь и плеснь,
Которую притом и худо понимаем;
Что Нестор с Никоном и Игорева песнь
Для нас забавнее «Заиры» и «Альзиры».
Такие за любовь к отечеству сатиры
Пусть делают тебе и честь,
Однако от друзей всегда их больно снесть. . .
В отмщенье вспомним мы еще кого ни есть.

Кто старый русский слог, простой и ясный, знает,
Который без чужих прикрас был с первых числ,

Кто любит русский здравый смысл,
Наш *Крашенинников* того увеселяет,
Волчков нам много книг полезных перевел,
Хоть к красноречию он дара не имел.
Обязаны его мы первого раченью
Изданьем Словаря, трудов ко облегченью.
Прекрасно перевел Тюрпина нам *Козмин.*
Не гладко, а с умом писал всегда *Лукин*;
И, ежели судить не строго,
В комедиях его и остроты есть много.
Без вкуса, но богат был мыслями *Эмин.*
Кутузов оживлял свой слог своей душею;
Довольно уж письма Клеонина к Цинею,
Чтоб переводчика нас трогал слог его,
Как слог и Душа самого.
Олсуфьев вкусом был наполнен тонким, нежным
Для прозы и стихов;
Как жаль таких даров,
Что не был он притом писателем прилежным!
Ученость, ум и вкус сливал в письме *Теплов.*
С приятностью писал стихи один *Попов*;
Другой переложил из Тассовых стихов
Нам Иерусалим его освобожденный,
Но жаль, что прелестей поэзии лишенный.
Разборчив и в стихах и в прозе *Свистунов.*
Есть песенка одна между его стихами,
Где грации писали сами. [9]
Аблесимов с большим успехом часто пел.
Козицкий знанием в словесности блестел
И греческого был языка страстный чтитель.
Мотонис был ему ревнитель
И *Храповицкий*, муз любитель.
В трудах их также есть приметные черты,
Которые давно, Привета, знаешь ты.
У *Адодурова* слог ясен, чист и плавен.
Глубоким знанием языка *Нартов* славен.
Он Плиниево нам витийство показал,
С каким сей римлянин Траяна прославлял.
За опытность его, ученость и словесность,
За многие труды, за строгу нравов честность,
За добродетели, заслуги Аполлон
Препоручил ему в России Геликон.

Представил *Глебов* нам в чертах Плутарха русских;
Жаль только, что он их со списков снял французских.
Ревнитель Эйлеров и Урании друг,
Ко умножению и славы и заслуг,
К высоким знаниям прибавил то *Румовской*,
Что, бывши астроном,
Любил словесность он, умел владеть пером.
Ученость с нею слил равно *Озерецковской*.
Лепехина ученые труды
Украшены словесности цветами;
Везде ее блестят у нас плоды,
Но смотрим мы холодными глазами.
Подобно сопрягать умел ее *Чертков*
С строением, взятьем, защитой городов.[10]
Словесностью дышал с ним вместе *Пастухов*.
Порошин, ты ее любил, я знаю, страстно,
Но в цвете дни твои пресеклися несчастно!
И от своих даров
Принесть ты не успел желаемых плодов.
Трудился много в ней, любя ее, *Чулков*.
Леонтьев услаждал и лирною игрою,
И просвещением, и доброю душою.
Хемницер баснями нас также веселил
И также с добрым сердцем был,
Хоть много в рифмы он глаголов становил.
Лекень наш прежде знаменитый,
Котурнов русских образец,
Дмитревский также был певец;
И ныне, сединой покрытый,
Театр описывает нам,
Где был предметом плесков сам.

Воспоминанию сии назнача строки,
Я памяти одной и следую лишь в них;
Не критику пишу, не строгие уроки —
Порядка нет в стихах, ни в именах моих.
Не с правилами здесь сношуся я, а с чувством,
Как сердце мне о ком напомнит, так пишу;
С природой живучи, не занят я искусством,
И, скрывшись от сует, я славы не ищу.
Теперь *Елагина* себе воображая,
С ним вижу к музам страсть, к отечеству любовь;

Они до смерти в нем воспламеняют кровь,
За красноречие венец ему вручая.
Захаров, от него уроки получая,
Явил достойные сей школы нам плоды.
И, подаря нас Телемаком,
Прославил тем свои в словесности труды.
Опровержение Леклерка верным знаком,
Что знал историю *Болтин* и свой язык.
Хвостова и к стихам и к прозе дар велик.
Из первых опытов его то было ясно,
Из оды шуточной его
И из посланья одного,
Что он в словесности трудился не напрасно.
Мне жаль и *Рубана*: он больше чтил бы муз,
Когда бы нравы он имел и чище вкус. [11]
Домашнев некогда был муз главой возвышен,
И лирный глас его бывал меж ними слышен.
Приятен и умом, и слогом он своим!
Мы к еру ненависть его за то простим;
И вспомним мы притом, Привета, брося шутки,
Кто так тщеславие презрел и предрассудки,
Чтоб отличиться чем-нибудь не пожелал? . .
Наш ум против страстей не вечно ль слаб и мал!
Вот, верно, я тебе тем больше угождаю,
Что *Дашкову* напоминаю:
То самолюбию, конечно, женщин льстит,
Коль женщина блестит,
Но самолюбие я это обожаю.
Сия почтенная российская жена,
Умом, науками, словесностью полна,
Была достойно муз главой возведена:
Труды их и успехи —
Ее то страсть, ее утехи.
Ельчанинов, сей муз питомец, Марсов сын,
Как шпагой, так пером блистал лишь миг один.
Чего бы нам дары его ни обещали! . .
Но к вечным мне слезам и к общей всех печали,
Перуны дни его во цвете окончали!
На ратном поле пал он как герой.
Румянцев смерть его почтил слезой,
Как жизнь его он чтил всегда хвалой.
И в сем любимце Аполлона

Любимца своего лишилась и Беллона.
О страсти к ней его уже умолк и шум,
Лишь Фалия хранит его нам вкус и ум.[12]

Любовь к отечеству питая,
Язык природный сильно зная
И к музам страсть горя излить,
Уверил *Майков* нас не ложно,
Что без чужих языков можно
Хорошим стихотворцем быть.
Со вкусом, с даром от природы,
Узнав он стихотворств все роды,
Писал трагедии, поэмы, басни, оды;
Но то в трудах его
Чудеснее всего,
Что мы читаем в них еще и переводы.
Он прежде смыслы их от прочих узнавал,
Которые потом с раченьем украшал
Нередко сильными и чистыми стихами.
Его почтенными мы чувствуем трудами
В «Меропе» русской весь Вольтеров жар,
Во «Превращениях» Назонов дар,
Во преложении военного искусства
И подражателя и Фридерика чувства.[13]
Почтенно для него, притом и сладко нам,
Что русским приносил творцам он фимиам
И возжигал его без лести,
Всегда быв нежным другом чести.
Приятно повторить мне здесь стихи его,
Где имя он свое связал с их именами,
Достойными себя и их хвалами;
Я в детстве от него их слышал самого:
«О ты, певец преславный россов,
О несравненный *Ломоносов*!
Ты все исчерпал красоты;
Твоя огромна песнь и стройна
Была монархини достойна;
Достоин петь ее был ты.

О ты, при токах Иппокрены
Парнасский сладостный певец,
Друг Фалии и Мельпомены,

Театра русского отец,
Изобличитель злых пороков,
Расин полночный, *Сумароков*!»
Сравненьем веселясь словесности трудов,
Успехов прежних в ней и нынешних плодов,
Вчера с тобой, Привета,
Сличали мы притом
С бессмертным образцом
Наш русский список Магомета,
Который подарен *Потемкина* пером
Без дальнего от муз совета.
Итак, мы вспомним и об нем.
Он в молодости мне бывал знаком.
Способным одарен к поэзии умом,
Он в выборе был тонок, нежен;
С неутомимостью прилежен,
Чрезмерно терпелив,
Равно честолюбив;
И если б на беду не сделался он знатным,
То стихотворцем бы, конечно, был приятным.
Он много начинал,
Но мало окончал.
Жан-Жаком он пленялся
И нечто из его творений перевел;
Как многие, против него вооружался,
И так же мало в том успел,
Затем, как видно, что достался
Ему в бессмертии удел.
Для автора сего он слога не имел.
Он также начинал Руссову «Элоизу»,
Которую тогда ж за ним я кончил вслед.
Валялась у меня она премного лет,
Но дружеский совет
Склонил, не в добрый час, пустить ее на свет,
И там в раздранную ее одели ризу.
Издатель прежних всех лишил ее цветов.
Бумаги пожалев он несколько листов,
Отбросил разговор Жан-Жаков о романах;
Он посвящение мое в ней утаил;
Друзей моих стихи на перевод мой скрыл.
Слыхал ли жадность кто такую и в цыганах,
Тогда как я издать три книги подарил?

Не бывши грамотен гораздо и по-русски,
Не только по-французски,
К письму же и совсем не с острой головой,
Он вздумал перевод однако ж править мой.
Язы́ка чистого гнушаясь простотою,
Размазал он мой слог несносной пестротою.
Невежи любят все кудряво говорить,
Отборные слова некстати становить
Иль новые ловить,
Чему другие их невежи научают,
И дикословием язык наш заражают.
Так точно Юлии и Клеры он моей
Испортил разговор по грамоте своей.
Не выучась читать не только с чувством, с толком,
Заставил на Руси он выть их, бедных, волком:
Везде всё кончится «ею — ию — ою».
Учил ли так я петь здесь Юлию мою?
Представь, Привета, ты в тот час мою досаду.
Суди ты, каково
Для сердца было моего,
Для вкуса и язы́ка,
Как стала уши драть такая мне музы́ка!..
Как было за труды и за подарок мой
Неблагодарности такой мне ждать в награду,
Чтоб слог мой превратил невежа в волчий вой.
И в сем издании поддельном и подложном,
Обезображенном, обкраденном, ничтожном,
Чтоб имя он мое еще поставить смел
И безнаказанно за всё остался цел.
Вот участь какова трудов уединенных,
Писцов, подобно мне, от света удаленных.
Они труды свои дарят,
Книгопродавцев богатят,
А те нередко их марают и срамят, —
Так бойтеся, писцы, сих книжных тамерланов,
Подобных моему издателю тиранов.
Я в осторожность вам сей случай и открыл,
Который уж давно презрел и позабыл.[14]

За неприятное такое отступленье
Напомним мы певца какого в утешенье,

Который бы навел нам сладкое забвенье...
Таков у нас *Капнист*:
Огнем поэзии он полон, нежен, чист.
Всегда его мы вспомним оды,
Детей искусства и природы.
Надежда станет нас прельщать,
Смерть сына станет поражать,
И памятник его почтенный,
Монархине сооруженный,
На истребленье слова раб
Удар разрушить время слаб:
Косой его не сокрушится,
Что всеми наизусть твердится.
Певец про старину на древний лад стихов,
Со вкусом краснобай наш *Львов*
Всегда наполнен острых слов
Для былей, небылиц, на вымыслы забавен;
Равно как плодовит, удачен, часто нов
В изобретениях строений и садов;
Он как в словесности, так в зодчестве был славен.
Для самолюбия приятно моего
Напоминать его:
Мои с ним сходны к музам страсти,
Хотя в дарах различны части;
Словесность с зодчеством равно
Предмет трудов моих давно
Иль лучших для меня утех в уединеньи,
Но, может быть, они останутся в забвеньи.

Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз его был слышен лирный глас —
Живущим внутрь иль вкруг сея градов царицы,
Язы́ка чистого российского столицы,
И должно в нем служить всем прочим образцом.
Не легче ль в той стране быть сладостным певцом,
Красноречивым быть творцом,
Где всё, что окружает,
Природный к слову дар острит и умножает?
Где весел вкруг народ, проворен, ловок, жив,
Смышлен, досуж, трудолюбив
И больше свойствами, чем участью счастлив;
Где слышны верные в язы́ке ударенья

В жилищах поселян, среди уединенья.
В окрестностях Москвы, и в рощах, и в полях,
В народных всех речах,
В их песнях, в шутках их, пословицах, в игра́х,
Блистают правильность и острота в словах,
Служащие другим наречиям законом
И подражаемы российским Геликоном.
Московский говорит крестьянин, как и князь:
Произношенье их равно и в речи связь,
Иль часто лучше тех князей и к смыслу ближе,
Которые язык забыли свой в Париже.
Прелестна мне Москва с окрестностьми ея,
Тем боле что люблю язык свой страстно я,
В ней некогда мои любезны предки жили
И с пользой своему отечеству служили.
Там современников ученых зрю опять,
Которых имена достойно вспоминать,
И ежели мне всех исчислить их не можно,
О коих вспомню, тем отдам почтенье должно
За их к словесности и к знаниям любовь,
За услаждения мои от их трудов,
Я молодость мою напомню с ними вновь.
Из них иные, мне подобно, устарели,
Повесив навсегда и лиры и свирели
Иль, память сладкую оставя по себе,
По общей смертным всем судьбе,
На злачны преселясь брега чудесной Леты,
Как все воспевшие их древние поэты,
Струи забвения похвал и критик пьют
И гимны, может быть, бессмертны там поют.
Их русский меценат, *Шувалов*, ободряет,
И Елисейских внутрь полей
Ему и тамо хор муз русских воспевает
О благодарности своей;
Его и там Парнас московский услаждает,
Которого он был творец
И муз его всегда отец.

Неутомимый мне *Веревкин* вобразился,
Который весь свой век в словесности трудился.
Оставя прочее, довольно вспомянуть,
Что за Лагарпом он свершил всех странствий путь.

Он русской верности к царям еще представил
Монарха, коего достойно Сюллий славил.
Из первых опытов явил нам *Воронцов*
По красноречию и выбору трудов,
Каких словесность ждать могла от них плодов,
Когда б Фемидой сей питомец Аполлона
    Не отнят был от Геликона.
Чертами многими нам *Ржевский* показал,
Что он к словесности похвальну страсть питал:
Он вкусом, знанием и слогом в ней блистал;
И если б звание его не скрыло пышно,
В писателях его бы имя было слышно.
Нарышкин мог у нас прекрасный быть поэт,
Когда б не скрылся тож в блестящий круг и свет.
Меж русских бы творцов и *Пушкин* отличался,
Когда б словесностью он больше занимался.
Тщеславие своей заразой много раз
Лишало без плода писателей Парнас.
Для Марсова венца оставил муз *Козловский*;
О коем станет век жалеть Парнас московский:
Тогда как он его «Сумбеки» ожидал,
Екатерине им не конченных похвал,
С «Евстафием» его при Чесме понт пожрал.
Херасков памятник воздвиг ему нетленный, [15]
А *Майков* надписью украсил незабвенной. [16]
С чрезмерной строгостью разборчивый *Карин*,
Равно московского Парнаса нежный сын,
От скромности труды свои, достойны чтенья,
            Погреб во тьме забвенья. [17]
Слог важный *Барсова* в словах я помню там,
Каким он передал потом Бильфельда нам.
Там *Погорецкий* был, *Зибелин* в то же время;
Искусные врачи, словесность полюбя,
К ученому причли сообществу себя,
Энциклопедии делить труды и бремя,
Но столь полезное намеренье тогда
        Для славного сего труда
По первых опытах осталось без плода.
Нельзя о том теперь не пожалеть сердечно:
На подвиг мы такой едва ль дерзнем уж вечно.
Теперь ученый наш, равно как прочий свет,
Не отягчит себя трудами многих лет.

Что слыло преж сего терпеньем, постоянством,
От многих ныне то считается педантством.
В сей век другой закон ученым правит царством.
В то время все у нас любили свой язык;
Для пользы лишь его, наук и чтенья книг
Иноплеменные учили мы языки,
А не для их отнюдь музыки.
Отечества друзья, боляре и столпы:
Румянцев, Панины, Орловы, Чернышовы,
Потемкин, Репнины, Суворов, Воронцовы
Не в том отличия искали от толпы,
Чтоб матерний язык понизить,
В передние его иль на площадь сослать:
Они с отечеством пеклись его возвысить
И красноречия примеры подавать.
Училищами в нем бывали нам их домы,
Где русский разговор мы слышали всегда,
Чужеязычия ж без нужды никогда,
Хотя мы были с ним не менее знакомы.
Сама монархиня, монархов образец,
Возросшая среди словесности французской,
Не нам в угодность лишь язык любила русский,
По превосходству им пленялась наконец. [18]
На нем она была творец.
Ее История, божественны уставы,
Все письма, зрелища, нам давши дух и нравы
И утверждающи ей творческие правы,
Суть знаки вечные ее и русской славы.
Когда был укорен Клопштоком Фридерик
За то, что презирал природный свой язык,
Как в прочем ни был в век великих он велик;
Языка русского за порчу и обиду,
Кто слов чужих в него вмешает дикий звон,
Екатериною для тех был дан закон
Во храме муз ее читать Телемахиду. [19]
И шуточный закон священным чтут сердца,
Когда боготворят его творца;
Подобные царей любимых игры, шутки
Сильнее действуют на вкус и предрассудки
И чистят более и нравы и язык
Всех правил, школ и книг.

Великие умы одною слов игрою
Владеют, как цари чувствительной душою.
Как жаль, что мудрый сей монархини пример,
Пример вельмож и все уроки с образцами,
Что дали нам Софокл наш, Пиндар и Гомер,
Забыты многими теперь у нас писцами![20]
Привета, ты всегда досадуешь на них,
Когда читаем мы их новости с тобою,
Где слог наш искажен французской пестротою;
Насчет их ты твердишь какой-нибудь мне стих.
Не более бывал и *Сумароков* лих,
Как ты на новый слог французско-русских книг.
Не стыдно ль, говоришь, как нищим нам скитаться
В чужеязычный склад вдаваться,
Словами побираться?
Возможно ль, чтоб язык наш мог тем украшаться?
Скуднее ли в словах язы́ков он других,
Иль к красноречию в источниках своих?
Француз, англичани́н, гишпанец иль германец,
Швед, датчанин, голланец,
С язы́ками слова от корней взяв одних,
Все могут занимать и друг у друга их,
Не возмущая тем ни разума, ни слуха,
Народного не унижая духа;
А нам как вмешивать, природе вопреки,
Живые ль, мертвые ль чужие языки́?
Они от нашего язы́ка далеки,
По их началу, свойствам, звуку
Славянам галлы не с руки;
Невежество ввело пестрить язык науку,
Ты с жаром говоришь, словесности на муку,
На порчу вкуса в ней, чтецам на смех и скуку.
Расиновым стихам завидовал Вольтер —
Наш школьник *Визина* не хочет брать в пример!
Из чужеречия он новый слог нам сплавил,
Где грамматических нет русских свойств, ни правил.
И множество тогда в досаде ты своей
Подобных говоришь речей.
Приводишь книгу ты о слоге тут Шишкова,
Всю помня наизусть ее почти до слова.
Противу новостей смешных она твой щит,
Который здравый смысл и чистый вкус хранит.

С восторгом хвалишь в ней ты смелость благородну,
Талантам истинным и знаниям столь сродну
И им одним пригодну,
С какою показал он, первый из творцов,
Все заблуждения теперешних писцов,
Сражаясь с множеством, с пристрастием, с хвалами,
Которые невежество и лесть
Всегда привыкли плесть
Всем новостям, равно худым и добрым в честь,
И кои те писцы плетут друг другу сами.
Хвалю с тобой его полезный сей урок,
Хотя он кажется иным и слишком строг,
Но им чужих речей и слов удержан ток,
Готовый потопить наш прежний, чистый слог.
Сию словесности, отечеству услугу
Нам стыдно б, их любя, Привета, не любить,
Нам стыдно б меж собой подчас не похвалить,
Однако я притом скажу тебе как другу,
Что лучше нам еще ее в молчаньи чтить.
Желаешь и твердишь ты мне в своем совете,
Чтоб здесь я написал
Для всех собрание и критик и похвал.
Не мог бы отказать я в том моей Привете,
И может быть, что, твой изобразя восторг,
Из неизвестности себя бы тем исторг.
Но если дара я к витийству не имею,
Бранить или хвалить приятно не умею,
Не лучше ль нам о том заботу отложить,
Чтоб слабой похвалой заслуги не затмить,
Достоинства не умалить;
Чтоб скромности не оскорбить
Иль нежности не утомить,
Не лучше ль без прикрас нам правду говорить
И чувствия одне сердец своих представить?
Не ясно ль показал *Шишков* тебе притом,
Любезная Привета,
Что здравого совета
Не слушают с больным умом.
Труды ученые, дела полезны, громки
Прославят и без нас таланты и потомки.
Натянутые все хвалы не хороши,
Как критики, все знак пристрастия души.

Потребно сверх того на них иметь нам право,
Без права же судить, рядить дела грешно,
И самозванцем быть смешно
Для всякого, кто мыслит здраво.
Некстати без заслуг заслуги нам хулить,
Не выслужа хвалы себе, других хвалить.
Смешно тебе всегда, как пухлыми стихами
Иль новобранными нерусскими речами
То хвалят и бранят, чего не знают сами.
Шутила долго ты, как школьник за грехи
Нам выдан был примером,
Смеялся над Вольтером,
Судя после него Мароновы стихи.
Жалели доброго *Евстафья* мы с тобою,
Любуяся его прекрасною душою
И стихотворною приятною игрою,
Что грубо труд его критиковал Зоил
Иль паче поносил,
Какого нам еще он сам не приносил.
Без желчи, знать, труды он ближних оценяет,
Что книгу находя дурною всю вобще,
Страницы критикой подробной наполняет.
Не хуже ль книг худых те критики еще,
Когда на них труды потрачены вотще? [21]

Итак, чтоб в те же нам погрешности не вдаться,
Покойнее похвал и критик удаляться.
С Вольтеровым или с Лагарповым умом
Полезен приговор над авторским трудом.
Мы можем почерпать в нем лучшие уроки:
Там блещут все красы, чернеют все пороки;
Там видны средства нам искусства и творца,
Судей и авторов таланты и сердца,
А наши приговоры
Обыкновенных суд умов.
Хвалы или хулы посредственных даров,
Равно как критики недельных всех листов
Заводят только споры
И меж писателей раздоры, —
Такие все судьи с неважным их судом
Забыты навсегда читателем потом.

Не может критиком быть дюжинный писатель.
Наш критик должен быть в письме законодатель.
Известен должен быть он важностью заслуг,
Дар творческой иметь, неробкий ум и дух,
Примерный слог и вкус изящный, тонкий слух
И беспристрастием глубоким отличаться,
Чтоб критики его и правые суды,
Подобно как труды,
Могли желаемым успехом увенчаться.
Назначено ль судьбой,
Привета, нам с тобой
Сей славой наслаждаться!
И много ль критиков таких мы можем счесть,
Которым бы за то принадлежала честь
И коим именем сим можно украшаться?
Я больше бы не пожелал,
Когда б мое воспоминанье,
Где нет ни критик, ни похвал,
А только чувствий излиянье,
Внушило их младым сердцам
Словесности своей к творцам,
Умножило б у нас вниманье
Узнать свой более язык
Из чтения славенских книг,
Отвергло б странное мечтанье,
Что нет у русских образцов,
Что нет в них авторских даров,
Что груб их ум и вкус в писанье,
Что будто нет речей, ни слов.
И ежели сие посланье
Заслужит, чтоб прочел *Шишков*
Его же мыслям подражанье, —
Вот цель вся слабых сих стихов
И всё за труд мой воздаянье. . .
Ах! в сладком муз очарованье
Еще я чувствую желанье,
Для пользы общества и книг,
Чтоб женщин лучшее собранье,
Моей Привете в подражанье,
Любило так же свой язык,
Презрев французское болтанье.

Простите старику, который закоснел,
Который русаком присяжным поседел,
Что чужеречие назвать болтаньем смел.
Он груб и одичал, не знает света ныне,
Давно живет в глухой пустыне,
Однако любит он муз, граций, весь Парнас
И с русским языком и сердцем любит вас,
А к смеху вам, еще вернее много раз,
Чем ваши прежни петиметры,
Иль франты нынешни, или по-русски — ветры;
Вот для ради чего он к вам склоняет речь,
Желая вас от странностей отвлечь,
Чтоб тем их в нас убавить,
Когда уже совсем не можно их пресечь,
И славой сей еще гордиться вас заставить.
Известно то давно,
Что делать чудеса вам таинство дано.
Не превращают ли волшебны ваши очи
Спокойства ясных дней печали в темны ночи?
Чего не сделают улыбка, страстный вид,
Витийство сладкое, осанка, нежный стыд?
Взгляните ж ласковым, единоземки! взором
На сирый матерний язык;
Коснитесь нежными руками русских книг;
Прелестные уста пусть русским разговором
Восхитят общество, и наш язык тотчас
Получит новый блеск от ваших уст и глаз.
Покинут дикий шум все русские французы,
Чем мучат русский слух теперь в угодность вам,
И сладостнее петь начнут российски музы
В честь вашим прелестям, талантам и сердцам.
От вас польются нам в словесности примеры,
Явятся русские Жанлисы, Дезульеры.
Вы созданы на то, чтоб всё животворить.
С душой чувствительной и с гордым русским духом,
Со вкусом нежным, с тонким слухом,
Не жалко ль свой язык природный вам мертвить?
Не стыдно ль в наши дни нескладно говорить
Язы́ком и своим, которого стыдимся,
Язы́ком и чужим, с которым не родимся?
Представьте, что всегда какой-нибудь Лекень
Язы́ка своего на тонкостях французских

Легко на трех словах поставить может в пень
И лучших знатоков французов наших русских.
Не возмечтает ли француз, что он велик,
Когда мрачит своим язы́ком наш язык?
Не скажет ли, везде нескладный слыша клик,
Собрав премного нам других еще улик,
Что может превратить нас силой чародея
И так, как спутников Улиссовых Цирцея?
Хотя писателей и новых много есть,
Которых нам труды приносят с пользой честь,
Но, мало зная их в моем уединенье,
Боюсь произносить мое об них сужденье.
Отважно было бы писателей живых,
В поре, в красе, в жару, во славе молодых,
Хвалить в стихах моих, подобно мне, седых,
Мои холодные, сухие псальмопенья.
Старинные слова и выраженья
Не могут им принесть нимало утешенья.
Я благодарность лишь иным из них воздам
За сладкие мои часы и восхищенья,
Какие чувствую, читая их творенья:
Она приятна всем сердцам.
Украшу я мой стих опять их именами
И их почтенными трудами,
Как новыми цветами и плодами.
Ужели возбранят мне нынешни певцы
Им незабудки вплесть в их розовы венцы,
Хотя б пустынные сии стопосложенья,
Противу моего им назначенья,
Из неизвестности исторглись и забвенья?
Не зависть и не лесть
Подвигнули их плесть,
А ревность дар простой для памяти принесть.
Противно ли друзьям то будет просвещенья,
И чем пред ними погрешу,
Когда здесь напишу,
Что я люблю читать их все стихотворенья;
Что полон вымыслов удачных в них *Хвостов*,
Хотя ты иногда, Привета, и желаешь
Связнее мыслей в нем и глаже в нем стихов,
Затем что с тонкостью излишней разбираешь
И в срочных ничего работах не прощаешь.

Приятен и в стихах и в мыслях *Горчаков.*
Со вкусом, с мастерством в них нежен *Салтыков.*
О, если бы труды могли их быть уделом,
То, посвящая им свои свободны дни,
Чего б не сделали они
С дарами их, писав притом не между делом!
Равно у прочих там певцов
Прекрасных много есть стихов,
А паче тем их все труды общеполезны,
Друзьям словесности любезны,
Что памятник творцам российским зиждет вновь
Их нежная к отечеству любовь. [22]

С произнесением сего священна слова
Здесь имя и труды мы вспомним *Новикова*
В собраньи древностей, в печатании книг,
Чем много приобрел, Привета, наш язык.
Неблагодарны б мы еще с тобою были,
Коль *Николева* бы с *Нелединским* забыли;
Хотя уже теперь их лиры не звенят,
Нам звуки прежние певцов своих твердят.
Пальмиру одного еще мы вспоминаем
И песни иногда другого припеваем.
О *Сумарокове* я также не забыл,
Который меж певцов приметен новых был,
А боле как в своем послании к Всемилу
«Фелице» подражать имел он дух и силу.
И в сказках, и во всех стихотвореньях тож
Забавен слог его, чист, ясен и пригож;
Картины только нас иные не прельщают,
Такие, например, где барыня верхом,
Героя Греции любовница притом,
На Аристотеле в узде и под седлом
По общей воле их всю школу разъезжает.

Любя муз русских молодых
И все в словесности новинки,
Приятно вспомнить между них
О даровании мне *Глинки.*
Он дружество ко мне питал,
К которому в нем сердце нежно,
В пустыне он моей певал;

Я все труды его читал
И то могу сказать надежно,
Что он, достигнув зрелых лет,
Счастливый может быть поэт,
А паче если удалится
От вредных городских зараз
И больше к музам прилепится.
Ах, если бы его Пегас
Унес скорее на Парнас!
Вмещая пожилых писцов меж молодыми,
Не наблюдаю я порядка между ними:
Нет в музах старости... но есть она в певцах...
Увы! я чувствую ее в моих стихах!..
Так, переводчика Вольтеровой «Альзиры»,
Здесь *Карабанова* я вспомню звуки лиры.
Не пышен пусть его, не велегласен стих,
Но важен иногда и чист, хотя и тих.

Готовится певец нам с летами *Востоков*:
В нем есть познания, и дар, и вкус, и ум,
И много стихотворных дум,
Когда б он более держался тех уроков,
Какой меж прочих нам оставил *Сумароков*
В бессмертной басенке к Мотонису своей:
«Смотри на истину, и ты *Востоков* в ней,
И отвращение имей
От тех людей,
Которые гнушаются собою,
Которых речи смесь язы́ков всех и сброд,
А сочинения как робкий перевод,
Ты басенного пса иль их учись судьбою,
От англо-франков сих направь к славянам путь
И этой басенки конца не позабудь:
Вовек отеческим язы́ком не гнушайся
И не вводи в него
Чужого ничего,
Но собственной своей красою украшайся».
Фантазий новых нам в стихи ты не вводи
И вместо их слова природны находи
Да более переводи.
Полезнее сто раз с творцов великих списки,
А паче ежели они еще и близки,

Чем подлинники низки,
Которые у нас нередко на беду
Лишь служат вкуса ко вреду.
Посредственное всё в твореньях забывают.
Стихи *Поповского* едва ли ныне знают:
Из Попия ж его и Локка перевод
Из рук доднесь нейдет,
И больше ваших всех творений их читают.
Так власть всегда сильна великого ума,
Хотя бы иногда на ум пришла чума.
Достигнешь скоро ты Кастальских чистых токов,
Лишь только славиться успехом не спеши,
Исправнее и думай и пиши,
И чисти более стихи свои, *Востоков*:
Незрелые плоды
Для вкуса неприятны,
Читателям невнятны
Так слабые труды.
Вот чувства искренни, желанья и советы
Тебе и от меня и от моей Приветы.
То ж самое советует тебе и *Львов*,
Защитник ревностный старинных сильных слов,
А новобранного нерусского язы́ка
Не нравится ему протяжная музы́ка.
Конечно, то же *Пнин* тебе сказать бы мог,
Когда бы жизнь его продлил парнасский бог.
Как наших муз утрата в нем велика!..
Подобно, кажется мне, мыслит и *Бобров*,
Но вкус *Хераскова* забыв в своей «Тавриде»,
И в страсти к новому игрой трескучих слов,
Шероховатостью и мыслей и стихов
Подходит там в иных местах к «Телема́хиде».
О сей «Тавриде» суд такой
Приветин, а не мой.
Я очень знаю то, с какими похвалами
«Таврида» славилась недельными листами.

Привета, вижу твой нетерпеливый взгляд:
Протяжные мои стихи тебя томят,
Тем боле что еще не молвил я ни слова
Про твоего и муз любимца *Мерзлякова*.

Сейчас твоя же мысль тебе об нем готова.
Дивишься ты ему, что в собственном труде,
Читая всякое почти его творенье,
Мы дара в нем того не видели нигде,
Которым нас приводит в восхищенье
Его с других язы́ков преложенье.
В картинах подражать готовым красотам,
И краскам, и чертам,
Как в преложениях и мыслям и стихам,
Пусть легче, нежели всего изобретенье;
Но подражатель тот достоин всех похвал,
Где видим образцов живое выраженье.
Когда среди пустынь стенящий в страсти галл
На русском языке в его стихотвореньe
Равно красноречив с Вергилиевым стал;
Когда желаешь ты, и кто бы не желал,
Чтоб труд свой *Мерзляков* в сем роде продолжал,
Дабы узнали мы из русских лирных звонов
Божественный язык Маронов и Назонов.
С такой же красотой им списан Мелибей,
И Дезульерины овечки, и ручей.
Нам, русским, кажется в стихах его Тиртей.
Привета, помнишь, как, его читая оды,
При ратных там словах «ступай» или «к мечам»
Невольно и своей я службы вспомнил годы,
Победы наших войск, Румянцева походы,
И ты, приметив весь восторг мой по слезам,
Сказала: «Вот хвала всех лучшая стихам».

Теперь, Привета, двух певцов воспоминанье
Исполнит всё твое желанье.
Кутузов, *Дмитриев* свершают наконец
Сей слабый памятник признательных сердец.
Соединенные с бессмертными творцами,
Единоземцам их любезны имена,
Как ныне, так во все пребудут времена
И отдаленными воспомнятся веками.
Доколе восхищать удобен нас Пиндар,
Доколе станем мы пленяться Феокритом,
Кутузова всегда чтить будем труд и дар
В их преложении, по-русски знаменитом.

Подобно *Дмитриев*, любимый наш пиит,
Всегда пребудет знаменит.
За перевод своих бессмертных сказок, басен
Де Лафонтень его так имя сохранит,
Как он изображать красы его рачит;
И от забвения сей список безопасен.
Из Флориана же мест многих перевод
У *Дмитриева* так прекрасен,
Что он за подлинник идет.
А сказки собственны его нам есть довóд,
Что авторский талант равно в Руси живет,
Как в Вене, в Лондоне, в Париже,
И что искать его в Москве для русских ближе.

Почто я не могу и всех певцов своих
Вместить здесь в краткий стих?
Вот в лирных песнях знал еще приятность звуков
От муз и сограждан любимый *Долгоруков*.
В воспоминание моих прошедших дней,
Восторгов юности моей,
И сердцу и тебе, Привета, в угожденье,
На память рыцарских и чувствий и времен,
Ты примешь от меня еще здесь приношенье:
Я женских несколько внесу сюда имен,
Любимых музами, тобой и чтимых мною.
Со всей невинностью, хранимой сединою,
Прелестный пол, моей владеешь ты душою!
Хотя уж пламень чувств от старости угас,
Чувствительность души не умирает в нас.
Она как страсть еще пылка, но прозорлива,
Без ослепления довольна и счастлива,
В стремлениях, как сам рассудок, справедлива,
Сколь непорочна, столь она и горделива,
Как бескорыстна, так нельстива;
Без страсти всё ее одушевляет глас.
Она-то облекла в нетленну ризу
Как Попиеву, так Руссову Элоизу,
Рейналеву Элизу.
Ценить изящное ее потребен глаз.
От ней и радость мы и жалость ощущаем,
С восторгом всякий раз
От ней приятные мы слезы проливаем,

Когда для сердца что иль пишем иль читаем.
От ней и я еще влекуся на Парнас.
Когда под шестьдесят мне лет уже подходит,
Она все прелести красот на мысль приводит;
Утехами весны в осенни дни дарит;
Воображение еще воспламеняет:
Природою разит,
Искусствами дивит,
Науками питает,
Надеждами живит,
Успехами ласкает
И, сладким дружеством пленяя, петь велит.
Внушает имена *Херасковой*, *Хвостовой*;
О *Сумароковой* мне помнит, о *Сушковой*;
И о *Вельяшевой*, *Урусовой*, *Копьевой*;
Магницких написать, *Поспелову* велит;
О *Турчаниновой*, *Тургеневой* твердит;
Про *Николеву* мне, *Щербатову* вещает;
Про *Шаликову* тож напоминает;
Равно *Баскаковой* и *Жуковой* она
И *Кологривовой* здесь пишет имена;
Жалеет, что вместить не может, стеснена
Здесь краткими стихами,
И прочих, кои их в словесности трудами
Достойны стать в ряду с парнасскими писцами
И нежными всегда воспомнятся сердцами.

Имеем, наконец, духовных многих мы,
Которых знания, витийство и умы
Пред беспристрастным бы и просвещенным
светом
Со Массильоном их сравнили, с Боссюэтом,
Но русский наш француз, их вечно не читав,
Не хочет им отдать принадлежащих прав,
Ему учители и стражи нашей веры,
Ко благочестию дающие примеры,
Невежды кажутся, ханжи и лицемеры.
Пасто́ров хвалим мы, профессоров чужих,
Не вспомня никогда наставников своих.
Всю подноготную Лафатерову знаем;
Недельные листы им наполняем,
И с Дидеротом мы его равняем,

Хоть тем с Лафатером лишь сходен Дидерот,
Что видел у него я в том же месте рот.
А наших пастырей, *Платона*, *Гавриила*,
Георгия или *Леванду*, *Самуила*
И прочих сана их почтеннейших мужей,
Красу и славу наших дней,
Не удостоили нигде хвалы своей.

Но сколько есть еще писцов уединенных
Без одобрения работ их сокровенных,
Достойных видеть свет, в забвеньи погребенных!
Достойных средств таких, чтоб в наши времена
Не гибли больше их труды и имена.

Сие писателей российских здесь собранье,
Хотя я привожу их малое число,
Которое в мое лишь время возросло
И коих сладко мне всегда воспоминанье,
Не ясный ли уже дово́д,
Сколь к просвещению способен наш народ,
Сколь в нем к словесности велико дарованье!
Какое поприще он в знаниях протек
В богатый на умы Елисаветин век!
Колико нам в одних училищах военных,
На кои Фенелон советы подавал,
А *Миних* им пример в России основал,
Воспитано людей отменных
Искусством, храбростью исполненных вождей,
Со бескорыстием и честностью судей,
Писателей, певцов, достойных муз друзей,
Екатерининых к бессмертной славе дней!
Почто священные сии чертоги ныне
Не в прежней их уже судьбине,
Где образовано толико всех родов
Блистательных талантов и умов,
Прославивших навек отечество сынов;
Где *Сумарокова* открылся блеск даров;
Где взрос *Румянцев* сам, толь редкий дар веков!..
С восторгом и доднесь, любезная Привета,
Я помню там свои счастливы детски лета.
Там были русские для русских образцы,
Учители-друзья, начальники-отцы;

Там нравы, ум, язык господствовали наши:
Мы чувства русские из русской пили чаши.

Доколе в русских рос руках сей вертоград
Российских благородных чад,
Среди тех средств, надежд, как всё в нем процветало,
Обильные плоды произращало
И впредь их обещало,
Не представляли мы тогда себе того,
Чтоб русских русские спросили: «Отчего
В России авторских талантов мало?»
Но видно, так спросить теперь уж можно стало.
Не продолжаются, знать, те же средства к ним.
Притом же к авторским талантам мы своим
Не рано ли еще, не слишком ли и строги?
Не заграждаем ли мы сами к ним дороги?
Каких талантов мы и авторов хотим,
Когда мы заняты с пристрастием одними
Творцами, книгами, язы́ками чужими,
А о своих нимало не радим;
Не только их не отличаем,
Мы их совсем не примечаем
И вовсе не читаем;
Язы́ком даже мы своим не говорим,
В чем новым слогом мы себя изобличаем.
Вольтера наизусть твердим,
Из *Ломоносова* пяти стихов не знаем;
Стихи бессмертные старинными считаем
И ими уж скучаем.
Чего ж об авторских талантах вопрошаем?
В то время как у всех, не у одних у нас,
Пустеет день от дня и древний их Парнас.
Не видно вновь и там Вольтеров, ни Мильтонов,
Клопштоков, Геснеров, Петрарков иль Бюфонов.
На авторски дары скупа природа к нам
Ничем не больше, как и там,
Хотя детей тому там вечно не учили,
Лозой за то им не грозили,
Чтоб свой язык они с младенчества забыли,
А взрослых не журят
За то, что языком природным говорят.

Смешно к словесности талантов ждать пространных
От нянь, учителей и дядек чужестранных.
Из русских выйдем мы, в французы не войдем
И к цели сим путем
Вовек не попадем.
Уроки, образцы чужие в нас сболтали
Язык, и нравы, и умы,
Ни чужеземцы мы,
Ни русские уж стали.
Прискорбно грубые столь правды говорить,
Но низко их, любя отечество, таить.
Такими средствами введем не просвещенье,
А роскошь и к стране природной отвращенье,
Своих обычаев и сердца развращенье.
Полезней было бы для авторских даров,
Чем мы вопросами их только унижаем,
Когда бы им для образцов
Переводили мы примерных тех творцов,
Которых мы твердим, которых обожаем
Учили б мысли их нас лучше размышлять,
А переводы мысль складнее выражать.
Полезнее, когда б терпенью мы учились.
Творцами быть не торопились,
А паче ежели к тому и не родились,
Заслугами в письме так рано не гордились,
Льстецов или невеж хвалой не возносились
И новых выдавать для слога образцов,
Язы́ка ко вреду, к стыду прямых творцов,
Отнюдь не суетились.
Но лучше моего сказал то всё *Шишков.*
Я только твоего внушением совета
Здесь то же повторил, любезная Привета,
И слабых несколько из прозы сплел стихов.
Пусть критика еще теперешних писцов
И от меня огложет
Сухую эту кость.
Любви к отечеству поколебать не может
Сатир и критик злость.

О просвещение, небесное светило!
На то ли из пустынь ты нас соединило,
Чтоб нужды новые с пороками открыло?

На то ли озарил твой ясный смертных луч,
Чтоб свет вреднее был невежества им туч?
Чтоб, правила имев и мысли одинаки,
Поклонники твои книгочтецы,
Ученые, парнасские певцы
И сами мудрецы, —
Все, даже за тебя, кусались как собаки?
На то ль, чтоб, кротость мы твою нося в глазах
И философию являя на словах,
А нравами, делами
С американскими равнялись дикарями?
На то ль ты, чтоб стремил нас сладкий твой восторг
На зависть, спесь или тобой на низкий торг?
На то ли, чтоб с тобой в пыли мы пресмыкались,
Перед невежами позорно унижались,
Когда бы без тебя мы счастьем наслаждались? . .
Но есть приятности, есть счастье и в тебе!
Не чувствуем ли мы, Привета, их в себе?
Не благодарны ли за то своей судьбе? . .
С природой, с простотой, в моем уединеньи
Под сельской кровлею, во глубине лесов,
С невинной совестью в счастливом сопряженьи,
Ах, сколько сладостных восторгов и часов
Мне малое мое приносит просвещенье!

Пустыня мирная моих к спокойству дней,
Убежище при старости моей!
Не променяю вас я, храмины убоги,
На пышные сады, огромные чертоги,
Какие для друзей богатых вымышлял
И коих никогда себе не пожелал:
Они с природою меня бы разлучали.
Там птицы бы ко мне на окна не летали
Иль белки дикие на них бы не играли.
Любя природу, век я роскошь презирал.
Вы, холмы красные, тенистые долины,
Где видеть я учил младых друзей моих
Природы красоты и сельские картины,
Учил, как без богатств присвоить можно их.
Младые рощицы с цветущею травою,
Подчищенные все моей рукою.

Древа отборные, где тож рукой моей
Я имена моих вырезывал друзей;
Иные посвящал великих в честь людей,
Не могши лучшего им сделать приношенья,
И где я читывал их письма и творенья.
Вы, своды лиственны, под тенью шалаши,
Где чувствовал покой я тела и души!
Где мрачной участью от зависти скрывался
И неизвестностью на знатность не менялся;
Где Элоизы я мой список исправлял;
Где Сен-Ламберту я, Делилю подражал,
Сады и времена их слабо выражал;
Где в недрах тишины я мыслям предавался
Иль с другом искренней беседой услаждался;
Где с бескорыстием я ближнему служил;
Корыстолюбие ж и суетную славу
Считал за язву и отраву
И добродетели, как их творца, любил!
Где циркуль, кисть, перо и ты, любезна лира,
Давали лучшее вкушать мне счастье мира,
Где я довольным быть навык моей судьбой
И жить с самим собой;
Где быстро столь текут мои уж поздны годы
В объятиях любви, муз, дружбы и природы! . .
Священный лес! коль я щадил твой мрачный кров
Искусства пышного от тягостных оков,
Когда ты от меня ничем не оскорблялся,
Величием своим природным украшался,
Которое в тебе я только открывал,
Чтоб взор приятностьми твоими любовался,
Но дикость даже всю твою я сберегал, —
В награду за мое толь нежное раченье
Покой остаток дней моих в уединенье
И мой по смерти прах
Сокрой в своих тенях.
Да счастия сие жилище и натуры
Корысть не истребит, ни жадны винокуры;
Да будешь населен всегда друзьями муз;
Да предпочтет тебя садам их здравый вкус,
Да все открытые мной холмы и долины,
Кудрявые древа, поляны и тропины,
Лесные хижины, и виды, и картины,

Пленяя душу их подобно как мою,
Надолго сохранят всю целость тем твою.
Да эхо сладкое стихов здесь раздается
И вечно с пеньем птиц глас лирный не прервется!

⟨1807⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Французская Академия в рассмотрении трагедии Синава, и г. Вольтер в письме своем к г. Сумарокову.

[2] «Лето» к г. Дмитриеву.

[3] Великого сожаления достойно, что сих знаменитых образцов нашего витийства и поэзии в прошедшем веке большая часть трудов от небрежения утрачена.

[4] Не по пиитическому увеличиванию, а по точному счету он написал сто книг, включая в то число первый перевод Ролленя, сгоревший в пожар его дому.

[5] Из сего перевода напечатано было три песни. В стихах оного больше чистоты и вкуса, нежели в переводе Петрова. Из Овидия несколько элегий (печалей) переведены Санковским так же чисто и приятно.

[6] В переводе его, впрочем, может быть, сильном и близком, особливо неудачное соединение славенских речений с общеупотребительными русскими без выбора, согласия и вкуса, составляют неприятную пестроту и шероховатость в слоге. Стихи его часто тяжелы, принужденны, надуты.

[7] Оба сии прекрасные перевода г. Кострова показывают в нем счастливое и редкое соединение даров витии и стихотворца.

[8] Переводы его Горациевых сатир и Федровых басен действительно слабее всех прочих его стихотворений, хотя и не приносящих ему чести.

[9] Сия песня начинается так: «Тщетно я скрываю сердца скорби люты». Она была напечатана сперва между песнями г. Сумарокова.

[10] Будучи в сухопутном кадетском корпусе учителем фортификации, он с таким сильным и приятным красноречием изъяснял нам сию важную часть военного искусства, что не только научал, но пленял слушателей.

[11] «Но можно ли каким спасительным законом
Принудить Мевия мириться с Аполлоном,
Не ставить на подряд за деньги гнусных од
И рылом не мутить Кастальских чистых вод», —
написал о нем г. Капнист в Сатире.

[12] Из переводов его — «Заблудший сын», Вольтерова комедия, отданная в 1769 году на театр, не напечатана.

[13] В сей поэме, возбуждаясь любовию к отечеству, присовокупил он многие славные действа творца российского военного искусства, Петра Великого.

[14] Да не примут за мщение читатели сих строк, уважением к ним извлеченных. Мне прискорбно было бы не оправдаться никогда за обезображенный издателем перевод Новой Элоизы, выданный под

моим именем. В нем сделано издателем против моего запрещения и уверения его в своеручных ко мне письмах ничего не переменять в списках моих больше тысячи перемен или грубых погрешностей даже против авторского смысла, не только против чистоты слога. Неужели за то, что я бескорыстно подарил ему право печатать сии книги в его пользу, а он, не доставя мне и выговоренных двадцати экземпляров, принудил меня купить на ярманке мою собственную книгу; неужели за нарушение его обязательств, за издание подложных книг под моим именем не имею я еще права и сказать о том, для оправдания себя перед читателями, скрывая и щадя его имя, тогда как он не щадил нимало моего, издавая под оным испорченные им мои переводы. Доказательство неоспоримое, что я гнушался мстить, когда, нигде не жалуясь, позволил ему пользоваться плодом его неверности и продавать обезображенные мои труды. Я не упущу однако ж выдать сих мнимых поправок или грубых погрешностей, сделанных издателем против моих рукописей в сем переводе, как для оправдания моего перед читателями и для угождения им, так и для того, что в примечаниях на оные погрешности найдется, может быть, нечто к пользе переводов, слога и вкуса.

[15] В поэме Чесмесский бой:

«О ты, питомец муз, на что тебе Беллона,
Когда лежал твой путь ко храму Аполлона?
На что война тебе, на что оружий гром?
Воюй ты не мечом, но чистым муз пером;
Тебя родитель твой и други ожидают,
А музы, над тобой летающи, рыдают;
Но рок положен твой; нельзя его прейти.
Прости, дражайший друг, навеки ты прости!»

И ниже:

«Когда же скрылся ты навек в морских волнах,
Так гроб твой у твоих друзей теперь в сердцах».

[16] В письме г. Майкова.

«Художеств и наук *Козловский* был любитель,
А честь была ему во всем путеводитель.
Не шествуя ль за ней, он жизнь свою скончал
И храброй смертию дела свои венчал?»

И ниже:

«Когда о храбрых кто делах вещати станет,
Козловский первый к нам во ум тогда предстанет;
Хвалу ли будет кто нелестным плесть друзьям,
Он должен и тогда представиться глазам;
Иль с нами разделять кто будет время скучно,
Он паки в памяти пребудет неотлучно.
Всечастно тень его встречать наш будет взор,
Наполнен будет им всегда наш разговор.
Итак, хоть жизнь его судьбина прекратила,
А тело алчная пучина поглотила,
Он именем своим пребудет между нас;
Мы станем вспоминать его на всякий час».

[17] Он перевел Гельвеция, переводил много и в стихах; но ничто не напечатано.

[18] В одном письме к Вольтеру, 1776 года из Царского Села, го-

ворит она о переводе своих учреждений для Губерний: «Всего труднее переводить на французский язык с русского: язык русский так богат, выразителен и способен к таким оборотам и составлениям слов, что его можно употреблять как угодно; а ваш язык так учен и так беден, что вам только одним возможно сделать из него такое употребление, какое вы делали».

[19] В правилах для Эрмитажа.

[20] Смотри «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», особливо от стр. 175 по 241.

[21] Критика на сочинения Евстафья Станевича.

[22] Новый опыт Исторического словаря о российских писателях, издаваемый в московском журнале под названием «Друг просвещения».

301. ГАЛЛОРУССИЯ

Сатира

Глядите в присный мрак, богатыри могучи,
Рукой невежливой посекши вражьи тучи!
О имена, ушам столь жесткие в сей век:
Добрыня,[1] Миша...[2] О, почто я их нарек!
Как Ксерка,, Магнуса бежать заставя в лодке,
Что были вы? — копье в руках, «ура» лишь
в глотке...
Павзании ли вы? — Нет. — Что же? — Русаки...
Ой, черная родня, могучи старики!
Не Сюллии ведь вы, не Конде, не Тюренни,
Звон коих тешит нас все праздники осенни!
О ком орангутанг, приезжий попугай
Твердит: «Вот полубог, вот Франция, вот рай!
Одно отечество неслыханных героев
С Варфоломеевских до подмосковных боев».
И вы, о Александр, Димитрий и Мстислав,
Для гордовыйных лиц чертившие устав!
Вы все не Людвиги, не Карлы, не Франциски.
Пред сими имена славян ко смерти близки.
Не удостоитесь вы в розовый сафьян,
Прижаты к сердцу быть, лечь с Софьей на диван,
Милон, слезу отря, не скажет в кабинете:

[1] При Владимире Великом (см. Летопись Нестора, стр. 72 и 73) победитель болгар, которые, заключая позже мир с русскими, сказали: «Тогда мы опять начнем воевать с вами, как камень начнет плавать, а хлеб тонуть».

[2] При Александре Невском — победа на Неве, см. «Степен⟨ной⟩ книги», ⟨т.⟩ XXIII. Там же Алеша Попович, тоже славный богатырь.

«Почто, великие, вас нет еще на свете?»
Кисельник ли в глаза им бросится псковской [1]
Иль мальчик (быв Коклес второй у нас) с уздой, [2]
Умам то русских дам покажется противно:
Кисель, узда, русак — то слишком некартинно;
Тут гугенотов нет, Париж не осажден
И на британцев полк Жан д'Арки не веден.
Представить ли и вас, о бедны черноризцы!
Иоахим, Нестор и Сильвестр-бытописцы!
Со смеха уморит всех русских дам ваш взор:
Зачем не воспитал Людовиков ваш двор
И не Левеки вы, Детуши и Вольтеры!..
Что описали вы? Славянские примеры?
Но не французские, — Карлин и Даниил!
Великий Карл для нас, а не Владимир мил.
Осмелимся ли мы поставить Ермогена,
Великого душой средь глада, уз и плена?

---

[1] Кисельник псковский — см. Нестора стр. 91, «Осада Белгорода печенегами во время похода Владимира Великого в Новгород». Когда веча уже решила назавтра сдаться (столь голод усилился), некоторый старик, не бывший на вече, выпросил три дни сроку с тем, чтоб дали ему волю. Велел собрать по горсти пшена и овса и меду, наварить киселя, сделать сыту, потом влить кисель в один колодец градский, а сыту — в другой колодец. Потом обыватели послали к половцам, чтоб прислали для договора людей, которым нечто открыть имеют. Присланных печенегов стали подчивать из одного колодца киселем, из другого сытой, говоря: «Что вы губите себя, хотели нас перестоять — 10 лет стойте, а не сделаете ничего, ибо нас земля питает, как и видите». Печенеги отвечают: «Не поверят наши военные начальники, когда не попробуют этого кушанья сами». Им дано киселя и сыты с собой. Удивленные их полководцы пробовали, ели и сами себе не верили. Однако ж, пообедав киселя, тотчас отступили.

[2] О мальчике с уздой см. Нестора летописи, стр. 57. Во время победы Святослава над болгарами и взятия дани с греческих императоров печенеги осадили Киев, заключавший в себе Ольгу с тремя принцами. Блокада была столь жестока, что на другой день готовились сдаться, как один мальчик вызвался дойти к главной армии. Взяв узду, печенежским языком спрашивает: «Не видал ли кто лошади?» Пройдя же таким образом лагерь неприятельский, проворно разделся и кинулся вплавь чрез Днепр. Печенеги бросились в него стрелять, но уже было поздно, ибо между тем перенял его отряд русский. Мальчик уведомил об опасности Киева. Пропущен был слух от воеводы Претича, нарочно встретившего печенежского начальника, что то был посланный из главной армии, которая уже близка. Следствием сего было немедленное отступление печенегов.

Подымут хохот все: «А Флешье, Масильон,
А Боссюет», — хоть им соперник всем Платон.
Патриотизм у нас не слишком же гордится:
Пожарский более или Колúньи чтится,
О том сомнительно у русского спросить, —
Колúньи для ушей бессмертней должен быть.
Ермак наш чучел ряд в своем поставил флоте,
Кучума содержал и в страхе, и в заботе. . .[1]
Военна хитрость та, Ермак, Сибирь, Кучум,
Ушам несносный сей, неумолимый шум
Гармонирýет ли в сей век, столь просвещенный?
То ль дело Ронцеваль, Роланд там пораженный.
А Долгоруков наш, князь Холмский, образец,
Два Шереметьевы и низовской купец
Со всем отечества к ним вековым спасибом
Пред теми, волоса от коих станут дыбом,
Что в революцию коверкали Париж, —
Что значат? Вот и всем почти уж сделан крыж.
О славных женщинах уж поминать не стану.
Против Голицыной[2] поставить Монтеспану —
О вкусе ж спорить как, коль много голосов?
Немного с Мирабо поспорит Богослов,
И из учтивости наш русский всё уступит,
Нет нужды, тайное презренье хоть и купит.

Не ошибаюсь ли? Но, кажется, пора:
Але к чертям послать кричащему: «Ура!»
Ведь некуда девать: у нас француз в комоде,
Француз на сцене весь *сто тысяч в переводе*,[3]
И в кабинете нас они клялись душить;
Британцев с немцами не время ль приютить?
Да то беда: Радклиф с своей архитектурой
Наш разум сделает опять карикатурой.
Кларисса, Грандиссон, Памела — стерты страх,
И с непривычки к ним пóчтем мы их за прах.
«Монаха» в руки взяв, прелестная девица
На рычардсонов ум накинется как львица,

---

[1] О Ермаке смотри Древнюю Российскую Вивлиофику, часть VII.
[2] Княгиня Голицына — великая покровительница ученых в Москве — умерла.
[3] Это может служить экивоком.

А немцы парижан, к несчастью, слишком чтут,[1]
И мы в учениках опять — как пить дадут.
До вас теперь дошел, о лицы современны!
Французам давши путь, вы сколь уничиженны.
Трудов ли мало здесь, знакомства ли с собой,
Что потупляете смиренно взор вы свой?
Ужели вправду нет у нас самих Лагарпов?
Иль стыдно автору, что прозвищем он Карпов?
Последнее пора из мыслей истребить:
Езоп был некрасив, а веки стали чтить.
Труды отцов, сынам полезны поощренья,
Любовь к достоинствам боляр, их одобренья
То сделают, что наш ученый муравей
Из страшных зданиев составит свой лицей
И полок тысяч сто таких же начудесит,
Что лет чрез тысячу читать, так перевесит.
Одна история — парижский отзыв то
Об их истории, а наша вся дней в сто
И с дополненьями к деяниям Петровым,
С стряпнею Емина и «Храмом славы» Львовым,
С «Ядрами», «Зеркалом» Хилкова, Мальгина
И с будущей... когда-нибудь Карамзина.
Зато похвалимся, что мы и без поклона
Давно уж счет ведем с эпохи Клодиона,
А забиваться в пыль не любим лишний раз,
Чтоб слишком варвар сей знакомым был для нас.

Вдруг галло-русского усматриваю мужа:
«Что мы пред Францией? — пред океаном лужа, —
Он вопиет в слезах. — Куда ни обернись —
Везде у ней свой верх, везде у нас свой низ.
Фонвизин и Болтин, Елагин, Емин, Шлецер
Своим лишь языком писали не на ветер,
А то подрядчиков всех прочих длинный ряд,
И чтенье мило их — лишь в праздничный парад.
При всех их красотах, их тысячи на свете,
Где ум, чтобы стоял в столетней лишь газете?
Теперь за класс второй примусь отличных я:
Мне Вассианщина, змей, змеич и змея
Не нравятся отнюдь, затем, что рабством дышат».

[1] Это сказано недаром и также экивок.

Я

Но «Кадм» роман такой, что вряд другой напишут.
К нему принадлежит и русский Лафонтень...

Он

Прекрасен и хорош, но всё другого тень.
За ним в ряд следует татарин голосистый,
Красавец лирою, душою — дух нечистый;
Бард — это подлинно, отчасти филосо́ф,
Да жаль, что змей и льстец и весь неоднослов!
Коль воспитание творца бы «Россиады»,
А этому его «Фелицы», «Водопады»,
То были бы у нас Вергилий и Гомер
И лирой россы бы взнеслися выше мер.
Хотел бы выразить резчее их пороки:
С приему рождены быть в пении высоки,
Но, взявши свой предмет, не смеют не шептать
И петое лице за стремя не держать —
Невольника душа и в золоте приметна,
И лира такова не будет долголетна;
Пред теми счастлив он, кто лишь не мог сличать,
Но что ж за мирты — глас невежи замечать?

Теперь за пышный класс мы примемся — класс третий,
То фарисеи — блеск наружный их отметы,
Но внутренно они — гробница лишь костей;
Вот путешественник, что кистию своей
Французолюбие в нас вечное посеял.

Я

При всем том, грубый штиль и славянизм развеял.

Он

Вот подражателей им тьма возрождена —
Коль будет в ад сия душа приведена,
Ответы Миносу должна сготовить строги,
И пустословие от ней истяжут боги.

Я

Ужели это он расслабил тьмы сердец?

Он

Несчастных множества романов став творец,
Пандоре равен он, с коварным даром сшедшей.
Коль не был бы сей муж бандурист сумасшедший,
В «Борнгольме острове» какой изображен.
Он мог быть Фенелон — полезен и почтен.
Но в плоские стихи ударясь непомерно,
Быть добрым притворясь чресчур уж лицемерно
И прозы в патоку, в набор курсивных слов
Увязши, стал отец всех нынешних ослов,
С восторгом чтущих взор красивый Ринальдина!
Радклиф и Дюмениль, рассказчица Мелина
Как сговорилися в один родиться век,
Который детским бы разумней всех нарек.

Я

(посмотря в окно)

Но это кто таков, — то муж национальный,
И это... много их... толкучий... лик печальный...

Он

Тех литераторов, за русский что язык
Алтын шесть заплатя, готовят столп из книг:
Вот *Дураков,* певец того, что петь не смыслит,
Глупницкий, варварский что сброд журналом числит,
Из гарнизонных школ курс конча, ложь и скот,
Поэмою Петра, что бросит в хладный пот.
Вот книжки золотой издатель и продажной,
Мы назовем — Платон Платонович Отважный,
Вот добрых глупый друг, гостиных мерзкий враль,
Ума ни искры тут — исколоти всю сталь.
Вот семент, кирпичи и к смазыванью — *глинка:*
В ней обокрадена немецкая старинка;
Два брата *Сказкиных* — построили терём,
Да жаль, что это всё — мужицкий только дом...
Вот шавка датская, стихи ее поноска,
Шалунья думает, что росс, а только Роська.
Вот и *Вековкина* с историей сердец...
Но всех исчислю ль я?.. Скажу лишь наконец,
Что в годы нынешни визг Мидасовых братцев
Набитым делают сундук книгопродавцев —

Столь вкус возвысился. И перевод гнилой
Поденно возит к ним извозчик ломовой.
Мне кажется при сем порядочном подряде,
Что начинаем жить мы в сущем маскараде:
Сапожник автором, а автор за верьвой,
Без мысли головы — над кипой книг большой.
Без муз воззвания — здесь уши зов их слышат,
Фашины бы вязать — глядишь, восторгом дышат,
Колеса б смазывать, а взнуздан уж Пегас,
В дом желтый думает, а лезет на Парнас.
Ну что же, скажешь ты, — не хуже ли мы галлов?
У них кузнец знаком с расплавкой лишь металлов,
Он вместо молота не схватит ведь пера —
Чтоб шины запаять, не тратит серебра, —
Не пишет, а кует. Чтоб дести три исхерить
И толсто ль ... измерить?
Нет! знает, что всегда почтеннее кузнец,
Чем вкуса пасынок, несчастливый писец.

Я

Ударился же ты с истории двуножных
К теории о сих почти черепокожных.
Зачем к большим у нас без милости уж строг?
Велик поистине воспетый русским «Бог»,
И равной не найдет себе и песнь Казани,
Журналы же дают порядочные бани
Дерзнувшим лик Петра хвалою порицать
Или Рымникского — сравненьем затмевать.
«Цветник» или «Москвы Меркурий» — суть кометы,
Предзнаменующи *Глупницким* грозны леты,
И каждый (редок пусть) противный им сей блеск
В Мидасовой луне даст жаром сильный треск.

Он

Ты споры продолжай; а брызги лун упавших
Соделают собой ряды миров множайших,
Падением других казнится ли глупец,
Из праха мыслит он алмаза быть творец.
Объемлет гений всё с одной подвижной точки,
Глупец, ее прошед, считает центром кочки.
Вот, например, здесь сей любимец нежных муз
«Чужой толк» написал, как истинный француз:

В нем дышит Боало — вот «Ябеды» писатель,
В нем виден уж творец, не виден подражатель.
Но сколько стоило перо их музам слез,
Как «Всякой всячины» хор шумный вслед полез,
И вместо, чтоб иметь прекрасные две штуки,
От продолжателей должны терпеть мы муки.
Вот отчего всегда любезен мне француз,
Что не берется он начатый портить вкус:
Родился кто сурком — в странах и бродит узких,
Не мыслит странствовать на льдинах алеутских,
Не переводит он в подполье небеса,
Сознав ничтожество, не мыслит в чудеса,
Расина нежный прах в покое оставляет
И дополненьями его не искажает,
Во стихотворный мир не вносит «Корифей»,
Чтоб ухо оскорбить чрез множество затей.

Я

О галлах плачешь ты — я плачу о германцах
И переложенных на наш язык британцах.
Энциклопе́дистов судьбина их жалчей.
Когда уже к нам вшел чудовище «Атрей»
И «Родамист», из всех презреннейший убийца,
То сколь их превзошел тот злой чернилопийца,
«Фиеску» и «Любовь с коварством» кто убил,
Дорогу избранным собою заградил...
Дорогу избранным, что, быв уничиженны,
Не напечатали труды свои почтенны,
Где выражение, объемлемость и вкус
Весь выдержали свой священнейший искус,
И прелагатель их, быв истый прелагатель,
К несчастью, не был лишь лиц глупых истязатель,
Чтоб поле удержать достойно за собой...
Достоинство себя не выставит трубой.
Что скажешь ты еще о бедненьком Мильтоне,
В мешке что̀ тащится разносчика на лоне?

Он

О «Генриаде» ты что скажешь, например?

Я

Да что всё на уме лишь у тебя Вольтер?
О Клопштоке скажи или о Мендельзоне...

Он

Мне то же говорить о них, что о Язоне:
Руно свое в Париж все плыли доставать.

Я

Как, гениев прямых не в Лондоне печать
И не в Германии?..

Он

Нет! Хоть зарежь — нет тамо!

Я

Но без пристрастия когда судить лишь прямо...

Он

О ком, скажи ты мне, о ком заговоришь?

Я

Там Фильдинг, Джонсон, Стерн — ужели их
не чтишь?

Он

Вот имена людей, погибших в переводе.
Но исторический словарь коль на свободе
С тобою разверну — соперников им тьма
У галлов...

Я

Что весь свет собой свели с ума,
Отнявши механизм у наций всех врожденный.

Он

Ну что и немец твой, толико вознесенный?
Что Эккартсгаузен — сей гнусный еретик,
Что математики теорию постиг?
Что Кант твой, что пожар тушить нам запрещает,
Пока морщинный лоб час-два не расправляет,
Что Шиллинг, коего столь трудно разбирать?
И Виланд, «Аристипп» чей всех заставит спать?
Коцебу, ставит кой меж смехом нас и горем?
Что и британец твой, гордящийся столь морем,
Что Стерн его? — С ума сошедший вояжер.
Юм — скрадывал порок, описывая двор.

Шекспир известен всем — сей каженик могильный,
Юнг в уверении, что знаем столь всесильный,
Мильтона — уж ... довольно восхвалил,
А впрочем, счислить всё — моих не хватит сил.

Я

Буффона оправдать премудро мирозданье?
Иль Махиа́веля морали начертанье?
Во лжи не уличишь Левека никакой?
Исправный геогра́ф из всех Монте́скью твой?
Нравоучителен Кувре...

Он

Счастливой ночи.
Прости.

Я

Доказывать тебе не стало мочи.
Желательно, чтоб спесь кто галлов низложил,
В литературе их — еще б уничтожил.

20 сентября 1813

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. Ф. ВОЕЙКОВ

302. ДОМ СУМАСШЕДШИХ

Другие редакции и варианты

РЕДАКЦИЯ 1
(1814—1817)

1

Други милые! Терпенье!
Расскажу вам чудный сон.
Не игра воображенья,
Не случайный призрак он.
Нет — но мщенью предыдущий
И грядущий с неба глас,
К покаянию зовущий
И пророческий для нас.

2

Ввечеру, простившись с вами,
Я в углу сидел один,
И Кутузова стихами
Я растапливал камин,
Подбавлял из Глинки сору,
И твоих, о Мерзляков!
Из «Амура» по сю пору
Недоконченных стихов.

3

Дым от смеси этой едкой
Нос мне сажей закоптил
И в награду крепко, крепко
И приятно усыпил.
Снилось мне, что в Петрограде,
Чрез Обухов мост пешком
Перешед, спешу к ограде
И вступаю в желтый дом.

4

От любови сумасшедших
В список бегло я взглянул

И твоих проказ прошедших
Длинный ряд воспомянул,
О Кокошкин! Долг романам
И тобою заплачен;
Но сказав «прости» обманам,
Ты давно уж стал умен.

5

Ах! И я... Но сновиденье
Прежде, други, расскажу:
Во второе отделенье
Я тихонечко вхожу.
Тут — один желает трона,
А другой — владеть луной,
Тут — портрет Наполеона
Намалеван как живой.

6

Я поспешными шагами
Через залу перешел
И увидел над дверями
Очень четко: «Сей отдел —
Прозаистам и поэтам,
Журналистам, автора́м,
Не по чину, не по летам,
Здесь места по нумерам».

7

Двери настежь Надзиратель
Отворя мне говорит:
«Нумер первый — ваш приятель,
Каченовский здесь сидит,
Букву «э» на эшафоте
С торжеством и пеньем жжет,
Ум его всегда в работе:
По крюкам стихи поет,

8

То кавыки созерцает,
То обнюхивает гниль,
Духу роз предпочитает,
То сметает с книжиц пыль
И в восторге, восклицая,
Набивает ею рот:
„Сор славянский, пыль родная!
Слаще ты, чем мед и сот!“»

9

Вот на розовой цепочке
Спичка *Шаликов* в слезах,
Разрумяненный, в веночке,
В ярко-планжевых чулках.
Прижимая веник страстно,
Кличет граций здешних мест
И, мяуча сладострастно,
Размазню без масла ест.

10

Номер третий: на лежанке
Истый Глинка восседит.
Перед ним дух русский в склянке
Нераскупорен стоит,
Книга кормчая отверста,
И уста отворены,
Сложены десной два перста,
Очи вверх устремлены.

11

«О Расин! Откуда слава?
Я тебя, дружок, поймал —
Из российского Стоглава
Ты «Гафолию» украл.
Чувств возвышенных сиянье,
Выражений красота
В «Андромахе» — подражанье
„Погребению кота"».

12

«Ты ль *Хвостов*? — к нему вошедши,
Вскликнул я. — Тебе ль здесь быть?
Ты дурак — не сумасшедший,
Не с чего тебе сходить».
— «В Буало я смысл добавил,
Лафонтеня я убил,
Я Расина обесславил», —
Быстро он проговорил.

13

И читать мне начал оду,
Я искусно улизнул
От мучителя, но в воду
Прямо из огня нырнул:
Здесь старик с лицом печальным
Букв славянских красоту

Мажет золотом сусальным
Пресловутую *фиту*.

14

И на мебели повсюду
Коронованное кси,
Староверских книжиц груду
И в окладе *ик* и *пси,*
Том в сафьян переплетенный
Тредьяковского стихов
Я увидел, изумленный,
И узнал, что то *Шишков*.

15

Вот *Сладковский* восклицает:
«Се, се Россы, се сам Петр!
Се со всех сторон сияет
Молния из тучных недр!
И чрез Ворсклу при преправе
Градов на суше творец
С твердостью пошел он к славе —
И поэме сей конец!»

16

Вот *Жуковский*, в саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянув умильно,
Черта дразнит языком,
Видеть ведьму вображает
И глазком ей подмигнет,
И кадит, и отпевает,
И трезвонит, и ревет.

17

Вот *Кутузов*: он зубами
Бюст грызет Карамзина,
Пена с уст течет ручьями,
Кровью грудь обагрена.
Но напрасно мрамор гложет,
Только время тратит в том,
Он вредить ему не может
Ни зубами, ни пером.

18

Но *Станевич* в отдаленьи,
Увидав, что это я,
Возопил в остервененьи:
«Мир! Потомство! За меня

Злому критику отмстите,
Мой из бронзы вылив лик.
Монумент соорудите,
Я заслугами велик!»

19

«Как! И ты бессмертьем льстишься?
О червяк! Отец червей! —
Я сказал. — И ты стремишься
К славе из норы своей?
И тогда как свет не знает,
Точно где, в каких местах
Храбрый Игорь почивает,
Где Пожарского скрыт прах,

20

Где блистала Ниневия
И роскошный Вавилон,
Русь давно ль слывет Россия?
Кем наш север заселен?»
— «Двор читал мои творенья, —
Прервал он, — и государь
Должен в знак благоволенья. . .»
Стой, дружок. Наш добрый царь

21

Дел без нас имеет кучу:
То мирит смятенный мир,
От царей отводит тучу,
То дает соседям пир,
То с вельможами хлопочет,
То ссылает в ссылку зло,
А тебя и знать не хочет,
Посиди — тебе тепло.

22

Чудо! Под окном на ветке
Крошка *Батюшков* висит
В светлой, проволочной клетке,
В баночку с водой глядит,
И поет певец согласный:
«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись туда — ужасный
Крокодил на дне лежит».

23

Вот *Грузинцев*, и в короне,
И в сандалиях, как царь,

Горд в мишурном он хитоне,
Держит греческий букварь.
«Верно, ваше сочиненье?» —
Скромно задал я вопрос.
«Нет, Софоклово творенье», —
Отвечал он, вздернув нос.

24

Я бежал без дальних споров.
«Вот еще», — сказали мне.
Я взглянул: *Максим Невзоров*
Углем пишет на стене:
«Если б так, как на Вольтера,
Был на мой журнал расход,
Пострадала б горько вера:
Я вредней, чем Дидерот».

25

От досады и от смеху
Утомлен, я вон спешил,
Горькую прервав утеху,
Но Смотритель доложил:
«Ради вы или не ради,
Но указ уж получен:
Вам нельзя отсель ни пяди».
И указ тотчас прочтен:

26

«Тот Воейков, что Делиля
Столь безбожно исказил,
Истерзать хотел «Эмиля»
И Вергилию грозил,
Должен быть как сумасбродный
В цепь посажен в желтый дом;
Темя всё обрить сегодня
И тереть почаще льдом».

27

Прочитав, я ужаснулся,
Хлад по жилам пробежал,
И, проснувшись, не очнулся,
И не верил сам, что спал.
Други, вашего совету,
Без него я не решусь:
Не писать — не жить поэту,
А писать начать — боюсь.

Ниже приводятся наиболее значительные варианты, встречающиеся в ряде списков.

Строфа 4, ст. 5:

О Каверин, долг романам

Или:

Карамзин! О, долг романам

Строфа 12, ст. 1:

«Пушкин, ты?» — к нему вошедши

В некоторых списках отсутствуют: строфа 16, ст. 5—8 в строфе 19 и ст. 1—4 в строфе 20, а после строфы 24 введены:

Слог мой сладок, как микстура,
Мысли громки без ума,
Толстая моя фигура
Так приятна, как чума.

В одном из списков (ЦГАЛИ) имеются строфы, которые могут быть отнесены лишь к промежуточным редакциям 1815—1816 гг. и в рукописных копиях встречаются очень редко:

Вот и Герман, весь в чернилах
Пишет план воздушный свой
И толкует, как в горнилах
Плавят золото с сурьмой.
И тогда же, в исступленьи
Бросив свой мундир в камин,
Он хохочет в восхищеньи
И шагает как павлин.

Но, узрев меня, несчастный
Сделал два раза прыжок,
И запел он несогласно:
«Гибельный, жестокий рок!
Так иду на поле славы,
Но в карманах пустота;
О, гусары величавы!
Я их строев красота!»

РЕДАКЦИЯ 2

(1818—1822)

Вошли строфы, соответствующие строфам 1—14, 17—29, 31, 35, 38, 40 автографа ГПБ, и строфы 19—21, 26 первой редакции.

Строфы 8, 9, 12 автографа ГПБ имеют следующие варианты.

Строфа 8, ст. 1—4:

Заподжарив, так и съел бы
И родного я отца.
Что ми дасте? Я поддел бы
Вам небесного творца.

Строфа 9, ст. 6—8:

Как Содом в грехах весь свет,
А всему Невтон виною
И проклятый Архимед!

Далее в ряде списков следует четверостишие:

Локк запутал ум наш в сети,
Геллерт (Галлер) сердце обольстил,
Кантом бредят даже дети,
Дженнер (Дрекслер) нравы развратил!

Строфа 12, ст. 5—8:

Видишь, грамоте не знаю,
Не учился, не читал,
А россиян просвещаю
И с звездою генерал

После строфы 21 первой редакции следует текст:

Вот наш Греч: рукой нескромной
Целых полгóда без сна,
Из тетрадищи огромной
Моряка Головина
Он страницы выдирает
И — отъявленный нахал —
В уголку иглой вшивает
Их в недельный свой журнал.

РЕДАКЦИЯ 3
(1826—1830)

Вошли строфы, соответствующие строфам 1—29, 31—35, 38—40 автóграфа ГПБ, и строфы 19—21 первой редакции.

В ряде списков строфы 11—12 читаются в сокращенном виде, три строфы, посвященные Станевичу, часто заменяются одной — первой (см. строфу 29 автографа ГПБ).

Строфы, не вошедшие в автограф ГПБ и предыдущие редакции:

34

Вот на яицах наседкой
Сидя, клохчет сумасброд
И российские заедки —
Мак медовый он жует;
Вот чудак! Пред ним попарно
С обезьяной черный кот
И советник титулярный
С куклой важно речь ведет.

Или:

Вот на яицах наседкой
Сидя, клохчет сумасброд
В самом желтом доме редкой!
Перед ним кружится кот,
Кукла страстно водит глазки,
Обезьяна скалит рот —
Он им сказывает сказки
И медовый мак жует.

35

Кто ж бы это был? — «Перовский!» —
Мне товарищ прошептал.
«Уж не тот ли, что геройски
Турок в Варне откатал
Иль что взятчиков по-свойски
Из удела выгнал вон?»
— «Нет, писака, франт московский,
В круг ученый лезет он».

36

Так тут чуда нет большого:
Спятить долго ли с уму
На конюшне у Ш⟨ишко⟩ва
И у Ливена в хлеву.
«Жаль, и верно от собратов
Одурел он! — я сказал. —
Укусил его Ш⟨ихма⟩тов
Иль Ш⟨ишков⟩ поцеловал.

В ряде списков встречается другая строфа, посвященная Перовскому, хронологическое определение которой затруднительно:

Вот Перовский. Беспрестанно
Он коверкает лицо —
Кошкой, волком, обезьяной;
То свернется весь в кольцо,
То у сильных ноги лижет,
То бессильных гонит вон,
То гроши на нитку нижет,
То бренчит на счетах он!

40

Вот в порожней бочке винной
Целовальник Полевой
Беспорточный [1] и бесчинный [2].
Стало что с его башкой?

---

[1] Sans culotte (санкюлот (франц.). — *Ред.*).
[2] Поелику не имеет чина.

«Спесь с корыстью в ней столкнулись,
И от натиска сего
Вверх ногами повернулись
Ум и сердце у него.

41

Самохвал, завистник жалкий,
Надувало ремеслом,
Битый Рюриковой палкой
И санскритским батожьем;
Подл, как раб, надут, как барин,
Он, чтоб вкратце кончить речь,
Благороден, как Б⟨улгар⟩ин,
Бескорыстен так, как Г⟨реч⟩!»

42

Вот чужих статей писатель
И маляр чужих картин,
Книг безграмотных издатель,
Северный орел — Свиньин.
Он фальшивою монетой
Целый век перебивал
И, оплеванный всем светом,
На цепи приют сыскал.

РЕДАКЦИЯ 4

(1836—1838)

Вошли строфы, соответствующие строфам 1—29, 31—35, 38—40 автографа ГПБ; строфы 19—21 первой редакции; строфы 34—36, 40—42 третьей редакции.

В ряде списков некоторые строфы третьей редакции выпущены.

После строфы 16 автографа ГПБ следует текст:

17

Вот он — Пушкина убийца,
Легкомысленный француз,
Развращенный кровопийца, —
Огорчил святую Русь,
Схоронил наш клад заветный,
В землю скрыл талант певца,
Вырвал камень самоцветный
Он из царского венца

В списках с пометой: «Скопирован со собственноручного списка сочинителя в 1837 году; написанные им после того куплеты и те, которые он всегда хранил в тайне, также варьяции — добавлены из оставшихся по смерти его собственноручных же черновых бумаг» — после строф 33—34 автографа ГПБ, посвященных Булгарину, следует:

Что тут за щенок у входа,
Весь дрожит, поджавши хвост,
Как безжалостно природа
Окорнала его рост!
Как портными укорочен
Фрак единственный на нем!
Трус, как прячет от пощечин
Сухощавый лик он свой!

Луковка торчит в кармане,
Оттопырясь, как часы;
Стекла битые в кармане
И обгрызок колбасы.
Кто б из пишущих героев
Мог таким быть мозгляком?
Только бес — В⟨ладими⟩р С⟨троев⟩,
Гречев левый глаз с бельмом.

После строфы 36 автографа ГПБ, посвященной Грузинцеву, следует:

Вот Козлов! Его смешнее
Дурака я не видал:
Модный фрак, жабо на шее,
Будто только отплясал.
Но жестоко, я согласен,
Покарал его злой рок —
Как бедняга сей несчастен:
Слеп, без ног и без сапог.

А всё возится с князьями,
Низок, пышен, пуст, спесив,
Принужденными займами
Денег нищенски скопив,
Шлет для дочки в банк их... средство,
Недостойное певца —
Детям лучшее наследство —
Имя честное отца.

Или:

Вот Козлов! — глупец уверен,
Что с Жуковским равен он,
Низок, пуст, высокомерен
И в стихи свои влюблен.
Принужденными займами
У графинь, княгинь, друзей
Сыт и пышен; вот с стихами
Шлет он к Смирдину скорей.

Чтоб купил их подороже...
Продал, деньги получил;
Все расплаты ждут — и что же?
Он в ломбард их положил
Дочери ... плохое средство,
Недостойное певца.

Детям лучшее наследство —
Имя честное отца.

Или:

Вот Козлов! — его смешнее
Дурака я не видал:
Модный фрак, жабо на шее,
Будто только отплясал
Котильон наш франт убогий,
И, к себе питая страсть,
Метит прямо в полубоги
Или в Пушкины попасть.

Допущу к своей персоне,
Осчастливлю вас, прочтя
Мои стансы о Байроне,
Что поэт великий я,
И Жуковский в том согласен,
И мадам Лаваль сама.
Как он жалок, как несчастен:
Слеп, без ног и без ума!

После строф о Козлове:

Вот он с харей фарисейской
Петр Иваныч осударь,
Академии Расейской
Непременный секретарь.
Ничего не сочиняет,
Ничего не издает,
Три оклада получает
И столовые берет.

На дворе Академии
Гряд капусты накопал,
Не приют певцам России,
Он лабаз для дехтю склал.
В Академиях бывают
Мерины, бывали встарь;
В нашей двое заседают —
Президент и секретарь.

Вот Брамбеус: «сей» и «оный» —
Гадок, страшен, черен, ряб.
Он — поляк низкопоклонный,
Силы, знати, денег раб.
Подлость, наглость, самохвальство
Совместил себе в позор:
Полевого в нем нахальство
И Белинского задор.

То исполнен низкой лести,
То ругает без конца:
Нет ни совести, ни чести

У барона-подлеца.
Что без пользы тарабарить?
Не зажать словами рта,
Лучше шельму приударить
В три действительных кнута.

Вот кадетом заклейменный
Меценат К⟨арлго⟩ф, поэт,
В общем мненьи зачерненный
И Флюгарина клеврет.
Худ, мизерен, сплюснут с вида,
Сухощав душой своей —
Отвратительная гнида
С Аполлоновых ..дей!

ЖЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Вот Шишкова! Кто не слышал?
В женской юбке гренадер!
За нее-то замуж вышел
Наш столетний Старовер;
На старушке ток атласный
В лентах, перьях и цветах;
В желтом платье, пояс красный
И в пунцовых башмаках.

Притч попов и полк гусаров,
Князь Кутузов, князь Репнин,
Битый-Корсаков, Кайсаров,
И Огарков, и Свечнин —
Все валитесь хлюстом — сердце
Преширокое у ней,
Да и в старике-младенце
Клад — не муж достался ей!
Вот Темира! Вкруг разбросан
Перьев пук, тряпиц, газет;
Ангел дьяволом причесан
И чертовкою одет.
Карлица и великанша,
Смесь юродств и красоты,
По талантам — генеральша,
По причудам — прачка ты.

Вот картежница Хвостова
И табачница к тому ж!
Кто тошней один другого,
Гаже кто — жена иль муж?
Оба — притча во языцах,
Он под масть к ней угодил,
Козырную кралю в лицах
Хлап бубновый полонил.

303. ПРИБАВЛЕНИЕ К «ДОМУ СУМАСШЕДШИХ»

Вот Вампир — как дьявол черный
В клетке на цепи сидит,
Он в глаза — слуга покорный,
За глаза — как змей шипит;
Перед ним огонь пылает
И два котлика кипят,
В них Вампир приготовляет
Медленный, но верный яд.

На котлах для украшенья
Эпигра́ф написан сей:
«Жизненное услажденье
Для жены и для друзей!..»
Наш Вампир в иную пору
И в окошечко глядит
И прохожим без разбору
Улыбаясь говорит:

«Хоть о Вашем сочиненьи
Вовсе неизвестен я,
Но в восторге, в восхищеньи:
Ваша славная статья...
Знаменитыми друзьями
Я с избытком уж богат,
Дайте что-нибудь! Я с Вами
Поделиться ими рад».

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий сборник посвящен массовой литературе 1790—1810-х годов. В соответствии с планом издания «Библиотеки поэта» в него не включаются произведения наиболее значительных поэтов этого времени, творчеству которых посвящены отдельные тома Большой серии. Задача сборника — ознакомить современного читателя с литературным «фоном» эпохи, напомнить о творчестве второстепенных, ныне забытых поэтов, имеющем существенное значение для реконструкции общего колорита эпохи и воссоздания всесторонней картины развития русской поэзии.

Творчество поэтов, включенных в состав книги, не равноценно по своим художественным достоинствам. Среди стихотворений забытых ныне поэтов, чьи имена мало что говорят даже специалисту, читатель найдет произведения, отмеченные истинным талантом и достойные занять место в любой антологии русской поэзии. Однако художественное достоинство — не единственный критерий отбора. Представленная настоящим изданием эпоха — время острой литературной борьбы. Ряд полемических сочинений, специальный жанр критического обзора в стихах, при незначительной порой художественной ценности этих текстов, вводят читателя в атмосферу литературных боев тех лет.

Поэтический материал, представленный в сборнике, группируется по трем разделам. Содержание первого раздела должно представить читателю облик поэтических объединений и группировок конца XVIII — начала XIX века. Наиболее значительными из них в 1790-х годах были Общество друзей словесных наук (1789—1790); поэтический кружок, возникший в начале 1790-х годов вокруг журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену»; кружок демократических поэтов журнала «Муза» (1796). Литературное оживление начала XIX в. обусловило создание двух ярких литературных центров: Вольного общества любителей словесности, наук и художеств в Петербурге (ему посвящен отдельный том Большой серии «Библиотеки поэта») и Дружеского литературного общества в Москве. После распада Дружеского литературного общества место его в Москве заступил кружок А. Ф. Мерзлякова, влившийся вскоре в поэтическую группу Общества любителей российской словесности при Московском университете. Произведения Жуковского и Мерзлякова вышли в Большой серии «Библиотеки поэта» отдельными томами. Сочинения остальных поэтов Общества публикуются в настоящем издании. Издание стихотворений Андрея Тургенева — одаренного и значительного поэта — является наиболее полным из всех до сих пор существующих. В него включены все дошедшие до нас законченные

стихотворения и все сколь-либо значительные наброски. Большинство стихотворений А. Кайсарова также публикуется впервые.

Кульминацию литературной борьбы 1810-х годов знаменовало собой возникновение «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». В сборник включены как ведущие поэты «Беседы», так и представители ее поэтического «фона». Большинству поэтов «Арзамаса» (Батюшкову, Жуковскому, Вяземскому, Д. Давыдову, Пушкину и др.) посвящены отдельные выпуски серии. Называть же раздел, в который не включено их творчество, «Поэзия „Арзамаса"» — значило бы заведомо искажать историческую перспективу. Поэтому составители сочли более правильным не давать такой рубрики вообще, включив поэтов, входивших в «Арзамас» (Воейков, В. Л. Пушкин) или примыкавших к нему (Мещевский), во второй, «персональный» раздел тома. В этот же раздел вынесены произведения поэтов, в той или иной мере стоявших особняком.

Следует учитывать, что выделение этих двух разделов носит в достаточной степени условный характер, так как лишь некоторые авторы полностью вписываются в историю того или иного литературного объединения или стоят вне каких-либо группировок. Большинство же соотносятся с обществами лишь частью своего творчества или принадлежат к нескольким, порой глубоко отличным, литературным объединениям. Том завершается творчеством поэтов, развивавших традиции русской гражданской лирики и подготавливавших развитие декабристской поэзии. Наиболее значительные из них — Милонов, Дмитриев-Мамонов и Габбе. Если творчество первого хорошо известно (хотя и менее, чем он заслуживает по размеру дарования), то два последних основательно забыты, их стихотворения перепечатываются впервые.

В третьем разделе помещены «Послание к Привете» А. Палицына и сатира неустановленного автора «Галлоруссия», представляющие своеобразные стихотворные справочники по поэзии начала XIX в., любопытные и по составу имен, и по иерархически-оценочному их расположению.

Каждой группе поэтов, объединявшихся в ту или иную литературную группировку, предпослана краткая вступительная заметка с характеристикой ее роли и значения в литературной борьбе своего времени. Произведениям каждого автора предпослана краткая биографическая справка. Исключение в этом отношении представляют собой два раздела: «Чтения в Беседе любителей русского слова» и «Милонов и поэты его кружка». Биографические сведения о поэтах, включенных в эти разделы, настолько скудны, что представляется целесообразным привести их в общей вступительной заметке к разделу.

Материал сборника сгруппирован по персональному принципу. При установлении последовательности авторов учитывалось время создания произведений, публикуемых в сборнике (или их появления в печати), период наиболее интенсивной творческой работы поэта и его принадлежность к литературным направлениям и группировкам.

Основной материал извлекается из многочисленных повременных изданий тех лет. Ряд текстов публикуется впервые по архивным источникам. Тексты даются, как правило, по последним прижизнен-

ным публикациям или автографам (если произведение не печаталось при жизни автора). Исключение составляют стихотворения Н. Ф. Грамматина, которые печатаются по посмертному изданию, подготовленному при жизни автора (см. СО, 1827, ч. 116, № 24, с. 230).

Специальных текстологических решений потребовала публикация поэмы А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших». К этому произведению понятие «окончательного текста» вообще приложимо с большим трудом: весь смысл его в постоянном движении, злободневности. Ранние редакции представляют здесь столь же большой интерес, что и поздние. Поэтому составители сочли уместным дать в основном тексте произведение в одной из наиболее полных промежуточных редакций (выбор редакции обусловлен ее высоким историко-литературным интересом, но в достаточной мере условен), а в разделе «Приложение» дать реконструкцию всей эволюции «Дома сумасшедших» (при этом по условиям издания полностью дается только первая редакция по автографу БЛ, повторяющиеся строфы других редакций не воспроизводятся, не учитываются и незначительные стилистические варианты). В «Приложении» дается также пародия неизвестного автора на «Дом сумасшедших», которая во многих списках и некоторых публикациях ошибочно включается в текст произведения.

Произведения каждого автора расположены в хронологическом порядке. Обоснование датировки в примечаниях не дается, если дата зафиксирована автором или принята и обоснована составителем соответствующего издания, указанного в библиографической части, или определяется содержанием стихотворения. При отсутствии данных для точной датировки указывается в угловых скобках год, не позднее которого по тем или иным данным написано стихотворение (в большинстве случаев это даты первых прижизненных публикаций). Произведения, имеющие две редакции, разделенные между собой значительным промежутком времени, обозначаются двумя датами.

Тексты печатаются по современной орфографии с сохранением таких морфологических особенностей языка эпохи, которые имеют стилистическое или смысловое значение.

В примечаниях указывается первая публикация стихотворения и все последующие источники, содержащие какие-либо текстуальные изменения, вплоть до публикации, являющейся источником текста и выделенной формулой «Печ. по...». Указанная формула не применяется, если публикация была единственной. Если произведение включалось без изменения в последующие прижизненные собрания сочинений, это отмечается формулой «Вошло в ...». Далее приводятся сведения о наличии и местонахождении автографов, данные о творческой истории, поясняются имена, реалии и т. п.

Объяснение устаревших слов, а также имен и названий, связанных с античной мифологией и историей, вынесено в Словарь (при пояснениях в Словаре, так же как и в примечаниях, учитывается контекст, в котором встречается поясняемое слово).

Вступительные заметки, биографические справки и примечания к разделам: «Общество друзей словесных наук», «Поэты „Иртыша"», «Беседа любителей русского слова» (кроме Я. А. Галенковского); биографические справки и примечания к стихотворениям Г. П. Каме-

нева, Н. Ф. Остолопова, Н. М. Шатрова, А. А. Палицына, примечания к стихотворениям А. Ф. Воейкова «К Мерзлякову. Призывание в деревню», «Послание к С. С. Уварову», «Послание к Д. В. Давыдову»; примечание к стихотворению Ф. Ф. Иванова «Песнь великому вождю героев» написаны М. Г. Альтшуллером. Вступительные заметки, биографические справки и примечания к разделам: «П. А. Словцов и поэты „Музы“», «Дружеское литературное общество» (кроме №№ 104, 109, 110), «Общество любителей российской словесности» (кроме № 135), биографические справки и примечания к стихотворениям Я. А. Галенковского, М. В. Милонова, И. И. Варакина, В. Г. Анастасевича, А. П. Беницкого, А. И. Мещевского, М. А. Дмитриева-Мамонова, П. А. Габбе и примечания к «Галлоруссии» написаны Ю. М. Лотманом. Биографические справки и примечания к стихотворениям С. Н. Глинки, П. И. Шаликова и В. Л. Пушкина написаны Е. Н. Дрыжаковой, биографическая справка о А. Ф. Воейкове написана Е. Н. Дрыжаковой совместно с Ю. М. Лотманом. Раздел «Приложение» подготовлен Ю. М. Лотманом. Словарь составлен М. Г. Альтшуллером.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

Аксаков — С. Т. Аксаков, Собр. соч., тт. 1—4, М., 1955—1956.
Арзамас — «Арзамас и арзамасские протоколы», Л., 1933.
БАН — Библиотека Академии наук.
Батюшков — К. Н. Батюшков, Сочинения, тт. 1—3, СПб., 1885—1887.
БГ — «Беседующий гражданин».
БЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
ВЕ — «Вестник Европы».
ГПБ — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ДВ — «Драматический вестник».
Десницкий — В. Десницкий, Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв., М.—Л., 1958.
ДЖ — «Дамский журнал».
Досуги — Н. Грамматин, Досуги, кн. 1, СПб., 1811.
ДП — «Друг просвещения».
ДЮ — «Друг юношества».
Жихарев — С. П. Жихарев, Записки современника, М.—Л., 1955.
ЖПЛЗЧ — «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения».
ЖРС — «Журнал российской словесности».
ЗС — «Зеркало света».
ИВ — «Исторический вестник».
Иртыш — «Иртыш, превращающийся в Иппокрену».
ЛА — «Литературный архив», т. 1, М.—Л., 1938.
ЛН — «Литературное наследство».
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории АН СССР.
ЛТХ — «Лирические творения графа Хвостова», СПб., 1810.
МЖ — «Московский журнал».

МН — «Московский наблюдатель».
МТ — «Московский телеграф».
НЕЖ — «Новые ежемесячные сочинения».
НМ — А. Бунина, Неопытная муза, чч. 1, 2, СПб., 1809—1812.
ОА — «Остафьевский архив князей Вяземских», т. 1, СПб., 1899.
ОЗ — «Отечественные записки».
ОЛРС — Общество любителей российской словесности.
Пантеон — «Пантеон русской поэзии, издаваемый Павлом Никольским», СПб., 1814—1815.
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом).
ПЗ — «Полярная звезда».
ПиП — «Приятное и полезное препровождение времени».
Поэты — «Поэты начала XIX века», «Б-ка поэта» (М. с.), Л., 1961.
Поэты-радищевцы — «Поэты-радищевцы», «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1935.
Поэты-сатирики — «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века», «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1959.
Прежние досуги — Н. Ф. Остолопов, Прежние досуги, или Опыты в некоторых родах стихотворства, М., 1816.
Притчи — Д. И. Хвостов, Избранные притчи из лучших сочинителей российскими стихами, СПб., 1802.
ПРП — «Пантеон русской поэзии», чч. 1—6, СПб., 1814—1815.
ПСХ — «Послания в стихах графа Дмитрия Хвостова», СПб., 1814.
ПСЧ — П. И. Шаликов, Плод свободных чувствований, чч. 1—3, М., 1798.
ПТ — «Покоящийся трудолюбец», чч. 1, 2, 1784; чч. 3, 4, 1785.
РА — «Русский архив».
РБ — «Русский библиофил».
РВ — «Русский вестник».
РМ — «Российский музеум».
РП — «Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, браноносных и мирных героев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов Семена Боброва», чч. 1—4, СПб., 1804.
РС — «Русская старина».
С — «Современник».
Сатиры — «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михаила Милонова», СПб., 1819.
СВ — «Северный вестник».
СГ — «Сочинения Сергея Глинки», ч. 4, М., 1817.
СВП — «Сочинения В. Пушкина», СПб., 1822.
СиП — Ф. Ф. Иванов, Сочинения и переводы, ч. 1, М., 1824.
СКШ — «Сочинения князя Шаликова», чч. 1, 2, М., 1819.
СНГ — «Стихотворения Н. Грамматина», чч. 1, 2, СПб., 1829.
СНСПС — «Собрание некоторых сочинений, подражаний и переводов Па⟨нкратия⟩ Сум⟨арoков⟩а», чч. 1, 2, М., 1799—1808.
СО — «Сын отечества».
Собеседник — «Собеседник любителей российского слова».
СПВ — «Санкт-Петербургский вестник».

СПГК — «Стихотворения П. И. Голенищева-Кутузова», чч. 1—3, М., 1803—1804.
СРС — «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданное Василием Жуковским», чч. 1—6, М., 1810—1815.
ССАБ — «Собрание стихотворений Анны Буниной», чч. 1—3, СПб., 1819—1821.
ССиПС — «Собрание сочинений и переводов в стихах С. Тучкова», М., 1797.
ССиПТ — «Собрание сочинений и переводов С. Тучкова», чч. 1—4, СПб., 1816—1817.
ССШ — «Собрание сочинений и переводов С. А. Шишкова», чч. 1—17, СПб., 1818—1839.
СШ — «Стихотворения Н. М. Шатрова», чч. 1—3, СПб., 1831.
ТГУ — Тартуский государственный университет.
ТОЛРС — «Труды Общества любителей российской словесности».
УЗ — «Утренняя заря», труды воспитанников университетского благородного пансиона.
Х 1 — «Полное собрание стихотворений графа Хвостова», чч. 1—4, СПб., 1817—1818.
Х 2 — То же, изд. 2, тт. 1—5, СПб., 1821—1827.
Х 3 — То же, изд. 3, тт. 1—8, СПб., 1818—1834.
ЦГ — П. И. Шаликов, Цветы граций, М., 1802.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).
ЧвБ — «Чтения в Беседе любителей русского слова».
Шишков, Записки. — А. С. Шишков, Записки, мнения и переписка, тт. 1—2, Берлин — Прага, 1870.

I

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СЛОВЕСНЫХ НАУК

С. С. БОБРОВ

1. ПТ, ч. 4, с. 129, под загл. «Ода Любовь». Печ. по РП, ч. 3, с. 30.

2. ПТ, ч. 4, с. 138, под загл. «Ночное размышление». Печ. по РП, ч. 3, с. 10. *Луна... начнет багреть* и т. д. Использован образ Юнга (см. примеч. 147): «Пламя восходит до облаков и досязает до небес. Солнце, луна, звезды и все вещи им сожрутся» (Э. Юнг, Страшный суд, СПб., 1777, с. 43).

3. ЗС, 1787, ч. 5, с. 564; МЖ, 1792, ч. 7, с. 3. Печ. по РП, ч. 3, с. 120. Перевод оды *Горация* «Ad fontem Bandusiae». Этот перевод — единственное произведение Боброва, включенное Жуковским в СРС, ч. 1, с. 91. Вяземский упрекнул составителя и за эту единственную публикацию (см.: П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 1, СПб.,

1878, с. 1), а М. Невзоров был недоволен, что Жуковский напечатал лишь одно стихотворение поэта, «и то, может быть, из почтения к Горацию, а не к Боброву» (ДЮ, 1811, № 10, с. 119). *Бландузский ключ* — источник Бандузии, находится на родине Горация в Южной Италии около Венузии. *Песия звезда* — Сириус, главная звезда созвездия Большого Пса.

4. БГ, 1789, № 1, с. 91, под загл. «Стихи в Новый год к П⟨авлу⟩ П⟨авловичу⟩ И⟨косову⟩». Печ. по РП, ч. 3, с. 45. *И⟨косов⟩* П. П. (1760—1811) — поэт, сотрудник ряда журналов. Обучался и служил до декабря 1780 г. в Московском университете, где и подружился с Бобровым. *Кипарис* — символ смерти у древних.

5. БГ, 1789, № 4, с. 373, под загл. «Ода Судьба мира». Печ. по РП, ч. 3, с. 20. Указание автора на публикацию 1786 г. ошибочно. *Гигантов богомерзкий сонм* и т. д. Гиганты (греч. миф.) пытались взгромоздить друг на друга горы Оссу, Пелион и Олимп, чтобы штурмовать небо. *Супруг Фетиды* — здесь: Океан. Бобров, видимо, смешивает Фетиду (Тетиду) с Тетией (см. Словарь). *Тогда тьмы рыб в древах висели* и т. д. Образ восходит к стихам Горация: «И племя рыб висело на вершине вяза, Где был раньше приют лишь для голубок, И пугливые лани плавали по морю, Покрывавшему землю» («Оды», кн. 1, ода 2), он вызвал насмешки Батюшкова в письме к Н. И. Гнедичу от 19 августа 1809 г.: «На будущей почте я пришлю тебе несколько похвальных слов, а именно вот каких: поэт Сидор, что написал Потоп, а рыбы на кустах, ну, уж гений» (К. Н. Батюшков, Соч., т. 3, СПб., 1886, с. 40). *Глас трубы.* В «Откровении Иоанна Богослова» (гл. 8—9) семь ангелов трубным звуком возвещают конец мира. *Едино Слово непреложно* и т. д. Имеются в виду первые строки Евангелия от Иоанна: «В начале было слово... и слово было бог».

6. БГ, 1789, № 8, с. 379, под загл. «Хитрости смерти». Печ. по РП, ч. 3, с. 49. *Кипарис* — см. примеч. 4.

7. РП, ч. 2, с. 127. Эпиграф — из стихотворения французского поэта Ж. *Лингенда* (1580—1616) «Elegie pour Ovide». Бобров был, вероятно, выслан на юг России. Он, как позднее Пушкин, усматривал некоторое сходство между своей судьбой и участью *Овидия Назона* (см. Словарь). *Всесожжения* — жертвоприношения. *Темесвар* — город в Венгрии. *Геты, даки, сарматы* — древние племена, обитавшие в районе Дуная. *Данники срацин.* Греция находилась под властью Турции с XV в. до 1830 г. *Иулий* — Юлий Цезарь (см. Словарь). *Крутится кровь мужей* и т. д. Имеется в виду кровопролитная война, разгоревшаяся после убийства Цезаря, в результате которой Октавиан *Август (Октавий)*, постепенно устранив всех своих соперников — Брута, Помпея, Лепида, Антония, — стал римским императором. *Вызывает галл опасный* и т. д. — вероятно, намек на итальянские походы Наполеона.

8. РП, ч. 1, с. 11. *Век сивиллин золотый* — времена Сивилл, т. е. древность.

9. РП, ч. 1, с. 1. *Планет влиянья нет.* По астрологическим представлениям, планеты оказывают влияние на судьбу людей и государств. *Огнистый шар* — комета Галлея, которая в 1835 г., в заранее предсказанный срок, прошла через перигелий. *Гершель* В. (1738—1822) — английский астроном, в 1781 г. открыл планету Уран. *Чтоб, зрак раба прияв смиренный* и т. д. Имеется в виду путешествие Петра I за границу в составе русского посольства под именем «волонтера Петра Михайлова» (1697—1698). *Бурбонов славный дом* — Франция. *Наставников в войне своих*, т. е. шведов (ср. «Полтаву» Пушкина). *Лефорт* Ф. Я. (1656—1699), *Меншиков* А. Д. (1673—1729), *Шереметев* Б. П. (1652—1719) — сподвижники Петра I. *Августейша героиня* — жена Петра I Екатерина I (1684—1727). *Рожденна с ангельской душою* — дочь Петра I императрица Елизавета Петровна (1709—1761). *Вотще сармат и галл кичливый* и т. д. Имеется в виду внешняя политика Екатерины II: разделы Польши, борьба с французской революцией, присоединение Грузии, войны с Турцией и пр. *Архипелаг* — греческий архипелаг, группа островов в северо-восточной части Средиземного моря, в Эгейском и Критском морях.

10. РП, ч. 2, с. 135. *Бурная вселенна... ложилась в мирну сень уже.* Вероятно, имеется в виду некоторое политическое успокоение в Европе к началу XIX в. (Амьенский мир 1802 г.). *Природа встала в мятеже* и т. д. Политическому миру противопоставлены катастрофические явления в природе: наводнения, землетрясения, извержения вулканов, появление комет. *Рыб стада теснились* — см. примеч. 5. *Перун... довольно изъясним.* Имеются в виду работы американского ученого Б. Франклина (1706—1790) в области атмосферного электричества. *Вулкан из Этны выступает.* Крупное извержение Этны произошло в 1802 г. *И на брегах Секваны пишет Таинственный король расчет* — возможно, темный намек на сложную политическую ситуацию во Франции начала XIX в. *Мудрец в монархе добрый, юный* — Александр I.

11. РП, ч. 2, с. 137. *Гершель* — см. примеч. 9. *Пелагоскоп* — инструмент для подводных наблюдений, изобретенный англичанином Коллинзом. *Падет личина Магомета* и т. д. Возможно, имеется в виду движение ваххабитов, которые, стремясь к установлению строгого единобожия, отрицали культ святых и почитание Мухаммеда как бога. Ваххабиты в конце XVIII — начале XIX века вели ожесточенные войны на территории Аравийского полуострова. О ваххабитских войнах упоминается, вероятно, и в «Тавриде» (см.: «Таврида...», Николаев, 1798, с. 210). *Возобновляется Мемфис* и т. д. Имеется в виду египетская экспедиция Наполеона I, в состав которой входили ученые, положившие начало современной египтологии. *Иль извлекаются насильно... ужасны духи древних римлян.* Многие политические термины французской революции и первых лет власти Наполеона восходили к Древнему Риму («республика», «гражданин», «сенатор», «консул» и т. п.). *Благий дух предков вызывает.* Вероятно, имеется в виду обещание Александра I в манифесте о вступлении на престол править «по законам и сердцу... Екатерины Великой». *Блудящий пламенный мир некий* и т. д. — см. примеч. 9. *Кумеин век* — древность, времена сивиллы Кумской

(см. Словарь). *Сармация* — здесь: Север. *Мудрец не может ли достигнуть* и т. д. Речь идет о математических, физических и богословских работах И. Ньютона (1642—1727). *Нашел себя в ужасной бездне* — вероятно, намек на психическую болезнь Ньютона в 1693 г. *Двух бесконечностей* и т. д. — видимо, намек на разработанную Ньютоном, наряду с Лейбницем, теорию бесконечно больших и бесконечно малых величин. *Локк* Дж. (1632—1704) — английский философ-сенсуалист.

12. Печ. впервые по автографу ЦГИАЛ. *Мордвинов* Н. С. (1754—1845) — адмирал, покровитель Боброва.

13. РП, ч. 1, с. 111. *Петрополя... дщерь* — речное божество, олицетворение Невы. *В гремящем лике* — перифраз строки Ломоносова «Я буду петь в гремящем лике...» (переложение псалма 145). *Праправнук августейший твой* — Александр I. *Храм Дианы* — храм Артемиды в Эфесе, одно из семи чудес света, был, как и Петербург, построен на сырой болотистой почве. *А ныне там, где скромно крались* и т. д. Противопоставление прошлого и настоящего характерно для од, написанных по поводу столетия Петербурга. Некоторыми образами Боброва, вероятно, воспользовался Пушкин в «Медном всаднике». *Лицей* — здесь: учебное заведение. *Зевесов иль Филиппов сын* — Александр Македонский.

14. РП, ч. 2, с. 67.

15. РП, ч. 3, с. 11. Написано под сильным влиянием «ночной» поэзии Юнга (см. примеч. 147). *Воздушно озеро сседаяся бежит* и т. д. Изложение происхождения атмосферных электрических явлений (по Ломоносову). *Се в час полунощи грядет Жених* и т. д. Использованы мотивы псалма 18 (стих. 6).

16. РП, ч. 3, с. 162. *Хинский лист* — чай. *Передвоенный виноград* — старое вино. *Невольник черный* и т. д. Возможно, эти строки навеяны «Путешествием из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (ср. в главе «Пешки»: «Я... услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников»).

17. РП, ч. 3, с. 40. Автограф — ЦГИАЛ (др. ред.), под загл. «Песнь на Новый год», с датой и посвятительным письмом Н. С. Мордвинову (см. примеч. 12). *Акенсайд* М. (1721—1770) — английский врач и поэт. Эпиграф — из его поэмы «The pleasures of imagination». *Муж сострождущий* — Н. С. Мордвинов.

18. РП, ч. 1, с. 32. Стихотворение, по-видимому, является откликом на убийство Павла I 12 марта 1801 г. *Ольга* (ум. 969) — русская княгиня. Здесь под Ольгой подразумевается Екатерина II (Бобров называет Ольгой Екатерину II также в поэме «Херсонида», РП, ч. 4, с. 17). *Святослав* — сын Ольги и князя Игоря, выдающийся военачальник, убит печенегами у днепровских порогов в 972 г. Здесь имеется в виду Павел I. *Сын Святославль* — Владимир Святославич (ум. 1015), князь Киевский, внук Ольги; здесь — Александр I. *Не тень ли матери... глумным оком зрит она* — намек на отношения Павла и

Екатерины II, которая не любила и боялась сына, законного претендента на престол. *Изобретали страшный ков* — возможно, намек на насильственную смерть Павла I. *Чертеж небесный и священный.* Вероятно, имеется в виду «Наказ» Екатерины II (в стихотворении «Вечернее созерцание гробницы Екатерины II» Бобров называет «Наказ» «чертежом законов» — см. РП, ч. 1, с. 30). *Пожарский* Д. М., князь (1578—1642) — вождь народного ополчения в 1612 г. *Минин* — Кузьма Минич Захарьев-Сухорукий (ум. 1616), один из руководителей народного ополчения 1612 г. *Долгорукий* В. В., князь (1667—1746) — генерал-фельдмаршал, участник Северной войны. *Румянцев-Задунайский* П. А., граф (1725—1796) — фельдмаршал, прославился победами в русско-турецких войнах. *Кипарис* — см. примеч. 4. *Аланские холмы* — у Боброва обозначение центральной части России (ср. его стихи «Монаршее шествие в Москву. . .», РП, ч. 1, с. 86). *Иулиан* — Юлиан Отступник (см. Словарь), упоминание его намекает на демонстративный отказ Павла I от политики Екатерины.

19. РП, ч. 1, с. 54. Список — ПД, под загл. «Ночь марта 1801 года». Написано по поводу смерти Павла I. В списке вместо последних трех строк — обращение умирающего императора к России и наследнику сыну:

Прости, Россия! — Се конец. . .
Пусть в Александре вам родится
Благий отечества отец!

С крыл зернистый мак летит. Мак, из которого добывается опиум, — один из атрибутов Морфея (см. Словарь). *Столпы багровою стеной* — северное сияние. *Огни блудящи* — огни святого Эльма (см. Словарь). *Не такова ли ночь висела* и т. д. Описываются события накануне убийства Юлия Цезаря, которое, как и убийство Павла I, произошло весной (15 марта 44 г. до н. э.). *Палатинская гора*—Палатин, священный холм в центре Рима. *Подобно роковой трубе* и т. д. — см. примеч. 5. *Еще, еще он ударяет* и т. д. — намек на убийство Павла I. *Смерть толкаясь* и т. д. — перефразировка стиха Горация: «Бледная смерть равнодушно стучит стопой в хижины бедняков И дворцы царей» («Оды», кн. 1, ода 4, ст. 13—14). *Авзония, Альпы, Альбион.* Имеются в виду итальянские походы и переход через Альпы русских войск под командованием А. В. Суворова, затем разрыв Павла I с Англией. *Шар в украйне с тьмою нощи* — вспышка ракеты в ночной темноте. *Запад* — здесь: закат, смерть.

20. РП, ч. 3, с. 151. Стихотворение носит автобиографический характер. *Ворбаб* — анаграмма фамилии автора: Бобров. *Которосль* — река, вытекающая из Ростовского озера, впадает в Волгу близ Ярославля.

21. «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе, лирико-эпическое стихотворение», Николаев, 1798 (др. ред.), с посвящением Н. С. Мордвинову (см. примеч. 12). Печ. по РП, ч. 4, с. 197. Название этой, седьмой песни — лишь в оглавлении. Описательная поэма Боброва является первым опытом подобного жанра в русской литературе. Образцом для него послужила вторая часть

дидактической поэмы Дж. Томсона (1700—1748) «Времена года» — «Лето», построенная как описание одного летнего дня от рассвета до ночи. Есть у Боброва и конкретные заимствования из Томсона: описание зноя и бури; история Рихмана, которая соответствует гибели Амалии от удара молнии и т. д. (подробнее о заимствованиях в «Херсониде» из «Времен года» см.: Ю. Д. Левин, Английская поэзия и литература русского сентиментализма. — Сб. «От классицизма к романтизму», Л., 1970, с. 263 и сл.). Поэма была высоко оценена современниками. Радищев, знакомый только с изданием 1798 г., рассматривал «Тавриду» как образец для своей поэмы «Бова». Поэма Боброва была восторженно принята в кругу И. И. Мартынова (см. рецензию И. Т. Александровского в ЖРС, 1805, ч. 1, с. 113). С похвалой отозвался о «Тавриде» В. К. Кюхельбекер, подчеркнув в творчестве Боброва романтические черты (см.: «Благонамеренный», 1822, № 12, с. 457). Интерес к поэме проявили также Грибоедов и Пушкин. Последний, по собственному признанию, «украл» из «Тавриды» для «Бахчисарайского фонтана» строку: «Под стражею скопцов гарема». Публикуемая песнь поэмы (одна из десяти) особенно понравилась критике. Так, М. Невзоров писал, что Бобров «...сделал самое величественное и притом самое естественное описание грозы над Таврическими горами со всеми малейшими оттенками ее» (ДЮ, 1811, № 10, с. 101). *Салгирский поток* — Салгир, река в Крыму. *Чатырдаг, Агермыш* — горы в Крыму. *Кромвель* О. (1599—1658) — английский государственный деятель, лорд-протектор Англии (1653—1658). *Спиноза* Б. (1632—1677) — голландский философ. *Бель* — Бейль П. (1647—1706), французский философ-скептик. *Рихман* Г.-В. (1711—1753) — русский физик, академик, занимался изучением атмосферного электричества, 26 июня 1753 г. погиб во время опыта от удара молнии. *Сердоболящий Ломоносов* и т. д. Смерть Рихмана описана М. В. Ломоносовым в письме к И. И. Шувалову 26 июля 1753 г., в котором Ломоносов умоляет Шувалова позаботиться о семье покойного. *Франклин* — см. примеч 10. *Мушенброк* — Мушенбрук (или Мессенбрук) П. (1692—1761), голландский физик-экспериментатор. *Эйлер* Л. (1707—1783) — математик, физик, астроном, уроженец Швейцарии, много лет проживший в России. *Сашена* — жена Боброва. *Остроумный Ломоносов* и т. д. Имеется в виду «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее, в публичном заседании императорской Академии наук июля 1 дня 1756 года говоренное Михайлом Ломоносовым», в котором Ломоносов утверждал, что существует не семь основных цветов, а три. *Сиваш* — мелководный залив на севере Крымского полуострова.

22. СВ, 1805, ч. 8, с. 75. Подпись: С. Б...

23. «Цветник», 1809, ч. 1, № 3, с. 356. Подпись: С. Б... в. *Цахариас* — Цахарие Ю.-Ф.-В. (1726—1777), немецкий поэт.

С. А. ТУЧКОВ

24. ПТ, ч. 4, с. 245; ССиПС, с. 79. Печ. по ССиПТ, ч. 4, с. 83. Подражание первой оде *Анакреона* и одновременно полемика с Ломоносовым, который в «Разговоре с Анакреоном» писал:

Мне струны поневоле
Звучат геройский шум...
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

25—26. 1. БГ, 1789, № 3, с. 296; ССиПС, с. 43. 2. БГ, 1789, № 9, с. 10; ССиПС, с. 44. Печ. по ССиПТ, ч. 4, с. 46, 47. Сонет «Придворная жизнь» напечатан в разделе «Неизвестные авторы» в кн.: Поэты-сатирики, с. 543. Авторство Тучкова указано В. В. Пуховым (см.: «Русская литература», 1969, № 1, с. 181).

27. БГ, 1789, № 4, с. 388; ССиПС, с. 38. Печ. по ССиПТ, ч. 4, с. 27.

28. БГ, 1789, № 2, с. 192. Печ. по ССиПС, с. 57. Вошло в ССиПТ, ч. 4, с. 72. По мотивам эпиграммы Малле «Le faux sçavant».

29. ССиПТ, ч. 4, с. 32.

С. С. ПЕСТОВ

30. БГ, 1789, № 6, с. 201.

31. БГ, 1789, № 7, с. 294.

ПОЭТЫ «ИРТЫША»

П. П. СУМАРОКОВ

32. Иртыш, 1790, февр., с. 42. Печ. по СНСПС, ч. 1, с. 90.

33. Иртыш, 1791, янв., с. 33; «Аониды», кн. 3, М., 1798, с. 277. Печ. по СНСПС, ч. 1, с. 131. Сюжет заимствован из басни Лафонтена «L'amour et la folie». Поэма Сумарокова пользовалась успехом, встречается в рукописных копиях, ей было уделено несколько сочувственных слов в обзоре А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России» (см.: «Полярная звезда», СПб., 1823, с. 18). *Но чья везется колесница* и т. д. Описание выезда Венеры связано с предшествующей традицией: оно встречается уже у Апулея («Метаморфозы»), затем у Лафонтена («Любовь Амура и Психеи»), Богдановича («Душенька»).

34. ПиП, 1795, ч. 7, с. 29. Печ. по СНСПС, ч. 1, с. 153. Автограф — ПД (др. ред., с датой). Вольный перевод первых двух строф сатиры Вольтера «Jean, qui pleure et qui rit». *Несчáстливой судьбы* и т. д. — намек на свое положение ссыльного.

35. ЖПЛЗЧ, 1802, ч. 1, № 2, с. 111. Печ. по СНСПС, ч. 2, с. 56. Направлена против преромантической и сентиментальной лирики, против подражателей Державина и Карамзина, отчасти и против

них самих. *Стон голубка* — намек на популярную песню И. И. Дмитриева «Стонет сизый голубочек». *Алмазная... слеза* — эпитет, часто встречавшийся в сентиментальной лирике конца века. Против этого сентиментального словоупотребления выступал и Карамзин (см.: «Аониды», кн. 2, М., 1797, с. 9—10). *Пиндарщина* — здесь: высокопарность (от имени Пиндара, см. Словарь).

36. ЖПЛЗЧ, 1802, ч. 1, № 3, с. 211. Печ. по СНСПС, ч. 2, с. 72.

37. ВЕ, 1804, ч. 17, с. 314, подпись: УФХЦЧ. Печ. по СНСПС, ч. 2, с. 65. *Лейбниц* Г.-В. (1646—1716) — немецкий философ и математик. *Чтобы премудрые французы* и т. д. — намек на смену образа правления во Франции: директория, консульство, империя.

38—54. 1. Иртыш, 1790, янв., с. 61. 2. Иртыш, 1790, апр., с. 58. 3. Иртыш, 1790, май, с. 57. 4. Иртыш, 1790, авг., с. 49. 5. Иртыш, 1791, июнь, с. 44. 6. Иртыш, 1791, авг., с. 54. 7. Иртыш, 1791, июнь, с. 44. Печ. по СНСПС, ч. 1, с. 122. 8. Иртыш, 1791, авг., с. 40. 9. Иртыш, 1791, авг., с. 55. 10. Иртыш, 1791, авг., с. 55. Перевод эпиграммы Буало «A P ***» (Шарлю Перро). 11. «Аониды», кн. 3, 1798—1799, с. 298. 12. СНСПС, ч. 1, с. 113. 13. СНСПС, ч. 1, с. 119. 14. ЖПЛЗЧ, 1804, ч. 4, № 10, с. 4. 15. ВЕ, 1804, ч. 16, с. 146. 16. ВЕ, 1804, ч. 16, с. 146. 17. СНСПС, ч. 2, с. 84—85. Все вошли в СНСПС.

Н. С. СМИРНОВ

55. Иртыш, 1790, № 1, с. 62. Печ. по ПиП, 1795, ч. 8, с. 34. В том же номере Иртыша И. И. Бахтин (1756—1818), тобольский прокурор с 1788 г., активный сотрудник журнала, ответил Смирнову стихотворением:

ВОЗРАЖЕНИЕ

(Рифмы те же)

Я вижу, что тебе несносен этот свет, —
Но мудрый иначе на жизнь сию взирает.
Утехи видя там, где видишь ты тьму бед,
Спокойно он живет, спокойно умирает.
Ты прежде бытия хотел бы много знать
И выбрать часть себе — иметь желал бы волю;
На что? .. здесь волею умей лишь управлять,
И будешь ты блажить стократно смертных долю.

56. Печ. впервые по списку ГПБ (сб. «Разные сочинения. Начаты 1793»). Ответ на стихотворение И. И. Бахтина «Возражение» (см. примеч. 55).

57. ПиП, 1795, ч. 6, с. 10. Подпись: Даурец Номохон.

58. ПиП, 1795, ч. 7, с. 297. Подпись: Даурец Номохон.

59. ПиП, 1795, ч. 7, с. 241. Подпись: Даурец Номохон. *Мурза* — Г. Р. Державин. *Фелица.* Под этим именем Державин изобразил

Екатерину II в одах «Фелица», «Благодарность Фелице», «Видение Мурзы», «Изображение Фелицы».

60. ПиП, 1795, ч. 8, с. 226. Подпись: Даурец Номохон. Начало стихотворения является подражанием оде Державина «Видение Мурзы». *Скот, Эфесский храм сожегший* — Герострат (см. Словарь).

П. А. СЛОВЦОВ И ПОЭТЫ «МУЗЫ»

П. А. СЛОВЦОВ

61. «Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века», т. I, 1952, с. 404 (отрывок). Полностью печ. впервые по списку ЦГАДА. Стихотворение написано во время заключения Словцова в Валаамском монастыре. *Сперанский М. М.* (1772—1839) — государственный деятель (о нем см. примеч. 102). *Кларковым умом.* Имеется в виду Кларк С. (1675—1729) — английский философ-рационалист, противник материализма. *Монтений* — Монтень М. (1533—1592), французский писатель и философ скептического направления. *Руссо* Ж.-Ж. (1712—1778) — французский писатель и философ. Влияние его идей на Словцова было весьма значительно. На мысль Руссо о противоположности свободы и цивилизации Словцов ссылается в этом же стихотворении. *И критик, и учитель* — и критик, и проповедник одних и тех же идей. *Кто в сей стране злодей — в другой тот покровитель* — намек на заигрывание Екатерины с европейскими философами и преследование ею тех же идей в России. *Тиран предрассуждений* — критик предрассудков. *Понеже разум наш есть цепь опровержений* — пересказ мысли Бейля (см. примеч. 21) о том, что мыслить — значит сомневаться. *Така́ть* — соглашаться. *Фонтенель* Б. (1657—1757) — французский философ и писатель, славился изяществом стиля и насмешливым скептицизмом.

62. «Муза», 1796, ч. 1, февраль, с. 100. Подпись: NN; поскольку из известных нам авторов, сотрудничавших в «Музе», только Словцов был родом из Сибири, стихотворение можно с большой долей вероятности атрибутировать ему. *Тура* — река, берет начало в Верхотурском уезде Пермской губ., на родине Словцова. *Ей-богу! там жить лучше, где повязкой* и т. д. Ироническое осуждение просвещения связано с убеждением в необходимости скрывать свои взгляды (ср. №№ 61, 65). Поднадзорный, находящийся под угрозой насильственного пострижения, Словцов вынужден был тщательно скрывать самый факт своего сотрудничества в литературном журнале. *Часослов* — сборник молитвословий и песнопений для ежедневных служб в православной церкви. *Руссо* — см. примеч. 61. *Рейналь* Г.-Т.-Ф. (1713—1796) — французский историк и публицист, автор книги «История о двух Индиях», содержащей многочисленные тирады против рабства. *И я в Аркадии ⟨родился⟩*, т. е. и я был некогда счастлив. Выражение восходит к картине Н. Пуссена «Аркадские пастухи», на которой изображен могильный холм с этой надписью.

63. «Муза», 1796, ч. 1, март, с. 182—186, без подписи, авторские примечания к тексту снабжены криптонимом «С». Имя аристотелика *Стратона* (см. Словарь) упомянуто Словцовым как цензурное прикрытие идей материалистов XVIII в., полемика с софистами должна отвести обвинения в критике положений религии. *Повсемственный* — всеобщий. *Каменнорастения* (литофиты) — кораллы. *Полип, орангутанг и караиб.* Автор включает человека в цепь усложняющихся материальных существ, что представляло акт большой философской смелости. *Ламберт* Ж.-А. (1728—1777) — французский философ и математик.

64. ЛН, кн. 9—10, 1933, с. 45, с предположением об авторстве А. Н. Радищева. Печ. по изд.: А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. 2, М.—Л., 1941, с. 352. Список — ГПБ, где авторство приписано Г. Р. Державину. Авторство Словцова впервые указано Г. И. Сенниковым (см.: «Межвузовская научная конференция литературоведов, посвященная 50-летию Октября» (программа и краткое содержание докладов), Л., 1968, с. 13). Подробная аргументация авторства Словцова дана Ю. М. Лотманом (см.: «Ученые записки ТГУ», вып. 209, 1968, с. 361). *Кипарис* — см. примеч. 4. *Стоит, чтоб оракулом явиться* и т. д. Полемика с представлением, особенно распространенным среди масонов, согласно которому мера истинности текста соответствует его древности. *Тот лишь термин* — в тех лишь пределах. *Истукан* — здесь: предрассудки. *С алтаря не опрокинет персть.* Персть на алтаре — образ предрассудков, ложных ценностей. *Мание Сатурна* — веление времени. *Отцы столпотворенья* — библейские авторитеты. *До всеобща труса* — до грядущего разрушения мира. *Франклин* (см. примеч. 10) — борец за освобождение Соединенных Штатов Америки от владычества Британии. *Рейналь* — см. примеч. 62. *Мурза в чалме, певец Астреи* — Г. Р. Державин. *Орел... белый* — эмблема Польши. *Тис* — символ смерти у древних. *Геркулан со знамям* и т. д. Сопоставление языческого Геркуланума и христианского Лиссабона, одинаково павших жертвами стихийных бедствий, в философской полемике XVIII в. воспринималось как аргумент против божественного промысла. *Проснутся на трубы* — см. примеч. 5.

65. PC, 1872, № 1, с. 81, в неисправном виде. Печ. по PC, 1872, № 3, с. 469, в письме к М. М. Сперанскому (о нем см. примеч. 61, 102).

И. И. МАРТЫНОВ

66. «Муза», 1796, ч. 3, июль, с. 31.

Е. А. КОЛЫЧЕВ

67. «Муза», 1796, ч. 1, январь, с. 19.

68. «Муза», 1796, ч. 4, октябрь, с. 9.

ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО

А. И. ТУРГЕНЕВ

69. Печ. впервые по автографу ПД. Стихотворение посвящено слухам, распространявшимся придворными и литературными врагами Карамзина, который писал в конце 1795 г.: «Московские мои приятели заклинают меня скорее возвратиться в Москву, чтоб уничтожить разные слухи, рассеянные обо мне злобою и глупостию; одни говорят, что меня уже нет на свете; другие уверяют, что я в ссылке... Больно видеть, что некоторые люди без всякой причины желают мне зла» («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, с. 62). *Агатон* — лирический отрывок Карамзина на смерть А. А. Петрова «Цветок на гроб моего Агатона».

70. Поэты, с. 255. Печ. по автографу ПД. *Когда в врагах мы узрим братьев* и т. д. — отражение мыслей из «Философских писем» Шиллера.

71—76. Поэты, с. 256 (за исключением №№ 2, 5, 6). Печ. по автографу ПД. 3. *Кутузов* — П. И. Голенищев-Кутузов. В 1799 г. в журнале «Иппокрена» (т. 4, с. 17) он опубликовал стихи, содержащие доносительные намеки на Карамзина. Из письма Тургенева к А. С. Кайсарову известно, что это выступление, кроме эпиграммы Тургенева, вызвало неизвестный нам стихотворный отклик Кайсарова (см.: «Ученые записки ТГУ», вып. 63, 1958, с. 52). 6. Написано, очевидно, в связи со слухами о выходе пятой части «Писем русского путешественника», посвященной событиям Великой французской революции. Тексту эпиграммы предшествует запись: «Выходит 5 том писем Кар⟨амзина⟩. Не сочинить ли чего-нибудь? (Смешны покажутся такие приготовления, но я пишу, что лезет в голову, и пишу для себя). Сказавши, что выходит Кар⟨амзина⟩ книга, заключу». Книга Карамзина из-за цензурного запрета не вышла, полный текст писем появился лишь в 1801 г.

77. Поэты, с. 257. Печ. по автографу ПД. *П⟨лещеев⟩ С. И.* (1752—1802) — масон, друг И. П. Тургенева, отца поэта.

78. Печ. впервые по автографу ПД. После текста стихотворения запись: «Эту пьесу написал я в один день в два приема».

79. Поэты, с. 259. Печ. по автографу ПД.

80. В. Жирмунский, Гете в русской литературе, Л., 1937, с. 76, без загл. Печ. по автографу ПД. Стихи написаны Тургеневым в качестве посвящения на экземпляре своего перевода «Вертера» (выполненного совместно с Мерзляковым), подаренном Жуковскому. В автографе стихотворению предшествует запись: «Вчера познакомился я с Дмитриевым, с которым вместе обедал у Карамзина. Самый веселый и приятный обед. Вот надпись к портрету Гете». В характеристике Гете выделено как основное — свобода от правил и верность «натуре», что типично для предромантического, «штюрмерского» истолкования его творчества.

81. Печ. впервые по автографу ПД. *С⟨оковнин⟩а* (в замужестве Павлова) А. М. (1784—1873) — одна из трех сестер Соковниных, близких к Дружескому литературному обществу. Об отношениях А. Тургенева и его брата Александра к семейству Соковниных в дневнике А. Тургенева имеется запись: «С⟨оковнины⟩ связали нас с братом еще больше... мы еще более узнали, что мы можем и умеем сделать друг для друга величайшие пожертвования. Что других могло разлучить, расторгнуть навеки друг от друга, то самое теснее нас связало» («Архив бр. Тургеневых», вып. 2, СПб., 1911, с. 254).

82. Печ. впервые по автографу ПД. *В архиве ль служит кто иль в соляной конторе.* Архив министерства иностранных дел в Москве — место службы многих светских молодых людей в начале XIX в. Служба в архиве считалась синекурой. Оба старших брата Тургеневых одно время там служили. В соляной конторе служил Жуковский.

83. Поэты, с. 261. Печ. по автографу ПД. Стихотворение обращено к дому Воейкова в Москве у Девичьего монастыря и связано с совершившимся в нем центральным событием из истории Дружеского литературного общества — «экстра-ординарным собранием» в честь отечества, на котором Тургенев прочел речь о любви к отечеству (см.: ЛН, т. 60, М., 1956, с. 334). Позже он писал друзьям об этом дне: «Вспомните этот холодный еще, сумрачный апрельский день и час в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова, стихи Мерзлякова, вспомните себя и, если хотите, речь мою» («Ученые записки ТГУ», вып. 63, 1958, с. 66—67).

84. ВЕ, 1802, № 4, с. 277. В 1806 г. издано отдельной листовкой. Стихотворение принадлежало к наиболее популярным произведениям гражданской поэзии 1800-х годов.

85. Поэты, с. 262. Печ. по автографу ПД.

86. Поэты, с. 263. Печ. по автографу ПД. Перед текстом запись: «Прямо набело написалось». Элегия представляет собой — впервые в русской поэзии — реализацию одной из основных тем романтической лирики: раннего разочарования и преждевременной старости души. Если Батюшков и Милонов разрабатывали тему преждевременной смерти, то Андрей Тургенев ввел в русскую поэзию мотив духовной смерти, гибели надежд и упований.

87. Поэты, с. 264. Печ. по автографу ПД. Перед текстом надпись: «Доро́гой». Стихотворение представляет собой отказ от прославления милости. Для понимания его смысла важны черновые наброски, хранящиеся в ГПБ: «Что [превосходнее милости] К царям Но друзья! Какая бы ни была судьба наша — будем тверды. [Умрем, сойдем без трепета во гроб] Сойдем во гроб — но светлый луч, Сквозь мрак проникнув грозных туч, Для нас над гробом воссияет. Умолкните на время стоны Несчастных, горьких матерей».

Можно полагать, что идея этого произведения зародилась у А. Тургенева под влиянием стихотворения Карамзина «К милости», которое высоко ценили в кругу Дружеского литературного общества, считая его образцом смелой гражданской поэзии. В публикуемом стихотворении Тургенев отказывается от концепции Карамзина и требует замены принципа милости законностью, а в милости видит беззаконие, отказываясь противопоставлять ее деспотизму. Однако идея законности тотчас же вызывала мысль о борьбе за ее реализацию, а добровольный отказ от права на милость подсказывал, что борьба эта будет суровой. Отсюда обилие призывов быть готовыми к гибели, наполняющих черновик стихотворения.

88. Поэты, с. 266. Печ. по автографу ПД.

89. Печ. впервые по автографу ПД. Продолжая запись 21 марта 1802 г., Тургенев занес в дневник: «Дорогой мне пришло на мысль написать песнь несчастного при погребении». Далее идет текст публикуемого стихотворения.

90. Поэты, с. 265. Печ. по автографу ГПБ. Стихотворение посвящено одной из основных философских проблем, завещанных эпохой Просвещения, — идее врожденной доброты людей и соотношения доброты человека и испорченности общества.

91. ВЕ, 1802, № 13, с. 52, подпись: — въ, текст сопровожден примечанием Н. М. Карамзина: «Это сочинение молодого человека с удовольствием помещаю в «Вестнике». Он имеет вкус и знает, что такое пиитический слог. Некоторые стихи прекрасны, как то увидят читатели. Со временем любезный сочинитель будет конечно оригинальнее в мыслях и в оборотах; со временем о самых обыкновенных предметах он найдет способ говорить по-своему. Это бывает действием таланта, возрастающего с летами. . .» «Элегия» Тургенева оказала большое влияние на поэтов пушкинского поколения. Кюхельбекер в крепости писал: «Еще в лицее любил я это стихотворение, и тогда даже больше «Сельского кладбища», хотя и был тогда энтузиастом Жуковского. Окончание Тургенева элегии бесподобно» (В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л., 1929, с. 63). *Угрюмой Осени мертвящая рука.* Стих пересказан в лицейской элегии Пушкина «Осеннее утро» («Уж осени холодною рукою Главы берез и лип обнажены»). *Но ты, во цвете лет сраженная Судьбою.* Речь идет о В. М. Соковниной, одной из трех сестер Соковниных (см. примеч. 81). *Напрасно хочешь ты, о добрый друг людей, Найти спокойствие внутри души твоей* — полемическое выступление против карамзинской идеи «внутреннего» счастья, независимого от внешних условий жизни. В духе этой идеи выступали Жуковский и Александр Тургенев (см. об этом: «Ученые записки ТГУ», вып. 63, 1958, с. 62).

92. Поэты, с. 272. Печ. по автографу ПД.

93. Поэты, с. 273. Печ. по автографу ПД. *Херасков М. М.* (1733—1807) — автор эпических поэм, из которых наиболее известны «Владимир Возрожденный» и «Россиада». Считавшийся в конце XVIII в.

признанным главой русской литературы, Херасков в начале XIX в. исповедовал устарелые художественные принципы и откровенно реакционные взгляды. Весной 1800 г. Андрей Тургенев записал в дневнике: «Вышел «Царь», поэма М. М. Хераскова. И седой старик не постыдился посрамить седины свои подлейшими ласкательствами, и притом безо всякой нужды. Какое предисловие. Какой надобно иметь дух, чтобы так нагло, подло, так бесстыдно писать от лица истины, какая мораль: „Законов выше княжеские троны!“» (А. Ф. Мерзляков, Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), 1958, с. 12). *«Кадм», «Полидор»* — «Кадм и Гармония» и «Полидор, сын Кадма и Гармонии», романы Хераскова. *Фенелон* Фр. де Солиньяк де ла Мот (1651—1715) — французский писатель, автор романа «Приключения Телемака», пользовавшегося в России большой популярностью. Его романы считались образцом эпической политико-дидактической прозы — жанра, насаждаемого в России Херасковым. Одновременно Фенелон воспринимался как обличитель тирании, враг неограниченного самодержавия, проповедником которого сделался Херасков начиная с «Полидора».

94. Поэты, с. 274. Печ. по автографу ПД.

95. Поэты, с. 275. Печ. по автографу ПД.

А. С. КАЙСАРОВ

96. Печ. впервые по автографу ПД. Посвящено отъезду из Москвы отправлявшегося на службу Андрея Тургенева.

97. РБ, 1912, № 4, с. 23 (с сокращениями). Печ. полностью впервые по автографу ПД.

98. Печ. впервые по автографу ПД.

99. РБ, 1912, № 4, с. 22.

100. РБ, 1912, № 4, с. 24 (с сокращениями). Печ. полностью впервые по автографу ПД. *Всяк ложь есть человек* — цитата из псалма 115. *Брат Александр* — Тургенев А. И. (1785—1846), с которым Кайсаров вместе учился в Геттингене, путешествовал по славянским землям и вновь встретился в 1810 г. в Саратове. Имена саратовских знакомых Кайсарова установить не удалось.

С. Е. РОДЗЯНКО

101. Печ. впервые по автографу ГПБ. *О бозе укрепись* и т. д. — цитата из псалма 116. Тема стихотворения определена позицией Родзянко в спорах в Дружеском обществе. В 1799 г. он совместно с Жуковским перевел на французский язык оду Державина «Бог». Полемизируя с Гельвецием, Родзянко произнес речи «О бессмертии души» и «О боге», продолжавшие устные споры с Андреем Тургеневым. Разница в философских воззрениях привела к их взаимному охлаждению. Однако как образец философской поэзии стихотворение высоко ценилось в Дружеском литературном обществе.

102. ВЕ, 1806, № 19, с. 195. *С⟨перанский⟩* (см. примеч. 61) был сыном сельского священника. Человек передовых взглядов, Сперанский своими проектами буржуазных реформ возбудил ненависть реакционных кругов. 17 марта 1812 г. был отрешен от всех должностей и отправлен в ссылку. Возвращенный в 1816 г., он в дальнейшем капитулировал перед реакцией. *Миних* Б.-Х., граф (1683—1767) — государственный деятель и полководец, главнокомандующий в турецком походе (1738—1739). *Румянцев* — см. примеч. 18. *Орлов*-Чесменский А. Г., граф (1737—1807) — командующий русским флотом в ряде морских сражений, победитель в Чесменской битве (1770). *Репнин* Н. В. (1734—1801) — приближенный Павла I, полководец и дипломат, участник двух турецких кампаний. *Долгоруков* Я. В., князь (1659—1720) — государственный деятель петровской эпохи. *Еропкин* П. Д. (1724—1805) — генерал, подавивший «чумный бунт» в Москве в 1771 г. *Шувалов* И. И. (1727—1797) — фаворит императрицы Елизаветы Петровны, покровитель Ломоносова, принял активное участие в организации Московского университета. *Муравьев* М. Н. (1757—1807) — поэт и писатель, с 1802 г. попечитель Московского университета, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых. *Херасков* — см. примеч. 93. *Курбский* А. (1528—1583) — боярин, соратник Ивана Грозного. *Пожарский, Минин* — см. примеч. 18. *Из бедного слуги соделал Петр героя.* Имеется в виду сподвижник Петра I А. Д. Меншиков (1673—1729). *Сюллий* — Сюлли М. (1560—1641), французский государственный деятель, министр Генриха IV. *Ко́льберт* — Кольбер Ж.-Б. (1619—1683), французский государственный деятель, реформатор, министр Людовика XIV.

103. ВЕ, 1812, ч. 66, № 21-22, с. 17. Построение стихотворения обнаруживает его зависимость от «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» Д. И. Фонвизина. *Экстракт* — извлечение из дела, форма деловой судебной бумаги. *Когда бы Кривотолк* и т. д. — намек на ситуацию, изображенную в комедии В. В. Капниста «Ябеда» (у Капниста — Кривосуд). *Грамота о вольности дворян* — указ 1762 г., закреплявший сословные привилегии дворянства. Текст Воейкова намекает на реплику героини «Недоросля» Простаковой, истолковывавшей этот указ как оправдание произвола. *Педанта Колбертом зовут в стихах поэты.* Намек на собственное послание к М. М. Сперанскому. *Разбойника признал владыкой мир.* Речь идет о Тильзитском мире. *Где всё на откупу* и т. д. Стихи перефразированы в 1815 г. Пушкиным в послании «Лицинию»:

Где всё на откупе: законы, правота,
И жены, и мужья, и честь, и красота.

С смиренной харею — цитата из стихотворения Д. И. Фонвизина «Лисица-казнодей». *Где и без «абие» слов много бестолковых* — выпад против карамзинистов, боровшихся с употреблением архаической лексики. *Клопшток* Ф.-Г. (1724—1803) — немецкий поэт, автор «Мессиады», высоко почитался в масонских кругах. Традиция почитания Клопштока развивалась поэтами «Беседы». *Жан-Жак* Руссо, *Платон* упомянуты как философы-моралисты, стремившиеся укре-

пить моральные принципы современников. *Цицерон* имеется в виду как автор книги «Об обязанностях».

104. ВЕ, 1810, № 16, с. 289. *Мерзляков* А. Ф. (1778—1830) — поэт, переводчик, литературный критик, профессор Московского университета, активный член Дружеского литературного общества. *Воскресивший... Вергилия.* Имеются в виду переводы Мерзлякова: «Эклоги Публия Вергилия Марона, переведенные А. Мерзляковым», М., 1807. *Певец Авеля* — Геснер С. (1730—1788), швейцарский поэт и художник-сентименталист, автор поэмы «Авелева смерть» и пастушеского романа «Дафнис». *Буало*-Депрео Н. (1636—1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма, с 1677 г. — придворный историограф, вместе с двором Людовика XIV часто жил в Версале.

105. ВЕ, 1813, № 11-12, с. 176. *Сын твой* — Александр I. *Сей лютый крокодил, короны похититель* — Наполеон I. *Задунайский* — см. примеч. 18. *Крымский* — Потемкин Г. А., князь Таврический (1739—1791). *Чесменский* — Орлов А. Г. (см. примеч. 102). *Смоленский* — Голенищев-Кутузов М. И., князь Смоленский (1745—1813). *Десная пусть рука моя меня забудет* — перифраз библейского выражения «Да будет забвенна десница моя, аще забуду тебя, Иерусалиме». *Царица скифская, рассеяв персиян* и т. д. Почерпнутые у античных историков данные о победах скифов над персами и гибели персидского царя Кира воспринимались в 1812 г. как параллель к современным событиям. *Опустошитель Персеполя и Тира* — Александр Македонский, завоевавший Азию. Эпизод обмена его послами и грамотами со скифами апокрифичен, восходит к хронографам XVII в. *Димитрий* — Дмитрий Донской (1350—1389), великий князь владимирский и московский, победил татар в Куликовской битве (1380). *Карл* XII (1682—1718) — шведский король. *Фридерик* — Фридрих II (см. примеч. 193), инициатор Семилетней войны (1756—1763). *Салтыков* П. С. (1698—1772) — главнокомандующий русской армией в Семилетнюю войну, победитель при Кунерсдорфе.

106. ВЕ, 1813, № 9-10, с. 29. Написано во время пребывания Воейкова в действующей армии. Возможно, предназначалось для отдельной публикации в походной типографии. *Сеннахериб* — здесь: Наполеон. *Гершель* — см. примеч. 9.

107. ВЕ, 1813, № 5-6, с. 26. *Лагарп* Ж.-Ф. (1739—1803) — французский критик и теоретик литературы. *Алый мак* — см. примеч. 19. *Людмила, Светлана* — героини одноименных баллад Жуковского. *Топишь в чашу белый ярый воск* и т. д. — пересказ отрывка из баллады Жуковского «Светлана». Речь идет о гаданьях на крещенье. *Гете* И.-В. (1749—1832), *Бюргер* Г.-А. (1747—1794) упоминаются как авторы баллад, предшественники Жуковского-«балладника». *Альбан* — Альбани Ф. (1578—1660), итальянский художник. *Напиши четыре части дня, Напиши четыре времени.* Призыв обратиться к тематике Делиля (см. примеч. 250) и Томсона (см. примеч. 21). Позже сам Воейков опубликовал перевод «Четырех возрастов человеческих» из поэмы Делиля «Воображение» («Полярная звезда», 1824, с. 52) и «Четырех времен года» из поэмы Делиля «Сельский житель» («Новости литературы», 1824, № 16, с. 110). *Виланд* Х.-М. (1733—1813) —

немецкий поэт, автор сказочной эпопеи «Оберон». *Ариост* — Ариосто Л. (1474—1553), итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд». *Баян* — упомянутый в «Слове о полку Игореве» древнерусский певец. *Святослав* Игоревич (942—972) — киевский князь. *Добрыня* — новгородский посадник, персонаж былинного эпоса. *Владимир — русско солнышко* — Владимир Святославич (ум. 1015), киевский князь, в былинах выступает под именем Владимира Красно Солнышко. *Готфред* — Готфрид Бульонский (ок. 1060—1100), один из центральных персонажей цикла легенд о первом крестовом походе. *Великий Карл* (742—814) — франкский король, затем император, герой многих панегирических произведений и народных легенд. *Димитрий — басурманов бич* — см. примеч. 105. *Петр — Сампсон, раздравший челюсть льва.* Библейский рассказ о богатыре Самсоне, победившем льва, еще в литературе петровской эпохи получил аллегорическое толкование благодаря наличию в шведском гербе геральдического льва. *Платов* М. И. (1751—1818) — атаман донских казаков, прославился в Отечественную войну 1812 г. *А Платов, который так, как волхв* и т. д. — вольная цитата из «Слова о полку Игореве». *Сын Юпитеров* — Геракл. *Грей* Т. (1716—1771) — английский поэт-элегик, автор элегии «Сельское кладбище», перевод которой был первым получившим известность стихотворением Жуковского.

108. ВЕ, 1814, № 5, с. 33. Адресат — Протасова (урожд. Бунина) Е. А. (ум. 1848), мать будущей жены Воейкова А. А. Протасовой. *В бою похитила еще героя-друга.* Имеется в виду А. С. Кайсаров. *И друга прежнего* — Андрея Тургенева. *И смерть во цвете лет любезнейшего брата.* Брат Воейкова погиб от ран, полученных при взятии Парижа.

109. ВЕ, 1819, № 5, с. 15. *Уваров С. С.* (1786—1855) — член «Арзамаса», приятель Жуковского и Батюшкова, впоследствии президент Академии наук, министр народного просвещения. Уваров владел древними языками, в 1812 г. написал работу «Essai sur les Mystéres d'Eleuses» («Очерк об Элевзинских таинствах»). Послание Воейкова является откликом на полемику между Уваровым и В. В. Капнистом по поводу гекзаметрического перевода «Илиады» Гнедичем (ЧвБ, кн. 13, 17). Уваров выступал как теоретик и защитник русского гекзаметра (см. также: В. В. Капнист, Собр. соч., т. 2, М.—Л., 1960, с. 186, 196 и сл.). Стихотворение Воейкова не понравилось П. А. Вяземскому, скептически относившемуся к идее русского гекзаметра (см.: ОА, с. 419). *Вернет* — Верне К.-Ж. (1714—1789), французский живописец. *Пишет Вольтер к китайскому хану* и т. д. Имеется в виду стихотворение Вольтера «Epitre au Roi de la Chine», которое цитирует Уваров в первом письме к Капнисту (см.: ЧвБ, кн. 13, с. 63). *Дали сарматы царя* и т. д. Имеется в виду польская интервенция и царствование Лжедимитрия I (1605—1606). *Кантемир* А. Д. (1708—1774), *Феофан* Прокопович (1681—1736), *Симеон* Полоцкий (1629—1680), *Буслаев* П. (ум. до 1755) писали силлабическими стихами, перенесенными на русскую почву из польской поэзии. *Анапесты с ямбами.* О размере, «из ямбов и анапестов смешанном», Ломоносов говорит в «Письме о правилах российского стихотворства». *Поэма Вольтера* — «Генриада». *Полезный муж Тредьяковский.* Признание ученых заслуг Тредиаковского полемично к по-

зиции «Арзамаса», где он не без основания считался духовным отцом «беседчиков». *Телемах* — поэма Тредиаковского «Телемахида». *И Херасков повлекся за ним* — имеются в виду поэмы М. М. Хераскова «Россиада» и «Владимир Возрожденный» (см. примеч. 93). *Петров* В. П. (1736—1799) — поэт, переводчик «Энеиды» Вергилия. *Костров* Е. И. (ок. 1755—1796) — поэт, перевел александрийскими стихами «Илиаду» Гомера. *Гнедич* Н. И. (1784—1833) — поэт, перевел александрийским стихом как продолжение работы Кострова песни 7 и 8 «Илиады». *Ослепленный Делилем.* Перевод «Садов» Делиля (см. примеч. 250), печатавшийся сначала в ВЕ, вышел в 1816 г. *Я перевел половину Георгик* и т. д. Гекзаметрические переводы «Георгик» Вергилия напечатаны: ВЕ, 1814, № 7, с. 204; 1815, № 10, с. 241; 1816, № 9, с. 3; № 10, с. 8; № 11, с. 169. Отрывок из «Энеиды», переведенный гекзаметром, опубликован в ВЕ, 1817, № 7, с. 161. *Подражая Умным германцам.* Уваров говорит, что немецкие писатели «счастливым своим трудолюбием дошли уже до того, что имеют весьма правильный гекзаметр». *Мы не имеем спондеев.* Спондей — двусложная стопа, где оба слога ударные. Капнист считал, что «русский язык спондеями весьма скуден» (ЧвБ., кн. 17, с. 21).

110. СО, 1821, ч. 68, с. 180. *Давыдов* Д. В. (1784—1839) — поэт, партизан, герой Отечественной войны 1812 г. *На розовую цепь Ты променял свободу.* Речь идет о женитьбе Давыдова в 1819 г. *Буянов* — герой поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед». *Гервасияда.* Имя Гервасий в конце XVIII — нач. XIX в. употреблялось только в духовной среде. Сочетание его с суффиксом, содержащим «героическую» в жанровом отношении характеристику текста, производило комический эффект. Объектом насмешки служит не какое-либо конкретное произведение, а жанр классицистического эпоса как таковой. *Певец Русланов* — Пушкин. *Бюффон Ж.-Л.-Л.* (1707—1788) — французский естествоиспытатель, литературный стиль его считался образцовым. *Руссо* — см. примеч. 61. *Кампе* И.-Г. (1746—1818) — немецкий писатель, автор популярных книг для детей. *Фенелон* — см. примеч. 93. *Локк* — см. примеч. 11. *Шолье* Г.-А. (1636—1720) — французский поэт, культивировал легкую поэзию гедонистического содержания. *Златоуст* Иоанн (673—754) — церковный писатель, считался образцом красноречия. *Ветрана* — героиня сказки Дмитриева «Причудница». *Пролаз* — имя обманутого мужа в сказке Дмитриева «Модная жена».

111. Печ. впервые по автографу ГПБ. *Анна Петровиита* — Зонтаг А. П. (урожд. Юшкова, 1785—1864), родственница жены Воейкова А. А. Воейковой (урожд. Протасовой). *Каменный мост* — мост в центре Дерпта, через который проходила граница территории университета. *Сорочина долгополая* — ироническое название семинаристов. *К⟨арло⟩ Горынович* — муж А. П. Зонтаг, Егор Васильевич. *Л⟨авр⟩ов* Н. (род. 1803), *Енко* П. (род. 1800), *Б⟨рок⟩* Ф. (1799—1839), *Шемиот* С. (род. 1799), *Виламов* И. Г. (1802—1822), *Голицын* В., князь (1801—1884), *Петерсон* А. П. (1800—1890) — студенты Дерптского университета. *А⟨ндеркас⟩* Ф.-В. — профессор Дерптского университета. *Рогаточка Рижская* — застава в Рижских воротах, через которые выезжали из города, направляясь в Псков.

112. «Сборник, издаваемый студентами... С.-Петербургского университета», вып. 1, СПб., 1857, с. 339 (24 строфы с пропусками, частично с указанием подлинных имен); «Дом сумасшедших», Лейпциг, 1858 (более исправный текст). «Дом сумасшедших» — один из центральных памятников неофициальной литературы начала XIX в. — не предназначался автором для печати. Стихотворение построено как цепочка строф, сокращаемых и прибавляемых в соответствии с потребностями минуты. Поэтому понятие «окончательного» текста здесь в принципе неприменимо. Памятник дошел в виде нескольких сильно отличающихся между собой автографов (БЛ, ГПБ, ПД, ЦГАЛИ) и большого числа списков, ни один из которых не воспроизводит начального или конечного момента эволюции текста. Списки производились со всех промежуточных редакций; при реконструкции истории текста их необходимо учитывать, поскольку далеко не все звенья его эволюции документированы автографами. Воспроизводя в основном разделе один из наиболее интересных промежуточных текстов по автографу ГПБ, относящемуся к третьей редакции, составители дают в разделе «Приложение» реконструкцию всего движения текста. Время создания «Дома сумасшедших» — 1814—1839 гг. Начало работы датируется 1814 г. на основании свидетельств самого автора. Текстологический анализ в основном подтверждает надпись, имеющуюся на ряде списков и, видимо, восходящую к хорошо осведомленному лицу: «„Дом сумасшедших"» сочинен А. Ф. Воейковым осенью 1814 г. в тамбовской деревне Авдотьи Николаевны Арбеньевой, продолжен в 1822, 1826, 1836 и 1838 гг. в Петербурге». Изучение сохранившихся автографов и многочисленных списков позволяет выделить четыре основные редакции текста: 1-я — 1814—1817 гг., 2-я — 1818—1822 гг., 3-я — 1826—1830 гг., 4-я — 1836—1838 гг. Каждая из редакций представлена рядом вариантов, отражающих движение текста в ее пределах.

Редакция 1 (1814—1817) дошла в виде чернового автографа БЛ (арх. Полторацкого), нижний пласт которого дает нам наиболее ранний текст сатиры, и многочисленных списков. Автограф, публикуемый полностью в разделе «Приложение», датируется, с одной стороны, бумагой (с водяным знаком «1817»), с другой — отсутствием характерных для 1818 г. исправлений текста. Политический отдел дома сумасшедших в этом списке представлен лишь честолюбцами (назван Наполеон, что было вполне актуально в 1814—1815 гг.), литературный — позволяет говорить о выдержанной «арзамасской» направленности сатиры. Характеристика Каченовского дана на основании его полемики с Шишковым в 1811 г. В ней не отражены споры с Карамзиным в 1818—1820 гг., когда Каченовский занял скептическую позицию и в сатирах и эпиграммах стал изображаться как зоил, враг талантов. Из двух вариантов строфы 12 основным, видимо, является посвященный Хвостову (он согласуется со следующей строфой — В. Л. Пушкин не был одописцем). Замена имени Хвостова Пушкиным, вероятно, связана с положением последнего в «Арзамасе» в 1815 г. и господствующим там в отношении к нему тоном (см.: Арзамас, с. 141 и след.). Строфы, посвященные Станевичу, — отклик на полемику, имевшую место еще до войны 1812 г. В 1805 г. Станевич опубликовал «Собрание сочинений в стихах и прозе» и подвергся резкой критике со стороны Каченовского и осо-

бенно Воейкова (см.: ВЕ, 1808, № 18, с. 115—124; Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX века, М.—Л., 1959, с. 72). Учитывая позицию Воейкова, можно с уверенностью сказать, что строфы написаны до гонений, которым подвергся Станевич в 1818 г. со стороны деятелей официального мистицизма — кн. А. Н. Голицына, М. Л. Магницкого и др. Исключение строфы, содержащей стихи «ссылает в ссылку зло» и «посиди, тебе тепло», было вызвано скорее всего тем, что в новых условиях она могла прозвучать как одобрение политики тех самых деятелей, против которых в основном была направлена вторая редакция сатиры (см.: А. Н. Пыпин, Религиозные движения при Александре I, Пг., 1916, с. 183—191). Приведенные соображения служат основой для датировки строф. В строфе 4 обращение к Кокошкину (или Каверину) принадлежит к ранней редакции, а к Карамзину — к более поздней, поскольку последнее — перефразировка полемической выходки Каченовского в 1818 г., писавшего: «Сочинитель помнит, что почтеннейший Н⟨иколай⟩ М⟨ихайлович⟩ в молодости любил читателей, а более читательниц располагать к сладкой меланхолии, любил иногда и сам поплакать. Но тогда совсем другое. Кто молод не бывал!» (ВЕ, 1818, ч. 100, с. 47). Для оценки позиции Воейкова следует вспомнить возмущение Вяземского этой статьей (см.: ОА, с. 111). Строфы о Германе датируются 1815—1816 гг. *Герман* Ф. И. (1789—1852) — сын знаменитого геолога и воспитанник Горного корпуса, в 1817 г. (после смерти отца) перешел в гвардию. Он был близок к арзамасцам и ряду декабристов.

Редакция 2 (1818—1822) реконструируется на основании автографов, датируемых концом 1820-х годов, списков и косвенных данных. На этом этапе «Дом сумасшедших» резко изменил направленность, превратившись в сатиру на деятелей официального мистицизма. Резкие выпады против М. Л. Магницкого, Д. П. Рунича, В. М. Попова, Д. А. Кавелина делают сатиру одним из наиболее ярких памятников тех лет, обличающих, по выражению Пушкина, «мистики придворное кривлянье». Из добавлений в литературный отдел примечательны строфы, посвященные Н. И. Гречу, А. Е. Измайлову и В. Н. Каразину. То, что они написаны одновременно, подтверждается листком-автографом ПД, где они выписаны отдельно и в той же последовательности, а также письмом А. Е. Измайлова П. Л. Яковлеву от 23 сентября 1820 г. (см.: Поэты-сатирики, с. 678). Основанием для датировки, кроме названного письма, служит упоминание «Записок Головина», которые начали появляться в СО с 1820 г. (т. 58). Характерен дружественный тон отзыва о Грече и крайне враждебный о Каразине, что объясняется ролью последнего в ссылке Пушкина и провокационным характером его поведения в 1820 г.

Редакция 3 (1826—1830) реконструируется на основании автографов и списков. К ней принадлежит публикуемый в основном тексте автограф ГПБ. Политический отдел заострен против нового врага — шишковистов, победивших мистиков голицынского толка и определивших в начале николаевского царствования ультрареакционный курс правительства в вопросах просвещения и печати. С этим связано упоминание «алжирского устава о печатании книг» — «чугунного» цензурного устава 1826 г., составленного Шишковым и

П. А. Ширинским-Шихматовым, который даже николаевское правительство вынуждено было рассматривать как временную меру и отменить в 1828 г. (следовательно, строфа датируется промежутком 1826—1828 гг.). Литературный раздел направлен против ренегатов, что было особенно актуально в первые три-четыре года после восстания декабристов. Именно как ренегат заклеймен поэт А. А. Перовский, вчерашний сотрудник изданий арзамасского толка, поступивший на службу в министерство Шишкова. Тем же определена резкость новых стихов против Греча и Булгарина. По мере того как эти журналисты, до 1825 г. близкие к прогрессивным кругам, все более занимали официальную позицию и становились главными противниками пушкинской группировки, количество сатир и эпиграмм против них резко возрастало. Воейков в своих строфах счел необходимым подчеркнуть их криминальное, с точки зрения их новой позиции, прошлое («Вспоминая о прошедшем...», «Всё боится быть повешен...»). Новые строфы о Станевиче также объясняются тем, что в результате энергичного заступничества Шишкова он был полностью реабилитирован и официально поощрен. Основания для датировки строф о Перовском следующие: А. А. Перовский (Погорельский) до 1825 г. — активный деятель той же литературной группировки, что и Жуковский, Пушкин, к которой примыкал и Воейков (в 1825 г. в издаваемых Воейковым «Новостях литературы» Перовский опубликовал «Лефортовскую маковницу», вызвавшую восторженный отзыв Пушкина), в 1826 г. по приглашению Шишкова поступил на службу в министерство народного просвещения и развил крайне активную деятельность, но весной 1827 г. уехал за границу лечиться, а в марте 1830 г. вышел в отставку. Первый вариант строф, видимо, следует датировать 1826 г., второй — 1828 г., поскольку в нем упоминаются В. А. Перовский, который в этом году был ранен в левую сторону груди при взятии Варны, и Л. А. Перовский, ставший вице-президентом департамента уделов и развивший энергичную деятельность по увольнению старых, скомпрометированных чиновников. Строфы о Полевом и Свиньине следует датировать 1828—1829 гг. (ср. «Детскую книжку» Пушкина). Обращает на себя внимание отсутствие строф, посвященных Надеждину. Это можно объяснить только тем, что в период наибольшей остроты полемики с ним пушкинской группировки Воейков не обращался к «Дому сумасшедших».

Редакция 4 (1836—1838). В 1837 г. Воейков как бы подвел итог многолетним переделкам текста и составил сводную редакцию, которую, видимо, охотно давал списывать. По крайней мере, количество списков с нее весьма значительно. Однако он продолжал создавать новые строфы. Кроме того, у него имелись отдельные «куплеты», которые он из-за их резкости не включал в общий текст, но показывал в интимном кругу, вероятно втайне желая их распространения. Основная из новых строф «политического» раздела — против Дантеса. В этой строфе нетрудно разглядеть то тенденциозное освещение событий, которое восходило к Жуковскому и составляло часть тактики друзей Пушкина в борьбе, развернувшейся вокруг его гибели. В центре литературного раздела — строфы о Сенковском, что отвечало тактике журнальной борьбы пушкинской группы (см.: Н. И. Мордовченко, Гоголь и журналистика 1835—1836 гг. — Сб. «Н. В. Гоголь, Материалы и исследования», т. 2, М.—Л., 1936).

Резко возрастает в последней редакции число строф, продиктованных исключительно личными антипатиями.

Таким образом, первая редакция заострена против литературных противников «Арзамаса», вторая — против официальной мистики, третья — против руководителей политики правительства Николая I в области просвещения и культуры в 1826—1828 гг. и литературных ренегатов, четвертая — против журнальных врагов «пушкинской группы» в 1830-х годах и убийцы Пушкина. Текстологический анализ позволяет отбросить установившийся весьма прочно взгляд на «Дом сумасшедших» как на «забавное» стихотворение, плод желчности и злоязычия его автора, сводившего в основном счеты с личными противниками. Совершенно очевидно, что Воейков рассматривал свою сатиру как голос определенной литературной группировки и до тех пор, пока группировка эта не распалась, сравнительно мало вводил чисто личные мотивы; при этом он, как правило, сохранял строфы остро актуальные в момент создания, но теряющие злободневность в дальнейшем.

Совершенно иной была природа «Женского отделения», рожденного успехом сатиры и обстановкой литературных салонов (датируется 1830-ми годами). Ряд списков имеют примечание, вероятно восходящее к Воейкову: «Под Свистовой разумеет сочинитель Шишкову, жену А. С. Шишкова, под Темирой — вдову-генеральшу Вейдемейер, а под Хлыстовой — графиню Хвостову, жену гр. Д. И. Хвостова». Замечательно, что из этих дам генеральша Вейдемейер сама просила Воейкова посадить ее в «Дом сумасшедших» и была очень довольна написанными на нее куплетами.

Кутузов — П. И. Голенищев-Кутузов. *Глинка* С. Н. — в вариантах «Свинка». *«Амур»* — поэма А. Ф. Мерзлякова «Амур в первые минуты разлуки с Душенькою». *Шаликов* П. И. — в вариантах Шалунов. *Наглицкой* — Магницкий М. Л. (1778—1855), попечитель Казанского учебного округа (1819—1826), реакционер и обскурант; отличался ханжеством и корыстолюбием. *Кавалерские* — орденские. *Список всех аренд.* Аренда государственных земель, дававшая простор злоупотреблениям, рассматривалась как верный, но бесчестный способ наживы. *Злунич* — Рунич Д. П. (1780—1860), попечитель С.-Петербургского учебного округа, мракобес и гонитель просвещения. *Невтон* — Ньютон. *Боссюэт* — Боссюэ Ж.-Б. (1627—1704) — французский проповедник, писатель и церковный деятель. Определение ярого церковника Боссюэ как «безбожного» характеризует степень нетерпимости Рунича. *Омар* (VII в.) — второй мусульманский калиф. В 642 г., взяв штурмом Александрию, сжег знаменитую библиотеку. Имя его стало нарицательным для определения вражды к просвещению. *Ханжецов* — Попов В. М. (1771—1842), чиновник, сотрудник Магницкого, реакционер и мистик. *Пустелин* — Кавелин Д. А. (1778—1851), его арзамасская кличка была «Пустынник»; Кавелин, будучи с 1819 г. ректором С.-Петербургского университета, зарекомендовал себя как гонитель просвещения и ближайший сподвижник Магницкого. *Пытнирский* — Ширинский-Шихматов П. А. (1790—1853), член Российской академии, с 1850 г. — министр народного просвещения, был инициатором «чугунного» цензурного устава 1826 г. В вариантах назван «князь Иезуитский». *Трусовский* — Красовский А. И. (1780—1857), петербургский цензор (1821—1828),

известный тупостью и мракобесием. В вариантах — «Скверновский». *Пара людоедов.* Первый, видимо, Клейнмихель П. А. (1793—1869), приближенный Аракчеева и его преемник по управлению военными поселениями, был известен своей жестокостью; второй — Капцевич П. М. (1772—1840), приближенный Аракчеева, позднее — генерал-губернатор Западной Сибири. Расшифровывать эти фамилии не решались даже в списках 1850-х гг. *К⟨аченовск⟩ий* М. Т. (1775—1842) — профессор, историк, издатель ВЕ, в кругу арзамасцев считался педантом, образцом мелочного, завистливого критика. Пробовал реформировать русский алфавит, приблизив его к греческому, в частности уничтожив букву «э». В вариантах — «Капустовский». *Крюки* — древнерусское нотное письмо. *«Книга Кормчая»* — древнерусский сборник правил церковного устройства. *Два перста.* То, что С. Н. *Глинка* крестился как старообрядец (двуперстно), подчеркивает его привязанность к старине. *О Расин! откуда слава?* и т. д. — насмешка над стремлением Глинки с реакционных позиций унизить европейскую (особенно французскую) культуру и оживить интерес к церковной литературе Древней Руси. *«Стоглав»* — сочинение середины XVI в., сборник решений «Стоглавого собора» (1551). *«Федра», «Андромаха»* — трагедии Ж. Расина. *«Погребение кота»* — лубочная картинка начала XVIII в. *Хлыстов* — Хвостов Д. И. В вариантах — «Ослов». *В Буало я смысл добавил* и т. д. Хвостов перевел «Поэтическое искусство» Н. Буало-Депрео (1636—1711), переводил басни Лафонтена, «Андромаху» Расина. *Фита, кси, ик, пси* — названия букв древнерусской и церковнославянской азбуки. *Ш⟨ишк⟩ов* А. С. — в вариантах «Свистков». *Сладковский* Р. — автор поэмы «Петр Великий». Строфа воспроизводит стиль поэмы Сладковского. *Ж⟨уковск⟩ий* — в вариантах «Балладин». *Картузов* — П. И. Голенищев-Кутузов. *С⟨таневи⟩ч* Е. И. (1775—1835) — малоодаренный писатель-мистик, близкий к «Беседе». В вариантах — «Сатаневич». *Тих, спокоен сверху вид* и т. д. — цитата из стихотворения К. Н. Батюшкова «Счастливец (Подражание Касти)». *И⟨змайл⟩ов* А. Е. (1779—1831) — баснописец, его басни отличались грубостью языка и картин, что противоречило требованиям карамзинистов, считавших изящество формы основным критерием ценности литературного произведения и провозгласивших «дамский вкус» главным судьей поэтических достоинств. *Мир квартальных есть мой мир.* Имеется в виду басня Измайлова «Пьяница» — об отставном квартальном. *Плутов* — Греч Н. И. (1787—1867), журналист, издатель СО; до 1825 г. примыкал к либеральному лагерю. В дальнейшем сблизился с Булгариным и сделался одной из наиболее одиозных литературных фигур. *Флюгарин* — Булгарин Ф. В. (1790—1859). *Сабля в петле* — знак, заменяющий орден Анны четвертой степени. *Французский крест* — знак ордена Почетного легиона. *К⟨арази⟩н* В. Н. (1773—1842) — общественный деятель первой четверти XIX в., известный многочисленными, часто противоречивыми проектами, которые он подавал правительству, и доносами на передовых литераторов. Существует версия, согласно которой адресатом строфы был не Каразин, а Н. М. Карамзин (см. Поэты-сатирики, с. 678); она, однако, не имеет оснований. *Грузинцев* А. Н. (1779—1840) — драматург и поэт, примыкавший к «Беседе», компилировал свои драмы из различных источников. *Невзоров* М. И. (1762—1827) — масон, издатель ДЮ.

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

З. А. БУРИНСКИЙ

113. Отд. изд., М., 1802, подпись: Студент Захар Буринский. Эпиграф — из стихотворения Н. М. Карамзина «Поэзия». *В сей день, для нас священный.* Стихотворение написано к торжественному акту в связи с назначением М. Н. Муравьева попечителем Московского университета и учебного округа. *Остров туманов* — Англия. *Фингалов мрачный сын* — Оссиан (см. Словарь). *Житель Холмогор, Бард Севера* — М. В. Ломоносов. *Филиппов сын* — Александр Македонский. Имеется в виду апокрифический эпизод из его биографии: воспламененный героическими песнями Тимотея *(Тимофея)*, Александр отказался от любви к Таисе во имя подвигов. *Минин* — см. примеч. 18. *Рымникский* — Суворов А. В., князь Италийский, граф Рымникский (1729—1800). *Румянцев* — см. примеч. 18. *Северный Арей* — здесь: шведский король Карл XII (1682—1718), побежденный Петром I. *Батый, Аттила, Тамерлан* — вожди кочевых орд, прославившиеся жестокостью завоеватели. *Когда Владимира Херасков воспевал* и т. д. Имеются в виду поэмы М. М. Хераскова (см. примеч. 93) «Владимир Возрожденный» и «Россиада». *Так! ты с Державиным* и т. д. Имеются в виду оды Державина «Водопад», «Бог», «Фелица». *Оливы* — символ мира.

114. Печ. впервые по автографу ГПБ. Стихотворение представляет собой замаскированный призыв к императору облегчить участь русских крепостных и, видимо, связано с законом о вольных хлебопашцах и циркулировавшими в обществе слухами об освободительных планах Александра I. *Скорпион* — название созвездия.

115. «Москвитянин», 1853, № 3, с. 72. Печ. по Жихарев, с. 53. Текст сопровожден следующим пояснением С. П. Жихарева: «Ты, вероятно, слыхал о Саше Давыдовой, прелестной и преисполненной талантов девушке, которую все так любили; она скончалась в прошлом году, вскоре после бала в благородном собрании. Неутешные отец и мать поставили над прахом милой дочери прекрасный памятник, на котором после имени, фамилии и лет ее приказали, вместо эпитафии, вырезать незабудку. Буринский, по желанию брата покойницы, написал на этот случай экспромтом премиленькие стихи». Элегия Буринского пелась как романс.

Н. Ф. ГРАММАТИН

116. ВЕ, 1807, № 24, с. 280, под загл. «Элегия сельской девушки»; Досуги, с. 106. Печ. по СНГ, ч. 1, с. 101.

117. УЗ, 1807, кн. 5, с. 1. Печ. по Досуги, с. 3.

118. ВЕ, 1808, № 18, с. 124 (др. ред.); «Цветник», 1810, № 12, с. 363, под загл. «К Д⟨ашкову⟩ и к М⟨илонову⟩ (При наступлении

осени)»; Досуги, с. 63 (под тем же загл.). Печ. по СНГ, ч. 1, с. 73. Грамматин был связан дружескими и служебными отношениями с М. В. Милоновым и Д. В. Дашковым (1788—1839), литературным критиком, одним из активных карамзинистов, принимавшим впоследствии деятельное участие в основании «Арзамаса». Ф. Ф. Вигель вспоминал, что, когда И. И. Дмитриев был назначен министром юстиции, «он прибыл не один, а привел с собой немногочисленную, но избранную дружину. Его сопровождали три юноши: Милонов, Грамматин и Дашков» (Ф. Ф. Вигель, Записки, т. 1, М., 1929, с. 358).

119. ВЕ, 1810, № 6, с. 113; Досуги, с. 6. Печ. по СНГ, ч. 1, с. 17. Написано по мотивам баллады Бюргера «Ленора», известной русскому читателю по переделке Жуковского «Людмила» (1808).

120. Отд. изд., М., 1813, под загл. «На смерть Голенищева-Кутузова Смоленского, скончавшегося апреля 16 дня 1813 года в городе Бунцлау, что в Силезии», М., 1813, с посвящением П. И. Голенищеву-Кутузову и датой: «12 сентября 1813. Кострома». Печ. по СНГ, ч. 1, с. 62. *Красное* — село на Смоленщине, где 3—6 ноября 1812 г. русская армия выиграла сражение с французами. *Новый Мамай... тиран* — Наполеон.

121—131. «Украинский вестник», 1818, № 7, с. 103. Печ. по СНГ, ч. 1, с. 30. 3. *Матвеев* А. С. (1625—1682) — боярин, убитый во время стрелецкого бунта. Включение Матвеева в число лучших русских писателей не соответствует значительности его литературного творчества, о котором Н. И. Новиков в «Опыте исторического словаря» (СПб., 1776) сообщил только следующее: «Сочинил историческое известие о невинном своем заточении в Пустозерском остроге». Однако после того, как тот же Новиков издал «Историю о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева», Матвееву стали приписывать черты идеального гражданина (ср. думу Рылеева «Артемон Матвеев»). 4. Называя М. В. *Ломоносова Франклином* (см. примеч. 10) и *Пиндаром* (см. Словарь), Грамматин подчеркивает соединение талантов поэта и физика. О своем приоритете Ломоносов говорит в «Изъяснениях, надлежащих к слову о электрических воздушных явлениях», приложенных к тексту «Слова о явлениях...» (см.: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 3, М.—Л., 1952, с. 104). 5. *Княжнин* Я. Б. (1742—1791) — поэт, драматург, автор комедии «Хвастун» (1786). 6. *Херасков* (см. примеч. 93) в 1815 г. был подвергнут уничтожающим оценкам в статьях Мерзлякова и Строева. Текст Грамматина близок к известному стихотворению Дмитриева:

Пускай от зависти сердца зоилов ноют,
Хераскову они вреда не принесут —
«Владимир», «Иоанн» щитом его прикроют
И в храм бессмертья проведут.

8. *Озеров* В. А. (1769—1816) — драматург, снискавший в 1805—1809 гг. громкую славу. 9. *Дмитриев* И. И. (1760—1837) — поэт, баснописец; наряду с Карамзиным, оказал значительное влияние на развитие русской литературы. 10. *Востоков* А. Х. (1781—1864) — поэт,

филолог-славист. *Хотя вещанья дар и отнят у него.* Востоков заикался. 11. *Батюшков* К. Н. (1787—1855) — поэт, один из основоположников русской лирики XIX в.

Ф. Ф. ИВАНОВ

132. СиП, с. 60. *Батюшков* (см. примеч. 121—131) в 1805 г. при известии о вторжении Наполеона в Пруссию записался в ополчение. *Мысль не в жилище валк витает* — намек на увлечение Батюшкова «северными поэмами» — Оссианом и скандинавскими легендами, известными русскому читателю по французским переводам Малле.

133. РВ, 1808, № 9, с. 383. Сюжет заимствован из летописи. *Рогнеда* — дочь полоцкого князя Рогволода; согласно летописи, была невестой великого князя *Ярополка* Святославича. Киевский князь *Владимир* Святославич (см. примеч. 107), брат Ярополка, в 980 г. взял Полоцк и, убив Рогволода и Ярополка, насильно овладел Рогнедой. *Не клади змию на одр к себе.* Согласно летописи, Рогнеда пыталась убить спавшего Владимира.

134. «Амфион», 1815, № 6, с. 92. *Мерзляков* — см. примеч. 104. *Бард великий Албиона* — Мильтон Дж. (1608—1674), английский поэт, похоронен в Вестминстерском аббатстве. *Памфил предателя Колбертом именует.* Имеется в виду «Сатира к С⟨перанскому⟩ об истинном благородстве» Воейкова (см. № 102). *Златоуст* — см. примеч. 110. *Проперс, Саллюст* — Проперций, Саллюстий (см. Словарь). *Ермил* — здесь: Шаховской А. А. (1777—1846), драматург. *Журнал врак* — «Драматический вестник», издаваемый А. А. Шаховским и близкими к нему литераторами (1808). *О Озеров! и ты, в душе твоей* и т. д. В. А. Озеров (см. примеч. 121—131) после сравнительно неудачной постановки «Поликсены» (14 мая 1809 г.) прекратил литературную деятельность. Около 1812 г. он сошел с ума. В литературных кругах широко бытовала версия об ответственности за несчастья Озерова его «зоила» Шаховского. *Донской* Димитрий (см. примеч. 105) — герой одноименной трагедии Озерова. *Прадон* Н. (1632—1698) — французский драматург. Безуспешно соперничая с Расином, был мишенью для насмешек и эпиграмм. Имя его стало нарицательным для обозначения бездарного и завистливого драматурга.

135. ВЕ, 1813, ч. 68, с. 17. Стихотворение посвящено полководцу М. И. Кутузову (1745—1813). *Он при тебе взмахнул крылами.* По свидетельству многих участников Отечественной войны 1812 г., перед Бородинским сражением исполинский орел парил над головою Кутузова, что было воспринято войсками как предвестие победы. Об этом событии писали В. А. Жуковский («Певец во стане русских воинов») и Г. Р. Державин («На парение орла»). *Герой... Италийский* — А. В. Суворов.

136. «Амфион», 1815, № 4, с. 4. Образ *Катона* (см. Словарь), сурового республиканца, который покончил с собой, не желая признать единодержавия Цезаря, был весьма популярен в просветительской

литературе XVIII в. Особое внимание уделял ему Радищев. Предсмертный монолог Катона из одноименной трагедии английского писателя Аддисона упомянут в главе «Крестьцы» и в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии». Монолог этот повлиял и на стихотворение Иванова. *Сын Ромула* — римлянин. *Народы дикие, сыны чужих морей.* В 1815 г. этот стих перефразировал Пушкин в стихотворении «Лицинию»: «Народы дикие, сыны свирепой брани» (в дальнейшем Пушкин заменил «дикие» на «юные»).

«БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

А. С. ШИШКОВ

137. Собеседник, 1784, ч. 13, с. 42 (две строфы, без подписи); БГ, 1789, ч. 3, № 11, с. 297; ДП, 1804, № 10, с. 226, под загл. «Песня Старое и новое время, или Кашель, не дающий оканчивать слов». Печ. по ССШ, ч. 14, с. 133. Возможно, ответом на эти стихи является стихотворение А. Таушева «Песня»:

Говорят, что в стары годы
Был вернее человек,
Полюбил —и любит ввек,
Не менял любовь, как моды.
Что сказать на то в ответ?
  Нет, нет, нет!
Прежде люди были те же,
Есть и будут те ж вперед,
Всякой вещи свой черед,
Изменяли нас не реже.
Льзя ль ручаться за всегда?
  Никогда!
и т. д.

(«Иппокрена», 1801, ч. 10, с. 64; «Аглая», 1808, ч. 1, с. 83).

138—139. 1. ДП, 1804, № 12, с. 24, под загл. «Надпись к изваянному князя Италийского графа Суворова-Рымникского образу, воздвигнутому в Санкт-Петербурге на Царицыном лугу». 2. ДП, 1805, № 2, с. 90, под загл. «Надпись», без подписи. Печ. по ССШ, ч. 14, с. 165.

140. ДП, 1805, № 2, с. 85, под загл. «Надгробная надпись князю Италийскому графу Суворову-Рымникскому». Печ. по ССШ, ч. 14, с. 160. *Жизнеописатель его Фукс.* Имеется в виду книга Е. Фукса «История российско-австрийской кампании 1799 г.», СПб., 1825, ч. 1, с. 2.

141—142. 1. «Детская библиотека, изданная на немецком языке господином Кампе, а с оного переведенная г.***», ч. 1, СПб., 1783, с. 78. 2. Там же, ч. 2, СПб., 1785, с. 108. Вошло в ССШ, т. 1, с. 1, 143. Книга выдержала множество изданий и переиздавалась вплоть до середины XIX в. О ней, в частности, с большой похвалой отзывается С. Т. Аксаков в «Детских годах Багрова-внука».

143. Отд. изд., СПб., 1807. По словам анонимного рецензента РВ, многие места в поэме отличаются «качествами истинного поэта, чувствительностью и силою творческого воображения» (РВ, 1808, № 1, с. 97). Недостатком поэмы рецензент считал ее излишнюю метафоричность. Против этого мнения выступил А. С. Шишков, считая, что поэма в некоторых местах не уступает произведениям Ломоносова, и объясняя это ориентацией автора на «славянский язык» (см.: РВ, 1808, № 5, с. 113—138). Карамзинисты отметили появление поэмы Шихматова рядом эпиграмм, лучшая из них принадлежит Пушкину:

Пожарский, Минин, Гермоген,
Или Спасенная Россия.
Слог дурен, темен, напыщен —
И тяжки словеса пустые.

Характерной особенностью «Пожарского», как и других произведений Шихматова, является отсутствие глагольных рифм. Современники воспринимали это как признак высокого поэтического мастерства (см.: Жихарев, с. 358, 505). Батюшков в «Певце в Беседе любителей русского слова» с иронией пишет о «Шихматове безглагольном»; об отказе «богомольного Шихматова» от глагольных рифм упоминает Пушкин во второй строфе «Домика в Коломне». Эпиграф — из оды Державина «На взятие Измаила». *Пожарский, Минин* — см. примеч. 18. *Гермоген* (ок. 1530—1612) — патриарх Московский и всея Руси; после свержения Шуйского, когда поляки захватили Москву, выступил против них и был уморен голодом в тюрьме Чудова монастыря. *Питать себя, увы! собою* и т. д. Поляки, осажденные в Кремле, умирая от голода, дошли до людоедства. *Трубецкой* Д. Т. (ум. 1625) участвовал в сражениях с поляками в 1610—1612 гг., командуя отрядом казаков, которые в течение долгого времени не присоединялись к ополчению Минина — Пожарского. *Се муж, отвергшийся себя* — Авраамий Палицын (ум. 1627), келарь Троице-Сергиевского монастыря, уговоривший казаков в решительную минуту поддержать действия ополчения. *Филарет* (между 1554 и 1560—1633) — с 1619 г. патриарх всея Руси, отец первого царя из рода Романовых — *Михаила* Федоровича (1596—1645). *Страждет девять лет.* В 1609 г. Филарет был в Ростове захвачен в плен войсками «тушинского вора» (Лжедимитрия II).

144. Отд. изд., СПб., 1810. *Мальгерба превзошел* и т. д. — намек на стих А. П. Сумарокова: «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен» («Эпистола 2. О стихотворстве»). *Мальгерб* — Малерб Фр. (ок. 1555—1628), французский поэт-классицист, автор торжественных од. *Венец Горация присудим Кантемиру.* Кантемир сравнивается с Горацием как автор сатир. *Российский Омир* — Херасков (см. примеч. 93). *Княжнин* (см. примеч. 121—131) много заимствовал из произведений других писателей, особенно европейских, был автором нескольких комедий и комических опер, в которых выступал против галломании, злоупотребления крепостным правом («Хвастун», «Чудаки», «Несчастье от кареты» и пр.). *Изобразить великий росса*

дух. Имеется в виду трагедия Княжнина «Росслав» (1784), в которой прославляется патриотизм главного героя. *Писатель Душеньки* — И. Ф. Богданович (1743—1803), автор повести «Душенька, древняя повесть в вольных стихах» — подражания роману Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона», где в свою очередь использован сюжет романа Апулея «Метаморфозы». *Баснословие, сей вечный смертных стыд.* Религиозный Шихматов питал отвращение к образам античной мифологии (см. об этом: Жихарев, с. 352). *Прелестный, смелый вид* — намек на некоторые вольности эротического характера в поэме Богдановича. *Апраксин* Ф. М. (1661—1728) — генерал-адмирал русского флота. *Головнин* Ф. А. (1650—1706) — дипломат, генерал-адмирал флота, генерал-фельдмаршал. *Орлов* А. Г. — см. примеч. 102. *Чичагов* В. Я. (1726—1809) — адмирал, полярный мореплаватель, в 1789—1790 гг. одержал ряд побед над более сильным шведским флотом. *Тому хваление* и т. д. Имеется в виду А. С. Шишков, друг и постоянный покровитель Шихматова.

145. Отд. изд., СПб., 1810. В поэме наиболее последовательно проведены основные литературные принципы Шишкова: высокий, торжественный слог, отсутствие иностранных слов, обилие церковнославянизмов, ориентация на славянскую Библию и теорию трех штилей Ломоносова. Шишков встретил поэму восхищенно, читал и толковал ее своим посетителям (см.: Аксаков, т. 2, с. 273—276). С. Н. Глинка напечатал сдержанную, но сочувственную рецензию в РВ (1810, № 5, с. 85). Другие современные отзывы на поэму были отрицательны (см. об этом: «Цветник», 1812, № 12, с. 474; ЛА, с. 370; Батюшков, т. 3, с. 85, 123, а также № 264 наст. изд.). Из многочисленных эпиграмм на поэму Шихматова лучшая принадлежит Батюшкову:

Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр Длинный, Петр Большой, но только Петр Великий —
Ее не называй.

Последовательным защитником Шихматова был В. К. Кюхельбекер, который в статье «Разбор поэмы князя Шихматова „Петр Великий"» (СО, 1825, № 15, с. 257; № 16, с. 357) сопоставляет поэму Шихматова с произведениями Фирдоуси, Кальдерона, Шекспира, Байрона. С точки зрения Кюхельбекера, поэма Шихматова дает автору «право на одно из первых мест между нашими лириками и поэтами-живописцами». Четвертая песнь, по мнению Кюхельбекера, «лучшая во всей поэме, лучшее, что князь Шихматов когда-либо создал». *Псалмопевец* — царь Давид (см. Словарь). *Весы свои спускает рок* и т. д. Здесь использован мотив взвешивания Зевсом-Юпитером жребиев героев (Ахилла и Гектора, Энея и Турна) перед поединком («Илиада», п. 22; «Энеида», кн. 12). Сравнение поединка со схваткой птиц восходит к Гомеру (битва Патрокла с Сарпедоном, «Илиада», п. 16). *Я зрел тирана* и т. д. Использован текст богослужения о Полтавской победе (см.: Ф. Лопатинский, Служба благодарственная... о великой богом дарованной победе ... под Полтавою..., М., 1709, л. 37).

146. Отд., изд., СПб., 1810. Стихотворение интересно использованием высокого слога для изображения повседневной жизни. В соответствии с установками Шишкова Шихматов пытается распространить торжественный архаический стиль на литературные произведения всех жанров. О том, что современники ощущали программный характер этого стихотворения, свидетельствуют многочисленные их отзывы. Каченовский отметил неуместность высокого слога для «изъявления радостного чувства о прибытии любимого брата» (ВЕ, 1810, № 19, с. 222), с ним согласился Батюшков (см.: Батюшков, т. 3, с. 66). *На резвой двоице коней.* Это выражение Шихматова вызвало насмешки Каченовского в упомянутой выше рецензии: «Хорошо, что приезжий гость скакал не на тройке». Его использовал В. Л. Пушкин в поэме «Опасный сосед» (см. примеч. 266). *Хохлов* — слуга Шихматова. *И в дом Словесности российской* и т. д. Шихматов был избран членом Российской академии в 1809 г. *Камение честно* и т. д. В Эрмитажном собрании ГПБ хранится поднесенный Шихматовым Александру I рукописный экземпляр поэмы «Пожарский, Минин, Гермоген...». Очевидно, за эту поэму Шихматов и получил награду, о которой говорит в «Послании». Эта строка обыграна в речи Д. В. Дашкова на девятнадцатом заседании «Арзамаса»: «...Светлана ⟨В. А. Жуковский⟩ была с нами, как невеста с богатым приданым; на руке ее блистало *камение честно, не сронившееся с высот* в подачу подлости, но дарованное уважением достоинству» (Арзамас, с. 201).

147. Отд. изд., СПб., 1812. 23 марта 1812 г. в «Беседе» была прочитана похвальная рецензия, напечатанная в ЧвБ, 1813, ч. 8, с. 78 (см. об этом: Десницкий, с. 127). В то же время поэма Шихматова вызвала резко отрицательный отзыв Д. И. Хвостова: «Видно, что песнопевец знает свой язык, но и только. Сочинение все составлено из общих мест, без вымыслов, огня и живописи. Дикословия пропасть, но есть, хотя редко, прекрасные стихи...» (ЛА, с. 389). *Юнг Э.* (1683—1765) — английский писатель, автор «The Complaint, or Night Thoughts» (1742—1746). Это произведение сыграло большую роль в формировании преромантизма и положило начало особому «ночному» жанру. В «Беседе любителей русского слова» сочинениям Юнга придавали большое значение: «Мрачность их нравоучительна: она имеет свои красоты, приятности и пользу» (ЧвБ, 1811, ч. 1, с. 57). *Камни честные* — драгоценные камни. *И солнце некогда сорвет* и т. д. Использован образ Юнга: «Самое солнце по твоему, смерти, допущению сияет; и некогда ты и оное сорвешь с его круга» (Йонг, Плач, или Ночные мысли, ч. 1, СПб., 1799, с. 24). *Се ангела полет* и т. д. Использовано «Откровение Иоанна Богослова» (см. примеч. 5). *«Земля отходит в землю!»* — перифраз библейского текста, употреблявшийся при погребальной службе. Ср.: «И возвратится прах в землю, чем он был...» (Экклезиаст, гл. 12, ст. 7).

Д. И. ХВОСТОВ

148. НЕЖ, ч. 8, 1787, февраль, с. 72 (без примечаний); ПСХ, с. 13; Х 1, ч. 2, с. 32; Х 2, ч. 2, с. 37. Печ. по Х 3, т. 3, с. 14. *«Дидона»* — трагедия *Княжнина* (см. примеч. 121—131) по мотивам «Энеиды» Вергилия. *«Ифигения»* — трагедия Княжнина. *Вобан* С. ле Претр

(1633—1707) — французский военный инженер. *Гиберт* — Гибер И. (1743—1790), французский военный писатель. *Тасс* — Тассо Т. (1544—1595), итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим». *Прадона увенчал в Париже наглый крик* и т. д. Слабая трагедия Прадона (см. примеч. 134) «Федра и Ипполит», благодаря интриге, была встречена рукоплесканиями, тогда как «Федра» Расина на первых представлениях успеха не имела. *«Семира»* — трагедия А. П. Сумарокова. *Делиль* — см. примеч. 250. *В горниле разума и чувств не сотворяют* — строка из послания «О басне, сказке, Локмане, Эзопе и других славных баснописцах» (Х 3, т. 2, с. 153).

149—153. Притчи графа Хвостова были постоянным объектом насмешек в «Арзамасе». Их пародировал Вяземский (см.: П. А. Вяземский, Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), 1958, с. 85), который по поводу своих пародий писал А. И. Тургеневу 27 ноября 1816 г.: «Сирот в семействе бога нет. Следуя этому правилу, пригрел я басни, виноват, притчи Хвостова...» (ОА, с. 64). Позднее он вспоминал: «Эта книга была нашею настольною и потешною книгою в „Арзамасе“» (РА, 1866, № 3, с. 484). Жуковский посвятил притчам Хвостова вступительную речь при приеме в арзамасское братство (см.: Арзамас, с. 107—109).

1. Притчи, с. 3; Х 1, ч. 3, с. 12. Печ. по Х 3, т. 4, с. 9. Хвостов по поводу этой притчи писал: «Притча моя «Ворона и сыр» взята из Эзопа, Федра и Лафонтена. Я говорю «И *пасть* разинула». Пускай учитель натуральной истории скажет, что у вороны рот или клёв. Пасть только употребляется относительно зверей, но я разумею здесь в переносном смысле широкий рот и рисую неспособность к хорошему пению. Простолюдины говорят про человека: „Эк он пасть разинул“» (ПД, архив Хвостова).

2. Притчи, с. 10.

3. Притчи, с. 58; Басни, СПб., 1820, с. 68; Х 2, ч. 3, с. 83. Печ. по Х 3, т. 4, с. 84—85.

4. Притчи, с. 205. Басня вызвала особенно много насмешек и позднее не включалась в собрания сочинений и сборники.

5. Притчи, с. 160—163; ДП, 1805, № 12, с. 220; Х 1, ч. 3, с. 13; Басни, СПб., 1820, с. 7; Х 2, ч. 3, с. 11. Печ. по Х 3, т. 4, с. 11, 294. Переработка басни Лафонтена «Два голубя». В Притчах стихи 41—44 читались:

Случились там поставлены силки,
Куды несмысленны валятся голубки.
В них голубок попал, сидел в темнице,
Кой-как разгрыз зубами узелки
И волю получил.

Строки эти вызвали бурное веселье критики и не забывались в течение многих лет. Так, А. Е. Измайлов в рецензии на «Басни и сказки» Василия Тебекина писал: «Чего не делает всемогущая поэзия? Прикоснется ли магическим жезлом своим к Голубку, запутавшемуся в сети, — мгновенно вырастают у него *зубы* и он *разгрызает ими узелки,* к Ослу — новый длинноухий Тирезий переменяет пол и превращается в Ослицу» (СО, 1816, ч. 30, № 20, с. 19). *Кок* — Кук Дж. (1728—1779), английский мореплаватель.

154. ДП, 1804, ч. 1, с. 3; ЛТХ, с. 37; Х 1, ч. 1, с. 46, с подзаголовком: «Сочинена в 1803»; Х 2, ч. 1, с. 90. Печ. по Х 3, т. 1, кн. 1, с.167. *Кубра* — река, впадающая в Нерль (приток Волги) близ Переславля-Залесского Владимирской губ. На Кубре находилось имение Хвостова Слободка. *Сочинена 1806 года* — ошибка Хвостова. *Кондратович* К. А. (1703—1788) — поэт, переводчик, составитель словарей. *Мнение мое о знаменитом Александре Петровиче Сумарокове*. Имеется в виду послание «О пользе критики» (Х 3, т. 2, с. 41). *См. Дамский журнал* и т. д. Хвостов ссылается на хвалебную рецензию «Разные стихотворения графа Хвостова, сочиненные после полного собрания. Том пятый» (ДЖ, 1827, № 14, с. 82—94, подпись: Юс. . .ъ Кат. . .ъ). В этой рецензии творчество Хвостова противопоставлено «неистовству» современной романтической поэзии. Слов, приведенных Хвостовым, в рецензии нет.

155. ДП, 1805, ч. 4, окт., с. 5, под загл. «Г. . . Р. . . Д. . .», с датой: «1804 года»; ЛТХ, с. 108; Х 1, ч. 1, с. 96; Х 2, ч. 1, с. 138. Печ. по Х 3, т. 1, кн. 3, с. 187, где с датой: «1805 года». *По увольнении его.* Державин вышел в отставку в 1803 г. *«Ключ к его стихотворениям»* и т. д. В 1805 г. (а не в 1803-м, как указывает Хвостов) Державин написал комментарий к своим стихотворениям. По свидетельству П. А. Вяземского, на этой рукописи Хвостов, увидев упоминание о себе, пометил: «Гаврила Романович, кажется, ошибается, полагая, что названный им поэт не способен к лирическому роду» (Д е р ж а в и н, Соч., т. 2, СПб., 1869, с. 307). В изданном Остолоповым «Ключе к сочинениям Державина» (СО, 1821, ч. 70, №№ 24—26; Отд. изд., М., 1822) слов, относящихся к Хвостову, нет. Однако в «Объяснениях на сочинения Державина», продиктованных им самим в 1809—1810 гг., в примечании к стихотворению «Волхов Кубре» о Хвостове говорится: «Автор. . . давал совет гр. Хвостову, чтобы он писал иногда и в нижайшем роде стихотворства, т. е. в пастушьем, а не надувался за Пиндаром. . . ибо лучше писать маленькое какое-нибудь сочинение, но приятное и тем прославиться, нежели высокопарное и быть неуважаему» (Д е р ж а в и н, Соч., т. 3, СПб., 1869, с. 570). О том, что Хвостов имеет в виду именно этот комментарий Державина, свидетельствует его запись: «. . .что касается до графа Дмитрия Ивановича, то ему ключ сей по дружбе митрополита киевского был открыт еще в 1803 г.; он сделал на оный возражение весьма легкое. . . а теперь присовокупляет через 30 лет, 18 по смерти Державина, что он не постигает, почему оду его он называет высокопарною: она очень проста. . .» (Д е р ж а в и н, Соч., т. 2, СПб., 1869, с. 308).

156. Печ. впервые по автографу ПД. Стихотворение указывает на дружеские в начале века отношения автора с В. Л. Пушкиным, позднее одним из самых ярых противников «Беседы», и устанавливает ранее неизвестный факт пребывания В. Л. Пушкина в Костроме. *На Темзе* и т. д. — намек на путешествие В. Л. Пушкина за границу в 1803—1804 гг. Эта поездка оживленно обсуждалась в литературных кругах. И. И. Дмитриев написал о ней шуточное стихотворение «Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия». *«Меропа»* — трагедия Вольтера. *Мерсие* — Мерсье Л.-С. (1740—1814), французский писатель, последователь Руссо. *Дю-*

сис Ж.-Ф. (1733—1816) — французский драматург и поэт, переделывал Шекспира для французской сцены. *Томсон* — см. примеч. 21. *Грозишь на лире супостатам, сулишь россиянам венок* — намек на какие-то неизвестные нам стихи В. Л. Пушкина, видимо по поводу войны 1805—1807 гг. *Творца безделок* — намек на сборник стихотворений И. И. Дмитриева «И мои безделки» (1795), озаглавленный так в подражание книге Н. М. Карамзина «Мои безделки» (1794). В. Л. Пушкин хвалит Карамзина и Дмитриева, в частности, в стихотворении «К любимцам муз» (№ 263). *По-русски видишь Буало* — намек на перевод Хвостовым трактата Буало «Поэтическое искусство». В середине 1805 г. Хвостов отправил рукопись своего перевода в Российскую академию (ПД, архив Хвостова). Вероятно, в это же время он послал текст и В. Л. Пушкину.

157. ЧвБ, кн. 6, 1812, с. 55; ПСХ, с. 80; Х 1, ч. 2, с. 133; Х 2, ч. 2, с. 134. Печ. по Х 3, т. 3, с. 35, 159. По всей вероятности, в послании упоминаются реальные лица, в частности *Обжоркин* — И. А. Крылов. *Давненько Буало твердил* и т. д. Имеются в виду строки из «Науки о стихотворстве» Буало в переводе Хвостова:

Страшитеся в жару, опасном и безмерном,
Летя на поприще, усеянное терном,
В тяжелых подвигах, поэты, век провесть...

Люблю писать стихи и отдавать в печать. Эта строка Хвостова пользовалась широкой известностью и неоднократно обыгрывалась в письмах и эпиграммах современников. Так, Пушкин в письме Дельвигу (1823) говорит: «Я полу-Хвостов: люблю писать стихи (но не переписывать) и не отдавать в печать (а видеть их в печати)». *Глазунов* И. П. (1762—1831) — издатель и книготорговец. *Не первые пойдут обертывать корицу.* Родственник Хвостова, остроумный эпиграммист А. С. Хвостов, написал на одной из од графа: «Когда сии стихи появятся в столицу, То первые пойдут обертывать корицу» (РС, 1892, № 7, с. 96). *Сияет на бегу, как новая планета.* Хвостов имеет в виду оду В. П. *Петрова* (см. примеч. 109). «На всевожделенное рождение великого князя Александра Павловича 1777 года декабря», которая начинается строкой: «Возникла нова в мир планета». *«Федра»* — трагедия Ж. Расина. *Принудить у Невы крушиться Гермиону.* Хвостов говорит о своем переводе трагедии Расина «Андромаха». *Сент-Мор* — Сен-Мор Э.-Д. (1772—1854), автор книги «Anthologie russe», Paris, 1823, в которой на с. 71—76 напечатан перевод послания Хвостова под названием: «Epitre de m. le compte Kwastoff à s. e. m. Dmitrieff». Последний стих во французском переводе передан следующим образом: «Если он и не был великим поэтом, то был, по крайней мере, честным человеком».

А. П. БУНИНА

158. НМ, ч. 1, с. 143, с подзаголовком: «Перевод». Печ. по ССАБ, ч. 1, с. 139.

159. ДВ, 1808, ч. 1, с. 163; НМ, ч. 1, с. 30. В обоих изданиях без посвящения. Печ. по ССАБ, ч. 3, с. 43. О популярности стихотворения свидетельствует известный эпизод из жизни лицеистов первого выпу-

ска, когда Мясоедов начал стихи на заданную тему («восход солнца») со строки: *«Блеснул на западе румяный царь природы»* (см.: К. Я. Грот, Пушкинский лицей, СПб., 1911, с. 301). С. П. Жихарев отметил в дневнике: «Из всего стихотворения замечательны только два первые стиха» (Жихарев, с. 453). *Званка* — имение Державина на левом берегу Волхова, где с 1795 г. и до конца жизни Державин проводил лето. *Рассыпав мак* — см. примеч. 19. *Коснулся и воспел причину мира* и т. д. Имеется в виду ода Державина «Бог». *Злобное коварство* — намек на оду Державина «На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского». *Неверие безбожника* — намек на оды Державина «Успокоенное неверие» и «Бессмертие души». *Он пел великую.* Имеются в виду оды Державина, посвященные Екатерине II: «Фелица», «Благодарность Фелице», «Видение мурзы», «Изображение Фелицы» и др. *И сельские послышались напевы.* Речь идет об анакреонтических стихотворениях Державина: «Хариты», «Русские девушки», «На пастуший балет» и др. *Стройна, приятна, величава... явилася жена* — вероятно, Флора (см. Словарь). *Сокрылося виденье.* В ДВ к этой строчке имеется примечание: «Сочинительница сих стихов не имела еще тогда чести знать почтенного творца Фелицы».

160. ЧвБ, кн. 4, 1811, с. 89, подпись: Неизвестный; НМ, ч. 2, в обеих публикациях без посвящения. Печ. по ССАБ, ч. 2, с. 189. Сюжет заимствован из «Метаморфоз» Овидия. *Фаэтон* (см. Словарь), усомнившись в своем божественном происхождении, отправился к своему отцу Фебу, который, радостно приняв юношу, поклялся исполнить любое его желание. Фаэтон потребовал дать ему на один день управление солнечной колесницей. Феб пытался отговорить сына, но вынужден был исполнить клятву. Публикуемая третья песнь рассказывает о гибели Фаэтона. 11 ноября 1811 г. И. А. Крылов прочел поэму в публичном заседании «Беседы» в сокращенном виде, затем она была опубликована в ЧвБ. Об отношениях Буниной и «Беседы» в связи с публикацией поэмы рассказывает Д. И. Хвостов в «Записках о словесности» (см.: ЛА, с. 383). Печатая «Фаэтона» в НМ, Бунина резко критиковала публикацию ЧвБ за сокращения и поправки. Там же она говорит, что история Фаэтона может быть пересказана низким, шутливым слогом, и тем самым определяет жанр своего произведения как ирои-комическую поэму. *Мордвинов* Н. С. — см. примеч. 12. *Гарнерен* Ж.-Б. (1766—1849) — французский воздухоплаватель. *Монгольфьер* И.-М. (1740—1810) — изобретатель воздушного шара. *Прут, Великому грозила где премена.* Имеется в виду неудачный Прутский поход Петра I против турок (1711). *Надменный из царей* — Александр Македонский. *Виновная Ливийская столица* — Карфаген, долгие годы воевавший с римлянами и разрушенный ими в 146 г.

161. НМ, ч. 2, с. 140. Печ. по ССАБ, ч. 3, с. 99. Чтение Крыловым поэмы «Падение Фаэтона» состоялось 11 ноября 1811 г. (см.: Десницкий, с. 123).

162. НМ, ч. 2, с. 8. Печ. по ССАБ, ч. 1, с. 87.

163. НМ, ч. 2, с. 30. Вошло в ССАБ, ч. 1, с. 93. Об этом стихотворении восхищенно писал В. К. Кюхельбекер: «В «Прогулке» г-жи

Буниной стихи то мрачные, то ужасные, то трогательные, живописные и задумчивые переменяются в сем прелестном произведении, стесняют душу, исполняют ее жалости и содрогания и противу воли извлекают слезы. Что же касается слога, он не есть слог новейшей поэзии, очищенной трудами Дмитриева, Жуковского, Батюшкова: г-жа Бунина шла своим путем и образовала свой талант, не пользуясь творениями других талантов» («Невский зритель», 1820, № 3, с. 79).

164. Печ. впервые по автографу ПД, в письме Буниной к А. С. Шишкову от 29 февраля 1813 г. по поводу назначения ей пенсиона, где она возражает против формулировки: «Девице Буниной, которая при бедном состоянии своем сама себя воспитала и прилежностью к учению и трудам приобрела отличные в словесности и стихотворстве таланты, которым уже многие опыты оказала» (А. С. Шишков, Записки, т. 1, с. 176). Бунина пишет: «. . .позвольте мне заметить, что речь: «По бедному состоянию» не совсем справедлива. Родители мои имели изрядный дворянский достаток. Одно сиротство мое и несчастие причиною тому, что воспитание мое осталось в небрежении. . .». Далее идет текст публикуемого стихотворения. Вероятно, о нем упоминает Шишков в письме к жене от 12 марта 1813 г.: «Поблагодари А. П. Бунину за ее ко мне письмо и стихи» (Шишков, Указ. соч., с. 324). Стихотворение пользовалось популярностью и довольно широко распространялось в списках (ГПБ, архив Державина; ЛОИИ).

165. ССАБ, ч. 3, с. 172.

166. ССАБ, ч. 1, с. 145.

П. И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

167. «Стихотворения Грея, с английского языка переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым», М., 1803, с. 109. Перевод элегии Т. Грея (1716—1771) «Elegy written in a Country Churchyard», которая считалась одним из самых значительных произведений сентиментализма. С. П. Жихарев рассказывает, что А. С. Шишков хвалил перевод Кутузова и находил его хорошим и близким к подлиннику. «Я заметил, что Павел Иванович перевел эту элегию после Жуковского, которого перевод несравненно превосходнее» (Жихарев, с. 439). *Гампден* — Гемпден Дж. (1594—1643), один из ведущих деятелей английской революции XVII в. *Мильтон* Дж. (1608—1674) — английский поэт и публицист. *Кромвель* О. (1599—1658) — руководитель английской революции XVII в., глава государства в 1653—1658 гг.

168. СПГК, ч. 3, с. 51. *Я воспел тишину отрадную* и т. д. Имеется в виду стихотворение «Письмо моему другу», напечатанное в Собеседнике (1783, ч. 5, с. 138), активным сотрудником которого был И. Ф. *Богданович* (см. примеч. 144). Публикация стихотворения предваряется рекомендательным письмом, подписанным NN и помеченным «Симбирск июнь 10 числа». Автором этого письма, очевидно, был Богданович. *Гром Очаковских я воспел побед* и т. д. Имеется в виду «Ода ее императорскому величеству... на взятие города Очакова»,

СПб., 1788. *Павла пел* и т. д. 7 ноября 1796 г. Голенищев-Кутузов поднес Павлу I оду «На всерадостный день восшествия на всероссийский престол всемилостивейшего государя Павла Петровича...», был произведен в полковники и награжден золотою табакеркою. *Иль начальствовал бы в училище.* Кутузов после упразднения кураторства добивался должности попечителя Московского университета, которую получил в 1810 г. при поддержке масонов через министра просвещения графа А. К. Разумовского.

169. СПГК, ч. 3, с. 60—61.

170. СПГК, ч. 3, с. 142; ДП, 1804, № 4, с. 21, с подзаголовком: «Подражание французскому».

Я. А. ГАЛЕНКОВСКИЙ

171. СВ, 1805, ч. 6, с. 295, в тексте литературно-критической статьи за подписью И. Г. (Галенковский подписывался «Иаков»), представляет собой переделку «Сатиры 1» В. В. Капниста. Стихотворение знаменательно одновременной критикой как поэтов карамзинского, так и шишковистского направления, что типично для общей позиции Галенковского. *Кто сколько ни сердись, а я начну браниться* — цитата из сатиры Капниста. *Иной ученым быть решился непременно.* Имеется в виду Н. М. Карамзин. *Дамон* — И. И. Дмитриев. *Славен* — А. С. Шишков. *Свой мелкомысленный славено-русский бред За образец ума и вкуса выдает* — цитата из сатиры Капниста, где имелся в виду, вероятно, Петров (см. примеч. 109); здесь подразумевается С. А. Ширинский-Шихматов. *Тот новой мудрости свой разум посвятил.* Имеется в виду поэт А. Ф. Лабзин (1766—1825). *Другой, меж шкапом книг зарывшись день и ночь.* Галенковский, видимо, имеет в виду себя самого как автора «Корифея». *А третий* — Глинка Г. Н. (1774—1818), ставший профессором в Дерптском университете. *Клузий* — П. И. Голенищев-Кутузов. *Лакриманс* — П. И. Шаликов. *Салтон* — Салтыков Г. С. (1777—1814), поэт, сотрудник ДП. *Услад* — Херасков (см. примеч. 93).

А. П. БРЕЖИНСКИЙ

172. РС, 1897, № 11, с. 306. В наст. изд. исправлены по спискам явные неточности публикации РС. Стихотворение широко распространялось в анонимных списках без последней строфы (ГПБ, ПД). В архиве Хвостова (ПД) вместе со стихами Брежинского хранится анонимный ответ на них:

Великая во всем, бессмертная жена!
Открой свои глаза, пообратися слухом.
Се между ангелов какой-то сатана,
Наполнен будучи погубоносным духом,
Дерзнул свое перо презлобно очинить,
Желавши двух витий преподло очернить!

Двух в разногласии каком-то обличая,
Всесветну похвалу эклогою зовет,
По имени одном лишь холмогорца зная,

Его единого примером ставит в свет.
Знать, видно, голова сатирика забыла,
Екатерина что шутить так не любила.

Для всякой вещи есть на свете сем пора.
Пусть Ломоносов был осьмое чудо в свете,
Но мудрыя в женах держался кто пера,
Тот в нынешнем веку отличен, — на примете.
Так написавшим ей бессмертную хвалу
Не может послужить здесь критика в хулу.

Стихи написаны по поводу выхода книг: «Историческое похвальное слово Екатерине Второй, сочиненное Николаем Карамзиным», М., 1802; «Похвала Екатерине великой. Сочинил сенатор Захаров», СПб., 1802; ⟨М. В. Храповицкий⟩. «Слово похвальное Екатерине Второй», Вышний Волочек. СПб., 1802. *Захаров* И. С. (1754—1816) — писатель и переводчик, с 1786 г. член Российской академии, председатель четвертого разряда «Беседы любителей русского слова». *Храповицкий* М. В. (1758—1819) — писатель и переводчик, брат статс-секретаря Екатерины II А. В. Храповицкого, большую часть жизни прожил в деревенском уединении в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. *Томас* — Тома А. (1732—1785), французский писатель, автор «Похвальных речей». *Слово «милая» вклеил.* Эпитет «милая» часто повторяется в «Историческом похвальном слове. . .». *Славянщиной нашпиговал.* Имеется в виду тяжеловесный «славянский» слог книги Захарова. *Надувшись Шведскою войною.* О Шведской войне (1788—1790) речь идет в брошюре Храповицкого (с. 19—21).

«ЧТЕНИЯ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

А. А. ВОЛКОВА

173. ЧвБ, кн. 1, 1811, с. 82. *Не так, как гордые масоны* и т. д. Женщины в масонские ложи не принимались.

Т. БЕЛЯЕВ

174. ЧвБ, кн. 13, 1813, с. 97, в разделе: «Сочинения, не читанные в „Беседе“». Авторство устанавливается сходством тематики стихотворения с книгой: «Куз-Курпяч, башкирская повесть, написанная на башкирском языке одним Курайчем и переведенная на российский в долинах гор Рифейских 1809 г.», Казань, 1812. В конце книги помещено «Прибавление», подписанное: «Тимофей Беляев» «Куз-Курпяч» был послан Н. П. Тимашевым Г. Р. Державину с сопроводительным письмом от 11 декабря 1812 г., в котором говорится: «Нахожу только утеху, слушая сказки о башкирских батырях, из коих одну велел написать собственному моему грамотею, а он, написав, поднес ее мне» (Державин, Соч., т. 6, СПб., 1876, с. 285). В ЧвБ кроме авторских имеются следующие подстрочные примечания. К заголовку — «Прислано с Урала». *Туда ж пустились отлетать* — «Башкирцы думают, что хищные звери и птицы чуют, где есть трупы, отчего и пословица

говорится: зверь на кровь бежит». *Туй* — «Туй у башкирцев называется свадебный пир». *Князь Михаил* — М. И. Кутузов. *Новый фараон* — Наполеон Бонапарт. *Тимпанницы* — музы. *Певец прославленной царицы* — Г. Р. Державин.

П. А. КОРСАКОВ

175. ЧвБ, ч. 14, 1815, с. 75.

176. Печ. впервые по автографу ГПБ. Обращено, вероятно, к Г. Р. Державину, после выхода его в отставку.

М. В. МИЛОНОВ И ПОЭТЫ ЕГО КРУЖКА

М. В. МИЛОНОВ

177. «Цветник», 1810, № 10, с. 63. Печ. по Сатиры, с. 10. В форме подражания римскому сатирику *Персию* (34—62) Милонов создал оригинальное политическое стихотворение — сатиры под таким названием у Персия нет. Этот прием в дальнейшем использовал К. Ф. Рылеев. Стихотворение Милонова истолковывалось современниками как выпад против Аракчеева. Известно также указание П. А. Вяземского, что под Рубеллием Милонов подразумевал О. П. Козодавлева (1754—1819), писателя и государственного деятеля, министра внутренних дел (1810—1819), редактора газеты «Северная почта» (см.: Поэты-сатирики, с. 715). *Альбий, Арзелай.* В журнальной публикации эти имена сопровождены примечаниями: «Альбий — мздоимец, кровосмеситель и убийца», «Арзелай — страшный невежда».

178. СПВ, 1812, № 1, с. 51. Печ. по Сатиры, с. 22. Сатира Милонова направлена против целого ряда литераторов как из лагеря шишковистов, так и примыкавших к группе карамзинистов или не входивших ни в ту, ни в другую группировку. Расшифровка ряда имен сделана Г. В. Ермаковой-Битнер (Поэты-сатирики, с. 714—716, см. также: Д. И. Хвостов, Записки о словесности, ЛА, с. 378). Однако иногда Милонов, стремясь к обобщению, сознательно затруднял истолкование того или иного сатирического портрета как изображения конкретного лица и давал одному прототипу несколько пародийных имен. Сатира вызвала ряд эпиграмм в «Улье» (см. примеч. 183). *Рубеллий* — возможно, А. А. Аракчеев или О. П. Козодавлев (см. примеч. 177). *Балдус* — по утверждению Н. И. Греча, Г. Р. Державин (см.: Поэты-сатирики, с. 715). Этому, однако, противоречат строки, упоминающие Державина в конце стихотворения. *Вралев* — возможно, А. С. Шишков, многословно хваливший, в частности, творения С. А. Ширинского-Шихматова. *С Горацием сравнить,* т. е. провозгласить Шишкова законодателем словесности. Имеется в виду Гораций как автор нормативного трактата «Послания к Писонам». Ниже *Шутов* и *Друз* — также, вероятно, Шишков. *Бавий* — В. Г. Анастасевич. *Клит* — Ланской С. С., граф (1787—1862), сенатор, член государственного совета, камергер. *Рай* — здесь раек. *Лукулл* — Нарышкин.

А. А., богач и хлебосол, главный директор императорских театров. *Мидас* — Захаров И. С. (ум. 1816), член «Беседы» и Российской академии, автор «Похвалы женам». *Глазунов* — см. примеч. 157. *Мевий* — Взметнев П. А., автор сатиры «Польза медиков», печатался в «Улье» Анастасевича. *Фабий* — Грузинцев А. Н. (р. 1779), автор трагедий «Электра и Орест», «Эдип-царь». *Радковский* — Сладковский Р., автор поэмы «Петр Великий». *Российский Пиндар* — М. В. Ломоносов. *Бессмыслов* — С. А. Ширинский-Шихматов, сравнивается с Ломоносовым как автор поэмы «Петр Великий». Он же — *Вадий. Плаксевич* — Станевич (см. примеч. 112), автор «Размышления при гробе благодетеля», подражания Юнгу. *Злослов* — Дашков (см. примеч. 118). *Фирс* — Львов П. Ю. (1770—1825), автор книги «Храм славы российских ироев от времен Гостомысла до царствования Романовых» (1803). *Томас* — см. примеч. 172. *Их раскол* — здесь: их секта, кружок, т. е. «Беседа». *Брани их наповал* и т. д. Возможно, имеется в виду выступление А. С. Шишкова против Д. В. Дашкова и В. Л. Пушкина в «Рассуждении о красноречии священного писания» (1811), в котором В. Л. Пушкин обвинялся в безнравственности и безбожии. *Педант* — возможно, Каченовский (см. примеч. 112).

179. ОЗ, 1854, № 11, отд. 2, с. 45. Текст приводится в воспоминаниях С. П. Жихарева, который характеризует его как «шуточный экспромт Н. Ф. Грамматину по случаю попытки его отдать на театр какую-то комедию, переведенную из Гольдони» (Жихарев, с. 626). *Ильин Н. И.* (1777—1823) — драматург. *Федоров Б. М.* (1794—1875) — литератор.

180. ВЕ, 1811, № 9, с. 12. Печ. по Сатиры, с. 74.

181. ВЕ, 1811, № 19, с. 176, с примеч. «Подражание Томсону». Печ. по Сатиры, с. 60. Стихотворение характерно как наиболее полное сочетание основных элементов предромантической элегии. От этой традиции отправлялся, сознательно ее переосмысляя, Пушкин в элегии «Когда за городом, задумчив, я брожу...». *Полдневных шум работ умолкнет* — ср. у Пушкина: «На нивах шум работ умолк» («Евгений Онегин», гл. IV). *Маковый венок* — символ сна.

182. ВЕ, 1811, № 19, с. 180. Печ. по Сатиры, с. 32. Перевод второго эпода Горация «Beatus ille qui procul negotis». Стихотворение это, по традиции, идущей от Тредиаковского, неоднократно привлекало русских поэтов XVIII — начала XIX в. поэтизацией крестьянского труда. Как и его предшественники, Милонов не перевел четырех последних стихов, говорящих о желании ростовщика Альфия сделаться землевладельцем и придававших всему стихотворению ироническое звучание. В переводе монолог Альфия превращается в авторскую речь, благодаря чему ирония снимается. Милонов усугубил те стороны эпода, которые давали возможность истолковать его как прославление крестьянской жизни, убрал упоминание о собравшихся к ужину рабах и ввел отсутствующее у Горация указание на личный труд героя («В отческих полях работает один»). Вместе с тем он несколько сгустил античный колорит, развив часть стихотворения, посвященную

жертвоприношению, давая понять, что блаженство — спутник жизни не русского крестьянина, а того, кто «жизнь свою в свободе провождает», — крестьянина, освобожденного от уродств феодального порядка, живущего «как первобытныя вселенны гражданин».

183. Пантеон, 1815, кн. 12, с. 239, под загл. «Сатира». Печ. по Сатиры, с. 46. Подражание 9-й сатире Буало «L'auteur a son esprit». Сатира распространялась в рукописи и первоначально имела в качестве эпиграфа слегка измененную строку из третьей песни «Поэтического искусства» Буало: «Soyez plutôt maçon, si c'est votre métier» («Будьте лучше каменщиком, если это ваше ремесло») — см. письмо К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому от 10 мая 1812 г. (Батюшков, т. 3, с. 185). *Балдус* — вероятно, Д. И. Хвостов. *Бессмыслов* — С. А. Ширинский-Шихматов. *Сумбека* — героиня трагедии А. Н. Грузинцева «Покоренная Казань, или Милосердие Иоанна Васильевича» (1811) и пьесы С. Н. Глинки «Сумбека, или Падение царства Казанского» (1807). *Радамист* — «Радамист и Зенобия», трагедия Кребильона в переводе С. И. Висковатова (1810). *Электра* — «Электра и Орест», трагедия А. Н. Грузинцева (1809). *Атрей* — «Атрей и Фисст», трагедия Кребильона, перевод С. П. Жихарева (1811). *Слепец афинский жив — а Царь Эдип сокрылся* — противопоставление успеха трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (1804) неудаче пьесы Грузинцева «Эдип-царь» (1811). *Глазунов* — см. примеч. 157. *«Храм славы»* — книга П. Ю. Львова «Храм славы российских Ироев от Гостомысла до царствования Романовых». *Биона с Мосхом вновь несчастный перевод.* Имеются в виду переводы идиллий древнегреческих поэтов Биона и Мосха П. И. Голенищевым-Кутузовым (1804) и А. Ф. Мерзляковым (1807). *«Федра» Бавия* — возможно, перевод «Федры» Расина А. М. Пушкиным (1809). *Вздоркин* — В. Л. Пушкин. В упомянутом выше письме К. Н. Батюшков писал: «Теперь я буду просить Северина и Вяземского, чтобы они уведомили милого Василия Львовича о новой сатире Милонова, сатире едкой и, к несчастью, весьма остроумной и по содержанию и стихам. Предмет оной — Пушкин один...» *С костра возопиет к дружине так своей* — перифраз стиха В. Л. Пушкина: «К дружине вопиет наш Балдус велегласно...» (см. примеч. 264). *Я сроду не писал ни абие, ни аще* — пародия на стихи В. Л. Пушкина из послания «К Д. В. Дашкову» (см. примеч. 265). *«О радость! о восторг! и я, и я пиит!»* — заключительный стих из послания В. Л. Пушкина «Любимцам муз» (№ 263). *Рифмач неколебим* и т. д. В. Г. Анастасевич в «Улье» напечатал после выхода сатиры «К Луказию» ряд эпиграмм против Милонова. Вот одна из них:

МИЛОНУ

Милон! Давно ли ты поддел сатира маску?
Не верю и сей слух хочу считать за сказку.
Успеешь харей нас рогатого смешить,
Когда не с девами, а с бабой будешь жить.

(«Улей», 1812, № 13, стр. 69)

Сатир упоминается здесь как поэтический символ сатиры, девы — музы.

184. СПВ, 1812, № 6, с. 337 (др. ред.), с подзаголовком: «По случаю высочайшего манифеста о повсеместном вооружении против французов». Печ. по Сатиры, с. 65, где последовательно сняты все стихи, прославляющие монарха и его супругу. *Бог побед* — Наполеон.

185. СО, 1813, ч. 6, с. 209. Печ. по Сатиры, с. 117. Стихотворение, посвященное смерти М. И. Голенищева-*Кутузова-Смоленского* (1745—1813), представляет собой синтез приемов гражданской и элегической поэзии. *Здесь пишет не поэт — здесь плачет гражданин.* Афоризм определил известное изречение Рылеева, сознательно опиравшегося на традицию Милонова: «Я не поэт, а гражданин», и через него повлиял на формулу Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан».

186. СО, 1815, ч. 20, с. 65, с подзаголовком: «Романс, подчерпнутый из происшествия последней кампании» и с посвящением А. А. С—ой. Печ. по Сатиры, с. 130. Тема «русского пленника» пользовалась популярностью в романтической поэзии 1812—1815 гг. Сюжет Милонова по основным мотивам совпадает с «Кавказским пленником» Пушкина.

187. Сатиры, с. 127. Эпиграф — из «Гамлета» Шекспира. *Кому, песнопевец, кому ты передал.* Легенда о «передаче лиры», связанная со стилизацией реальной биографии под традицию бардов, создавалась не без участия самого Державина (ср.: «Тебе в наследие, Жуковский, Я ветху лиру отдаю...»). *Фелица* — Екатерина II. *Севера витязь* — А. В. Суворов. *«С величьем народа родится поэт»* — поэтическая декларация Милонова, содержащая намек на то, что век оды сменился эпохой гражданской поэзии.

188. «Благонамеренный», 1818, № 8, с. 129. Печ. по Сатиры, с. 157.

189. Поэты-сатирики, с. 503. Печ. по автографу ПД, с подписью: «М. Милонов, обнимающий с почтением Жуковского». *Начал чепуху ты врать уж не путем.* Вероятно, имеются в виду стихотворные сборники Жуковского «Für Wenige», издававшиеся очень маленькими тиражами для придворного круга и в первую очередь для ученицы Жуковского принцессы Шарлотты (будущей императрицы Александры Федоровны). *С галиматьею ты, а я с парнасским жалом.* «Галиматья» Жуковского — дружеская шутка, забава как основной принцип сатиры — противопоставляется здесь высокой обличительной сатире. *Блудов* Д. Н. (1785—1864) — член «Арзамаса». Аристократ и пурист, Блудов пытался занять в кружке Жуковского позицию законодателя вкусов.

190. «Карамзин и поэты его времени», «Б-ка поэта» (М. с.), 1936, с. 306. Список — ПД. Адресат — братья Княжевичи, А. М. (1792—1870) и Д. М. (1788—1844), которые в 1814—1815 гг. служили в Вене. *Северная Пальмира* — Петербург. *Брат Владислав* — Княжевич В. М. (1798—1873). *Как здесь, в обширном Петрограде* и т. д. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Дождь, сырость так с неба и падает,

а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать». *Спокойно едет на конгресс.* 27 августа 1818 г. Александр I выехал из Царского Села на конгресс Священного союза в Аахен. *Жуковский пишет чепуху* — см. примеч. 189. *Измайлов* А. Е. (1779—1831) — баснописец, издатель журналов «Благонамеренный» и «Цветник».

191. Сатиры, с. 19. Перевод элегии французского поэта Мильвуа «La Chute des feuilles». Отдельные стихи из этого перевода в дальнейшем были использованы Пушкиным для предсмертной элегии Ленского.

192. Сатиры, с. 137.

193. Сатиры, с. 95. *Фридрих II* (1712—1786) — прусский король (1740—1786), был воспитан под сильным влиянием французской просветительской мысли, дружил с Вольтером, написал на французском языке ряд сочинений просветительского характера, был веротерпим. В то же время Фридрих II вел кровопролитные войны, отягощая население непосильными налогами, отличался властным нравом.

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»

Печ. по писарской копии ПД. №№ 194(1) и 203 опубликованы в Поэты-сатирики, с. 519, 514.

М. В. МИЛОНОВ

194—196. *Оленин* А. Н. (1763—1843) — художник, археолог и писатель, директор Публичной библиотеки, президент Академии художеств. Эпиграмма намекает на его честолюбие и малый рост. *Ниман* — московский портной начала XIX в.

197. *Шесть* — цена французского коньяка в начале XIX в.: шесть рублей за бутылку. *Четыре* — стоимость бутылки водки.

198. *Патрикий* — Политковский П. С., переводчик.

200. *Никольский* П. А. (1794—1816) — поэт и критик, в 1814—1815 гг. издавал «Пантеон русской поэзии», в котором печатался Милонов.

203. *Политковский Н. Р.* (1763—1830) — поэт и переводчик. *Не шапки иль бехмета* — перифраз заключительной строки оды Державина «К Фелице».

205. *Политковский Ф. С.* — возможно, брат П. С. Политковского.

206. *Платон* — Левшин П. Е. (1737—1812), архиепископ московский с 1775 г., ректор Славяно-греко-латинской академии, автор сочинений религиозного содержания, работ по истории церкви; славился красноречием.

210. *Первое число* — день выдачи жалования чиновникам. Финансовые затруднения — результат системы континентальной блокады — вызывали частые задержки в выплате содержания служащим.

КОЛЛЕКТИВНОЕ

212—214. Первое стихотворение написано, по-видимому, Милоновым и П. С. Политковским, второе — П. С. Политковским, третье — Н. Р. Политковским. *Маленький Опочинин* — вероятно, сын Ф. П. Опочинина (1779—1852), с 1813 г. директора департамента податей и сборов, в котором служил Н. Р. Политковский. *Екатерина Павловна* (1788—1819) — великая княгиня, сестра императора Александра I. *Французский Вельзевул* — Наполеон I. *Пришел, узрел, хлебнул* — перефразировка изречения Цезаря «Пришел, увидел, победил». *Крепкая водка* — смесь соляной и азотной кислоты, употреблялась при чистке металлической посуды.

II

И. И. ВАРАКИН

215. «Пустынная лира забвенного сына природы», СПб., 1807, с. 24. Текст стихотворения отражает распространившиеся в народе слухи о дарованной царем и украденной барами свободе. Правительство Павла I рядом демагогических мероприятий поддерживало в народе веру в освободительные намерения правительства (так, в день коронации 5 (16) апреля 1797 г. был опубликован манифест о трехдневной барщине). Эта политика вызывала сочувствие в политически невоспитанных слоях народа. С другой стороны, в 1796—1797 гг. по России прокатилась волна крестьянских восстаний, причем одним из наиболее драматических эпизодов явился жестоко подавленный в январе 1797 г. бунт в орловском имении князей Голицыных. Крепостной Голицыных Варакин, конечно, об этом знал. *Гонят наших объедалов Под военные шатры.* Речь идет о мероприятиях Павла I по превращению списочного состава армии в реальный — введении обязательной и принудительной службы дворян.

216. «Улей», 1812, ч. 3, с. 277 (др. ред.), с правкой и дополнениями В. Г. Анастасевича; РБ, 1915, № 6, с. 59. Печ. по автографу ГПБ. Поводом для написания стихотворения явился выход книги «О условиях помещиков с крестьянами. Сочинение графа Валериана Стрешмень-Стройновского... Перевел с польского В. Анастасевич», Вильно, 1809. Книга посвящена была пропаганде идеи освобождения крепостных и превращения их в свободных арендаторов на помещичьей земле. Анастасевич в предисловии утверждал, «что желание свободы крестьянам в России 〈...〉 если бы когда-либо и вовсе исполнилось, было бы только возвращением им того блага, коим они вообще наслаждались не слишком в давние времена» (с. 2). Книга Стройновского, вышедшая в 1809 г., только в 1811 попала в руки читателей. Причиной этого было яростное сопротивление крепостников, многочисленные доносы на автора и переводчика (см.: М. А. Брискман,

В. Г. Анастасевич, М., 1958, с. 41). Варакин своим стихотворением выступил в защиту автора и переводчика. *Почувствуют ли те уроки* и т. д. — намек на французскую революцию XVIII в. *В гробах не уцелели кости* и т. д. Могилы Людовика XVI и Марии-Антуанетты были уничтожены. Автограф Варакина позволяет восстановить первоначальную, значительно более острую редакцию этого места:

Что людоедов, полных злости,
В гробах не уцелели кости...

В обработанном для печати Анастасевичем варианте текст был значительно завуалирован:

Ты Клии указал уроки,
Сколь бедства были там жестоки,
Где всё превозмогала страсть
Врагов людей — страсть буйства злости,
В гробах их сокрушились кости...
И сколь тех стран плачевна часть.

(«Улей», 1812, ч. 3, с. 277)

Дальнейшие три строфы, опубликованные в «Улье», по сути дела не имеют прямого отношения к стихотворению Варакина и принадлежат Анастасевичу:

Где гнусные бездейства чада:
Надменность, наглость и корысть,
Исторгшись из заклепов ада,
Связь обществ нападают грызть,
Где в общей лествице нет к нижним
Вниманья степеням — и к ближним
Не уважается любовь,
Где целолюбия нет тени,
Но, верхней чтоб достичь ступени,
Дол обагряет братня кровь.
Ты рек, что злу тому виною,
Что губит более народ,
Чем язва, овладев страною, —
Невежество, тщеславья плод!
Оно, на случай опираясь,
Идет средь бездн, не озираясь
На тучи, бременны дождем.
Дождит... На первом скользком шаге
В ближайшем гибель ждет овраге
Слепого путника с вождем.

Ты рек и, разложив отраву,
Как мудрый врач противуяд,
Открыл в повиновеньи праву
Своей родительницы чад.
И тот, кто внял сему совету,
Уже ступил шаг первый к свету,

Ему содействует Закон,
К нему текут на помощь музы
Расторгнуть предрассудка узы,
Которых лишь боялся он.

Хотя под лавровы венцы и т. д. Мысль о связи гражданской свободы и боеспособности войск, ставшая в публицистике XVIII в. общим местом, приобретала в 1811 г. особый смысл ввиду явного приближения военного столкновения с Наполеоном. *Монарх к тебе благоволит.* Шум, поднятый вельможами из рядов консервативной оппозиции правительству по поводу опубликования книги Стройновского, вызвал раздражение императора (см.: М. А. Брискман, В. Г. Анастасевич, М., 1958, с. 45). Александр демонстративно назначил Стройновского сенатором и наградил его лентой. Однако «благоволение» императора, видимо, было показным: через несколько лет он был по доносу «приказом императора Александра не только без суда и следствия, но и без спроса обвиняемого позорно отставлен от службы» (ИВ, 1881, с. 339). В тексте «Улья» слова о монаршем благоволении были опущены.

217. «Улей», 1812, ч. 4, с. 304. Подражание стихотворению А. П. Сумарокова «На суету человека» (1759).

В. Г. АНАСТАСЕВИЧ

218. Печ. впервые по автографу БЛ. Нападки на В. К. Тредиаковского (1703—1769), начало которым положила Екатерина II (см.: А. С. Орлов, «Телемахида» В. К. Тредиаковского. — Сб. «XVIII век». М.—Л., 1935, с. 22 и след.), стали общим местом в поэзии и критике карамзинистов. Однако имелась и противоположная традиция: в защиту Тредиаковского от «Всякой всячины» выступил радикальный журнал «Смесь» (1769, л. 12), позже — Радищев в «Памятнике дактило-хореическому витязю». Возможно, под влиянием этой статьи Пушкин призывал Батюшкова: «Но Тредьяковского оставь В столь часто рушимом покое».

219. Печ. впервые по автографу ГПБ. *Забвенный сын природы* — цитата из названия сборника Варакина. Выражение это на языке философских понятий XVIII в. содержало и указание на исконные, природные права человека, и на забвение этих прав. *Ты правду рек* и т. д. — пересказ отрывка из сборника Варакина. *Сын скитавшийся Фингала* — Оссиан (см. Словарь). *Галл.* Оссиан пел свои песни на гэльском (древнешотландском) языке. *В нем часть бард россов принимал.* Г. Р. Державин пытался помочь Варакину выкупиться на волю.

220. «Улей», 1812, ч. 3, с. 70. Эпиграмма, видимо, направлена против «Беседы любителей русского слова». *Ермола* — А. С. Шишков.

С. Н. ГЛИНКА

221. «Собрание новых романсов и песен», М., 1798, с. 73. Стихи сочинены в шляхетном корпусе. Сам Глинка, вспоминая много лет

спустя об этом времени, писал: «...В ясные весенние и летние дни, сидя на берегу садового пруда, не мечтал я ни о славе, ни о богатстве, ни о почестях, а мечтал просто о жизни семейной в какомнибудь сельском приюте, удаленном от шума и тяжелых условий света. Мечтал о подруге...» Далее цитируются два последних стиха этого стихотворения (С. Н. Глинка, Записки, СПб., 1895, с. 241).

222. РВ, 1808, № 2, с. 188. Вошло в СГ, с. 8.

223. РВ, 1809, № 11, с. 205. Вошло в СГ, с. 33. Измаил был взят генералом А. П. Зассом во время русско-турецкой войны 14 сентября 1809 г. Глинка вспоминает штурм и взятие Измаила А. В. Суворовым в 1790 г.

224. РВ, 1812, № 10, с. 79. Печ. по СГ, с. 98. Эпиграф — из Евангелия. Стихи посвящены известному подвигу Н. Н. *Раевского* (1771—1829), который, по рассказам современников, привел на поле боя семнадцатилетнего Александра и одиннадцатилетнего Николая Раевских. Об этом писали Жуковский («Певец во стане русских воинов») и А. С. Пушкин («О некрологии генерала от кавалерии Н. Н. Раевского»).

225. ДЖ, 1829, ч. 25, № 3, с. 38, подпись: Мечтатель. *Н. М. Карамзин* умер 22 мая 1826 г. В стихотворении речь идет, очевидно, о полемике московских журналов «Московский телеграф», «Вестник Европы» и других по поводу «Истории Государства Российского» в 1828 г.

226. ДЖ, 1829, ч. 27, № 50, с. 167, подпись: Мечтатель.

227. ДЖ, 1831, ч. 34, № 15, с. 53, подпись: Мечтатель. Написано вскоре после свадьбы А. С. Пушкина (18 февраля 1831 г.).

228. ДЖ, 1831, ч. 34, № 21, с. 123, подпись: Мечтатель. *К⟨ашинце⟩в Н. А.* (1799—1870) — крупный чиновник, покровитель московских литераторов, которым он часто оказывал моральную и материальную помощь. Отставленный от должности, Глинка, вероятно обращаясь с «исповедью» к другу-меценату, искал у него поддержки. *Боссюэт* — см. примеч. 112.

Н. М. ШАТРОВ

229. ТОЛРС, 1818, ч. 11. Печ. по СШ, ч. 2, с. 17. Этот же псалом переложен Державиным («Властителям и судиям»).

230. СРС, ч. 1, с. 66. *Велизер* — Велизарий (см. Словарь).

231. СШ, ч. 3, с. 81. *Китай* — Китай-город, район Москвы.

232. СШ, ч. 3, с. 104. *Бард шотландских берегов* — Оссиан (см. Словарь). *Как Рафаэль несравненный* — намек на оду Державина «Изображение Фелицы», представляющую развернутое обращение к

Рафаэлю. *Лебединым пеньем.* Имеется в виду стихотворение Державина «Лебедь». *«Бог» ода* и т. д. — названия произведений Державина. *Две Фелицы* — оды «Фелица» и «Изображение Фелицы».

233. СШ, ч. 3, с. 109. *Николев* Н. П. (1758—1815) — поэт, друг Шатрова. Ему посвящены также стихи Шатрова «Песнь дружбы на кончину Н. П. Николева» (СО, 1816, № 12, с. 213) и «Друзья, и третий год протек, как Николев окончил век. . .» (в кн.: «Памятник друзей Николаю Петровичу Николеву», М., 1819, с. 68). *Северный Мильтон.* Намек на то, что Николев был слеп, как и английский поэт Дж. Мильтон (1608—1674). *Ты пел могучих в ратном поле.* Николев воспевал в стихах взятие Очакова, Измаила и т. п. *Ты пел бессмертных на престоле.* Имеются в виду оды Николева Екатерине II и Павлу I.

Г. П. КАМЕНЕВ

234. «Муза», 1796, ч. 4, с. 93, подпись: I — * VII — *.

235. «Иппокрена, или Утехи любословия на 1799 г.», ч. 3, с. 23 и 40. Стихотворные вставки из перевода произведения Л.-Г. Козегартена «Эдальвина».

236. «Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», ч. 1, 1804, с. 110. Об истории текста см.: П. Н. Берков, К истории текста «Громвала» Г. П. Каменева. — Изв. АН СССР, отд. общественных наук, 1934, № 1, с. 63. Сюжет «Громвала» восходит к книжным обработкам русского фольклора, в частности к «Русским сказкам» В. Левшина, где упоминается и волшебница *Добрада,* и змей *Зилант.* В примечании о Зиланте в «Громвале» непосредственно использована книга Левшина (см.: «Русские сказки», ч. 1, М., 1780, с. 29).

237. Е. А. Бобров, Литература и просвещение в России XIX в., т. 4, Казань, 1902, с. 147. Стихотворение сохранилось в переработке друга Каменева С. А. Москотильникова, оно было опубликовано с рукописи последнего, озаглавленной: «Сон друга, написанный им перед своею кончиной и впоследствии пережившим его другом исправленный». По словам Москотильникова, стихотворение носит автобиографический характер и описывает видение Каменева 24 мая 1803 г. во время ночных блужданий по кладбищу.

Н. Ф. ОСТОЛОПОВ

238. Поэты-радищевцы, с. 413. Печ. по автографу ГПБ (в бумагах Г. Р. Державина). Стихотворение является пародийным перифразом библейской «Песни песней».

239. ЖРС, 1805, ч. 1, с. 225, с подзаголовком: «Басня». Печ. по Прежние досуги, с. 83. Было представлено Остолоповым при вступлении в Вольное общество 3 мая 1802 г.

240. ЖРС, 1805, ч. 3, с. 96. Печ. по Прежние досуги, с. 50. *Пнин И. П.* (1773—1805) — философ, журналист, писатель и поэт, в

последние месяцы жизни президент Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Стихотворение было прочитано на траурном заседании Вольного общества, посвященном памяти Пнина, 23 сентября 1805 г. В примечании Остолопов допустил ряд неточностей: название журнала Пнина — «Санкт-Петербургский журнал», а не «Вестник», точное название его публицистических сочинений — «Вопль невинности, отвергаемой законами», «Опыт о просвещении относительно к России». *Нимало не боялся* и т. д. — перифраз строки из стихотворения Пнина на смерть Радищева: «Был гражданин, отец примерный И смело правду говорил».

241. «Любитель словесности», 1806, ч. 1, с. 209. Вошло в Прежние досуги, с. 60. Перевод идиллии 19 *Феокрита.*

242. Прежние досуги, с. 56.

А. П. БЕНИЦКИЙ

243. ЖРС, 1805, ч. 2, с. 36. Подпись: БуКи.

244. ЖРС, 1805, ч. 2, с. 201. Подпись: А. Бе.

245. «Талия», 1807, с. 125.

246. «Цветник», 1809, ч. 3, с. 190. Подпись: Б...

П. И. ШАЛИКОВ

247. ПиП, 1796, ч. 12, с. 79.

248. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 232. Вошло в СКШ, ч. 2, с. 169.

249. «Аглая», 1808, ч. 1, с. 65. Печ. по СКШ, ч. 2, с. 19. Стихотворение использует размер, лексику, отдельные мотивы и даже фразы из «Оды к соседу моему господину N» Державина (позже, в изд. 1808 г., названа «К первому соседу»). Вместе с тем Шаликов полемизирует с мировосприятием Державина, противопоставляя роскоши мирный дружеский круг. Возможно, под «соседом» подразумевается И. И. Дмитриев.

250. «Аглая», 1809, ч. 7, с. 29. Печ. по СКШ, ч. 2, с. 219. *Делиль* Ж. (1738—1813) — французский поэт и переводчик, автор описательных и буколических поэм «Сады», «Воображение», «Сельский житель, или Французские Георгики» и др. *Томсон* Дж. — см. примеч. 21.

251. «Аглая», 1809, ч. 8, с. 73. Вошло в СКШ, ч. 2, с. 143.

252. «Аглая», 1810, ч. 10, с. 62, без подписи. Вошло в СКШ, ч. 2, с. 62. *Любезнейший поэт* — возможно, Н. М. Карамзин.

253. «Аглая», 1812, ч. 13, с. 70. Печ. по СКШ, ч. 2, с. 57. *Варяго-авторы, враги изящного, словесники, славяноманы* — члены «Беседы

любителей русского слова», которых В. Л. Пушкин высмеял в басне «Сычи» (СПВ, 1812, № 3, с. 284). Шаликов использует образы этой басни. *История Пифона* и т. д. Шаликов сравнивает В. Л. Пушкина, резко выступавшего против «беседчиков», с Аполлоном, убившим чудовищного змея Пифона, символизирующего собой тьму. *Авторов ужаснейший раздор* — обострение полемики после выхода «Двух посланий» В. Л. Пушкина (см. примеч. 264, 265).

254. «Аглая», 1812, ч. 14, с. 70—76. *Смотри на этот басен ряд* и т. д. Возможно, имеются в виду басни И. И. Дмитриева. *На притчи бросить взгляд... в шести строках его титула начитаешь.* Вероятно, имеется в виду чиновный и титулованный граф Д. И. Хвостов. *На лучшие, мой друг* и т. д. Очевидно, оды Г. Р. Державина. *Сумбур, галиматья* и т. д. — возможно, оды С. С. Боброва. *Посмотрим на сие собранье эпиграмм* и т. д. Имеются в виду произведения К. Н. Батюшкова и П. А. Вяземского, в частности «Видение на брегах Леты», где высмеян Шаликов. Батюшков писал Вяземскому 10 мая 1812 г.: «Скажи мне, пожалуйста, на кого метил Шаликов в своем новом послании? Иные говорят, что на меня и на тебя. Правда ли это, что я лишен чувствительности, что в моих сатирах не видно доброй души, а про тебя — что твои нравом весьма не чисты, и наконец, что мы друг на друга похожи. Но Пушкин выхвален до небес» (Батюшков, т. 3, с. 185). *Еще любезный вот поэт* — В. Л. Пушкин (см. вышеприведенное письмо Батюшкова).

255. РМ, 1815, № 7, с. 15. Вошло в СКШ, с. 100. *И. И. Дмитриев* (см. примеч. 121—131) вышел в отставку в 1814 г. и переселился в Москву. *Приятное для всех исполнил обещанье* и т. д. В 1800 г. Дмитриев, выйдя первый раз в отставку, в стихотворении «К друзьям моим» писал, что навсегда останется с друзьями в Москве, но, призванный на службу Александром I, не сдержал своего обещания и прослужил с 1810 по 1814 г. в Петербурге министром юстиции. *Пасквили плоские в стихах.* Очевидно, имеются в виду сатиры Вяземского на Шаликова «Отъезд Вздыхалова» и «Первый отдых Вздыхалова», ходившие в списках в 1811—1814 гг. (см.: П. А. Вяземский. Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), 1958, с. 411). *Умнейшим сказано поэтом* и т. д. Речь идет о стихотворении Н. М. Карамзина «Послание к А. А. Плещееву». *Грубые, без вкуса силлографы.* Имеются в виду П. А. Вяземский и К. Н. Батюшков (см. примеч. 254).

256. ДЖ, 1825, ч. 10, № 8, с. 68. Стихотворение является ответом на «Разговор книгопродавца с поэтом», напечатанный в форме предисловия при издании первой главы «Евгения Онегина», где Пушкин, отказываясь петь для женщин, писал: «Пускай их Шаликов поет», имея в виду «самолюбивые мечты» о любви.

257. ДЖ, 1826, ч. 16, № 21, с. 109. Отклик на выход отдельным изданием главы второй романа Пушкина в сентябре 1826 г.

258. С, 1837, № 2, с. 203. В подзаголовке опечатка: стихи, которые имеет в виду Шаликов, напечатаны в 16-й книжке МН за 1836 г. *Юноша певец* — поэт С. И. Стромилов, печатавший стихи в «Москов-

ском наблюдателе» и в «Атенее» в 30-е годы. В стихотворении, на которое откликается Шаликов, Стромилов прославляет Дмитриева следующими словами: «Твой жребий совершен, окончен путь со славой, Отечеству ты правдой отслужил» (МН, 1836, № 9, с. 457).

В. Л. ПУШКИН

259. «С.-Петербургский Меркурий», 1793, ч. 4, с. 109, подпись: — НЪ. Неисправный список — ГПБ, под загл. «Камин *(Сатира)*», с ошибочной подписью неизвестной рукой: «Дмитриев». Под именем И. И. Дмитриева опубликовано в кн.: Н. Карамзин, И. Дмитриев, Избранные стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), 1952, с. 456; И. И. Дмитриев, Полн. собр. соч., «Б-ка поэта» (Б. с.), 1967, с. 392. Авторство В. Л. Пушкина указано М. Н. Макаровым в некрологе Пушкина (ДЖ, 1830, № 37, с. 168) и в воспоминаниях С. Н. Глинки (РВ, 1863, № 4, с. 794). Это первое известное нам печатное стихотворение В. Л. Пушкина. Издатель журнала А. И. Клушин сопровoдил его следующим примечанием: «Сочинитель сего послания есть молодой с отличными сведениями человек. Будучи столь же скромен, как и просвещен, пишет он не из тщеславия. Друг муз, друг уединения сидит перед Камином, размышляет, и Камин его трогает чувствительное сердце читателя. Я бы пожалел со всеми любителями российской словесности, ежели бы г. сочинитель кончил свои стихотворения Камином».

260. ПиП, 1794, ч. 3, с. 207, подпись: Всл. Пшкн. Печ. по СРС, ч. 2, с. 177. В ПиП — со следующим примечанием издателя: «Кажется, нет нужды делать внимательным читателя к сей оде. Кого не тронет томное чувство, пробуждающееся опять к жизни после долговременной и тяжелой болезни! Облака расходятся, и луч просияет. Пожелаем, чтоб сочинитель продолжительно пользовался драгоценным даром — здоровьем!»

261. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 92. Конкретное стихотворение Дмитриева, ответом на которое можно было бы считать это послание Пушкина, нам неизвестно. Обращение «Ты прав, мой милый друг» — лишь традиционная форма, часто встречавшаяся в подобных посланиях. Осмеиваемые Пушкиным поэтические штампы ближе всего к образцам так называемой преромантической лирики (ср. пародию П. П. Сумарокова, № 35). *Стерн наш* — Н. М. Карамзин. *Геснер* С. — см. примеч. 104. *Бион* — см. Словарь. В. Л. Пушкин писал прямые подражания Биону: «Ученик — учителю» и др.

262. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 115. Печ. по СВП, с. 133. Список — ГПБ. *Роль Синава.* Речь идет о трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор». *Жан-Жак* — Руссо.

263. «Патриот», 1804, № 4, с. 97. Печ. по СВП, с. 154. Подражание Горацию («Оды», кн. 1, ода 9). В «Патриоте» — со следующим примечанием издателей: «Любезный поэт теперь в отсутствии. Мы воспользовались приятельским подарком. Сия пиеса была им написана, как он был еще в отечестве, для одного дружеского собрания

всех известнейших наших литераторов, где каждому надлежало прочесть пиесу своего сочинения». Последний стих пародирован М. В. Милоновым в его сатире «К моему рассудку». Об этом Пушкин писал Д. Н. Блудову 23 мая 1812 г.: «Я слышал, что Милонов написал на меня целую сатиру. Я ему за нее благодарен. Стихи нового Кантемира никогда не умрут, и вот я, нисколько о том не заботясь, сделаюсь бессмертным. Дорогой друг Дашков очень бы желал, чтоб я отвечал на злостные нападки Милонова, но я этого не сделаю. Что значат для меня уколы парнасских мошек. Впрочем, по отношению к нему я виноват лишь тем, что оказал ему дружбу и вежливость; это меня утешает против всех его настоящих и будущих сатир» (РА, 1899, № 7, с. 460; оригинал по-французски). *Вергилий российских стран* — Херасков (см. примеч. 93).

264. «Цветник», 1810, № 12, с. 357, без эпиграфа; В. Пушкин, Два послания, СПб., 1811, с. 1. Печ. по СВП, с. 7. Это послание вместе со статьями Д. В. Дашкова в том же «Цветнике» — одно из первых развернутых выступлений будущих арзамасцев против будущих «беседчиков». Выдержанное в традициях классической сатиры и опирающееся на авторитеты Горация и Буало, послание, по свидетельству Д. Хвостова, «много потеряло своего блеску в печати». «Сия пьеса сделает шум, поелику метила не в бровь, а в глаз на почтенного Ариста Шишкова. . .» (ЛА, с. 370). *Кондильяк* Э.-Б. (1715—1780) — французский философ-сенсуалист, автор популярных руководств по изучению философии и логики. *Дюмарсе* С.-Ш. (1676—1756) — известный французский грамматик, редактор лингвистического отдела «Энциклопедии». *Кто русской грамоте, как должно, не учился, Напрасно тот писать трагедии пустился* — намек на А. А. Шаховского, трагедия которого «Дебора, или Торжество веры» была поставлена в Петербурге 24 января 1810 г. *Поэма громкая, в которой плана нет* — намек на поэму С. А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий». *Депрео* — Буало (см. примеч. 104). *Паскаль* Б. (1623—1662) — французский философ. *Боссюэт* — см. примеч. 112. *Синопсис* — сокращенное изложение священного писания. Возможно, имеется в виду «Синопсис, или Краткое сообщение от разных летописцев Иннокентия Гизиеля» 1674 г. *Степенная книга* — выборка из летописей и хронографов, составленная в XVI в. для систематизации летописных известий. *И Пиндар наших стран тем слогом не писал, Каким Баян в свой век героев воспевал* — намек на статью С. Н. Глинки о поэме С. А. Шихматова «Петр Великий», где говорится: «Песнопевец *подвига князя Игоря Святославича* писал в исходе двенадцатого столетия; но он так же располагал слова и мысли, как и Ломоносов, живший в осьмонадесять столетии» (РВ, 1810, № 5, с. 116). *Балдус* — А. С. Шишков. Далее, возможно, имеются в виду политические обвинения Шишковым Карамзина и его сторонников: «Когда чудовищная французская революция. . . произвела у них новый язык, далеко отличный от языка Фенелонов и Расинов, тогда же и наша словесность по образцу их новой и немецкой, искаженной французскими названиями, словесности стала делаться непохожею на русский язык» («Перевод двух статей из Лагарпа», СПб., 1809, с. XIII). *Великая Жена* — Екатерина II. *Любимец аонид* — И. Ф. Богданович (см. примеч. 144). *Арист* — А. С. Шишков. Далее имеется в виду его «Рассуж-

дение о старом и новом слоге» (СПб., 1803). *Лагарпов курс* — курс лекций по теории литературы французского филолога, сторонника классицизма Ж.-Ф. Лагарпа (1740—1803). Шишков в 1809 г. издал «Перевод двух статей из Лагарпа». *Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье.* Этот стих был пародийно включен А. А. Шаховским в его поэму «Расхищенные шубы» (1811), где В. Л. Пушкин высмеян под именем Спондея.

265. «Два послания», СПб., 1811, с. 5, вместе с посланием «К В. А. Жуковскому». Выход «Двух посланий» явился ответом В. Л. Пушкина на резкую критику А. С. Шишкова, который в своем «Присовокуплении к Рассуждению о красноречии священного писания» (1811), вскоре после выхода «Цветника» № 12 с посланием к Жуковскому, сказал о В. Л. Пушкине следующее: «Сии судьи и стихотворцы в посланиях своих взывают к Вергилиям, Гомерам, Софоклам, Эврипидам, Горациям, Ювеналам, Саллустиям, Фукидидам, затвердя одни только имена их и, что всего удивительнее, научась благочестию в «Кандиде» и благонравию и знаниям в парижских переулках, с поврежденным сердцем и помраченным умом вопиют против невежества и, обращаясь к теням великих людей, толкуют о науках и просвещении». В. Л. Пушкин включил эти слова Шишкова в предисловие к своим «Двум посланиям» и ответил на них так: «Risum teneatis, amicii!» (удержите смех, друзья! (лат.). — *Ред.*). И я, вместо того чтобы сердиться на такую нескладицу, хотел бы лучше сам посмеяться ей от доброго сердца; но обвинения, относящиеся до нравственности и веры, слишком важны. Я должен был опровергнуть оные и, кажется, исполнил сие во втором послании, к Д. В. Дашкову, равномерно навлекшему на себя учтивою критикою гнев новейших наших Славян». *Дашков* — см. примеч. 118. *И славный Цицерон* и т. д. Имеются в виду знаменитые речи Цицерона по обвинению *Верреса* и в защиту *Мурены* (см. Словарь). *И Сены на брегах* и т. д. Во время своего путешествия в Европу в 1803—1804 гг. В. Л. Пушкин в Париже завязал знакомства с выдающимися французскими писателями и напечатал в «Mercure de France» прозаические переводы русских народных песен, взятых им из «Карманного песенника», изданного И. И. Дмитриевым в 1796 г. Из стихотворений самого Пушкина, написанных в Париже, известно только одно — «Сельский учитель», подражание Томсону, датированное «8 января 1804 года. Париж» (ДП, 1804, ч. 1, с. 120). Очевидно, были и другие стихи, либо напечатанные анонимно, либо не попавшие в печать. Вяземский приводит другой вариант стиха 46: «Делиль, Сен-Пьер, Тальма мне были там знакомы» (П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 1, СПб., 1878, с. 309). Возможно, упоминание Тальма — просто ошибка, происшедшая по причине широкой известности дружеских отношений В. Л. Пушкина с знаменитым французским актером Ф.-Ж. Тальма (1736—1826). Милонов в своей сатире «На женитьбу в большом свете», высмеивая Вздоркина — Пушкина, намекает на то, что последний брал у Тальма уроки декламации. *Сен-Пьер* Б. (1737—1814) — французский писатель, автор сентиментального романа «Поль и Виргиния». *Делиль* — см. примеч. 250. *Фонтан* Л. (1757—1821) — французский поэт и оратор. *«Кандид»* — повесть Вольтера. *Лагарп* — см. примеч. 264. *Старослов* — Шишков.

266. Печ. по «Опасный сосед. Стихотворение Василия Львовича Пушкина», изд. второе, Лейпциг, 1855. Первое издание, литографированное, согласно свидетельству современников, вышло без ведома автора в Мюнхене в 1815 г. (см. об этом комментарий Б. В. Томашевского в кн.: «Ирои-комическая поэма», «Б-ка поэта» (Б. с.), 1933, с. 734). Лейпцигское издание 1855 г. напечатано, как свидетельствует в предисловии С. Д. Полторацкий, по «исправному» списку, полученному им от автора в мае 1830 г. незадолго до смерти В. Л. Пушкина. Сохранились многочисленные списки поэмы, содержащие, в частности, более ранние варианты отдельных стихов. В 1913 г. поэма опубликована В. Саводником с учетом этих старинных списков. В последующих изданиях, начиная с публикации С. П. Боброва (1918), учитывались следующие поправки П. А. Вяземского на его экземпляре издания 1855 г. Стих 5. Вместо «в трактирах с плясунами» печаталось «в трактирах с ямщиками» (см.: «Ирои-комическая поэма», с. 734, Поэты-сатирики, с. 263, Поэты, с. 562). Стих 8. Вместо «кабаком» печаталось «табаком» (см.: «Ирои-комическая поэма», с. 734). В настоящем издании воспроизводится текст издания 1855 г. без учета поправок Вяземского, сделанных им, возможно, по более раннему (1810-е годы) либо по неисправному списку. К 1830 г. В. Л. Пушкин мог вполне исправить указанный 5-й стих, тем более что его смысл вызывает некоторое недоумение: почему богатый барин Буянов прожил свое именье «в трактирах с ямщиками»? Напротив, семантический ряд пятого стиха кажется логически завершенным, если его читать «С цыганками, б....ми, в трактирах с плясунами». Можно отметить, что слово *«плясуны»* характерно для В. Л. Пушкина — оно несколько раз употребляется им в известных нам стихах (см., например, с. 664 и 699 настоящего издания). Поэма написана весной 1811 г. и получила широкую известность — об этом свидетельствуют многочисленные упоминания о ней современников. *Дивились двоице* и т. д. — см. примеч. 146. *Султан Селим* — вероятно, Селим III, султан с 1789 по 1808 г., разбивший в 1808 г. английский флот. *Фридерик Второй* — см. примеч. 193. *И Стерна Нового.* Имеется в виду антикарамзинская комедия А. А. Шаховского «Новый Стерн» (1805). *Прямой талант везде защитников найдет* — насмешка над Шаховским, комедии которого якобы читались даже в публичном доме. Пушкин очень гордился этой строкой (см.: «Я злого Гашпара убил одним стихом», № 272). *«Бова»* и *«Еруслан»* — произведения лубочной литературы. *«Несчастный Никанор»* — анонимный роман (1775). *«Смерть Роллы», «Дева Солнца»* — трагедии А. Коцебу. *«Арфаксад»* — повесть П. Захарьина. *«Русалка»* — «Леста, или Днепровская русалка. Романтическая повесть, вольный перевод с немецкого», М., 1806. Все перечисленные произведения в начале XIX в. имели хождение в мещанской полуобразованной среде. *Блажен, стократ блажен* — пародия на текст первого псалма: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».

267. СПВ, 1812, № 8, с. 156. Печ. по СВП, с. 31. *Приклонский П. Н.* (ок. 1770 — после 1825) — крупный сановник; занимал различные высокие посты, в том числе в дирекции московских театров. Был автором нескольких стихотворений, посвященных Александру I, переводов из Мольера и дивертисмента «Возвращение опол-

чения» (1812). А. С. Пушкин воспринимал это дружеское послание как характерную поэтическую манеру В. Л. Пушкина и использовал несколько измененный первый стих в своем стихотворном начале письма к Вяземскому от 14 августа 1831 г.: «Любезный Вяземский, поэт и камергер». *Низовая страна* — вероятно, Нижний Новгород.

268. СО, 1813, ч. 3, с. 96; ВЕ, 1815, № 16, с. 256 (редакция, рассчитанная на музыкальное переложение, с нотами профессора Г. И. Фишера); ВЕ, 1815, № 17, с. 69. Печ. по СВП, с. 172. Стихотворение послано П. А. Вяземскому в письме из Нижнего Новгорода от 14 декабря 1812 г., в котором В. Л. Пушкин сообщает о своей жизни в этом городе после бегства из Москвы: «Живу в избе, хожу по морозу без шубы, и денег нет ни гроша» (В. Пушкин, Соч., СПб., 1893, с. 149). И. И. Дмитриев говорил, что эти стихи В. Л. Пушкина «напоминают ему колодника, который под окном просит милостыню и оборачивается с ругательствами к уличным мальчишкам, которые дразнят его» (РА, 1866, с. 243).

269. ВЕ, 1814, № 7, с. 208. Печ. по СВП, с. 18. Стихотворение написано в Нижнем Новгороде, который В. Л. Пушкин снова посетил в 1814 г. Автор вспоминает о своих потерях во время войны. «Я потерял в ней (в Москве) все движимое мое имение. Новая моя карета, дрожки, мебели и драгоценная моя библиотека — все сгорело», — писал он в письме к Вяземскому (В. Пушкин, Соч., СПб., 1893, с. 249). *Дашков* Д. В. — см. примеч. 118. *Юный наш поэт, Аристарх* и т. д. — М. В. Милонов, систематически задевавший Пушкина в своих сатирах («К моему рассудку», «На модных болтунов», «На женитьбу в большом свете»). *Бард Севера* — очевидно, Г. Р. Державин. *Милых лар своих певец замысловатый* — К. Н. Батюшков, автор дружеского послания к Жуковскому и Вяземскому «Мои пенаты» (см. ПРП, 1814, ч. 1, с. 55), стиль которого (в духе французского поэта Грессе) воспроизводит здесь В. Л. Пушкин.

270. РМ, 1815, № 2, с. 135. Вошло в СВП, с. 14. Послание является частью стихотворной переписки, имевшей место в октябре — ноябре 1814 г. между П. А. Вяземским, В. Л. Пушкиным и В. А. Жуковским. РМ является своеобразным собранием стихотворений именно этого жанра (шестнадцатилетний А. С. Пушкин поместил здесь семь своих дружеских посланий), который воспринимался как поэтическая оппозиция потоку торжественных од, появившихся в 1814 г. в связи с вступлением в Париж Александра I, и сыграл определенную роль в формировании «Арзамаса». *Лесаж* А.-Р. (1668—1747) — французский писатель. *Почтенный Карамзин* и т. д. Имеются в виду стихотворения «Освобождение Европы» и «Слава Александра I» (1814). *Корнелий* — Корнель П. (1606—1684), французский драматург. *Озеров* (см. примеч. 121—131) — автор трагедий «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Дмитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809). Мнительный по характеру и раздраженный театральными интригами, он в 1810 г. удалился из Петербурга в свое имение, где у него начались нервные припадки, позже приведшие его к сумасшествию. Все будущие арзамасцы (П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков, А. С. Пуш-

кин и В. Л. Пушкин) упрекали А. А. Шаховского в зависти и «злых кознях» против Озерова. *Врали не престают злословить дарованья* и т. д. Имеется в виду оживление в 1814 г. деятельности «Беседы любителей русского слова» и, в частности, возможно, третья часть «Расхищенных шуб» А. А. Шаховского (1814), где был задет и В. Л. Пушкин, и близкий будущим арзамасцам горацианский культ «удаления от городских сует». *Похвальных кучу од.* Возможно, имеются в виду оды Н. П. Николева, Д. И. Хвостова, А. П. Буниной, Н. М. Шатрова. *Кокошкин* Ф. Ф. (1773—1838) — литератор, переводчик Мольера, друг С. Т. Аксакова, видный член Общества любителей российской словесности. *Дашков* — см. примеч. 118.

271. РМ, 1815, № 5, с. 133. *Славянофилы* — так иногда называли членов «Беседы» (ср. «Видение на брегах Леты» К. Н. Батюшкова). *«Модная жена»* — популярная стихотворная сказка И. И. Дмитриева. *Наших Квинтильянов мнимых.* Имеется в виду, по всей вероятности, А. С. Шишков, выпустивший в 1813 г. вторым изданием свое «Рассуждение о старом и новом слоге» с прибавлением разговоров о словесности, и Д. И. Хвостов, вновь издавший в 1813 г. перевод «Науки стихотворства» Буало и в 1814 г. «Послания в стихах», содержащие теоретические рассуждения о поэзии и критике.

272. СВП, с. 24, 25. Обращено к членам «Арзамаса», старостой которого был В. Л. Пушкин с 1816 г. Незначительные стихи его, присланные им как юмористическое приветствие друзьям с обратной дороги в Москву (см.: Поэты-сатирики, с. 661—662), были рассмотрены на заседании «Арзамаса» по всей строгости просодии и автор их, староста «Вот я вас», был разжалован в «Вотрушку», на что серьезно обиделся и послал стихотворение «К ***» как упрек и оправдание. В августе 1816 г. стихи были прочитаны на заседании «Арзамаса», признаны хорошими, и В. Л. Пушкину возвратили звание старосты с прозвищем «Вот я вас опять». *Первый, может быть, осмелился глупцам я правду говорить.* Имеется в виду, очевидно, послание «К В. А. Жуковскому» (см. № 264). *Я злого Гашпара убил одним стихом.* Имеется в виду 50-й стих «Опасного соседа». *Брат* — очевидно, С. Л. Пушкин (1771—1848). *Они кричат на сцене.* Речь идет о комедии А. А. Шаховского «Липецкие воды», представленной на петербургской сцене в сентябре 1815 г., где в карикатурном образе Фиалкина выведен Жуковский.

273. ВЕ, 1817, № 6, с. 100.

274. ДЖ, 1824, № 17, с. 164, подпись: NN. Авторство В. Л. Пушкина устанавливается на основании неизданной статьи В. Одоевского «Нечто в роде Цицеронова сочинения, или Oratio pro Milone, или Защищение друга моего и соседа Василия Буянова» (ГПБ), где цитируется эта эпиграмма и автором ее назван «Василий Буянов». Эпиграмма является ответом на статью В. К. Кюхельбекера (*Пумпер Никеля)* «О направлении нашей поэзии...», где был задет В. Л. Пушкин как автор высмеиваемых Кюхельбекером дружеских посланий: «...читает Дюмарсе, учится азбуке и логике, никогда не пишет ни

семо, ни овамо и желает быть ясным» («Мнемозина», 1824, ч. 2, с. 29) и, кроме того, содержались резкие отзывы о французских поэтах *Парни* и Мильвуа, а *Гораций* характеризовался как «прозаический стихотворец». Для В. Л. Пушкина все три поэта были образцами для частых подражаний.

275. ПЗ на 1825 год, с. 156. Стихотворение написано в связи с отъездом братьев Тургеневых из России в июле 1825 г.

276. МТ, 1826, № 7, с. 84. Стихотворение написано в связи с предполагавшимся отъездом тяжело больного Н. М. Карамзина в 1826 г. для лечения за границу. Поездка эта не состоялась — он умер 22 мая 1826 г. *Дельфийский бог* — Аполлон.

277. «Подснежник», 1829, с. 170 (гл. 1); «Северные цветы», 1829, с. 142—147 (гл. 2); «Радуга», 1830, с. 182 (гл. 3); «Денница», 1830, с. 94 (гл. 4). Это неоконченная поэма, представляющая собой своеобразную форму пародии (то, что точнее можно назвать ироническим подражанием), с одной стороны, на байронические поэмы И. Козлова («Чернец», «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова»), с другой — на бытовой фон «Евгения Онегина». Иронически используется разбойничий сюжет, романтический «бурный» пейзаж, тени мертвецов и т. п. Вместе с тем непринужденный, изобилующий перебивками (enjambement) стих четырехстопного ямба с чередующейся парной, перекрестной и кольцевой рифмовкой, частые обращения к читателю, «ряд точек», бытовые картины дворянской усадьбы — все это напоминает «Евгения Онегина». Кроме того, можно отметить ряд отдельных стихов, перекликающихся с романом Пушкина (см. гл. 1, стихи 151, 196—198, 240, 250; гл. 2, стих 65), и появление *Лариной Татьяны* в разговоре дам (гл. 2). Возможно, выход в феврале 1828 г. глав 4 и 5 «Евгения Онегина» (где среди персонажей упоминался Буянов) и послужил толчком к новому замыслу В. Л. Пушкина. В феврале 1828 г. Е. А. Баратынский писал А. С. Пушкину: «Василий Львович пишет романтическую поэму» (Е. А. Баратынский, Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма, М., 1951, с. 490). По свидетельству М. Н. Макарова, В. Л. Пушкин «...сочинил уже весь план «Капитана Храброва»... долженствовавшей быть в шести песнях» (ДЖ, 1830, № 38, с. 189). Может быть, шесть песен — не случайность, а намеренное повторение плана первой части «Евгения Онегина», известного В. Л. Пушкину именно в шести песнях. В гл. 5 и 6 романа Пушкина, так же как и в «Капитане Храброве», содержалось много авторских рассуждений о романтизме, споры о котором, начавшиеся в 1824 г., вспыхнули с новой силой в связи с поэмами Козлова и позицией МТ в 1827 г. Первый стих «Капитана Храброва» перефразирует первый стих поэмы «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова»: «Большой Владимирской дорогой». *Талантом Байронов чудесных* — намек на И. И. Козлова, переводчика и подражателя Байрона. *Мур* Т. (1779—1852) — английский романтический поэт, автор поэмы «Лалла Рук» (1817). *Нодье* Ш. (1780—1844) — французский писатель-романтик, автор романа «Жан Сбогар» (1818). *Д'Арленкур* Ш.-В.-П., виконт (1789—1856) — французский писатель, автор исторических романов, наиболь-

шую известность имел его «Le solitaire» («Отшельник»). *Гиро* П. (1788—1847) — французский романтический поэт. *Сумет* — Суме А. (1789—1845), французский поэт и драматург, близкий романтической школе. *Расина-трагика бранил* и т. д. Противопоставление Расина и Вольтера Гете и Шекспиру здесь и далее характерно для литературной полемики конца 1820-х годов как оппозиция некоторой части поэтов бывшей карамзинской школы байроническому романтизму. *Калибан* — действующее лицо драмы Шекспира «Буря». *Заира* — героиня трагедии Вольтера. *Федра, Андромаха* — героини одноименных трагедий Расина. *Елена* — не «поэма Гете», как указано в авторском примечании, а персонаж из третьего акта второй части трагедии «Фауст». *Эвфорион* — сын Елены и Фауста. *Булахов* П. (ум. 1837) — популярный московский певец. *Тальма* — см. примеч. 265. *Менвьель-Фодор* Ж. (1793—1828) — итальянская певица, дебютировала в Петербурге, затем пела в Италии и во Франции. *«Британик»* — трагедия Расина. *«Магомет»* — трагедия Вольтера.

278. МТ, 1829, № 6, с. 129. *Я назван классиком тобой.* Возможно, В. Л. Пушкину были известны неопубликованные материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» А. С. Пушкина, среди которых была пародия на афоризмы В. Л. Пушкина «Замечания о людях и обществе» («Литературный музеум на 1827 год», с. 264) — «Дядя мой однажды занемог». Там А. С. Пушкин характеризует своего дядю как «коренного классика». *Тацита нашего творенья* — имеется в виду «История Государства Российского» Н. М. Карамзина. *Зоил* — очевидно, М. Т. Каченовский (см. примеч. 112).

279. «Литературная газета», 1830, т. 1, № 19, апрель, с. 150.

280. В. Л. Пушкин, Соч., СПб., 1893, с. 115. Стихотворение было послано А. С. Пушкину в июле 1830 г. вместе с французской запиской: «Шлю тебе мое послание с только что внесенными исправлениями. Скажи мне, дорогой Александр, доволен ли ты им? Я хочу, чтоб это послание было достойно посвящения такому прекрасному поэту, как ты, назло дуракам и завистникам». *Хоть модный романтизм подчас я осуждаю.* В. Л. Пушкин в эти годы считал себя «классиком» (ср. № 278). *Послание твое к вельможе* — «Послание к Н. Б. Ю.», посвященное Н. Б. Юсупову, выдержанное в классических традициях («Литературная газета», 1830, № 30). *Пусть бесится, ворчит московский Лабомель.* Имеются в виду нападки Н. Полевого, обвинявшего Пушкина в заискивании перед вельможами (см.: «Утро у знатного барина князя Беззубова». — МТ, 1830, № 10, с. 159). *Лабомель* Л. А. (1726—1773) — французский критик, высмеянный Вольтером. *Печатай им назло скорее «Годунова».* Имеется в виду полученное А. С. Пушкиным в начале мая 1830 г. разрешение на печатание «Бориса Годунова». *Нибуром никогда не будет наш москвич.* Н. А. Полевой (1796—1846) напечатал в МТ (1829, № 8, с. 437) статью о Нибуре, немецком историке и журналисте (1776—1831). *Автор повести топорныя работы.* Возможно, имеется в виду повесть Ф. В. Булгарина «Дмитрий Самозванец». В. Л. Пушкин писал брату С. Л. Пушкину 3 октября 1829 г.: «Появился роман г-на Булгарина «Дмитрий Самозванец». Сей петербургский Вальтер-Скотт неумо-

лим. . .» («Пушкин и его современники», Пгр., 1915, с. 365. Оригинал по-французски). *Журналист сухой* и т. д. — по-видимому, Н. И. Надеждин (1804—1856).

А. И. МЕЩЕВСКИЙ

281. Печ. впервые по автографу ГПБ. *Габбе В. А.* (1777—1814) — полковник, до войны 1812 г. служил в Оренбурге при Г. С. Волконском, в кампании 1812 г. принял участие, служа по квартирмейстерской части в свите императора.

282. «Ученые записки ТГУ», вып. 104, 1961, с. 278. Печ. по автографу ГПБ. Перевод стихотворения Гете «Nähe des Geliebten». В журнале Воейкова «Новости литературы» (1824, декабрь, с. 92) с пометой «Оренбург, 1815» появился приписанный Мещевскому другой текст этого стихотворения:

БЛИЗОСТЬ МИЛОЙ

Подражание немецкому

Я мыслю о тебе, когда денницы свет
На озере играет;
Я мыслю о тебе, когда луна взойдет
И волны осребряет;
Я зрю тебя, когда густая пыль столбом
Дорогою несется;
Я зрю тебя во тьме, когда в лесу густом
Прохожих сердце бьется;
Я слышу голос твой, когда вдали шумит
Источник говорливый;
В безмолвии ночном, когда природа спит,
Я слышу голос милый.
Я вместе завсегда, и где б ты ни была,
Душа моя с тобою.
День светлый о тебе и тихой ночи мгла
Беседуют со мною.

Принадлежность его Мещевскому сомнительна, поскольку, с одной стороны, известна вольность редакторских приемов Воейкова, а с другой — неоспоримо установлено, что он использовал имя уже скончавшегося Мещевского для литературных мистификаций (см.: ЛН, т. 60, кн. 1, 1956, с. 545 и сл.).

283. Там же, с. 178. Печ. по автографу ГПБ.

284. Там же, с. 279. Печ. по автографу ГПБ. Стихотворение представляет собой вольный перевод баллады Ф. Шиллера «Ritter von Toggenburg».

285. Там же, с. 280. Печ. по автографу ГПБ.

286. Там же, с. 280. Печ. по автографу ГПБ.

287. Печ. впервые по автографу ГПБ.

288. Печ. впервые по автографу ГПБ.

289. Печ. впервые по автографу ГПБ.

290. Печ. впервые по автографу ГПБ.

291. Печ. впервые по автографу ГПБ.

292. Печ. впервые по автографу ГПБ.

М. А. ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ

293. ДЮ, 1811, ноябрь, с. 111. *Апокалипсис* — книга, содержащая откровение апостола Иоанна. Обычно помещается в конце Нового завета. Содержащееся в ней предсказание гибели старого мира и рождения нового истолковывается в тексте Мамонова как аллегория морально-политического перерождения России. *Тебе Халдея и Колхида* и т. д. Здесь перечисляются культы огнепоклонников.

294. ДЮ, 1811, декабрь, с. 88. *Книга Премудрости Сираха* — библейская книга, приписываемая Иисусу Сирахову сыну.

295. ДЮ, 1812, апрель, с. 1. *Здесь разумеются* и т. д. Примечание имеет цензурный характер. *Мальбранш* Н. (1638—1715) — французский философ, противник рационализма. *Декарт* Р. (1596—1650) — французский философ-рационалист. *Невтон* — Ньютон (см. примеч. 11). *Как кристаллом расщепленный.* Речь идет о разложении света на спектр. *Венцы Кастальские лавровы* и т. д. Стихи означают отказ от традиционной поэтической тематики.

296. В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПб., 1909, с. 668. Стихотворение представляет собой программу ордена «Русских рыцарей». Мамонов предполагал перенести столицу в Москву, хотя в качестве исконного центра русской земли рассматривал Киев. Стихи 5—6 посвящены внешней политике ордена после захвата власти.

П. А. ГАББЕ

297. МТ, 1825, № 23, с. 269.

298. Отд. литогр. изд., Варшава, 1822. Хранится в ГПБ (фонд П. А. Вяземского). *Дерзал и без любви преплыть* — намек на легенду о Геро и Леандре (см. Словарь). *Готфред, Ринальдо, Танкред, Армида* — персонажи поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим».

299. МТ, 1825, № 24, с. 363.

III

А. А. ПАЛИЦЫН

300. Отд. изд., Харьков, 1807, без строки 672, которая восстанавливается по перепечатке с корректурного экземпляра (СПб., 1904). На «Послание» откликнулся короткой уничтожающей рецензией М. Т. Каченовский (ВЕ, 1807, № 19, с. 211). Позднее оценка книги Палицына была дана в статье «Взгляд на дидактические русские стихотворения»: «К роду дидактических посланий можно также отнести и «Послание» Палицына «К Привете», изданное в 1807 году. Воспоминание о некоторых писателях, упреки современникам в пристрастии их к иностранной словесности, и в особенности к французской, составляют предмет сего стихотворения» («Благонамеренный», 1823, ч. 21, с. 353). *Привета* — вероятно, дочь А. А. Палицына, которую в письмах он обычно называет «чадцо». Она не была чужда литературе: писала стихи, исполняла у отца обязанности секретаря. *Моралей, Энергий* и т. д. — намек на Карамзина и его последователей, обильно вводивших в русский язык иностранную, преимущественно французскую, лексику. Нападки на эту группу слов содержатся в книге А. С. Шишкова «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», СПб., 1803, с. 178 и сл. *Жени* (франц. génie) — гений. *Признал французский сам Парнас* и т. д. Разбор трагедии Сумарокова «Синав и Трувор» в «Journal Etranger», 1775, № 4, с. 114. Позднее переведен А. П. Сумароковым («Полное собрание всех сочинений», изд. 2, М., 1787, ч. 10, с. 162). Письмо Вольтера к Сумарокову напечатано в качестве предисловия к трагедии «Димитрий Самозванец» (СПб., 1771, с. 5). *Херасков* — см. примеч. 93. *Промчался глас его и на псельских брегах.* Стихотворение «Лето» написано Г. Р. Державиным в 1805 г. в его имении Званка. *Псёл* — река в Сумской губернии, где жил Палицын. *Феофан* Прокопович — см. примеч. 109. *Тредьяковский* (см. примеч. 218) перевел «Древнюю историю» в 10 томах Ш. Роллена, «Римскую историю» в 16 томах Роллена-Кревье. Когда в 1738 г. пожар уничтожил рукописи писателя, Тредьяковский заново перевел погибшее и затем закончил свой труд. *Поповский* Н. Н. (ок. 1730—1760) — профессор Московского университета. В 1754 г. перевел поэму английского поэта А. *Попа* (1688—1744) «Опыт о человеке» (напечатана с цензурными искажениями в 1757 г.) и книгу Дж. Локка «О воспитании детей». *Санковский* В. Д. (р. 1741) — воспитанник Московского университета, ученик М. М. Хераскова, издатель журналов. Его перевод первых трех книг «Энеиды» Вергилия напечатан в 1775 г., переводы из Овидия опубликованы в журналах «Полезное увеселение», «Доброе намерение». *Петров* — см. примеч. 109. Высокопарные, изобиловавшие славянизмами, затрудненные по синтаксису произведения Петрова, прославлявшие императрицу, подверглись ожесточенным нападкам сатирической журналистики 1769—1772 гг. *Костров* — см. примеч. 109. Его работы: «Гомерова Илиада, переведенная Ермилом Костровым», СПб., 1787 (песни 7—9 напечатаны в ВЕ, 1811, № 14, с. 102, № 15, с. 172); «Оссиан, сын Фингалов. Бард третьего века, гальские стихотворения, пер. с французского Е. Костровым», чч. 1, 2, М., 1792. *Барков* И. С. (1732—1768) перевел и издал «Сатиры» Горация

(1763) и «Басни» Федра (1764). Кроме того, был известен фривольными, грубо-эротическими стихами, распространявшимися рукописно. Фривольные стихотворения Баркова также пародируют оду как высокий классицистический жанр. *Скаррон* П. (1610—1660) — французский писатель, автор поэмы «Virgile travesti» (1648—1653), пародии на «Энеиду» Вергилия. *Послание к слугам* — сатира Фонвизина Д. И. (1744 или 1745—1792) «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». *Визин* — Фонвизин. *«Иосиф»* («Ioseph») — поэма французского поэта П.-Ж. Битобе, переведена Фонвизиным: «Иосиф в девяти песнях сочинения г. Битобе», М., 1769. *«Душеньки» творец* — Богданович (см. примеч. 144). *Добромыслом Дух русский услаждать.* Имеется в виду «Добромысл. Старинная повесть в стихах», М., 1805, напечатанная А. С. Шишковым в кн.: «Сочинения и переводы, издаваемые Российскою академиею», ч. 2, СПб., 1806, с примечанием: «Сия сказочка.... прислана мне от известного трудами своими в словесности господина Палицына...» Ученик Палицына В. И. Ярославский рассказал о розысках произведений Богдановича по просьбе А. С. Шишкова (см.: В. И. Ярославский, Записки, «Киевская старина», т. 19, Киев, 1887, № 9, с. 138). *Княжнин* — см. примеч. 121—131. В его трагедии «Росслав» (1784) прославляется стойкость и мужество русского воина. В 1789 г. Княжнин написал тираноборческую трагедию «Вадим Новгородский», печатные экземпляры которой по приказу Екатерины II были конфискованы и уничтожены. *Кребильон* — Кребийон П. (1674—1762), французский драматург. *Подражал италианцам он.* Влияние иностранных источников чувствуется во многих произведениях Княжнина (например, итальянского драматурга П. Метастазио в «Дидоне», «Орфее», «Титовом милосердии»). Пушкин в «Онегине» называет Княжнина «переимчивым». *Виланд* Х.-М. (1733—1813) — немецкий писатель. *Боннет* Ш. (1720—1793) — швейцарский естествоиспытатель и философ. Деятельность обоих очень интересовала Карамзина, им посвящено много страниц в «Письмах русского путешественника». *Татищев* В. Н. (1686—1750) — известный русский историк. *Щербатов* М. М. (1733—1790) — русский историк и публицист. *Хилков А. Я.*, князь (1676—1718) — дипломат, провел 18 лет в шведском плену. До середины XIX в. считался автором книги «Ядро российской истории...», М., 1770. На самом деле книга написана секретарем Хилкова А. И. Манкиевым. *Голиков* И. И. (1735—1801) — историк-самоучка, купец по происхождению, составил многотомные своды: «Деяния Петра Великого» и «Дополнение к деяниям Петра Великого». *Нестор* — древнерусский писатель конца XI — начала XII в., автор начальной русской летописи «Повесть временных лет». *Никон* (1605—1681) — патриарх Московский. *Игорева песнь* — «Слово о полку Игореве». *«Заира» и «Альзира»* — трагедии Вольтера. *Крашенинников* С. П. (1711—1755) — академик, исследователь Камчатки, автор книги «Описание земли Камчатки», СПб., 1755. *Волчков* С. С. (ум. в 1773) — переводчик («Эзоповы басни», 1747, «Монтаньевы опыты», 1762 и др.). *Словарь* — «Новый лексикон на французском, немецком, латинском и на российском языках, переводу асессора Сергея Волчкова», чч. 1—2, СПб., 1755—1764. *Козмин* С. — артиллерии капитан, перевел книгу *Тюрпена* де Криссе «Опыт военного искусства...», чч. 1—2, М., 1758—1759. *Лукин* В. И. (1737—1794) — драматург. *Еже-*

ли судить не строго. Творчество Лукина подвергалось ожесточенным нападкам в периодике середины XVIII в. (см.: П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII в., М.—Л., 1952, по указателю). *Эмин* Ф. А. (ок. 1735—1770) — автор многотомных романов, пользовавшихся у современников большим успехом. Среди них: «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда» (1763), «Письма Эрнеста и Доравры» (1766) и др. *Кутузов* — Голенищев-Кутузов И. Л. (1729—1802), адмирал, директор Морского кадетского корпуса, президент адмиралтейств-коллегии, член Российской академии. Его перевод «Элегии Клеоны к Цинею» немецкого поэта Якова *Душа* (1725—1787) напечатан в книге «Задиг, или Судьба, восточная повесть, и Свет, каков есть, видение Бабука, писанное им самим, сочинения г. Вольтера. Ко оным прибавлена Элегия Клеона к Цинею сочинения г. Душа», СПб., 1765. *Олсуфьев* А. В. (1721—1784) — вельможа при дворах Елизаветы, Петра III, Екатерины II, переводчик опер, комедий. *Теплов* Г. Н. (1717—1779) — государственный деятель, композитор и писатель, автор книг: «Знания, касающиеся вообще до философии. . .», СПб., 1751; «Наставление сыну», СПб., 1763, и др. *Один Попов* — возможно, Попов А. И. (1748—1788), префект вятской семинарии, автор книги «Сатирические, забавные и нравоучительные эпиграммы, или надписи», СПб., 1778. *Другой* — Попов М. И. (1742—ок. 1790), писатель и переводчик, автор комической оперы «Анюта»; в 1772 г. перевел прозой с французского языка поэму Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Свистунов* П. С. (1732—1808) — писатель и переводчик, автор песен и элегий, в большинстве не напечатанных или опубликованных анонимно. Песня «Тщетно я скрываю. . .» принадлежит Сумарокову. Она была напечатана Тепловым без имени автора в сб. «Между делом безделье» (1759). Сумароков, возмущенный публикацией Теплова, выступил против него в «Трудолюбивой пчеле» (1759, № 11, с. 678) с заметкой «Песни». Здесь же Сумароков перепечатал шесть песен, в том числе под № 6 «Тщетно я скрываю. . .». Песня эта напечатана и Новиковым, располагавшим архивом писателя, в «Полном собрании всех сочинений А. П. Сумарокова» (т. 8, М., 1781, с. 218). В письме к Д. И. Хвостову от 28 июня 1807 г. Палицын говорит: «Одна песня П. С. Свистунова полюбилась так А. П. Сумарокову, что он ее присвоил. . .» («Библиографические записки», 1859, № 7, с. 250). Палицын, настаивающий на плагиате Сумарокова, ошибается, находясь под влиянием слухов, неблагоприятных для Сумарокова, которые, возможно, ходили о писателе в кругу преподавателей Сухопутного шляхетного корпуса, где обучался Палицын (см.: И. З. Серман, Комедия Ф. Эмина «Ученая шайка». — Сб. «XVIII век», вып. 3, М.—Л., 1958, с. 218). *Аблесимов* А. О. (1742—1783) — сатирик и драматург, автор популярной пьесы «Мельник, колдун, обманщик и сват». *Козицкий* Г. В. (ок. 1725—1776) — писатель и переводчик, статс-секретарь Екатерины II, литературный редактор журнала «Всякая всячина», его переводы и сочинения печатались в журналах «Трудолюбивая пчела» и «Всякая всячина». *Мотонис* Н. Н. (ум. 1787) — друг и соученик Козицкого, писатель и переводчик, член Российской академии. *Храповицкий* А. В. (1749—1801) — статс-секретарь Екатерины II, писатель, автор ряда дружеских стихотворных посланий и «Дневника», в котором подробно рассказал о повседневной жизни императрицы; он принимал большое участие в

литературных занятиях Екатерины II: правил слог, писал стихи для ее пьес. *Адодуров* В. Е. (1709—1780) — адъюнкт Академии наук, переводчик, куратор Московского университета. *Нартов* А. А. (1736—1813) — писатель и переводчик, с 1801 г. президент Российской академии, перевел «Слово похвальное императору Траяну, говоренное римским консулом Каием Плинием Цецилием Вторым», СПб., 1777. *Глебов* С. И. (1736—1786) — поэт и переводчик. В 1765 г. перевел с французского языка часть «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. *Эйлер* — см. примеч. 21. *Румовской* С. Я. (1734—1812) — академик, вице-президент Академии наук, математик и астроном. Румовской был членом Российской академии, принял участие в составлении «Словаря Академии российской», перевел «Анналы» Тацита. *Озерецковский* Н. Я. (1750—1827) — академик, доктор медицины, путешественник, автор, в частности, «Путешествия по озерам Ладожскому и Онежскому. . .» (СПб., 1792), писал стихи, преподавал словесность в Сухопутном шляхетном корпусе. *Лепехин* И. И. (1740—1802) — путешественник и натуралист, непременный секретарь Российской академии. Основной его труд: «Дневные записи путешествия. . . по разным провинциям Российского государства», чч. 1—4, СПб., 1771—1805 (последняя часть вышла посмертно, подготовлена к печати Н. Я. Озерецковским). *Чертков* П. П. перевел первые два тома романа С. Ричардсона «Памела» (СПб., 1787). *Пастухов* П. И. (1739—1799) — преподаватель Сухопутного шляхетного корпуса. В 1759—1760 гг. издавал журнал «Праздное время, в пользу употребленное», где печатал свои переводы. *Порошин* С. А. (1741—1769) учился в Сухопутном шляхетном корпусе и был оставлен при нем после окончания курса. Активно сотрудничал в журналах «Праздное время. . .» и «Ежемесячные сочинения». Будучи воспитателем малолетнего Павла I, вел подробный дневник, напечатанный позднее (в 1844 и 1881 гг.). Этот дневник вызвал недовольство Екатерины II, Порошин был отставлен от придворной должности и отправлен в один из армейских полков. В качестве командира полка участвовал в турецкой войне (1768—1774), однако в начале похода заболел и умер. *Чулков* М. Д. (ок. 1743—1793) — писатель, издатель собрания русских песен (1770—1774 и 1780—1781), автор семитомного «Исторического описания российской коммерции» (1781—1788), романа «Пригожая повариха» и др. *Леонтьев* Н. В. (1739—1824) — писатель, член Российской академии, учился в Сухопутном шляхетном корпусе, автор од и книги басен (1766). «Басни и сказки» И. И. *Хемницера* (1745—1784) впервые вышли в 1779 г. Наиболее полное третье (посмертное) издание — в 1799 г. Произведения Хемницера изобиловали глагольными рифмами. *Лекенъ* Г. (1728—1778) — французский трагический актер. *Дмитревский* И. А. (1734—1821) — знаменитый русский актер, автор ряда драматических произведений, член Российской академии, почетный член «Беседы». «История русского театра», над которой Дмитревский трудился в последние годы жизни, осталась ненапечатанной, рукопись утрачена. *Елагин* И. П. (1725—1793) — приближенный Екатерины II, один из руководителей русского масонства, поэт и переводчик, автор сатиры «На петиметра и кокеток» («Библиографические записки», 1859, № 15, с. 451). *Захаров* И. С. (1754—1816) — писатель и переводчик, член Российской академии, председатель четвертого разряда «Беседы». Службу начал в Императорском ка-

бинете Екатерины II, под началом И. П. Елагина. Перевел роман Фенелона «Похождения Телемака» (1786). Язык перевода характерен обилием славянизмов. *Болтин* И. Н. (1735—1792) — историк, главный труд его — «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка» (1788). *Из оды шуточной его.* Возможно, имеется в виду «Галиматья пиндарическая» (перевод из Вольтера), написанная, по словам самого Д. И. Хвостова, в 1786 г. (см.: «Разные стихотворения графа Хвостова, сочиненные после полного собрания», т. 5, СПб., 1827, с. 274) и напечатанная в ДП (1806, ч. 3, с. 93—95). *Посланья одного.* Трудно сказать, какое послание имеет в виду Палицын. Стихотворения этого жанра обильно печатались Хвостовым в журналах конца XVIII — первой четверти XIX в. *Рубан* В. Г. (1742—1795) — секретарь Г. А. Потемкина, плодовитый поэт и переводчик. Сильно нуждаясь, писал поздравительные стихи, эпитафии и т. п. за небольшую плату. Об этом пишет Капнист в цитируемой Палицыным в примечании «Сатире 1» (1780). В первом издании Рубан был назван Рубовым. При переработке (1783) слишком прозрачный намек был убран и имя Рубова заменено Мевием. *Домашнев* С. Г. (1743—1795) — директор Академии наук. Печатая в журнале «Академические известия» в 1781 г. обзоры деятельности научных учреждений («Показание новейших трудов разных академий»), Домашнев не употреблял в них твердого знака (ера). *Дашкова* Е. Р. (1743—1810) — директор Петербургской академии наук и президент Российской академии (1783—1796), редактор журнала «Собеседник любителей российского слова». *Ельчанинов* Б. Е. (1744—1769) — писатель и переводчик, в чине полковника убит 20 сентября 1769 г. при Браилове, во время неприятельской вылазки. *Румянцев* — см. примеч. 18. *Майков* В. И. (1728—1778) — писатель и переводчик, не знал иностранных языков, что вызывало упреки и насмешки некоторых современников. В то же время это рассматривалось как свидетельство самобытности Майкова. Сохранился анекдот, что Дидро во время своего пребывания в России через переводчика беседовал с Майковым и выражал особенное желание познакомиться именно с его сочинениями как чисто творческими, не испытавшими на себе чуждых влияний. В библиотеке Дидро находилось довольно много произведений Майкова (см.: М. П. Алексеев, Д. Дидро и русские писатели его времени. — Сб. «XVIII век», вып. 3, М.—Л., 1958, с. 420). *«Меропа»* — трагедия Вольтера, напечатана в 1775 г. с подзаг.: «Переложена в стихи из русския прозы Василием Майковым». *«Превращения»* и т. д. — «Публия Овидия Насона Превращения», кн. 1—4, СПб., 1775, вышли в переводе В. И. Майкова по прозаическому переводу, возможно выполненному Д. И. Фонвизиным. *Преложение военного искусства* — «Военная наука. Из книги Беспечный философ, сочинения е. в. короля прусского. Стихи Василья Майкова», М., 1767. Перевод А. И. Бибикова в стихотворном переложении Майкова, который говорит в предисловии: «Я не старался точно следовать сочинителю, но в некоторых местах отступал; итак, боле могу ее назвать подражанием, нежели переводом». В текст поэмы включены похвалы Петру I, о чем переводчик заранее уведомил читателей: «Во многих местах наполнил я именем «Великого Петра», который по справедливости более всех воспетых здесь героев». *Фридерик* — Фридрих II (см. примеч. 193). *О ты, певец преславный россов* и т. д. — строки из

«Оды на... день восшествия на всероссийский престол ее величества июня в 28 день 1768 года» В. И. Майкова. *О ты, при токах Иппокрены* и т. д. — первая строфа «Оды о вкусе. Александру Петровичу Сумарокову» В. И. Майкова. *Потемкин* П. С. (1743—1796) — писатель, переводчик. Сделал крупную служебную карьеру: был начальником секретной следственной комиссии по делу о восстании Пугачева, наместником Кавказа, участвовал в штурме Измаила и Варшавы, имел чин генерал-аншефа. Трагедия Вольтера *«Магомет»* в переводе П. С. Потемкина напечатана в 1798 г. Из *Жан-Жака* Руссо Потемкин перевел «Рассуждение... восстановление наук и художеств способствовало ли ко исправлению нравов» (М., 1768), первую часть «Новой *Элоизы*» (М., 1769) и др. *Против него вооружался* и т. д. В письме И. И. Шувалову от 23 сентября 1794 г. Потемкин, резко отзываясь о французских просветителях, подготовивших революцию, называет Вольтера, Руссо, Рейналя и других лицемерами, безбожниками (см.: «Московский вестник», 1809, ч. 1, с. 89). *За ним я кончил вслед* и т. д. «Новая Элоиза» в переводе А. А. Палицына вышла в 1803—1804 гг., издателем ее был В. В. Сопиков, о котором в письме к В. И. Ярославскому от 12 января 1802 г. переводчик пишет: «...хваленый этот издатель Сопиков только лишь купчишка, шарлатан, которому нечем издавать, который ищет денег, на что бы напечатать и дареные ему автором книги...» (Н. Сумцов, Культурный уголок Харьковской губернии (Поповская академия), Харьков, 1888, с. 3). Видимо, Палицын в 70-е годы действительно кончил вслед за Потемкиным перевод «Элоизы», во всяком случае, первую часть он переводил, когда остальные уже готовились к печати (см. там же, с. 2), а В. И. Ярославский переписал ее в 1802 г. набело (см.: В. И. Ярославский, Записки. — «Киевская старина», 1887, № 9, с. 129). Первый том вышел позже других, в 1804 г. В экземпляре ГПБ отсутствуют посвящение и стихи друзей на перевод романа, в экземпляре БАН тексту «Новой Элоизы» предшествуют посвящение жене переводчика А. А. Палицыной и стихи Е. Станевича и С. Глинки. Видимо, после разразившегося скандала издатель в части тиража допечатал требуемое Палицыным. *Разговор Жан-Жаков о романах* — очевидно, «Второе предисловие к „Новой Элоизе“», написанное в виде диалога N и R. «Разговор» отсутствует во всех известных нам экземплярах книги Палицына. *Капнист* В. В. (1758—1823) — поэт, друг Державина, почетный член «Беседы любителей русского слова». Палицын упоминает следующие произведения Капниста: «Ода на надежду» (1780), «Ода на смерть сына моего» (1787), «Ода на истребление в России звания раба Екатериною Второю в 15 день февраля 1786 года» (1787). *Львов* Н. А. (1751—1803) — писатель, архитектор, художник, друг Державина, Капниста, Хемницера, автор ряда стихотворений, переводчик Анакреона, перевел «Четыре книги Палладиевой архитектуры» (СПб., 1798), изобрел способ строительства глинобитных земляных домов. Одно такое здание — приорат — до настоящего времени сохранилось в Гатчине. *Были* — вероятно, издание двух древнерусских летописей: «Летописец русский от пришествия Рурика до кончины Иоанна Васильевича» (1792) и «Подробный русский летописец от начала России до Полтавской баталии» (1798). *Небылицы* — противопоставление летописям художественных произведений Львова.

Шувалов И. И. (1727—1797) — фаворит императрицы Елизаветы, покровитель М. В. Ломоносова. По инициативе Ломоносова и при поддержке Шувалова в 1755 г. был основан Московский университет. *Веревкин* М. И. (1732—1795) — писатель и переводчик, автор комедий «Так и должно», «Точь-в-точь», перевел сочинение А. Ф. Прево «История о странствиях вообще по всем краям земного круга... сокращенная новейшим расположением через Ла-Гарпа...» (чч. 1—22, М., 1782—1787). *Сюллий* (см. примеч. 102) — автор мемуаров, переведенных *Веревкиным* (М., 1770—1776). *Воронцов* — вероятно, Воронцов Семен, переводчик книги Эвтропия «Сокращение римской истории до времен кесарей Валента и Валентинияна», М., 1759 (2-е изд. — 1779). *Ржевский* А. А. (1737—1804) — поэт, президент медицинской коллегии, сенатор, в 1760—1763 гг. усиленно печатался в журналах «Полезное увеселение», «Ежемесячные сочинения», «Свободные часы» (за три года опубликовано 225 его произведений), позднее совершенно отошел от литературной деятельности. *Нарышкин* А. В. (1742—1800) — псковский губернатор, сенатор, член комиссии для составления нового уложения, член Российской академии, автор стихотворений, напечатанных в журнале «Полезное увеселение», принимал участие в переводе «Велизария» Мармонтеля (главы 7—8) во время путешествия по Волге в свите Екатерины II. *Пушкин* — возможно, Пушкин А. М. (1771—1825), актер-любитель, переводчик, дилетант-стихотворец. *Козловский* Ф. А. (ум. 1770) — поэт. Погиб во время Чесмесского боя при взрыве корабля «Евстафий». Стихи его посмертно напечатаны в «Вечерах» (ч. 2, 1773), «Московском ежемесячном издании» (ч. 2, 1781). В «Опыте исторического словаря» Н. И. Новикова указывается, что после него остались незаконченная трагедия «Сумбека» и «Слово похвальное Екатерине Великой» (см.: Н. И. Новиков, Избранные сочинения, М.—Л., 1951, с. 314). *Херасков памятник воздвиг ему нетленный* и т. д. В авторских примечаниях 15 и 16 процитированы поэма М. М. Хераскова «Чесмесский бой» (1771) и В. И. Майкова «Письмо В. И. Бибикову о смерти князя Федора Алексеевича Козловского, который скончал жизнь свою при истреблении турецкого флота российским, быв на корабле „Евстафии“» (1770). Эти же стихи были процитированы в упомянутом выше словаре Новикова. *Карин* Ф. Г. (ок. 1740—1799 или 1800) — переводчик, автор ряда произведений, из которых важнейшее — «Письмо к Н. П. Николеву о преобразователях российского языка...» (М., 1778). Многие сочинения и переводы Карина, в том числе из Гельвеция, остались ненапечатанными. *Барсов* А. А. (1730—1791) — профессор красноречия в Московском университете, издатель «Московских ведомостей», автор «Кратких правил российской грамматики». Ему принадлежит перевод книги Бильфельда «Наставления политические», ч. 2, М., 1775. *Погорецкий* П. И. (1734 — ок. 1780) — врач, профессор Московского медико-хирургического училища. *Зибелин* С. Г. (1735—1802) — врач, профессор медицины в Московском университете. *К ученому причли сообществу себя.* В 1767 г. в Москве вышли три части «Переводов из энциклопедии». В числе переводчиков были С. Г. Зибелин и П. И. Погорецкий. *По превосходству им пленялась наконец.* Отзыв Екатерины II о русском языке см.: «Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером», ч. 2, М., 1803, с. 190. *Когда был укорен Клопштоком Фридерик.* В 1780 г. вышла написанная по-французски брошюра Фридриха II

«О немецкой литературе». Ф.-Г. Клопшток (1724—1803) откликнулся на эту брошюру несколькими негодующими одами, в которых упрекает короля в пренебрежении к национальной культуре, называет его «чужеземцем на родине» (см.: М. Л. Тронская, Спор 1780 г. о немецкой литературе и немецком языке. — Сб. «Романо-германская филология в честь академика В. Ф. Шишмарева», изд. ЛГУ, 1957, с. 311). *Во храме муз ее читать «Телемахиду».* В «Эрмитажных правилах», составленных Екатериной II для узкого круга приближенных, за провинности предписывалось читать «Телемахиду» Тредьяковского или (самое тяжкое наказание) выучить из нее 2 стиха. *Софокл наш* — А. П. Сумароков. *Пиндар* — М. В. Ломоносов. *Гомер* — М. М. Херасков. *Забыты многими теперь у нас писцами.* В примечании Палицын ссылается на книгу А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (СПб., 1803), где на с. 175—214 помещен раздел «Слова и речи, выписанные из нынешних сочинений и переводов с примечаниями на оные», содержащий цитаты из произведений Н. М. Карамзина и писателей его школы с резкими на них нападками. *Не более бывал и Сумароков лих.* В защиту чистоты русского языка Сумароков выступает в «Эпистоле I», в «Наставлении хотящим быти писателем» и притче «Порча языка». *Расиновым стихам завидовал Вольтер.* Вольтер был очень высокого мнения о Расине (см.: «История царствования Людовика XIV и Людовика XV», ч. 2, М., 1809, с. 251). *Школьник за грехи нам выдан был примером.* Вероятно, намек на анонимную статью «Мнение о Вольтере, как об историке», которая начинается словами: «Школьник, выучивший наизусть французскую историю, расположенную по вопросам и ответам... кричит тоном учительским: „Вольтер есть историк самый несправедливый, самый неверный“» (ВЕ, 1805, № 11, с. 194). Под школьником здесь, возможно, разумеется сам М. Т. Каченовский, в 1805—1807 гг. редактор «Вестника Европы». *Смеялся над Вольтером.* В статье «О ссоре Фридриха с Вольтером» говорится об отрицательных чертах характера последнего (см.: ВЕ, 1805, № 19, с. 193). *Судя после него Мароновы стихи.* О стихах Публия Вергилия Марона Каченовский говорит в статье «Взгляд на историю пастушеской поэзии древних», где, в частности, называет Вергилия «подражателем, который умеет казаться образцовым» (ВЕ, 1805, № 16, с. 282). Вольтер с восхищением писал о Вергилии, в частности в «Опыте об эпической поэзии» (русский перевод: «Опыт Вольтера на поэзию эпическую», СПб., 1802). *Жалели доброго Евстафья мы с тобою.* Речь идет о Станевиче (см. примеч. 112), друге А. А. Палицына, стороннике и последователе А. С. Шишкова. В 1805 г. Станевич выпустил книгу «Собрание сочинений в стихах и прозе», в которой прославлял «Рассуждение» Шишкова, нападал на злоупотребление иностранными словами и слезливость современных стихотворцев. Тяжеловесные стихи Станевича подверглись резкой критике Каченовского (см.: ВЕ, 1806, № 2, с. 119). Ответом на эту критику и являются строки о Зоиле в «Послании к Привете». Каченовский ответил Палицыну статьей «О послании к Привете» (ВЕ, 1807, № 19, с. 211), в которой высмеял Палицына и выразил недовольство грубыми стихами в свой адрес. В следующем, 1808 г., в полемику включился Станевич, выпустивший брошюру «Способ рассматривать книги и судить о них», в ней он отвечает на критику и берет под защиту книгу Палицына, не гнуша-

ясь намеками, близкими к политическому доносу. Брошюру Станевича осмеял Воейков в статье «Мнение беспристрастного о „Способе сочинять книги и судить о них“» (ВЕ, 1808, № 18, с. 115—124) и поместил автора ее в знаменитый «Дом сумасшедших» и в «Парнасский адрес-календарь». Полемика завершилась «Ответом господину Воейкову» за подписью Правдолюбов (ДВ, 1808, ч. 1, с. 73—85). Автор ее, упрекая и Каченовского и Станевича за излишнюю грубость, нападает на Воейкова с позиций шишковской партии. *Нет у русских образцов* — намек на Н. М. Карамзина (см. ниже, с. 883). *Жанлис* С.-Ф. (1746—1830) — французская писательница, автор романов и педагогических сочинений. *Дезульер* А.-Д. (ок. 1637—1694) — французская поэтесса, автор идиллий. *Лекень* — см. выше, с. 876. О Лекене рассказывается в статье «Вольтер и Лекен» (ВЕ, 1802, ч. 1, № 3, с. 29. Журнал в это время издавался Карамзиным). *Друзья просвещения* — издатели журнала «Друг просвещения» (1804—1806): Хвостов Д. И., Салтыков Г. С. (1777—1814), Голенищев-Кутузов П. И., Горчаков Д. П. (1758—1815) — поэт, автор многих сатирических произведений, друг Н. П. Николева, член Российской академии и «Беседы любителей русского слова». *Памятник творцам российским* и т. д. В журнале «Друг просвещения» (1804—1806) напечатана значительная часть известной работы митрополита Евгения Болховитинова «Новый опыт исторического словаря о российских писателях». *Николев* Н. П. (1758—1815) — поэт и драматург, член Российской академии, почетный член Общества любителей словесности при Московском университете и «Беседы», автор трагедии «Пальмира». *Нелединский*-Мелецкий Ю. А. (1752—1828) — поэт, почетный член «Беседы». Песни его пользовались популярностью у современников. *Послание к Всемилу.* Имеется в виду «Послание к Киргиз-Кайсацкому царю Всемилу, внуку премудрыя, великия и единственныя Фелицы...», в котором П. П. Сумароков, подражая Державину, обращается к Александру I с просьбой о помиловании, и сказка «Пристыженный мудрец». *Герой Греции* — Александр Македонский. *Он дружество ко мне питал.* С. Н. Глинка жил в качестве учителя у богатого украинского помещика Г. Р. Шидловского. Поссорившись со своим патроном, уехал к Палицыну и прожил у него некоторое время (см.: В. И. Ярославский, Записки. — «Киевская старина», 1887, № 9, с. 127). *Карабанов* П. М. (1764—1829) — поэт и переводчик, член Российской академии и «Беседы», перевел трагедию Вольтера «Альзира, или Американцы» (СПб., 1786). *Востоков* А. Х. (1781—1864) — поэт, филолог-славист, член и секретарь Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. *Басенка к Мотонису* — притча А. П. Сумарокова «Порча языка», которая начинается так: «Послушай басенки, Мотонис, ты моей...» *Басенный пес* — Пес, персонаж притчи А. П. Сумарокова «Порча языка». *То ж самое советует тебе и Львов.* В ВЕ (1806, ч. 25, с. 32) помещена анонимная похвальная рецензия на «Опыты» Востокова, содержащая ряд критических замечаний по поводу языка. Быть может, автором ее был П. Ю. Львов (см. примеч. 178). *Пнин* — см. примеч. 240. *«Таврида» славилась недельными листами.* Имеется в виду рецензия на поэму Боброва «Херсонида» в ЖРС, 1805, № 2, с. 113, где она была названа «творением гения». *Мерзляков* (см. примеч. 104) перевел из Вергилия эклогу «Галл» (ВЕ, 1805, № 18, с. 124) и эклогу

«Титир и Мелибей» (ВЕ, 1806, № 10, с. 99). Позднее вышли «Эклоги Публия Вергилия Марона, переведенные А. Мерзляковым» (М., 1807). *Дезульерины овечки.* Идиллии Дезульер «Ручей» и «Овечки» в переводе Мерзлякова напечатаны в ВЕ, 1806, ч. 25, с. 22 (см. также «Идиллии госпожи Дезульер, переведены А. Мерзляковым», М., 1807). Оды *Тиртея* в переводе Мерзлякова напечатаны в ВЕ, 1805, № 21, с. 29. *«Ступай» или «к мечам»* — перефразированная цитата из оды Тиртея в переводе Мерзлякова (ВЕ, 1805, № 21, с. 33). *Кутузов* — Голенищев-Кутузов П. И., перевел «Творения Пиндара» (1804). Принадлежащие ему переводы идиллий Феокрита печатались в ДП (1804—1806). *Дмитриев* — см. примеч. 121—131. Многие басни и сказки Дмитриева являются переводами и переделками французских баснописцев Лафонтена, Флориана и др. *Искать его в Москве для русских ближе* — возможно, намек на «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, в которых автор восхищается европейскими писателями. *Долгоруков* И. М. (1764—1823) — поэт, автор сатирических и лирических стихотворений, почетный член Московского университета. *Попиева Элоиза* — поэтическая обработка А. Попом (см. выше, с. 873) «Переписки Абеляра и Элоизы» (1717). *Рейналева Элиза* — «Похвала Элизе» аббата Г. Рейналя (1713—1796), напечатанная при французском переводе книги Л. Стерна «Письма Йорика к Элизе» (русский перевод: «Письма Иорика к Элизе и Элизы к Иорику. С приобщением похвального слова Элизе», М., 1789). *Хераскова* Е. В. (1733—1807) — жена М. М. Хераскова, поэтесса, печаталась в «Полезном увеселении», «Вечерах», «Аонидах». *Хвостова* А. П. (1767—1853) — автор популярной книги «Отрывки. Камин и Ручеек» (1796), а также сочинений религиозно-мистического характера. *Сумарокова* Е. А. (1717—1777) — дочь А. П. Сумарокова, жена Я. Б. Княжнина, печаталась в «Трудолюбивой пчеле». *Сушкова* М. В. (1752—1803) — сестра А. В. Храповицкого, поэтесса и переводчица, печаталась в Собеседнике, «Живописце» Новикова. *Вельяшева.* Известны две Вельяшевы-Волынцевы: Анна Ивановна и Пелагея Ивановна, обе переводчицы. *Урусова* Е. С. — поэтесса, почетный член «Беседы», печаталась в «Аонидах», «Иппокрене» и других изданиях. Отдельной книгой ее «Стихи» вышли в 1817 г. *Копьева.* Имя этой писательницы, так же как и *Тургеневой*, в словарях и справочниках не зарегистрировано. *Магницкая* А. М. — поэтесса, печаталась в ПиП, «Аонидах». *Магницкая* Н. М. — поэтесса, сестра А. М. Магницкой, печаталась в ПиП. *Поспелова* М. А. (1780—1805) — поэтесса, автор од. Сборник ее стихотворений: «Лучшие часы жизни моей», Владимир, 1798. *Турчанинова* А. А. — поэтесса, жила в Одессе, автор стихов сентиментально-медитативного характера. Печаталась в ПиП и ЧвБ. *Николева* Е. Ю. (1786(?)—1805) — родственница Н. П. Николева, писала стихи, на смерть ее появились отклики в «Московском курьере» (1805). *Щербатова* Е. В. — переводчица, печаталась в «Иппокрене», ПиП. *Шаликова* А. И. (ум. после 1862) — сестра П. И. Шаликова, печаталась в ПиП. *Баскакова* Е. И. (1784—1815) — переводчица, печаталась в «Иппокрене», ПиП. *Жукова* А. С. — поэтесса, несколько стихотворений ее напечатано в «Иппокрене». *Кологривова* А. Ф. (1788—1876) — переводчица, переводы ее напечатаны в «Новостях русской литературы». *Массильон* Ж.-Б. (1663—1743) — знаме-

нитый французский проповедник. Проповеди его упоминаются в ВЕ, 1802, ч. 2, с. 229. *Боссюэт* — см. примеч. 112. *Русский наш француз* — Н. М. Карамзин. *Всю подноготную Лафатерову знаем.* Лафатер И.-К. (1741—1801) — швейцарский философ, теолог и поэт. С ним молодой Карамзин вступил в переписку, которая продолжалась с 1786 по 1790 г. (опубликована в 1893 г.). В «Письмах русского путешественника» Карамзин подробно рассказывает о своих встречах с Лафатером (см.: Н. М. Карамзин, Избр. соч., т. 1, М.—Л., 1964, с. 220). *Недельные листы им наполняем.* «Письма русского путешественника» первоначально (в 1791—1792 гг.) печатались в МЖ. Статья «Последние дни Лафатеровой жизни» напечатана в ВЕ, 1802, № 6, с. 95; издателем журнала в это время был Карамзин. В подстрочном примечании он вспоминает тесное общение с Лафатером во время путешествия. *И с Дидеротом мы его равняем.* В ВЕ, 1802, № 5, с. 39, помещена переводная статья «Сравнение Дидерота с Лафатером». *Платон* — см. примеч. 206. *Гавриил* Петров (1730—1801) — митрополит Новгородский и С-Петербургский, член Российской академии, церковный писатель и проповедник. *Георгий* Конисский (1717—1795) — архиепископ белорусский, был известен как автор речей, обращенных к королю Станиславу и Екатерине II, писал стихи, духовные драмы. *Леванда* И. В. (1734—1814) — протоиерей Киево-Софийского собора, знаменитый проповедник, издатель сочинений Феофана Прокоповича. *Самуил* Миславский (1731—1796) — митрополит Киевский и Галицкий, автор «Латинской грамматики», ряда духовных сочинений. *Фенелон* — см. примеч. 93. *Миних* Б.-Х. (см. примеч. 102) с 1731 г. — главный директор Корпуса кадет (с 1752 г. — Сухопутный шляхетный кадетский корпус), где несколько месяцев в 1740 г. учился П. А. Румянцев, его окончили А. П. Сумароков, сам Палицын и многие другие деятели русской культуры. *Отчего В России авторских талантов мало.* Имеется в виду статья Н. М. Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов» (ВЕ, 1802, № 14, с. 120), в которой слабость русской литературы объясняется неразработанностью языка, нежеланием и неумением молодых дворян и представителей среднего сословия учиться и трудиться на поприще литературы. *Огромные чертоги, Какие для друзей богатых вымышлял.* Палицын занимался архитектурой. Дома его постройки украшали многие имения Харьковской губернии (см.: Д. И. Багалей, Опыт истории Харьковского университета, т. 1, вып. 1, Харьков, 1894, с. 39). *Сен-Ламберту я, Делилю подражал.* Палицыну принадлежит перевод из Делиля (см. примеч. 250) «Дифирамб на бессмертие души», М., 1804. Перевод поэмы «Сады» появился позднее, в 1814 г., одновременно с переводом «Времен года» Ж.-Ф. Сен-Ламбера (1716—1803). На смерть Сен-Ламбера откликнулся ученик Палицына Е. Станевич (см.: ВЕ, 1803, № 10, с. 127).

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

301. Печ. впервые по рукописи ЦГИАЛ. Содержится в частном письме автора к неизвестному лицу (Ивану Михайловичу). Письмо подписано: С. К-нъ, под стихами цифровой криптоним «200.20» (то есть — С. К) и помета, обозначающая место написания: «Ко-

менг» (?). Сатира характерна для момента окончания Отечественной войны не только критикой французского влияния в русской культуре, но и стремлением к пересмотру утвердившихся мнений и свержению авторитетов. Она показательно совпадает по времени (несколько предвосхищая) с критикой Хераскова Мерзляковым и Строевым. Характерна одновременная непримиримость и по отношению к Карамзину и его окружению (особенно резко оценивается Дмитриев, уже стяжавший репутацию «классического» писателя), и по отношению к шишковистам. Эпизоды из «Летописи Нестора» приводятся по кн. «Библиотека российская историческая, ч. 1, Летопись Нестерова с продолжателями по Кенигсбергскому списку», СПб., 1767, цитируя которую автор допускает ряд ошибок: смешивает половцев и печенегов, датского принца *Магнуса* (1540—1583), которого Иван Грозный провозгласил королем Ливонии, и шведского полководца Биргера, против которого во время Невской битвы 1240 г. сражался новгородец Миша (ему здесь приписан подвиг другого новгородца — Гаврилы Алексича). *Сюллии* — см. примеч. 102. *Конде* Л. (1621—1686) — французский полководец, прозванный Великим. *Тюренни* А. (1611—1675) — полководец и военный теоретик, маршал Франции. *С Варфоломеевских до подмосковных боев.* Как пример варварства французов автор приводит Варфоломеевскую ночь (1572) и Бородинское сражение. *И вы, о Александр, Димитрий и Мстислав... Вы все не Людвиги, не Карлы, не Франциски.* Древнерусские князья противопоставляются здесь королям Франции. *Жан д'Арк* (ок. 1412—1431) — Орлеанская дева, народная героиня, предводительствовавшая французским войском против англичан в XV в. *Иоахим, Нестор, Сильвестр* — киевские летописцы. *Левек* П.-Ш. (1737—1812) — французский историк. Его «История России» (1782—1783) подверглась критике со стороны ряда историков. *Детуш* Н. (1680—1754) — французский драматург. *Карлин* — здесь властитель из династии Каролингов. *Даниил* (ранее 1492—1547) — политический деятель и писатель, митрополит Московский с 1522 по 1539 г. *Великий Карл* (742—814) — франкский король с 768 г., император с 800 г., основатель династии Каролингов и создатель обширной империи. *Владимир* Святославич (см. примеч. 18) — собиратель Киевской Руси. *Ермоген* — Гермоген (см. примеч. 143). *Флешье* Э. (1632—1710) — французский проповедник. *Платон* — см. примеч. 206. *Пожарский* — см. примеч. 18. *Колиньи* Г. (1519—1572) — один из вождей партии гугенотов во Франции. *Ермак* Тимофеевич (ум. 1585) — казачий атаман, предводитель похода в Сибирь, победитель хана Кучума. *Роланд* — родственник Карла Великого, герой «Песни о Роланде», убит в Ронсевальском ущелье. *Долгоруков* (см. примеч. 102) был председателем ревизион-коллегии, смело спорил с Петром; имя его стало нарицательным для обозначения гражданской смелости. *Князь Холмский.* Холмские — русский боярский род, давший ряд крупных государственных деятелей XVI—XVII вв. *Два Шереметьева* — бояре Иван Васильевич Большой (ум. 1577) и Иван Васильевич Меньшой (ум. 1578), полководцы Ивана Грозного. *Низовской купец* — Козьма Минин (см. примеч. 18). *Голицына* М. Ф., княгиня (1743—1812) — известная московская меценатка. *Монтеспана* — Монтеспан Фр., маркиза (1640—1707) — фаворитка Людовика XIV. *Мирабо* О. Г., граф (1749—1791) — деятель Великой

французской революции, обладал исключительным ораторским даром. *Радклиф* А. (1764—1823) — одна из создателей «романа ужасов», или «черного», «готического» романа. Произведения ее пользовались большой популярностью у русского читателя начала XIX в. *Кларисса, Грандиссон, Памела* — герои нравоучительных романов С. Ричардсона. *«Монах»* — популярный «черный» роман английского писателя М.-Г. Льюиса. *Лагарп* — см. примеч. 264. Его труд «Лицей» сделал его непререкаемым авторитетом эпохи позднего классицизма. *Эмин* Ф. А. (1735—1770) — писатель, романист, автор «Российской истории», многочисленные ошибки и упущения которой отмечались современниками. *Львов* — см. примеч. 178. *Хилков* А. Я. (ум. 1718), князь — дипломат. Его перу приписывалось «Ядро Российской истории», серьезный для своего времени исторический труд, написанный в 1715 г. по распоряжению Петра I и изданный в 1784 г. Действительным автором является его секретарь А. И. Манкиев. *Мальгин* Т. С. (1747—1819) — автор «Зерцала российских государей с 862 по 1789 г.», СПб., 1789. *И с будущей... когда-нибудь Карамзина.* Первые восемь томов «Истории Государства Российского» вышли из печати 28 января 1818 г. Однако в литературных кругах было известно, что ряд томов был закончен еще до московского пожара 1812 г. *Клодион* (IV в.) — вождь одного из племен франков. Сообщаемые здесь данные о его войнах со славянами недостоверны. *Фонвизин* Д. И. (1744—1792) упомянут, видимо, как автор «Жизни графа Никиты Ивановича Панина», опубликованной впервые в 1784 г. за границей на французском языке. *Болтин* И. Н. (1735—1792) — автор критических примечаний к сочинениям историков М. М. Щербатова и Н.-Г. Леклерка. *Шлецер* А.-Л. (1735—1809) — историк, работал в Петербурге и Геттингене. Автор ряда исторических трудов, критически исследовал и издавал (с латинскими переводами) памятники русского летописания. *Вассианщина, змей, змеич и змея.* Речь идет об эпизоде из «Россиады» Хераскова: старец Вассиан показывает Иоанну IV будущее России; эпизод содержал беззастенчивую лесть Екатерине II. Под видом змей Херасков подразумевал крамолу. Роман Хераскова «Кадм и Гармония» противопоставлял самодержавию монархию в духе Монтескье. Антитеза *«Россиада»* — *«Кадм»* характерна для политической позиции автора сатиры. *Русский Лафонтен* — И. И. Дмитриев. *Татарин голосистый* — Г. Р. Державин, который вел свой род от легендарного татарского князя Багрима и в поэзии изображал себя в образе «мурзы». *«Фелицы», «Водопады»* — произведения Державина. *С приему рождены быть в пении высоки* и т. д. Стихи обвиняют русскую поэзию в отсутствии гражданственности. С аналогичными обвинениями выступали Андрей Тургенев, позже — декабристы. *Вот путешественник.* Имеется в виду Н. М. Карамзин. *Бандурист сумасшедший* — безумный гитарист, один из героев повести Карамзина *«Остров Борнгольм». Ринальдин* — Ринальдо Ринальдини, разбойник, герой одноименного романа немецкого писателя Вульпиуса. *Дюмениль* — Дюкре-Дюминиль (1733—1816), автор посредственных нравоучительных повестей, активно пропагандировался Карамзиным, печатавшим его переводы в ВЕ. *«Мелина»* — повесть г-жи де Сталь, перевод с французского Карамзина. *Муж национальный* — А. С. Шишков; *Дураков* — С. С. Бобров; *Глупницкий* — С. А. Ширинский-

Шихматов. *Платон Платонович Отважный* — Бекетов П. П. (1776—1836), издатель. *Вековкина* — А. П. Бунина. *«Бог»* — ода Державина. *Песнь Казани* — «Россиада» М. М. Хераскова. *«Цветник»* — журнал, издававшийся Беницким и Измайловым (1809—1810). Примыкал к Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств. Отличался прогрессивностью общественной позиции и остротой и зрелостью критических статей, в основном писавшихся Беницким. *«Москвы Меркурий»* — «Московский Меркурий», журнал, издававшийся в 1803 г. П. И. Макаровым, отличался цельностью литературной позиции и подчеркнутым вниманием к критике. Полемизировал с Шишковым, защищая реформу Карамзина. Положительное отношение сатиры к «Московскому Меркурию» особенно примечательно на фоне отрицательных оценок карамзинизма. *«Чужой толк»* — сатира И. И. Дмитриева. *«Ябеда»* — комедия В. В. Капниста. *«Всякая всячина»* — сатирический журнал Екатерины II, положивший начало русской сатирической журналистике. Отрицательно относясь к подражателям, автор сатиры выделяет «прекрасные две штуки». Если одна из них — журнал Екатерины, то вторая, видимо, «Трутень» Н. И. Новикова. *«Корифей»* — разделенный на журнальные выпуски курс теории литературы, издававшийся в 1802—1807 гг. Галенковским. *Энциклопе́дистов судьбина их жалчей.* Вышедшие в 1767 г. «Переводы из энциклопедии» (тт. 1—3) под редакцией М. М. Хераскова были крайне тенденциозны по подбору и не всегда удачны с точки зрения перевода. *«Атрей»* — «Атрей и Фиест», трагедия Кребильона в переводе С. П. Жихарева, который, оценивая свой перевод, позже писал, что «присочинил известную тогда знаменитую галиматью» (Жихарев, с. 569). *«Родамист»* — трагедия Кребильона «Родамист и Зенобия» (перевод С. Висковатова, 1810). *«Фиеска»* — «Заговор Фиеско в Генуе», трагедия Шиллера, перевод Н. И. Гнедича и С. И. Аллера (1803). *«Любовь с коварством»* — «Коварство и любовь», трагедия Шиллера, перевод С. Смирнова (1805). *Избранные* — видимо, сам автор сатиры. *«Генриада»* — поэма Вольтера, была переведена на русский язык дважды — в 1777 г. Я. Б. Княжниным и в 1790 г. А. И. Голицыным. *О Клопштоке скажи или о Мендельзоне.* Помимо ряда журнальных публикаций, сочинения Ф.-Г. Клопштока (1724—1803) вошли в изданный П. Победоносцевым в 1799 г. том «Новая наука наслаждаться жизнью. Поэма в четырех письмах. Творение г. Уцца с присовокуплением лучших сочинений барона де-Кронека, Галлера, Крамера, Клопштока, Виланда и Клейста, славнейших немецких писателей». Трактат М. Мендельсона (1729—1786) «Федон, или Бессмертие души» был опубликован в анонимном переводе (видимо, А. М. Кутузова) в «Утреннем свете» Н. И. Новикова в 1777 г. Другой анонимный перевод «Федон, или О бессмертии души» был опубликован в Москве в 1811 г. *Фильдинг* Г. (1707—1754), *Джонсон* С. (1709—1784), *Стерн* Л. (1713—1768) — английские писатели. *Эккартсгаузен* К. (1752—1803) — немецкий писатель-мистик. *Кант* И. (1724—1804) — немецкий философ. *Шиллинг* — Шеллинг Фр. (1775—1854), немецкий философ. *Виланд* Х.-М. (1733—1813) — немецкий поэт и прозаик. *Коцебу* А. (1761—1819) — немецкий драматург, автор мелодрам, в том числе драмы «Смех и слезы». *Юм* Д. (1711—1776) — английский историк. *Буффон* — Бюффон Ж.-Л.

(1707—1788), французский естествоиспытатель. Его теория строения вселенной к началу XIX в. уже устарела. *Махиавель* — Макиавелли Н. (1469—1527), итальянский политический мыслитель и писатель, его принципы отличались аморальностью и цинизмом. *Левек* П.-Ш. (1737—1812) — французский историк, автор «Истории России» (1782—1783). *Монтескье* Ш.-Л. (1689—1755) — французский политический деятель, писатель и историк, один из основоположников географической школы в социологии. Его «географические» объяснения политических систем подверглись критике уже в XVIII в. *Кувре* — Луве де Кувре Ж.-Б. (1760—1797), французский писатель и политический деятель, автор фривольно-авантюрного романа «Любовные похождения кавалера Фоблаза».

СЛОВАРЬ

Абие — тотчас, внезапно.

Авзония — Италия.

Авирон (библ.) — библейский персонаж, восстал на Моисея, за что был поглощен разверзшейся землей.

Авраам (библ.) — ветхозаветный патриарх.

Агамемнон (греч. миф.) — аргосский царь, предводитель греков в Троянской войне.

Агатон (ок. 448—397 до н. э.) — древнегреческий поэт.

Аер (греч.) — воздух; в мистической литературе — верхняя небесная сфера.

Аквилон (римск. миф.) — бог северного ветра; иносказательно — бурный, суровый ветер.

Аланы — древнее скифское племя.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — полководец и государственный деятель, сын македонского царя Филиппа II, создатель крупнейшей державы древнего мира; называл себя сыном Зевса.

Алкид — Геракл (см.).

Алфан — конь одного из героев поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

Алфей (греч. миф.) — охотник, преследовал нимфу Аретузу и был превращен богами в реку, а нимфа — в источник.

Алчба — жажда.

Альбион — Англия.

Амвон — возвышение в церкви перед царскими вратами.

Амфион (греч. миф.) — сын Зевса, обладал божественным даром игры на лире: от звуков ее камни сами укладывались в стены Фив.

Анакреон — Анакреонт (ок. 570—478 до н. э.), древнегреческий поэт, воспевал любовь, вино и другие радости жизни.

Аониды (греч. миф.) — одно из прозвищ муз.

Апеллес (IV в. до н. э.) — знаменитый греческий художник; иносказательно — искусный живописец.

Арей (греч. миф.) — бог войны. У римлян — Марс.

Ареопаг — высший судебный и контролирующий орган в Афинах.

Аристарх (II в. до н. э.) — греческий ученый, прославился как суровый, но справедливый критик.

Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ, автор нормативной эстетики.

Аркадия (греч.) — область в центральной части Пелопоннеса; иносказательно — обитель счастья.

Артемий — сонаместник Египта, в 362 г. обезглавлен Юлианом Отступником (см.).

Архистратиг (греч.) — военачальник; библейские архангелы Михаил и Гавриил, предводители небесного воинства, назывались архистратигами.
Асмодей (библ.) — злой сластолюбивый демон.
Аспазия — афинская гетера, возлюбленная, затем жена Перикла (см.).
Астрея (греч. миф.) — богиня Золотого века.
Асфалакс — ароматическое растение.
Атлант (греч. миф.) — титан, держащий на плечах небесный свод; иносказательно — горы в Северной Африке.
Атрид (греч. миф.) — потомок Атрея, царя Микен.
Аще — если, хотя, когда.

Бармы — наплечные знаки царского достоинства.
Батавия — Голландия.
Баярд — конь, упоминаемый во французском средневековом эпосе.
Беллона (римск. миф.) — богиня войны, супруга Марса.
Бельт — Балтийское море, Финский залив.
Бессовместный — не имеющий соперников.
Бион (III в. до н. э.) — греческий буколический поэт.
Борей (греч. миф.) — бог северного ветра; иносказательно — порывистый, холодный ветер.
Брашно — яство, кушанье.
Брение — грязь.
Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский политический деятель, республиканец, один из убийц Цезаря, был женат на дочери Катона. Образ Брута широко использовался в литературе конца XVIII — начала XIX в. как символ идей республиканизма и тираноборчества.
Буг — река на юге России.

Вакх (греч. миф.) — прозвище Диониса, бога виноградарства и виноделия.
Валки (сканд. миф.) — Валькирии, бессмертные девы, служившие павшим воинам в раю, Валгалле.
Варган — народный музыкальный инструмент.
Велизарий (ок. 505—565) — полководец византийского императора Юстиниана. В конце жизни подвергся опале. Позднее, в XII в., возникла легенда о его ослеплении.
Велий — больший.
Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт.
Вереи — воротные петли.
Веррес Гай Лициний (119—43 до н. э.) — управитель Сицилии.
Вертоград — огороженный сад.
Веста (римск. миф.) — богиня женской чистоты и домашнего очага, в ее храме поддерживался вечный огонь.
Ветер — человек непостоянный, изменчивый, неосновательный.
Виссон — тонкая шелковая ткань, употреблялась для царских и жреческих одеяний.
Внутрь-уду — внутри.
Вой — воин.
Воня — запах, аромат.
Воспящать — препятствовать, запрещать.

Вретище — грубая одежда из холста или дерюги.

Вулкан (римск. миф.) — бог огня и кузнечного ремесла, супруг Венеры; выковал сеть, которой накрыл Венеру с ее любовником Марсом.

Выспрь — вверх.

Вяще — больше.

Галл — француз.

Галлия — Франция.

Гальот — военный парусный корабль.

Ганнибал Барка (247 или 246 — 183 до н. э.) — полководец и карфагенский государственный деятель.

Геликон — гора в Греции, в греч. миф. — обитель муз.

Геракл (Алкид, греч. миф.) — герой, сын Зевса и Алкмены; в младенчестве задушил двух огромных змей, посланных в его колыбель богиней Герой. В римск. миф. — Геркулес.

Гермес (греч. миф.) — бог-вестник, покровитель купцов, бог торговли.

Гермиона (греч. миф.) — дочь спартанского царя Менелая и Елены; героиня трагедии Ж. Расина «Андромаха».

Геро (греч. миф.) — жрица Афродиты, возлюбленная Леандра (см.).

Герострат — грек из Эфеса. По преданию, желая обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды — одно из чудес света.

Герцинский лес — горный хребет в Германии.

Гефест (греч. миф.) — бог огня и кузнечного ремесла; у римлян — Вулкан.

Гидра (греч. миф.) — многоголовый водяной змей; лернейская гидра была убита Гераклом.

Глумный — шуточный, забавный, насмешливый.

Гораций Квинт Флакк (65 до н. э. — 8 н. э.) — римский поэт.

Горы — Оры (см.).

Готард — Сен-Готард, горный узел в Швейцарских Альпах.

Гурии (арабск. миф.) — по Корану, прекрасные девы, услаждающие правоверных в раю.

Давид (библ.) — царь Израиля, автор книги псалмов.

Девкалион (греч. миф.) — супруг Пирры (см.), уцелел вместе с нею после потопа.

Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) — афинский оратор и политический деятель; по преданию, тренировался в красноречии на морском берегу, набирая в рот камешки.

Десница (десная) — правая рука.

Десную — направо.

Деций (IV в. до н. э.) — римский полководец, пожертвовал своей жизнью ради победы римских войск.

Дидона (римск. миф.) — царица Карфагена; покинутая Энеем, лишила себя жизни.

Диоген (413—327 до н. э.) — греческий философ.

Дий (греч. миф.) — одно из имен Зевса.

Днесь — сегодня.

Довлеть — быть достаточным.

Дондеже — доколе.

Еже — чтобы, дабы.
Ерихон (Иерихон) — город в Палестине; *розы иерихонские* упоминаются в Библии.
Ермий — Гермес (см.).

Жупел — горючая сера.

Здатель — строитель.
Зефир (греч. миф.) — бог западного ветра; иносказательно — приятный легкий ветерок.
Зимцерла — в псевдославянской мифологии богиня зари.
Зинуть — раскрыться.

Иаков — библейский пророк. *Иаковли сонмы* — потомки Иакова.
Иегова (Ягве) — верховное божество в иудейской религии.
Ильм (илем) — тростник.
Иос — один из трех коней в колеснице бога солнца.
Иперборейские страны — север.
Иппокрена (греч. миф.) — ключ на вершине Геликона (см.); иносказательно — источник вдохновения.
Иракл — Геракл (см.).
Ирида (греч. миф.) — богиня радуги.
Иссоп — трава, синий зверобой.
Истнить — растирать, разрушать, сокрушать.
Истр — древнее название Дуная.
Ифест — Гефест (см.).
Ифигения (греч. миф.) — дочь Агамемнона и Клитемнестры, принесена в жертву богам в Авлиде.

Кади — духовный судья мусульман.
Камена (римск. миф.) — муза.
Капитолий — один из холмов Рима, где находился храм Юпитера, также называвшийся Капитолием.
Кастальский ключ, ток (греч. миф.) — источник на горе Парнас, посвященный Аполлону и музам; иносказательно — источник вдохновения.
Катон Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — римский писатель и государственный деятель.
Катон Младший Утический (95—46 до н. э.) — римский государственный деятель.
Кафисмы — название отделов, на которые разделяется псалтырь.
Квинтиллиан Марк Фабий (ок. 35—96) — римский теоретик ораторского искусства и учитель красноречия. В его трактате «Об образовании оратора» изложена теория жанров, тропов и т. п.
Квирин (римск. миф.) — древний италийский бог, культ его позднее слился с культом Ромула.
Квирит — гражданин Древнего Рима.
Кивот (библ.) — ковчег, в котором заключены скрижали Завета.
Кимвал — музыкальный ударный инструмент; иносказательно — пустой звук.
Киприда (греч. миф.) — прозвище богини любви и красоты Афродиты.

Клио, Клия (греч. миф.) — муза истории.
Кнастер — сорт табака.
Ков — козни, коварство.
Коклес Гораций Публий — легендарный римский герой, спасший Рим во время войны с этрусками.
Коль — сколько.
Комус — Комос (греч. миф.), бог пиршеств, изображался в виде крылатого юноши.
Крез — царь Лидии (ок. 560—546 до н. э.), обладавший несметными богатствами; иносказательно — богач.
Крин — лилия.
Крыж — крест.
Ксеркс — древнеперсидский царь (486—465 до н. э.).
Куща — шатер.

Лаиса — имя двух известных куртизанок Древней Греции.
Лакедемоняне — жители Спарты.
Лакоть — локоть.
Лаомедонт (греч. миф.) — царь Трои, отец Приама, обманул Геракла и был им убит.
Лары (римск. миф.) — боги-хранители домашнего очага.
Латона (греч. миф.) — мать Аполлона и Артемиды.
Леандр (греч. миф.) — возлюбленный Геро (см.), каждую ночь переплывал Геллеспонт, чтобы встречаться с ней.
Леонид — спартанский царь, с небольшим отрядом задержал в 480 г. до н. э. наступление персидского войска и пал в битве.
Лепота — красота.
Лик — хор, торжественное песнопение.
Лукан (38—65 до н. э.) — римский поэт, автор неоконченной поэмы «Фарсалия» в 10 книгах, посвященной истории гражданских войн в Риме.
Лукулл (ок. 109—57 до н. э.) — римский полководец, роскошь и богатство которого вошли в пословицу.
Лысто — голень. *В лыстех мужеских* — в цветущем возрасте.

Марафон — местечко, где греческий полководец Мильтиад одержал победу над персами.
Маргарит — жемчуг.
Марон — см. Вергилий.
Марс (римск. миф.) — бог войны.
Мартинист — масон.
Мевий — дурной поэт, упомянутый Вергилием в эклоге 3.
Мегера (греч. миф.) — одна из эринний, олицетворение гнева и мстительности, изображалась в виде отвратительной старухи.
Междорамие — спина.
Мельпомена (греч. миф.) — муза трагедии.
Мессия (библ.) — спаситель, посланец бога.
Мета — цель, мишень.
Мид, Мидас (греч. миф.) — фригийский царь, получивший от Диониса дар превращать в золото все, к чему прикоснется, а от Аполлона в наказание за дурной музыкальный слух — ослиные уши, иносказательно: невежда.

Минерва (римск. миф.) — богиня мудрости, покровительница наук, искусств и ремесел; *птицы Минервы* — совы.
Минос (греч. миф.) — критский царь; после смерти стал судьей над душами умерших в Аиде.
Митра — головной убор архиерея.
Мнемозина (греч. миф.) — богиня памяти, мать девяти муз.
Могол Великий — индийская династия XVI—XIX вв.; также название крупнейшего в мире ограненного алмаза.
Моисей — библейский пророк, законодатель еврейского народа.
Мойры (греч. миф.) — дочери Зевса, богини человеческой судьбы. У римлян — парки.
Морфей (греч. миф.) — бог сна, изображался в виде крылатого старика.
Мурена Луций Лициний — римский консул (62 г. до н. э.). Обвиненный в подкупе избирателей, был оправдан после блестящей защитной речи Цицерона (63 г. до н. э.).
Мышца — рука.

Надмеру — чрезмерно.
Нарогтиться — собираться, намереваться.
Наяды (греч. миф.) — нимфы вод.
Немврод (Нимрод, библ.) — легендарный халдейский царь, иносказательно: тиран.
Нереиды (греч. миф.) — нимфы моря, дочери морского старца Нерея.
Нерон Клавдий Цезарь (37—68) — римский император (54—68), отличался жестокостью и развращенностью.
Нот (греч. миф.) — бог южного ветра.
Нума (римск. миф.) — римский царь, создатель религиозных обрядов, лунного календаря.

Обаянство — жеманство.
Овамо — туда.
Овидий Публий Назон (43 до н. э. — 18 н. э.) — римский поэт, был сослан преемником Цезаря императором Октавианом Августом на берег Черного моря в город Томы (современная Констанца).
Озирид — солнце.
Океан (греч. миф.) — прародитель богов, супруг Тетии, которая родила ему три тысячи сыновей и три тысячи дочерей — океанид.
Омет — покрывало.
Омир — Гомер.
Омрак — обморок.
Орать — пахать.
Орк — Оркус (римск. миф.), божество смерти, загробный мир.
Орфей (греч. миф.) — певец, изобретатель музыки и стихосложения. Спустился в Аид, чтобы вернуть свою жену Эвридику, погибшую от укуса змеи.
Оры (греч. миф.) — дочери Зевса и Фемиды, олицетворение времен года.
Осса — гора в Средней Греции.
Оссиан (Ойсин) — легендарный герой кельтского эпоса. С его име-

нем связан цикл народных сказаний, воспевающих подвиги Фингала и его сыновей — Ферчюса и Ойсина. Мотивы кельтского эпоса использованы шотландским писателем Дж. Макферсоном (1736—1796) для создания поэм, приписанных им Оссиану.

Отженять — отчуждать, отгонять.

Оюнев — помолодев.

Павзаний — спартанский полководец, победитель персов при Платее (479 до н. э.).

Павзаний (Павсания, II в.) — путешественник и писатель, автор «Описания Эллады».

Паки — опять, вновь.

Палатин, Палатинская гора — священный холм в центре Рима.

Паллада (греч. миф.) — прозвище Афины, богини мудрости, покровительницы наук.

Пан (греч. миф.) — бог лесов и рощ, изобретатель свирели.

Панагия — нагрудное украшение праздничной одежды архиерея.

Пандора (греч. миф.) — первая женщина, созданная Зевсом в наказание за проступок Прометея. Она открыла сосуд, в котором находились пороки, несчастья и болезни, терзающие людей.

Паннония — южнодунайская область римской империи, в XVIII в. входила в состав Австрийской империи.

Пард — барс.

Парки (римск. миф.) — см. Мойры.

Пегас (греч. миф.) — волшебный крылатый конь, символ поэтического вдохновения.

Пенаты (римск. миф.) — боги домашнего очага.

Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — афинский политический деятель, с именем которого связано представление о расцвете античной культуры.

Пермесс (греч. миф.) — река, стекающая с Геликона; иносказательно — источник вдохновения.

Персть — прах, земля.

Перун — верховное божество древних славян; гром, молния.

Петиметр — щеголь.

Пещцы — пешие воины.

Пинд — гора в Греции; в греч. миф. — обитель муз.

Пиндар (ок. 518—442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных песнопений.

Пирой (греч. миф.) — один из трех коней бога солнца.

Пирр (греч. миф.) — Неоптолем, сын Ахилла и Деидамии, участник Троянской войны; герой трагедии Ж. Расина «Андромаха».

Пирра (греч. миф.) — супруга Девкалиона, уцелела с мужем после потопа. *Пирры сыны* — камни, которые, по совету богов, Пирра и Девкалион бросали через плечо, и они превращались в людей. Так была вновь заселена земля.

Пифон (греч. миф.) — чудовищный змей, убитый Аполлоном.

Пиэриды (греч. миф.) — музы.

Планшевый — телесный цвет.

Платон (250—184 до н. э.) — греческий философ.

Плеяды, Плиады (греч. миф.) — семь дочерей Атланта и океаниды Плейоны, превращенные в созвездие из семи звезд.

Плиний Младший (62—114) — римский писатель и оратор.
Повапленный — выбеленный, покрытый краскою.
Полибий (ок. 201 — ок. 120 до н. э.) — древнегреческий историк; автор описания военной истории Римского государства.
Полые — обнаженные.
Поляница (поленица) — ватага.
Помпей Гней (107—48 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель.
Понеже — ибо, потому что.
Понт (греч.) — море.
Присный — постоянный; ближайший.
Пролог — церковная книга, сборник житий.
Прометей (греч. миф.) — титан, богоборец и защитник людей.
Проперций (ок. 50 до н. э.) — римский поэт.
Пруги — саранча.
Пряженый — жаренный в масле.

Рагуил — библейский персонаж, на внучке которого был женат Моисей; иносказательно — старец.
Раина — тополь.
Рака — гробница святого.
Рало — плуг.
Рамо — плечо.
Рафаил (библ.) — один из семи архангелов, по велению бога помогал праведнику Товии.
Ревнитель — последователь, подражатель.
Ристанье — состязание в беге.
Рифейские горы — Урал.
Родан — Рона.
Родопа — гора во Фракии.
Ромул (римск. миф.) — первый царь Рима, сын Реи Сильвии и Марса.
Рясный — крупный, обильный.

Саллюстий Гай Крисп (86—35 до н. э.) — римский историк.
Сарданапал — легендарный царь Ассирии, двор которого славился роскошью; иносказательно — праздный вельможа.
Сармат — поляк.
Сармация — Польша.
Сафо (VI в. до н. э.) — греческая поэтесса.
Седьмиричный — состоящий из семи.
Секвана — Сена.
Сектёр — сектант.
Селена (греч. миф.) — богиня луны.
Семела (греч. миф.) — дочь фиванского царя Кадма, возлюбленная Зевса, мать Диониса.
Семирамида — грецизированная форма имени ассирийской царицы Шаммурат (IX в. до н. э.). По мифам, будучи божественного происхождения, отличалась замечательной красотой и мудростью.
Семо — сюда.
Сенека Люций Анней (3 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ-

стоик, писатель. Приговоренный к смерти Нероном, окончил жизнь самоубийством.

Сеннахериб — воинственный ассирийский царь; иносказательно — Наполеон.

Серафимы (библ.) — ближайшие к богу ангелы.

Сивиллы (греч. миф.) — женщины-пророчицы, одна из них, сивилла Кумская, была популярна в Риме как создательница «Сибиллиных книг», сборников предсказаний.

Силлографы — авторы пасквилей.

Сион (библ.) — гора в Иерусалиме, где была резиденция царя Давида и храм Иеговы.

Сирены (греч. миф.) — полуптицы-полуженщины; согласно мифу, волшебным пением очаровывали и губили мореплавателей.

Сирий — Сириус, название звезды.

Сице — так, таким образом.

Скамандр — река на Троянской равнине.

Скиния (библ.) — святилище, в котором хранится закон.

Скорбут — цинга.

Скрижаль (библ.) — таблица, доска с начертанными на ней законами (заветом).

Скудель — глина, глиняный сосуд.

Скудельник — глиняный сосуд, светильник.

Смирна — благовонная смола, мирро.

Совместница — соперница.

Содом (библ.) — город, разрушенный землетрясением и «огненным дождем» за грехи его жителей.

Сократ (469—399 до н. э.) — античный философ, был приговорен к смерти афинским судом, покончил с собой, выпив чашу с ядом.

Соломон (библ.) — царь Израиля, прославившийся своей мудростью и справедливостью.

Солон (ок. 638 — ок. 559 до н. э.) — древнегреческий политический деятель и реформатор, уничтожил долговое рабство.

Сорочина (сорочины) — поминальная молитва на сороковой день после смерти.

Софокл (497—405 до н. э.) — греческий драматург, автор трагедий.

Сретать — встречать.

Стези — пути.

Стикс (греч. миф.) — река в подземном царстве; клятва водою Стикса считалась священной и для богов и для людей.

Стогны — площади.

Стражница — караульня, приют для стражи.

Стразы — фальшивые бриллианты из свинцового стекла (по имени парижского ювелира Страсса).

Стратон (III в. до н. э.) — греческий философ, имел прозвище «Физик».

Стрельница — башня.

Стромкий — шероховатый, неровный.

Стропотный — непокорный, непослушный.

Студный — бесчестный, постыдный.

Стужах — я гнал, тревожил, досаждал.

Сусанна (библ.) — красавица, была оклеветана старцами, заставшими ее купающейся, и спасена от наказания юношей Даниилом.

Сципион (ок. 235—183 до н. э.) — римский полководец.
Сяжет — хватает, достает.

Тавр — горный хребет в Малой Азии.
Таг — Тахо, река в Испании.
Талия (греч. миф.) — муза комедии.
Тамерлан (Тимур, 1336—1405) — среднеазиатский полководец и завоеватель; иносказательно — Наполеон.
Тантал (греч. миф.) — любимец богов; возгордившись, оскорбил богов и в наказание был низвергнут в Аид, где терзался жаждой и голодом.
Тартар (греч. миф.) — глубочайшие недра земли, нижняя часть Аида.
Тацит Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк.
Телемах (Телемак, греч. миф.) — сын Одиссея.
Теревинф — дерево, растущее в Сирии; в Библии — иногда дубрава.
Термин — время.
Тетида — Фетида (см.).
Тетия (греч. миф.) — супруга Океана (см.).
Тибулл Альбий (I в. до н. э.) — римский поэт.
Тимотей (р. 446 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик из Милета, автор дифирамбов.
Тир — древний финикийский торговый город.
Тиртей (VII в.) — афинский поэт, в награду за свои песни получил спартанское гражданство.
Тит Ливий (59—17 до н. э.) — римский историк.
Тифон (греч. миф.) — сын Геи и Тартара; стоглавое чудовище, изрыгающее пламя, отец разрушительных вихрей.
Товия (библ.) — праведник, спасенный архангелом Рафаилом.
Тристат — военачальник.
Трость — перо.
Тук — жир.
Тул — колчан.
Туллий — Цицерон (см.).

Убо — итак, следовательно; ибо, так как.
Убрус — покрывало.
Улисс — Одиссей.
Уран (греч. миф.) — древнейшее верховное божество, олицетворяющее небо; название планеты.
Урания (греч. миф.) — муза астрономии.

Фазис (греч.) — Рион, река в Колхиде.
Фалия — Талия (см.).
Фаэтон (греч. миф.) — сын бога солнца Гелиоса (у Овидия — Феба) и океаниды Климены, жены Меропса, упросил отца передать ему управление солнечной колесницей и погиб, не справившись с конями.
Феб (греч. миф.) — одно из имен Аполлона, позднее отождествлялся с Гелиосом, богом солнца.
Фемида (греч. миф.) — богиня права, законного порядка и предсказаний.
Фемиды дщери — см. Оры.

Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец, одержал победу над персами у о-ва Саламин (480 г.).

Феникс (греч. миф.) — легендарная птица; достигнув старости, сжигал сам себя и возрождался из пепла обновленным; символ вечности, возрождения.

Феокрит (род. ок. 310 или 300 до н. э.) — греческий поэт-идиллик.

Фермопилы — проход из Северной Греции в Среднюю, место битвы греков с персами (480 г. до н. э.), где героически погиб спартанский царь Леонид.

Фетида (греч. миф.) — супруга Пелея, мать Ахилла.

Фиал — сосуд.

Фидиас — Фидий.

Филомела (греч. миф.) — соловей.

Флегон (греч. миф.) — один из трех коней в колеснице бога солнца.

Флора (римск. миф.) — богиня цветов, юности, изображалась в виде молодой женщины с цветами в руках.

Фракия — восточная часть Балканского полуострова.

Фукидид (ок. 460—395 до н. э.) — греческий историк.

Фурии (римск. миф.) — демоны подземного царства, божества мести и угрызений совести.

Хаос (греч. миф.) — пустое пространство, существовавшее до создания мира; *дочь Хаоса* — ночь.

Хариты (греч. миф.) — богини красоты, радости.

Химера (греч. миф.) — чудовище с головой льва, туловищем змеи и хвостом дракона.

Хитера — гора в Греции.

Цезарь Кай Юлий (101—44 до н. э.) — римский полководец, политический деятель и писатель, убит в результате заговора сенатской аристократии; иносказательно — вождь.

Целлена — Селена (см.).

Церера (римск. миф.) — богиня плодородия и земледелия.

Цибела (Кибела) — фригийская богиня всего живущего на земле; в Греции ее культ слился с культом Реи, дочери Геи, богини земли.

Цинтия (римск. миф.) — одно из имен Дианы, богини луны.

Цинфий (греч. миф.) — одно из имен Аполлона.

Цирцея (Кирка, греч. миф.) — дочь бога солнца Гелиоса, волшебница с острова Эя; влюбившись в Одиссея, она год удерживала его на своем острове, а спутников его превратила в свиней.

Цитера (греч. миф.) — остров, близ которого родилась Афродита, богиня любви, там находился храм в ее честь.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнеримский оратор, философ и государственный деятель; убит Антонием; иносказательно — красноречивый человек.

Червленица — пряжа, окрашенная в багровый цвет.

Червленый — багряный.

Чермнеть — краснеть.

Шуйца — левая рука.

Шую, ошую — налево.

Щогла — мачта.

Эвксин (греч.) — Черное море.
Эвмениды (греч. миф.) — богини мщения.
Эврипид (480—406 до н. э.) — древнегреческий драматург.
Эвтерпа (греч. миф.) — муза лирической поэзии.
Эгида (греч. миф.) — щит Зевса; иносказательно — защита, покровительство.
Эдем (библ.) — сад, где жили Адам и Ева до грехопадения, рай.
Эзоп (VI в. до н. э.) — греческий баснописец; был рабом, затем вольноотпущенником.
Эльдорадо (испанск.) — легендарная страна, изобилующая золотом и драгоценными камнями.
Эльма святого огни — слабое сияние электрического происхождения на острых предметах (в частности, мачтах кораблей), считалось у моряков дурным предзнаменованием.
Эльфоса — гора в Греции.
Эней (греч.-римск. миф.) — герой Троянской войны, переселился в Италию, его потомки основали Рим.
Энний Квинт (239—169 до н. э.) — римский поэт, из уважения к его литературным заслугам похоронен полководцем Сципионом в фамильной усыпальнице Сципионов.
Эол (греч. миф.) — повелитель ветров.
Эоны — в философских учениях начала христианства — бестелесные существа, посредники между человеком и божеством, воплощение мудрости, веры, любви.
Эпидавр — город в древнем Аргосе, центр культа Эскулапа, бога врачевания. *Эпидавра прорицатель* — врач.
Эпиктет (ок. 50 — ок. 138) — греческий философ; был рабом, затем вольноотпущенником.
Эреб (греч. миф.) — подземное царство.
Эридан (греч. миф.) — река, в которую упал Фаэтон (см.); позднее так называли По, Рону и другие реки.
Эрмон — местность в Палестине.
Эфон — один из трех коней в колеснице бога солнца.

Ювенал (ок. 60 — ок. 140) — римский поэт-сатирик.
Юдоль — долина; иносказательно — пристанище, обитель, а также земля и земная жизнь с ее невзгодами.
Юлиан Отступник (331—363) — римский император (361—363), пытался, отказавшись от христианства, восстановить языческую религию.

Язон (Ясон, греч. миф.) — сын иолкского царя, предводитель похода аргонавтов, добывший золотое руно, муж Медеи.
Языки — народы.
Янус (римск. миф.) — древнее римское божество, бог времени, изображался с двумя лицами, одно из которых обращено в прошлое, другое — в будущее. В храме Януса на римском Форуме ворота были закрыты во время мира и открывались во время войны.
Япет (греч. миф.) — титан, супруг Азии, отец Прометея, был низвергнут в Тартар за участие в борьбе титанов против Зевса.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *С. 73.* С. С. Бобров. Гравюра неизвестного художника. «Воскресный досуг», 1865, № 119.

2. *Между с. 176 и 177.* Титульный лист журнала «Беседующий гражданин».

3. *На обороте.* С. А. Тучков. Гравюра с рисунка О. Кипренского. Под портретом — вид города Тучкова (ПД).

4. *С. 179.* Титульный лист журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену».

5. *Между с. 208 и 209.* Андр. И. Тургенев. Фотография с рисунка карандашом неизвестного художника (ПД).

6. *На обороте.* А. С. Шишков. Портрет работы Д. Доу, литография Бореля (ПД).

7. *Между с. 400 и 401.* А. П. Бунина. Портрет работы А. Г. Варнека (Эрмитаж).

8. *На обороте.* Д. И. Хвостов. Гравюра А. Ухтомского с рисунка О. Кипренского, 1812 (ПД).

9. *Между с. 432 и 433.* С. Н. Глинка. Гравюра на дереве К. Адта (ПД).

10. *На обороте.* П. И. Шаликов. Рисунок итальянским карандашом неизвестного художника (ПД).

СОДЕРЖАНИЕ

I

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СЛОВЕСНЫХ НАУК

С. С. БОБРОВ

С. А. ТУЧКОВ

С. С. ПЕСТОВ

ПОЭТЫ «ИРТЫША»

П. П. СУМАРОКОВ

Н. С. СМИРНОВ

П. А. СЛОВЦОВ И ПОЭТЫ «МУЗЫ»

П. А. СЛОВЦОВ

П. П. МАРТЫНОВ

Е. А. КОЛЫЧЕВ

ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО

А. И. ТУРГЕНЕВ

А. С. КАЙСАРОВ

С. Е. РОДЗЯНКО

А. Ф. ВОЕЙКОВ

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

З. А. БУРИНСКИЙ

Н. Ф. ГРАММАТИН

Ф. Ф. ИВАНОВ

«БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

А. С. ШИШКОВ

С. А. ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ

Д. И. ХВОСТОВ

А. П. БУНИНА

П. И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»

М. В. МИЛОНОВ

П. С. ПОЛИТКОВСКИЙ

Н. Р. ПОЛИТКОВСКИЙ

КОЛЛЕКТИВНОЕ

II

И. И. ВАРАКИН

В. Г. АНАСТАСЕВИЧ

С. Н. ГЛИНКА

Н. М. ШАТРОВ

Г. П. КАМЕНЕВ

Н. Ф. ОСТОЛОПОВ

А. П. БЕНИЦКИЙ

П. И. ШАЛИКОВ

В. Л. ПУШКИН

А. И. НЕЩЕВСКИЙ

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
186	3 св.	Groyez	Croyez
201	6 сн.	В злат-рубиновой	В злато-рубиновой
288	2 св.	взлядами	взглядами
711	5 св.	прах	праг
770	19 сн.	Нам, русским, кажется	Нам русским кажется
779	9 сн.	Всечастно	Всечасно

ПОЭТЫ 1790—1810-х ГОДОВ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1971, 912 стр. План выпуска 1971 г., № 322.

Редактор *Д. М. Климова.* Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.* Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 23/IV 1971 г. Подписано в печать 23/VII 1971 г. М 11079. Бумага 84×108$^{1}/_{32}$, № 2. Печ. л. 28$^{1}/_{2}$ + 4 вкл. (48,3). Уч.-изд. л. 47,39. Тираж 20 000 экз. Заказ № 679. Цена 1 р. 78 к.

Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3.